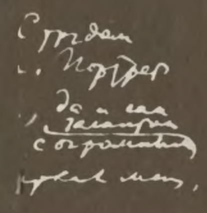
К. ЧУКОВСКИЙ

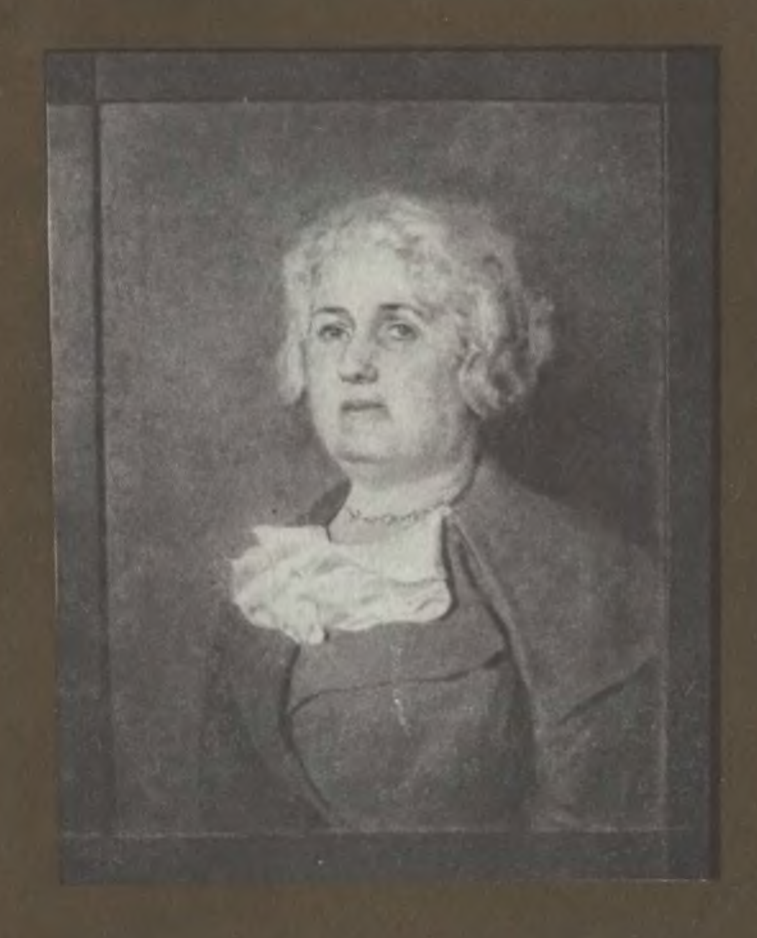
ДНЕВНИК
1930-1969



К. ЧУКОВСКИЙ ДНЕВНИК 1930-1969









К.ЧУКОВСКИЙ

ДНЕВНИК
1930-1969

Москва
Современный писатель
1994

ББК 83.3Р7
Ч — 88

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
КНИГОИЗДАНИЯ РОССИИ

Составление,
подготовка текста, комментарий
Е. Ц. ЧУКОВСКОЙ

Художник
КЛАРА ВЫСОЦКАЯ

В книге в качестве иллюстративного материала используются архивные и любительские, плохо сохранившиеся фотографии. Публикуя их, издательство стремится показать редкий фотоматериал, представляющий несомненный исторический интерес.

Подбор иллюстраций
КЛАРА ВЫСОЦКАЯ И ЕЛЕНА ЧУКОВСКАЯ

На первом форзаце
портреты К. И. Чуковского и М. Б. Чуковской работы И. Э. Грабаря. Ленинград, 1936 г.

На втором форзаце

семья Чуковских (слева направо): Люша (Елена), Марина Николаевна, Митя, сзади Гуля (Николай), Николай Корнеевич, Корней Иванович, Лидия Корнеевна
Переделкино, 1957 г. Печатается впервые

Чуковский К.
Ч 88 Дневник (1930—1969).— М.: Современный писатель, 1994.—560 с.

ISBN 5—265—02547—2

«Дневник» К. Чуковского охватывает почти семьдесят лет (1901—1969) нашего столетия. Первая книга «Дневника» (1901—1929) вышла в 1991 г. Вторая книга «Дневника» (1930—1969) по содержанию и характеру записей резко отличается от первой — в ней отразились личные невзгоды автора и тяготы, переживаемые обществом в 30—40-е годы. В дневниковых тетрадях появляются пробелы, множество вырванных страниц. Но на уцелевших страницах сохранились и отзвуки трагедии Зощенко, Пастернака, Вас. Гроссмана, и подробности литературной жизни и нравов тех лет.

Ч $\frac{4602010201—003}{083(02)—94}$ Без объявл. **ББК 83. ЗР 7**

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Дневник Чуковского — единственное его произведение, не предназначавшееся для печати. Однако эти записи, охватывающие почти семьдесят лет двадцатого столетия (1901—1969), представляют собой несомненный историко-литературный интерес.

Первая книга «Дневника» (1901—1929) вышла в 1991 г.

Вторая книга (1930—1969) по тональности резко отличается от первой. Тяготы 30—40-х годов: личные — смерть младшей дочери — и общественные — убийство Кирова, террор в стране,— накладывают отпечаток на содержание и характер записей. После убийства Кирова в записях появляются многочисленные пробелы, в дневниковых тетрадях — множество вырванных страниц, вырезанных строк. Некоторые годы (например, 1938-й) вовсе отсутствуют. Многие важнейшие события в жизни автора «Дневника» и его близких не нашли никакого отражения или упомянуты лишь мельком.

В августе 1937 г. был арестован зять К. Чуковского, муж его дочери Лидии — физик-теоретик М. П. Бронштейн, вскоре расстрелянный, и Корней Иванович присутствовал на квартире дочери в момент обыска, конфискации имущества, опечатывания дверей. Обо всем этом в «Дневнике» написаны два слова: «Лидина трагедия».

Умолчания, относящиеся к событиям середины 30-х годов, попытки убедить себя вопреки всему, что дела обстоят превосходно («Какое счастье, что детская литература наконец попала 〈...〉 в руки Комсомола. Сразу почувствовалось дуновение свежего ветра...» и другие аналогичные записи), описание изматывающих баталий с партийными руководителями культуры, запретившими сказку «Крокодил»,— все это характеризует дневник этих лет.

В 30-е годы Чуковский постоянно ходит в школы на уроки литературы. Впечатления от уровня преподавания отразились на многих страницах дневника, в статьях и выступлениях: «Литература и школа» (1935), «Унылые педагоги» (1936), «Поэзия по-Наркомпросовски» (1936) и мн. др.

Смесь трезвого и меткого наблюдательного взгляда с испуганными попытками объяснить необъяснимое и принять неприемлемое, запечатленная в записях 30-х годов, характерна для восприятия эпохи многими писателями той давней поры.

40-е годы оказались не легче. На войне погиб младший сын Борис, ушедший добровольцем в московское ополчение. В результате серии доносов, часть которых теперь напечатана (см.: «По агентурным данным», журнал «Родина», 1992, № 1, с. 92—93), публичному разгрому подверглись две последние сказки Чуковского «Одолеем Бармалея» (1943) и «Бибигон» (1945). Ему приходится уйти из детской литературы, как в 20-е годы приш

лось перестать писать критические статьи. Об этом периоде своей литературной деятельности Корней Иванович пишет на страницах «Дневника»: «На 1948 год лучше не оглядываться. Это был год самого ремесленного, убивающего душу кропанья всевозможных (очень тупых!) примечаний... Ни одной собственной строчки, ни одного самобытного слова, будто я не Чуковский...»

Лишь с середины 50-х годов наступает для автора «Дневника» облегчение в его литературной судьбе. Прекращается травля, снова после пятнадцатилетнего перерыва выходит «От двух до пяти», большими тиражами начинают печататься сборники сказок.

Тревоги и беды 60-х годов не миновали восьмидесятилетнего Чуковского. Он уже не участвует непосредственно в бурных собраниях, не записывает, как это было в 20-е годы, все перипетии событий в качестве действующего лица, свидетеля, очевидца. Но он и не находится в стороне. Все близкие ему люди так или иначе втянуты в начавшуюся борьбу против реставрации сталинщины. Его дочь Лидия печатает за границей свои крамольные повести и «открытые письма», хлопочет об освобождении Иосифа Бродского. Его близкий друг Т. М. Литвинова присутствует на процессе В. Буковского, а затем и своего племянника Павла Литвинова и приезжает в Переделкино под впечатлением увиденного прямо из зала суда. Сам Корней Иванович постоянно хлопочет о реабилитации своих друзей, в разные годы поселяет в своем доме вернувшихся из заключения Е. Боронину, В. А. Сутугину-Кюнер, Е. М. Тагер, приглашает пожить в Переделкине А. И. Солженицына после конфискации его архива. Подпись Чуковского стоит под многими заступническими письмами 60-х годов, петициями, которыми общественность пыталась остановить «контратаку сталинистов» и защитить гонимых.

«Дневник» печатается в несколько сокращенном виде. Не включены в это издание записи частного характера — такие, например, как «Мурочкины сны», подробности работы автора над вариантами своих книг, в 60-е годы — многочисленные записи о состоянии здоровья, принимаемых лекарствах и т. п. Сокращения указаны отточиями в угловых скобках.

Тексты «Дневника» сверены с рукописью. Рукопись (29 дневниковых тетрадей) находится у меня. В настоящем издании сохранено своеобразие пунктуации автора и его орфография («чорт», «жолтый», написание каждого слова в названии журнала или учреждения с прописной буквы и проч.).

Собственные имена не комментируются, а представлены в именном указателе в конце книги.

Пользуюсь возможностью поблагодарить проф. Дж. Д. Стефана (США), С. Рубашову, д-ра Кристин Томас и проф. Дж. С. Г. Симмонса (Англия), а также Л. Г. Беспалову за безотказную помощь и необходимые сведения, предоставленные мне в ходе работы над комментариями и указателем.

ЕЛЕНА ЧУКОВСКАЯ

1930.

14 [апреля] вечер. Это страшный год — 30-й. Я хотел с января начать писание дневника, но не хотелось писать о несчастьях, все ждал счастливого дня,— и вот заболела Мура, сначала нога, потом глаз,— и вот моя мука с Колхозией, и вот запрещены мои детские книги, и вот бешеная волокита с Жактом — так и не выбралось счастливой минуты, а сейчас позвонила Тагер: Маяковский застрелился. Вот и дождался счастья. Один в квартире, хожу и плачу и говорю «Милый Владимир Владимирович», и мне вспоминается тот «Маякоўский», который был мне так близок — на одну секунду, но был,— который был влюблен в дочку Шехтеля (чеховского архитектора), ходил со мною к Полякову; которому я, как дурак, «покровительствовал»; который играл в крокет, как на биллиарде, с влюбленной в него Шурой Богданович; который добивался, чтобы Дорошевич позволил ему написать свой портрет и жил на мансарде высочайшего дома, и мы с ним ходили на крышу. ⟨...⟩ и как он влюбился в Лили, и приехал, привез мое пальто, и лечил зубы у доктора Доброго, и говорил Лили Брик «целую ваше боди и все в этом роде», и ходил на мои лекции в желтой кофте,

и шел своим путем, плюя на нас, и вместо «милый Владимир Владимирович» я уже говорю, не замечая: «Берегите, сволочи, писателей», в последний раз он встретил меня в Столешник. переулке, обнял за талию, ходил по переулку, как по коридору, позвал к себе — а потом не захотел (очевидно) со мной видеться — видно, под чьим-то влиянием: я позвонил, что не могу быть у него, он обещал назначить другое число и не назначил, и как я любил его стихи, чуя в них, в глубинах, за внешним, и глубины, и лирику, и вообще большую духовную жизнь... Боже мой, не будет мне счастья — не будет передышки на минуту, казалось, что он у меня еще впереди, что вот встретимся, поговорим, «возобновим», и я скажу ему, как он мне свят и почему — и мне кажется, что как писатель он уже все сказал, он был из тех, которые говорят в литературе ОГРОМНОЕ слово, но ОДНО,— и зачем такому великану было жить среди тех мелких «хозяйчиков», которые поперли вслед за ним — я в своих первых статьях о нем всегда чувствовал, что он трагичен, безумный, самоубийца по призванию, но я думал, что это — насквозь литература (как было у Кукольника, у Леонида Андреева) — и вот литература стала правдой: по-другому зазвучат его

Скажите сестрам Люде и Оле,
Что ей уже некуда деться[1].

И вообще все его катастрофические стихи той эпохи — и стихи Есенину — о, перед смертью как ясно он видел все, что сейчас делается у его гроба, всю эту кутерьму, он знал, что будет говорить Ефим Зозуля, как будут покупать ему венки, он видел Лидина, Полонского, Шкловского, Брика — всех.

Позвонила Вера Георгиевна. Лили Брик, оказывается, за границей.

22/IV. Еду в трамвае. Вижу близорукими глазами фигурку, очень печальную — и по печальной походке узнаю, вернее угадываю — Зощенко. Я соскочил с трамвая (у Бассейной), пошел к нему. Сложное, мутное, замученное выражение лица. Небритые щеки — усталые глаза.— «Плохо мне».— «Что такое?»— «С театром... столько неприятностей. Актеры ничего не понимают... Косой пол делают. (В голосе тоска)... Звали меня сегодня в Большой драматический, чтобы я почитал им своего «Товарища», я обещал, не спал из-за этого всю ночь и кончил тем, что по телефону отказался... Хотя они все собрались». Очень удручен. Я стал говорить ему, что он самый счастливый в СССР человек, что его любят и знают миллионы людей, что талант его дошел до необыкновенной зрелости, что не дальше чем сегодня я читал вслух его «Сирень»— и мы хохотали до слез. Это его приободрило, он пошел провожать меня в ГИЗ — и особенно обрадовался, когда я случайно по другому поводу сказал ему, что Гоголя тоже ругали — именуя его вещи «малороссийскими жартами». Давно я не видал его в такой мизан-

тропии. Он говорит, что видеть никого не может, что Стенич ему надоел, но что без людей он тоже не может. Я сказал ему, чтобы он поехал в Сестрорецк и кончил бы там свою повесть «Мишель Тинягин»[2], которую он сейчас пишет. Он с испугом: «Я там и дня без людей не проживу. Мелькают, мне легче». О Маяковском: Зощ. видел его после провала «Бани» в *Народном доме*. Маяк. был угрюм, растерян, подавлен. «Никогда его таким не видел. Я сказал ему: «Вы всегда такой победительный». ⟨...⟩

Расставшись с Зощенко, я пошел в ГИЗ. Долго говорил с Камегуловым, к-рый мне очень понравился. Простой, искренний, весь на ладони, молодой.

Вышла моя книга «Рассказы о Некрасове». Я не рад, о нет — напротив. Она пошатнет мою редактуру Некрасова. Чует мое сердце беду. В ГИЗе упорно говорили, что покончил с собой Осип Мандельштам.

В ГИЗе я встретил Мишу Слонимского — в «Звезде». «Звезда» приятна тем, что в ней еще сохранился какой-то богемный дух. Вис. Саянов не сидит на одном месте, за редакторским столом, а бегает по комнате, присаживаясь с каждым новым сотрудником на новое место, то на подоконник, то на край стола. Стульев вообще мало и сидеть на столах — обычай. Всегда есть три-четыре ненужных человека, поэты, которые тут же читают друг другу стишки. Пальто вешаются на ручки дверей, на телефонные штепсели. Во всех остальных комнатах ГИЗа — кладбищенский порядок, дисциплина мертвецкой, а здесь еще кусок литературной жизни. Слонимский рассказывал, что Зощенко весь свой советский язык почерпнул (кроме фронта) в коммунальной квартире Дома Искусств, где Слоним. и Зощенко остались жить, после того как Дом Искусств был ликвидирован. И вот он так впитал в себя этот язык, что никаким другим писать уже не может.

О Маяковском Слонимский вспомнил, как в декабре 20 года Гумилев нарочно устроил в одном из помещений Дома Искусств спиритический сеанс, чтобы ослабить интерес к Маяковскому.

7 мая. Про Муру. Мне даже дико писать эти строки: у Муры уже пропал левый глаз, а правый — едва ли спасется. Ножка ее, кажется, тоже погибла. ⟨...⟩ Я ночью читал «Письма» Пушкина — и мне в глаза лезло *«слепец* Козлов» и т. д. Взял Лермонтова — «Слепец, страданьем вдохновенный». ⟨...⟩ Как плачет М. Б.— раздирала на себе платье, хватала себя за волосы. ⟨...⟩

11 мая. Позвонил Тынянов. «Как вы себя чувствуете? Дорогой мой! Завтра еду в Петергоф — на несколько дней — сейчас хочу к Вам». Он пришел изможденный — и целый час посвятил Муре. Подробно вникая в ее болезнь и советуя, советуя, советуя, что делать. Какие ужасы были с ним самим. ⟨...⟩ Он уверен, что кем-то указано не сбавлять ему, Тынянову, налога, в[о] что я, признаться,

не верю. К счастью, он продал в ГИЗ своего «Кюхлю» (новое изд.) по 225 р. за лист 5000 экз.— в качестве I-го тома собрания своих сочинений — все эти деньги и пойдут фининспектору. Перед этим он обратился было к Ионову (месяца 4 назад). Ионов сказал: «Старая книга, издательству нужно бы что-нб. поновее... ну так и быть, издам, 250 р. за лист, 10.000 экземпляров».— Это грабеж, но я согласился — чтобы заплатить фининспектору... Проходит месяц, два, три — от Ионова нет ответа — звоню Горлину, ответа нет. Вот каков Ионов!.. Еще яснее он показал себя в истории с пародиями. Дело в том, что год назад Леногиз навязал мне задачу сделать ему книгу пародий. Я сделал эту книгу, заплатив много денег моему помощнику Рейсеру. Но теперь, под влиянием новых течений, мне сообщают, что ГИЗ передал книгу «Пародий» — в «Academia». Отлично. Иду в «Academia» — получено письмо от Ионова: Тынянов хочет слишком дорого за предисловие (по поводу к-рого уже есть договор) — дать ему вместо 150 р.— 125 р.!!!

Я ответил, что дарю им предисловие — не беру ни копейки. Ионов поставил и второе условие: не 70 рублей за лист, а 40 (то есть меньше, чем Тынянов заплатил Рейсеру!!). На это я не согласился, и вот книга висит в воздухе[3].

Рассказывал, как вызвали его в «скорую помощь», где лежал при смерти его племянник. Он вызвал к племяннику профессора, но главный врач не допустил профессора.

Тынянов сказал: «Я настаиваю».

— А вы где служите?

Тынянов.— Вот этого я вам и не скажу.

Врач.— Ну тогда в виде исключения разрешаю. 〈...〉

12 мая. У меня был грипп. Я уехал и провалялся в Питере. Вчера полегчало, приехал к Муре. 〈...〉

11 мая был у меня Тынянов — соблазнял заграницей, Горьким, новыми лекарствами, внутривенным вливанием. «Поезжайте с Мурой в Берлин! На станции Am Zoo вас, по моей просьбе, встретят Гуль и Совин [нрзб.— *Е. Ч.*] — и устроят Муру в санатории — и она поправится быстро, или в Алупку — там д-р Изергин, великолепный старый врач. Санатория его имени. У моей кузины был болен сын — 40,2°, запросили Изергина телеграммой — ответил: привозите — мальчик здоров. Санатория помещается в Алупке-Саре».

Тынянов взбудоражил Саянова, Ольгу Форш, Илью Груздева.

Копылов говорит, что у Муры нога заживает. «Если все пойдет хорошо, мы через две недели снимем гипс — и знатно прогреем твою ногу на солнышке». 〈...〉

25/V. 〈...〉 Мура вчера была в самом веселом настроении: я читал ей Шиллера «Вильгельм Тель», и ее насмешила ремарка: «барон, умирающий в креслах». Читали мы еще «Конька Горбунка» и начали «Дитя бурь». 〈...〉

30/V. Изучаю народничество: читаю Юзова (Каблица), Михайловского, Эртеля и проч. и проч. Обложен со всех сторон «Отечественными записками» 70-х годов.

1/VI. ⟨...⟩ Напишу-ка я лучше о том, что сейчас волнует меня больше всего (после болезни Муры). Я изучил народничество — исследовал скрупулезно писания Николая Успенского, Слепцова, Златовратского, Глеба Успенского — с одной точки: что предлагали эти люди мужику? Как хотели народники спасти свой любимый народ? Идиотскими, сантиментальными, гомеопатическими средствами. Им мерещилось, что до скончания века у мужика должна быть соха — только лакированная,— да изба,— только с кирпичной трубой, и до скончания века мужик должен остаться мужиком — хоть и в плисовых шароварах. У Михайловского — прогресс заключается в том, чтобы все мы по своему духовному складу становились мужикоподобными. И когда вчитаешься во все это, изучишь от A до Z, только тогда увидишь, что *колхоз* — это единственное спасение России, единственное *разрешение* крестьянского вопроса в стране! Замечательно, что во всей народнической литературе ни одному даже самому мудрому из народников, даже Щедрину, даже Чернышевскому — ни на секунду не привиделся колхоз. Через десять лет вся тысячелетняя крестьянская Русь будет совершенно иной, переродится магически — и у нее настанет такая счастливая жизнь, о которой народники даже не смели мечтать, и все это благодаря колхозам. Некрасов — ошибался, когда писал:

> ...нужны не годы —
> Нужны *столетья,* и кровь, и борьба,
> Чтоб человека создать из раба[4].

Столетий не понадобилось. К 1950 году производительность колхозной деревни повысится вчетверо.

5/VI. ⟨...⟩ Объяснение со Шкловским. Удивительно: он всегда в лицо говорит мне комплименты, называет меня лучшим критиком, восхищается моими статьями, а в печати ругает мерзейше,— щиплет мимоходом, презрительно. Я сказал ему об этом. Он объяснил: что он и тогда, и тогда искренен,— и так убедительны были его объяснения, что я поверил ему.

Вечером был у Тынянова. Говорил ему свои мысли о колхозах. Он говорит: я думаю то же. Я историк. И восхищаюсь Ст[алин]ым как историк. В историческом аспекте Сталин как автор колхозов, величайший из гениев, перестраивавших мир. Если бы он кроме колхозов ничего не сделал, он и тогда был бы достоин назваться гениальнейшим человеком эпохи. Но пожалуйста, не говорите об этом никому.— Почему?— Да, знаете, столько прохвостов хвалят его теперь для самозащиты, что если мы слишком громко начнем восхвалять его, и нас причислят к той же бессовестной группе. Во-

обще он очень предан Сов. власти — но из какого-то чувства уважения к ней не хочет афишировать свою преданность.

Я говорил ему, провожая его, как я люблю произведения Ленина.

— Тише,— говорит он.— Неравно кто услышит!

И смеется.

Это мне понятно. Я очень люблю детей, но когда мне говорят: «Ах, вы так любите детей»,— я говорю: «Нет, так себе, едва ли».

Начало июля. Числа не помню. Пришла в голову мысль: написать книгу под заглавием «Жизнь моя». Очевидно, это — наваждение старости. Вспоминаю такое, чего ни разу не вспоминал за все эти сорок лет. Тумбы у наших ворот. Гранитные. Я стою. Мне года четыре — а все вечером идут из парков, с бульваров с букетами. Я прошу у проходящих:

— Дайте бузочку!

Вдруг какая-то ж[енщи]на говорит:

— Ах, какой красивый мальчик! Позволь я тебя поцелую!

— Дай три копейки!— говорю я.

Сам я этого эпизода не помню, но рассказывала Маланка.

Какая странная судьба у Маланки! Дворник соседнего дома Савелий — нелепое чучело — показал ей в какой-то шкатулке свои сторублевые облигации. Она поверила, что он богач, и вышла за него замуж. А вскоре оказалось, что это были не облигации, но... объявления о швейных машинах Зингера — такие же красивые и с цифрою сто. История л-ры не по мне. Чорт меня дернул заниматься ею! Нельзя на пятом десятке *начать* заниматься историей. Никакое чтение, самое жадное, здесь не поможет!

Конец июля [19]. Разбирал письма о детях, которые идут ко мне со всего Союза. В год я получаю этих писем не меньше 500. Я стал какая-то «Всесоюзная мамаша»,— что бы ни случилось с чьим-нибудь ребенком, сейчас же пишут мне об этом письмо. Дней 7—8 назад сижу я небритый в своей комнате — пыль, мусор, мне стыдно в зеркало на себя поглядеть — вдруг звонок, являются двое — подтянутые, чудесно одетые с очень культурными лицами — штурман подводной лодки и его товарищ Шевцов. Вытянулись в струнку, и один сказал с сильным украинским акцентом: «мы пришли вас поблагодарить за вашу книгу о детях: вот он не хотел жениться, но прочитал вашу книгу, женился и теперь у него родилася дочь». Тот ни слова не сказал, а только улыбался благодарно... А потом они отдали честь, щелкнули каблуками — и хотя я приглашал их сесть — ушли. ⟨...⟩

6 сентября. Мы в Севастополе. Ехали 3 ночи и 2 $^1/_2$ дня. В дороге Муре было очень неудобно. В купе — 5 человек, множество вещей, пыль, грязь, сквозняк. Она простудила спину, t° взлетела у нее до 39, она стала жаловаться на боль в *другой* ноге, у нее заболело

колено больной ноги; мы в линейке повезли ее в гостиницу «Курортного распределителя» (улица Ленина). Окно, балкон, три кровати, диван — она, бедная, в страшном жару; чуть приехала, оказалось у нее почти 40. Отчего? Отчего? Не знаем. Кинулись в аптеку, заказать иодоформенные свечи — нет нужных для этого специй!!! Мура в полудремоте — лежит у балкона (погода пасмурная) и молчит. Изредка скажет: «Совсем ленинградский шум» (это очень верно, Севастополь шумит трамваями, авто,— совсем как Питер). Ты куда, Пип? Бобочка незаменим: привез вещи, сбегал в аптеку, перенес все чемоданы, побежал на базар. У меня всю дорогу продолжался неликвидированный грипп. 〈...〉

7.IX. В Алупке. Ехали из Севастополя с невероятными трудностями. Накануне подрядили авто на 9 час. утра. Мура проснулась с ужасной болью. Температура (с утра!) 39°. Боль такая, что она плачет при малейшем сотрясении пола в гостинице. Как же ее везти?! Утром пошел в «Крым-шофер». Там того, кто обещал мне машину, не было. 〈...〉 Когда я вернулся в № 11, где мы остановились, боль у Муры дошла до предела. Так болела у нее пятка, что она схватилась за меня горячей рукой и требовала, чтобы я ей рассказывал или читал что-нб., чтобы она могла хоть на миг позабыться; я плел ей все, что приходило в голову,— о Житкове, о Юнгмейстере, о моем «телефоне для безошибочного писания диктовки». Она забывалась, иногда улыбалась даже, но стоило мне на минуту задуматься, она кричала: ну! ну! ну! — и ей казалось, что вся боль из-за моей остановки. Когда выяснилось, что автомобиля нет, мы решили вызвать немедленно хирурга (Матцаля?), чтобы снял Муре гипс — и дал бы ей возможность дождаться парохода. Я побежал к нему, написал ему записку, прося явиться, но в ту минуту, как мы расположились ждать хирурга, мне позвонил Аермарх, что он достал машину.

Машина хорошая, шофер (с золотыми зубами, рябоватый) внушает доверие, привязали сзади огромный наш сундук, уложили вещи, Боба вынес Муру на руках — и начался ее страдальческий путь. Мы трое сели рядом, ее голова у меня на руках, у Бобы — туловище, у М. Б. ее больная ножка. При каждой выбоине, при каждом камушке, при каждом повороте Мура кричала, замирая от боли,— и ее боль отзывалась в нас троих таким страданием, что теперь эта изумительно прекрасная дорога кажется мне самым отвратительным местом, в к-ром я когда-либо был. (И найдутся же идиоты, которые скажут мне: какой ты счастливец, что ты был у Байдарских ворот,— заметил впоследствии Боба.) Муре было так плохо, что она даже не глянула на море, когда оно открылось у Байдарских ворот (и для меня оно тоже сразу поблекло) 〈...〉. Как мы считали по столбам, сколько километров осталось до Алупки. Вот 12, вот 11, вот 6, вот 2. Вот и Алупка-Сара — вниз, вниз, вниз — подъезжаем, впечатление изумительной роскоши, пальмы, море, белизна, чистота! Но... принял нас только канцелярист, «Изергин с депутацией»,

стали мы ждать Изергина, он распорядился (не глядя) Муру в изолятор (там ее сразу же обрили, вымыли в ванне), о как мучилась бедная М. Б. на пороге — мать, стоящая на пороге операционной, где терзают ее дитя, потом Изергин снял с нее шинку — и обнаружил, что у нее свищи с *двух сторон*. Т. к. нам угрожало остаться без крова, мы с Бобом, не снимая чемоданов — с сундуком — поехали на той же машине в г-ницу «Россия», где и сняли №.

11 сентября. Алупка. Вот и Боба уехал. ⟨...⟩ Муре по-прежнему худо. Мы привезли ее 7-го к Изергину, и до сих пор температура у нее не спала. Лежит, бедная, безглазая, с обритой головой на сквозняке в пустой комнате, и тоскует смертельной тоской. Вчера ей сделали три укола в рану. Из[ергин] полагает, что ее рану дорогой загрязнили. Вчера она мне сказала, что все вышло так, как она и предсказывала в своем дневнике. Собираясь в Алупку, она шутя перечисляла ожидающие ее ужасы, я в шутку записал их, чтобы потом посмеяться над ними,— и вот теперь она говорит, что все эти ужасы осуществились. Это почти так, ибо мы посещаем ее контрабандой, духовной пищи у нее никакой, отношение к ней казарменное, вдобавок у нее болит и вторая нога. М. Б. страдает ужасно.

12.IX. Лежит сиротою, на сквозняке в большой комнате, с зеленым лицом, вся испуганная. Температура почти не снижается. Вчера в 5 час. 38,1. Ей делают по утрам по три укола в рану — чтобы выпустить гной, это так больно, что она при одном воспоминании меняется в лице и плачет. ⟨...⟩

Крым ей не нравится:

— Понастроили гор, а вот такой решетки построить не могут!— сказала она, получив от Лиды открытку с решеткой Летнего сада. ⟨...⟩

Воспитательниц в санатории 18. Все они живут впроголодь — получают так называемый «голодный паек». И естественно, они отсюда бегут. Вообще рабочих рук вдвое меньше, чем надо. Бедная Мура попала в самый развал санатории. ⟨...⟩

13 сентября. Вчера я был в Колхозе, в татарской деревне Кикенеиз, на горе, в 12 км. от Алупки. Поехали мы из Бобровки: зубной врач Ванда Сигизмундовна Дыдзуль, д-р Константин Федорович Попов, кухонный мужик (или повареное) Федя (член месткома Бобровки) и Тамара *в красной косынке*, педагогичка Бобровки. Бобровка дала нам линейку и лошадь, единственную лошадь, которая у нее осталась (2 автомобиля у них отняли). Назначено было выехать в 7 часов. Выехали в $^1/_2$ 10-го, т. к. лошадь не возвращалась с базара. Старик Изергин, видя, что я брожу неприкаянный, позвал меня к себе, напоил чаем. ⟨...⟩ Зубной врач Ванда, литвинка, оказалась и поэтессой и художницей и тараторила без конца на тысячу разных тем. Она рассказала мне, как Тубинститут теснит Изергина. Построили в его костно-санатории целый корпус для *легочных* больных, в то время как давно уже признано, что легочных и

костных совместно держать невозможно. Во время голода Изергин все же сохранил свой санаторий, сам ездил за провизией, и когда у него хотели ее реквизировать, говорил: возьмите вот это, это я везу для себя, а этого не троньте, это — для больных детей; во время землетрясения он спас всех детей от катастрофы, и вот теперь новые люди, не знают его работы, смеют говорить, что он корыстный человек, белогвардеец и проч. Это она выпаливала громко и бойко, нарочно донимая этим Попова, про которого сама же шепнула мне, что он-то и есть враг Изергина. Она против этих поездок в колхоз: «Отрывают нас от работы в санатории, здесь и так не хватает рук, лошадь нужна, чтоб возить больных ребят к морю, лучше бы колхоз завел у себя фельдшерский пункт и т. д. Эти приезды врачей и педагогов в подшефный колхоз вообще похожи на комедию,— говорила она.— Педагоги на глазах у татар воруют виноград, татары говорят: «Ай да шефы!» и проч. и проч.

Между тем мы забирались в горы все выше, дорога идет зигзагом, становилось прохладно, на вершинах облака, вот и Симеизская кошка (гора, сползающая к морю, как кошка), вот Монах, вон гора Диво, вон гора Верблюд, а мы ползем все выше, среди каменистых безлистных гор — подъехали в сельсовет. ⟨...⟩ Колхоз сконструировался 19 ноября 1929 года. Всех хозяйств вошло в него 106 (из них 58 бедняцких, 49 середняцких, батраков), 3 одиночки: учитель, избач, культурник. С кулаками борьба была жестокая, 10% всего населения — политзаключенные (часть из них, впрочем, возвращена, восстановлена в правах). Колхоз разработал много диких земель — и вот в общем теперь у него табаку $27^1/_2$ га, винограду $35^1/_2$ га, сад $15^1/_2$ га, огород 10 га; колхоз завел новую школу, антисейсмическую, оборудовал новую амбулаторию (где еще нет стационара), закрытую столовую — для школы, для очага, для колхозников.

С грустью отметил Бобрищев, что работа в колхозе вялая, что крестьян[ин] для ком[м]уны работает не так энергично, как работал он для себя, что колхозники сами себя обманывают, набирая вдвое больше талонов на обед, чем им нужно,— но тут же указал, что понемногу эти недочеты исправляются. Особенно обидно колхозникам, что они продают кило винограду по 75 коп., а частник свез ночью тайком свой виноград и продал по 2 с полтиной, но теперь решено привлекать частников к судебной ответственности за нарушение твердых цен — и дело пойдет аккуратнее. Тракторов нет: спецкультуры. ⟨...⟩ Я пошел в школу. ⟨...⟩ В школе зав — новый, но его помощник, лет 22-х, ярый большевик. Когда в 1924 году похерили арабский алфавит и стали вводить латинские буквы, старики татары так разъярились, что этому учителю пришлось бежать из деревни. В школе около 110 учеников, охвачены школой почти 100%; учитель этот Аладинов принимал большое участие в раскулачении Кикенеиза; и частенько ему приходилось сидеть в подвале, т. к. ему кулаки писали анонимные письма о том, что он будет убит. Получив три таких письма, он жаловался

даже в ГПУ, и кажется, по почеркам установил личности писавших. Впрочем, он говорит таким ломаным языком, что трудно понять *весь* смысл его рассказов. Мулла тоже раскулачен теперь, работает на Урале. Просветительной работой здесь считается и борьба за оголение тела. Татары, находясь среди такой великолепной природы, оказывается, прячут свое тело от солнца; женщины обматывают бедра платками и летом и зимой носят юбки до пояса, (так в оригинале.— *Е. Ч.*) и учителям приходится проповедовать трусики, как знамя культуры. Уходя с детьми в экскурсию, подальше от родителей, татарский педагог заставляет детей по возможности тайком обнажиться...

Надвинулись тучи, по горам заклубился туман, стало гриппозно, ангинно, и мы погнали нашу клячу вниз — и через 2 часа были в Бобровке. Мурочка плачет от боли в *обеих* ногах. Мне больно видеть ее в таком ужасно угнетенном состоянии. Я пробую ее развлечь, но меня гоня́т — и мы с М. Б. едем в Алупку, тоскуя.

14 сентября. Уже западная часть Алупки покрылась вишневым цветом, и сверкает какое-то стеклышко от невидимого мне (на балконе) восходящего солнца. Синева неба стеклянная, и не верится, чтобы в этих торжественно белых домах, под кипарисами, в этот рассветный час, жили бы те тупомордые, хамоватые, бездарные люди, которые заполняют пляжи и столовые. Какое счастье идти по берегу в Симеиз — вдыхать запах теплого терпкого моря, как мила здесь каждая тропа под ногой.

Вчера Муре было лучше: утром 36,9, вечером 37,3. Она повеселела чуть-чуть. 〈...〉

17 сентября. Мы тратим в гостинице безумные деньги и через 2 месяца станем банкротами. Поэтому я решил посе́литься в санатории, а для этого надо было обратиться в Курупр, который находится в Ялте. Решили с М. Б. отправиться в Ялту. 〈...〉 Ялта мне показалась отвратной. Пошлые домишки, мелкие людишки, архитектура ничтожная, набережная надоедает в первый же миг. Все в архитектуре дробно, суетливо, лживо, нелепо — вроде тех ракушечных коробок, которые изготовляет здесь «артель ракушечников». Все это, должно быть, выкупалось обилием плодов земных, груш, винограду, яблок, но теперешний рынок — сплошная мизерня, сидят торговки с двумя помидорами и ждут, когда их прогонят. Мы купили колбасы, 2 кило винограду — и пошли в культурную чайную. 〈...〉

21/IX. Вчера я видел странное заседание, которое было лежанием. Даже председатель лежал с колокольчиком, причем он был крепко привязан к кровати, а к подбородку был прикреплен довольно тяжелый мешочек.

Когда я вошел, заседание было в разгаре: итак, мы объявили соревнование со старшими на лучшую молчанку, на лучшую еду,

на лучшее лежание. Такие-то и такие объявили себя ударниками и подписали бумагу: «Мы обязуемся спать за молчанкой, не жвачничать, не кричать, не портить вещи и книги, говорить правду, хорошо лежать».

Лежат под тентом на деревянных кроватках около полусотни детей — у них перед глазами теплое, доброе море, а за спиною Ай-Петри. Они горбаты, безноги, они по четыре года лежат привязанные к перилам кровати, у многих ноги в гипсе, у многих весь корпус, лежат — и не плачут, не скулят от тоски, а смеются во весь рот, читают, играют в мяч — и вот митингуют. ⟨...⟩

27/IX. Прошла гроза. Воздух ясен. Алупка словно умытая. Вчера был у детей в Симеизе. Восторг. Обнимали меня, угостили, надарили мне открыток. И требовали сказок. Еще, еще! Мурочки не видал: удушила корректура Николая Успенского. ⟨...⟩

30.IX. Третьего дня утром мы с М. Б. поехали пароходиком к Ценскому, которого не видели 17 лет. К сожалению, у нее началась в дороге морская болезнь, и она в Ялте вышла, а я поехал дальше. В Ялте мы посетили Ванду Станиславовну, к-рая в чепчике, в постели, и возле нее Мих. Чехов, 66-летний старик, которого я сразу почему-то невзлюбил,— за то, что он загримирован Антоном. Похож до противности — и тем сильнее подчеркнута разница. Он рассказал, что начальство требует, чтобы сняли из комнаты Антона Павловича икону, а между тем икона вошла в инвентарь... и т. д. Сказал, что скоро умрет. Что в «Academia» его воспоминания. ⟨...⟩ Алушта великолепно описана Ценским в «Вале». Жидкий парк. Грязноватый пляж. Казенное белое здание на берегу в стиле Алекс. III—будто ленинградское. «Извозчик, к Ценскому!» — «5 рублей!» Встретились две гречанки—швея и подавальщица в столовой. Жизнерадостные, повели меня к Ценскому, горной тропой влево, вверх—такие же добрые, как вся эта мягкая и добрая местность. Особенно очаровал меня вид хребта, к-рый идет к Судаку—пологий, голубой. Где же Ценский? За Манюшкинской дачей.— Только вы не боитесь к нему идти?— спрашивали гречанки.— Он никого к себе не пускает.— Почему?— Он какой-то странный.— Мы его жену знаем, а его даже боимся немного. Ц[енский] старше меня на 4 года, но кажется лет на 10 моложе. Очень стал похож на Макдональда. Стиснул меня в объятиях — мускулистыми, очень крепкими руками. Голос тот же: бас — с хохотком. Убранство дачи совсем не такое, как я ожидал. Мне чудилось, что он живет дикарем, в трущобе, в берлоге, оказались 4 очень чистые комнаты, уставленные всевозможною чинною и даже чопорною мебелью. Есть у него даже дубовый буфет — староанглийский — с фигурками из Библии. На стене плохонькие картинки, крошечный «Лаокоон», но есть пейзаж Анисфельда и Нарбута рисунок по поводу «Бабаева»: «У него было лицо как улица». Расспросив меня о Муре, о Коле, Ц[енский] стал говорить о себе. Очень, очень доволен своим

положением. Думаю, что во всей СССР нет ч[елове]ка счастливее его. Абсолютно независим. Богат. Занимается любимым искусством. Окружен великолепной природой. Его жена Христина Михайловна, чуть ли не рижская немка, избавила его от всяких сношений с внешним миром, столь для него тягостных. Как потом я убедился, у него в особом сарайчике есть поросята, есть корова, есть множество кур, три собаки — словом, сытость и комфорт до предела.— Вы не дурак, оказывается,— сказал я ему.— Забаррикадировались от всей современности.— «О!— закричал он (он часто кричит басом, могучей грудью) — я все это предвидел, все предсказал еще в 905 году. Я видел, куда это идет!— и все надо мною смеялись, когда я завел себе это гнездо!» Он вообще любит в разговоре выхвалять себя, свои произведения, свои поступки, цитировать свои былые разговоры, в к-рых он оказался пророком или кого-нибудь срезал. «А я ему говорю»— и тут он приводит сказанное им лет 25 назад — эффектное победоносное слово. Вообще он говорит, как триумфатор. «А я говорю (какому-то московскому заву) — скажите ему, что он еще под стол не ходил, когда Ценский был уже знаменитым писателем». О Куприне: Куприн, который всегда придирался к нему и завидовал ему, спросил его, что он думает о «Яме». Ценский «Яму» выругал. «Значит, вы думаете, что вы пишете лучше меня?» — «Еще бы!» — ответил ему я. «Но почему же меня читают сотни тысяч, а у вас почти нет читателей?»— «А вот почему: вообразите виртуоза, великого музыканта, он приезжает в провинцию, где хороших меломанов всего только 100 человек, играет он вдохновенно, но на его концерт придут только 100 человек. И представьте себе дальше, что в том городе (тут он повысил голос) есть шарманщик, пошлый шарманщик, который играет (тут он спел гнусавую мелодию), и вот этого шарманщика провожает большая толпа, изо всех окон его слушают кухарки и лакеи, и только на самом верхнем этаже открывается форточка, оттуда высовывается рука студента, к-рый бросает шарманщику пятак (последний пятак, припасенный на покупку булки) и кричит: «Возьми деньги и сейчас же уходи».

Ц. чудесно рассказал, как Куприн взял при этом за горлышко бутылку горькой, а он, Ценский, бутылку шампанского: так и стояли они друг против друга в выжидательных позах. Их розняли Скиталец и другие, и Куприн ушел на балкон. Когда Ц. глянул к нему, оказалось, что Куприн — плачет.

Рассказывал, как у него хотели отнять мандат на право владения коровой — и как он утер им всем носы. Они все в кольцах, в шубах, он в рваном плаще пришел к ним. Один из них: «Почему вам выдали этот мандат?» Ц.: не почему, а для чего. Видите ли, я, как и лес, представляю собою некую государственную ценность, и меня как лес решено охранять. Для этого и дан мне мандат. Против бандитов и диких волков мандат недействителен: когда меня хочет растерзать волк, дико представлять ему мандат, но вы не звери, не бандиты, вы обязаны повиноваться государств. требо-

ваниям и для вас этот мандат обязателен. И т. д. и т. д. И благодаря таким темпераментным и находчивым ответам, корова была оставлена за Ценским. «Меня здесь даже святым прозвали, ейбогу. Я ведь действительно очень добрый. Никому ни в чем не отказываю. А может быть, это потому, что я вырыл колодезь». И он повел меня по горам, на табачные плантации, небольшой участок, к-рый до революции принадлежал ему, и там ничем не огороженный выложенный бетоном — глубокий колодезь, куда может упасть всякий прохожий. «Этот колодезь устроил я. Около тысячи рублей заплатил. Никто не верил, что здесь может быть вода, но я...»

Из моих записей может показаться, что я обвиняю его в хлестаковстве. Но все его рассказы так живописны, тон такой искренний и по-детски запальчивый, почти всегда все мое сочувствие было на его стороне. По поводу его «Лермонтова» было несколько ругательных рецензий — и как он ненавидит рецензентов: *Софью* Гинзбург он называет *Сурой*, а Николая Лернера — Натаном. (Впрочем, когда я сказал ему, что тоже считаю эту вещь неудачной, он почти согласился со мною, но тех ненавидит до кровомщения.)

Показывал последние переводы своих рассказов. Какая-то Труханова перевела один его рассказ на франц. язык (« Cahiers de la Russie nouvelle»*) и в «Outlook»** его рассказ переведен John'ом Cournoss'ом.

Да, забыл сказать, что на стене у него висят Толстой, которого он не любит, и Репин, уже дряхленький рамоли — но милый улыбающийся — с нежною надписью...

Долго рассказывал Ценский, как в Симферополе он остановил еврейский погром, если не остановил, то — все же выступил на защиту евреев, с опасностью для собственной жизни. Как его обвинили в том, что он, офицер, смеет обвинять военную власть в пособничестве погромщикам, и как он срезал своего полковника, который в конце концов предложил ему, прапорщику, стул. Очень живописно, с большим изобилием подробностей изобразил он погром в Симферополе — как 67 офицеров отвернулись от него, от Ценского, он один стоял против 67. В его рассказах всегда выходит так, что он один стоит против 67.

Бранит Бабеля. «Что это за знаменитый писатель? Его произвели чуть не в Толстые, один Воронский написал о нем десятки статей, а он написал всего 8 листов за всю свою жизнь!» Я протестовал, но он стоял на своем: «ни Бабель, ни Олеша не могут быть большими писателями: почему они пишут так мало. Бабель напишет рассказ и сам же его в кино переклеивает. А Олеша — Горький не мог досмотреть его «Зависть». Мы были с ним вместе, он посмотрел один акт и сказал: ну, я пойду».

Мне понятно в Ценском такое презрение к малопишущим. Сам он пишет легко и безоглядно, в нем неиссякаемый фонтан творческий. Его стихи хоть и безвкусны, наивны, провинциальны — но

* «Альманах новой России» (*франц.*).
** «Обозрение» (*англ.*).

«фонтанны»: они хлынули из него сразу и не стоили ему никакого труда. Прозу он пишет почти без помарок.

К истории с коровой: ему сказали:

— Можете идти. Вы свободны.

Он: — Я-то знаю, что я свободен, я был и буду свободен, а вот свободна ли корова?

Стихи свои он хотел прочитать мне на холме — перед горою Кастель, Чатырдагом и морем. И сказал: прежде чем я прочту вам стихи, вглядитесь в этот пейзаж: они — о нем. Я стал вглядываться. Но вдруг внизу, далеко, показались две фигуры, женские, которые минут через 20 могли бы подняться к нам. Он зашептал: «нет, я не буду читать! Идем скорее! Люди!» — и кинулся домой.

Человекобоязнь. Он несколько раз излагал, как пришли к нему такие-то или такие-то люди — «и я их, конечно, выгнал». Но тут же я узнавал о его огромной доброте — о том, сколько он раздавал молока, сколько он давал денег — а в конце убедился и в том, как он добр по отношению ко мне: когда я уезжал, его жена положила мне в корзину кулич, подарила мне фунта 4 миндалю (с собственного дерева), он подарил мне книги («Валю» и «Печаль полей») — и корзину для купленного мною винограда (за виноградом ходили мы вместе. Он, вопреки своим правилам, спустился вниз в Алушту, к татарам). И вообще доброта, простодушие, жалость ко мне (из-за Муры) все время сказывалась в его речах. Утром он и она пошли провожать меня на катер. Я спустился вниз — и вдруг на полдороге вспомнил, что забыл корзину с виноградом. Она побежала вверх, в гору, чтобы достать виноград, чтобы не опоздать. Я ушел очень обласканный и сильно злюсь на себя, что у меня написалось теперь столько злого.

Ценский человек замечательный: гордый, непреклонный, человек сильной воли, свободолюбивый, правдивый. Если он переоценивает себя, то отнюдь не из мелкого эгоизма: нет, для него высокое мнение о себе есть потребность всей его жизни, всего его творчества. Без этой иллюзии о собственном колоссальном величии он не мог бы жить, не мог бы писать. Ни одной йоты гейневского или некрасовского презрения к себе в нем нет, он не вынес бы такого презрения.

10/X. Был у Муры третьего дня. Я теперь живу в Гаспре в одной из башен и пишу о Слепцове. Здесь очень уютно писать, днем я почти не покидаю комнаты и даже радуюсь, что мое окно выходит не на море, не на горы, а в густой сад, почти не пропускающий солнца. Ученые меня не слишком радуют здешние: напр., когда умер Репин, разговоры здесь были такие:

— Все консервы да консервы — надоело!

— У меня ноют мозоли — к дождю!

— Ах, какую я нашла гадалку — замечательную!

Играют в карты. 〈...〉 Чтобы повидаться с Мурой, я прошел 17 верст. Туда $8^1/_2$ и обратно. Мура занимается арифметикой. 〈...〉

Просит принести Жюль Верна. Узнала, что у кого-то из детей есть улитка.— Достань мне улитку, я посажу ее на диванчик!

Я достал ей 8 улиток — и роздал около десятка другим детям. Потом нарвал для улиток дубовых листьев — и каждому дал по листу. Мура со смехом рассказывает, что Марина спросила ее:

— Твой папа написал «Конька Горбунка»?

— Нет, не мой папа, Ершов!

— А Пушкина твой папа написал?

До чего неразвиты здешние дети! Меня познакомили с поэтом Никитиным, к-рый не знает ритмов. Я решил показать ему ямбы, хореи и проч. И что же! Оказалось, что он не знает, что такое *ударение*. Пишет стихи, но не может понять, на каком слоге стоит ударение. ⟨...⟩ Приготовлениями к Октябрьским торжествам [Мура] увлечена очень:

По их почину целый мир
Охвачен пламенем пожара,—

твердит со всей санаторией, но спрашивает меня: «Что такое почин?» Ее остригли. ⟨...⟩ Мы переехали на частную квартиру. Ревут пароходики, бегают мимо балкона авто. Рядом, неподалеку доктор Иванов. Вчера он рассказывал нам свою жизнь. Жизнь поразительная. Он окончил духовную семинарию и духовную академию с отличием, и уехал в Томск учиться медицине, ибо только в Томске, в Варшаве и Юрьеве можно было семинар[ист]ам поступать в университет. Денег у него было 51 рубль. Он 50 внес за лекции, и на жизнь у него остался 1 рубль. Что тут делать? Он поступил в церковный хор певчим. «Удивляюсь, как не подох: ведь слякоть, мокрый снег, ветер, а я иду в летнем пальтишке за гробом и пою или в 50-градусный сибирский мороз. Так я пением и добывал себе средства до самого конца медицинского курса». Потом война. На войне его ранили — он участвовал в Мазурских боях, рукопашных, когда из 2000 ч[елове]к уцелели только 200, «это была такая мясорубка, ведь сибиряки дюжий народ, молодцы, рвались в бой, цвет Сибири,— и всех, всех искромсало, я потом когда в бреду увижу то, что видал там наяву, просто холодею от ужаса». Был ранен, рана загноилась, целый год был между жизнью и смертью и приехал сюда. Голос у него задушевный, чудесный человек. ⟨...⟩

2 ноября. Был вчера у Муры. Погода теплая. ⟨...⟩ Готовятся к Октябрьским торжествам. Украинец *Ваня Коваленко* готовит транспарант — вырезывает из бумаги буквы:

Всегда вперед
Плечо к плечу
Идем на смену
Ильичу.

Он «из деревни Михайловки Каменского района». Пишет он так: «Рабочие при царе работали целимы днямы и ночамы, а жили в тьомных подвалах; им не хватало на прожитья, а семьї було много... Так казнили рабочих за ихну работу».

Развитие детей: жираф это журавль? Жираф и кенгуру одно и то же? Зарубежный — кого зарубили? 〈...〉

7 ноября. Октябрьская годовщина. Солнце жжет вовсю. Ни облака. Море сверкает. 〈...〉 Пишу об Изергинском санатории. Тон фальшивый, приподнятый. Собираюсь в Питер.

19 ноября. В Москве с 15-го. Видел: Ефима Зозулю, Воронского, Кольцова, Шкловского, Ашукина, Розинера, Черняка, трех «мальчиков» Шкловского (Тренина, Гриця и Николая Ивановича) и Пастернака. Вчера был в «Зифе» у Черняка. Зашел поговорить о Панаевой. Вдруг кто-то кидается на меня и звонко целует. Кто-то брызжущий какими-то силами, словно в нем тысяча сжатых пружин. Пастернак. «Какой вы молодой,— говорит,— вы одних лет с Колей. Любите музыку? Приходите ко мне. Я вам пришлю Спекторского — вам первому — ведь вы подарили мне Л[омоносо]ву. Что за чудесный человек. Я ее не видел, но жена говорит...»

Оказывается, лет пять назад я рекомендовал П[астерна]ка Л[омоносо]вой, когда еще муж ее не был объявлен мошенником. И вот за это он так фонтанно, водопадно благодарит меня[5]. Сегодня буду у него. Вчера вечером был у Шкловского.—«В пятой роте в домике низком». Александровский пер.— в Марьиной роще. Домики маленькие, воздух чистый, василеостровский. Вход очень неопрятный, но внутри чистота и налаженный, веселый порядок. Вещи уложены, как в хорошем чемодане. Одна комнатка, где очень в тесноте, но тоже как-то изящно, не хламно — спят трое детей — Василиса, Варвара, Никита. 〈...〉

Шкловский — в нем что-то есть тяжеловесное, словно весь он налит чугуном, и походка у него монумента — показывает свои книги, лежащие в преувеличенном порядке в чемоданной комнатке, с которой он сросся. Вот «Российская Вифлиотика», Плюшар, вот Вельтман — книг около аршина у Вельтмана — Зотов, Александр Орлов,— и т. д. Жена его больна, угощала свояченица: мясо, конфеты, мед. Звонок: Илья Груздев. Хотя Груздеву лет 32, но он уже грузен и, как 48-летний, любит поговорить о политике. Будет ли война? Правый уклон, левый уклон, кто победит и т. д.

Шкл.: Я в случае войны увезу семью в дешевый город, где еще нет никаких следов пятилетки.

Город стоит 2 тысячи, а бомба 8 тысяч, не станут тратить таких денег на такую дешевку.

Потом стали говорить, сколько панических слухов теперь ходят в обывательской среде. Мне на днях сказали, что расстрелян NN. Прихожу в Дом Герцена, а он там сидит и чай пьет.

— «Тише, он еще не знает!» — сказал я.

Груздев солидно уверял, будто Запад не хочет воевать с нами, я сказал, что войны не будет, но тут Шк. вспомнил, что накануне импер. войны я тоже уверенно говорил: «войны ни за что не будет», и он, Шк., тогда мне верил. Говорили, будто художник

Милый Мур.

„В Крыму урчит. На Черном море шторм". Эти слова (транспарантными буквами, сделанными из электрических лампочек) бегают на крыше „Известий". И конечно, мне сейчас же представилось, что Ваш серебряный корпус перевернут вверх ногами, вот так:

Этот Домик свалился в воду.

И поплыл по волнам.

Бурей его унесло в Константинополь.

Все турки выбежали смотреть

Угостили Вас рахат-лукумом и халвой, познакомили Вас с турчатами — и отправили в Азию

Письмо к Муре

на очень большом пароходе.

Я видел Копылова: он бывает у нас. Он тебе кланяется. Я был у Тыняновых и читал Инночке твои стихи. Инна в восторге. Она сейчас пишет рассказ прозаический и хочет прислать тебе, когда кончит.

—

У меня бессонница. Хочу скорее в Ленинград. Но я нашел здесь рукописи Некрасова (с неизданными его стихами) и сейчас работаю над ними в музее. Был здесь в магазине марок, хотел купить для Бухмана альбом, но и в Москве сейчас альбомов нет. Если тебе не удается писать мне, не пиши; я знаю о тебе всё от мамы. Пусть мама подробно напишет мне, что делалось у Вас во время шторма.

Твой Пип.

Лиде, Тамаре, Зоське
и Майку
привет.

Я был в Сестрорецкой санатории. Видел Аню.

Москва, 1930 г. Печатается впервые

Галлен — теперь фашист. «А ведь был друг Горького». Я напомнил, что Галлен всегда был финский националист, ибо вспомнил его картины о Ваннемейнене. «А Ваннемейнен хорошо если конституционалист-демократ»,— сказал Шкловский.

О приближающемся суде над вредителями ⟨...⟩ Илья Груздев забеспокоился о том, что у нас отнимут авторское право.

— Нет,— сказал Шк.— Оказывает[ся], что Маркс был за авторское право.

На столе у него в библиотеке среди книг XVIII века «Капитал» Маркса, видимо, усердно читаемый.

Все время Шкловский через каждые пять минут напевает:

Не могу того таити...

Заговорили о Воронском. «Его сослали в классиков». А Каменеву разрешили редактировать «Женитьбу». «Ревизора» ему уже не доверяют.

Видно, что он повторяет сказанные им остроты наиболее удачные в разных местах, и иногда его речь, если его не перебивают, производит впечатление великолепного фельетона — от изюминки к изюминке — все изюм, но в нем есть человечность, какие-то теплые подземные токи, и я ушел, как обласканный.

Сейчас бегу к д-ру С[авельеву], у которого рукописи Некрасова.

Доктор Савельев, толстый, малокультурный, гостеприимный, был во власти иллюзии, что я пришел не столько за рукописью, сколько вообще восхищаться его коллекцией книг и рисунков. Он даже пустил в ход такой прием: «Вот не знаю, куда девалась тетрадка Некрасова... не это ли она? Нет, это Тургенева «Нахлебник»... Вот, кстати, посмотрите «Нахлебника»... Мне всегда почему-то казалось, что в «Нахлебнике» [Тургенев] вывел себя... Ведь m-me Виардо...», и т. д.

2 декабря. Я уже 12 дней в Питере и все время бегал по госучреждениям, устраивал денежные и всякие другие дела. Со вчерашнего дня взялся за литературу — и первым делом побежал к Маклаковой, Лидии Филипповне, 79-летней старухе, бывшей жене Слепцова. О ней я узнал случайно от одного профессора в Гаспре, который мимоходом сказал:

— Вы занимаетесь Слепцовым, а знаете ли вы Лидию Филипповну?

— Лидию Филипповну? Ту, что в 1875 г...

— Да, ту самую.

— А разве она жива...

— Еще бы... Жива, в Москве... очень славная женщина.

Я сейчас же написал в Москву, но оказалось, что Лидия Филипповна переехала в Питер. В Питере я разыскал ее в «Доме ученых», в убежище для престарелых. Советская власть к этим «престарелым» относится отлично: каждая престарелая имеет хо-

роший стол, отдельную комнату, пользуется всеми домашними услугами — и вообще живет, что называется, барыней. Я вошел в это забавное и жутковатое учреждение, где шестидесятилетние являются молодежью, где о каком-нибудь 1873 годе говорят как о вчерашней пятнице, где не знают никакой пятилетки, никакого ударничества, никаких повышенных темпов, а только — старые портретики, сувениры и сплетни... Ах, нет, не мог этого сказать Боборыкин! — А я вам говорю, что мне об этом говорил сам Серно-Соловьевич...— услыхал я в коридоре старушечий шепот. На дверях надписи: «А. И. Менделеева», «Овсянико-Куликовская», «Озаровская» и пр.

Я зашел к Озаровской. Ее книга фольклорная все еще не вышла. Виновником этой книги она называет меня. Я подарил ей как-то «Декамерон»— и вот она, перелистав эти томики, решила организовать свой фольклорный материал по методу «Декамерона». «Если бы не ваш подарок, ничего не было бы!» Она сделала эту книгу, отдала ее в издательство писателей, но там, из-за отсутствия бумаги, книга до сих пор маринуется. «Но выйдет, выйдет,— и даже не просто — а на чудесной бумаге, для заграничных читателей, для валюты — все к лучшему, я очень рада».

И, заговорив о Кисловодске, где она была это лето, дивно рассказала мне историю с Верой Росовской. Веры Росовской она никогда не видала, Вера Росовская решала в «Вестнике физики и элемент. математики» задачи, предлагаемые читателям редакцией этого журнала. В каждом № был список решивших и всегда в этом списке: «Вера Росовская (Киев)». Озаровская, 16-летняя девочка, тоже решала эти задачи, но не все, а Росовская все. И вот Озар., сидя в Тифлисе, влюбилась в эту неизвестную умную Росовскую, вообразила себе ее наружность — и мечтала о встрече с ней. «А Росовская так не поступила бы»,— думала она всякий раз, делая в жизни какую-нб. ошибку. И так прошла вся жизнь, они ни разу не видались. Вдруг случайно в разговоре она услыхала теперь, уже в убежище для престарелых, имя Веры Росовской — и полетела к ней, та оказалась астрономом, и теперь в Кисловодске они прожили в одной комнате — все это б[ыло] рассказано с большим юмором, по самой изысканной схеме, жаль, у меня времени нет записать все подробности, я тороплюсь записать о своей Вере Росовской — о Лидии Филипповне.

Маленькая, маленькая, глуховатая старушка,— которую против ее воли перевели в «Пб.» из Москвы,— со страхом и недоброжелательством посмотрела на мою высоченную фигуру и без всякого удовольствия повела меня к себе в комнату. Мы разговорились. У нее на столе: немецкий «Фауст», французские «Demi-vierges»*, «Некрасов» 1861 года, от окна дует, вид у нее насупленный.— Вам нужно о Слепцове? Что же вам именно нужно?

Но понемногу отмякла.

---

[1] «Полудевы» *(франц.)*.

— Какой был грубиян Соловьев. Образованный человек, но тупой, неприятный. (Соловьев цензор, переводчик Шопенгауэра). Слепцов столовался у него в семье в 1875 г., когда я жила в Петровско-Разумовском, а Слепцов нанимал дачу в Выселках — и потом, когда Слепцов умер, он в кружке у Полонского сказал мне при всех:

— Правда, что вы ездили со Слепцовым на Кавказ?— хотел уличить меня, что была в незаконной связи.

— Да, правда, я ездила с ним на Кавказ.

Не могла же я отрекаться от того, что считаю *единственным счастьем своей жизни*...

Вот письмо Слепцова о моей повести «Девочка Лида».

И она показала мне письмо от мая 1875 г. адресованное: «Петровская академия. Квартира директора. Лидии Филипповне Ломовской».

Письмо, написанное влюбленным человеком — восторженный отзыв о «Девочке Лиде».

Ведь мой первый муж застрелился... через 9 месяцев после свадьбы. Ломовский, блестящий профессор математики на женских курсах. Все дамы и девицы были в него влюблены. Я была очень молода, и когда сказала матери, что не хочу выходить за Ломовского, мама сказала, что нельзя, т. к. уже купили приданое, все знают о свадьбе, и т. д. А, как я теперь понимаю, он был просто душевнобольной. (Я потом, уже во время войны была сестрой милосердия в палате для душевнобольных и только тогда поняла, что Ломовский был душевнобольной.) Он б[ыл] старше меня на 9 лет. Все находили, что это блестящая партия. Когда он застрелился (1871), все обвиняли меня в его смерти.

И вот, чтобы я успокоилась, чтобы обо мне кругом замолкло, меня послали за границу — учиться. Отец хотел, чтобы я стала «детской садовницей». Я поселилась в семье Льва Мечникова, чудесного человека, и вместе с его падчерицей Надей обучалась в детском саду. Лев Ильич сказал мне, чтобы я занялась литературой: никогда из вас садовницы не будет. И я захотела в Сорбонну в Париж. А денег не было. Я и написала свою «Девочку Лиду» по заказу издателя Мамонтова. Получила за нее 500 рублей. Но в Париж не удалось, т. к. мама заболела. Я вернулась в Россию и здесь сошлась со Слепцовым. Вся семья была против него — вообще против литературы. Когда вышла моя книга, никто не взял ее даже в руки, это все равно, что змею положили на стол. Когда ко мне приехал Некрасов, я была очень напугана, все боялась, что выйдет отец и скажет Н[екрасо]ву: «убирайся к чорту!» У нас была великолепная квартира, Некрасову она очень понравилась, он говорит мне много добрых слов, а я сижу ни жива ни мертва... И оттого я забыла все, что говорил мне Некрасов, потому что в голове у меня помутилось. Вот при таком отношении к литературе, можете себе представить, как отнеслись мои родители к моей связи со Слепцовым.

Мурка!

Нам всем очень нравятся твои стихи. Они поэтичны и написаны с большим мастерством. Сразу видно, что ты читала „Mother Goose", и Жуковского, и Блока, и Пушкина. Особенно мне понравились „Солнечный зайчик", „Живая кукла" и „На лежанке". „Буря" и „Улитки" — совсем неудачны. В „Новой Кукле" и в „Солнечном зайчике" — очень музыкальный ритм, весь построенный на паузниках, и я никогда не ожидал, что ты так хорошо им владеешь.

Итак, ты тоже будешь писательницей, я в этом твердо уверен теперь. У Лиды [illegible] вышла первая часть ее повести. На днях она тебе ее пришлет. Коля тоже держит корректуру своей новой книги. Вышло ли новое издание его „Кука" и навстречу [illegible]. Я тоже пишу книгу „Толстой и Некрасов". Теперь очередь за тобой и Бобой. Я надеюсь дожить до того времени, когда в Гизе выйдет книга Марии Чуковской. Может быть это будет книга о Бобровне? Подумай об этом. Выдумай какой-нибудь сюжет и свяжи его с Октябрьской [illegible]. Когда я приеду, ты мне расскажешь.

Письмо к Муре

Кланяйся Майку.

Никак не могу достать альбома для Володи Бухмана и его соседей. В Ленинграде есть лавка с такой вывеской

«Ассоциация советских филателистов»

в переводе на русский язык это значит:

«Продажа марок»

Коллекций там нет. Все распроданы еще в августе. Печатаются новые. Чуть они выйдут в свет, я куплю один и пошлю Володе.

Поцелуй от меня маму.

Поклон: Лизе, Ольге Ивановне, и Анне Евграфовне.

Твой Пит.

Пишешь ли ты дневник?

Ленинград, 1930 г. Печатается впервые

Но когда в августе 1875 года умерла моя мать, главное препятствие пропало — и мы сошлись...

Она показала мне огромное письмо Слепцова к ней, где он обсуждает, где бы им лучше встречаться.

Слепцов очень серьезно хвалил ее литер. талант. «Это он придумал для меня псевдоним «Нелидова». Как раз он был у нас, когда пришел дефектный экземпляр этой книжки, и я советовалась с ним, каким именем ее подписать. Я хотела «Короливна», он сказал, не годится, и впопыхах (нужно было спешить) написал «Л. Нелидова» (просто из имени Лида). В письме упоминается Танеев, адвокат, Влад. Ив. Танеев, оригинал, большой библиофил, приятель Слепцова. Была у него еще приятельница Вера Захаровна Воронина, она все упрекала его, зачем он мало работает, ничего не пишет, но он так любил жизнь, что не успевал писать, разбрасывался, влюблялся»...— и она показала мне портрет Вас. Алексеевича — уже в пожилом возрасте почти в профиль — «у него были волосы темные, но не черные, прелестные волосы... Мы, чтобы видаться с ним, затеяли у общих знакомых любительский спектакль...».

Позвонил звонок. Половина 9-го. Престарелых позвали ужинать. ⟨...⟩

1931

20/IV. Вчера у Муры. У нее ужас: заболела и вторая нога: колено. Температура поднялась. Она теряет в весе. Ветер на площадке бешеный. Все улетает в пространство. Дети вечно кричат: «ловите, ловите! у меня улетело!» У них улетают даже книги. По площадке так и бегут почтовые марки, бумажки, открытки, тетрадки, картинки и треплются простыни, халаты санитарок и сестер. На этом ветру лицо Муры сильно обветрилось, ручки покраснели и потрескались.

Она читала мне Лермонтова наизусть. ⟨...⟩

Июнь. Я читал ей [Муре] «Тружеников моря»— и через 5 дней, перечитывая ту же страницу, пропустил одну тре[тье]степенную фразу. Она заметила:

— А где же: «он искоса поглядел на него»? ⟨...⟩

2 сентября. ⟨...⟩ Мура вчера вдруг затвердила Кузьму Пруткова:

Если мать или дочь какая
У начальника умрет...

Старается быть веселой — но надежды на выздоровление уже нет никакой. Туберкулез легких растет. ⟨...⟩ Личико стало крошечное,

Страница дневника. Крым. Ноябрь 1931 г.

его цвет ужасен — серая земля. И при этом великолепная память, тонкое понимание поэзии. ⟨...⟩

7-ое сент. Ужас охватывает меня порывами. Это не сплошная полоса, а припадки. Еще третьего дня я мог говорить на посторонние темы — вспоминать — и вдруг рука за сердце. Может быть, потому, что я пропитал ее всю литературой, поэзией, Жуковским, Пушкиным, Алексеем Толстым — она мне такая родная — всепонимающий друг мой. Может быть, потому, что у нее столько юмора, смеха — она ведь и вчера смеялась — над стихами о генерале и армянине Жуковского... Ну вот были родители, детей которых суды приговаривали к смертной казни. Но они узнавали об этом за несколько дней, потрясение было сильное, но мгновенное,— краткое. А нам выпало присутствовать при ее четвертовании: выкололи глаз, отрезали ногу, другую — дали передышку, и снова за нож: почки, легкие, желудок. Вот уже год, как она здесь... (Сегодня ночью я услышал ее стон, кинулся к ней:

Она: Ничего, ничего, иди спи).

И все это на фоне благодатной, нежной целебной природы — под чудесными южными звездами, когда так противуестественными кажутся муки.

Был вчера Леонид Николаевич — сказал, что в легких процесс прогрессирует, и сообщил, что считает ее безнадежной. ⟨...⟩

8.IX. ⟨...⟩ Читает мою «Солнечную» и улыбается.

Я когда б[ыла] маленькая, думала, что запретили «Крокодила» так: он идет будто бы во все места по проволоке — и вдруг стоп, дальше нельзя. А когда разрешили, он идет по проволоке дальше. ⟨...⟩

5.XI. ⟨...⟩ Вчера мы получили письмо от Коли: у Лиды — скарлатина. Никогда не забуду, как М. Б. б[ыла] потрясена этим письмом. Стала посередине кухни — седая, раздавленная,— сгорбилась и протянула руки — как будто за милостыней — и стала спрашивать, как будто умоляя,— «Но что же будет с ребеночком? Но что же будет с ребеночком?» Действительно, более отчаянного положения, чем наше, даже в книгах никогда не бывает.

Здесь мы прикованы к постели умирающей Муры и присуждены глядеть на ее предсмертные боли — и знать, что другая наша дочь находится в смертельной опасности — и мы за тысячи верст, и ничем не можем помочь ни той, ни другой. Я послал из Ялты вчера телеграмму Бобе, но, очевидно, положение такое трагическое, что он боится телеграфировать нам правду.

И как назло, дней пять тому назад я, идучи в Воронцовский дворец, упал на каменные ступени на всем бегу и — прямо хребтом. Произошел разрыв внутренних тканей, но т. к. мы поглощены болезнью Муры, я не обратил на свой ушиб никакого внимания. Теперь опухоль, боль, частичная атрофия левой ноги. ⟨...⟩



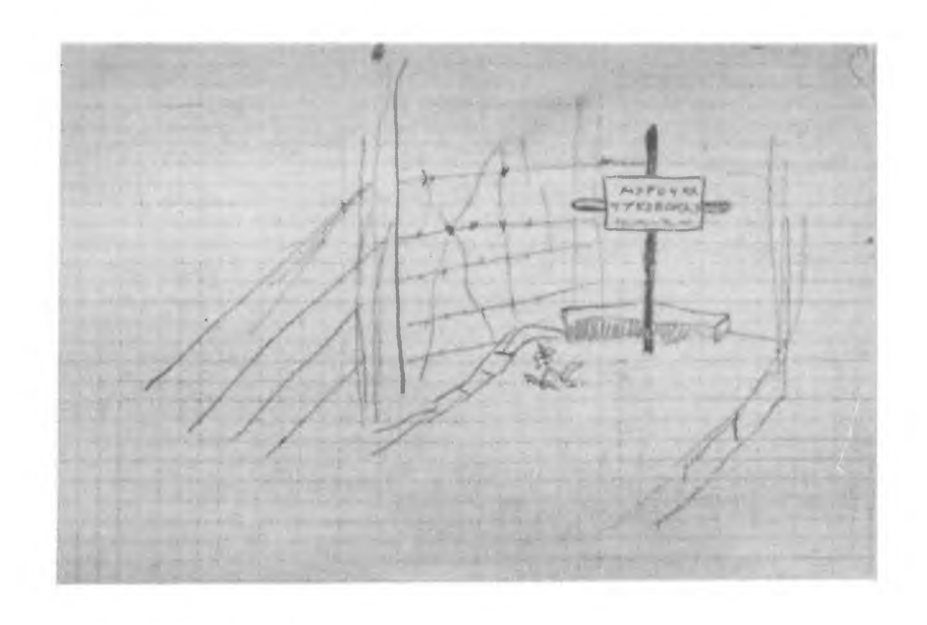
Страница дневника. Мурочка в гробу. Алупка.
Ноябрь 1931 г.

Ночь на 11 ноября. $2^1/_2$ часа тому назад ровно в 11 часов умерла Мурочка. Вчера ночью я дежурил у ее постели, и она сказала:

— Лег бы... ведь ты устал... ездил в Ялту...

Сегодня она улыбнулась — странно было видеть ее улыбку на таком измученном лице. ⟨...⟩ Так и не докончила Мура рассказывать мне свой сон. Лежит ровненькая, серьезная и очень чужая. Но руки изящные, благородные, одухотворенные. Никогда ни у кого я не видел таких. ⟨...⟩ Федор Ильич Будников, столяр из Цустраха, сделал из кипарисного сундука Ольги Николаевны Овсянниковой (того, на к-ром Мура однажды лежала) гроб. И сейчас я, услав М. Б. на кладбище сговориться с могильщиками, вместе с Ал-дрой Николаевной положил Мурочку в этот гробик. Своими руками. Легонькая. ⟨...⟩

13/XI. ⟨...⟩ Я наведывался к могиле. Глубокая, в каменистой почве. Место сестрорецкое — какое она любила бы ⟨...⟩ и вот не-



Страница дневника. Могила Мурочки. Алупка.
Ноябрь 1931 г.

кому забить ее гробик. И я беру молоток и вбиваю гвоздь над ее головой. Вбиваю криво и вожусь бестолково. Л. Н. вбил второй гвоздь. Мы берем этот ящик и деловито несем его с лестницы, с одной, с другой, мимо тех колоколов, под которыми Мура лежала (и так радовалась хавронье) — по кипарисной аллее — к яме. М. Б. шла за гробом даже не впереди всех и говорила о постороннем, шокируя старух. Она из гордости решила не тешить зевак своими воплями. Придя, мы сейчас же опустили гробик в могилу, и застучала земля. Тут М. Б. крикнула — раз и замолкла. Погребение кончилось. Все разошлись молчаливо, засыпав могилу цветами. Мы постояли и понемногу поняли, что делать нам здесь нечего, что никакое, даже — самое крошечное — общение с Мурой уже невозможно — и пошли к Гаспре по чудесной дороге — очутились где-то у водопада, присели, стали читать, разговаривать, ощутив всем своим существом, что похороны были не самое страшное: гораздо мучительнее было двухлетнее ее умирание. Видеть, как кап-

ля за каплей уходит вся кровь из талантливой, жизнерадостной, любящей.

[Рисунок могилы Мурочки с надписью на кресте.— *Е. Ч.*]:

МУРОЧКА

ЧУКОВСКАЯ

24/II 1920—13/XI 1931

Ноябрь 22. Вчера приехали в Москву — жестким вагоном, нищие, осиротелые, смертельно истерзанные. Ночь не спал — но наркотиков не принимал, п[отому] ч[то] от понтапона и веронала, принимаемых в поезде, стали дрожать руки и заболела голова. Москва накинулась на нас, как дикий зверь,— беспощадно. С тяжелым портфелем, с чемоданом вышли мы оба на вокзале — М. Б. захотела ехать к Шатуновской — трамвая туда нет, доехали до полдороги, сошли, ни в какие трамваи не войти, хоть плачь: такси нет, носильщиков нет, не дойти мне. Идем, пройдя улицу, возвращаемся к трамвайной остановке, расспрашиваем прохожих, тяжело, на улице туман. Ссоримся.

М. Б. решает идти пешком, предоставляя мне, нагруженному, сесть в трамвай. «Я приду к Ш[атуновск]им»,— говорит она.

Я приезжаю к Дому Правительства, ее нет. Ждать холодно, пальто у меня летнее, перчаток нет, я сажусь на чемодан, прямо на панели, на мосту — и вглядываюсь, вглядываюсь в прохожих. Ее нет. Тоска. Вот я — старик, так тяжко проработавший всю жизнь, сижу, без теплой одежды, на мосту, и все плюют и плюют мне в лицо, а вдали высится домина — неприступно-враждебный, и Мурочки нет — я испытал свирепое чувство тоски. ⟨...⟩

Шатуновские поразили меня великолепием своей жизни, по сравнению с нашей алупкинской. Мебель изящнейшая, горячая вода день и ночь, комфортабельные диваны, лифт, высокие комнаты. Сказано: Дом Правительства. У них я почувствовал себя даже слишком уютно. Спал днем — принял ванну. Оказалось, что 22 ноября все просветительско-издательские учреждения отдыхают, и потому я не мог дозвониться ни в «Academia», ни в ГИХЛ, ни в «Молодую Гвардию». ⟨...⟩ Я к Кольцовым. Они тут же, в Доме Правительства. Он принял меня дружески, любовно. Рина Зеленая. Семен Кирсанов. Борис Ефимов. Роскошь, в к-рой живет Кольцов,— после Алупки ошеломила меня. На столе десятки закусок. Четыре больших комнаты. Есть даже высшее достижение комфорта, почти недостижимое в Москве: приятная пустота в кабинете. Всего пять-шесть вещей, хотя хватило бы места для тридцати. Он только что вернулся из Совхоза где-то на Украине. «Пустили на ветер столько-то центнеров хлеба. Пришлось сменить всю верхушку. Вот образцы хлеба, к-рым они кормили колхозников». Показывает в конверте какую-то мерзость. Забавно рассказывает, как он начинал свою деятельность: в «Журнале журналов» у Василевского-Не-Буквы напечатал фельетон о Шебуеве. В то же самое время, м. б. даже днем раньше, тиснул что-то такое в студенческом

журнальчике. Теперь Василевский (даже в присутствии Кольцова) рассказывает, что будто бы он открыл Кольцова: «Читаю в студенч. журнале талантливую статью, думаю: чья? У автора есть талант — звоню по телеф. в студенч. журнал, узнаю подлинную фамилию автора — и приглашаю его к себе в «Журнал журналов».

— Ничего этого не было,— говорит Кольцов,— но я не возражаю, потому что сам Василевский в это верит... Первый, кто поощрил меня, был Ефим Зозуля. Он спросил меня: «А гонорар у Ваского вы получили?» Я сказал: «Нет».— «Так нельзя, подите-получите». Вас. вынул три рубля из жилетного кармана: «Вот, пока, а потом... через несколько дней»,— но, конечно, ничего через неск. дней не дал. Ефим Зозуля тут же научил Кольцова, что литератор, переутомленный работой, должен пойти в баню — на два часа — всю усталость как рукой снимет... Так и началась его дружба с Зозулей. Затевает Кольцов журнал английский «Asia», в пику существующему, буржуазному. Заговорили [о] раздемьянивании и Авербахе. Кирсанов сказал свою эпиграмму.

Всех раздемьянили. Решения близкого
С трепетом жду оттуда.
Будут ли нас теперь обагрицковать
Или об Жаровать будут.

На случай гибели Авербаха:

Братие! кого погребахом?
Ермилова с Авербахом.

Рина Зеленая показала прелестное пародийное письмо, присланное ей из совхоза Кольцовым — якобы от ее поклонника. 〈...〉 что еще говорилось, я забыл, я ушел, весь раздавленный, отчужденный от них почему-то.

Ш[атуновск]ая на службе: распределение учебных пособий. Вчера читал Виноградова «Три цвета эпохи»[1] — и «Смерть Ив. Ильича».

24 ноября. Похоже, что в Москве всех писателей повысили в чине. Все завели себе стильные квартиры, обзавелись шубами, любовницами, полюбили сытую жирную жизнь. В Проезде Худ. Театра против здания этого театра выстроили особняк для писателей. Я вчера был там у Сейфуллиной. У нее приятно то, что нет этого сытого, хамского стиля. В двух тесных комнатках хламно: кровать, простой стол, и еще кровать. В двух комнатах ютятся она, ее сестра и Правдухин. Прислугу взять в дом нельзя, так как для нее нет места. На ковре собака. У С-ой болит горло. Она предложила мне пообедать с ними. Обед готовила она сама в крошечной кухоньке: бульон в стакане и варево из риса. Рассказывала о заседании у Горького (в присутствии Молотова и Кагановича) по поводу истории заводов. Каганович сказал, что в списке, предложенном Горьким,

заводов слишком много, что это загрузит ее книгу. [Верх страницы оторван.— *Е. Ч.*]... [Сейфуллина] оживлена, рада, что переехала в Москву: «тут рядом Шагинян, Горбунов — я рада». По обыкновению у нее и у Правдухина много новых книг, после обеда засели за чтение, причем Правдухин дал мне своего «Гугенота» в Ленинграде, вещь довольно напряженную и нудную (хуже его других вещей) и показал газетные вырезки, полные ругательств по его адресу[2].

В Академии я встретил вдову Брюсова, к-рую не видел лет 20. [Верх страницы оторван.— *Е. Ч.*] ...в «Молодой Гвардии» ко мне отнеслись очень сердечно, но «Солнечную» велели переделать — Лядова приняла почти все мои проекты с горячим сочувствием, а в ГИХЛе, где благодушный циник Соловьев, не отвечавший мне в Алупку ни на одно письмо и не приславший мне ни копейки денег, обещал все уладить в кратчайший срок, сказал, что Уот Уитмэн печатается, и «Шестидесятники» печатаются — и, двигая большим животом, шагая в узком пространстве между окном и столом (возле стула, на котором ему подобает сидеть), воркотал какие-то успокоительно-обещательные слова и тут же попутно ни с того ни с сего рассказал, как Чагин («милый человек и способный») вздумал бунтовать против него, поднимая рапповцев, и как это Чагину не удалось. ⟨...⟩

25/XI.31. Все по-старому. Кольцов при помощи Ильфа и Петрова разрабатывает у себя на квартире для Рины Зеленой программу ее будущего концерта, у Сейфуллиной болит горло, главный бухгалтер ГИХЛа сообщил мне конфиденциально, что бумаги в 1932 году у ОГИЗа будет еще меньше, чем нынче, так как нет целлулозы и не ввезено новых машин для ее оборудования, а на Каме какой-то завод, только что открытый, пришлось закрыть и консервировать [Низ страницы оторван.— *Е. Ч.*] ...богатые становятся все богаче, а бедные все беднее.— Шубы у меня нету по-прежнему, а идут холода. Был я у Корнелия Зелинского. Живет он в том же доме, где Сейфуллина. Очень мил и джентльменист, но, очевидно, живет в «тесноте»: при мне его теща принесла ему открытку от Литфонда с требованием уплатить в трехдневный срок 500 рублей — с угрозой, если он не уплатит, конфисковать его имущество и пропечатать его имя в «Литгазете». Он был в эту минуту великолепен. С аристократическим презрением он взял в руки эту открытку и сказал теще:

— Вздор. Напрасная тревога. Посмотрите на подписи: «Халдеев и Мурыгин». Кто знает таких писателей! Ничтожества, не имеющие никакого литературного значения.

На стенах у него географич. карты, на шкафах глобусы: звездное небо и земной шар.

Был я с ним у Пильняка. За городом. Первое впечатление: страшно богато, и стильно, и сытно, и независимо. Он стал менее

раздерган, более сдержан и тих. Очень крепкий, хозяйственный немец-колонист. Сегодня заедет за мной на своей машине — к Кольцову и возьмет меня обедать.

Ночь я не спал. Очень раздерган. Нужно работать над Уитмэном.

27/XI. Вчера за мной заехал к Кольцову Пильняк — в черном берете,— любезный, быстрый, уверенный — у него «Форд», очень причудливой формы,— правит он им гениально, с оттенками. На заднем сидении его племянница Таня, круглолицая девочка 14 лет. По дороге выскакивал несколько раз: «Разрешите вас на минуту покинуть!»

По дороге: «С писателями я почти не встречаюсь. Стервецы. «Литературная газета»— не газета. Авербах не писатель». Опять ловко, быстро и уверенно в гастрономич. магазин. Выбежал с бутылкой. В доме у него два писателя, Платонов и его друг, про которых он говорит, что они лучшие писатели в СССР, «очень достойные люди», друг — коммунист («вы таких коммунистов никогда не видали»), и действительно этот странный партиец сейчас же заявил, что «ну его к чорту, машины и колхозы (!), важен человек (?)»,— сейчас же сели обедать, Ольга Сергеевна, американская дама с мужем, только что к нему приехавшая, Ева Пильняк и мы, трое гостей. Гусь с яблоками. Все мы трое — писатели, ущемленные эпохой. В утешение нам Пильняк рассказал легенду: какой-то город обложили контрибуцией. Горожане запротестовали, пришли, рыдая, к своему притеснителю. Он сказал: «Взять вдвое!..» Они в ужасе ушли домой и решили на коленях молить о пощаде. Вернулись к нему. А он: «Взять вдвое!» Они совсем обнищали, а он: «Взять вдвое!»

Тогда все рассмеялись. И он спросил: «Что, они смеются? Ну, значит, взять уже нечего».

Но, очевидно, с нас еще есть что взять, потому что мы не очень-то смеялись. Платонов рассказал, что у него есть роман «Чевенгур»— о том, как образовалась где-то коммуна из 14 подлинных коммунистов, которые всех не коммунистов, не революционеров изгнали из города — и как эта коммуна процвела,— и хотя он писал этот роман с большим пиететом к революции, роман этот (в 25 листов) запрещен. Его даже набрали в изд-ве «Молодая Гвардия»— и вот он лежит без движения. 25 печатных листов!

В утешение нам П[ильняк] повторил, что мы живем в атмосфере теней, что «Ф[едера]ция пролетарских писателей», на кой чорт она, только и держится закрытым распределителем, а таких писателей, как Фадеев и Авербах, нету; таких газет, как «Лит. Газета», нету. Чиновники, которые правят л[итерату]рой, хотят, чтобы все было мирно-гладко, поменьше неприятностей, и Канатчиков выразил идеал всех этих администраторов — Вы бы не писали, а мы бы редактировали. Но писатели пишут, только не печатают: вот у Платонова роман лежит, у Всеволода Иванова тоже (под названием «Кремль»— не о московском).

Чтобы отвлечь разговор, я рассказал, как сегодня в «Молодой Гвардии» бухгалтерша, платившая мне деньги, заявила, что такого писателя, как Чуковский, нету, она никогда не слыхала, и вообще в «Молодой Гвардии» 5 или 6 литер. работников никогда не слыхали моего имени. 〈...〉

Разворачивая американскую пачку папирос (завернутую в плотную прозрачную бумагу), Платонов сказал: Эх, эту бумагу в деревню в окошки, мужикам!

Я вспомнил повесть Пильняка о Лермонтове, где чудесно описаны жирные голые женщины, лечащиеся в Ессентуках,— и О[льга] С[ергеевна] рассказала, как одна жирная ж[енщи]на хотела застрелиться, и спрашивала, как вернее попасть в сердце, и ей сказали, нужно взять 3 вершка ниже соска, она и выстрелила в коленную чашку.

Тут Пильняка стала бить лихорадка. Малярия. Ему дали хины. Он не захотел принять ее, пока Ольга Сергеевна не лизнет из бумажки.

Мы перешли на диван в кабинет. У Пильняка застучали зубы. Он укутался в плэд. На стене в кабинете висит портрет Пастернака с нежной надписью: «Другу, дружбой с которым горжусь» — и внизу стихи, те, в которых есть строка:

И разве я не мерюсь пятилеткой.

Оказывается, эти стихи Пастернак посвятил Пильняку, но в «Новом Мире» их напечатали под заглавием «Другу»[3]. Тут заговорили о Пастернаке, и Пильняк произнес горячую речь, восхваляя его. Речь была очень четкая, блестящая по форме, издавна обдуманная — Пастернак человек огромной культуры — (нет, не стану пересказывать ее — испорчу — я впервые слыхал от П[ильня]ка такие мудрые отчетливые речи). Все слушали ее завороженные. Вообще у всех окружающих отношение к П[ильня]ку, как к ч[елове]ку очень хорошему, теплому, светлому — и для меня это ново, и ему, видимо, приятно источать теплоту, и ко мне он отнесся очень участливо, даже подарил мне галстух, так как я, по рассеянности, явился к нему без галстуха. Я ушел обласканный: американец подарил мне новые американские журналы, племянница ухаживала за мною. Пришел Глеб Алексеев, заговорил об алиментах — и я ушел. Ехать от Пильняка долго, в трамвае № 6, потом в трамвае № 10. Я ехал — и мне впервые стало легче как будто, потому что впервые за весь этот год я услыхал литературный спор.

Кстати, там же рассказали про Глеба Алексеева; он регистрировался в Союзе Писателей, и барышня, увидев его, стала рыться в бумагах на букву У, а потом сказала: вы у нас не значитесь!

Он сразу догадался: она приняла его за Глеба Успенского!

Я вспомнил, как меня во «Всемирной Литературе», когда я ре-

дактировал «Николая Никльби», кассир вызывал к окошечку: «Николай Нике́льби!»

28/XI. Вчера начались морозы. 17 градусов. А у меня легкое летнее пальтишко, фуражечка, рваные калоши и никаких перчаток. Побежал в Торгсин — куда там! Сегодня мороз с ветром — не меньше 20°. Мы с Фектей зашили калошу, она немедленно порвалась в другом месте. На улице ветры острее ножей — побежал к Халатову, его нету, примет завтра. В. И. Невский сказал мне, что ему очень понравилась моя работа над Слепцовым, и т. к. меня давно никто не хвалил как писателя, это меня страшно взволновало. Опять я в «Молодую Гвардию», опять в ГИХЛ, мой заколдованный круг. Бегая по этому кругу, я вспомнил, что такова моя проклятая судьба бегать за копейкой по издательствам, что я не вижу ни картинных галерей, ни театров, ни любимых людей, п. ч. бегаю по делам, по конторам — для свидания с Ионовым, с Соловьевым, с Цванкиным. Вечером я побежал к Ионову. Ионов только что переехал в новый дом — Дом правительства. У него 4 комнаты, из них три огромны. В квартире еще кавардак, вещи еще не разобраны. Он въехал в квартиру Ганецкого, который в течение месяца умудрился страшно замусорить ее. Александра Мих., жена Ионова, поразила меня своей страшной худобой и болезненным видом. Мальчик сейчас узнал меня, кинулся ко мне и стал читать мне свой новый рассказ. Мне было не до него, он почувствовал это и начал кувыркаться на диване. Ионова не было. Но вот он вошел, очень заиндевелый, мы присели к столу и сразу порешили: он покупает у меня четыре книги для экспорта и дает мне авансом 500 рублей. (Это меня очень обрадовало. Скорее уеду в Питер. Мне нужно готовить второй том Слепцова и исправлять «Солнечную». Это загрузка серьезная. И мне ли роптать на бога, если деньги у меня на этот месяц есть. Только бы Халатов помог мне добыть себе пальто зимнее.) Потом я вернулся к Шатуновской, у к-рой б[ыла] в это вр[емя] Лядова. С Лядовой мы пошли к Кольцову. У Лядовой была задняя мысль, к-рой я не знал. Она хотела так нажаловаться Кольцову на Цванкина, чтобы Кольцов написал о Цванкине в «Правду» фельетон. Мы уселись, и она начала. «Цв. зажимает самокритику... тра-тата, Ц. распустил беспартийных редакторов — тра-та. Он нанес изд-ву страшные убытки... одна Детская Энц., к-рая, как выяснила бригада, никуда не нужна, обошлась нам в 80 тысяч рублей, сейчас мы забраковали на 100 тысяч рублей рукописей, принятых при его руководстве, Цванкин... Цванкин... Цванкин...» К. слушал добродушно-равнодушно... И от фельетона увиливал. Потом в разговоре выяснилось, что у К. есть книжка о Сталине, заказанная «Деревенской Газетой». Кольцов, написав эту книжку, хотел показать ее Сталину, но никто не решался передать ее ему. Серго сказал: «Он и тебя побьет и меня поколотит». Так она и лежала в наборе. Потом ее автоматически послали в Главлит, а Главлит в секретариат Сталина. Ст. прочитал и сказал по телеф. К-ву: «Читал книжку о Сталине — слишком

хвалишь... не надо... Ты летом приходи ко мне, я расскажу тебе... что нужно вставить». Книжку отложили. Теперь Лядовой загорелось издать эту книжку в «Мол. Гв.». Кольцов, очевидно, от этого тоже не прочь. Я только всюду вставлю слово: дядя. Дядя Ленин сказал дяде Сталину, что дядя [нрзб.— *Е. Ч.*] И вот решили пустить в ход пионеров, к-рые сегодня будут на Совещании у Лядовой, а потом пойдут депутацией к Сталину, чтобы он позволил напечатать какую-нб. книжку о себе, т. к. пионеры-де страшно желают узнать его жизнь, а книжек никаких о нем нету. Начали обдумывать текст этого обращения к Сталину. Выяснилось, что оно должно быть письменное. К-ву это не понравилось, ведь Ст. мог заказать книжку другому, и он — предоставив нам долго обсуждать этот план — скромно и даже застенчиво сказал:

— А не лучше ли направить эту депутацию ко мне. Пусть пионеры напишут, что они просят меня написать о Ст., а я покажу ее Старику: мол, с утра до ночи надоедают, что делать.

Ляд. закивала головкой: Да, да, да... Это чудный план. Сегодня я внушу им эту мысль, Миша,— и им покажется, что она сама пришла им в голову...

Сегодня в газетах есть о том, что председатель Зерносовхозобъединения т. Герчиков смещен и разжалован за неумелое руководство этим колоссальным учреждением. Герчиков живет в этом же доме. К. был у него. Феноменально спокоен. Утром того дня, когда в газетах появилось подписанное Сталиным и Молотовым распоряжение о его свержении, он проснулся в 9 часов, взял в постели газеты, увидел ужасную новость, отложил ее в сторону — «успею еще наволноваться»,— и заснул опять. Спал 3 часа.

Кольцов говорит, что завтра будет грозная передовая о нем в «Правде».

Холодно ужасно в комнатах. Ветры так и ходят по незамазанной квартире.

От наших из дому ни слуху, ни духу. Нужно послать телеграмму. Или спешное письмо. Говорят, почта так разладилась, что спешные письма идут из Л-да в Москву 3—4 дня.

30.XI. Как это ни странно, истинное сочувствие своему горю я встретил у Халатова. Он нашел какие-то непошлые слова — мне в утешение — и тон, которым они были сказаны, меня не покоробил.

Он уже неск. дней назначает мне свидания, и все неудачно, но сегодня он твердо назначил Лядовой в $4^1/_2$, а мне в 5. Конечно, мы с Л. ждали до $6^1/_2$; конечно, он принял нас обоих. Я вкратце изложил ему проект своего «Бородули для юношества», она сказала ему о «Солнечной», и он так увлекся темой, что распорядился выдать мне авансом костюм и пальто и напечатать издание «Мойдодыра» и «Федорина Горя». Это очень кстати, п. ч. я весь обносился, гол и обтерхан. А этот аванс я выплачу ему «Солнечной».

Получил от Лиды печальное письмо: М. Б. заболела гриппом. Простудилась в Москве.

У Халатова в кабинете огромная фотография Сталина с трубкой; стоит прямо на полу против его письм. стола. На столе множество белых клочков бумаги, на к-рых отмечаются часы разных деловых свиданий. Поговорит по телеф., сейчас же отрывает белой пухлой рукой клочок и звонит: вбегает секретарша. Он говорит: напишите 4-го в 4 часа принять Собсовича. Потом опять телефон и опять клочок: напишите: 6-го в 6 час. принять Майдаровича. 〈...〉

3/XII 31. Вчера — у Кольцова с утра. Хотел просить его помочь мне раздобыть в кооперативе пальто и костюм. Он работал с секретаршей: разбирал письма. Целая куча — разных. Пишут ему горе-изобретатели, старушки-лишенки и вообще разный обиженный и неудачливый люд. Он читает каждое письмо внимательно и если ставит на нем букву *К*, это значит, отдать Ильфу и Петрову для юмористической обработки в каком-нибудь журнальчике. Таких *К* было очень много. 〈...〉

Вдруг в разговоре выяснилось, что «Огонек» будет давать «Трудное время» Слепцова. Я взволновался и бросился к Виноградову. Виноградов принял меня дружески. Он толст и добродушен. Весь в книгах. Очень забавные у него дети Юра и Надя, знают «Мойдодыра», «Крокодила» и проч. Показал мне неприличные стихи Лонгинова и выбранил за то, что я в примечаниях к Не[красо]ву слишком жестоко отнесся к этому почтенному ученому. «Все же Новиков и «мартинисты» очень хорошая вещь».— «Все же Лонгинов был прохвост и кувшинное рыло»,— ответил я. Оказалось, что Виноградов в довершение ко всему летчик. Он выдержал экзамен, кажется, на пилота и в этом году летал в Красноярск — в 22 часа долетел. Летчики отчаянные — он очень хорошо рассказывал о том, как они летали на «летучую мышь», «на соломку» и проч., как летчик юркнул в туман, за 15 км от Красноярска прямо на военный пост, и часовой стал стрелять — говорок у него уверенный, солидный, дружественный. Подарил мне свои «Перчатки», вышедшие в Ленингр. Из-ве писателей.

От Коли письмо. Справиться в «Федерации». Колино положение такое. Он написал в течение прошлой зимы роман «Собственность». Многие куски романа ему удались — и общий тон превосходный, но есть в романе какой-то идеологический изъян, т. к. 5 или 6 редакций, одна за другою, отвергают его. Раньше всего роман был принят к напечатанию в журнале «Ленинград» и приобретен для отдельного издания «Л[енингра]дским издательством писателей». Потом у изд-ства писателей его оттягал ГИХЛ, которому роман очень понравился. Коля ликовал. Это давало ему 400 р. за печатный лист, то есть около 800 р. в месяц, а главное, это давало ему возможность отдохнуть месяца два от каторжной беспросветной работы. И вот все полетело. «Лен[инград]» перешел в другие руки, к раппам или лаппам, и попутчики из него были изгнаны. ГИХЛ,

прежде руководимый Чагиным, тоже получил другого командира. Коле вернули роман. Он отвез его в Москву. Там к роману отнеслись очень тепло, особенно в «Новом мире» — хотя думали, что это мой роман (чего Коля не знает). Но в ГИХЛе его прочитал Корнелий Зелинский — и написал о нем убийственную рецензию. В разговоре же со мною он, Зелинский, очень хвалил роман. Коля, узнав об этом, просит меня навести о романе справки.

3/XII 31. И я пошел в «Федерацию». Никитиной там уже нет. Шульц. Седоватый, с немецким акцентом. О Колином романе: начало хорошее, но вторая часть — «гадкая». Почему «гадкая», я не мог дознаться, так как Шульц, видимо, романа не читал, а положился на рецензию Зелинского. Я взял роман и — к Зелинскому. Он встретил меня приветливо, но был занят. Писал для «Красной Нови» о Михаиле Кольцове. Я сейчас же решил уйти, не мешать. Он взял с меня слово, что я приду к обеду. До обеда полтора часа. Я к Сейфуллиной. Не застал. Куда девать полтора часа? Я — к Шагинян, которая живет тут же, в том же коридоре. И это посещение доставило мне наибольшую радость — из всех моих московских визитов и встреч. Она поцеловала меня на пороге, обняла и нежно усадила на диван. Я понял, что эта нежность относится к Мурочке — и разревелся и стал ей первой рассказывать о Мурочке, какая это была нежная, гордая, светлая, единственная в мире душа. Шагинян поняла меня, у нее у самой только что умерла от рака в страшных мучениях мать. И вообще все, что говорила Шагинян на этом диванчике, было окрашено для меня глубокой человечностью, душевной ясностью. «Бросила литературу. Учусь. В плановом (кажется) институте. Математика дается трудно. Все же мне 43 года. И не та математика теперь, вся перестроена по марксистскому методу, но зато какая радость жить в студенческой среде. Простые, горячие, бескорыстные, милые люди. Не то что наши литераторы, от которых я совсем отошла. Вот живу здесь с октября, а из писательской братии видела только вас и Сейфуллину. Сейфуллина прекрасная женщина, а других мне никого не надо. Надоела литература, она слишком дергает, мучает, и я впервые на 43 году жизни живу радостно, потому что нет на мне этого тяжелого гнета литературы. Написав «Гидроцентраль», я оглянулась на себя: ну что я такое? глуховатая, подслеповатая, некрасивая женщина с очень дурным характером, и вот решила уйти, и мне хорошо. Разделила на 12 частей весь гонорар о[т] 2-го изд. «Гидроцентрали» и буду жить весь год не зарабатывая».

В комнате на висячей книжной полке тесно вдвинуты книги Гёте и других немцев. На столе портреты Ленина и Сталина. Диванчик, на котором мы сидели, утлый. Сядешь на один конец, другой поднимается кверху. «Я теперь больше волнуюсь, как бы не попасть на черную доску, мне это ужаснее всех рецензий. Третьего дня я попала, так как запоздала на первую лекцию. Ну ж и досталось от меня моим домашним».

Во всем, что она говорит, есть какая-то подлинность, ни капли кокетства или фальши. Заговорили о Горьком. Оказывается, она его ненавидит до глупости. «Сама своими глазами видела договор, по которому Горький получает свой гонорар валютой; ежедневно, не исключая и праздников, ему должны платить столько-то и столько-то долларов — позор: выкачивать из страны в такое время валюту!! Кроме того, я считаю, что он пустопорожний писатель, ну вот как пустой стакан, чем его ни нальют, то в нем и есть. Теперь он громит всех немарксистов, но я помню, как в Л[енингра]де меня однажды потянуло к нему, я хотела говорить с ним о марксизме, он с таким презрением сказал мне: «Только предупреждаю вас, что я не марксист», и т. д. и т. д. Обычные нападки на Горького. Пригласила меня обедать, но, видимо, почувствовала облегчение, когда я отказался, т. к. обед очень скудный. Готовит сестра Мариэтты, скульпторша. Тут же и Мариэттина девочка — лет 14-ти в переходном возрасте, крепкая, но неуклюжая армяночка.

Мариэтта ждет приезда мужа.

«А известности своей я никак не чувствую. В институте путают мою фамилию, мало кто знает, чем я заним[аюсь] и вообще с октября я не видаю людей, которые читали бы меня. Да и раньше не видела».

От нее я ушел к Зелинскому. Он указал мне, какие места у Коли он считает наиболее уязвимыми, и дал очень четкие советы, как выпрямить идеологическую линию.

В нем есть какая-то трещина, в этом выдержанном и спокойном джентльмене. «Ведь поймите,— говорил он откровенно,— пережить такой крах, как я: быть вождем конструктивистов, и вот... Этого мне [не] желают забыть, и теперь мне каждый раз приходится снова и снова доказывать свою лояльность, свой разрыв со своим прошлым (которое я все же очень люблю)[4]. Так что судить меня строго нельзя. Мы все не совсем ответственны за те «социальные маски», которые приходится носить». Обед был очень плох, в доме чувствуется бедность, но Елена Михайловна так влюблена в своего чопорного, стройного, изысканно величавого мужа, так смеется его шуткам, так откровенно ревнует его, а он так мило смеется над ее влюбленностью в красавца Завадского, что в доме атмосфера уюта и молодости. Я думал вчера, что я уезжаю, но Лядова не достала для меня билета и пришлось остаться еще на один день. О Зелинском какой-то рапповец сказал: «Вот идет наш пролетарский эстет». З. пересказывал эту остроту с большим удовольствием... Правлю повесть Воронова «Детство». Удивительно неровная вещь. Первые страницы — классические, остальное халтура и мусор. Вчера при помощи разных знакомств добыл бумаги, конвертов, карандашей — и чувствую себя счастливым человеком, страстно люблю новые письменные принадлежности. ⟨...⟩

5. Вчера произошла ужасная вещь. Носильщик взял у меня 50 руб-

лей и обещал достать билет на поезд «Стрелу», отходящую в 12.30 ночи. Я очень был рад. Носильщик ручался наверняка. ⟨...⟩ я в сопровождении домработницы Шатуновских Фекти поехал в трамвае на вокзал с двумя пакетами, чемоданом и портфелем. На вокзале был носильщик, который должен был достать для меня билет на поезд «Красная Стрела». Он так уверенно обещал достать, что у меня не было никаких сомнений. Подхожу к нему, и оказывается, никаких билетов у него нету, и вот я на Октябрьском вокзале, глубокой ночью, выбился из сна, и что мне делать? Еду обратно, умирая от сонливости с больным сердцем — везу назад чемодан и портфель — к Кольцову. Приехал в 2 часа ночи, позвонил к нему, разбудил, он с обычной своей задушевностью, даже виду не показал, что ему тягостно такое ночное вторжение. Меня немедленно напоили какао, постлали мне в столовой — и все же ни минуты сна у меня не было! Утром за билетом простоял в очереди часа 2 с половиной. Нет билетов. Я к Халатову. Он дал записку — и билет явился. На «Стрелу». Значит, завтра я дома. Днем тоже не довелось мне заснуть: чорт знает каким я приеду завтра в Ленинград.

День солнечный, морозный, с серебряными дымами, с голубизною неба. Трамвай № 10 повез меня не на Каменный мост, а на Замоскворецкий, так как поблизости взрывают Храм Христа Спасителя. Выпалила пушка — три раза — и через пять минут, не раньше, взлетел сизый — прекрасный на солнце дым. Красноносые (от холода) мальчишки сидят на заборах и на кучах земли, запорошенных снегом, и разговоры:

— Вон оттуда зеленое: это сигнал.

— Уже два сигнала.

— Голуби! голуби!

— Это почтовые.

— Второй выстрел. У, здоровый был!

— Уже два выстрела было!

— Три.

Жуют хлеб — на морозе.

— Больше не будут.

— Врешь, будут.

И новый взрыв — и дым — и средняя башня становится совсем кургузой.

Баба глядит и плачет. Я подошел по другому берегу Москва-реки — и когда подошел почти к самому Каменному мосту — нельзя, патруль.

— Куда? Не видишь, церковь ломают!— Я обратно. Через сквозной дом к Кольцову. Кольцов приветлив, словоохотлив, рассказывал о своем детстве: у него отец был заготовщик обуви — запах кожи — он в Белостоке — лекции. Сатириконцы приезжали, Григорий Петров.

(Пишу это в поезде «Стрела» ночью в темноте, еду домой, думаю о Мурочке. Не сплю, вагон освещается фиолетовой лампой, везу

сукно и джемпер и чулки. Никакой сонливости. Сосед внизу аппетитно храпит.) В Белостоке же он (Кольцов) познакомился с нынешним наркомземом Яковлевым. Они были товарищи по гимназии. Фамилия Яковлева — Эпштейн. Были четыре Эпштейна! — говорил Кольцов — и все они были первые ученики в нашей гимназии. Все награды получали Эпштейны: и Лермонтова, и Кота Мурлыку с золотым обрезом... И вот когда я начал работать в «Правде», Эпштейн был уже важная шишка и ждал, что при встрече я скажу: э! о! здорово, приятель. Но я был нарочно сдержан, поздоровался суховато, и он это оценил.

Рассказывал о Бухове. «Когда я летел в Берлин, наш аэроплан опустился в Ковно, и, по случаю тумана, остался ночевать. Я пошел в Полпредство. Туда пришел ко мне какой-то человечек и сказал, что Аркадий Бухов, редактор тамошней белогвард[ейской] газетки, хочет со мной повидаться. Я отказал. Вечером я пошел в ресторан — и там за соседним столиком сидел Бухов и глядел на меня выжидательно, выражая готовность каждую минуту подойти ко мне. Я опять упорно не замечал его. Через два дня мне прислали в Берлин вырезку из Ковенской газеты.

«В последнее время к нам с неба стала валиться всякая большевистская дрянь. Недавно шлепнулась сюда пролетарская балерина Айседора Дункан, а теперь такой и сякой Кольцов». Я пренебрег. Но через месяца два получаю напряженно-игривое письмо — о том, как он жаждет хотя бы дворником вернуться в Советский Союз и сделать здесь чорную работу.

(Во время разговора взрывы в Храме Христа Спасителя продолжались.)

Еду ленинградскими болотцами, которых не видал с апреля — 9 месяцев. Снег — и кажется, мороз. ⟨...⟩

У Кольцовых в уборной висит древний пергамент в 2 аршина длины, на нем старославянскими литерами написано:

МАНДАТ

Со всемилостивейшего соизволения наиживейшей церкви Совет Народных Комиссаров неукоснительно предписал: в приходе отца Евлампия всякие загсы отменить, некрещеных перекрестить, невенчанных перевенчать, неразведенных переразвести. Оные требы произвести в ударном порядке. Аминь».

Слово мандат в рамке XV века, расписанной киноварью и золотом.

Елиз. Николаевна говорит, что это — из кинофильмы, запрещенной. Кольцов говорит, что выставка в уборной меняется. Прежде было вот что — и он показал мне лист с портретами белых генералов, героев интервенции: Юденич, Колчак, Врангель и др. «Мы сняли, т. к. одна знакомая дама запротестовала». ⟨...⟩

8/XII. Много нового в Ленинграде: московские газеты стали получаться в день своего появления, на Невском перекрашены почти

все официальные здания: каланча стала красной, среднее здание Аничковского дворца темно-зеленым (прежде оно было бурое и окружено забором — так, что его и не замечали, а теперь забор снят, и оно явилось во всей красоте), дом № 86, тот самый, где был некогда «паноптикум печальный», описанный Блоком, стал из желтого бирюзовым (что тоже послужило к его украшению), памятник собирающегося плюнуть Лассаля отодвинут, у всех домов оторваны крылечки, навесы над дверьми и т. д. В числе прочих пропало то крылечко в доме Мурузи, где в 1919 году сидел Блок перед тем как читать в нашей «Студии» свое «Возмездие». На Литейном, на месте того Окружного суда, где в 1905 г. меня допрашивал Обух-Вощатынский, заложен огромный фундамент многоэтажного здания и рядом с ним деревянный одноэтажный временный дом, очевидно, контора строительства. У милиционеров новая форма: пальто и шлемы травянисто-зеленого цвета. Издательство писателей переехало на Невский, туда, где в старину был книжный магазин М. О. Вольфа. Я был там и предложил Груздеву (председателю правления, вместо Федина) сборник своих детских стихов — хочу издать их для взрослых — все те, которые написаны для Мурки, при участии Мурки, в духе Мурки. Эта книга есть как бы памятник ее веселой, нежной и светлой души. Я, конечно, не сказал им, почему мне так хочется издать эту книгу, но Мише Слонимскому (по телефону) сказал. И Миша со своей обычной отзывчивостью взялся хлопотать об этом.

Видел в издательстве Николая Тихонова. Он только что выпустил книжку «Война» — где совершенно отрекся от своего прежнего стиля, поставив себе задачей тривиальную фразеологию бульварного романа. Читал оттуда некотор. места; действительно прежнего Тихонова, с лохматыми, хриплыми фразами, нет и в помине. ⟨...⟩

10/XII. ⟨...⟩ Вскоре после моего приезда в Ленинград, когда я лежал в гриппу, ко мне пришел Тынянов и просидел у меня весь вечер, стараясь развлечь меня своими рассказами.

Великолепно показывал он Пастернака: как Пастернак словно каким-то войлоком весь укутан — и ни одно ваше слово до него не доходит сразу: слушая, он не слышит, и долго сочувственно мычит: да да да! и только потом, через две-три минуты поймет то, что вы говорили — и скажет решительно: нет. Так что все реплики Пастернака в разговоре с вами такие:

— Да... да... да... да... НЕТ!

В показе Тынянова есть и лунатизм П-ка, и его оторванность от внешнего мира, и его речевая энергия. Тынянов изображал, как П-к провалил у Горького на заседании «Библ-ки поэтов» предложенную Т-вым книгу «Опытов» Востокова: вначале с большой энергией кивал головой и мычал: да, да, да... а закончил эту серию «да» крутым и решительным «нет».

Показывал Ал. Толстого, как Толстой пришел к Горькому на

заседание по поводу истории заводов — вместе с Шишковым пьяный-распьяный и все повторял, что самое главное в «Ист[ории] заводов» это — пейзаж. Да, пейзаж.

О Горьком Т. сказал: «человек чарующий и — страшный».

Очень много говорил о Шкловском: «У Шкл. 12 человек на плечах. Литература, кроме огорчений, ему ничего не дает, а он льнет к литературе и не хочет отстать. Главный его заработок — кино, но нет, он пишет и пишет — зачем? Надо вообще бросить писать. Я сейчас собрал матерьялы для нового своего романа (об участии русских во Фр[анцузской] революции XVIII в.), но собрал столько матерьяла, что уже писать нечего. Да и зачем? И лекции нужно бросить. Меня спрашивают:

— Где вы читаете?

— Дома».

Основное в нем: утомление и как будто растерянность. В этот день Пумпянский читал в Доме Печ[ати] доклад об историч. беллетристах нашего времени: О. Форш, Толстом и о нем в том числе,— и он говорил, что его нисколько не интересует этот дурацкий доклад, но когда Ц[езарь] вернулся из Д[ома] Печати, жадно расспрашивал его по нескольку раз о каждой мельчайшей детали: и много ли было публики, и много ли читалось о нем, и чего было больше, похвалы и[ли] брани. Тут только я понял, как должна его терзать и мучить поднятая против него идиотская травля.

Неуспех «Восковой персоны» тоже ощущается им очень болезненно. «Все так и говорят: Толстой написал жизнь Петра, а Тынянов — смерть. Толстой хорошо, а Тынянов — плохо».

К сожалению, я записываю это через две недели после его посещения — и многие разговоры забылись. После этого я видел мельком О. Форш. Она тоже пришиблена. «Пишу о Новикове и мартинистах,— роман, серьезно изучаю эпоху, каждую буквочку, сижу в Пушк. Доме,— и так увлеклась». ⟨...⟩ Живет она теперь у Груздева — в чинной, чистоплюйной и бонтонной семье. Груздевы в ужасе от ее богемной неряшливости.

28/XII. Мягкая погода, снег. Мы с М. Б. решили поехать в Детское к Толстому. У меня есть дело к нему по поводу Бородули. ⟨...⟩ Не застали ни Толстого, ни Толстихи: она в Ленинграде, он в Москве. Дом у них действительно барский, стильный, но какой-то неуютный. Столовая, как музей. Митя выскочил ко мне: «А!! Корней Ив. Чуковский». И сейчас же прочитал свои стихи:

Уж цвет незабудок нарос над травой,
Пропали и сани и лыжи.
А в Африке! Потрясающий зной,
У нас много градусов ниже,—

и еще: Слушайте! Слушайте! Мне только 8 лет, а я — слушайте! — сочиняю такие стихи:

Май! Праздник! Сливаются флаги, знамена
С зелеными листьями первого клена,
С природой живой, расцветающей, первой
Все против буржуйно-купеческой стервы!

⟨...⟩ Был сейчас в «Институте по восстановлению работоспособности увечных детей» им. проф. Турнера. ⟨...⟩ Оттуда к Житкову, т. к. Лида мне сказала со слов Виталия Бианки, будто вторую часть «Вавича» зарезали. Оказывается, слухи преждевременны. Житков весь захвачен историей с самобичеванием критиков, которые в Союзе писателей сами себя распустили. Рассказывает, что когда Эйхенбауму было предложено подвергнуть себя самокритике, то есть разругать всю свою прежнюю деятельность, Э[йхенбаум] сказал:

— Нужно подвергать себя самокритике *до* того, как что-нибудь напишешь, а не после.

Такая версия была мне неизвестна, но мне по крайней мере десять человек по-разному сообщили об этой реплике Э[йхенбау]ма. Одни говорили, будто бы он сказал:

— Моя специальность не самокритика, а критика. Вот сейчас я написал книгу о Толстом, ее и критикуйте...

Другие — еще по-другому, Штейнман в «Красной газете» по-третьему. Очевидно, его позиция пришлась по душе очень многим, и вокруг него уже творятся легенды. Житков интерпретирует это знаменитое заседание критиков так:

— Все мы сукины дети! снимай, ребята, штаны и ложись пороться.

Очень волнуется (из-за своего романа) всеми московскими настроениями:

— Говорят, Авербаха авербабахнули? ⟨...⟩ Вчера виделся с Толстым по поводу «Гутива»[5]. Встретились в Доме Печати и пообедали вместе в Ленкублите. Он разъярен судьбою своего «Черного золота» и едет в Москву объясняться. ⟨...⟩

1932

25/I. Был вчера у Ольги Форш. Пополнела. Бодра. Пишет о Новикове и мартинистах. Работает на «Светлане». Очень забавно рассказывала, как в Пушкинском Доме повесили ее портрет и подписали: «Писательница мелко-буржуазного лагеря», так что ей стыдно туда глаза показать. ⟨...⟩

На днях был у меня Тынянов. Только что из Москвы. Он отправил (23 янв.) Инночку и жену за границу. Устроил ему это дело Горький. По случаю этой удачи Тынянов бодр и радостен, как давно уже не был. ⟨...⟩

Был в «Красной Газете». Видел на стене объявление:

«За допущение политических ошибок в редактировании непериодических изданий редактор непериодич. изданий Глебов-Путиловский освобождается от работы *по собственному желанию»*.

24/II 1932. Москва. Мороз. Ясное небо. Звезды. Сегодня день Муриного рождения. Ей было бы 12 лет. Как хорошо я помню зеленовато-нежное стеклянное, петербургское небо того дня, когда она родилась. Небо 1920 года. Родилась для таких страданий. Я рад, что не вижу сегодня этого февральского предвесеннего неба, которое так связано для меня с этими днями ее появления на свет. Воображаю, как чувствует себя М. Б. Думаю, что, несмотря на мой отъезд, она все же не может спать. Сегодня я был у Корнел. Зелинского, у Сейфуллиной и у Мариэтты Шагинян. Сейфуллина больна: у нее б[ыл] удар не удар, а вроде. По ее словам, всю эту зиму она страшно пила, и пьяная ходила на заседания и всякий раз скрывала, что пьяна. «И на это много требовалось нервной силы». Как-то за обедом выпила она одну всего рюмку, вдруг трах: руки-ноги отнялись, шея напружинилась — припадок. Теперь она понемногу оправляется. Доктор прописал ей вспрыскивания и побольше ходить. Валерьян Павлович при ней неотлучно. Она очень хвалит его — «не покидает своей старой жены, прогуливает ее по Москве, есть ли еще на свете такой муж?»

Я сказал: «Хорошо, что вам вовремя удалось закончить свою пьесу «Попутчики».— «Сказать по секрету, не удалось. Валерьян закончил. И у него вышло очень глубоко, лучше, чем у меня.

— Ну вот и глубоко! — перебил Валерьян.

— Нет, нет, мне бы так никогда не придумать».

Лицо у нее остекленелое, глаза мертвые. Мне показалось, что я ей в тягость. Я пошел к Шагинян. У Ш. на столе коньяк, в гостях — Давид Выгодский. Он приехал от «Из-ва писателей» просить Ш., чтобы она исключила из своего дневника, к-рый печатается теперь в Ленинграде, все, что относится к Шкловскому и к его побегу[1]. Я показывал ей «Чукоккалу», к-рую она смотрела с жадностью, и тут только я заметил, какой у нее хороший, детский, наивный смех. Может быть, потому что она глуха, и ресурсы для смеха у нее ограничены,— она не может смеяться над тем, что ей *рассказывают;* поэтому запасы смеха, нами истраченные на другое, у нее сохранились. Как вообще жаль, что она глуха. Она была бы отличной писательницей, если бы слыхала человечью речь. Глухота играет с нею самые злые шутки. Она рассказывает, что недавно,— месяц назад,— ее соседи говорят ей: «Мы слыхали через стену, как вы жаловались на дороговизну продуктов. Позвольте угостить вас колбасой. Мы получаем такой большой паек, что нам всего не съесть». «Я заинтересовалась, кому это выдают такой роскошный паек, и оказалось, что это паек — *писательский,* получаемый всеми, кроме меня». Мариэтта Ш., несомненно, из-за своей глухоты, отрезана от живых лит. кругов, где *шепчут,* она никаких слу-

хов, никаких оттенков речи не понимает, и потому с нею очень трудно установить те отношения, к-рые устанавливаются шепотом.

Как-то в Доме Искусств она несла дрова и топор — к себе в комнату. Я пожалел ее и сказал: «Дайте мне, я помогу». Она, думая, что я хочу отнять у нее дрова, замахнулась на меня топором! Показала она мне письмо Сталина к ней (по поводу «Гидроцентрали»). Сталин хотел было написать предисловие к этой книге, но он очень занят, не может урвать нужного времени и просит ее указать ему, с кем он должен переговорить, чтобы «Гидроцентраль» пропустили без всяких искажений. Письмо милое, красными чернилами, очень дружественное. Также письмо Крупской о Торнтоне,— Крупская в 1894 году переоделась в рабочее платье — и ходила на эту фабрику, и теперь интересуется ею. И вот характерно: Шагинян так и не рискнула побывать у Сталина, повидать его, хотя ей очень этого хочется, именно потому, что у нее нет слуха, и ей неловко... Тут же ее муж, представитель Наркомпроса Армении, и ее дочь, и ее сестра,— очень густая армянская семья — веселая, дружная, работящая, простодушная.

На следующий день я был у Корнелия Зелинского. Туда пришел Пастернак с новой женой Зинаидой Николаевной. Пришел и поднял температуру на 100°. При Пастернаке невозможны никакие пошлые разговоры, он весь напряженный, радостный, источающий свет. Читал свою поэму «Волны», которая, очевидно, ему самому очень нравится, читая, часто смеялся отдельным удачам, читал с бешеной энергией, как будто штурмом брал каждую строфу, и я испытал такую радость, слушая его, что боялся, как бы он не кончил. Хотелось слушать без конца — это уже не «поверх барьеров», а «сквозь стены». Неужели этот новый прилив творческой энергии дала ему эта миловидная женщина? Очевидно, это так, п. ч. он взглядывает на нее каждые 3—4 минуты и, взглянув, меняется в лице от любви и смеется ей дружески, как бы благодаря ее за то, что она существует. Во время прошлой нашей встречи он был как потерянный, а теперь твердый, внутренне-спокойный. Он не знает, что его собрание сочинений в Ленинграде зарезано. Я сказал ему об этом (думая, что он знает), он загрустил. Она спросила: почему? — он сказал: «Из-за смерти Вяч. Полонского». Но она сказала: «И из-за книг». Он признался: да.

Сейчас происходит суд над Ионовым в ЦК. Ионов не признает двух ставленников Горького: Тихонова и Виноградова. Первого он считает лодырем, бездельником, второго прохвостом. «Тихонов числится в «Академии» редактором, но ни разу даже не явился на службу, приходит только за жалованием, а второй сдал Ионову для напечатания такие неряшливые рукописи, которые Ионов считает сплошной халтурой. Горький (председатель редколлегии «Academia») написал Ионову, что он не желает работать вместе с ним, требует, чтобы Ионов сию же минуту ушел и т. д.». Каковы результаты суда — неизвестно.

Февр. 28. Вчера вечером никак не мог заснуть, встал, оделся и пошел к Сейф. Ей гораздо лучше, она уже сама гуляет по улицам, без сопровождения Правдухина. Глаза живее, и язык послушнее. Был у нее незадолго до меня Пильняк. 〈...〉

2 марта 1932. 〈...〉 Умер Полонский. Я знал его близко. Сегодня его сожгут — носатого, длинноволосого, коренастого, краснолицего, пылкого. У него не было высшего чутья литературы; как критик он был элементарен, теоретик он тоже был домотканный, самодельковый, стихов не понимал и как будто не любил, но журнальное дело было его стихией, он плавал в чужих рукописях, как в море. Впрочем, его пафос, пафос журнало-строительства, был мне чужд, и я никогда не мог понять, из-за чего он бьется. Жалко его жену Киру Александровну. Помню, во время полемики с тупоумцем Рязановым он часто приходил ко мне в гостиницу и читал статьи, направленные им против этого — в ту пору влиятельного человека. Статьи были плоховаты, но смелы. 〈...〉

Очень много хлопот у меня с Тыняновым. Он отправил Ел. Ал. с Инночкой за границу, и нет никаких способов доставить им валюту на обратный отъезд в СССР. По его поручению я должен был говорить с Халатовым,— просить, главным образом, билетов из Берлина на Ленинград. Халатов согласился сделать все возможное. И вот, наконец, обнаружилось, что он устроил, но не два билета, а один, и не в Ленинград, а в Москву. По этому поводу от Тын. приходят отчаянные телеграммы, которые будят меня ночью, а Халатов болен, а бедные Инна и Ел. Ал. там.

С Лядовой мы пошли к Виноградову, и он шепотом сообщил мне, что Ионов из «Academia» уходит, снят, равно как и Ежов — за сопротивление Горькому. Виноградов торжествует. Кто будет вместо Ионова, неизвестно. Мне Ионова очень жалко. Он сумасброд, но он никогда не был интриганом, он всегда все говорит людям в лицо, он страстно любит книгу, хотя, может быть, и не всегда умеет отличить хорошую от плохой. 〈...〉 Я много воевал с Ионовым во времена «Всем. Литературы» — из-за Тихонова. Но этот человек странным образом сделал мне много добра: ему принадлежит инициатива издать в ленинградском Совдепе «Крокодила», он поручил мне редактуру Некрасова, и пр., и пр., и пр. И просто как человек он мне мил.

4 марта. 〈...〉 Пойду сегодня опять хлопотать о гонораре из «Лит. Газеты». О, как надоело мне это мыканье по редакционным передням, которому не видно конца. Но каково Марии Борисовне после всего, что она пережила, гонять в виде отдыха по финотделам и канцеляриям!

Казалось бы, ну много ли нам нужно: ведь всего два человека. А между тем оба работаем каторжно, и вот уже 3-й месяц не могу положить в Сберкассу 300 рублей, и продал книги, и весь в долгах. 〈...〉 Вчера ездил в «Лит. Газ.» за деньгами трамваем «А».

И смотрел из окна на Москву. И на протяжении всех тех километров, к-рые сделал трамвай, я видел одно: 95 проц. всех проходящих женщин нагружены какою-ниб. тяжестью: жестянками от керосина, корзинами, кошелками, мешками. И чем старше женщина, тем тяжелей ее груз. Только молодые попадаются порою с пустыми руками. Но их мало. Так плохо организована добыча провизии, что каждая «хозяйка» превратилась в верблюдицу. В трамваях эти мешки и кульки — истинное народное бедствие. Мне всю спину моего пальто измазали вонючею рыбою, а вчера я видел, как в трамвае у женщины из размокшей бумаги посыпались на пол соленые огурцы и когда она стала спасать их, из другого кулька вылетели струею бисквиты, тотчас же затоптанные ногами остервенелых пассажиров. Это явление обычное, т. к. оберточная бумага слабей паутины. 〈...〉

7/III 32. Вчера вызывает меня к себе Зильберштейн — и вместе с Ипполитом показывает мне книгу «Трудное время» Слепцова с предисловием Горького!!![2] Хорошего я сыграл идиота. Написал о «Трудном времени» большую статью, изучил всю литературу о нем, разыскивал повсюду беглые упоминания о нем всякого третьестепенного писаки — и проморгал Горького!!! Правда, статья очень шаткая, в ней смешаны 60-е г. г. с 70-ми, есть несколько неточностей, но дана чудесная характеристика *«Писем об Осташкове»*. И я сдал два тома Слепцова в «Academia», не подозревая об этой статье!!

Зильберштейн дал мне материалы о Н[екрасо]ве, скопившиеся в «Лит. Наследстве». Хорошо написанная статья Бухштаба, со скрытым недоброжелательством ко мне. Он скрывает от читателей, что я сомневался в подлинности стих. Муравьеву. Молодой человек, такой вежливый, был моим секретарем, пользовался моими советами...— но это старая история.

Вечером был у Виноградова. У него замечательная девочка Надя. Он рассказывал мне о ярости Горького, о своем столкновении с Каменевым и — о болезни Тынянова. До Москвы дошли тревожные слухи о его болезни и о безденежьи. РАПП дал поручение Чумандрину справиться и, если нужно, помочь.

Лютый мороз. Солнце. Тоска нестерпимая. 〈...〉

11/III. Сильнейшая головная боль; таких болей у меня еще никогда не было. И сердце. Сердце так болело всю ночь, что опухла левая рука, как когда-то у Слонимского... Я хоть и гоню от себя воспоминания о Мурочке — о том, что теперь 4 месяца со дня ее смерти, но вся моя кровь насыщена этим. Вчера чорт меня дернул к Тихонову, Ал. Н-чу. В редакцию «Истории Заводов», в тот дом, где жил Горький. Снежная буря́ прошла, но снег шел еще очень обильно, когда я пробрался от улицы Герцена к тому особняку, где жил когда-то Рябушинский, где потом был Госиздат, потом ВОКС, а потом поселился Горький. Особняк так безобразен и нелеп, что даже честные сугробы и глыбы снега, которыми он окружен

и засыпан, не смягчают его отвратительности. У Рябушинского я был в этом особняке однажды — и странно, он разговаривал со мною о том, не может ли «Нива» сделать «Золотому Руну» какую-то грошовую скидку за объявление. Странно было среди дорогих картин и бронз слушать разговоры о 12 рублях. Потом я был здесь у В. В. Воровского, когда он стоял во главе Госиздата. Воровский сказал мне, что Ленину понравился мой некрасовский однотомник — и его секретарша, Галина Константиновна, достала откуда-то небольшой листок бумажки с отзывом Ленина об этой книге — и дала ему — и он на основании этой бумажки — говорил со мною ласковее, чем при первом свидании. Но где эта бумажка, я не знаю.

Теперь дверь этого дома заколочена. Кругом дома решетка, закрытая старыми, когда-то крашенными досками с надписью М. Г. Х. Но дом угловой, и если войти в переулок, там можно найти незаметную калиточку — и открывается большой московский двор, с очень милыми флигелями и там груды снегу, белизна, уют, что-то деревенское, наивное — и вывески висят идиллически: «СССР на Стройке», «Наши достижения», «История заводов». Я пошел в «Историю заводов». Одноэтажный домик, в первой комнате большой стол и за ним 3 пиш-барышни, которым решительно нечего делать, пудрятся и перекобыльствуют. Тихонова я не дождался. ⟨...⟩

13/III 1932. ⟨...⟩ Я вожусь с корректурой сверстанного Слепцова (т. I). Мне прислали экземпляр, непроправленный. Так что я должен был держать не только авторскую, но и *«корректорскую»* корректуру, 686 страниц. Так как такую ответственную корректуру можно держать лишь вдвоем, я пользовался всеми приходящими к Шатуновской людьми: и Екат. Григорьевна, и какая-то Елена Александровна, и совсем незнакомые мне гости ее — считывали со мною Слепцова. Вчера я занимался этим весь день, с утра до ночи и все же «Письма об Осташкове» сдал Александре Ив-не.

От Тынянова снова получил отчаянное письмо: он сам болен, жена его *не* получила высланного ей отсюда билета, и он боится, что из Москвы высланы ей не 50 рублей, а 50 марок. Получив это письмо, я пошел к Виноградову. ⟨...⟩ Виноградов изобразил на своем невыразительном лице большое волнение, надел свой военнолетный костюм — и сказал: идем! Мы пошли через сад Румянцевского Музея (погода зимняя, ясная, крещенская) — проехали одну остановку в трамвае — и очутились у Горьковского особняка. Виноградов там свой ч[елове]к. Крючкова нет, он оставил Крючкову записку, и через 5 минут мы уже мчались на другом трамвае к Кольцову. ⟨...⟩ Не делая ни одного лишнего шага, по самой кратчайшей линии прошел он в Дом Правительства к Кольцовым. Кольцов сейчас в Берлине: хочет посмотреть выборы Тельмана и Гитлера. ⟨...⟩ От Кольцовых Виноградов позвонил Крючкову, тот перего-

ворил с Халатовым и клянется, что Халатов сегодня же вышлет Тыняновой *50 долларов!!!* 〈...〉

14.III. Приехала М. Б. 〈...〉 Еще нигде с нею не были: только у Сейфуллиной. С-на выздоровела. Она уже была в ЦК на заседании. Там, по ее словам, Халатов докладывал о моей «Солнечной» — как о вещи «вполне превосходной». С-на рассказывает, что ее письмо (ответ Волину), которое напечатано в «Правде»[3], было сильно переделано Ярославским. Яр. прислал за ней автомобиль и доказывал ей, что она пишет это письмо для заграницы и что «не надо давать козыри нашим врагам». В апреле С-на хочет ехать в Вену. Ее зовет театр, который ставит ее «Попутчиков» (театр познакомился с этой вещью лишь по первым двум актам — и обещает ей столько валюты, что ей не придется тратить ни гроша советских денег). Она заговаривала об этом с власть имущими. Но каждый (очень забавно) переводил разговор на другое. Она говорила Кагановичу:

— А я вот в Вену собираюсь.

Он сейчас же:

— Как же вы вернетесь с этого заседания домой? Есть ли у вас машина? Дайте я вас подвезу.

М. Б. привезла «Крокодила», переведенного на англ. язык Бабеттой Дейч. Чорт знает что!

17/III. Вздумал я развлечь М. Б-ну. В этом же Доме Правительства, где мы сейчас живем, есть кино. Мы пошли туда на пьесу «Две встречи». Я даже не знал, что бывают такие гнусные пьесы. Ни выдумки, ни остроумия, ни пафоса, все неуклюже, сумбурно, банально, натянуто. И вдруг: туннели по дороге в Севастополь, тот Севастопольский треклятый вокзал,— все, связанное с Мурочкиной гибелью,— для меня навеки тошнотворное. Я в ужасе выскочил из кино, М. Б. за мною. Развлеклись до слез. 〈...〉

18/III. Вчера с утра были мы с М. Б. в Третьяковке. Раньше всего я хотел повидать свой портрет работы Репина. Дали мне в провожатые некую miss Гольдштейн. Пошли мы в бывшую церковь, где хранятся фонды Третьяковки. Там у окна среди хлама висит мой разнесчастный портрет. Но что с ним сталось? Он отвратителен. Дрябло написанное лицо, безвкусный галстух, вульгарный фон. Совсем не таким представлялся мне этот портрет — все эти годы. Вначале в качестве фона была на этом портрете малиновая бархатная кушетка, очень хорошо написанная, отлично был передан лоснящийся желтый шелк, а здесь чорт знает что, смотреть не хочется. С души воротит. Гадка эта яркая рубаха с зеленым галстухом. Пошли мы по галерее. Она сильно выиграла от тесноты, т. к. в ней теперь только первоклассные вещи. Вновь очаровали меня, как и в молодости,— Серов, Бакст (портрет Розанова!!!), Левитан, Ге, Сомов, Репина — Мусоргский и Писемский. 〈...〉

19/III. Безграмотный, сумасшедший, нравственно грязный инженер Авдеев — предложил начальству эффектный план: провести в Москву от Сызрани — Волгу и таким обр. «по-большевицки изменить лицо земли». Коммунистам это понравилось, и они создали строительство «Москанал». ⟨...⟩ Нужна ли нам Волга в Москве? Скептики говорят: не очень. Во 1-х потому, что до Нижнего — Волга не Волга, а мелочь, во 2-х потому, что водного транспорта у нас почти еще не существует. Правда, не хватает воды для питья и вообще для нужд московского населения, но ее можно получить при помощи небольшого канала вчетверо дешевле и скорее. ⟨...⟩

20/III. ⟨...⟩ Я только сейчас удосужился просмотреть перевод моего «Крокодила», сделанный Бабеттой Дейч. Эта женщина меня зарезала. Банальщина дамских детских книжек, сочиняемых сотнями. Все то, ради чего написана эта книжка, исчезло. Вместо «тысячи порций мороженого» какое-то идиотское мямление.

23/III. Гъте, Гёте (Гьоте) и даже Гетё (как дитё). Одна комсомолка спросила:

— И что это за Гетѐ такое?

В самом деле, ни разу никто и не говорил им о Гетё, им и без всякого Гетё отлично — и вдруг в газетах целые страницы об этом неизвестном ударнике — как будто он герой какого-нб. цеха. И психоз: все устремились на чествование этого Гетё. Сидя у Халатова в прихожей, я только и слышал: нет ли билета на Гъте, на Гьоте, на Гетё. А дочь Лядовой спросила ее по телеф.:

— У тебя есть билет на Гнёта?

Говорят, тоска была смертная. ⟨...⟩

Был сегодня у главы цензуры — у Волина в Наркомпросе. Поседел с тех пор, что не виделись. Встретил приветливо и сразу же заговорил о своей дочери Толе, к-рая в 11 лет вполне усвоила себе навыки хорошего цензора.— Вот, например, № «Затейника». Я ничего не заметил и благополучно разрешил, а Толя говорит:

— Папочка, этот № нельзя разрешать.

— Почему?

— Да вот посмотри на обложку. Здесь изображено первомайское братание заграничных рабочих с советскими. Но посмотри: у заграничных так много красных флагов, да и сами они нарисованы в виде огромной толпы, а советский рабочий всего лишь один — правда, очень большой, но один — и никаких флагов нет у него. Так, папа, нельзя.

Отец в восторге. ⟨...⟩

1932. 25/III. Я был на «Амо». К сожал., визит б[ыл] короткий. ⟨...⟩ На фронтоне одного из корпусов — полотнище с лозунгом:

«СТАЛИНЦЫ!
НА ШТУРМ ВЫСОТ НОВОЙ ТЕХНИКИ»



Страница дневника. Картинка из «Затейника».
23 марта 1932 г.

И хотя я часто читаю подобные лозунги без пиетета, ибо они кажутся мне однообразными, казенными, банальными, здесь они чрезвычайно уместны. ⟨...⟩ То, что в бюрократической системе какого-нибудь ГИХЛа является нелепой натяжкой, то здесь на «Амо» — нужнейшая вещь. ⟨...⟩

26/III. Я все еще под впечатлением «поэмы». Здесь в Москве — в этот мой приезд — у меня 2 равноценных впечатления: «Во́лны» Пастернака и завод «Амо».

Сегодня, в 12 часов, если погода будет ясная, я и Бобров — мы оба полетим на А. Н. Т. 14. ⟨...⟩

А мусорная куча на месте Храма Хр[иста] Спасителя все еще не разобрана. Копошатся на ней людишки, вывозят ее по частям, но она за весь этот месяц не уменьшилась. Ее окружает забор, в щелки которого жадно глядят проходящие. На заборе несколько вывесок: «берегись трамвая», «Цехкомитет I участка», «Строительство Дворца Советов при Президиуме ЦИКа СССР. Контора I участка». Некоторые вывески: серебряные буквы на черном стекле. В Москве теперь такая мода: стеклянные вывески с академически-простым шрифтом. Вся Москва увешена ими. ⟨...⟩

27/III. Был вчера у Жанны Матвеевны Брюсовой, жены Валерия Брюсова. Она — родом чешка, крепкого заграничного качества и до сих пор моложава и деятельна с проблесками прежней миловидности немецкого типа. Я получил от нее очень любопытный подарок: письмо В. Я. ко мне, написанное (и не отправленное) десять лет тому назад в 1922 году[4]. Я так взволновался, что даже не стал его читать: письмо от покойника — из могилы — и пр. Хотя в комнате осталось почти всё, как было при Брюсове: те же шкафы с книгами, те же портреты (Жуковский, [В оригинале пропуск.— *Е. Ч.*]), тот же бюст Ив. Крылова, тот же письменный стол, но, к удивлению моему, все это приобрело хламный неврастенический вид: нет той четкости, демонстративной аккуратности, которая была характерна для Брюсова. Поэтому комната совершенно потеряла брюсовский отпечаток: те полки, на которых так стройно и даже чопорно стояли навытяжку книги о Пушкине, теперь скособочились, запылились, сделались истрепанной рванью. Ничего особо-неряшливого в этом нет, но по сравнению с оцепенелой и напряженной аккуратностью той же обстановки при Брюсове — это ощущается как заброшенность, хламность, халатность. Картинки — на бок, на столе вороха́ бумаг. Когда я вошел, Ж. М-на разбирала черновик Брюсовского письма к Горькому (1901), где Брюс. отмежевывается от всякой политич. партийности и выражает несочувствие бунтующим студентам. «Я каждое явление воспринимаю под знаком вечности, и партии для меня — детская игра, но мои стихи разрушительны и сами по себе служат революции, потому что «вечность» не мешает мне чувствовать свою связь с данным отрезком времени» — вот смысл этого письма. Ж. М-на перекраивает его на революц. лад, выбрасывая из него все его *но*. Она пишет для изд-ва «Academia», котор. намерено выпустить двухтомного Брюсова. Жаловалась на Ашукина, к-рый «туп и труслив», хвалила Поступальского, к-рый теперь пишет большую статью о Брюсове («кажется, он включит туда даже 6 условий т. Сталина»),— и под конец призналась мне, что в Брюсовский перевод «Фауста» (к котор. Брюсов относился как к черновику) она уже после смерти поэта внесла много своих поправок и собственных стихов (напр., песня «Halb-Hexen» — «полуведьмы»),— а также и в перевод «Энеиды».

Страница дневника. 25 марта 1932 г.
Вклеен пропуск в ЦАГИ

«Габричевскому я, конечно, сказала, что нашла эти вставки в бумагах В. Я. Вы меня не выдавайте, пожалуйста». 〈...〉

30/III. Вчера я был с мисс Ли в Музее революции. Безвкусно и балаганно. Насколько лучше этот же музей у нас в Л[енингра]де! Все эпохи даны в одном и том же стиле. Шестидесятые годы имеют такое же оформление, что и 1905 и 1917 г. Нет исторической атмосферы, все вымазано кумачовой краской, и халтурщики-гиды в кажд. комнате орут, надрываясь, одну и ту же банальщину. Ада Гуревич показывала нам все эти вульгарные и малоинтересные штуки, рассчитанные на лошадиную психику. Я хотел увидать Каракозова, но оказалось, что он представлен... кадрами фильма «Дворец и Крепость»[5]. Я обозлился и пошел спать. Вечером позво-

нил мне Пастернак. «Приходите с Чукоккалой. Евг. Влад. очень хочет вас видеть». Я забыл, кто такая Евг. Влад., — и сказал, что буду непременно. Но проспал до $10^1/_2$ — и поздно пошел по обледенелым улицам на Остоженку в тот несуразный дом со стеклянными сосисками, который построен его братом Алекс. Леонидовичем. Весенняя морозная ночь. Звезды. Мимо проходят влюбленные пары с мимозами в руках. У подъезда бывш. квартиры Пастернака вижу женскую длинную фигуру, в новомодном пальто, к-рое кажется еще таким странным среди всех прошлогодних коротышек. Она окликает меня. Узнаю в ней *бывшую* жену Пастернака, которую видел лишь однажды. Она тоже идет к Б. Л. и ждет грузина, чтоб пойти вместе. Грузин опоздал. Мы идем вдвоем, и я чувствую, что она бешено волнуется. «Первый раз иду туда,— говорит она просто.— Как обожает вас мой сын. Когда вы были у нас, он сказал: я так хотел, чтобы ты, мама, вышла к Чуковскому, что стал молиться, и молитва помогла». Пришли. Идем через двор. У Паст. длинный стол, за столом Локс, Пильняк с О[льгой] С[ергеевной], З[инаида] Н[иколаевна] — (новая жена П[астернака]), А. Габричевский, его жена Наташа (моя родственница по Марине), брат Пастернака, жена брата и проч. Через минуту после того, как вошла Евг. Вл.,— стало ясно, что приходить ей сюда не следовало. З. Н. не сказала ей ни слова. Б. Л. стал очень рассеян, говорил невпопад, явно боясь взглянуть нежно или ласково на Евг. Вл. Пильняки ее явно бойкотировали, и ей осталось одно прибежище: водка. Мы сели с ней рядом, и она стала торопливо глотать рюмку за рюмкой, и осмелела, начала вмешиваться в разговоры, а тут напился Габричевский — и принялся ухаживать за ней — так резво, как ухаживается только за «ничьей женой». З. Н. выражала на своем прекрасном лице полное величие. Разговоры были пошловатые. ⟨...⟩ С Пастернаком у меня никакого контакта не вышло, З. Н. тоже поглядывала на меня враждебно, как будто я «ввел в дом» Евг. Вл. Габричевский заснул. Наташа принялась обливать его холодной водой. Пастернак смертельно устал. Мы ушли: Локс, Евг. Вл. и я. По дороге она рассказала о том, что П[астерн]ак не хочет порывать с нею, что всякий раз, когда ему тяжело, он звонит ей, приходит к ней, ищет у нее утешения («а когда ему хорошо, и не вспоминает обо мне»), но всякий раз обещает вернуться. ⟨...⟩ Локс все время молчал — и скоро ушел. Теперь я понял, почему З. Н. была так недобра к Евг. Вл. Битва еще не кончена. Евг. Вл. — все еще враг. У Евг. Вл., как она говорит, 3 друга: Маршак (!?!), Сара Лебедева и Анна Дм. Радлова.

31/III. Вчера с утра весь день с Халатовым. ⟨...⟩ При мне Халатову доложили около 200 дел, и он каждое решал немедленно, многие резолюции писал на листках. ⟨...⟩

2 апреля. Вчера был у меня Пильняк — по дороге от Гронского к Радеку. Я был болен. От бессонной ночи разболелось сердце —

распухла левая рука, и я лежал, не вставая. Говорит Пильняк, что в Японию ему ехать не хочется: «я уже наладился удрать в деревню и засесть за роман, накатал бы в два месяца весь. Но Ст[алин] и Карахан посылают. Жаль, что не едет со мною Боря (Пастернак). Я мог достать паспорт и для него, но — он пожелал непременно взять с собою З. Н., а она была бы для нас обоих обузой, я отказался даже хлопотать об этом, Боря надулся, она настрюкала его против меня, о, я теперь вижу, что эта новая жена для П[астерна]ка еще круче прежней. И прежняя была золото: Боря у нее б[ыл] на посылках, самовары ставил, а эта...»

Сегодня в ОГИЗе Пильняк ни за что, ни про что получает 5000 р. Он скромно заявил Карахану, что денег на поездку в Японию он не возьмет, но что у него есть книги — десять томов собр. соч. и было бы хорошо, если бы у него их приобрели. Карахан, подкрепленный С[талин]ым, позвонил Халатову, Х. направил П[ильня]ка к Соловьеву, а Сол. сказал:

— Издавать вас не будем. Нет бумаги. Деньги же получите, нам денег не жалко.

И назначил ему пять тысяч рублей.

«Ничего себе изд-во, к-рому выгоднее платить автору 5000 рублей, *не издавая его*»,— говорит П[ильня]к.

3 апреля. Вчера в прихожей Халатова — торжествующие Виноградов и Тихонов. Они победили: Ионов, по их желанию и по настоянию Горького, смещен. С 1-го апреля Ионов уже не стоит во главе «Academia». Теперь спешно ищут ему заместителя. ⟨...⟩ Был вечером у Кольцова. Он только что вернулся из Женевы. Острит. «А у вас здесь вся литература разогнана и приведена к молчанию. Писатели только и пишут, что письма к Сталину».

5 апреля. Халатов пал. На его место назначен как будто бы Томский. Сегодня я уезжаю в Л[енингра]д. Успехи мои здесь таковы: Волин разрешил мне книжку моих детских стихов для взрослых в 4000 экз., я двинул свою книжку «Уот Уитмэн». Я увидал разные участки строительства, видал Сейфул., Пастернака, Пильняка, Кольцова, М. Шагинян, miss Lee и т. д. Впервые по-настоящему познакомился с Москвой, окончательно возненавидел моск. «Мол. Гвардию» и вообще всю бюрократич. чепуху ОГИЗа, читал вчера в Радио дважды своего «Мойдодыра» — с огромным успехом. ⟨...⟩

10/IV. Ленинград. Виноградов добился-таки своего: его «Братья Тургеневы», вопреки желанию всей редколлегии ГИЗа, печатаются. Редколлегия единогласно отказалась подписать эту книгу к печати. Виноградов представил ее Халатову, тот, трепеща перед Горьким, подписал ее, и книга выйдет, несмотря ни на что. В ГИЗе подсчитали, что Виноградов написал по поводу этой книги *58 писем в редакцию!!!*

Провожая меня в Москве на радиостанцию, В[иноградо]в говорил: «Ни одной ругательной статьи о Тургеневых не будет. Я принял свои меры в ЦК». ⟨...⟩ Подписал с Алянским договор на «шестидесятников». Вчера был у нас Тынянов с Ел. А-ой. Благодарить за участие. Лицо у него очень замученное. Показывал опять Пастернака, имитировал грузин и т. д., подробно описывал, как у него в студенческие годы украли пальто и «тройку», но все это б[ыло] очень невесело.

Сообщил, как Шкловский помогал ему получать гонорары. Однажды «Леф» в лице Осипа Брика задолжал Тынянову 50 р. и не заплатил. Пришли к Брику они вдвоем с Шкл. Брика нет. Лиля пудрится, «орнаментирует подбородок», а Брик не идет... Шкловский советует Тынянову: «ты поселись у него в квартире и наешь на 50 р.». План не удался. Тогда Шкл.: «Юра, тебе нужен указатель Лисовского?» Еще бы. «Вот возьми». Снял с полки у Брика книгу, сунул Т-ву в портфель, и они оба ушли. Брик заметил пропажу только через год.

15/IV. Вчера читал в Доме для престарелых ученых воспоминания Нелидовой о Гончарове и Тургеневе. Она слаба сердцем — боялась, что ей не под силу прочитать всю эту статейку, и попросила меня. Я пришел к ней спозаранку, мы поговорили о Слепцове — и вот я в кругу 80-летних — круглый стол: за столом два декоративных старца с бородами á ла Саваоф и душ 12 трясущихся, глуховатых старушек. Нелидова (т. е. Маклакова, т. е. вдова Слепцова) очень выпукло голосом привычной чтицы прочла 2 первые главы, а я, странно робея и срываясь — конец. Потом сразу заговорила Екат. Павловна Султанова — которая по своей талантливости на всех похоронах непременно хочет быть покойником. Она сразу рассказала *свои* воспоминания о Гончарове и Тургеневе — и выяснилось, что она знала обоих лучше, может рассказать о них больше.

К Нелидовой она обращалась с такими вопросами:

— И это все, что вы написали о Гончарове?

— А больше вы с ним не встречались?

и проч.

Забавна была эта борьба октогенариев за первенство. Впрочем, Нелидова не боролась, так как она глуха — и все эти шпильки прошли мимо. Султанова рассказывала много интересного: о том, как Крамской писал портрет Гончарова, об Анат. Ф. Кони, о Салтыкове, о себе и еще о себе. Когда она заговорила об Елене Вас. Пон[ом]аревой, отдавшей Анатолию Ф-чу всю свою жизнь с 18 лет, я сказал, что величайшим проявлением самоотвержения со стороны Е. В. П-ой я считаю выслушивание ею всех анекдотов А. Ф-ча, которые она знала наизусть, т. к. он 40 лет подряд рассказывал всегда одни и те же анекдоты. Это было и вправду патетично. Старик уже не вырабатывал ничего нового. На каждый случай жизни у него был излюбленный эпизод из биографии Тургенева, Толстого, Лажечникова, Стасюлевича и т. д.— и вот она, слушая,

как он сообщает кому-нибудь эти закостеневшие сведения, всегда делала благоговейное лицо и так хохотала в наиболее ударных местах анекдота, как будто слышала все это впервые. Султанова говорит, что она даже беседовала с Ел. Вас. на эту деликатную тему и та будто бы ответила ей:

— Ведь слушаете же вы Шопена — снова и снова все с тем же восторгом.

Рассказала Султанова также и о скандале с Благим, который на Пушкинских торжествах говорил вступительное слово к концерту Книппер, Качалова и др. И публика кричала: «довольно, довольно!» За круглым столом были: Анна Ив. Менделеева; ее сын, лысый мужчина; совершенно слепая Озаровская (страшно изменившаяся, слепая, с разбитой перевязанною головой, почти неспособная передвигаться,— сразу уменьшившаяся почти вдвое), вдова Всев. Гаршина, гостья Марии Вал. Ватсон, Е. Н. Щепкина, но, конечно, «царицей бала» была Султанова. Нелидова сохраняла обычную свою величавость и была изящна и женственна, несмотря на 80 лет, несмотря на глухоту, несмотря на то, что ее доклад не имел никакого успеха. Подарила мне пакет сухарей, рассказывала о матери Слепцова: «Хлопотливая, хозяйственная, совсем не литературная женщина, некрасивая: узкие глазки, большой нос».

Кисловодск. 29/V. Вчера познакомился с известным ленинградским педагогом Сыркиной, автором многих научных статей, которые в последнее время подлежали самой строгой проработке. С ней недавно случилось большое несчастье. Когда возвращалась домой, у нее на парадном ходу на нее напал какой-то громила и проломил ей ломом голову. Она пришла в себя только на третий день и первым делом воскликнула:

— Ну вот и хорошо. Не будет проработки!

Нынешний человек предпочитает, чтоб ему раскроили череп, лишь бы не подвергали его труд издевательству.

7/VI. Вчера мы с М. Б. и остальными жителями КСУ ездили в замок Коварства и Любви. ⟨...⟩ На нашем грузовике написано было КСУ. Одна ж[енщи]на, сидевшая на возу, запряженном волами, прочла надпись и сказала со вкусом:

— Ах вы, ксукины дети!

Всего поехало 50 человек: два грузовика и одна легковая.

«Ксукины сыны», «Ксукины дети» — эта кличка утвердилась за нами прочно. В замке воняет шашлыком, пиликает кавказская музыка, вся местность загажена на[д]писями и зелеными будочками для кутежей. ⟨...⟩

17/VI. На днях пришел сюда первый том Слепцова, вышедший под моей редакцией, изобилующий нагло дурацкими опечатками. Это привело меня в бешенство. Я отдал этой книге так много себя, облелеял в ней каждую буквочку — и кто-то (не знаю, кто) всю

испакостил ее опечатками. Я написал по этому поводу письма Горькому, Каменеву, Сокольникову, Гилесу, завед. л[енинград]ской «Академией» Евгению Ив-чу (фамилию забыл), и на душе у меня отлегло. ⟨...⟩

Сегодня и завтра отъезжают отсюда десятки больных, проживших здесь месяц вместе с нами. Больше всего мы сблизились с геологом и географом Николаем Леопольдовичем Корженевским, очень спокойным, гордым, пожилым человеком, из Ташкента, который своей медлительной, серьезной, профессорской речью действовал на нас успокоительно. Он рассказывал нам о Памире, о его озерах, потонувших кишлаках, киргизах, геологических сдвигах, о ташкентском винограде и хлопке и своих путешествиях в дальнюю Азию,— и все это с большими подробностями, с обилием собственных имен, очень картинно и учено. ⟨...⟩ Есть тут очень любопытные люди из ученых — раньше всего Шейнин, наш сосед по столу, лысый молодой человек, только что женившийся, добродушный, шикарно одетый (лондонские рубашки, фланелевые брюки и пр.), автор книг о лесном хозяйстве. Одну из этих книг он дал мне на прочтение: «Лесное хозяйство и задачи Советов». М. 1931, изд. «Власть Советов» при Президиуме ВЦИК, и я поразился ее вопиющей безграмотностью. «Искусственное лесонасаждение», «аграрные помещики», незнание элементарнейших правил грамматики и шаблоннейшее изложение. Нет ни одной строки, которая не являлась бы штампом, ни одной *своей* мысли, ни одного *своего* эпитета. Автор больше всего боится самостоятельно думать, он пережевывает чужое, газетное — и в то же время его книга свежа, интересна, нужна — потому что тема ее так колоссальна. Нынче именно потому-то в упадке литература, что нет никакого спроса на самобытность, изобретательность, словесную прелесть, яркость. Ценят только штампы, требуют только штампов, для каждого явления жизни даны готовые формулы; но эти штампы и формулы так великолепны, что их повторение никому не надоедает. Мне говорил сейчас один профессор химии (из Эривани): «У меня двести студентов, и нет ни одного самостоятельно мыслящего». Здесь на меня напал один б[ывший] рапповец, литературовед, прочитавший мою статью о коммуне Слепцова: почему вы не сказали, что Ч[ернышев]ский б[ыл] *утопический социалист*? почему вы не сказали, что коммуна Сл[епцо]ва была немыслима при капитализме? т. е. он хочет, чтобы я говорил всем известные догматы и непременно высказал бы их в той форме, в какой принято высказывать их,— и не заметил в моих статьях ничего остального,— ни новых материалов, ни новой трактовки «Трудного времени», ни примечаний к Осташкову, ничего, кроме того, чего я *не* сказал. Здесь собралось много такой молодежи, и она мне очень симпатична, потому что искренне горяча и деятельна, но вся она *сплошная*, один как другой, и если этот молодой человек согласился [со] мною, что нельзя же судить на основании догматов, заранее построенных концепций, что нужно раньше изучить материал,— то лишь пото-

му, что Стецкий напечатал об этом в «Правде». Ему дан приказ думать так-то и так, и он думает, а не было бы этого декрета — он руководствовался бы предыдущим декретом и бил бы меня по зубам. И, может быть, это к лучшему, т. к. ни до чего хорошего мы, «одиночки», «самобытники», не додумались. ⟨...⟩

1/VII. Завтра уезжаю. Тоска. Здоровья не поправил. Время провел праздно. Отбился от работы. Потерял последние остатки само[ува]жения и воли. Мне пятьдесят лет, а мысли мои мелки и ничтожны. Горе не возвысило меня, а еще сильнее измельчило. Я неудачник, банкрот. После 30 лет каторжной литер. работы — я без гроша денег, без имени, «начинающий автор». Не сплю от тоски. Вчера был на детской площадке — единственный радостный момент моей кисло[во]дской жизни. Ребята радушны, доверчивы, обнимали меня, тормошили, представляли мне шарады, дарили мне цветы, провожали меня, и мне все казалось, что они принимают меня за кого-то другого. Бьет шесть часов утра. ⟨...⟩

4/VII. Путь наш в Алупку был ужасен. Вместо того, чтобы ехать прямиком на Новороссийск, мы (по моей глупости) взяли билет на Туапсе с пересадкой в Армавире, и обнаружилось, что в нашей стране только сумасшедшие или атлеты могут выдержать такую пытку, как «пересадка». В расписании все выходило отлично: поезд № 71 отходит от Минеральных Вод в 4.25, а в Армавир приходит в 9.12. Из Армавира поезд № 43 отходит в 10.20. Но вся эта красота разрушилась с самого начала: поезд, отходящий от Мин. Вод, *отошел* с запозданием на $1^1/_2$ часа — и конечно, появился в Армавире, когда поезд № 43 отошел. Нас выкинули ночью на Армавирский вокзал, на перрон — и мы попали в кучу таких же несчастных, из коих некоторые уже трое суток ждут поезда, обещанного им расписанием. Причем, если послушать каждого из этих обманутых, окажется, что запоздание сулит им великие бедствия. (Женщина вызвана в Сочи телеграммой мужа; адреса мужа не знает, денег у нее в обрез, если он не встретит ее на вокзале — ей хоть застрелись). Скоро выяснилось, что даже лежание с чемоданами на грязном перроне есть великая милость: каждые десять минут появляется бешеный и замученный служащий, который гонит нас отсюда в «залу» третьего класса, где в невероятном зловонии очень терпеливо и кротко лежат тысячи пассажиров «простого звания», с крошечными детьми, мешками, разморенные голодом и сном — и по всему видно, что для них это — не исключение, а правило. Русские люди — как и в старину — как будто самим богом созданы, чтобы по нескольку суток ожидать поездов и лежать вповалку на вокзалах, пристанях и перронах. При этом ужасны носильщики — спекулянты, пьяницы и воры. В «Минер. Водах» носильщик скрыл от нас, что Армавирский поезд опаздывает (хотя об

этом было своевременно объявлено) и чтобы не таскать наших вещей слишком далеко, объявил, что нас не пустят с вещами в здание вокзала; армавирский носильщик взял у нас 30 добавочных рублей за «мягкость», но не только не достал мягкого, а заведомо не достал никакого и в течение 4 или 5 часов делал вид, что вот-вот добудет из кассы билет, и прибегал сообщить, что дела идут блестяще, хотя знал наверняка, что дела наши гиблые. Когда же *я* достал места при помощи отчаянного напора на нач. станции, носильщик получил с нас богатую мзду, но 30 р. за «мягкость» не вернул. Достал я билеты при помощи наглости; я, во-первых, заявил нач. Армавирской станции, что я из КСУ при Совнаркоме, а во-вторых, притворились вместе с одной барыней иностранцами. Это дало нам доступ в битком набитый поезд, идущий на Сочи (*via* Туапсе). В Туапсе мы пробыли весь день, т. к. пароход «Грузия» отбыл только в 10 ч. вечера. Жарко, пыльно, много гнусного, много прекрасного — и чувствуется, что прекрасное надолго, что у прекрасного прочное будущее, а гнусное — временно, на короткий срок. (То же чувство, которое во всей СССР.) Прекрасны заводы Грознефти, которых не было еще в 1929 году, рабочий городок, река, русло которой отведено влево (и выпрямлено не по Угрюм Бурчеевски). А гнусны: пыль, дороговизна, азиатчина, презрение к человеческой личности. И хорошего и плохого мы хлебнули в тот день достаточно. Попив чаю без сахару, но с медом (причем, нам подали ложечки с дырками — аккуратно проверченными в каждой «лодочке», почему дырки? — А без дырок воруют), мы отдохнули в прохладной фешенебельной чайной на самой главной улице (на фикусах мушиная бумага, *два* портрета Ворошилова; олеандра в цвету, плакат о займе: «методами соцсоревнования и ударничества») — и вышли на раскаленную улицу. Где гостиница? Там, на шаше. Идем на шаше, идут кучки людей — «та зачем вам гостиница, идите к нам, будем рады, пожалуйста» (говорит какой-то рабочий).— Где же вы живете? — Та в рабочем городке! ванну примете.— Идем! — Пошли мы вверх по отличной асфальтовой дороге, утопающей в зелени. ⟨...⟩ — Мы за квартиру ничего не платим, и газ у нас бесплатно! — говорит рабочий (Дмитрий Лукич Секалов). Его радушие было очень приятно, но в то же время поражало тупосердие, с которым он тащил нас усталых на высоту.— Далеко ли? — спрашивали мы.— Да вот сейчас,— отвечал он и вел нас все выше и выше. Наконец и домик — идеальный, причудливо стоящий на горе. ⟨...⟩ Рабочий показывал свою комнату, как будто это букингемский дворец. И гордость его понятна. Большая комната с широким окном, с чудесным видом на зелень и на море, с газовым отоплением (повернул, и готово!) — в такой комнате он за всю свою жизнь еще не живал никогда,— но убранство комнаты привело меня в ужас: мещанская бархатная скатерть, поверх этой скатерти — тюлевая, на вырезанных из дерева полочках пошлые базарные штучки, стены увешены дрянными открытками,— словом, никакой гармонии между домом и его обитателем. Да и



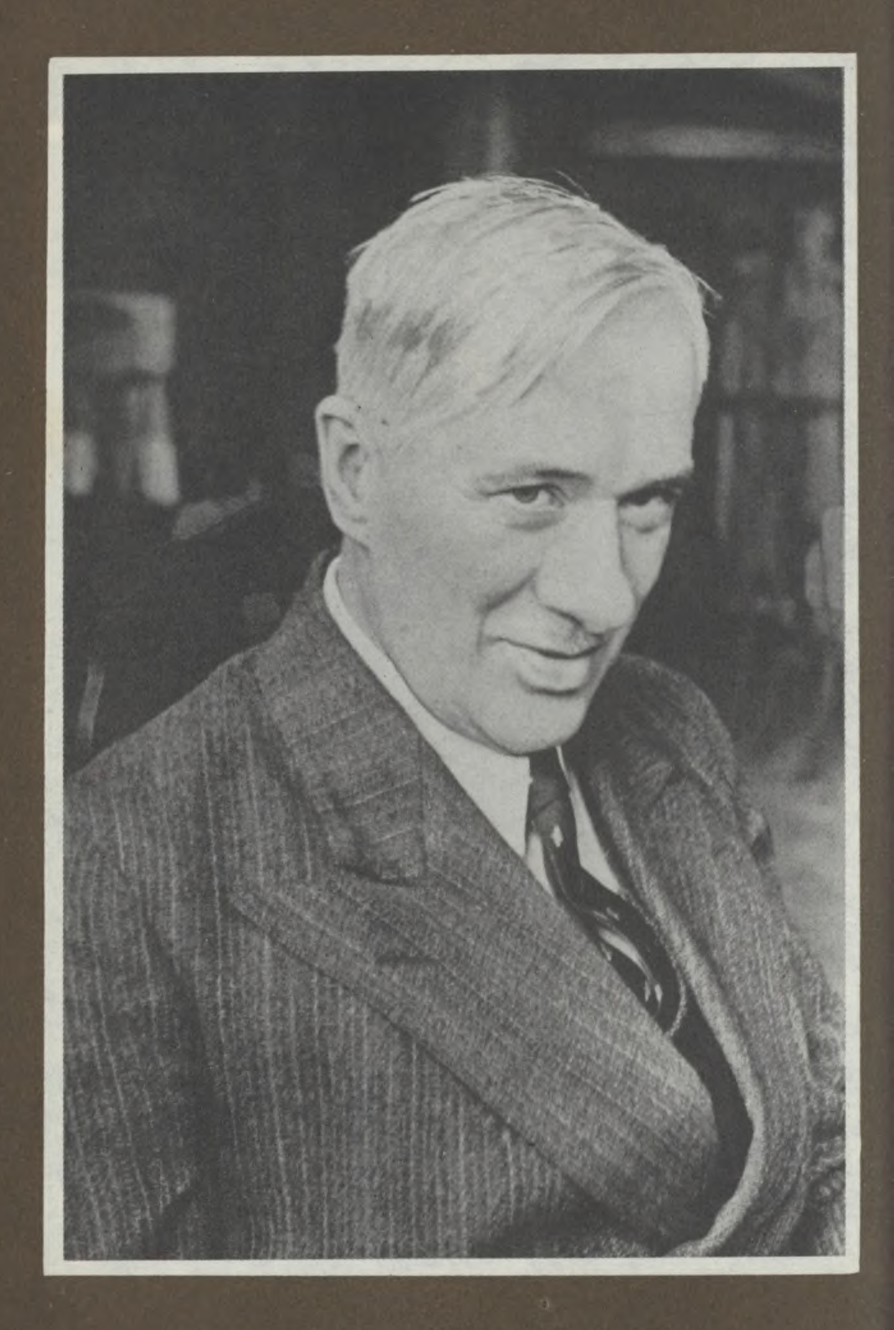
Ленинград. 1930 г. Снимал М. С. Наппельбаум



К. Чуковский и Е. Зозуля в ленинградском кабинете Чуковского. Начало 30-х гг. Печатается впервые



Корней Иванович со своей невесткой — Мариной Николаевной Чуковской и внуком Гулей (Николаем). Ленинград, 1937 г.



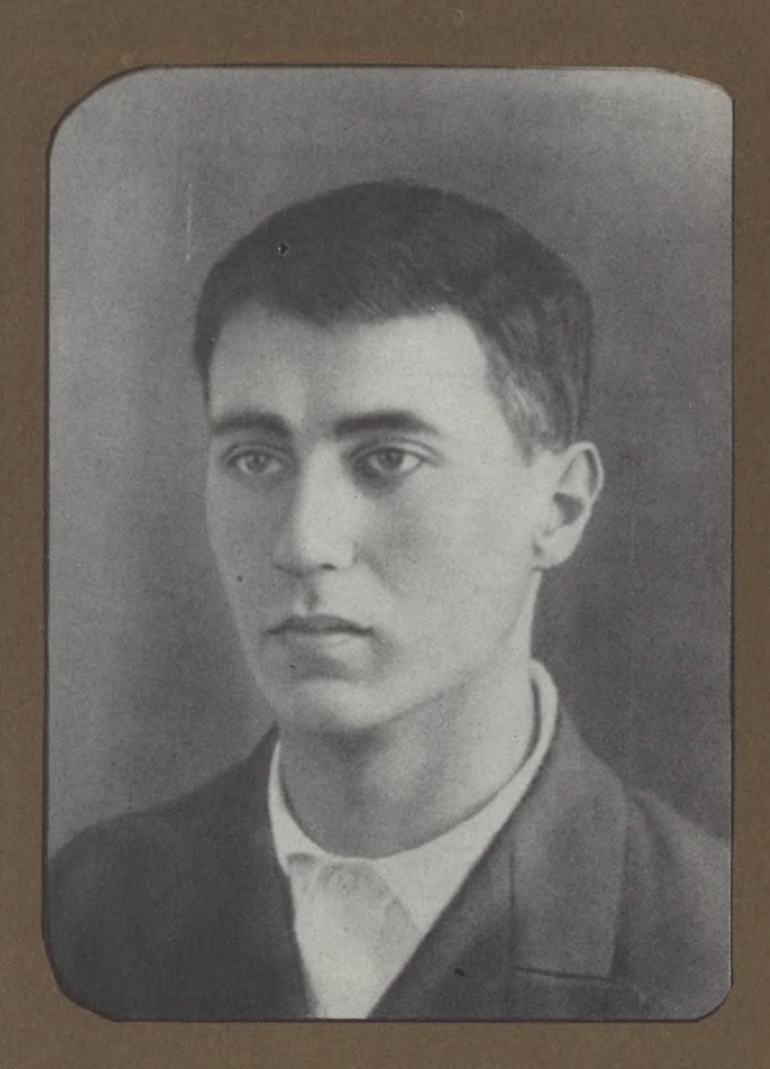
Начало 30-х годов. Снимал Б. Игнатович



Страница альбома I съезда писателей. Москва, 1934 г. На фотографиях М. Горький, С. Маршак, К. Чуковский; группа детских писателей: Н. Олейников, Н. Сац, С. Маршак, Е. Шварц, А. Барто, Л. Кассиль (альбом хранится в Красногорском архиве кинофотодокументов)



Борис Пастернак и Корней Чуковский в зале заседаний X съезда ВЛКСМ Апрель 1936 г. Снимал Б. Игнатович



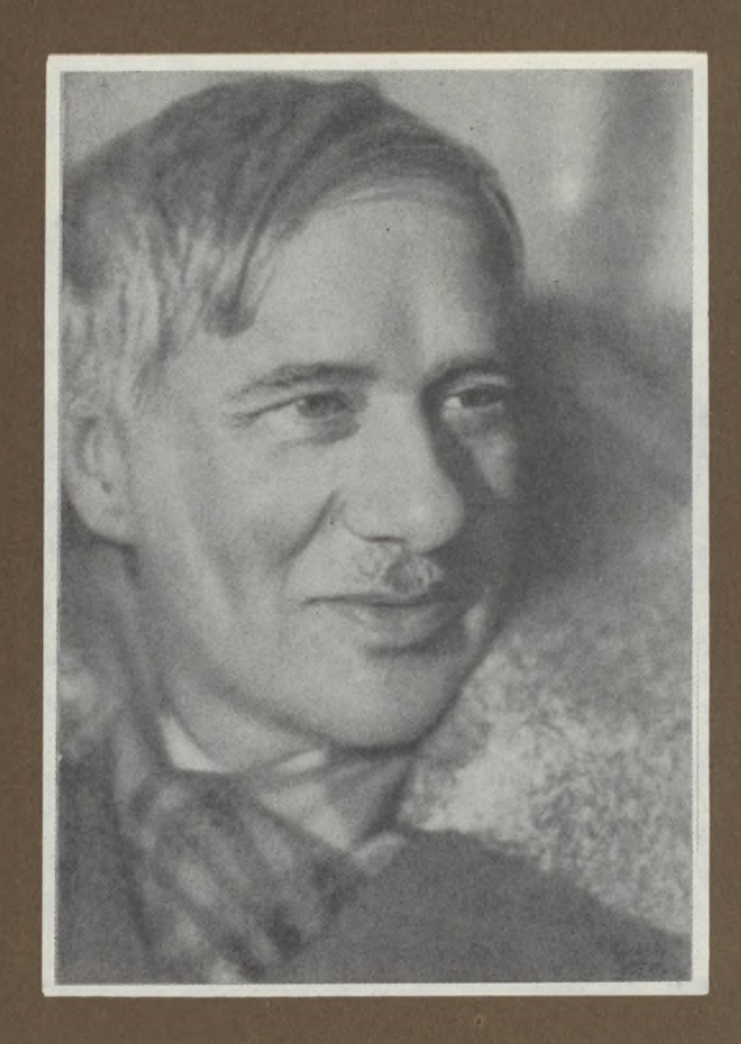
Борис Корнеевич Чуковский. 30-е годы.
Печатается впервые



После выступления. Начало 40-х годов. Узбекистан.
Печатается впервые



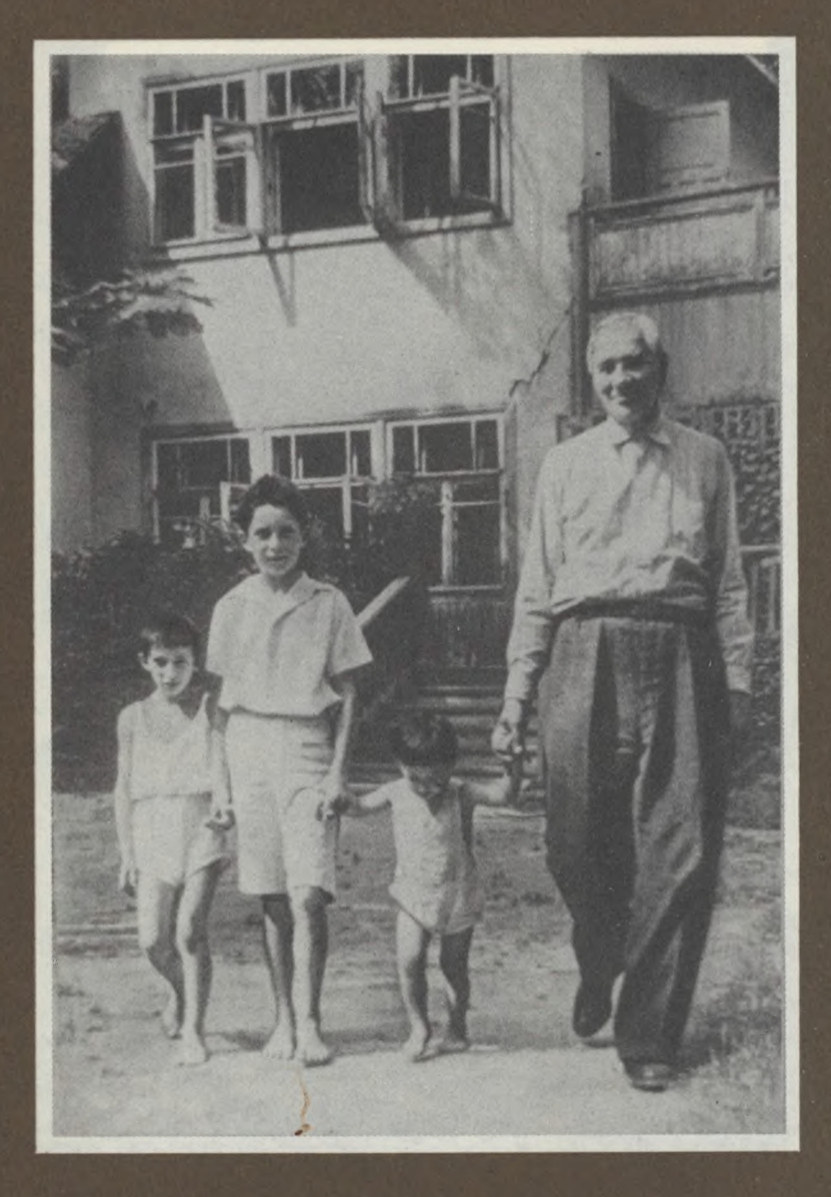
Среди слушателей одной из лекций. Печатается впервые



Москва, сороковые годы



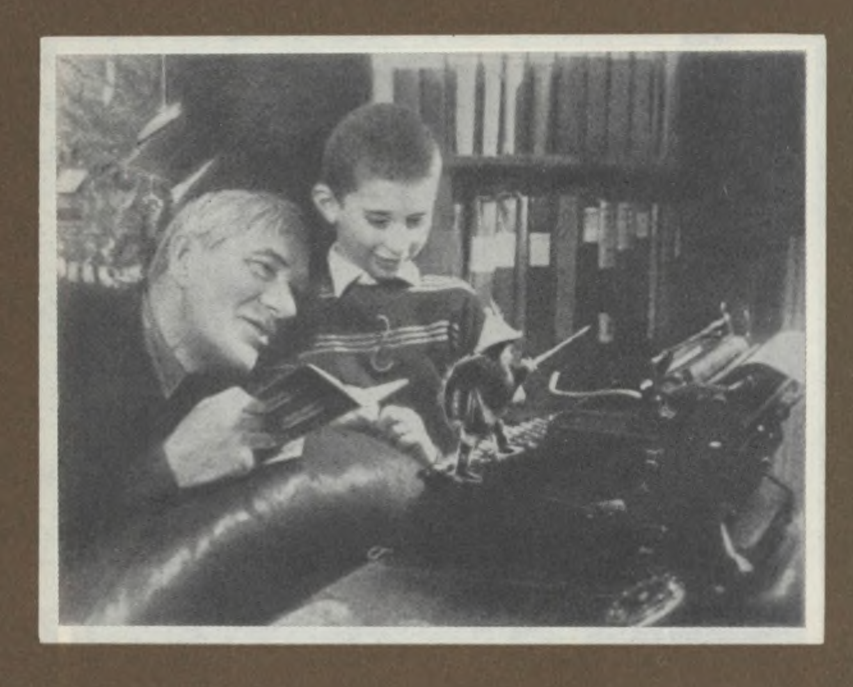
На отдыхе в Узком. 40-е годы



К. Чуковский с внуками. Справа налево: Митя, Гуля (Николай), Женя. Переделкино, 1947 г.



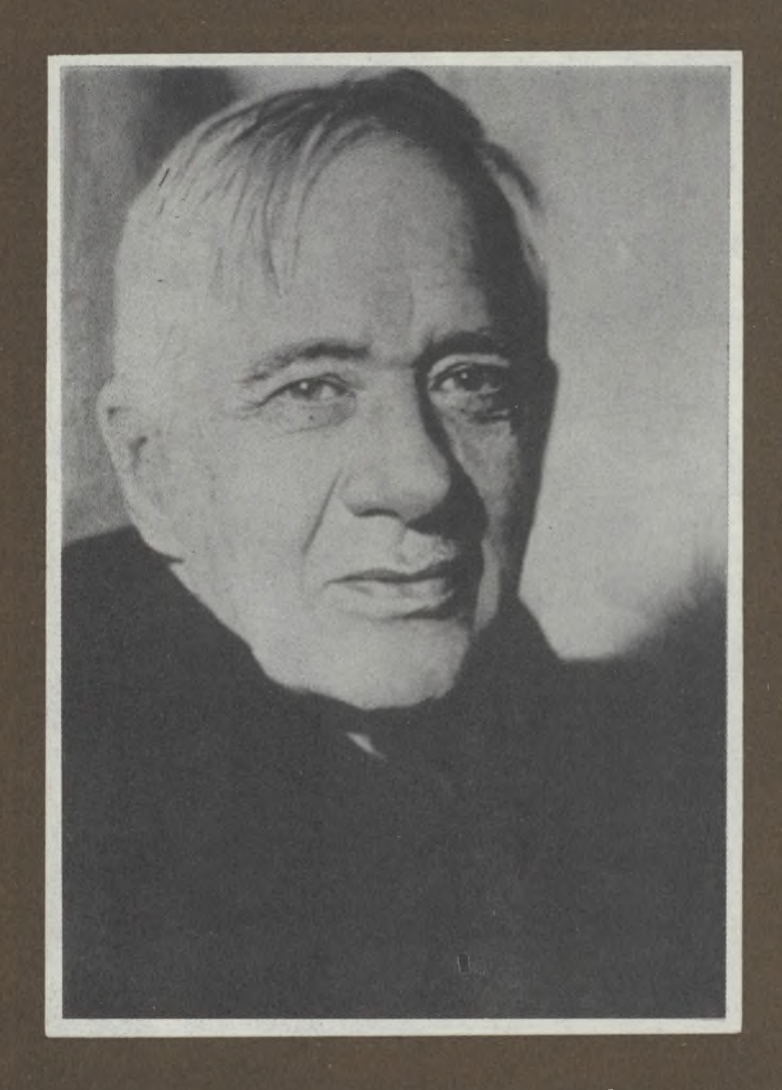
К. Чуковский с женой и внуками. На первом плане Митя и Женя, стоят Люша и Гуля. Переделкино, 1947 г.



К. Чуковский с внуком Женей. На первом плане фигурка Бибигона. 1946 г.



Внуки К. Чуковского — Тата (Наталья) и Женя. Иваново, 1954 г.
Печатается впервые



Пятидесятые годы. Снимал М. С. Наппельбаум

слова у этого Секалова были с пошлятинкой. ⟨...⟩ Обратно мы поехали на извозчике.— Ну что, как у вас колхозы? — спросил я старика.

— Колхозы-молхозы! — отвечал он презрительно. ⟨...⟩ Вечером мы благополучно очутились на «Грузии». ⟨...⟩ Первый класс есть собственно третий класс. Вся палуба усеяна телами, теми сплошными русскими телами, которые как будто специально сделаны, чтобы валяться на полу вокзалов, перронов, трюмов и пр. А наверху — там, где вход для «черни» запрещен, неск. плантаторов в кругл. очках, презрительных и снежно-штанных. В уборной никто не спускает воды, на палубе подсолнушная шелуха, на 300 человек одно интеллигентное лицо; прислуга нагла, и когда я по рассеянности спросил у лакея, заплачено ли за талон для обеда, который купила для меня М. Б., он сказал: «Верно, вы нашли его на палубе?»

И все же морское путешествие — для меня высшее счастье — и я помню весь этот день как голубой сон, хотя я и ехал в могилу. И вот уже тянется мутная гряда — Крым, где ее могила. С тошнотою гляжу на этот омерзительный берег. И чуть я вступил на него, начались опять мои безмерные страдания. Могила. Страдания усугубляются апатией. Ничего не делаю, не думаю, не хочу. Живу в долг, без завтрашнего дня, живу в злобе, в мелочах, чувствую, что я не имею права быть таким пошлым и дрянненьким рядом с *ее* могилой — но именно *ее* смерть и сделала меня таким. Теперь только вижу, каким поэтичным, серьёзным и светлым я был благодаря *ей*. Все это отлетело, и остался... да в сущности ничего не осталось. И как нарочно вышло так, что нас обоих с М. Б. славно пригвоздили к этому проклятому месту, где все напоминает о ее гибели: и дерево против балкона, и ручей овсянниковой дачи, и колокольня, и дорога в Бобровку, и те красненькие цветочки вроде склеенных ягод, которые я рвал для нее, когда она лежала у дома под деревом, где бурьян, и камни, и песни проходящих ударников, и аптека, и извозчик, на к-ром я ездил в Бобровку,— и нужно же было, чтобы Лядова по ошибке выслала нам деньги не в Алупку, куда я просил ее выслать, а в Ленинград — и вследствие этой ошибки мы на 3 недели застряли в Алупке, наделали долгов и не можем выехать. ⟨...⟩

8/VIII. Ночь. Сижу в загаженной комнатенке Ник. Соболева — и не сплю. Приехал сюда 3 дня назад. В Москве стоит удушливая жара — небывалая. Я был у Каменева в Концесскоме. Он добродушен, жирен, волосат — сидит в безрукавке. «Academia» заказывает мне три вещи: редактуру собрания сочинений Некрасова, редактуру «Кому на Руси жить хорошо» и редактуру Ник. Успенского. Все это даст мне около 20 тысяч рублей, а сейчас у меня нет ни гроша, мне пришлось выпрашивать у Антокольской, секретарши «Academia», 20 рублей взаймы. Без этих денег я буквально издох бы. Был в доме, где живет Горький. Дом ремонтируют, по приказу

Моссовета. Вход со Спиридоновки, со двора. Маленькая дверка. Прихожая. Только что крашеный пол. На полу газеты, чтобы не испортили краску ногами. Прихожая пуста.— Вам кого? Это спящий детина — из соседней комнаты.— Крючкова.— Сейчас. Крючков, располнелый, усталый и навеселе. Позвоните завтра, я скажу вам, когда примет вас Горький.— Хорошо. Но завтра Крючкова нет, он в Горках у Горького, и Тихонов тоже там. Звоню два дня, не могу дозвониться. Изредка посещаю прихожую. Там — кран. Это очень приятно в жару. Чуть приду, полью себе на голову холодной воды — и вытру лицо грязноватым полотенцем.

Вглядываюсь: это не полотенце, а фартух коменданта (он же швейцар и дворник). Неужели я приехал в Москву, чтобы вытирать лицо фартухом коменданта того дома, где живет Горький.

Сегодня видел Лядову. Она исхудала, как скелет. Нервы раздребежжены так, что она говорит и плачет. Особенно замучила ее история с Горьким. Она рассказывает мне эту историю. «В июне звонит Крючков: вызвать к Горькому Житкова и Маршака, будет совещание о детской литературе. Я советую вызвать дополнительно Чуковского. Крючков соглашается. Совещание назначено на 19-е. Прихожу. Горького нет. Маршак, Разин и я. Председательствует Крючков. «Мы должны дать Горькому материалы о состоянии детской словесности». Ничего из совещания не вышло. ⟨...⟩

Сегодня 14-го. ⟨...⟩ У Пильняка на террасе привезенный им из Японии «Indian helmet»* и деревянные сандалии. Он и сам ходит в сандалиях и в чесучевом кимоно. Много у него ящиков из папье-маше и вообще всяких японских безделушек. В столовой «Русский голос» (американская газета Бурлюка) и «New Yorker». Разговаривая со мною, он вдруг говорит: «А не хотите ли увидеть Фомушку?» Ведет меня к двери, стучится, и — на полу сидит японка, забавная, обезьяноподобная. У нее сложнейшее выражение лица: она улыбается глазами, а губы у нее печальные; то есть не печальные, а равнодушные. Потом улыбается ртом, а глаза не принимают участия в улыбке. Кокетничает как-то изысканно и как бы смеясь над собой. Лицо умное, чуть-чуть мужское. Она музыкантша, ни слова по-русски, и вообще не по-каковски, зовут ее Ионекава Фумино, перед нею на ковре длинный и узкий инструмент — величина человечьего гроба — называется *кото*, она играет на нем для меня по просьбе П[ильня]ка, которого она зовет Дьа-Дьа (Дядя), играет долго с профессиональной улыбкой, а внутренне скучая, играет деловито, подвинет то один колышек, то другой, укорачивая ими струну, производящую звук, и словно кухарка над плитой, где много кушаний, тронет одну кастрюльку, другую, ту переставит к огню, ту отодвинет — и получаются разрозненные звуки, не сливающиеся ни в какую мелодию (для меня).

Показывая ее как чудо дрессировки, Пильняк в качестве импрес-

---

* «Тропический шлем» (*англ.*).

сарио заставил ее говорить о русской л[итерату]ре (ее брат — переводчик). Она сейчас же сделала восторженное лицо и произнесла: Пу́сикини, Толостои, Беленяки (Пильняк). Весь подоконник ее комнаты усеян комарами. Оказывается, она привезла из Яп[онии] курево, от которого все комары дохнут в воздухе. Тут же ее бэби-кото — на котором она упражняется. Сейчас я видел Ольгу Сергеевну, жену П[ильня]ка, она не могла заснуть, т. к. ночью струна в этом бэби лопнула. Расхваливая Пильнячью «О. К.» [«О'Кэй».— *Е. Ч.*], я сказал, что для меня она приближается к «Летним заметкам о зимних впечатлениях» Достоевского. П[ильня]к не читал этой вещи. «Я читал только «Идиота» — талантливый был писатель, ничего себе».

16/VIII. Вчера единственный сколько-нб. путный день моего пребывания в Москве. С утра я поехал в ГИХЛ, застал Накорякова: Уитмэн уже свёрстан; чуть будет бумага, его тиснут. «Шестидесятники» тоже в работе. Видел Казина, говорил с заведующим технической частью. Оттуда в «Мол. Гвардию». Там та же растяпистость. Заседают — «вырабатывают план», нет времени дохну́ть, а дела не делают.— Что «Солнечная»? Никто не знает.— Где рисунки? Неизвестно. ⟨...⟩ Оттуда к Горькому, то есть к Крючкову. Московский Откомхоз вновь ремонтирует б[ывший] дом Рябушинского, где живет Горький, и от этого дом сделался еще безобразнее. Самый гадкий образец декадентского стиля. Нет ни одной честной линии, ни одного прямого угла. Все испакощено похабными загогулинами, бездарными наглыми кривулями. Лестница, потолки, окна — всюду эта мерзкая пошлятина. Теперь покрашена, залакирована и оттого еще бесстыжее. Крючков, сукин сын, виляет, врет, ни за что не хочет допустить меня к Горькому. Мне, главное, хочется показать Горькому «Солнечную». Я почему-то уверен, что «С-ая» ему понравится. Кроме того, чорт возьми, я работал с Горьким три с половиною года, состоял с ним в долгой переписке, имею право раз в десять лет повидаться с ним однажды. «Нет... извините... А. М. извиняется... сейчас он принять вас не может, он примет вас твердо... в 12 часов дня 19-го». И не глядит в глаза, и изо рта у него несет водкой. ⟨...⟩ Иду в «Академию». В прихожей: Ю. Соколов — фольклорист, Ашукин (он рассказывал мне, что против предоставления мне редактуры Некрасова яростно возражал Лебедев-Полянский), Благой и другие. Вчера мне наконец-то удалось сдвинуть с мертвой точки мои договоры о Некрасове, о «Кому на Руси», об Успенском. ⟨...⟩ Из «Academia» — в Дом Герцена обедать. Еще так недавно Дом Герцена был неприглядной бандитской берлогой, куда я боялся явиться: курчавые и наглые раппы били каждого входящего дубиной по черепу. Теперь либерализм отразился и здесь. Сейчас же ко мне подкатилась какая-то толстая: «К. И., что вы думаете о детской литературе? Позвольте проинтервьюировать вас...» В «Литературной Газете» меня встретили как желанного гостя. «Укажите, кто мог бы написать о вас статью».

Я замялся. В это время в комнату вошел Шкловский. «Я напишу — восторженную». Редакторша «Лит. Газеты» Усиевич захотела со мной познакомиться, пригласила меня по телефону к себе. Либерализм сказался и в том, что у меня попросили статью о Мандельштаме. «Пора этого мастера поставить на высокий пьедестал». Двое заправил этой газеты Фельдман и Цейтлин вообще горят литературой.— В столовой Дома Герцена мы пообедали вместе с Абрамом Эфросом, к-рый обещал мне дружески найти иллюстратора для моих детских книг и для «Кому на Руси». В столовой я встретил Асеева, Бухова, Багрицкого, Анатолия Виноградова, О. Мандельштама, Крученыха, и пр., и пр., и пр. И проехал из столовой к Леониду Гроссману. У Гроссмана как всегда чинный, спокойный, профессорский ласковый тон, говорливая и очень радушная Фимушка, разговоры о Достоевском, о злодее Чулкове, который

не ведает святыни,
не знает благостыни[6].

Приходят еще какие-то профессороподобные люди, Леонид Гроссман читает нам статью о новонайденных черносотенных статьях Достоевского (в «Гражданине»). Статья вялая, не всегда доказательная, но я слушаю с удовольствием, так как давно не слыхал ничего литературного. ⟨...⟩ С Леонидом Гроссманом я имел разговор по интересующим меня некрасовским делам,

18/VIII а к Усиевич пошел по детским делам. Евгения Феликсовна Усиевич (дочь Ф. Кона), тощая, усталая, милая. Сразу заговорила со мною о моих детских книгах — хочет дать о них статью в «Литгазете». ⟨...⟩ Когда я уходил, она сообщила мне свой каламбур:

Прежде литература была *обеднена*, а теперь она *огорчена* (Бедный и Горький).

От нее — к Шкловскому. У Шкл. мне понравилось больше всего. Я долго разыскивал его в дебрях Марьиной Рощи. И вот на углу двух улиц какие-то три не то прачки, не то домхозяйки поглядели на меня и сказали:

— А вы не Шкловского ищете?

— Да.

— Ну, идите вона в тот дом, что справа, вон рыженькая дверь и т. д.

Узнали по моему лицу, по фигуре, что мне нужен Шкловский! Шкловский был занят с кинорежиссером Томашенко, я ушел в заднюю комнатенку, сел у окна с Харджиевым и Трениным, и мы заговорили о поэзии. Они оба так обаятельны, так увлечены литературой, так преданы Шкловскому, относятся ко мне так сердечно, что мне в их обществе стало впервые в Москве — не душно и не тяжело; стали говорить о Случевском, о Фете, о Ходасевиче —

оба они часто убегали в соседнюю комнатушку, где библиотека Шкловского,— достать то ту, то другую книгу. Потом тяжелой поступью вошел Шк. — «У К. И. голова как будто мылом намыленная» (седая) и сейчас заговорил о Лёвшине. Что вы знаете про Левшина? Я знаю про Левшина мало. Пойдем в б-ку. Вот вам лестница, полезайте под потолок, вон три аршина Вельтмана, а вон там вторая снизу полка вся занята Левшиным.— Нет, тут не Левшин, а Чулков, потому что написано «Русские сказки».— В том-то и дело, что все эти сказки — Лёвшина. И русские и древлянские сказки не Чулковым написаны, а Левшиным. Вот посмотрите.— Он приволок объемистую рукопись, написанную им по поводу проблемы «Левшин — Чулков» — теперь она уже продана и будет печататься. У Шкл. полон дом приживальщиков, родственников жены и т. д. «Я за стол сажусь зимою сам-четырнадцать». И теперь мы сели сам-пять, он угостил нас на славу мясом и окрошкой и чаем с вареньем.

И тут за чаем начал участливый разговор обо мне. «Бросьте детские книги и шестидесятников. Вы по существу критик. Пишите по своей специальности. Вы человек — огромного таланта и веса. Я буду писать о вас в «Литгазету» — пролью о вас слезу (Харджиев: «Крокодилову») — а вы займитесь Джойсом. Непременно напишите о Джойсе». Потом все втроем они пошли проводить меня к автобусу. 〈...〉

Вчера же перед Шк. я был у Литвиновой на Спиридоновке, 30. Очень изящная квартира, окнами во двор, флигелек при Наркоминдельском доме, обстановка такая, в к-рой живут за границей средней руки доктора, присяжные поверенные и проч. Комната Литвиновой — книги в хорошеньких переплетах, картина Маковского, художеств. плакат на револ. тему, сделанный каким-то иностранцем,— и что больше всего меня поразило: целая этажерка, прикрытая плюшев. занавеской,— ее ботинки около 20 или 25 пар. Я пришел к ней просить ее от имени «Academia», чтобы она перевела на англ. язык мои детские книги. Она согласилась. 〈...〉 Дети Литвиновой в Турции, и Миша и Таня. Литвинова поседела, очень энергична, переводит на английский язык какую-то плоховатую пьесу.

Снова был у Крючкова. К нему приехал на своей великолепной машине Халатов с дочерью Светланой и женою. Они едут к Горькому — у Горького праздник: именины его внучки Марфиньки. Бедная Марфинька: ей везут целые горы подарков, в Горки едут десятки людей, к вечеру готовится фейерверк, и сытый обнаглелый комендант рыщет по всем распределителям достать бенгальские огни.

21/VIII. 〈...〉 Любопытно наблюдать теперь жизнь «Литературной газеты». Теперь ее руководители стремятся сделать ее наилиберальнейшей: заказывают статьи о Зощенке, об О. Мандельштаме, о

моем «Крокодиле». Но позиция ее трагически беспочвенна. Рапповщина рвется из всех щелей. Вчера к Фельдману, одному из руководов газеты, пришла Журбина и предложила ряд статей против Шкловского: «надо изобличить его реакционность. Он протаскивает контрабандой формализм». Если молодая писательница — теперь, когда партия предоставила нам «дышать на три четверти груди»,— сама по своей воле, после свержения раппа, лезет в бой с разбитым формализмом,— значит, рапповщины не выкуришь никакими декретами.

(Вчера в «Литгазете» был Асеев. Показывал разные трюки, стоял на голове и т. д. Провожал меня к трамваю, читал мне новые свои стихи — о Помпее. О Горьком говорит он беззлобно.)

Рапповщина сидит даже в антирапповцах: 15-летний сын Усиевич, внук Феликса Кона, заявляет: «я не могу читать Пушкина, т. к. мне не нравятся его темы, «Евг. Онегин» мне ненавистен, «Академия» печатает чорт знает что — никакого революционного пафоса».

Бумага Горького — Маршака (вчера мне дали ее прочитать) о детской литературе робка — и об ошибочной литературной политике говорит вскользь. О сказке вообще не говорит полным голосом, а только о «развитии фантазии». ⟨...⟩

28/IX. Третьего дня в Аккапелле мы, писатели, чествовали Горького. Зал был набит битком. За стол сели какие-то мрачные серые люди казенного вида — под председательством Баузе, б[ывшего] редактора «Красной Газеты». Писатели, нас было трое,— я, Эйхенбаум и Чапыгин, чувствовали себя на этом празднике лишними. Выступил какой-то жирный, самоуверенный агитаторского стиля оратор — и стал доказывать, что Горький всегда был стопроцентным большевиком, что он всегда ненавидел мещанство,— и страшно напористо, в течение полутора часов, нудно бубнил на эту безнадежную и мало кому интересную тему. Я слушал его с изумлением: видно было, что истина этого человека не интересовала нисколько. Он так и понимал свою задачу: подтасовать факты так, чтобы получилась заказанная ему по распоряжению начальства официозная версия о юбиляре. Ни одного живого или сколько-нб. человечного слова: штампы официозной стилистики из глубоко провинциальной казенной газеты. Публика до такой степени обалдела от этой казенщины, что когда оратор оговорился и вместо «Горький» сказал «Троцкий» — никто даже не поморщился. Все равно! Потом выступил Эйхенбаум. Он вышел с бумажкой — и очень волновался, т. к. уже года 3 не выступал ни перед какой аудиторией. Читал он мало вразумительно — сравнивал судьбу Тургенева и Толстого с Горьковской — резонерствовал довольно вяло, но вдруг раздался шумный аплодисман, т. к. это было хоть и слабое, но человечье слово.— После Эйх. выступил Чапыгин. Он «валял дурака», это его специальность: что с меня возьмешь, уж такой я — дуралей уродился! Такова его манера. Он так и начал:

«Горький хорошо меня знает, как же! И конечно, любит!» 〈...〉 Все это «чествование» взволновало меня: с одной стороны — с государственной — целые тонны беспросветной казенной тупости, с другой стороны — со стороны литераторов — со стороны Всероссийского Союза Писателей — хилый туманный профессор и гороховый шут. И мне захотелось сообщить о Горьком возможно больше *человеческих* черт, изобразить его озорным, веселым, талантливым, взволнованным, живым человеком. Я стал говорить о его остротах, его записях в Чукоккалу, забавных анекдотах о нем, читал отрывки из своего дневника — из всего этого возник образ подлинного, не иконописного Горького — и толпа отнеслась к моим рассказам с истинной жадностью, аплодировала в середине речи, и когда я кончил — так бурно и горячо выражала свои чувства, что те, казенные, люди нахмурились. Потом выступил какой-то проститут и мертвым голосом прочитал телеграмму, которую *писатели*, русские писатели, посылают М. Горькому. Это было собрание всех трафаретов и пошлостей, которые уже не звучат даже в Вятке. В городе Пушкина, Щедрина, Достоевского *навязать писателям такой* адрес и послать его другому *писателю*! И какой длинный, строк на 300 — и как будто нарочно старались, чтобы даже нечаянно не высказалась там какая-нб. самобытная мысль или собственное задушевное чувство. Горькому дана именно такая оценка, какая требуется последним циркуляром. И главное, даже не показали нам того адреса, к-рый послали от нашего имени. Да и странно вели себя по отношению к нам: словно мы враждебный лагерь, даже не глянули в нашу сторону. 〈...〉

29/IX. 〈...〉 Я сейчас делаю сразу двадцать литературных дел, и одно мешает другому. Нельзя одновременно: писа́ть статьи в защиту сказки, и комментарии к рассказам Николая Успенского, и характеристику А. В. Дружинина, и стихи для маленьких детей, и фельетон о редактуре классиков. А я делаю всё вместе — и плохо, т. е. хуже, чем мог бы, если бы каждая тема была единственная. Сейчас, слышно, ОГИЗ хочет купить у меня народные песни и загадки. Нужно обработать и это.

11/X. Видел Бор. Лавренева. Он говорит по поводу того, что Нижний переименовали в Горький. Беда с русскими писателями: одного зовут Мих. Голодный, другого Бедный, третьего Приблудный — вот и называй города.

Шкловский на днях приехал из Москвы. Позвонил от Эйхенбаума Тынянову: «Можно к тебе завтра придти?» — «Завтра?.. нет, я буду занят».— «Завтра я уезжаю на север».— «Ну так когда-нб. потом». (Рассказывал Эйхенб.)

Вчера б[ыла] у нас Мария Николаевна Рейнеке. Мы говорили с нею об Ангерте и Раисе Григорьевне. И вдруг звонок: говорит воскресший из мертвых — Ангерт. Меня это так взволновало, что я разревелся и побежал к нему. Он — ничуть не изменился, даже

помолодел. Из «заключенного», приговоренного на 10 лет, он стал в течение одного дня служащим ГПУ с жалованием в 400 р. Он своим пребыванием на Медвежьей Горе доволен — говорит, что режим превосходный, «да и дело страшно интересное» (строят там какой-то канал). ⟨...⟩

14/X. Пастерначий успех в Капелле. Сегодня П[астерна]к у Коли всю ночь от двенадцати до утра, но у Коли температура 39, он в полубреду, денег нет у него ни гроша, Марина беременна,— самое время для пьянки!

Вчера парикмахер, брея меня, рассказал, что он бежал из Украины, оставил там дочь и жену. И вдруг истерично: «У нас там истребление человечества! Истреб-ле-ние чело-вечества. Я знаю, я думаю, что вы служите в ГПУ (!), но мне это все равно: там идет истреб-ле-ние человечества. Ничего, и здесь то же самое будет. И я буду рад, так вам и надо!» и пр.

«Academia» до сих пор не заплатила. «Молодая Гвардия» тоже. Просто хоть помирай. У банков стоят очереди, даже в Сберкассах выдают деньги с величайшим трудом. Марусе нужно ехать в Одессу, но нет денег на билет. Она уже у нас два дня. ⟨...⟩

Подхалимляне. Писательский съезд.

17/XI. Болен. Зев и небо. Грипп. Копылов. Срывается мой концерт.

Уж такое мое сиротское счастье. Пять лет мне не разрешали выступать перед детьми со своими Мойдодырами, и когда наконец я получил эту возможность, и толстый Аланин расклеил по всему городу афиши, что Литфонд устраивает 20-го ноября два детских утренника с участием К. И. Ч., как я зверски заболел каким-то небывалым гриппом. ⟨...⟩

20-го я в своем стареньком пальто, в рваных и разнокалиберных калошах, хриплый и с дрожащими ногами вышел в петербургский ноябрь: вот-вот упаду; еле-еле добрел до Камерной музыки, сел у печки, возле Ирины и Уструговой — двух старушек, сопряженных со мною в концерте; меня на сцене встретили тепло, но я читал в три или четыре раза хуже обычного и еле дождался второго сеанса, еле добрел до дому — и вот до сих пор не могу очнуться: болит голова, весь разбит, никакой работы делать не могу — на 2 недели выбит из седла. О!о!о!

21/XI поплелся в Изд-во писателей: сдавать в печать своих «Маленьких детей». Я все еще не верю, что эта книга выйдет новым изданием, я уже давно считал ее погибшей. Но около месяца назад, к моему изумлению, ее разрешила цензура, и художник Кирнарский, заведующий художж. оформлением книг Изд. писателей, выработал вместе со мною тип ее оформления. В Изд. писателей встретил Тынянова. Он пошел со мною, и мы заговорили о его работах: «писать книгу о русских участниках Великой Француз-

ской революции я не решаюсь. Знаете, К. И., поневоле выходят параллели с нашей революцией, с нашей эпохой. Скажут: Анахар[сис] Кло[о]тц — это Троцкий, очереди у лавок — это наши «хвосты» и т. д. Опасно. Подожду. А пишу я сейчас для Music Hall'а, московского, специально ездил туда договариваться... В ГИХЛе выходят мои переводы из Гейне — последняя книга, которую я издаю в ГИХЛе. Предисловие написано Шиллером — ну топорно, ну тупо, но ничего, а вот примечания Берковского, это чорт знает что — наглость и невежество, вот вы сами увидите.

Позвольте, я к вам приду, у меня есть новый номер: академик Орлов — вот дурак патентованный, я столкнулся с ним на Ломоносове... Вот так идиот, любо-дорого. Да и вообще академики!!» Тут мы заговорили о Шкловском: «да, мы встречались после его статьи, разговаривали, но прежнего уже нет... и не будет. Его статью я почувствовал как удар в спину...[7] Он потом писал другую, замазывал, говорил, что я мастер, но нет... бог с ним... когда была у нас общая теоретич. работа... тогда и была у нас дружба. И смешал меня в кучу с другими, и Олеше посвятил целый столбец, а мне — всего несколько строк... о том, что я читаю все одни и те же книги... Что у меня вообще мало книг... Это у меня-то мало книг!!!»

Видно, что этот пункт статьи Шкловского особенно задел Юрия Николаевича.

Во время моей болезни был у меня милый Хармс. Ему удалось опять угнездиться в Питере. До сих пор он был выслан в Курск и долго сидел в ДПЗ. О ДПЗ он отзывается с удовольствием; говорит: «прелестная жизнь». А о Курске с омерзением: «невообразимо пошло и подло живут люди в Курске». А в ДПЗ был один человек — так он каждое утро супом намазывался, для здоровья. Оставит себе супу со вчера и намажется... А другой говорил по всякому поводу «ясно-понятно». А третий был лектор и читал лекцию о луне так: «Луна — это есть лунная поверхность, вся усеянная *катерами*» и т. д.

В Курске Хармс ничего не писал, там сильно он хворал.— Чем же вы хворали? — «Лихорадкой. Ночью, когда, бывало, ни суну себе градусник, у меня все 37,3. Я весь потом обливаюсь, не сплю. Потом оказалось, что градусник у меня испорченный, а здоровье было в порядке. Но оказалось это через месяц, а за то время я весь истомился».

Таков стиль всех рассказов Хармса.

Его стихотворение:

А вы знаете, что У?
А вы знаете, что ПА?
А вы знаете, что ПЫ?

Боба заучил наизусть и говорит целый день.

22/XI. Был у меня Алянский. Сидел весь вечер и рассказывал о своих столкновениях с Мишей Слонимским. По его словам Миша

двурушничал, подыгрывался к Чумандрину, лгал Федину, предавал Алянского на каждом шагу... Я был так утомлен, что плохо вслушивался, мне страшно хотелось спать, а когда Алянский ушел, я не мог заснуть до утра, болело сердце.

22/XII. Ездил на это время в Москву с Ильиным и Маршаком на пленум ВЛКСМ. В Кремле. Нет перчаток, рваное пальто, разные калоши, унижение и боль. Бессонница. Моя дикая речь в защиту сказки. Старость моя и обида. ⟨...⟩ И мука, оттого, что я загряз в Н[иколае] У[спенском] — который связал меня по рукам и ногам. Ярмо «Академии», накинутое на меня всеми редактурами, отбивающими у меня возможность писать. Вернулся: опять насточертевший Некрасов, одиночество, каторга подневольной работы. 5 дней тому назад был у Федина. Потолстел до неузнаваемости. И смеется по-другому — механически. Вообще вся вежливость и все жесты машинные. Одет чудно́: плечи подняты, джемпер узорчатый. Всякий приходящий раньше всего изумлялся его пиджаку, потом рассматривал заграничные книги (Ромэн Роллан, Горький и др.), потом спрашивал: «Ну что кризис?» И каждому он отвечал заученным механически-вежливым голосом. Но то, *что* он говорит, очень искренне. «В Луге я и одна американочка вышли в буфет (поразили больничные зеленые лица), стоял в очередях за ложкой, за стаканом, ничего не достал, поезд тронулся, я впопыхах попал не в немецкий вагон, а в наш жесткий — и взял меня ужас: грязно, уныло, мрачно. Я еще ничего не видел (сижу дома из-за слякотной зимы, жду снега, чтобы уехать в Детское, я ведь меняю квартиру), но все похудели, осунулись... и этот тиф...» и словом, начались разговоры, совсем не похожие на те интервью, которые он дал по приезде в газеты. Позже пришли Тынянов и Каверин. Опять щупанье пиджака, рассматривание книжек и — «ну что кризис?». Тынянов кинулся ко мне с большой горячностью. И хотя дома его ждала ванна, пошел от Федина к нам и сидел у нас до поздней ночи и показывал нам разные эпизоды из жизни знаменитого еврейского актера Михоэлса и академика Орлова и рассказывал о своем новом романе, посвященном жизни предков Пушкина.

Никогда не испытывал я большей тоски, чем теперь, когда пишу об Успенском.

23/XII. Сегодня утром пришел ко мне Шкловский. Рассказывал о своей поездке к брату — который сослан на принудит. работы куда-то на Север. М. Б. накинулась на него из-за Тынянова: Да как вы смели напасть на «Воск. персону»? И в какое время — когда все со всех сторон травили Тынянова? Вы, лучший друг.

Шкл. оправдывался: Во-первых, Тын. никогда не травили. Бубнов дал распоряжение печати не трогать Тынянова. Я не только Тынянова, я Горького обличил в свое время и т. д.

Мы решили помирить их и позвали обоих обедать. Они были нежны, сидели рядом на диване, вспоминали былое.— Ты стал

похож лицом на Жуковского! — говорил Тынянов,— и это недаром, в тебе есть немало его психических черт. Даром такого сходства никогда не бывает. Заметили ли вы, напр., как Ал. Толстой похож на Кукольника? И карьера в сущности та же. И даже таланты схожи! Обед прошел натянуто, так как была докторша Серафима Моисеевна Иванова из Алупки. Потом Шкл. у камина стал читать свои «стих-ия в прозе» — отрывки о разных любвях — заглавия этой книги еще нет, и голос у него стал срываться.

— Старик, что ты волнуешься? — спросил Т[ынянов].

— Я не могу читать.

И действительно не мог: законфузился. В этих отрывках есть отличные куски. Но Тынянов не только не сказал о них ни одного доброго слова, но стал почему-то сравнивать их с тупоумными анекдотами Клайста, один из которых процитировал по памяти. Так никакой спайки и не вышло. Мы в этот день торопились на Утесова и вышли вместе. Тын. нарочно пошел нас провожать, лишь бы не остаться наедине с Шкловским.

1933 г.

Сейчас 25/I 33 г. был юбилей А. Н. Толстого. Более казенного и мизерного юбилея я еще не видел. Когда я вошел, один оратор говорил: «Нам не пристала юбилейная лесть. Поэтому я прямо скажу, что описанная вами смерть Корнилова не удовлетворяет меня, не удовлетворяет советскую общественность. Вы описали смерть К[орнилова] так, что К[орнило]ва жалко. Это большой минус вашего творчества». Я вышел в прихожую, где Миша Слонимский, Тихонов, Лаврентьев, Кол[нрзб.— *Е. Ч.*]. Лаврентьев сказал чудесную речь, по-актерски — от имени театра им. Горького. Встал на эстраду, возле Толстого, чего другие не делали — и сказал о том, что «все сделанное тобою,— это только первая твоя пятилетка — и у тебя еще все впереди». Толстой похудел, помолодел,— несколько смущен убожеством юбилея. В президиуме Старчаков, Лаганский, Шишков и Чапыгин и какие-то темные безымянные личности. Лаганский вышел с пучком телеграмм, но ни от Горького, ни от Ворошилова — ни от кого нет ни одного слова, а только от Рафаила (!), от Мейерхольда, от театра Мейерхольда, еще две-три — «и больше никаких поздравлений нет», наивно сказал Лаганский.

Я, впрочем, опоздал: был у Веры Смирновой, у которой смертельно больна девочка Ирочка...

Дневника я не веду по дикой причине:
У меня нет тетради для его продолжения. Кончится эта,— и аминь. Поэтому я не записал своих последних встреч с Фединым (он похудел, у него уже был припадок бешеной простуды, страшный озноб;

он скулит, предсказывает всякие беды, ничего не пишет). С Тыняновым мы встретили[сь] дня 4 назад на секции научных работников в Ленкублите, где были: М. Л. Лозинский, Оксман, Каверин, Эйхенбаум, и вообще ядро библиотеки поэтов. Тынянов, как главный редактор, делал вступительный доклад. Он запоздал, пришел торжественный, замученный и злой и стал странно мямлить, заикаться,— словно говоря думал о другом — смотрел в землю и видимо торопился кончить. Говорил минут 12 или даже меньше. Потом стали говорить другие — интереснее всех Оксман о Рылееве. А когда мы шли с Т[ыняновым] домой, Т. сказал: «Вот удивительно: я уже неск. дней готовился к своей речи, думал, что она будет блестящая, с фейерверками, а она вон какая вышла коротенькая. Отвык говорить. Уже 5 лет молчу. Сам удивился. А готовился...» Видно, что эта неудача тяжело удручает его. 〈...〉 Завтра нужно писать о Дружинине. А потом корректура «Маленьких детей», для Издательства писателей.

С издательством писателей вообще вышла катастрофа. Федин очень забавно рассказывал, как Слонимский повез в Москву планы, а Москва вычеркнула книги всех начинающих писателей, всех писателей от станка, все книжки о заводах и колхозах — а оставила Вагинова и других одиозных.— Это кто? — Это писательская бригада...— Вон!

Все переиздания забракованы.

28/I. Троцкисты для меня были всегда ненавистны не как политические деятели, а раньше всего как *характеры*. Я ненавижу их фразерство, их позерство, их жестикуляцию, их патетику. Самый их вождь был для меня всегда эстетически невыносим: шевелюра, узкая бородка, дешевый провинциальный демонизм. Смесь Мефистофеля и помощника присяжного поверенного. Что-то есть в нем от Керенского. У меня к нему отвращение физиологическое. Замечательно, что и у него ко мне — то же самое: в своих статейках «Революция и Литература» он ругает меня с тем же самым презрением, какое я испытывал к нему[1].

30/I. Опять навалили некрасовских корректур! Жутко взглянуть: 80 печатных листов. И когда я из-под этого выкарабкаюсь. А выкарабкиваться надо. А то выходит, что я не столько писатель, сколько редактор — то есть окололитературный человек.

Письмо от Сергеева-Ценского.

У меня к нему отношение двойственное. Я очень любил его «Печаль полей», его «Лесную Топь» — но в последнее время он сунулся в историю — он смеет выводить перед нами Пушкина, Лермонтова, Гоголя,— а знает о них меньше гимназиста. Ни эпохи не чувствует, ни характеров.

Тынянов предлагает *мне* устроить мое чествование по случаю моих некрасовских работ. «В пику этому дураку Евгеньеву-Максимову». Но ценит ли он их, я не знаю. Что он презирает

Евг.-М., это несомненно. Он изумительно передразнивает его. Я вчера прямо-таки обезживотел от смеха. Он изображал Переселенкова и Евг.-Максимова. ⟨...⟩

1 июня 1933. Мой чемодан в швейцарской у Ионова, а я с портфелем бегаю по Москве. Вчера был день хлопот и происшествий, ⟨...⟩ поехал в «Молодую Гвардию». В «Молод. Гвардии» покрашены двери, в комнате у Лядовой новые обои, окна вымыты, но сумбур прежний. В приемные часы нет никого — ни одного человека. Все ушли на партсовещание. После долгих пертурбаций отыскал я Розенко, заведующего «Молодой Гвардией». Это широколицый, простой человек, бывший шахтер, очень симпатичный, прямой, без дипломатических вывертов. Он на меня обижен, т. к. в одном письме я ему написал: «нужно быть идиотом, чтобы» — и он принял этого идиота на свой счет. Мы объяснились. Он взял у меня книгу «Некрасов для детей» и попросил дополнить и переработать ее. Я вручил ему книжку своих сказок. Он обещал в трехдневный срок дать мне ответ: будет ли «Молодая Гвардия» печатать собрание моих сказок в одном томе. ⟨...⟩

Из «Молодой Гвардии» я пошел в Радио-Центр. Там хотят использовать меня дважды: мои стихи и мою книжку «Маленькие дети». Это даст мне деньги на гостиницу — 270 рублей. Сегодня я решил ночевать в гостинице. В Радио-Центре мне показали письмо: ребята где-то в провинции «*постановили*: считать Чуковского своим любимым писателем». ⟨...⟩ Из Радио-Центра я поехал в «Academia». Там первый ч[елове]к, которого я увидел, был Каменев. По-прежнему добродушный, радостный, но седой. За этот год голова у него совсем поседела. ⟨...⟩ Каменев между прочим сказал: «Хорошо было мне в Минусинске: никто не мешал мне заниматься. Я написал там о Чернышевском 12 печ. листов (биографию Чернышевского). Как жаль, что меня вернули в Москву. Там я написал бы о Некрасове, а здесь недосуг». Я думаю, что это — рисовка и что на самом деле он очень рад своему возвращению в Москву.

Мне нездоровится: болит голова, почти не сплю, простудили в поезде: дуло из окна и т. д. ⟨...⟩

Правлю Колин перевод «Острова Сокровищ», который заставляет меня часами корпеть над каждой страницей. ⟨...⟩

Горький заболел. Простудился после Италии и Турции. Не мудрено. Тут собачий холод, слякоть, тучи, нет даже намека на солнце. Третьего дня боялись, что Горький умрет. ⟨...⟩

5/VI. В Оргкомитете Писателей хоронили Мишу Слонимского. Он читал свой новый роман — должно быть, плохой — п. ч. ни один из беллетристов не сказал ни слова: Олеша отмолчался, Вера Инбер зевнула и ушла спать. Всеволод Ив[анов] сказал (мне), что роман — дрянь, и даже написал об этом в Чукоккалу[2]. А говорили: Накоряков, Гроссман-Рощин и друг., причем даже

Гроссман-Рощин сказал, что словесная ткань романа банальна и — обвинял Слонимского в изобилии штампов. Было одно исключение: Фадеев, к-рому роман понравился. Вечером я, Слонимский, Фадеев, Ю. Олеша и Стенич пошли в ресторан. По дороге Олеша говорил: «Ой, чувствует Сл., что провалился. Это как после игры в карты: и зачем я пошел не с девятки? Походка у него как у виноватого». А потом: «Нет, не чувствует. Он доволен... Если так, все пропало. Бездарен до гроба». Фадеев говорил, что ему роман понравился: «А вот у Всеволода,— говорил он,— роман «У» — какая скука. Я сам — по существу — по манере ленинградский и Слонимский — ленинградский. А Всеволод — Москва: переулки, путаница».

7/VI. Хлопоча о Кисловодске для М. Б., пошел к писателям. Был вчера у Сейфуллиной. После первых же приветствий милейший Правдухин (перевязана голова: ему только что срезали шишку на голове) стал читать мне свой роман из жизни уральских казаков девяностых годов. В романе интересные куски — как идет вобла, но словарь чересчур заколдыкистый. Множество слов, которые все звучат для меня как «закуржавело», «закурдыкало», «подъярыжное семя» и все в этом роде. Я высказал это Правдухину. Он не обиделся. (У них летом квартирка кажется лучше, чем зимою. Из окна виден Ленинский Музей, огромная панорама Москвы.) Чуть он кончил, Сейфуллина принесла мне свою рукопись и стала читать. Это — короткий рассказ. Готовы только 2 главы. Всех будет 3 или 4. Очень простая, очень задушевная, мопассановская, человечная и спокойная. Называется «Собственность». Я даже не ожидал, что С. так вырастет. От прежней С. осталась лишь одна фраза: «горьким туманом расплаты», и эта фраза прозвучала как моветон. И сама Лидия Николаевна говорит: и как меня угораздило написать эту фразу!

Тут же мама Правдухина — толстая медведеобразная ж[енщи]на и Капа — сестра Л. Н., и брат Валерьяна Павловича — Кока. Угощали чаем, очень радушны и дружественны.

От них к Олеше. Этажом ниже. У него Стенич, Ильф и какой-то художник, и бонтон за столом, и шутливые разговоры. Олеша вообще любитель застольной беседы и весь исходит шутками, курьезами, злыми словечками.

Ильф острит без конца. Глянул из окна. «Ах, какая у вас удобная квартира: чудесно будут видны похороны Станиславского». И тут же стали изображать, как Немир.-Данченко и Ст[аниславский] все время напряженно думают, кому из них умирать раньше. И про Афиногенова: как он якобы скрыл свой месячный заработок (14.000 рублей), и комиссия его обнаружила. Я спросил о «Трех толстяках». Ол[еша] говорит, что, когда Ст[аниславский] вернулся из-за границы, он решил поставить «Трех толстяков» в другом стиле, и поэтому снял их на время. Но ничего, «Три толстяка» будут идти в Мюзик Холле — где будет множество цирковых номеров.

Олеша принял близко к сердцу мое дело и стал звонить какому-то Рискинду. А потом мы пошли к Б. Пастернаку — то есть я пошел к Кольцову спать, а они — так же смеясь и переходя от анекдота к анекдоту, злословя, зашагали по Газетному переулку. Проходя мимо дома МОПРа, Ильф указал на архитектуру: тюремная. Этим архитектор и взял политкаторжан. «Я построю вам дом — совсем как настоящая тюрьма. С самыми настоящими решетками». И те соблазнились. А Корбюзье отвергли.

7/VIII. Евпатория. ⟨...⟩ В Евпатории, как и в Ялте, пошлятина: берут честные, прекрасные морские ракушки, раскрашивают их и делают из них всевозможные неестественные узоры. В Евпатории есть мастерская этих изуродованных ракушек под жеманным названием «Дар морского дна». Продавцы кричат: молодая лечебная пшонка. Неподалеку от нас есть сапожник, который, уходя на обед, снимает вывеску и уносит с собою: воруют. Вообще воровство в Евпатории сказочное. Воры читают по афишам, какой актер когда выступает, и пробираются к нему именно в ту минуту, когда он, волнуясь, выходит на эстраду. Здесь я познакомился с Гецовым, начальником Военного Санатория для детей.— Ты *лежачий*? — спросил я одного больного.— Нет, я *скакачий*. ⟨...⟩

Я дал в Евпатории 11 концертов: 5 в Курзале, 2 в Гелиосе, 1 в «Первом Мая», один у Крупской, один — в Талассе.

В Евпатории я познакомился с Ойстрахом,— студентообразный скрипач, милый, изящный, скромный. Я разочаровался в цирковой-эстрадной богеме. ⟨...⟩

26/VIII. Из Евпатории мы уехали на машине Гецова в Ялту с заездом в Балаклаву — строгий, самобытный, незабываемый город, лишенный всякой крикливой пошлости. *26* ночью приехали в Ялту. *27 вечером у Муры на могиле в Алупке...* ⟨...⟩ В Ялте обошел книжные магазины, куда Союзпечать доставляет из Москвы такие книги:

«О выполнении плана по тяжелой промышленности» — Проф. Петров.— «Злокачественные опухоли» — «Атлас по паровым турбинам» — «Проблемы Китая» — «Road machines»* — «Перестройка местного бюджета», а о Крыме нет ни одной книжки. Вся эта литература лежит мертвым грузом на полках, а обыватель, поглядев на нее, идет и покупает ракушки. Очень много также книг, напечатанных по-татарски. Но татары их едва ли читают — и продавщица в киоске говорила мне, что в конце концов разрывает эти книги на фунтики — и в таком виде продает покупателям, к-рые идут за виноградом.

На «Аджаристане» — скука и бестолочь. ⟨...⟩ К сожалению «Аджаристан» имеет подлое обыкновение сообщать пассажирам,

* «Дорожные машины» *(англ.)*.

что он отойдет через 20, через 30 минут, в то время когда он стоит 2—3 часа, и поэтому бежишь со всех ног на пристань — и боишься шаг отойти от корабля, а он стоит и стоит и держит тебя кавказским пленником.

Словом, так или иначе, но 1-го сент. мы оказались в *Батуме*. Невероятно, но факт: чтобы сдать вещи в багаж на вокзале, потребовалось $3^{1}/_{2}$ часа, так медленно работали в том подземельи, которое предназначено для хранения вещей. Потом я пошел к начальнику станции и стал хлопотать о билетах на Тифлис. ⟨...⟩ Чуть я приехал в Тифлис — я поехал на трамвае на Плехановскую ул. в «Детский Парк культуры и отдыха», о котором столько шумели газеты. Мне б[ыло] интересно взглянуть на единственный в СССР детский социалистический парк. Все это оказалось моветонной чепухой. Сжатый между двумя высокими домами крошечный клочок кафешантанной земли, загаженной ночными посетителями. Вечером это Арто с открытой эстрадой и выпивкой, а днем это — «Единственный в СССР Детский Сад Культуры и Отдыха». ⟨...⟩ на самом деле Дет. Парк Культуры и отдыха был никуда негодным местом, где ребята хулиганили и склочничали и нарочно оставались подольше, чтобы пробраться без билета на вечерние представления. ⟨...⟩ повели меня в детский бассейн. Бассейн оказался величайшею мерзостью. Маленький водоем ведер в 70 — непроточной воды, переполненный голыми людьми *взрослыми,* и среди них двое-трое ребят. Я спросил, почему же в этом детском бассейне — взрослые, они ответили, что теперь они поставили бассейн на коммерческую ногу и предоставляют его всем желающим освежиться, а деньги берут себе в покрытие невыплаченной им зарплаты!!! Потом они признались, что никакого фотокружка, никакого драмкружка в сущности тут и не было, что работа существовала только на бумаге, а все эти снимки — липовые. На технической станции изделия ребят — стол, стул и пр. тоже липа, там вообще нет ребят, а какой-то взрослый выделывает какую-то деревянную штуковину для себя. Я решил сообщить об этом Тифлисской администрации — и пошел в газету «Заря Востока», находящуюся в новом помещении,— явная пародия на «Известия». Там меня встретили, как знакомого, и сказали между прочим, что в Тифлисе — Пильняк. Было уже 4 часа. Я до этой минуты не ел, не спал, не нашел пристанища. Все гостиницы были заняты, я истратил на извозчиков и носильщика около 50 рублей,— вещи мои были сложены в вестибюле гостиницы «Палас» (кажется) — и надежд на номер почти никаких не было. От отчаяния пошел я в гостиницу «Ориант» («Orient») и спросил, не тут ли остановился Пильняк. «Тут, в правительственных комнатах». Я пошел туда — и в обширной столовой увидел стол, накрытый яствами,— и за столом сидит сияющий улыбками Пильняк. Потом оказалось, что тут же присутствуют: *Герцль Базов*, груз. еврей, написавший пьесу о еврейском колхозе; Заведующий сектором Искусства Наркомпроса критик *Дудучава*, драматург *Бухнихашвили*,

тел. 30-20, кинорежиссер *Лина Гогоберидзе,* Замнаркомпрос *Гегенава* — и Евгения Влад. *Пастернак,* б[ывшая] жена Пастернака и др. Во главе угла сидел тамада Тициан *Табидзе*, осоловелый тучный человек, созданный природой для тамаданства. Он сейчас же произнес тост за М. Б. и за меня (причем, помянул даже мою статью о Шевченко, даже мою книгу «От Чехова до наших дней»), и сейчас же Женичка побежала куда-то и устроила нас в своем номере «Ореанта», а сама получила другой. 〈...〉 Когда мы вошли, разговор шел о Горьком — враждебный разговор. Пильняк, задетый статьей Горького, был очень утешен враждебностью некоторых тупоголовых литераторов к Ал. М.— Что сильнее Горького? задал он загадку.— Смерть,— ответил какой-то старик.— Верно, верно! Слышите, Чуковский. Стиль речей тамады был очень высокий: «Красота обязывает», «Красота спасет мир». «Святое семейство — *Борис* Пастернак, *Борис* Пильняк и *Борис* Бугаев», три человека, посетивших Грузию. Потом я понял сущность грузинского пира: число тостов равняется числу человек, сидящих за столом, помноженному на число стаканов. Табидзе пил непрерывно — и тосты длились часа $3^1/_2$. Потом появилась машина *Наркома Бедии*, и мы поехали вшестером: я, Пильняк, Табидзе и еще какой-то юноша, Лина Гогоберидзе, Лида Гасвияни — в Мцхет, посмотреть ЗАГЕС и старинный собор. Табидзе декламировал стихи Блока, которые казались еще прекраснее от его грузинского акцента. Табидзе, бывший символист русско-французского толка, осколок великой поэтической эпохи символизма,— и его пьяные стихотворные вопли были в духе 1908—1910 гг. Лицом он похож на Оскара Уайльда, оплывшего от абсента. Он уже лет десять «собирает материалы» для романа о Шамиле. 〈...〉 На след. день я был в Музее — где отражено хевсурское и сванское житье. Видел орудия хевсурской медицины, страшные пинцеты и ланцеты,— лыжи, кровати — роскошную для мужчины и жалкую для ж[енщи]ны, в виде корзины, кот. выносят за ручки, когда женщина рожает, и на машине того же наркома, управляемой шофером *Жорой*, побывал в знаменитых *Коджорах*, где видел идеальный детский комбинат, созданный Груз. Наркомпросом для беспризорных детей. Коджоры высоко над Тифлисом — природа там прохладная — вроде подмосковной. Там спасаются от жары дачники — и если бы не недостаток воды, это было бы идеальное место. Там раскинуты на большом пространстве дома детского комбината. 〈...〉 Их директор Дмитрий *Дудучава* — молчаливый человек, повидимому очень преданный делу, давал нам объяснения: у них 50 га земли, 60 коров, 100 свиней. Все учителя живут тут же. В Коджорский комбинат входит также и педтехникум. Все было очень интересно, но чуть я вошел во вкус — появился стол, уставленный яствами, и начались бесконечные тосты. Я не увидел и сотой доли того, что хотел. 〈...〉 Вечером 2-го во Дворце Искусств на ул. Мачабели, 13 (б. Сергиевская), Пильняк устроил беседу с местными писателями. Собралось человек 300. Зал не вмещал всех

собравшихся. Стояли в проходах, в прилегающих комнатах. Пильняку задавались вопросы, он отвечал остроумно и забиячливо. «Не всем же писать Клима Самгина»! Его спрашивали, как он относится к Дос Пассосу (в связи со статьей Горького, ругавшей Дос Пассоса[3], как америк. Пильняка), зачем он написал «Красное дерево» и проч. Вдруг он назвал мое имя. Я в давке и гаме, за дальностью расстояния, не расслышал, в чем дело — он пошел в публику, вытащил меня и поставил. Я стал читать свои сказки,— и публика приветствовала меня с такой горячностью, с какой меня не приветствовали никогда нигде.

На след. день был обед у *Тициана.*〈...〉

11/IX. Кисловодск. Вчера встретил у вокзала Н. С. Тихонова. Поехал в Кисловодск на минутку за тещей, чтобы везти ее в Л[енинград]д. В сапогах, в походном сером запыленном костюме — ничего писательского. Только что объехал весь Дагестан — и как всегда полон экзотических никому неизвестных имен и событий. «Племя такое-то решило купить автомобили в Торгсине — в складчину. Строило дороги три года — и купило 4 машины на золотые и серебр. вещи. Каждый участник получил квитанцию, и теперь кто ни предъявит квитанцию, может в порядке очереди пользоваться машиной». А языков в Дагестане 70. Есть деревня (такая-то: тут он произносит экзотическое имя), которая имеет собственный язык, недоступный ее ближайшим соседям. Слышно в соседнем ауле, как кричит петух, а друг дружки не понимают. Он коллекционер диковин. Кавказ для него — край курьезов, нужных его беллетристике. Купил коня в начале пути, продал его в конце. Я предложил ему пойти со мною в КСУ.— Ну их к чорту. Ни разу и одной минуты не бывал в санаториях. Лучше на земле на бурке. С тоскою говорил о необходимости ехать в Л[енингра]д и впрягаться в литераторскую лямку. Речи, заседания — тоска. Он пишет книгу стихов вперемежку с прозой «Зверинская, 2» — о том доме, где он живет. «Вот незаметно написал 50 листов прозы. Страшно подумать. И сколько плохого!»

Здесь А. Н. Тихонов. Рассказывает о Горьком. Г. не хочет уезжать в Сорренто, а намерен провести зиму в Крыму — в Форосе. Ему уже и дом там приготовлен. Работает над «Самгиным». «Самгин» дается Г-му трудно; прежде никогда не бывало, чтобы Горький спрашивал совета у других, а теперь читает «С[амгина]» разным людям и спрашивает совета. 〈...〉

Вечером виделся с Буденным.

16/IX. Халатов заболел. 〈...〉 Заговорили о Горьком. Х. обижен на Г. «Я ведь в конце концов главным образом способствовал сближению Г. с СССР — не только по линии Огиза, но и лично. Познакомился я с Г. в 1918 году — и сблизился с ним. Побывав у Вл. Ил. в Кремле, он всегда заходил ко мне в Наркомпрод.

Мы были по соседству. «Зачем вы пригреваете Роде? Разве вы не знаете, какая это сволочь?» — сказал я Г-му. Г. обиделся, отвернулся. Но вот является к нам Роде с записками от Горького. Мы всегда удовлетворяли его просьбы, но на этот раз они внушили нам сомнения. Очень наглые и ни с чем несовместимые были требования. Мой секретарь заметил, что подписи под записками Горьковские, а текст — написан самим Роде. Роде получил от Горького несколько десятков пустых бланков — и сам заполнял их как вздумается. Пользуясь этими бланками, он получал у нас вагоны муки, которыми нагло спекулировал. Я решил отобрать у него эти бланки. Мы напоили Роде и, когда он б[ыл] пьян, выкрали у него из портфеля 12 или 15 бл[анков] с подписью Горького... Года через три я вручил их Ал. М-чу».

«В 1921 (кажется) году Вл. Ил. послал меня в Берлин к Г[орькому] с собственноручным письмом. К тому времени Горький уже порвал с Роде, но я этого не знал. Роде встретил меня в Штетине — пышно, приготовил мне в вагоне целое отделение 〈...〉, привезя меня на Фридрихштрассе, ввез меня в Гостин[ицу] «Russische Hoff»*, белогвардейское гнездо. А я не знаю, что это за гостиница, останавливаюсь там с письмом Ленина, с кучей конспиративных бумаг. Номер у меня б[ыл] роскошный. 〈...〉 Я позвонил в наше посольство. Мне говорят: зачем вы остановились в белогвардейском притоне? Сидите и не двигайтесь, мы приедем на выручку. Спасли меня из лап Роде. Я приехал к Г., говорю ему: «Опять ваш Роде». А он: «Я уже с Р. порвал совершенно».

«Сколько раз он ставил Г-ого в фальшивое положение. Было однажды так: В[ладимир] И[льич] удовлетворил все просьбы Горького по пов[оду] разных писательских нужд. Г. б[ыл] очень рад. Пришел ко мне и минут 20 сидел без движения и все улыбался. Мои сотрудники смотрели на него с удивлением. Потом он сказал: приходите ко мне с Ильичом чай пить. В Машков переулок. Пришли мы с И[льичом]. Горький стоит внизу у входа, извиняется, что лифт не работает. Поднялись мы к нему на 5 этаж. Сели за стол. Вдруг открываются двери в детскую комнату, там хор цыган, к-рым управляет Роде!! Ильич ткнул меня большим пальцем: «влипли». Горький нахмурился, сказал «извините» и пошел к Роде и закрыл за собою двери. Через секунду весь хор был ликвидирован. Г. вернулся смущенный».

Потом Халатов рассказал мне историю Ганецкого, который решил открыть Г-му «всю правду»,— и что из этого вышло. Любопытна также история отношений Горького к Халатову после падения Халатова. «Он написал мне очень плохое письмо. Очевидно, ему продиктовали. А когда мы встретились — после его приезда — сам пригласил меня в свою машину, попрощался со всеми встречавшими, обнимал меня, был втройне ласков. Когда я пришел к не-

* «Русское подворье» *(нем.)*.

му в гости, так обрадовался, что соскочил с табурета и, если бы я не поддержал его, упал бы».

Разговор был дружеский. Длился часа два. Вечером у меня в комнате б[ыл] Тихонов, и я читал ему свою статью «Толстой и Дружинин». Тихонов говорит о Г[орьком], что тот страшно изменился: стал прислушиваться к советам докторов, принимает лекарства, заботится о своем здоровьи. Работает страшно много: с утра до позднего вечера за письм. столом. А вечером играет в «подкидного дурака» и — спать.

18/IX. Вчера у Халатова. Он читал газету — и вдруг вскрикнул: «Ну уж это никуда не годится». В «Правде» опубликовано постановление ЦК ВКП(б) (от 15/IX) «Об изд-ве детской литературы». Постановление явилось сюрпризом для Х-ова, представителя Горьковской партии. Горький, Маршак, Халатов были уверены, что Детгиз будет в Ленинграде, что Заведующим Детгизом будет Алексинский, что Детгизу будет предоставлена собственная типография. Все эти планы, как и предсказывала Лядова во время моего свидания с нею в Москве (2/VIII), потерпели крушение.

Третьего дня был у меня Третьяков. Еле держится на ногах, изможден троп[ической] лихорадкой. Рассказывает чудеса о благодатном переломе в колхозном деле: восхищается политотдельщиками. Дал мне свою книгу «Вызов», которую я читаю сейчас.

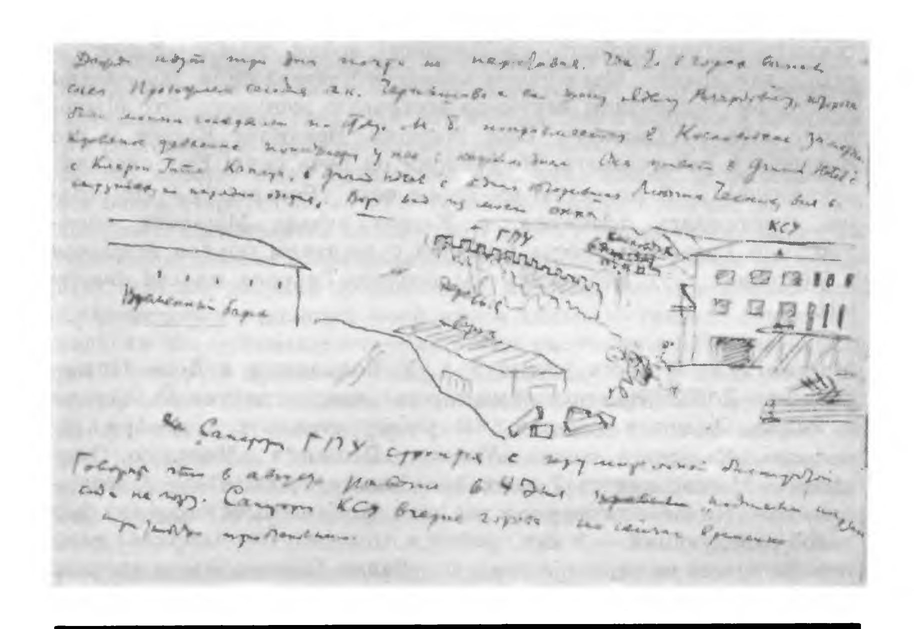
Вчера Тихонов прочитал мне свои очень талантливые воспоминания о Чехове. Я опять взволновался Чеховым, как в юности, и опять понял, что для меня никогда не было ч[еловече]ской души прекраснее Чеховской.

Дождь идет три дня почти не переставая. Где-то в горах выпал снег 〈...〉 Вот вид из моего окна:

[в дневнике — рисунок.— *Е. Ч.*]

Санатория ГПУ строится с изумительной быстротой. Говорят, что в августе рабочие в 4 дня «подняли нарзан» сюда на гору. Санатория КСУ вчерне готова, но сейчас временно строительство приостановлено.

24.IX. Среди здешних больных есть глухая ж[енщи]на, Лизавета Як[овлевна] Драбкина, состоящая в партии с 4-летнего возраста. Ее мать во время московского восстания ездила в Москву, вся обмотанная бикфордовым шнуром, и брала ее, девчонку, с собою — для отвода глаза, наряжаясь как светская барыня. Ее отец — С. П. Гусев. Ее муж — предс. Чека[4]. Вчера мне, Тихонову, Ядвиге Ник. и Белле Борисовне она рассказывала свои приключения в отряде Камо — после чего я не мог заснуть ни одной минуты. Приключения потрясающие. Камо увез Лизавету Яковлевну в лесок под Москвой вместе с другими молодыми людьми, готовящимися «убить Деникина», и там на них напали белые из отряда — и стали каждого ставить под расстрел.— Л. Я., которой было тогда 27 лет, стала петь «Интернационал» в ту минуту, когда в нее прицелились,



Страница дневника. 18 сентября 1933 г.

но четверо из этой группы не выдержали и стали отрекаться от своей боевой организации, выдавать своих товарищей. Потом оказалось, что Камо все это инсценировал, чтобы проверить, насколько преданы революции члены его организации. Дальнейшие приключения Е[лизаветы] Я[ковлевны] в качестве пулеметчицы поразительны. Рассказывала она о них с юмором, хотя все они залиты человеческой кровью, и чувствуется, что повторись это дело сейчас, она снова пошла бы в эту страшную бойню с примесью дикой нечаевщины.

1 октября. Вчера у нас читал Пантелеймон Романов. Я послушал две минуты: «Щетина штыков», «Море голов». Я и ушел.

Тихонов топил печь журналами и «Нашими достижениями».

1 октября. ⟨...⟩ Вчера, по случаю отъезда Лизы Драбкиной, Тихонов увлек нас в шашлычную. Было выпито три бутылки вина (я не выпил ни капли) — съедено блюдо шашлыка и арбуз. Тихо-

нов показал себя огромным мастером совместного выпивания. Шашлычная — душная комната, с кавказским оркестром (игравшим украинские песни), мерзко-зловонная, где свежему человеку секунды нельзя пробыть,— а Т[ихонов], войдя, сказал: «Кабак хорош... для драки... Мы в таком кабинете Катаева били. Мы сидели за столом, провожали какую-то восточную женщину. Это б[ыло] после юбилея Горького. Был Маршак. Ввалился Катаев и все порывался речь сказать. Но говорил он речь сидя. Ему сказали: «Встаньте!» — Я не встаю ни перед кем. «Встаньте!» — Не встану. Возгорелась полемика, и Катаев назвал Маршака «прихвостнем Горького». Тогда военный с десятком ромбов вцепился в К[атаева]. ⟨...⟩ Вернулись мы поздно. Тихонов плясал фокстрот. ⟨...⟩

Москва 9/X. Я здесь уже 3 дня. У Кольцовых в Доме Правительства. Дождь. Изменений множество, как всегда осенью. Пришел в Радио, Эмден и говорит: «Я ухожу отсюда с 1 ноября, довольно». Халтурин тоже: «Ухожу». Пошел в «Молодую Гвардию».— Можно видеть Розенко?— «Какого Розенко?» — Заведующего! — «Никакого Розенко у нас нет». Даже забыли, что у них был такой заведующий.— А как пройти к Ацаркину? — Ацаркина тоже нет. Вычищен из партии и уволен.— Ладно. Покажите мне, где комната Свердловой.— Свердловой Клавдии Тимофеевны? Она уже здесь не работает.— Кто же работает? Шабад работает? — Нет, Шабад не работает.

Но Лядова на месте. Лядова у власти. Она — Зам. Зав. Детиздата. Пошел я к ней. Упоена победой и утверждает, что ее положение прочнейшее. А между тем — Горький и Маршак против нее, Смирнов с нею на ножах, в детской книге она ничего не понимает, работать не умеет. Ни одной из купленных у меня книг она не двинула. ⟨...⟩ «Робинзон» маринуется уже около года. Книга моих «Сказок» (сборник) даже не вышла из цензуры — в течение 4 месяцев не могут добиться, где она застряла. Умеет она склочничать, интриговать, подставлять ножку, действовать за кулисами. Говорят, что к ней благоволит Каганович. Несмотря на то, что Горький, Маршак, Желдин хлопотали об устройстве Детиздата в Ленинграде,— она отстояла Москву, она выжила Шабадиху, она завоевала себе Замзавство, она ничего не читает, детей не видит, а только бегает по заседаниям, по партийным организациям — и проводит подспудом свою линию. Я видел ее в «Пионерской Правде». Ей принесли грушу, угостили ее папиросами, каждый проходящий по коридору здоровался с ней — видно, что она тут своя. На минутку видел в ОГИЗе Смирнова — седой и деятельный, но, говорят, сумасшедший.

19/X. В этом, увы, мне пришлось убедиться сегодня. Я пришел к Лядовой в «Мол. Гв.» — туда уже переехал из ОГИЗа Смирнов.

Держится он помпезно и в то же время чрезвычайно приветливо. «Корней Ив., вас-то мне и надо!» Назовите мне десять лучших детских книг, которые мы могли бы сейчас же издать. Я стал говорить и вдруг увидел, что он записывает мои слова не в блокнот, а просто на бумажку, которая валяется тут на столе — записал и оставил бумажку среди прочего мусора. Это я заметил и во время его разговоров с другими писателями: очень ретиво слушает вас, словно каждое ваше слово для него откровение, и записывает всё очень старательно — но записей не хранит и тотчас же о них забывает. Соглашается со всем, что вы ему говорите,— и берет на себя колоссальные обязательства, о которых тоже тотчас же забывает. Увидев рисунки Конашевича, которые тот приготовил для Академического издания моей книги сказок,— сказал: эту книгу издадим мы — немедленно — со всеми рисунками. «Но красочные рисунки по 18 красок»,— сказал Конашевич. «Это дело станется на 3 года».— Мы издадим на роскошной бумаге к 1-му января. *Будет готово.* «К 1-му января?!» — Да! сказал он и посмотрел на нас победоносно. Мы вообще издадим на роскошной бумаге целую серию замечательных книг. И он стал развивать немыслимые планы. Но тут его позвали на совещание — он пригласил и меня.

На совещании говорил Гриц. Гриц говорил о том, что нужно редактуру «Ежа» опять поручить Олейникову,что нужно привлечь к детской книге Хармса, Введенского и Заболоцкого, и он, выслушав его ектенью, записал на случайной бумажке: «Хармс, Введенский, Заболоцкий» — и сейчас же эту бумажку посеял. Еще хорошо, что им руководит Катловкер — седолысый основатель «Копейки». Он объяснил ему, кто я такой, и после свидания с Катловкером он стал говорить: «Я ведь знаю, что вы — знаток иностранных литератур, критик и т. д.» Но странно то, что все фантастические обещания Смирнова насчет недельного издания всех на свете книг он подтверждает вполне. В «Мол. Гв.» я встретил Житкова, и мы втроем — Житков, я и Конашевич,— пошли в Б. Московскую обедать. За обедом Ж[итков] рассказывал свои впечатления от встречи со Смирновым. Смирнов встретил его величаво и милостиво — «очень рад, давайте побеседуем, как же, как же!» — Я по поручению своих ленингр. друзей пришел узнать о вашей тарифно-тиражной политике,— сказал Ж.— Тот с облаков на землю.— «Я еще не начал об этом думать». Тогда Житков предложил ему составить редакцию из писателей, и он сказал с великосветской повелительностью:

— Я вас арестовываю! Принимайтесь работать! У нас.

— Арестовываете? Чьим именем?

— Именем РСФСР. Позвольте ваш московский телефон.

А потом См. стал произносить *клинические* речи. Взял какую-то гнусную французскую книжонку — из тех, которые бесплатно выдаются в магазинах всякому купившему брюки,— он стал размахивать ею: вот как мы должны издавать. А разве мы не должны

издать книгу о семнадцатом парт-съезде? Конечно, должны. А разве мы не должны издать «Ком. манифест»? Конечно, должны. И мы все это издадим, и вы нам поможете! — закончил лунатик. Тут подошел к нему его горбатый секретарь и доложил, что надо ехать на заседание к Горькому.

— И я понял,— говорит Житков,— что См. в разговоре со мною репетировал свое будущее выступление на горьковском заседании. ⟨...⟩

Событие вчерашнего дня. Конашевич привез рисунки для моей книги, поверхностные.

Пришел Смирнов, а с ним Барто, Замчалов, Шатилов, Венгров и другие.

Уселись мы на диванчике. Борис Алексеевич Шатилов доложил, что какого-то возложенного на него поручения он не исполнил — и Смирнов этому даже как будто обрадовался, потому что это дало ему возможность поговорить всласть — и нужно отдать ему справедливость, что говорил он очень хорошо.

— Мне нужно обеспечить экспериментальную работу над детской книжкой — и если писательская общественность за это не возьмется, возьмусь я. Мы — издательская фабрика, и как всякой фабрике, нам нужна лаборатория... Для исследовательских работ. И не только литературная, но и иллюстративная. Почему мы не делаем опытов? Я, например, думаю, что к книге Жюль Верна можно приложить коробку с подводными лодками, с игрушечными островами, пусть дети не только смотрят на картинки, но и творчески живут ими. Или вот, например, Евгений Онегин... Взрослые комсомольцы — и те ничего не понимают без иллюстрации. Один спросил: почему у Татьяны — няня, если Татьяна взрослая? На что ей няня? Все это надо разъяснить при помощи иллюстрации. Я сам — читал «Западню» Золя и все образы представлял на русский манер, а потом увидел «Западню» в кино — и мои представления изменились.

Видно, что эти примеры он приводил много раз и что экспериментальная мастерская любимое детище его фантазии. Именно фантазии, потому что такая лаборатория очень хорошая вещь, но не сию минуту, когда еще нет Детиздата. О Детиздате же он почти не думает. У него еще нет редактора дошкольной книги — и никаких вообще книг он не печатает, а весь в *экспериментальной мастерской*.

21/X я приехал в Л[енингра]д. Весь день разбирал письма, присланные мне читателями по поводу моей книги *«От двух до пяти»*. ⟨...⟩

26/X. Вчера был у меня Маршак. Полон творческих сил. Пишет поэму о северных реках, статью о детской литературе, лелеет огромные планы, переделал опять «Мистера Твистера». Изучил итальянский язык, восхищается Данте, рассказывет, что Горький в пос-

ледней статье (О планах в детской л-ре) почти наполовину списал то письмо, к-рое он, М., написал Горькому.

5/XI. Получил письмо от Эйхлера. Смирнов публично заявил, что «Лимпопо» — слабая вещь. Сейчас позвонили, что умер портной Слонимский. Вожусь над «Топтыгиным». Коля вчера очень метко раскритиковал эту вещь. Получены первые листы корректуры «Люди 60-х годов».

Вчера в кабинете у Желдина присутствовал при столкновении Тана и Маршака. М. уже $1^1/_2$ года возится с юкагиром Спиридоновым, к-рый написал книгу о чукчах. И Горькому, и Халатову, и всем он кричит об этой книге чудеса. И вот книга попала к Тану, как к единственному специалисту по чукчам, и Тан забраковал ее. Кроме всяких ошибок фактического порядка — он нашел в ней искаженную идеологию. Когда на северную выставку (еще не открытую) явился Курдов, иллюстратор книги Спиридонова, Тан стал говорить художнику, что книга плохая, что ее не стоит иллюстрировать. Это показалось М-ку возмутительным, т. к. рецензент должен держать свои суждения втайне. Он прямо и резко высказал это Тану. Тан ответил, что Сп. его (Тана́) ученик, что он (Тан) и самому Сп-ву высказал такое же мнение, что Сп., как юкагир, чукчей не знает: когда же М. требовал более точных и подробных указаний, Т. ссылался на свою страшную занятость.

Сегодня М. звонил мне и минут десять ругал Тана. ⟨...⟩

10/XI. ⟨...⟩ 8/XI мы с Маршаком должны были принять участие в книжном базаре, организованном у Каз. Собора. Пришли. Вошли в будку. Заведующий базаром вывесил плакаты, что мы в этих будках торгуем. Но книги, к-рые нам пришлось предлагать публике, б[ыли] так гнусны, что мы демонстративно ушли. Вожусь с переделкой «Федорина Горя». Анна Васильевна Ганзен, с которой я теперь все ближе знакомлюсь на работе,— выступает предо мною все ярче. Бескорыстный, отрекшийся от всякого себялюбия, благодушный, феноменально работящий, скромный человечек, отдающий каждую минуту своей жизни общественной работе — заботе о других, несет на своих плечах всю Детсекцию; мы в Горкоме писателей хотели ее премировать, но она и слышать не хочет. Между тем — так нуждается, что 3 раза приходила в «Молодую Гв.» за 25 рублями.

О нашем сумасшедшем Смирнове ужасные слухи: будто он приостановил в Москве печатание всех как есть детских книг, «покуда не создастся техническая база для этого дела»! Идиот!! ⟨...⟩

14/XI. Вчера писалось очень хорошо. Наконец-то я раскачал себя до пьяного ритма и начал писать «Федорино Горе» — легко и весело. ⟨...⟩

[В дневник вклеено письмо.— *Е. Ч.*]:

Ноября 33.

Москва.

Дорогой Корней Иванович

Давно ответил на Ваше письмо,— не знаю — получили ли?

«Солнечная» давно вышла и отправлена Вам. Заславскому я послал экземпляр книжки, предупредив, что по вашей просьбе.

Все деньги Н. Чук. переведены. Вам за «сказы-пересказы» — тоже.

Т. А. Богданович я ответил. Так и не уговорил Лядову заключить с ней д[огово]р сейчас. Она согласна только на январь. Если будете писать Лядовой — скажите неск. слов за «Соль вычегодскую». При этом условии она м. б. согласится заключить д[огово]р раньше. Ваше мнение все-таки имеет большое значение, несмотря на тяжелое положение в из-ве.

А дела наши — очень плохи. И если в ближ. дни ничего не изменится — придется просто бежать. Такого беспорядка, тупости, идиотизма, как здесь, я в своей жизни нигде не видел. Ждал глупостей от С. (предупреждали), но такого, что происходит у нас (полный развал дела, кот. и так плохо шло), не думал увидеть.

Ваш Робинзон изъят из производства (вместе с др. книгами), и С. сомневается — надо ли издавать? Как Вам это нравится? Они *ничего* не понимают, решительно ничего.

Пока еще надеюсь, что в бл[ижайшие] дни все должно как-то перемениться. Но — не знаю. Сердечный привет Марии Борисовне, Ник. К. и Марине Н.

Ваш Генрих Эйхлер

Ночь с 23 на 24/XI. Завтра мое выступление в Камерной Музыке. Впервые на этом утреннике выступит певица Денисова и будет исполнять мои песни. Музыка Стрельникова. 〈...〉 Будет также выставка моих книжек (детских).

Дней пять назад я был на детском суде: видел мальчика, который закрыл крышку в помойной яме, где сидел его товарищ, и проломил тому нос, видел девчонку, которая в 14 лет стала форменной воровкой и профессиональной проституткой, видел 12-летнего мальчишку, покушавшего[ся] на изнасилование 28-летней девицы,— и все это обнаружило, как ужасно заброшены совр. дети в семье: родители заняты до беспамятства, домой приходят только спать и детей своих почти не видят. Дети приходят в школу натощак, вечерами хулиганят на улице, а отец: «Я ему говорю: «Читай, развивайся!» и больше ничего. 〈...〉

Был на лекции Пильняка 22/XI. Пильняк объявил по всему городу, что будет читать «Америка и Япония». Теперь, ввиду признания Америкой СССР, Америка тема жгучая, Япония тоже. Народу сбежалось в капеллу множество, а он вышел на эстраду и стал рассказывать о Японии труизмы, давно известные из газет: вулканы, землетрясения, кимоно, гейши, самураи. Публика него-

довала. До $11^1/_2$ часов он не сказал еще ни слова об Америке. В перерыве он пригласил меня ужинать, но я сбежал (с Шурой Богданович), т. к. скука была невыносимая. Уходя, публика говорила: он все это по «Фрегат Палладе» жарит.

26/XI. Был мой концерт в Камерной Музыке (24/XI). Ходынка. Народу набилось столько, что композитор Стрельников не мог протискаться и ушел. Ребята толпились даже на улице. Отношение ко мне самое нежное — но у меня тоска одиночества. Отчего, не знаю. Лида, которая так интересуется детскими делами, даже не спросила меня, как сошел мой утренник. Ни один человек не знает даже, что я не только детский писатель, но и взрослый.

Вчера был у Татьяны Ал. Богданович — на семейном сходьбище: были Шура, Таня, Володя и Соня. Пришел Тарле и стал уговаривать меня бросить детские мои книги — и взяться за писание «таких книг, как о Некрасове». Сравнивал меня с Сент-Бёвом и проч. Недовольство собой возросло у меня до ненависти. Мы много вспоминали о Щеголеве — Тарле между прочим сказал, как Щ. выдавал портрет одного русского генерала за портрет Марата, как он за большую книжку Тарле, изданную «Былым», заплатил всего 45 р.— и в оправдание говорил: вас всякий дурак надует.

21/XII. Сбивают с нашей Спасской Церкви колокола. Ночью. Звякают так, что вначале можно принять за благовест. 〈...〉

25/XII. Был вчера Тынянов. Пришел с какого-то заседания очень усталый и серый, но через несколько минут оживился. Никогда я не видел его в таком ударе, как вчера. Мы сидели у камина в моей комнате, и, говоря о Пиксанове, он стал вдруг говорить его голосом — пепельно-скучным и педантически-надоедливым. Сразу весь Пиксанов встал перед нами — я увидел и очки и сухопарые руки. Т. говорит, что Пикс. в Пуш. Доме садится у телефона и целыми часами бубнит какую-то ненужную скуку: «Ту синюю тетрадь, которую я показал вам вчера, положите на правую полку, а той книги, которая у меня на столе, не кладите на левую полку — ту книгу, которая у меня на столе, нужно положить на правую полку».

Показывал Переселенкова, у которого все спуталось в голове: и Огарев, и жена Томашевского, и 50 руб. пенсия. Рассказывал историю с Оксманом, который уже $1^1/_2$ года пишет статью о Рылееве — и не написал ни строки, хотя разыскал огромное множество текстов и чудесно знает, что написать. «Мы с ним сначала ссорились: «Давай статью!», потом я унижался перед ним, пресмыкался, ничего не помогает». Кончилось тем, что книга пошла в набор без его статьи — и он обещал дать 4 страницы введения — но подвел и с этими 4 страницами. Пришлось заказать Гофману — сказал Т[ынянов] и осекся, так как тут только вспомнил, что рассказывает все это в присутствии Татьяны Алекс. Богданович, тещи Гофмана,

коему не надлежит знать всю закулисную историю «Библиотеки Поэта».

Чудесное настроение Тынянова, конечно, объясняется тем, что ему *пишется*. Он пишет свой роман о Пушкине — и вчера читал нам тот отрывок, который изображает встречу няни П[у]шк[ина] с Павлом. Отрывок очень мускулистый: встрече с Павлом придана широкая символичность, сквозь нежные цветистые речи изображен весь военизованный Пг. Я сказал, что мне не понравилось одно слово: он *механически* поцеловал его. В то время не говорили механически, а машинально. Он очень благодарил с преувелич. комплиментами по адресу моего абсолютного лит. слуха. Предложил мне редактировать Шевченку для «Б[иблиотеки] поэтов» — и долго читал нам свои переводы из Гейне: «Германию», а также «Осел и лошадь». Снова он верит в себя, снова окрылен своим творчеством, прошла пора каких-то проб и неудач, и от него идет та радиация, которая, я помню, шла от Репина, когда ему удавался портрет. К сожалению, вечером я должен был уйти — выступать в школе с благотв. целью — вернулся к 12 час. Ю. Н. все еще сидел у нас и показывал Тициана Табидзе, от которого он получил письмо.

1934

12/I 34 года. Третьего дня нам поставили новый телефон. Умер навсегда мой номер 194-75, к которому я привык, как к родному. Третьего же дня сдал Изд-ву Писателей для четвертого издания свою книжку «От двух до пяти». Хотел было, чтобы ее иллюстрировал Рудаков. 〈...〉 Видел Зощенку. Лицо сумасшедшее, самовлюбленное, холеное. «Ой, К. И., какую я вэликолепную книгу пищу. Книга — «Декамерон» — о любви, о коварстве и еще о чем-то. Какие эпиграфы! Какие цитаты! А Горький вступился за мою «Возвращенную молодость». Это оттого, что он старик, ему еще пожить хочется, а в моей книге рецепт долголетия. Вот он и полюбил мою книгу. Прислал в Главлит ругательное письмо — ужасно ругательное — Миша Слонимский сразу заблаговел перед моей книгой — а Главлит, которому я уже сделал было кое-какие уступки, пропустил даже то, что я согласился выбросить...»

Были у нас с визитом Стеничи. Жена В. О. рассказывает, что Зощенко уверен, что перед ним не устоит ни одна женщина. И вообще о нем рассказывают анекдоты и посмеиваются над ним, а я считаю его самым замечательным писателем современности.— Умер Андрей Белый... Как мне не хочется приниматься за Некрасова!

Вчера Изд-во Писателей было в панике из-за Оксмана. Он даже 4-х страниц не прислал о Рылееве — и типография грозится рассыпать набор, грозится официально — прислала об этом бумагу.

А Оксман, который написал 40 листов комментариев, не способен написать 4 страницы вступления!

13/I 34 г. Утро. Только что кончил статейку для радио о Некрасове. Был вчера у Алянского. Оказывается, Смирнов смещен. Как, при каких обстоятельствах, не знаю. Я наконец-то выполз из корректуры гихловского однотомника Некрасова и другого Некрасова (для «Academia») — обе книги сразу! — из-под корректуры своих «Шестидесятых годов» и т. д. и т. д. Когда сдал в набор 4[-е] издание своей книжки «От двух до пяти»,— мне принесли Пиаже — и я так жалею, что не включил в свою книжку много кусков из этого чудесного буржуазного ученого. Пишу curriculum vitae* Клячко для получения его вдовой пенсии.

15/I 34. Вчера были у Тыняновых с М. Б. У них новая столовая, шведская, новый радио,— угощение очень богатое. Дом вообще сделался полной чашей. Ел. Ал. опечалена неудачей со своей книгой о Страдивариусе, и в самом деле: Музгиз заказал ей книгу, она писала ее год,— и вдруг распоряжение свыше: у нас есть свои Страдивариусы, нечего нам хвалить итальянские. И книгу разобрали (уже была корректура). Ю. Н. отнесся к нам очень любовно. Сказал, что мы — чуть ли не единственные, с кем он в настоящее вр[емя] дружит. Остальные — враги. Опять говорил о разрыве с Шкловским. «Теперь я могу писать ему письма: не «преданный вам», а «преданный вами». Рассказал о своем столкновении с Белгоскино, которое взялось обсуждать его Киже (уже готовую фильму) и отозвалось о ней не слишком почтительно. Он встал и произнес «маестатную» речь: «Я — Тынянов, а вы мелюзга». Потом Тынянов часа два читал свой роман. Вчера как раз он написал главку о 4-х летнем Пушкине, вернее начало главы, а крещение прочитал все. Великолепно написано. Уже не два измерения, как в «Кюхле»,— и не одно четвертое, как в «Персоне», а все три, есть объемность фигур. Чувствуя свою удачу, Ю. Н. весел, победителен, радушен. У него величайшая ненависть ко всем, кого он считает врагами. Три раза в течение этих двух недель он рассказывал мне, как он был на собрании Литсовременника — поднял глаза и увидел: «все враги»... В Ленкублите я встретил Берковского, который рассказал мне, что когда-то он неодобрительно отозвался о «Вазир-Мухтаре», и этого было достаточно, чтобы Т[ынянов] восстал против его примечаний к «Германии» Гейне, переведенной Т-ым. «Не желаю сотрудничать с Берковским», ГИХЛ (в лице Бескиной) не внял Т-ву и выпустил Германию с примечаниями Берковского. Теперь намечено второе издание, и Т. добился того, чтобы убрали примечания Берковского, хотя, по словам последнего, не мог указать ни одного изъяна в этих примечаниях. «За стол с филистимлянами не сяду»,— говорит Т.

---

* Жизнеописание *(лат.)*.

17.I.34. ⟨...⟩ Вчера я был у Исаака Бродского в его увешанной картинами квартире. Картины у него превосходные: Репина портрет Веры в лесу (1875), рисунки, сделанные в салоне Икскуль, Вл. Соловьев, Гиппиус, Спасович, Мережковский — чудесная сложность характеристик, уверенный рисунок. Есть Борис Григорьев, Малявин и даже Маяковский,— сделанный Маяковским портрет Любы Бродской очень хорош. Работы самого Бродского на фоне его коллекции кажутся неприятно пёстрыми, дробными, бездушными. Но — хорош Ленин рядом с пустым креслом, и по краскам менее неприятен. Когда я вошел, Бродский перерисовывал перышком с фото физиономию Сталина — для «Правды». Впереди ему предстояло изготовить такого же с Ленина. Но после пяти-шести штрихов начинал звонить телефон, он бросал перо и шел в столовую (у входа в которую и висит аппарат). В доме у него — жена и свояченица (урожд. Мясоедовы), сын от первой жены (студент) и сын от второй (Дима, очень милый). Рисуя Сталина, Бродский мечтает о поездке в Америку. «Там дадут за портрет Ленина 75 000 долларов».

— Ну на что вам 75 000 д.? — спросил я.— У вас и так всего вдоволь.

— Как на что? Машину куплю... виллу построю... Дом...⟨...⟩

Я спросил Бродского, почему он не принял участия в чествовании Луначарского (его имя стояло среди поминателей на вчерашнем заседании Комакадемии). Он ответил:

— Пусть его поминает кто-нб. другой. Когда меня хотели сделать заслуженным деятелем искусства, Лун. ответил бумажкой, что ходатайство об этом отклонено, и сделал заслуженным — Пчелина. Пусть же Пч. и чествует его. А я не хочу. Я сказал по телеф., что еду в Москву. ⟨...⟩

19/I 34. Вчера приехал в Москву. Ночь, проведенная мною в вагоне, была ужасна — вторая бессонная ночь. В Москве не оказалось в гостиницах номеров. ⟨...⟩ Наконец меня привезли в ун-ет (МГУ), зеленого, старого, с налитыми кровью глазами. Оказалось, что Игорь Ильинский, которому я незадолго прислал свои стихи на предмет их изучения,— все же ничего не выучил («Нет никакой памяти!», «долго учу!») — и читал одного Маршака. Оказалось, что после Игоря Ильинского, такого блестящего чтеца,— когда аудитория уже устала — выпустили меня. Что я читал, не помню — был в полном беспамятстве — и вдруг оказалось, что сегодня же в 4 ч. предстоит 2-й утренник — по той же программе. Опять для отдыха нет никаких перспектив. Пошел я в Б. Московскую, сел на диванчик — хоть плачь. Но ничего. В пять часов откуда-то у меня взялись силы — и читал я лучше. Публики было огромное множество оба раза. Я чудесно отдохнул бы сегодня, если бы не оказалось, что я должен читать лекцию перед художниками о Репине. ⟨...⟩

20/I 34. Вчера утром мой друг Маршак стал собираться на какое-то важное заседание.— Куда? — Да так, ничего, ерунда... Оказалось, что через час должно состояться заседание комиссии Рабичева по детской книге и что моему другу ужасно не хочется, чтобы я там присутствовал... «Горького не будет, и вообще ничего интересного...» Из этих слов я понял, что Горький *будет* и что мне там быть необходимо. К великому его неудовольствию, я стал вместе с ним дожидаться машины Алексинского. Алексинский опоздал ⟨...⟩ наконец прибыл А., и мы поехали. Где эта комиссия помещается, я и понятия не имел — и вдруг наша машина въехала во двор Горьковского особняка. Встретил нас отъевшийся комендант, проводил в комнату, где уже поджидали: унылый Венгров, Огнев, Барто, Кирпотин и, конечно, П. П. Крючков. Прошли в столовую, вышел Горький — почти не состарившийся, озабоченный, в меру приветливый. Я сел подальше от него, рядом с Алексинским и Майслером (заместитель Желдина), Алексинский привез с собою ящик, наполненный книгами о школе. Чуть он уселся за стол, он разложил пред собой целый пасьянс из этих книг. М[аршак] сел визави Горького — а рядом с ним поддакивающая, любящая, скромная Барто. Она каждую минуту суетливо писала разным лицам записочки. В том числе и мне, прилагаемую. [Приложена записка от А. Барто.— *Е. Ч.*] М. сел читать доклад, написанный ему Габбе, Лидой, Задунайской и Любарской. Доклад великолепный — серьезный и художественный. Горький слушал влюбленно... и только изредка поправлял слова: когда М. сказал «промозглая», он сказал «Маршак, такого слова нету, есть про́мзглая». Потом спросил среди чтения: «в какой губернии Боровичи?» М. брякнул: в Псковской. (Я поправил: в Новгородской.) Сел в лужу Маршак с Дюма. Так как он ничего не читает, он и не знал об отношении Горького к Дюма и заявил свое неодобрение тем школьникам, к-рые читают Дюма. «Я вообще замечал, что из тех юношей, кот. в детстве любили Дюма, никогда ничего путного не выходит. Я вот, например, никогда его не ценил...» — «Напрасно,— сказал Горький (любовно),— я Дюма в детстве очень любил... И сейчас люблю... Это изумительный мастер диалога... изумительный... Как это ни парадоксально — только и есть два таких мастера: Бальзак и Дюма». М. замялся... Но в остальном все сошло превосходно. Из доклада так и прет физиономия совр. советского школьника, и если его перевести на иностр. язык, Европа по документам увидит — какие великие задатки у нашей системы воспит. ребят.

Горький часто вмешивался в доклад вот таким манером: надо биографию буржуазных героев, да... Вот, напр., биографию Кулиджа... Президента... извольте: вождь, мировая слава, а дурак. Или Сесиль Родс... ему и памятники при жизни... и все... а так и остался болваном... Или Рише (?)...

Надо бы переиздать книгу Мензбира... о птицах... Надо бы Брема дать... только выбросить, конечно, ту ерунду, к-рая была в советских изд[а]ниях Брема: «о влиянии беременных ж[енщи]н на

ловлю китов», тут я заметил, что говорит Г. очень глухо, слова расплываются, как говорят беззубые старики, хотя я сидел от него в трех шагах, я многих его реплик не мог разобрать. Но вот то, что я разобрал:

— А может быть, дать историю оружия... . . .

— Или вот бы хорошо... книжку по анатомии...

. . . .

— Перевести бы надо Оливию Шнейдер...

. . .

— Это важный вопрос: влияние детских книг на взрослых... ведь взрослые в деревнях читают книги, которые есть у ребят... У самих взрослых книг нет...

Потом выступил с докладом Алексинский.

«Прочитал я около 40 книжек о школе. Выводы неутешительны. В этих книжках ребята не учатся. Занимаются собраниями, заседаниями, командуют школой. Левацкая теория педагогики» —

Тут вступился Майслер:

— Неужели все книжки?

— Особенно ваша... Она является классическим выражением всего этого дела.

Выделил Алексинский «Республику Шкид» и «Ученик наборного художества» Т. А. Богданович. Очень сердился, что писатели ругают советских педагогов. Все это очень мрачно, серо.

Горький. Авторы не очень хорошо знакомы с теорией комплекса... (закашлялся), и потом говорил так глухо, что я не расслышал. Потом он предложил издать серию: Детство Льва Толстого, Аксакова, Евгения Маркова и др. Дворянское детство, разночинческое (Воронов)... и проч.

Потом мы разошлись.

20/I. Вчера я читал вечером в Теа-Клубе о Репине, а сегодня днем в том же Теа-Клубе — детские стихи. Сегодня я хорошо рассмотрел Ефимова «Петрушку». Конечно, это вещь замечательная, особенно сказка о гномах.

Потом поехал я в Детиздат. «Кому здесь бить морду оттого, что ни одна из моих книг не выходит?» Все в один голос сказали: Смирнову. Я пошел к этому лунатику.— А, К. И., ну как в[аши] выступления? — Дело не в моих выступлениях, а в в[аши]х преступлениях: как вы смели задержать печатание «Робинзона» и называть эту книгу безграмотной? Как вы смеете мариновать мои «Сказки»? Как вы смеете скрывать от детей «Остров Сокровищ»?

— Ничего этого нет! — сказал Смирнов.— Кто это наклеветал на меня? — Я забыл...

— Об этом говорят все... вы назвали мою книгу безграмотной...

— Никогда... вот смотрите, она в производстве... Дайте мне все ваши сказки... я их мигом напечатаю... И кто из моего аппарата мог наклеветать на меня?



Ю. Васнецов. Иллюстрация к «Путанице» К. Чуковского. 1934 г.

Потом я увидел Лядову, которая сообщила мне, что будто бы 19/XI прошлого года она заявила в ЦК, что Смирнов сумасшедший, что он занимается прожектерством, а книг не издает и т. д. Смирнова будто бы вызвали в ЦК и велели ему в месячный срок поставить издательство на ноги. Прошел месяц, См. ничего не сделал — ЦК постановил его снять. Но приказа о его увольнении не подписали из-за Московской конференции — времени не было — поэтому См. пользуется отсутствием приказа и делает вид, как будто он на службе. Из рассказов Лядовой я понял, что и ее сняли, т. к. она говорит, что подала в отставку и *хочет* уйти.— Не желаю, надоело! — говорит она.

— Розенель, вдова Луначарского, больна стрептококками.— Горький поссорился с С[талиным]. «Медовый месяц их дружбы кончился».

Литвинову правительство подарило какой-то необыкновенный дом,— эти три новости я узнал от Лизочки Кольцовой, которая только что вернулась из Парижа. Оттуда она привезла: колпак на лампу — в виде глобуса и рюмки с графином для водки в оправе четырех старинных французских книг, на корешке которых «Истинная религия» («La Religion Vrais»). Книги лежат у К[ольцова] на письм. столе—похожи на подлинные, берешь, открываешь — там выпивка. Стоят книги 200 фр. У Лизы таких денег не было, она переписала в нашем торгпредстве на машинке какие-то отчеты, заработала 200 фр.—купила Мишеньке сюрприз. В комнате, что ближе к парадному ходу, спит мальчик. Это немецкий мальчик, которого М. Кольцов привез из Германии. «Никаких сантиментов тут нет. Мы заставим этого мальчика писать дневник о Советской стране и через полгода издадим этот дневник, а мальчика отошлем в Германию. Заработаем!»[1]

Сейчас позвонил мне Игорь Ильинский. Он выучил «Котауси и Мауси» и будет эту вещь читать 22-го на утреннике. Позвал меня завтра обедать.

23/I. Третьего дня мы читали в клубе ОГПУ. Ребята встретили нас горячо.— Всё ребята крупные, большеглазые, пылкие.— Кто из вас Чуковский, кто Маршак? — Фотографировали нас, читали нам наши стихи... Потом обедали мы у Ильинского — в его шикарно и стильно обставленных комнатах — потом я поехал к Каменеву и до 2-х час. ночи работал с ним над гранками Некрасова.

Вчера я с утра работал над гранками. Потом выступал в МГУ — ребят было около тысячи — Ильинский читал впервые «Котауси». 〈...〉

25. Был третьего дня у Смирнова.— Ну давайте подписывать договоры.— Ах, голубчик... Тут вышла такая белиберда... ведь я теперь полуснят... Чертовщина... *(смеется)*... Недоразумение, конечно... Подождите до 27-го... Тогда все выяснится...

Говорят, он, будучи снят, все же сидит на работе — для того,

чтобы ему и всей его своре, всем этим Розенфельдам и Катловкерам, было выдано выходное пособие.

Розенфельд разлетелся ко мне:

— К. И.! Какая жалость, не удалось вместе поработать.

А их потому и снимают, что они не работали вместе с нами, детскими писателями!

Григорий Гуковский обратился ко мне внезапно с просительным письмом[2] — я повел его к Каменеву и устроил ему свидание с Вышинским. В «Acad.» был два раза. Сок[ольников] утверждает, что «Сказки» в работе — в Гознаке — и предложил мне поехать с ним 27-го в Гознак. Посмотрим! ⟨...⟩

Вчера я выступал в 3-х местах. Читал на радио о Некрасове, в Парке Культуры и Отдыха — и в 5 ч. 15 читал свои сказки опять-таки по радио. В П. К. и О. было отвратно. Устроительница утренника не умела собрать ребят, меня заставили ждать на холоду, угощали мерзейшим обедом (причем, дело было организовано так гнусно, что милиционер долго не пускал меня в столовую, а когда пустил, оказалось, что за столом ни одного места), наконец в какую-то небольшую комнатенку согнали около сотни разнокалиберных ребят, которым даже не сказали, что я писатель (устроительница плохо знала об этом и все толковала: «к вам приехал дядя из Л[енингра]да прочитать вам рассказы»), во вр[емя] моего выступления распорядилась фотографировать меня при вспышках магния, и это отвлекло ребят от чтения. Обратный такси не был мне обеспечен, хотя она и совала при публике какую-то трехрублевку ребятам, чтобы они пошли вместе со мною на Калужскую площадь — отыскивать машину. Повели меня в б-ку, где нет ни одной моей книжки — и стали показывать, как много у них книг Серафимовича. Такси на площади так и не нашлось — и я должен был мытариться на трамвае.

С горя я пошел к Э. Багрицкому. Он седой, изъеденный болезнью (астмой), похожий на Меньшикова в Березове (Сурикова), завален редакционной работой по «Советской Литературе» — производит впечатление человека выдохшегося, которому уже нечего сказать.

30/I. От 25 до настоящей минуты лежу в трех болезнях: грипп (простудился в Парке Культуры и Отдыха); отравился мясом — бефстроганов в Большой Московской и, упав в обморок от отравления, разбился — повредил себе ребро. ⟨...⟩ Читаю «Повести и рассказы» Герцена (новое изд. «Academia») и стихи Шевченка.

Горький, простудившийся еще в Горках, был на Съезде[3] (на речи Сталина) — теперь грипп его очень усилился. Он не вернулся в Горки, а лег на Б. Никитской.

31/I. Вчера был у меня Халатов. Он устраивает меня в Кремлевской больнице. Я не верю своему счастью, ибо весь я калека. Сегодня у

меня впервые нормальная температура. Читаю «XVIII век» в «Литературном Наследстве».

Карета скорой помощи отвезла меня в Кремлевскую больницу. Здесь меня вымыли, облекли в халат и поместили в палате № 2. Я пожаловался сразу и на гриппы, и на почки, и на кашель, и на желудок. Когда я ехал в карете, я видел огромное количество милиции и множество народу — демонстрацию с флагами. Снежок, ветра нет, туман, гнилая погода. На Красной площади несколько военных частей. Я проехал дальше. В больнице меня уложили в кровать, и я стал слушать радио. Радио передавало Красную площадь. Меня поразило, что москвичей, московских рабочих приветствует наш ленинградский Киров — он, единственный. И больше никто из представителей Съезда. Что-то чуялось скомканное, праздник рабочих был без отклика. Ура, ура, ура — доносилось до меня тысячи раз, искреннее и пылкое — но поразило меня также и то, что т. Киров не упомянул о полете в стратосферу. (Сегодня утром мать Е. Н. Кольцовой рассказала мне, будто стратостат благополучно опустился в Коломне.) И вот после того, как я бросил радио, сунул его под подушку, я вдруг услыхал слова «печальное известие» — вытащив судорожно наушники —.я услыхал сообщение Енукидзе о трех погибших героях Осовиахима[4] — и дрожу от горя и не могу заснуть...

2/II. Температура все держится на 37. Слабость ужасная. 〈...〉

10/II. Я все еще в Кремлевской больнице. Терапевтическое отделение, палата № 2. Третьего дня у меня был поэт Осип Мандельштам, читал мне свои стихи о поэтах (о Державине и Языкове), переводы из Петрарки, на смерть Андрея Белого. Читает он плохо, певучим *шопотом,* но сила огромная, чувство физической сладости слова дано ему, как никому из поэтов. Борода у него седая, почти ничего не осталось от той *мраморной мухи*, которую я знал в Куоккала. Снова хвалил мою книгу о Некрасове.

19/II. Вот и Багрицкий умер. Я и не думал, посетив его 24/I, что вижу его первый и последний раз. Я все еще в Кремлевской. Мне позволено гулять на крыше — куда я и поднимаюсь с трудом, в шубе и казенных валенках. Оттуда открывается вид на площадку 32-й шахты метро — прямо против больницы, на задах строящейся библиотеки им. Ленина. Года через три то, что я вижу сейчас, будет казаться древностью. А сейчас я вижу вот такое. На площадке стоит двухэтажный дом, построенный лет 40 назад. На этом доме образовались трещины — оттого что под ним слишком близко проходит туннель метро. Поэтому бородатые скифы с топорами тут же на площадке тешут бревнышки и делают подпорки для дома. 〈...〉 Главная сила на площадке — женская. Там и здесь копошатся восьмерки молодых разнообразно одетых женщин с лопатами, которые наполняют поднятой снизу землей тележки и грузовики.

Тележки въезжают при помощи троса в башенку шахты, и их содержимое оттуда ссыпается на стоящий внизу грузовик. Многое мне сверху кажется нелепым. Почему, вычерпав землю, ее не насыпают прямо на грузовики, а складывают раньше на площадке, где она смерзается так, что ее надо долбить ломом. Из-за этого приходится делать двойную работу и даже не двойную, а тройную, потому что те кучи, которые загромождают двор, приходится не только вскидывать на грузовики, но и передвигать на дворе с места на место. Бестолковщины много. Но все же метро будет построен.

Были у меня здесь Алянский, Шер, Каменев, Шибайло.

Каменев возится с письмами Пушкина под ред. Модзалевского. Говорит, что примечания Модзалевского — это нагромождение такого необъятного количества фактов, что приходится перерабатывать каждую страницу.

21/II. Думал завтра выписаться из больницы — и вдруг сегодня заболела голова, температура поднялась до 37. ⟨...⟩ Начал собирать материалы для своей книги «От двух до пяти» — для пятого изд[ан]ия, хотя четвертое еще не вышло. Хочу подчитать по психологии, педологии, лингвистике, а то я в этой книге сплошной самоучка. И нужно прощупать более гибкий и обаятельный стиль. Очень казенно и мертво построена вся книга. Этого не замечают, т. к. самый материал умягчает сердца, но я, держа на днях корректуру 4-го изд. этой книги, удивился, до чего я в ней неталантлив. ⟨...⟩

24/II. Мурочкино рождение. Ровно месяц, как я заболел. Сегодня еду в Узкое. М. Кольцов дает машину — хотя это трудно, т. к. сегодня выходной день. Прочитал здесь «Мелкого беса», «Повести» Герцена, Автобиогр. Щепкина, «Записки» Антоновича, «Дело Засулич», «Игры народов» и пр.[5]. Вначале я здесь замечал только то, что это *Кремлевская*, и лишь потом заметил, что *больница*. Вначале кинулась мне в глаза роскошь этого учреждения, и лишь потом те страдания, к-рые за этой роскошью скрыты. Только Петров, секретарь Обкома Чувашии, с котор. я разговорился в последнюю минуту, здесь показался мне достойным ч[елове]ком. Все соседи были «пустяки и блекота».

25/II. Вчера на машине Мих. Кольцова в сопровожд. Ал[ександры] Ив[ановны] и Булатова в 2 ч. дня выехал в Узкое. Трудно передвигать ноги. Ехали мы, ехали по заснеженной ураганом дороге — и наконец шофер отказался ехать дальше. Сплошной снег, не видать дороги. Булатов голыми руками без перчаток взвалил себе на спину мой чемодан, набитый книгами; побежал на гору (дорога шла в гору) — я пошел по бездорожью под ветром (только что из больницы), промочил ноги. В Узком меня не ждали — сунули в библиотеку — поставили там кровать, ноги у меня мокрые. Бесприютность и блекота. Пошел я к Халатову. Он в роскошном но-

мере, с женой, с заведующим Узким, тов. Белкиным (старик доктор), с заведующим Домами отдыха КСУ, с его женой, дочерью,— и все входят новые люди. Обед на десять персон.— «Кушайте». Как всегда семейно, и радушно, и просто. Жена его огорчена: он болен, лечиться не хочет. А он: «кушайте». «Не хотите ли эту книжку?» и пр. В конце концов: «возьмите мой номер, я уезжаю». И меня переселили в роскошн. номер, где я и обитаю сейчас. Показал мне письмо от Алексея Толстого — о прелестях соц. стройки, так что даже странно, что оно начинается «дорогой Арт. Багр.». Это передовица, к кот. приписано неск. слов о том, как надоело ему, Алёшке, писать «Петра». Лег я спать, не заснул — ни секунды не спал, читал поразительный «Ленинский сборник. (Тетради по империализму)». Тоска финская, куоккальская.

5 марта. Завтра уезжаю из Узкого. Погода солнечная, но мороз такой, что я отморозил себе щеку. Дети, ворующие дрова. Я за ними: в деревню. Нищета, неурожай, голод. Нет хлеба, п. ч. колхоз огородный, а картошка сгнила и ягоды не уродились. Не сплю совсем. Завтра у меня два выступления. Здесь я переделал «Крокодила», написал 3 рец. и вообще работал больше, чем нужно. Проправил рукопись «Солнечную»; написал фельетон.

25 марта. Приехал в Л[енингра]д Тициан Табидзе. Я у него в долгу: он очень горячо отнесся к нам в Тифлисе,— и надо воздать ему ленинградским гостеприимством. Он в «Астории». Пошел я туда; не застал. Вернулся — у меня Тынянов. Расцеловались. Зовет к себе — у него Табидзе будет в гостях. Пошли. Он удручен вульгарной кинопостановкой Киже. «Если есть в этой кинокартине поручик Киже — это режиссер. Режиссер тут действительно Киже, п. ч. его нет совсем». Я утешал его, как мог, хотя «Киже» действительно плох[6]. Изо всех актеров ему больше всего нравится Ростовцев.— Зощенковская «Возвращенная молодость» третьего дня была обсуждена публично в «Доме Ученых», причем, отличился акад. Державин, выругавший Зощенку за «мещанский» язык. Федин выступил защитником повести. Говоря об этом, Тынянов обнаружил много сосредоточенной и неожиданной ненависти к Федину. «Федин... защищает Зощенку!! Федин покровительствует Зощенке!! Распухшая бездарность!» и т. д. С такой же неожиданной злобой говорил он об О. Мандельштаме и о Б. Пастернаке: про О. Мандельштама очень забавно. Был в Берлине в одном мюзик холле такой номер: выходили два совершенно бесцветных человечка, и вместо пола у них под ногами была резиновая огромная подушка, и они на этой подушке подскакивали все выше и выше — и улетели в потолок. И их не стало. А про Пастернака — что отец у него плохой (нрзб.— *Е. Ч.*)... мюнхенской школы, все пишет *расплывчато*... и сын в отца... все мутные слова, мутные образы...

Рассказывал про Горького. Как Горький не вытерпел, когда



Шарж Н. Радлова. 1933 г.

Алешка (иначе Тынянов не называет Толстого) с большим успехом рассказал у него анекдот об отрубленной голове — и сейчас же сам выдумал, как на Невском 9 янв. какая-то ж[енщи]на везла на извозчике отрубленную голову — в пику Толстому: не вынес, что смеются не его анекдоту. («Только вы, К. И., никому не говорите!») Пришли мы к Тын-ву, у него еще никого нет. Он стал читать мне свои новые переводы из Гейне. Составляется целая книга. Есть прекрасные — о Наполеоне III (в виде Осла), но лирические переведены слабее. Наиболее удачны те, где Гейне жесток, сух, колюч.

Пришли Табидзе и его жена Нина Ал-андр. Она в восторге от Ленинграда. Пришли Эйхенбаум с женой. Эйх-а недавно страшно изругали в «Лит. Газ[ете]»[7]. Он послал ответ — не напечатали. Он послал копию Горькому и в Оргкомитет (Юдину). Ждет результатов.

Ольга Дм. Форш полна радостного возбуждения. Ее «Одетые камнем» вышли в ГИХЛе, она принесла книгу Инночке. «Хорошее издание!» Очень довольна. Рассказывает, как они с Тыняновым ехали в Дом ученых и к ним приплели Чапыгина, и они в шутку говорили: зачем Чапыгин? Не выдать ли его за своего отца и учителя? И вдруг, когда они стали выступать, какой-то оратор объявил их «учениками Чапыгина». Пришел милый Каверин, очень обиженный карикатурой Радлова, который исказил его черты с определенной тенденцией[8]. Вообще по поводу нового альбома рисунков я заметил, что каждый, изображенный в нем, хвалит карикатуры на других, но не на себя.

— Ну, меня-то он сделал поверхностно, но Либединский хорош! — говорит О. Д. Форш.

— Ну, разве Юрочка такой? — говорит Ел. А. Тынянова.— Вот Эйхенбаум хорош.

Но Эйх-у нравится Лебеденко, и т. д.

Все с ненавистью говорили об академике Державине — и о его гнусных нападках на Зощенку[9].

Сегодня в Оргкомитете я видел Лебеденко. Он вынул изо всех карманов рецензии французских и немецких газет, где его «Тяжелый дивизион» хвалят, как никогда не хвалили «Войну и Мир».

Завтра в Л[енингра]д приезжает Семашко.

29/III. Сегодня ходил в Райсовет хлопотать, чтобы детскому клубу писателей дали наконец помещение. Этот клуб предполагалось устроить в *помещении надстройки* на Грибоедовском канале, куда на днях переезжают писатели, но в последнюю минуту отведенную под этот клуб квартиру передали Зощенке — и еще кому-то, а нам предложили отвоевать площадь у помещающейся в том же доме артели «Сила». По этому поводу мы (Хесин, Зощенко, Фроман и я) ходили в Райсовет. Зощенку я увидел сзади со спины, как он поднимался на лестницу стариковской походкой человека, у кот. порок сердца. Я сказал ему: зачем он меняет хорошую квар-

тиру на худшую? Он сказал с неожиданной откровенностью: «у меня оказалась очень плохая, сварливая жена, к-рая в доме перессорилась со всеми жильцами, я, конечно, в это не вмешиваюсь, но надоело. Не знаю, как я прожил в своей семье эти два года. Такая тоска».

Упивается славой своей «Возвращенной молодости».— «В один день распродана вся книга. Кучи писем отовсюду» и т. д.

Жеманный, манерный, наполненный собою и все же обаятельный. Председателю Райсовета поднес свою книжку «от писательской общественности».

Рассказывает, что его вызвал к себе Бух[арин] — в гостиницу. «Сам позвонил. Болен гриппом. Лежит в кровати голый. Пышет буйной энергией. «Даю вам квартиру в Москве и $2^1/_2$ тысячи жалованья — пишите для «Известий» фельетоны». Я отказался. Говорю: нездоров.— Ну так поезжайте в Нальчик! Я сейчас же дам вам туда письмо.

— А дома у меня,— говорит Зощенко,— очень плохо: вселили жильцов, и у сына всегда температура.

17/VI. Тоска. Главное, ничего не могу сделать для Сербул. [нрзб.— *Е. Ч.*] Я пошел к Мих. Кольцову. Он радушен и любезен, но — занят, куда-то торопится. Заговорил со мною о кн. Вяземском, приволок 7 том Шереметевского издания.— «Изучаю как один из фельетонных методов». Говорил о том, почему он назвал себя Кольцовым. И анекдоты. Как-то у А. Н. Толстого собрались: К. Державин, Мих. Кольцов, Соловьев. Кольцов поднял тост «за однофамильцев». Но рассказывает и глядит на дверь. А тут еще его немка ввязывается в разговор[10]. Каркает по-вороньему. Тоска еще сильнее замутила меня. Я пошел к Халатову. Светлана, Нина и Жорж укладываются на дачу, облепили меня со всех сторон, но взрослым не до меня, взрослые недовольны, что дети перестали складывать игрушки и книги. Я пошел пешком в Дом Ученых: у Марии Федоровны заседание. Я — к Юрию Олеше: он пишет статью о театре. Первую статью в своей жизни. «Жена едет на дачу; ей нужно 3000 рублей, а у меня нету. Я получаю во Всероскомдраме по тысяче в месяц авансом в счет будущего и больше ничего не имею. Правда, я целый год не писал». И тут же рассказал мне содержание своей будущей пьесы «Марат». «Мальчишка знает, что Шарлотта приехала в Париж убить Марата, и хочет уведомить об этом Марата, но ему мешает целый ряд обстоятельств». Его поразило письмо Репина, которое я прочитал по «Чукоккале». Величественное письмо. Был ли Репин богат? — О, да.— «И все же экономил копейки? Это он для продления жизни. Жизни у него остается уже меньше, чем денег, вот он и обманывает себя. Я видел, как Влад. Ив. Немирович-Данченко, 75 летний старик, богач, торговался с извозчиком. Выторговал полтину, два года назад». Чудесный собеседник Олеша, но — тоже занят. «За статью мне дадут 750 р. за лист, я продам ее кусочками в вечернюю «Красную», в «Вечер-

нюю Москву», в «Литгазету», сделаю из нее 3000». А самого так и тянет к чернильнице. Я пошел к Сейфуллиной, вот-вот заплачу. Но и Сейфуллиной нет, а есть ее сестра, 23 летняя Капа, которая встретила меня словами: ой как вы подряхлели.

18/VI. Вечером доклад Сольца о чистке партии в Оргкомитете Писателей. Сольц — обаятельно умный, седой, позирующий либерализмом. Возле него Мариэтта — *буквально у самого уха* — как Мария у ног Христа. Сейфуллина визави, застывшая, неподвижная. Фадеев председатель. Кирпотин, Архангельский, Шабад, Лядова, Гайдар и много безличностей. Речь его была не слишком блестяща, покуда он говорил один, но, когда его стали расспрашивать о чистке — т. е. о практике этого дела, он так и сыпал бисером, и все собравшиеся гоготали. Гоготали наивно, п. ч. основная масса состояла из очень простодушных людей, вроде тех, что прежде заполняли галерку. Дремучие глаза, мясистые деревенские щеки. «Интеллигентных» лиц почти нет. Ни за что не скажешь, что писатели. Сольц говорил о том, как при чистке он главным образом восстает против *скучных* людей. Есть у нас такие: боролся за революцию, жертвовал собою, обо всем, что было у нас до 1917 года, может очень интересно говорить, а с 1917 года говорит скучно. Это дурной признак. Таких ну что вычищать? Нет, не вычищать таких нужно, а дать им пенсию. Больше чем на пенсию они никуда не годятся.

— Как вы чистите молодежь? — спросила Лядова.

— К молодежи я особенно требователен. Но как судья я никогда не приговариваю молодежь к высшей мере наказания... Я вообще не люблю стариков. Терпеть не могу больных. Если мы будем покровительствовать слабым, больным, убогим,— кто же будет строить?.. Происхождение человека не интересует меня. Прежде чванились графством, теперь происхождением от слесаря. «Иной думает, что с него довольно того подвига, что он — родился у слесаря. С этим мы должны бороться... Я городовых всех восстанавливаю (в комиссии по чистке). Ведь и полицейский это тот же милиционер, он происходит из беднейших крестьян... Если б у него была земля, он не пошел бы на службу в полицию... Я чищу чистильщиков. Я чищу партийную знать...» Потом замолол о половой жизни. «Половая жизнь носит характер общественный: кто смотрит на нее, как на естественное отправление организма, тот себя в этой области принижает, и не только в этой области... Ничего хорошего нет, что человек ставит себя на уровень животного».

Его спросили о том, как он относится к современной советской л[итерату]ре. «Память у меня стала плохая. Что ни прочту, забываю. Вот Шолохова прочитал «Поднятую целину» — и сейчас же забыл».

Сейфуллина: «Ну, я рада, что вы все забываете. Значит, вы и меня забыли и забыли, что вы меня выругали».

Были бутерброды с икрой и семгой, чай и конфеты. Мы пошли с Сейфуллиной. Она по дороге брюзжала: «Надоели либеральные сановники. Вот он сейчас говорит, что сын городового для него не одиозен, а когда я на Кузнецкстрое написала в анкете, что я происхожу из духовенства, ко мне прибежала заведующая и просила изъять из анкеты это место. Почему же он говорит, что преследуют только тех, кто *скроет* свое происхождение? Напротив, требуют, чтобы скрывали».

Вообще С. будировала и сделалась, по терминологии Сольца, скучной. Я ушел от нее с Архангельским.

Ночь на 21 июня. Завтра утром у меня записывают голос в радиоцентре. Записывают на плёнку. Я так волнуюсь, что не сплю, и разные ночные мысли лезут мне в голову... Этот приезд показал мне, что действительно дана откуда-то свыше инструкция любить мои детские стихи. И все любят их даже чрезмерно. Чрезмерность любви главным образом и пугает меня. Я себе цену знаю, и право, тот период, когда меня хаяли, чем-то мне больше по душе, чем этот, когда меня хвалят. Теперь в Москве ко мне относятся так, будто я ничего другого не написал, кроме детских стихов, но зато будто по части детских стихов я классик. Все это, конечно, глубоко обидно.

Вчера над Москвою лютый дождь. До 1 часу сидел дома, не мог выбежать даже побриться. Прибежал в «Молодую Гвардию». Рыжая, беззубая Шабад опять заявила мне, что в мой сборник решено не включать ни «Мухи Цокотухи», ни «Бармалея». ⟨...⟩

7/IX 1934. Едем в Кисловодск. Завтра утром — там. С нами: проф. Н. Н. Петров, Игорь Грабарь, д-р Крепс. Игорь Грабарь вчера часа 4 говорил о себе; о своей автобиографии, к-рую он только что закончил, о книге «Репин», к-рую он будет печатать роскошным изданием, о картине «Толстые женщины», к-рую написал он в Париже. Об Эрмитаже: 80% ценнейших картин мы продали заграницу. 80%!!! Но есть надежда, что года через два мы начнем покупать их обратно, даже со скидкой — ввиду тамошнего кризиса. Не сомневаюсь, что это будет именно так. Игорь Грабарь, как гласит молва, весьма помогал этой продаже за границу лучших полотен. По его словам, он боролся с этим злом, писал записки Калинину, звонил в Кремль и пр. О Бенуа: Бенуа уехал из СССР в виде протеста против продажи картин Эрмитажа. Там он жил поддержкой Иды Рубинштейн и, кажется, живет до сих пор. Чехонин увез с собою 1000 долларов одной бумажкой, которую зашил в подошву сапога. Теперь в Америке. О Пиксанове. Скучнейший старик: когда бывали заседания в МГУ, Грабарь всегда уходил, чуть бывало откроет рот Пиксанов. Я вожусь с Гамлетом... Хочу писать о переводах Шекспира для Лит. Газеты. ⟨...⟩

Ноябрь 14. Приехал Каменев. Остановился в Академии Наук у

академика Кржижановского. Прелестный круглый зал — куда собрались вчера вечером Томашевский, Тынянов, Эйхенбаум, Гуковский, я, Швальбе, Саянов, Оксман, Жирмунский. Каменев с обычным рыхлым добродушием вынул из кармана бумажку — вот письмо от Алексея Максимовича. Он пишет мне, что надо сделать такую книгу, где были бы показаны литератур. *приёмы* старых мастеров, чтобы молодежь могла учиться.— Какая это книга, я не знаю, но думаю, что это должно быть руководство по технологии творчества.

Тут он предъявил к бывшим формалистам такие формалистические требования, от которых лет 12 назад у Эйхенбаума и Томашевского загорелись бы от восторга глаза. Мысль Каменева — Горького такая: «поменьше марксизма, побольше формалистического анализа!..» Но формалисты, к-рых больше десяти лет отучали от формализма, жучили именно за то, что теперь так мило предлагается им в стильной квартире академика Кржижановского за чаем с печеньями,— встретили эту индульгенцию холодно. Эйхенбаум сказал с большим достоинством:

«Мы за эти годы отучились так думать (о приемах). И по существу потеряли к этому интерес. Отвлеченно говоря, можно было бы создать такую книгу... но...»

— Это была бы халтура...— подхватил Томашевский.

Эйхенб. Теперь нам пришлось бы пережевывать либо старые мысли, либо давать новое, не то, не технологию, а другое (т. е. марксизм). Во всех этих ответах слышалось:

А зачем вы, черны вороны,
Очи выклевали мне[11].

Каменев понял ситуацию. Ну что же! Не могу же я вас в концентрационный лагерь запереть.

Жирмунский. Мы в последнее время на эти темы не думали. Не случайно не думали, а по какой-то историч. необходимости.

Домой я шел с Тыняновым. Он очень огорчен тем, что «Библиотеку поэта» будет издавать «Academia». Из «Издательства Писателей» «Библиотека» уходит. А в «Academia» нет бумаги, и кроме того Каменев сказал: да зачем же вы издаете каких-то Востоковых! Нет, для Востокова я бумаги не дам! Тынянов зол на Горького: «Основал «Б-ку поэта», морочил нам голову, ездили мы в Москву, заседали, а теперь «пошли вон, дураки!»

И теперь сколько народу мы обманули по его милости. И он всегда так...»

Тынянов написал уже 200 страниц своего романа о Пушкине. «А между тем Пушкин у меня только-только поступает в лицей». Хочет придти на днях почитать. 〈...〉

18/XI. Каменев четыре дня подряд заседал, обсуждал, организовывал, примирял, улаживал и проч. Я сдал ему «Кому на Руси жить хорошо» для роскошного издания. Вчера у меня был худож-

ник — вырабатывали обложку книжки «Дети». Вожусь с «Шекспиром». Вчера кончил эту статью вчерне[12]. ⟨...⟩

28/XI. <...> Вчера был у меня Алянский, и, конечно, после этого ненужного визита я не могу заснуть ни минуты. Москва гонит Лебедева из Детгиза. 5-ое издание моей «От 2 до 5» уже набрано. Верстается. Выйдет в январе. ⟨...⟩

29 ноября. Сегодня вечером читал о Шекспире — в секции переводчиков. Были Тарле, Т. А. Богданович, Франковский, Лозинский, Анна Ганзен и прочие. Доклад мой был принят холодно.

30 ноября. Мучаюсь бессонницами. Засыпаю в 12, просыпаюсь в половине четвертого. Надумал написать в «Правду» о Репине. Сюда приехал Борис Левин. Я был у Коли — читал его роман о Кроншта[д]те[13]. Есть хорошие места, и сюжет хорош, но диалоги беспомощные, и запаха эпохи нет. ⟨...⟩

1 декабря. Писал «Искусство перевода». Очень горячо писал. Принял брому, вижу, что не заснуть, пошел к Щепкиной-Куперник, которая угостила меня вишневым вареньем и рассказывала о своем переводе «Much Ado about nothing»*.

Это навеяло мне сон. Прихожу домой, ложусь. Читаю Ксенофонта Полевого — вдруг звонок по телеф.— из «Правды» Лифшиц:

— Убили Кирова!!!!

Все у меня завертелось. О сне, конечно, не могло быть и речи. Какой демонстративно подлый провокационный поступок — и *кто* мог его совершить? Сегодня утром мороз, месяц — последняя четверть — и траурные флаги.

Я пошел утром в 8 часов — бродил по Питеру. У здания бездна автомобилей, окна озарены, на трамваях траурные флаги — и только. Газет не было (газеты вышли только в 3 часа дня). Из «Правды» прилетел на аэроплане Аграновский посмотреть траурный Л-д. Кирова жалеют все, говорят о нем нежно. Я не спал снова — и, не находя себе места, уехал в Москву.

Москва поражает новизной. Давно ли я был в ней, а вот хожу по новым улицам мимо новых многоэтажных домов и даже не помню, что же здесь было раньше. ⟨...⟩

5/XII. ⟨...⟩ Вчера я весь день писал и не выходил из своего 114 номера «Национали». Вечером позвонил к Каменевым, и они пригласили меня к себе поужинать. У них я застал Зиновьева, к-рый — как это ни странно — пишет статью... о Пушкине («Пушк. и декабристы»). Изумительна версатильность этих старых партийцев. Я помню то время, когда Зин. не удостаивал меня даже кивка головы, когда он б[ыл] недосягаемым мифом (у нас в Л[енингра]де), когда он б[ыл] жирен, одутловат и физически противен. Теперь

* «Много шума из ничего» *(англ.)*.

это сухопарый старик, очень бодрый, веселый, беспрестанно смеющийся очень искренним заливчатым смехом.

Каменев рассказывал при нем о Парнохе, переводчике испанских поэтов, который написал ему, Каменеву, письмо, что он считает его *балканским жандармом* и не желает иметь с ним ничего общего. В этот же день — рассказывает Лев Борисович — пришел «Литературный Ленинград», где напечатано, что он, Каменев, узурпатор, деляга, деспот и проч. и проч. и проч. по поводу истории с «Библиотекой поэта». Я встал на сторону тех, кто писали эту статью, т. к. Л. Б. напрасно обидел целую плеяду лит. работников, составивших для «Библ. Поэта» несколько ценнейших монографий. И что это за девиз: раньше издадим Михайлова, а потом — Хомякова! и проч. и. проч. и проч. ⟨...⟩ А потом мы пошли по Арбату к гробу Кирова. На Театральной площади к Колонному залу очередь: человек тысяч сорок попарно. Каменев приуныл: что делать? но, к моему удивлению, красноармейцы, составляющие цепь, узнали Каменева и пропустили нас,— нерешительно, как бы против воли. Но нам преградила дорогу другая цепь. Т[атьяна] И[вановна] кинулась к начальнику: «это Каменев». Тот встрепенулся и даже пошел проводить нас к парадному ходу Колонного зала. Т. И.: «Что это, Лева, у тебя за скромность такая, сказал бы сам, что ты Каменев».— «У меня не скромность, а гордость, потому что а вдруг он мне скажет: никакого Каменева я знать не знаю». В Колонный зал нас пропустили вне очереди. В нем даже лампочки электрич. обтянуты черным крепом. Толпа идет непрерывным потоком, и гэпеушники подгоняют ее: «скорее, скорее, не задерживайте движения!» Промчавшись с такой быстротой мимо гроба, я, конечно, ничего не увидел. Каменев тоже. Мы остановились у лестницы, ведущей на хоры, и стали ждать, не разрешит ли комендант пройти мимо гроба еще раз, чтобы лучше его разглядеть. Коменданта долго искали, нигде не могли найти — процессия проходила мимо нас, и многие узнавали Каменева и не слишком почтительно указывали на него пальцами. Оказалось, Каменев добивался совсем не того, чтобы вновь посмотреть на убитого. Он хотел встать в почетном карауле. Наконец, явился комендант и ввел нас в круглую «артистическую» за эстрадой. Там полно чекистов и рабочих, очень печальных, с траурными лицами. Рабочие (ударники) со всех концов страны, в том числе и от Л[енингра]дского завода им. Сталина, стоят посередине комнаты — и каждые 2 минуты из их числа к гробу отряжаются 8 человек почетн. караула. Каменев записал и меня. Очень приветливый, улыбающийся, чудесно сложенный чекист, страшно утомленный, раздал нам траурные нарукавники — и мы двинулись в залу. Я стоял слева у ног и отлично видел лицо Кирова. Оно не изменилось, но было ужасающе зелено. Как будто его покрасили в зеленую краску. И т. к. оно не изменилось, оно было еще страшнее... А толпы шли без конца, без краю: по лестнице, мучительно раскорячившись, ковылял сухоногий на двух костылях, вот женщина с забинтованной головой,

Страница дневника. Москва. 5 декабря 1934 г.

будто вырвалась из больницы, вот слепой, которого ведет под руку старуха и плачет. Еле мы протискались против течения вниз. В артистической мы видели Рыклина, Б. П. Кристи и др. Домой я вернулся в $2^1/_2$ ночи.

20/XII. 〈...〉 В «Academia» носятся слухи, что уже 4 дня как арестован Каменев. Никто ничего определенного не говорит, но по умолчаниям можно заключить, что это так. Неужели он такой негодяй? Неужели он имел какое-нб. отношение к убийству Кирова? В таком случае он лицемер сверхъестественный, т. к. к гробу Кирова он шел вместе со мною в глубоком горе, негодуя против гнусного убийцы. И притворялся, что занят исключительно литературой. С утра до ночи сидел с профессорами, с академиками — с Оксманом, с Азадовским, толкуя о делах Пушкинского Дома, будущего журнала и проч. Взял у меня статью о Шекспире, которая ему очень понравилась, звонил мне об этой статье ночью — указывал,

как переделать ее, спрашивал о Радловском переводе «Отелло» — и казалось, весь поглощен своей литературной работой. А между тем...

Сегодня уехала в Л-д Мария Борисовна. Я проводил ее на вокзал и вернулся в гостиницу огорченный: мучает меня огромное количество несделанных дел, которые меня буквально заедают: недописанная статья «Искусство перевода», неисправленные «Сказки», недоконченная статейка о Репине и проч., и проч., и проч.

23/XII. Сейчас говорил с Главлитом — оказывается, мой «Крокодил» запрещен опять. Неужели кончился либерализм 1932 года? Получилась забавная вещь — когда в 1925 году запрещали «Крокодила», говорили: «Там у вас городовой», «кроме того — действие происходит в Петрограде, которого не существует. У нас теперь — Ленинград».

Под влиянием этих возражений против «Крокодила», я переделал тексты — у меня получился постовой милиционер, которого Крокодил глотает в Ленинграде. Текст одобрили. Дали художникам иллюстрировать. И Конашевич и Константин Ротов сделали милиционера в современном Ленинграде, и тогда цензура наложила на него свое veto именно за то, что там «Л-д» и «милиция».

24/XII. Я вчера весь день провел в тоске. Третьего дня выступал в «клубе мастеров искусства» вместе с Грабарем. Читал о Репине. У меня вышел доклад очень бойкий, но поверхностный, у Грабаря — нудный и мертвый. Слушали нас горячо и страстно. Председательствовал Машков, который каялся в своем прежде несправедливом отношении к Репину. (Он с Максом Волошиным выступил в юности против Репина, когда порезали репинскую картину.) «Репин с каждым годом растет». «Теперь он кажется мне... ну пожалуй... ровней Рембрандта». Игорь Грабарь уговаривает позировать ему, но у меня нет времени.

Были у меня Бор. Левин с Герасимовой. Отняли много времени. Левин очень не любит Толстого, не знаю почему. «Ах, если бы он умер во время похорон Кирова,— сострил он.— Никто бы и не заметил его собственных похорон. Вот неудобное время, когда умирать. Все процессии, все организации заняты другим — а не им». Откуда эта чудовищная злоба у некоторых писателей к Толстому? Горькому?

28/XII. Сейчас новая глава в истории «Крокодила». Началась она с того, что все в Детгизе говорили мне: мы с удовольствием напечатаем вашу сказку.

Семашко тоже: «Что ж! Отличная сказка — будем печатать».

«Академия» тоже: мы печатаем без всяких колебаний.

Цензор «Академии» Рубановский разрешил не задумываясь. На основании этого художник Конашевич сделал для «Крокодила», издаваемого в «Академии», рисунки, которые печатаются сейчас в

Гознаке, художник Ротов сделал рисунки для детгизовского «Крокодила» — и когда все было готово, около месяца назад, прошел неясный слух, будто Волин имеет какие-то возражения против «Крокодила». Слухам не придали значения: Волин был в больнице, Семашко говорил мне: «Пустяки», и я был уверен, что все образуется. Так как сейчас процесс убийц Кирова, Волин головокружительно занят — и поймать его по телефону вещь почти невозможная. Вчера в Детгизе я наконец дозвонился до него — и он сказал мне, что считает, что «Крокодил» — вещь политическая, что в нем предчувствие февральской революции, что звери, которые по «Крокодилу» «мучаются» в Л-де, это буржуи и проч. и проч. и проч. Все это была такая чепуха, что я окончательно обозлился. Легко рассеять такие фантомы. Сегодня утром в 9 час. я опять позвонил ему. Так как в прошлый раз он выразил желание, чтобы «Крокодил» был напечатан в старой редакции, я указал ему теперь, что это невозможно, потому что найдутся идиоты, к-рые подумают, что стихи:

И вот живой городовой
Явился вновь перед толпой

включают в себя политический намек.

Он согласился со мною и просил позвонить завтра утром.

Я, радуясь, что он уступает моим доводам, позвонил Оболенской. Она говорит охрипшим от насморка голосом:

— Вы знаете, неприятная новость: вашего «Кр[окодила]» решили вырезать из книжки ваших «Сказок»?

— Кто?

— Волин.

— Но ведь я сейчас с ним говорил.

— Я ничего не знаю. Позвоните Семашко.

Я позвонил Семашко. С-ко уехал в Смоленск.

Я позвонил Суворову. Суворов говорит: верно. Я человек подневольный. Мне дано распоряжение ехать сию минуту в типографию и вырезать оттуда «Крокодила».

— И вы поедете?

— Я человек подневольный.

Оказывается, вчера Семашко был у Стецкого, но тот, распропагандированный Волиным, запретил «Крокодила» наотрез...

Вчера я закончил свой фельетон о Репине и дал в «Правду». «Правда» фельетон приняла, равно как и другой, тоже написанный в Москве — «Искусство перевода»[14]. О Репине я написал с самой неинтересной для меня точки зрения — неинтересной, но *необходимой* для славы Репина в СССР — на тему: «Репин — наш!» Эта статья даст возможность громко прославить Репина, а то теперь он всё еще на положении нелегального.

29-го /XII. Домой хочется ужасно. Из-за «Крокодила» я два дня не работаю. Выбился со сна. Сегодня звонил Стецкому в ЦК.— «Алексея Ив-ча сегодня не будет. Он на заводах. Позвони-

те его секретарю». Звоню Волину, целый час добивался, стоит на своем. Сегодня буду ловить его в Наркомпросе. Будь оно проклято, то лето в Куоккале, когда я написал «Крокодила». Много горя оно доставило мне. По поводу этого «Крокодила» я был недавно у Эпштейна, он долго не хотел принять меня, я перехватил его по дороге к Бубнову,— он отмахнулся от меня, как от докучливого просителя. Я — к Бубнову. «Не может принять. Оставьте ваш телефон, вам сообщат». Я оставил — и жду до сих пор. А прежние обиды, оскорбления, травля в газетах и проч. Чорт меня дернул написать «Крокодила».

Вот уже 3 часа я все кишки выматываю телефоном. «Город».— «Город занят». Получил город. «А. Т. С.» — «А. Т. С. занято». Так и не доберешься до нужного номера.

Был у Волина в Наркомпросе.

Сначала учтиво, а потом все грубее, он указал мне, что он делает мне личное одолжение, разговаривая со мною по этому поводу, что он очень занят и не имеет возможности посвящать свое время таким пустякам, но все же так и быть — он укажет мне политические дикости и несуразности «Крокодила». Во-первых,

Подбегает постовой:
Что за шум? Что за вой?
Как ты смеешь тут ходить,
По-немецки говорить?

Где же это видано, чтобы в СССР постовые милиционеры запрещали кому бы то ни было разговаривать по-немецки!? Это противоречит всей нашей национальной политике! (А где же это видано, чтобы милиционеры вообще разговаривали с Крокодилами.)

Дальше:

Очень рад
Ленинград

. . . .

А яростного гада
Долой из *Ленинграда*

. . . .

Они идут на *Ленинград*

. . . .

О, бедный, бедный *Ленинград*.

Ленинград — исторический город, и всякая фантастика о нем будет принята как политический намек.

Особенно такие строки:

Там наши братья, как в аду —
В Зоологическом саду.

О, этот сад, ужасный сад!
Его забыть я был бы рад.
Там под бичами палачей
Немало мучится зверей
и пр.

Все это еще месяц назад казалось невинной шуткой, а теперь после смерти Кирова звучит иносказательно. И потому...

И потому Семашко, даже не уведомив меня, распорядился вырезать из Сборника моих сказок «Крокодила».

От Волина я поехал в ЦК партии. Там тов. Хэвинсон (кажется так?), помощник Стецкого, принял меня ласково, но... Он торопится... он ничего не знает... Он никогда не читал «Крокодила»... Оставьте текст... Я познакомлюсь... Скажу свое мнение.

Я — к Семашке в Детгиз. Семашко несколько смущен. Ведь он уверял, что ни за что не допустит выбросить из «Крокодила» ни строки. «Да... да... вот какое горе... Но ведь нам надо поскорее... Я распорядился... Изъять «Крокодила»...

— Даже не попытавшись похлопотать о его разрешении?..

— Да... знаете... время такое...»

От Семашки я побежал к Ермилову — Ермилов обещал поговорить, но о чем — неизвестно. Советуют обратиться в Союз писателей, но, конечно, это все — паллиативы. Единственный, кто мог бы защитить «Крокодила»,—Горький. Он сейчас в Москве. Но Крючков не пустит меня к Горькому, мне даже и пробовать страшно. А между тем все эти хлопоты вконец расшатывают мои нервы — я перестал спать, не могу работать. И в самый разгар борьбы — вдруг получаю от М. Б. телеграмму, торопящую меня приехать домой!!!! Я даже не обиделся, я удивился. Человек знает все обстоятельства дела и хочет, чтобы я плюнул на все — и поселился на Кирочной. Ну что ж! Я так и сделаю.

«Правда» поступила со мной по-свински. Заказала мне фельетон о Репине. Я писал его не покладая рук — урывая время от борьбы за «Крокодила», а теперь отложила его в дальний ящик. Между тем по телефону уверяла меня, что он идет 30-го; если бы он пошел 30-го, со мной иначе разговаривали бы все работники Главлита и Культпропа.

Илья Зильберштейн предлагает печатать Репина у Бонч-Бруевича. Я почти согласился. Но Эфрос возмущен и буянит. Длинные споры по этому поводу.

В фельетоне, к-рый я дал «Правде» — «Искусство перевода»,— содержатся похвалы издательству «Academia». Их велено убрать. Теперь хвалить «Академию» нельзя — там был Каменев. Между тем накануне ареста Каменева в «Правде» должна была пойти его статейка, рецензия на какие-то мемуары. Она уже была набрана. Сейчас Эфрос рассказал мне, что «Academia» ищет заместителя Каменеву. Были по этому поводу у Горького — главным образом для того, чтобы отвести кандидатуры Лебедева-Полянского и дру-

гих. Горький обещал противиться этим кандидатурам. Выдвигают какого-то Манцева, служащего в Наркомфине.

31/XII. Сейчас говорил по телефону с Семашко. Так как мне очень хочется домой и я устал от чиновников, от беготни по учреждениям и проч., я решил уступить Волину и дать только первую часть «Крокодила». Позвонил об этом Николаю Александровичу. А он говорит:

— Я не помню «Крокодила», приду в Детгиз, разберусь. И в результате —

1935

2 января. «Крокодил» запрещен **весь.** Ибо криминальными считаются даже такие строки:

Очень рад
Ленинград

и проч. Семашко предложил мне переделать эти криминальные строчки, и кто-то из присутствующих предложил вместо «Ленинград» сказать «Весь наш Град». Выбившись из сил, я достал в Интуристе билет — и к 1-му января был уже дома. Гулял с М. Б. по Питеру, читал Колин рассказ «Старики» (очень хороший рассказ), разбирал письма (большинство — отклики на книжку «От двух до пяти»), был в ГИХЛе и в «Academia» и рано лег спать. Сейчас М. Б. переписывает на машинке мои воспоминания о Репине, а я строчу «*Искусство перевода*». 〈...〉

5/I. Был на чехословацком обеде в «Астории».

Зощенко в чорном костюме, изнеможденный...

18/I. Не писал дневника, т. к. был занят своей книгой «Высокое искусство» и статьей о Репине, которая все разростается. Очень волнует меня дело Зиновьева, Каменева и других. Вчера читал обвинительный акт. Оказывается, для этих людей литература была дымовая завеса, которой они прикрывали свои убогие политические цели. А я-то верил, что Каменев и вправду волнуется по поводу переводов Шекспира, озабочен юбилеем Пушкина, хлопочет о журнале Пушкинского Дома и что вся его жизнь у нас на ладони. Мне казалось, что он сам убедился, что в политике он ломаный грош, и вот искренне ушел в лит-ру — выполняя предначертания партии. Все знали, что в феврале он будет выбран в академики, что Горький наметил его директором Всесоюзного Института Литературы, и казалось, что его честолюбие вполне удовлетворено этими

перспективами. По его словам, Зиновьев до такой степени вошел в л-ру, что даже стал детские сказки писать, и он даже показывал мне детскую сказку Зиновьева с картинками... очень неумелую, но трогательную. Мы, литераторы, ценили Каменева: в последнее время, как литератор, он значительно вырос, его книжка о Чернышевском[1], редактура «Былого и дум» стоят на довольно высоком уровне. Приятная его манера обращения с каждым писателем (на равной ноге) сделала то, что он расположил к себе: 1 всех литературоведов, гнездящихся в Пушкинском Доме; 2. всех переводчиков, гнездящихся в «Academia» и проч., и проч., и проч. Понемногу он стал пользоваться в литер. среде некоторым моральным авторитетом — и все это, оказывается, было ширмой для него, как для политического авантюриста, который пытался захватить культурные высоты в стране, дабы вернуть себе утраченный политический лик.

Так ли это? Не знаю. Похоже, что так. Я вспомнил один эпизод на Съезде. Каменев жил на даче под Москвой. Об этом его жена, Татьяна Ив., которую я встретил в Колонном зале, сказала мне шопотом, т. к. считалось, что он где-то на Кавказе. Он *скрывался* и скрывался так тщательно, что по целым дням не выходил из своей дачи,— не соблазняясь никакой погодой. Скрывался он вот почему: вначале было объявлено, что Каменев сделает на Съезде Писателей доклад и что вообще ему будет принадлежать там, на Съезде, ведущая роль. Потом, очевидно, в ЦК было решено не предоставлять ему этой роли, и он должен был притвориться отсутствующим. Я так и не побывал у него на даче — и забыл весь этот эпизод, но в бытность мою в Кисловодске я получил от Т. Ив. письмо, где она говорит: простите мне ту грубость, с которой я разговаривала с вами на Съезде Писателей, но я *была так огорчена, что Л. Б. не мог выступить там.* О его политической карьере я не знаю ничего, но как литератор он был мне кое в чем симпатичен (хотя его разговоры о Мандельштаме, его статьи о Полежаеве, Андрее Белом и проч. свидетельствовали о полном непонимании поэзии)[2].

С изъятием «Крокодила» я примирился вполне. Ну его к чорту. Снова пишу о Репине и проклинаю свою бесталанность. Он как живой стоит передо мною во всей своей сложности, а на бумаге изобразить его никак не могу.

Разбираю его письма ко мне: есть замечательные. Но ненависть его к «Совдепии» оттолкнет от него всякого своей необоснованной лютостью...

27/I. Я в Болошеве. Снег и 30—40 ученых (считая и их жен). Царство седых и лысых. Сегодня днем я впервые заснул после того утра 21/I, когда я сказал М. Б., что еду в Москву, и она два дня в исступлении проклинала меня. Впрочем, с 21-го на 22-ое я спал хоть немного, а потом — ни минуты, ни при каких обстоятельствах. Меня выписали в Москву «Всекохудожник» и Радио-Комитет.

1-й для того, чтобы я прочитал лекцию о Репине, 2-й для того, чтобы я выступил в Колонном Зале со своими сказками. Кроме того, мне было нужно пристроить в редакции «Красной Нови» свою статью об «Искусстве перевода» и сдать статью о Репине — Горькому в «Альманах XVII». Из-за ссоры с Марией Борисовной я *не кончил статьи о Репине* и не привел в окончательный вид своей книжки. И вообще в Москве я не написал ни строки из-за того, что в течение трех суток (с 23 по 26) был буквально на улице. Сейчас в Москве происходит Съезд Советов, все гостиницы заняты. 23-го весь день я тщетно пытался проникнуть в Националь, весь день звонил по всем телефонам, и наконец в 11 часов ночи Жеребцов устроил меня в Ново-Московской... Я приехал туда, сдал паспорт, заполнил анкету, уплатил деньги и попал на 7-й этаж, где оказалось так шумно, что я через десять минут уложил чемодан и убежал. Куда? На Верхнюю Масловку к художнику Павлу Александровичу Радимову — в его мастерскую. Приехал в час ночи (на машине, которую вымолил у Жеребцова). Мастерская на 7 этаже, в ней нет постели, она выходит в такой же шумный коридор, как и номер в Ново-Московской. Но делать было нечего. Я лежу на диване и не сплю. Зажечь огонь? Но к глазам моим приливает кровь, и, кроме того, картины Радимова так плохи, что душевная муть увеличивается. У него все приемы живописи заучены, как у барышни, которая рисует цветы. Вот так делается речка, так делается облачко, так делается солнечный блик. Творчества тут нет никакого. Зная все эти рецепты, он изготовляет сотни пейзажиков, которые разнятся один от другого тем, что здесь речка слева, а здесь речка справа, здесь березки с осенней листвой, здесь — с весенней. Это такая клевета на природу; природа в моем восприятии гораздо лиричнее, гораздо трагичнее. Те пейзажи, которые я пишу мысленно, когда гляжу на деревья, реки, поля, так отличаются от этих механически сделанных пейзажей Радимова, что смотреть на радимовские для меня такая же мука, как, напр., слушать на суде лжесвидетеля. И так как теперь всюду тяга к такому полуискусству — пейзажи Радимова идут нарасхват во все клубы, дома отдыха и проч. Сам он — желтоволосый, голубоглазый, поэтический, «не от мира сего» — величайший карьерист и делец. Работая по общественной линии во всяких художественных организациях, он свел знакомство с Ворошиловым, Уншлихтом, Эйдеманом, а так как такое знакомство — капитал, то он получил с этого капитала большие проценты: ему дали идеальную квартиру в Доме Художника, идеальную мастерскую там же, дачу в Абрамцеве и мастерскую там же. Это кулачок в советской личине, и чуть только я разгадал это, мне стало противно быть под его кровлей.

Его сосед и друг — Евгений Кацман, выставка к-рого сейчас во «Всекохудожнике». Кацман не лишен дарования, хотя живопись его однообразна и поверхностна, портретные характеристики внешни, а краски слишком пестры и «шикарны». Сейчас его сделали заслуженным деятелем искусства. У него мастерская в Кремле и квар-

тира во «Всекохудожнике». Главное, что сейчас он ценит в себе,— знакомство с Бубновым, Ворошиловым и другими вождями. Это — его основной капитал, хотя он не брезгает Халатовым и даже Сергеем Городецким. Ему кажется, что он своей деятельностью борется с Пикассо, Матиссом, Ван-Гогом, что он реалист, что он продолжатель Репина, он пишет брошюры, ведет дневник о своей борьбе за реализм, а в общем — из него вышел бы неплохой рисовальщик портретов для европейских иллюстрированных изданий.

С Радимовым он спаян гешефтами. Они всё что-то «организуют», «основывают», затевают — и все по общественной линии — и от всего им отчисляется какой-то барыш. Сейчас они оба взволнованы действительно диким поступком некоего идиота Михайлова, который в рисунке для выставки «Памяти Кирова» изобразил, как вожди наши стоят у гроба, а за ними — смерть в виде скелета. Что он хотел сказать этим, неизвестно, но этой смерти на выставке никто не заметил. Когда же она появилась в фотоснимке — зловредная идея художника сразу стала ясна — и Кацман на собрании правления Мосха заклеймил его как мерзавца. Мне же кажется, что это просто тупица, желавший выразить, подражая Беклину, какой великой опасности подвергают себя товарищи Кирова в окружении зиновьевцев. Впрочем, я не видел этого рисунка и судить не могу. М. б., и вправду это пошлая белогвардейская агитка.

24-го читал я во «Всекохудожнике» о Репине. Читал с огромным успехом — и главное, влюбил в Репина всех слушателей. На эстраде был выставлен очень похожий портрет Ильи Ефимовича, и мне казалось, что он глядит на меня и одобрительно улыбается. Но чуть я кончил, «Всекохудожники» устроили пошлейший концерт — и еще более пошлый ужин, который обошелся им не меньше 3-х тысяч рублей казенных денег. В этом концерте и в этом ужине потонуло всё впечатление от репинской лекции. Были Сварог, Кацман, Герасимов, m-me Уншлихт, Грабарь, Радимов, Антон Шварц и проч., и проч., и проч. «Всекохудожник» разослал всем специальные пригласительные билеты, где вместо Репина был изображен — ...Александр Вознесенский!!!

Я и не подозревал, что среда современных художников — такая убогая пошлость. Говорят: хорошо еще, что танцев не было.

На следующий день, 25/1 я обедал в «Национали» и встретил там Мирского. Он сейчас именинник. Горький в двух фельетонах подряд в «Правде» («Литературные забавы») отзывается о нем самым восторженным образом[3].

— Рады? — спрашиваю Мирского.

— Поликратов перстень[4],— отвечает он.

Мил он мне чрезвычайно. Широкое образование, искренность, литературный талант, самая нелепая борода, нелепая лысина, костюм хоть и английский, но неряшливый, потертый, обвислый и особая манера слушать: после всякой фразы собеседника он произносит сочувственно и-и-и (горлом поросячий визг), во всем этом есть что-то забавное и родное. Денег у него очень немного, он убеж-



*Рисунки Вл. Конашевича к «Сказкам» К. Чуковского. «*Academia*», 1935 г.*

денный демократ, но — от высокородных предков унаследовал гурманство. Разоряется на чревоугодии. Каждый день у швейцара «Национали» оставляет внизу свою убогую шапчёнку и подбитое собачьим лаем пальто — и идет в роскошный ресторан, оставляя там не меньше сорока рублей (т. к. он не только ест, но и пьет), и оставляет на чай 4 рубля лакею и 1 рубль швейцару.

В «Литературных забавах» Горького и в его пре с Заславским есть много фактич[еских] ошибок. Так, например, Белинского Горький объявил сыном священника и проч., и проч., и проч. Но в споре с Засл. Горький прав совершенно: «Бесы» гениальнейшая вещь из гениальнейших[5]. Заславский возражает ему: «Этак, вы потребуете, чтобы мы и нынешних белогвардейцев печатали». А почему бы и



нет? Ведь потребовал же Ленин, чтобы мы печатали Аркадия Аверченко «7 ножей в спину революции». Ведь печатали же мы Савинкова, Шульгина, генерала Краснова.

Я сказал об этом Мирскому. У него и у самого было такое возражение, и он обещал сообщить о нем Горькому.

После обеда мы поехали с ним на совещание в «Academia» — первое редакционное совещание после ухода Каменева. Приезжаем: никого. «По случаю смерти Куйбышева». Куйбышев умер!!! О! О! О!

28/I. Из-за похорон Куйбышева в Москве никаких редакционно-издательских дел. Я сдал в «Год XVII» и в «Academia» «Искусство перевода»,— и стал хлопотать о машине, чтоб уехать в Болошево. Лишь к 6 часам мне дали... грузовик.

Вышла «Солнечная». Печаталась целый год. Я сдал ее в ф[евра]ле прошлого года.

Здесь солидные профессоры играют в шарады: вышли три пузана и разом сказали Э. Это значит «Э разом», т. е. Эразм. Потом вышла профессорша, и кто-то потер ей дамский рот. Рот тер дамский (Рот[т]ердамский).

Другой профессор взял палку и стал совать ее между горшками цветов: не в растениях (неврастения).

Сижу и бьюсь с корректурой своих стихов для «Academia». Как отвратительны мне «Краденое Солнце», и «Лимпопо», и «Тараканище».

На Верхней Масловке есть новые многоэтажные здания, но — сколько еще старины, темноты. Спрашиваю у дворника, метущего улицы. «Где здесь телеграф?» — У нас такие не живут.— «Телеграф, понимаете? Те-ле-граф». Подошел другой дворник: «Телеграф? Эвона через дорогу, в аптеке». Я пошел туда, там оказался

телефон. К Кацманам пришел при мне 35-летний крестьянин — неграмотный.

31/I. Уезжаю из Москвы, ограбленный, морально изъязвленный.

Вчера в Колонном зале был детский утренник Маршака и Чуковского. Маршак не приехал, и Шварц вместо него читал Мистера Твистера. ⟨...⟩ Со мною в поезде едет Юрьев. ⟨...⟩ Разговорились. Юрьев сказал, что у него в Московской губернии есть конфискованное имение.— «Возвратим»,— сказал Енукидзе. Ему, Юрьеву, сообщили, будто бы сейчас Мехлис самолично, ни с кем не считаясь, начал кампанию против Горького: статья Заславского, статья Панферова[6]. Причем, статью Заславского Кольцов смягчил, а статью Панферова Мехлис усилил, вставив туда множество кусков от себя. Поведение Мехлиса одобрено свыше post factum.

По поводу назначения Бабочкина народным артистом Юрьев говорит:

— Вот тебе, Юрьев, и Бабочкин день!

— Три народных, да и то один самозванец: (Бабочкин играет Гришку Отрепьева).

— Три народные бабы: Корчагина, ... и баб-очкин.

12/II. 9-го были мы в Клубе им. Маяковского на Грузинском вечере. Приехали: Гришашвили, Эули, Табидзе, Паоло Яшвили, Пастернак, Гольцев и еще какие-то. Луговской сказал речь, где указывал, что юбилей Пушкина, кот. будет праздновать Грузия, и юбилей Руставели, котор. будет праздновать Советский Союз,— символизирует наше слияние. Грузины оказались мастерами читать свои стихи — особенно привела всех в восторг манера Гришашвили и Тициана — восточная жестикуляция, очень убедительная, от верхней стенки желудка к плечам. Когда вышел Пастернак, ему так долго аплодировали, что он махал по-домашнему (очень кокетливо) руками, чтобы перестали, а потом энергически сел. И читал он стихи таким голосом, в котором слышалось: «я сам знаю, что это дрянь и что работа моя никуда не годится, но что же поделаешь с вами, если вы такие идиоты». Глотал слова, съедал ритмы, стирал фразировку. Впрочем, читал он не много. Перед ним выступал Гитович, который читал чей-то чужой перевод — и заявил публике по этому поводу, что ему стыдно выступать с чужими переводами. Придравшись к этому, Пастернак сказал:

— А мне стыдно читать свои.

Тихонов читал хрипло и жестко. Аплодировали и ему. Имел успех Яшвили своими переводами из Пушкина. Были «все»: Слонимский, Зощенко, Форш, Тынянов. ⟨...⟩

Тынянов поправился, глаза смотрят весело. «Пишу о П[у]шк[ине], уже для четвертой книжки кончаю. В «Вазире» я тужился, а здесь я почувствовал, что л[итерату]ра мои штаны». ⟨...⟩

15/III. Меня пишет Игорь Грабарь. С трудом сижу ему каждый

день по 3, по 4 часа. Портрет выходит поверхностный и неумный', да и сам Грабарь, трудолюбивая посредственность с огромным талантом к карьеризму, чрезвычайно разочаровал меня. Мы читали во время сеансов «Историю одного города» — и он механически восклицает:

— Это чорт знает как здо́рово!

И все больше рассказывает, сколько ему стоил обед, сколько ему стоил ужин,— и норовит выудить из меня все материалы о Репине.

Сидим мы сегодня, калякаем, ему все не дается мой рот, и вдруг меня зовут к телефону — и сообщают по поручению директора ГИХЛа т. Орлова, что из Москвы пришло распоряжение задержать мою книжку «От двух до пяти» (пятое издание), т. к. там напечатан «Крокодил». Книжка отпечатана и должна выйти 17-го. Это Волин прочитал в газетах о включении в книжку «Крокодила» и, не видя книжки, распорядился задержать[8]. Получив такое известие, я, конечно, задрожал, побледнел, стал рваться в изд-во, чтобы узнать, в чем дело,— а Грабарь требует, чтобы я продолжал позировать и *улыбался бы возможно веселее.* Я уверен, что с моей книжкой произошло недоразумение, что ее разрешат, и все же — мне было так же трудно улыбаться, как если бы я сидел на железной сковороде. ⟨...⟩

20/III. Приехал в Москву. В «Национали» нет никаких номеров. Я оставил чемодан и к Бончу. Смертельно устал: в поезде, конечно, не спал (ехал вместе со Старком — который рассказывал мне, что он родом из Сочи, что он пишет книгу о Собинове и проч., и проч., и проч.) и теперь страдаю от бессонниц — бессонниц поневоле, потому что у меня шумные соседи, которые галдят от 9 веч. до 3 час. ночи,— т. е. как раз в то время, когда я обычно сплю. Сердце у меня переутомилось, и я не могу невыспанными мозгами понять тот небольшой фельетончик о Венгрове, который пишу для «Правды». ⟨...⟩

29/III. Была Барто: проведала, что у меня есть статейка для «Правды» о Венгрове, и пришла уговаривать, чтобы я не печатал ее. Говорит она всегда дельные вещи, держится корректно и умно — но почему-то очень для меня противна. Я имел наивность сказать Семашке, что готовлю статью о Венгрове для «Правды». Семашко пожал мне руку, поблагодарил меня за то, что я уведомил его заранее о своем намерении, а сам прямехонько поехал в «Правду» — просить Кольцова, чтобы он не печатал мою статью[9].

Венгров распространяет повсюду, что если моя статья появится, он застрелится.

Сейчас ко мне должны придти из «Коммунистического Просвещения» — я дам им ту же статью о Венгрове, но в более расширенном виде.

Звонил Гронскому. Моя статья о Репине принята для напечатания в «Новом Мире»[10].

1/IV. Мне пятьдесят три года. Но я по глупости огорчаюсь не тем, что я на пороге дряхлости, а тем, что вчера Кольцов, после трехдневной волокиты, отказался печатать мой фельетон о Венгрове. К нему приходила какая-то Лернерша (сослуживица Венгрова) и уговорила его не печатать фельетона. Мы решили отдать это дело на суд Мехлиса. Я пришел в «Правду». М[ехлис] внизу смотрит в собственном кино кинофильм «Колыма». Тут же присутствует Начальник Колымы — кажется, латыш[11]. Я оказался между Левиным и Герасимовой. Картина очень длинная. М[ехлис] не досмотрел ее и ушел. Я сказал Кольцову: идем за ним. Он удержал меня. Когда же картина кончилась, я просидел у М[ехлиса] в прихожей 2 часа, и он отказался принять меня. Это огорчает меня больше того, что мне 54-й год. С горя я пошел в Дом Печати на демонстрацию «Каштанки» театром Образцова. Играли чудесно — и подарили мне куклу. Но я пересидел свое время и всю ночь не спал.

Вчера утром я был у Юдина. Он — помощник Стецкого. Чистота в ЦК изумительная, все сверкает, все чинно и истово. Тишина. В идиллическом кабинетичке сидит «Поша» Юдин — и хлопочет по всем санаториям о том, чтобы Мариэтте Шагинян дали путевку в санаторию ЦК. Меня принял приветливо, запретил пускать кого-нибудь к себе в кабинет — и слушал очень сочувственно: я показал ему свои детские книги, как гнусно и неряшливо они издаются, указал на недопустимость задержки книги «Хуже собаки», *просил двинуть* «Тараканище», «Бармалея», «Лимпопо» — вообще излил свою душу. Он обещал все это дело двинуть.

Кольцов почему-то советует, чтобы я не видался с Пильняком.

1/IV. Странная у Пильняка репутация. Живет он очень богато, имеет две машины, мажордома, денег тратит уйму, а откуда эти деньги, неизвестно, т. к. сочинения его не издаются. 〈...〉

26/IV. Я уехал из дому — в Петергофскую гостиницу «Интернационал». Здесь оказались: Тынянов, Тихонов, Слонимский — вся литературная «верхушка». Тынянов расцеловался со мной, и я, встретив его, тотчас же спросил:

— Ну, сколько Пушкину теперь?

Он виновато ответил:

— Одиннадцать.

Тынянов сейчас пишет «Пушкина», и когда мы виделись последний раз, Пушкину в его романе было семь лет. Тынянов весь заряжен электричеством, острит, сочиняет шуточные стихи, показывает разных людей (новость: поэт Прокофьев). Мы обедали все вчетвером: он очень забавно рассказывал, как он студентом перед самым нашествием белых на Псков бежал в Питер, т. к. ненавидел белогвардейцев. Его не пустили, он пошел в Реввоенсовет. Там сидел Фабрициус и сказал Тынянову:

— Шляетесь вы тут! Тоже... бежит от белых... Да вы сами белый!

— Как вы смеете меня оскорблять! — закричал Тынянов, придя в бешенство, и Фабрициусу это понравилось. Ф[абрициус] выдал ему пропуск на троих. Это было рассказано высоко-художественно, в рассказ было введено 5—6 побочных действующих лиц, каждое лицо показано, как на сцене... Так же артистически рассказал Тынянов, как директор Межрабпома вызвал его к себе в гостиницу для переговоров о пушкинском фильме — и при этом были показаны все действующие лица вплоть до шофера и маленького сына директора.

Много разговоров вызвал у Тих[онова], Слон[имского] и Тынянова эпизод с Житковым.

У Житкова уже лет двенадцать тому завелась в Л-де жена — Софья Павловна, племянница Кобецкого, глазной врач. Бывая у него довольно часто, я всегда чувствовал в его семейной обстановке большой уют, атмосферу нежности и слаженности. Лида ездила к Житкову и его жене — «отдыхать душой», хотя я и тогда замечал, что Софья Павловна в сущности повторяет придурковато все слова и словечки Бориса, преувеличенно смеется его остротам, соглашается с каждым его мнением, терпеливо и даже радостно выслушивает его монологи (а он вообще говорит монологами),— словом, что это союз любящего деспота с любимой рабыней. Я хорошо помню отца Бориса Житкова. Он жил в Одесском порту, составлял учебники математики и служил, кажется, в Таможне. Лицом был похож на Щедрина — и уже 10 лет состоял в ссоре со своею женою, казня ее десятилетним молчанием. Она, удрученная этой супружеской казнью, все свое горе отдавала роялю: с утра до ночи играла гаммы, очень сложные, бесконечные. Когда, бывало, мальчиком, идя к Житкову, я услышу на улице эти гаммы, я так и понимаю, что это — вопли о неудавшейся супружеской жизни. Года три назад я заметил, что Борис Житков такой же пытке молчанием подвергает и свою Софью Павловну. За чайным столом он не смотрел в ее сторону; если она пыталась шутить, не только не улыбался, но хмурился,— и вообще чувствовалось, что он еле выносит ее общество. Потом Лида сказала, что она сошла с ума и что Житков очень несчастлив. По словам Лиды, она уже давно была сумасшедшей, но Ж. скрывал это и выносил ее безумные причуды, как мученик, тайком от всех, скрывая от всех свое страшное семейное горе. Причуды ее заключались главным образом в нелепых и бессмысленных припадках ревности. Если она замечала, что Ж. смотрит в окно, она заявляла, что он перемигивается со своей тайной любовницей. Если он уходил в лавку за молоком — дело было не в молоке, а в любовном свидании. По ее представлению, у него сотни любовниц, все письма, которые он получает по почте,— от них. Кончилось тем, что Житков поместил ее в сумасшедший дом, а сам стал искать себе комнату в Москве или в Питере. Все друзья очень жалели его. Я виделся с ним в Москве, он действительно был бесприютный, разбитый, обескураженный. И вот сейчас Слонимский рассказывает, что друзья Софьи

Павловны заявили в Союз Писателей, будто бы он упрятал ее в сумасшедший дом *здоровую,* будто в этом деле виноваты Шкапская, Груздев, Татьяна Груздева, помогавшие ему, Житкову. Союз не придумал ничего умнее, как передать это дело прокурору — то есть даже не пытаясь выяснить все обстоятельства, посадил своих членов на скамью подсудимых! Слонимский доказывал Тихонову, что Союз поступил неправильно, а Тихонов, который в сущности и совершил этот храбрый поступок, ссылается на то, будто все партийцы требовали именно таких мероприятий. Слонимский возражает не на основе этических принципов, а главным образом на том основании, что Шкапская и Груздевы хороши с Горьким, и Горький не даст их в обиду — и взгреет Союз. 〈...〉

Мы пошли все вчетвером к вагонам, где Николай II подписал свое отречение: эти вагоны превращены в Музей. Погода прелестная, солнце, Тихонов рассказал (как всегда) экзотический случай — как комендант какой-то крепости запер ее на ключ и ушел, и там все перемерли от чумы, а Слонимский жаловался на то, что Накоряков сбавил гонорары за повторные издания:

— Это все Горького работа... Горький судит о писателях по Ал. Толстому и не подозревает, как велика кругом писательская нужда!

Третьего дня с Тыняновым произошел характерный случай. К нему подошел хозяин гостиницы и спросил:

— Вы у нас до 1-го?

— Да... до первого,— ответил Т.

— Видите, мне нужно знать, т. к. у меня есть кандидаты на вашу комнату.

— А разве дольше нельзя? — спросил Тынянов.

— Ну, пожалуй, до третьего,— сказал хозяин.

Через минуту выяснилось, что это недоразумение, что Тынянов имеет права остаться сколько угодно, но он воспринял это дело так, будто его хотят выгнать... Лицо у него стало страдальческим. Через каждые пять минут он снова и снова возвращался к этой теме. Недаром акад. А. С. Орлов назвал его «мимозой, которая сворачивается даже без прикосновения». Очень зол на Мирского. Чудесно показывал, как Мирский прямо из Лондона приехал к нему и задавал ему вопросы: — Вы в университете? — Нет.— Вы в Институте Истории Искусств? — Нет.— Где же вы читаете лекции? — Нигде... и т. д. А потом оказалось, что он поместил за границей злейшую статью о Тынянове, где между прочим писал: «Отношение Т. к Советской власти отрицательно» или что-то в этом роде[12]. С такой же неприязнью говорит Тынянов о Евг. Книпович, выбранившей его переводы из Гейне. Очень обрадовал его заголовок сегодняшней (28. IV) газетной статьи: «Восковая персона».— Чорт возьми! Мой «Киже» вошел в пословицу, а теперь — «Восковая персона». В разговоре сегодня он был блестящ, как Герцен. Каскады острот и крылатых слов. Одна женщина в Тифлисе сказала ему:

— Как вы могли — не быть ни разу в Тифлисе и написать о нем роман?

Он ответил:

— А как вы можете — все время жить в Тифлисе и не написать о нем романа?

Заговорил о Некрасове и стал доказывать, что Горький и Некрасов чрезвычайно схожи.

Глянул на меня: «а вы совсем дедушка Мазай. А мы — зайцы».

Рассказывал, как ему один незнакомец принес рукописи Кюхельбекера — и продавал ему по клочкам. Читал наизусть великолепные стихи Кюхельбекера о трагической судьбе поэтов в России.

Слонимский доказывает, что Ал. Толстой — юдофоб.

29.IV. Для решения дела Житкова Тихонов и Слонимский решили вызвать сюда Беспамятнова и Горелова, а Шкапскую отрядить к Горькому.

Читаю «Дело Огарева» — Черняка. Потрясающе интересно.

В газетах: каждый беспартийный должен принять участие в животноводстве.

Слонимский. Вот, Юрий, дело для тебя.

Тынянов. У нас уже есть один Зое-техник — Козаков. (Женат на Зое Никитиной). ⟨...⟩

6/V. Вчера я выступал вечером в Педвузе им. Герцена — на вечере детских писателей. В зале было около $1^1/_2$ тысячи человек. Встретили бешеным аплодисманом, я долго не мог начать, аплодировали каждой сказке, заставили прочитать четыре сказки и отрывки «От двух до пяти», и я вспомнил, что лет 8 назад я в этом самом зале выступил в защиту детской сказки — и мне свистали такие же люди — за те же самые слова — шикали, кричали «довольно», «долой», и какими помоями обливали меня педологи,— те же самые, что сейчас так любовно глядят на меня из президиума.

Сегодня чорт меня дернул поехать на Проспект Села Володарского к сестрам Данько — скульпторше и поэтессе. Это страшная даль. Живут они в замызганной квартире — очень бодрой, труженической жизнью, лепят, пишут, читают (большая библиотека, много кукол, статуэток, рисунков, альбомов,— и пыли). Я никогда не был в том приневском районе и был поражен его поэтичностью. Нева в этих местах как-то наивна, задумчива; заводы, стоящие над нею, не мешают ее деревенской идилличности. [Вырваны страницы.— *Е. Ч.*] ...Любопытно: после того как Заславский поместил в «Правде» фельетон о моей «Солнечной»[13],— Семашко вместо «многоуважаемый» стал писать мне «дорогой» — и сообщил, что сверх плана они печатают:

— «Лимпопо» и «Котауси Мауси».

И Магидович, делавший мне столько каверз, тоже прислал сладчайшее письмо.

Ох, а книга моя о Некрасове не движется.

Вышла 3-я книга «Звезды» с Колиной «Славой». Хвалят. Лида уехала от нас — на Литейный. Пыпины заняли ту часть нашей квартиры, где родилась Мурочка, где я написал «Мойдодыра», «Книгу о Некрасове», «Ахматова и Маяковск.», «Муху Цокотуху»[14].

12/V. Вчера были у меня Харджиев и Анна Ахматова. Анна Андреевна рассказывает, что она продала в «Советскую Л-ру» избранные свои стихи, причем у нее потребовали, чтобы:

1. Не было мистицизма.
2. Не было пессимизма.
3. Не было политики.

— Остался один блуд,— говорит она. Харджиев только что проредактировал вместе с Трениным 1-й том Маяковского. Теперь работает над вторым. ⟨...⟩

19 декабря. Был вчера у Тынянова. Странно видеть на двери такого знаменитого писателя табличку:

Тынянову звонить 1 раз
Ямпольскому — 2 раза
NN — 3 раза
NNN — 4 раза

Он живет в коммунальной квартире! Ход к нему через кухню. Лицо изможденное. Мы расцеловались. Оказалось, что положение у него очень тяжелое. Елена Александровна больна — поврежден спинной хребет и повреждена двенадцатиперстная кишка. Бедная ж[енщи]на лежит без движения уже неск. месяцев. Тынянов при ней сиделкой. На днях понадобился матрац — какой-то особенный гладкий. Т. купил два матраца и кровать. Все это оказалось дрянью, которую пришлось выкинуть. «А как трудно приглашать профессоров! Все так загружены». Доктора, аптеки, консилиумы, рецепты — все это давит Ю. Н., не дает ему писать. «А тут еще Ямпольские — пошлые торжествующие мещане!» И за стеною по ночам кричит ребенок, не дает спать! Ю. Н. хлопочет, чтоб ему позволили уехать в Париж, и дали бы денег — в Париже есть клиника, где лечат какой-то особенной сывороткой — такую болезнь, которою болен Ю. Н. «У меня то нога отымается, то вдруг начинаю слепнуть».

Заговорили о Пушкинистах. «Цявловский вдруг сообщает мне, что у меня Блудов выведен неверно. Напрасно я сделал его богачом, он в ту пору был будто бы беден. Ложь! Блудов был беден до 1806 года, а потом стал получать по 50 тысяч в год на расходы!»

О Маршаке. «Ну что это за талмуд:

Что мы сажаем,
Сажая леса?

Так в хедерах объясняют детям:
«Сажая леса, мы на самом деле сажаем...»
И как неграмотно:

Мачты и реи — держать паруса.

Почему держать? И откуда это неопределенное накл[онение]? Когда читаешь Маршака, кажется, что читаешь исключения в латинской грамматике

А е с
I n t
ar ur us
Суть nertrius».

«А Ильин! Я ездил вместе с ним, с Маршаком, Фединым и Прокофьевым повидаться с Роменом Ролланом. Нас вызвали от Горького... Очень была любопытная встреча. А потом оказалось, что Маршак в качестве больного ч[елове]ка (это он-то болен!) захватил себе отдельный номер, а мне как здоровому (это я-то здоров) пришлось поселиться вместе с Ильиным. И тут я увидел, что Ильин — это и есть Поручик Киже. Ничего человеческого, никакой индивидуальности, никаких человечьих интересов. Кроме мыслей о карьере — ничего. Не человек, а ворох старых газет. Пришел ко мне бактериолог, брат Вени, замечательный ученый[15], и тот ему говорит: «Вы бактериолог, я тоже думаю заняться бактериологией». Он делает одолжение бактериологии, что займется ею. Потом оказалось, что он в этом деле совершенный профан — и вообще глубочайший невежда» и т. д., и т. д.

Рассказал Тынянов, как он был у Горького и виделся с Роменом Ролланом. «Ромен Роллан притворяется больным, но на самом деле он не больной, он — труп». Впечатление произвел чарующее. Спросил Тынянова: вы в каком роде пишете, как Бальзак или как Золя? — «Рассказы я пишу в духе Вольтера, а романы — в духе Жан Жака Руссо»,— ответил Тынянов. Это очень взволновало Ромена Роллана, и [он] прижал руки к грелке — живота у него уже нет, есть грелка — и заговорил, что и он сам... в молодости... вообще хорошо заговорил, взволнованно.

«Вообще в нем нет никакой пошлости. Он серьезно возражал против того, что у нас делают детей вундеркиндами — портят их всякими газетными хвалами, объявляют «юными дарованиями» и проч. Очень глубокий и *подлинный* человек.

Жена его жаловалась, что Аросев, пригласивший Ромена Роллана к себе в гости, не позаботился очистить постель от клопов, и первые две ночи бедный Роллан не заснул ни на миг. Сам Роллан не только не жаловался, а сделал попытку прекратить этот разговор. Горький же сказал:

— Аросев — совершенно глупый человек,— таким тоном, будто похвалил».

Тынянов проводил меня до́ дому — и по пути оживился, имитировал Маршака, «показывал» Горького, изображал Оксмана,

превратился на минутку в прежнего Тынянова. С радостью ухватился за мое предложение — уехать в Москву. Много говорил о Шкловском. «Мы опять помирились, и он прислал два замечательных письма... Я вам покажу... Это такая прелесть... ах, если бы издать Витины письма, все увидели бы, какой это писатель...»

В Москве я видел Ал. Толстого. ⟨...⟩

Видел Левина и Герасимову. Видел Эренбурга. Но так устал, что ничего записывать не могу.

Был сегодня в «Институте Слепых» — провел со слепыми детьми три часа.

1936 г.

1 января 1936 г. Лег вчера спать в 7 часов. Встал в три и корплю над ненавистным мне «Принцем и Нищим». Перевожу заново вместе с Колей. Коля взял себе вторую половину этой книги, я первую. В этой первой 96 страниц; работа идет очень медленно. Но все же сделано $82^1/_2$. Иная страница отнимает у меня полтора часа и даже больше. А во имя чего я работаю? Сам не знаю. Хочется писать *свое,* голова так и рвется от мыслей, а приходится тратить все дни на чорную батрацкую работу. И такой работы очень много. Чуть я кончу «Принца и Нищего», придется погрузиться в редактуру Некрасова, в редактуру Шекспира, в редактуру Репина, а когда же писать, чорт возьми! Почему из писателя я превратился в поденщика? Вот даю себе зарок на новый год — больше до самой смерти не брать никаких окололитературных работ, а только писать повести, статьи, стихи. Ведь это смешно сказать: сказки мои имеют огромный успех, а у меня уже 5 лет нет ни секунды свободной, чтобы написать новую сказку, и я завидую каждому, кто имеет возможность хоть и бездарно писать свое. ⟨...⟩

7 янв. Был у меня вчера Тынянов с Вен[иамином] Кавериным. Принес сборник своих рассказов и «Стихотворения» Гейне (изд. 1935). На Гейне подписался: проваленный кандидат в секцию переводчиков, т. к., по его словам, недавняя конференция перев[одчиков] в Москве подвергла его сильнейшим нападкам — постоянное его ощущение, что где-то против него ведут какую-то кампанию сплотившиеся враги. Я думаю, это у него от болезни. Лицо у него мученическое, изборождено тоской. Дома у него по-прежнему нехорошо. Он показывал в лицах всех докторов, которые лечат Ел. Ал. ⟨...⟩ В. Каверин упрекнул его, что он не дарит ему книг.— «Все свои книжки я дарю докторам. И если бы ты видел, с какими надписями!..» ⟨...⟩ Но потом Ю. Н. развеселился и показывал смешные эпизоды из жизни разных знакомых. Как в какой-то кабак в Кисловодске вошел Ал. Толстой, когда там сидела небольшая компа-

ния, в том числе Тынянов и Мирский. Тынянов считал Мирского твердокаменным, но [Толстой] вошел так важно и поглядел на всех таким «графским» оком, что тот вскочил: «разрешите представиться». Толстой подал ему два пальца. Теперь Тын. говорит о Толстом с ненавистью. Утверждает, что не станет с ним здороваться.

Говорили о поэтах. «Нет поэтов. Паст[ернак] опустошен и пишет чорт знает какую ерунду, напр. в «Известиях»[1]. От Ник. Тихонова — ждать нечего. В. потолстел. Жалуется на переутомление, но вид у него титанический». Между проч., рассказывал, что в доме у Горького он за столом сказал, что Маршак — неважный писатель. Все на него зацыкали, а жена сына Горького Тимоша сказала:

— А какой он чудесный человек, какой добрый, как любит детей.

Рассказывал о Томашевском: как Томаш. дурацки вел себя на конференции. Его спросили, почему он редактирует П[у]шк[ина]. Он ответил: «За это деньги дают», как Том. швырнул в Степанова корректурой Пушкина (к-рую Ст. принес ему на квартиру). ⟨...⟩ Много говорил Т[ынянов] о Горьком, котор. очаровал его сразу. «Горький человек безвольный, поддающийся чужому влиянию, но человек прелестный, поэтический, великолепный (и в жизни) художник».

Все, что говорит Тынянов, он говорит с аппетитом. Жизнь, поскольку она выражается в человечьих отношениях, в разных карьерах людей, в бытовых подробностях, ему страшно любопытна, как беллетристу. Просидели они у нас до $12^1/_2$. Мы с М. Б. пошли их провожать — и вот я не сплю до утра.

9 января. Третьего дня Желдин мне сказал, что 15/I в Москве совещание по детской книге. Большое совещание, созываемое по инициативе ЦК, и что я должен поехать. Когда же писать! Только что было совещание с Косаревым, потом Кино-Совещание, потом — по детской книге. Всякая поездка в Москву стоит мне года жизни, и узнав о предстоящей поездке, я уже перестал спать за 5 дней до нее. Вчера принял вероналу, а сегодня спасибо Бобочке, он меня зачитал. Утром я проснулся с чувством величайшей к нему благодарности.

11 января. Был у меня Квитко. В великолепном костюме, в европейском пальто. Читал замечательные стихи про медведя, обедал у нас. М. Б. больна: грипп. Был Фроман, взял взаймы 50 р. Я хочу, чтобы он переводил Квитку. Кв. зовет в Киев. Он любит советскую власть поэтично и нежно.

17 янв. Конференция детских писателей при ЦК ВЛКСМ. Длится уже два дня. Выехали мы 14-го. На вокзале собралась вся детская л-ра. Маршак в черной новой шапочке, веселый, моложавый. С ним по перрону ходят Габбе, Пантелеев, Ильин. Вот Лида, вот Т. А. Бог-

данович (ее провожает Шура), вот Тырса. Ждут Ал. Толстого, вот и он с женою. Но он едет не международным, а мягким — в межд. не было двух мест в купе, для него и для жены. Иду в вагон: Юрьев и Лили Брик. Юрьев, чуть только поезд тронулся, вошел в мое купе (я еду с Лебедевым В. В.) и стал занимать нас рассказами. Очень ругает новую гостиницу «Москва», к-рая только что открылась в Охотном ряду. «Номера,— говорит он,— плохи, прислуга грубая... Обошел всю гостиницу, не понравилась она мне. Потом дали мне книгу почетных посетителей, и я написал, что г-ца великолепна и что я в мире не видал таких гостиниц». Оказывается, это очень характерно для Ю-ва. В дальнейшем он заговорил о переводах Анны Радловой. «Плохие переводы. Стесняют актера, связывают его по рукам и ногам. Особенно перевод «Отелло». «Но я все же играю в ее «Отелло» — иначе нельзя, пресса заругает, замалчивать начнут...»!!!

Принципиальный артист!

Лили Брик рассказывает подробно, как она написала Сталину письмо о трусливом отношении Госиздата к Маяковскому, что М-ого хотят затереть, замолчать. Написав это письмо, она отложила его на 3 недели. Но чуть она передала письмо, через два дня ей позвонил по телеф. т. Ежов (в Ленинград): не может ли она приехать в Москву.— «4-го буду в Москве».— «Нельзя ли раньше?» Я взяла билет и приехала 3-го. Меня тотчас же принял Е.— «Почему вы раньше не писали в ЦК?» — «Я писала Стецкому, но не получила ответа».— «Я М-ского люблю,— сказал Ежов.— Но как гнусно его издают, на какой бумаге».— «На это-то я и жалуюсь».

«Я знала, что Сталин любит Маяковского. Маяковский читал в Б[ольшом] Театре поэму «Ленин». Сталин хлопал ему, высказывал громко свое восхищение. Это я знала. Но все же было жутко. Я боялась: а вдруг направит дело к Малкину. Но меня направили к Талю, и с ним я говорила больше часу»[2].

В поезде Лебедев, которому сейчас 45 лет, делает гимнастику. Для укрепления мускулов живота и проч. Любовно говорит о боксе. Везет своей Саре финский хлеб, купленный где-то на аукционе в таможне, и молоко Нестле.

Подошел к нам М. Ильин. Рассказывает анекдоты. Недавно к его знакомому советскому доктору привезли девочку Марию Антуанетту (!!?).

— Почему вы назвали ее Марией Антуанеттой? — спросил он у ее матери.

— А я увидела в календаре строчку: «Казнь Марии Антуанетты» и решила, что она революционерка была.

По приезде в «Националь» я позвонил Цыпину. Он сразу затараторил: «Уверяю вас, что партия на моей стороне. Ленинград хитрит и мутит. Знаете ли, что Желдин принял меры, чтобы Алексей Толстой не приезжал на совещание, и прислал мне телеграмму: «Толстого в Ленинграде не найти». Я тогда послал телеграмму Толстому от себя, и Толстой приехал. Комсомольцы хотят, чтобы

Толстой выступил. Маршак будет делать небесный доклад без конкретностей. Мы устраиваем совещание в ЦК комсомола, чтобы ясно было, что это партийное совещание. Приглашено 135 человек».

Ну вот мы 135 ч-к собрались. Забіла. Квітко. Барто. Копыленко. Браун. Конашевич. Житков. Разумовская. Оболенская.

Доклад Цыпина. Начало очень хорошее. Перечисление писателей, которые в последнее время не пишут. Ругает Наркомпрос. Десять лет упущено.

Появляется Косарев. Аплодисменты.

Самое удивительное — Венгров. Я бил его смертным боем и в «Литературной Газете», и на своем выступлении в ЦК комсомола. И когда потом говорил о нем злые вещи — все же жалел его, и теперь, когда встретил здесь, на конференции, очень смутился и был уверен, что он не подаст мне руки. А он вдруг стал лебезить, юлить, подбежал ко мне, сказал, что «Мурзилка» ждет моего сотрудничества, что она поместила где-то мой портрет, что Квитко действительно замечательный мастер, что я в своем выступлении совершенно верно заметил о том и том-то — и проч., и проч., и проч. Последняя степень душевного ничтожества; полнейшее отсутствие достоинства. Когда Лида говорила о Пантелееве — что у Пантелеева есть выражение: морда, он крикнул:

— *Жидовская* морда.

Как будто у Пантелеева это выражение — от автора!!! 〈...〉

Мне пришла в голову великолепная тема детской книги, в ней должна вылиться моя жаркая любовь к советскому ребенку — и сквозь этого ребенка — к эпохе. Я уже четыре года собираю для этой книги материалы, и только сейчас под впечатлением беседы с Косаревым осмыслил эту тему до конца.

Косарев — обаятелен. Он прелестно картавит, и прическа у него юношеская. Нельзя не верить в искренность и правдивость каждого его слова. Каждый его жест, каждая его улыбка идет у него из души. Ничего фальшивого, казенного, банального он не выносит. Какое счастье, что детская л-ра наконец-то попала в его руки. И вообще в руки Комсомола. Сразу почувствовалось дуновение свежего ветра, словно дверь распахнули. Прежде она была в каком-то зловонном подвале, и ВЛКСМ вытащил ее оттуда на сквозняк. Многие фальшивые репутации лопнут, но для всего творческого подлинного здесь впервые будет прочный фундамент.

Хочется делать в десять раз больше для детской литературы, чем делали до сих пор. Я взял на себя задание — дать Детиздату 14 книг, и я их дам, хоть издохну.

О совещании не записываю, так как и без записи помню каждое слово. То, за что я бился в течение всех этих лет, теперь осуществилось. У советских детей *будут превосходные книги*. И будут скоро. 〈...〉

27/I. Сегодня должна была вторично собраться редакция по изданию *академического Некрасова*. Впервые мы собрались третьего

дня: Лебедев-Полянский, Мещеряков, Кирпотин, Лепешинский, Эссен и я на квартире у Эссен. Специально выписали из Л-да Евг.-Максимова. Да, был еще и Заславский. У всех этих людей в голове есть одна идейка: не изображать Н.— боже сохрани — народником, потому что народники, по разъяснениям авторитетных инстанций,— не такие близкие нашей эпохе люди, как думалось прежде. То обстоятельство, что Н. б[ыл] поэт, не интересует их нисколько, да и нет у них времени заниматься стихами. Я выступил, сказал, что я белая ворона среди них,— т. к. для меня Н. *раньше всего поэт*, который велик именно тем, что он — мастер, художник и проч. А если бы Некр. высказывал те же убеждения в прозе, я никогда не стал бы изучать его и любить его. Настаивал на включении во все наши будущие предисловия и крит[ические] статьи — указаний на это — незамеченное ими — обстоятельство. Отнеслись не враждебно, хотя некоторая холодность в отношении ко мне была. Выделили комиссию: меня, Евг.-Максимова и Эссен для обсуждения количества томов, их состава и проч. Комиссия эта была вчера у меня — мы работали долго и упорно. А сегодня оказывается, что: 1. Кирпотин уехал неизвестно куда. 2. Лебедев-Полянский занят. 3. Мещеряков занят. 4. Лепешинский уехал — и заседание коллегии откладывается. ⟨...⟩

Тут в Москве Тынянов, звонил ко мне два раза (один раз так: давайте пойдем в театр на «Далекое») — и вечером пришел. Много говорил о своих семейных горестях. «Только вам говорю: мне так жалко Леночку, что я другой раз готов заплакать. Бедная! Все ее надежды на выздоровление рухнули. У нее уже заболела верхняя часть позвоночника».

Через 2 недели Тынянов едет на 2 месяца в Париж.

Все устроено. Остановка за валютой. Ехать он не хочет («Страшно Леночку оставить»), но ехать нужно, так как болезнь его растет. Несмотря на болезнь, он написал в Петергофе за 10 дней целый печатный лист о Пушкине, «и здесь, в Москве, помаленьку пишу». «У меня странная литературная судьба: своего Кюхлю я написал без материалов — на-ура, по догадке — а все думали, что тут каждая строка документальна. А потом когда появился роман, я получил документы». И он перешел на свою любимую тему: на Алексея Толстого.

— «Алексей Толстой — великий писатель. Потому что только великие писатели имеют право так плохо писать. Как пишет он. Его «Петр I» — это Зотов, это Константин Маковский. Но так как у нас вообще не читают Мордовцева, Всев. Соловьева, Салиаса, то вот успех Ал. Толстого. Толстой пробовал несколько жолтых жанров. Он пробовал жолтую фантастику («Гиперболоид инженера Гарина») — провалился. Он попробовал жолтый авантюрный роман («Ибикус») — провалился. Он попробовал жолтый исторический роман — и тут преуспел — гений!»

Сидел он у меня долго — и я из-за этого не сплю всю ночь. Приходили при нем Натан Альтман и Квитко.

Лидина речь сегодня отлично напечатана в «Комсомолке». А моя — в «Литературке»[3]. Сердце родительское радуется.

Очень нездоров. Измучила меня эта зима. ⟨...⟩

Лебедев-Пол[янский], Кирпотин, Мещеряков и Заславский все время сообщали Евг.-Максимову и мне, что они никак не могут собраться, никакого времени не имеют, и потому Евг.-Максимову пришлось вернутся в Л-д ни с чем. Оказалось, что они покуда держали тайный совет, как им быть. И надумали: не давать мне редактировать стихи Н-ва, и Максимову не давать редактировать письма, а сделать так: стихи выходят под редакцией Мещерякова и моей, письма под редакцией Лебедева и Евг.-Максимова. Я застиг их четырех в Гослитиздате: они прямо (и очень учтиво) предъявили мне свои требования. Сущность этих требований сводится вот к чему: я буду редактировать Некрасова, а Мещеряков будет редактировать меня. Но в таком случае так дело и нужно изобразить, а не выдумывать, будто мы оба редактируем Некрасова. Я так и сказал им и теперь не знаю, как быть. К сожалению, по болезни мне пришлось спешно уехать в Ленинград — и я не мог посоветоваться в ЦК.

2 февраля. Вчера вечером позвонили от Главного начальника политической милиции: когда он мог бы меня посетить. Говорили каким-то угрожающим тоном. Я страшно взволновался. Уж не натворила ли чего-нибудь Лида? Не поссорилась ли она с Детиздатом? Чорт знает какие мысли лезли мне в голову. Всю ночь, чтобы успокоиться, держал корректуру книги «От двух до пяти» (6-е издание). Прокорректировал 14' листов. Весь день ни на секунду не заснул, и лишь к 6 часам обнаружилось, что начальник хочет, чтобы я... написал... детскую книжку о милиции. Утешившись, я заснул в 7 час. вечера и сегодня — **3/II** проснулся в половине четвертого. До 9 часов корпел над «Принцем и нищим». Зато выкарабкиваюсь из-под этой работы. 80 страниц уже отделано окончательно.

9/II. Ужасную вещь сделал со мною Коля, сам того не подозревая. Мы решили вдвоем перевести «Принца и нищего»: я первую половину, он вторую. Работа эта нудная, путавшая все мои планы. Она отняла у меня два месяца, самое горячее время. И главное: перевод выходит не первоклассный, не абсолютный. Хочется писать свое; хочется думать свои мысли, а тут приходится часами просиживать над одной какой-нибудь фразой. Когда я сделал свои 101 страницу, я чуть не подпрыгнул до потолка: теперь могу вздохнуть свободнее. Но в это время Коля принес свою половину!!! С первого взгляда мне показалось, что перевод превосходный. Иные страницы действительно очень неплохи, но боже мой — когда я вчитался, оказалось, что половину Колиного перевода нужно делать заново. Никакого другого выхода нет. Надо сделать, мы и так запоздали. И вот я сижу несколько суток, почти без сна и делаю эту посты-

лую работу. Сейчас кончил ее вчерне, в девять часов утра. Последние 10 страниц особенно трудны. Похоже, что переводчик даже не глядел в подлинник! Я Колю не обвиняю. Он пишет роман, для него «Принц и нищий» — обуза, но зачем же сваливать эту обузу на мои плечи? Как будто у меня нет романа, к-рый я хотел бы написать. ⟨...⟩

14/II. Сейчас позвонил мне Маршак. Оказывается, он недаром похитил у меня в Москве две книжки Квитко — на полчаса. Он увез эти книжки в Крым и там перевел их — в том числе «тов. Ворошилова», хотя я просил его этого не делать, т. к. Фроман уже месяц сидит над этой работой — и для Фромана перевести это стихотворение — жизнь и смерть, а для Маршака — лишь лавр из тысячи. У меня от волнения до сих пор дрожат руки. ⟨...⟩

17/II. Вчера позвонил Алянский и сообщил, что в «Комсомольской правде» выругали мой стишок «Робин Бобин Барабек». Это так глубоко огорчило меня, что я не заснул всю ночь. Как нарочно, вечером стали звонить доброжелатели (Южин и др.), выражая мне свое соболезнование.

— Прекрасные стихи, мы читаем и восхищаемся,— говорят в телефон — но мне это доставляет не утешение, а бессонницу.

Вчера первый раз выходил на улицу (мороз!!) — был в школе первой ступени, преобразованной из церкви (Кирочная, против Знаменской). Читать было очень трудно, так как все звуки уходили под купол и в корридоры, ведущие в зал, но дети изумительно милые, любящие, затормошили меня своей лаской. Я читал им так много, что сорвал голос. (Горло вообще болит.)

Написал фельетон о Квитко — неважный и поверхностный[4].

Сегодня, кажется, начинают *печатать* мою книгу «От двух до пяти». Лида больна гриппом. Коля тоже.

Сегодня М. Б. купила картину Коровина.

21/II. Вчера нагрянул на меня Цыпин. Очень сладко и любовно предложил мне выбросить из программы несколько моих книжек. «Нельзя. Нельзя. По настоянию Ц. К.». Он ожидал отпора с моей стороны. Но я сказал: сделайте одолжение. ⟨...⟩

Тут пришла Сафонова и принесла рисунки к Айболиту. Рисунки удались ей очень: в них много *литературной* выдумки, они не торчат в стороне от книги, а прочно спаяны с ней, придают книге много женского уюта и тепла. Но Ц[ыпи]ну главным обр. понравился модный теперь реализм. «Вот что нам надо!» — закричал он (т. к. ЦК требует у него теперь реализма). От радости он сразу удвоил гонорар Сафоновой, дал вместо 50 рублей за каждый рисунок — 100 рублей, а рисунков там будет около сотни.

Потом пришел Алянский. Цыпин рассказал, что решено ликвидировать ленинградскую редакцию и очень скоро: сюда назначается некий Светлов, редактор газеты в Иваново-Вознесенске, кото-



Ю. Васнецов. Обложка сказки К. Чуковского «Краденое солнце», 1936 г.

рый прибудет сюда через неск. дней, он должен с течением времени отстранить Маршака от редакционной работы. 〈...〉

22/II. 〈...〉 С Цыпиным и Алянским был вчера в Петергофе у Конашевича. Рисунки для детей у Конашевича по-прежнему посредственные, но его этюды (виды из окна) изумительны — особенно те, что на японской бумаге. И портреты. Но чудак-Конашевич все это добро держит под спудом — чорт знает где — в комоде — и не выставляет. 〈...〉

25/II. ⟨...⟩ Великолепную вещь предложила мне редакция Детиздата. Собрать любовные песни, романсового типа — для подростков, чтобы отбить у них охоту от цыганской пошлятины. Я с радостью выбираю у Фета, у Полонского, у Анны Ахматовой, у Бориса Корнилова. У каждого лирика. Ничего нет у Мея, хотя я перелистал его из строки в строку.

22/III. Я в Петергофе. Работаю над Репиным — над своей статьей о нем, к-рая кажется мне и фальшивой и плоской. Нужно как-то расцветить, усложнить, обогатить. 20-го выступал в Союзе Художников. Совершенный позор: собралось человек до двухсот — невежественных до последней степени и плохо рисующих. Считалось, что я буду [оторвано несколько строк.— *Е. Ч.*]... что зря я прервал свой отдых в П[етерго]фе, зря так долго готовился к этой лекции (я даже гулять не ходил, обед подавали мне в комнату, и я даже во вр[емя] обеда писал), что то слово «художник», которое до сих пор было полно для меня чарующего смысла,— теперь наполнено иным содержанием. Даже Бродский по своей духовной организации выше, сложнее, культурнее их. Даже Сварог перед ними — Рембрандт. И в этом нынешнем походе на Лебедева, на Тырсу и проч. все дело вовсе не в линии ЦК, а в том, что вся основная масса середняков-художников, в сущности, бездарные мазилки —

Без божества, без вдохновенья.

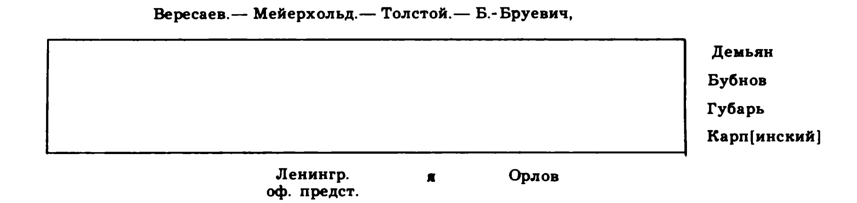
10/IV. Третьего дня получил приглашение, подписанное Бубновым, явиться в Кремль для обсуждения предстоящих пушкинских торжеств. Это ударило меня, как обухом: был занят Репиным, отделывал своего «Медведя», составлял «Лирику», редактировал 2-й том Некрасова — все это к спеху — и вдруг нà тебе. Хотели мы ехать с Марией Борисовной, но т. к. 10-го IV предполагалось открытие Комсомольского X-го Съезда, оказалось, что номеров не достать ни в одной гостинице, и М. Б-на побоялась ехать. [Низ страницы отрезан.— *Е. Ч.*] ...Еду. Со мной ак. Державин. «Севастьяныч». Он оказался обывателем густопсовым: сейчас же рассказал, что получает он «за разными вычетами» 500 р. в месяц акад. гонорария, да столько-то имеет от своих лекций в у[ниверсите]те, но автомобиль обходится ему оч. дорого («300 р. в месяц на чаи шоферам»), а вот эти ботинки я купил в ЧехоСловакии, шавровые — швейц. фирмы, дал 12 р. золотом — огромные деньги! и когда я возвращался из магаз[ина] с коробкой, все уважали меня, т. к. коробка свидетельствовала, что я покупаю обувь в сам[ом] дорогом магазине. (Почему же он не ходит всю жизнь с коробкой?) Хочет ехать в Болг[арию], хлопочет об этом, но излагает свои намерения так: ненавижу болгарскую буржуазию, и ехать мне страшно не хочется, но... надо... ничего не поделаешь.

Ак. Орлов насмешлив, кокетлив, говорит преувелич. народным русским языком, как будто ставит слова в кавычки. Держ. взял было меня под свое покровительство: «Садитесь в мою машину, но не

забудьте дать 5 р. моему шоферу», но Орлов спас меня от этого покровительства и подвез меня к «Национали». В «Нац.» оказался свободным № 132. Я не спал в вагоне ночь (Севастьяныч храпел 8 час. подряд на все лады, словно в магазине: богатый выбор всевозможных храпов: не угодно ли такой? или вот такой? — у него этих храпов огромный запас, он ни разу не повторился). Я пошел даже не умываясь в Детиздат. И там Цыпин мне сказал, что для меня готов билет на Съезд, т. к. предполагают, что я выступлю на Съезде,— вернулся я в номер, спал от 4 до $7^1/_2$. Проснулся, поработал над корректурой Робинзона и — *заснул* опять. Лег в 11, встал в 5 час. Небывалое счастье, неожиданное... ⟨...⟩

С новым портфелем (кот. я купил в Мосторге) иду к Кремлю. Издали вижу Севастьяныча. В качестве чичероне Эфрос. Он тут бывал, все знает, хлюпаем по лужам — и вот мы уже в длинном зале заседаний Совнаркома. Уютно и величественно. Портреты Ленина и др. вождей... Буден[н]ый, Куйбышев... Пушкин. Целый ряд подлинных Пушк. реликвий по стенам. Павел Тычина, Янка Купала, Мейерхольд... Ведомый своей престарелой дочерью, девяностолетний Карпинский. Москвичи группируются возле Розмирович. Ко мне подходит Демьян Бедный и говорит, что «Искусство перевода» замечательная книга.— «Бывают же книги — умнее авторов. Вы и сами не понимаете, какую умную книгу написали».

Мы садимся. Мой край стола такой:



Таким образом я оказался против Толстого, Мейерхольда и Демьяна. Д. настроен игриво и задорно.— Зачем вы печатали стихи Некр. «Муравьеву», когда они написаны не Н-вым?

— А вы зачем печатали «Светочи», если они заведомо принадлежат не Н-ву?

Демьян смущен: «Я никогда не считал, что «Светочи» написаны Некрасовым (!?), я видел тут только литературоведческую проблему».

Ленинградцев ущемляют в отношении юбилея. Толстой острит:

— Нам остается одно: привести в порядок Черную Речку!

Тут говорит Межлаук, холеный, с холеным культурным голосом. Нападает на акад. издание: «Нужен Пушк. для масс, а у нас вся бумага уходит на комментарии».

Накоряков приводит какие-то цифры, которые я слушаю плохо,— потом выступает какой-то седой из аппарата Межлаука и разбивает Накоряк. вправ. Н. стушовывается.

Ленинградцы с места во время доклада Розмирович о том, как устраивать чествование Пушк. в маленьких городах:

— Например, в Л-де... Город маленький и к Пушк. не имел никакого отношения.

Толстой в это вр[емя] рассматривает Евг. Онегина и возмущается иллюстрациями Конашевича:

— Плохо... Без-гра-мотно. Говно! — говорит он вкусным, внушительным голосом. Бонч поддакивает. В сущности *волнуется* один лишь Цявловский. Горячим, громким голосом, которого хватило бы на 10 таких зал, сообщает о всех мемориальных досках и местах увековечения Пушкина. Кипятится, кричит, лицо красное:

— *К нашему счастью*, этот старый флигель сохранился... К *нашему глубокому горю*, от этого мезонина и следа не осталось...

Аудитория не чувствовала ни горя, ни счастья. Ленинградцы довольно вяло отстаивали свои права на устройство пушкинск. торжеств именно в Ленинграде.

— Убивали там! — крикнул Демьян и выступил со своим проектом Пантеона. Нужно перенести прах Пушк. в Москву и там вокруг него образовать Пантеон русских писателей. Неожиданно Мейерхольд (который до сих пор был ругаем Демьяном нещадно) начинает ему поддакивать:

— Да, да! Пантеон, Пантеон... Великолепная мысль Демьяна... Да... да... Непременно Пантеон.

Толстой: Пантеон надо делать в Казанском соборе.

Я вглядываюсь пристальнее. Лежнев... Стецкий... Горбунов (непр. член Ак. Н.) — Щербаков. Толстой говорит о нем:

— Кролик, проглотивший удава. (Не знаю почему. Не потому ли, что лицо у него каменное. Т. жалуется: не могу глядеть на него: парализует)...

Когда я уходил из Кремля, две контролерши, выдавшие нам билеты, вдруг зарделись и заговорили свежими неофициальными голосами.

— Ах, какие вы пишете сказки! Не только маленьким они нравятся, но и взрослым...

Сейчас в «Национали» живет какой-то монгольский министр. Я спросил у лакея, прислуживавшего ему за столом, дал ли ему министр на чай. Лакей ответил:

— Прилично реагировал!

Этот же лакей со злобой говорил мне, что гостиница «Москва», о кот. столько кричали, уже разрушается, потолки обсыпаются, штукатурка падает и проч. (Все это оказалось ложью. Я в тот же день был в «Москве» — гостиница весьма фундаментальная.) «Националь» — «конкурентка» «Москвы» и потому ругает ее на чем свет стоит:

— Руки надо отрезать тому, кто строил эту гостиницу, и голову тому, кто ее принял.

Ездил в Сокольники с Янкой Купалой. Тихий, скромный, приятно-бесцветный человек. Показывал мне письмо Валерия Брюсо-

ва, которое он получил в 1914 году, когда Брюсов был военным корреспондентом. «Ваши стихи подлинные»,— писал ему Валерий Брюсов и тут же приложил 3 перевода его стихов, сделанных в один день. Янка Купала — очень рассеян. Принес мне это письмо и забыл у меня на столе. Пришел за ним и забыл книжку. Пришлось придти в третий раз за книжкой. Был он на вечере «Памяти Маяковского». В восторге от Яхонтова. Мы в Сокольниках познакомились с одной мамашей (с двумя детьми), которая вдруг сказала мне: «вы такой волнительный». На Съезде видел Корнейчука. Он рассказывает, что в Праге видел Малько, кот. сказал ему: «Я еще с вашим отцом был знаком — с Корнеем Чуковским».

16/IV. Сегодня утром на съезде ВЛКСМ слушал речь Косарева. К сожалению, он начал ее в 11 часов, а кончил в $11^3/_4$, так что все поздно встающие гости проспали ее. Цыпин, Корнейчук, Борис Пастернак, Александрович (белорусский поэт), Леонов пришли через пять минут после окончания речи.

Получил от М. Б. телеграмму: простудилась, больна.

Пишу доклад для Съезда. Волнуюсь.

22/IV. Вчера на съезде сидел в 6-м или 7 ряду. Оглянулся: Борис Пастернак. Я пошел к нему, взял его в передние ряды (рядом со мной было свободное место)[5]. Вдруг появляются Каганович, Ворошилов, Андреев, Жданов и Сталин. Что сделалось с залом! А *ОН* стоял, немного утомленный, задумчивый и величавый. Чувствовалась огромная привычка к власти, сила и в то же время что-то женственное, мягкое. Я оглянулся: у всех были влюбленные, нежные, одухотворенные и смеющиеся лица. Видеть его — просто видеть — для всех нас было счастьем. К нему все время обращалась с какими-то разговорами Демченко. И мы все ревновали, завидовали,— счастливая! Каждый его жест воспринимали с благоговением. Никогда я даже не считал себя способным на такие чувства. Когда ему аплодировали, он вынул часы (серебряные) и показал аудитории с прелестной улыбкой — все мы так и зашептали. «Часы, часы, он показал часы» — и потом расходясь, уже возле вешалок вновь вспоминали об этих часах.

Пастернак шептал мне все время о нем восторженные слова, а я ему, и оба мы в один голос сказали: «Ах, эта Демченко, заслоняет его!» (на минуту).

Домой мы шли вместе с Пастернаком и оба упивались нашей радостью...

На съезде все эти дни бывала Н. К. Крупская. Наши места оказались рядом. Мы разговорились. Она пригласила меня к себе побеседовать. Очевидно, хочет загладить свою старую статью о моем «Крокодиле». А мне хочется выложить ей — все, что у меня накипело по поводу преподавания словесности в школе. Бубнов и она воображают, что в этом деле виноваты какие-то «методы». Нет, в этом деле раньше всего виноваты они, Б. и милая Н. К. — винова-

ты тем, что у них-то у самих нет подлинной внутренней любви к поэзии, к искусству.

Идиотская канитель с Мещеряковым. Месяца 2 назад я написал ему письмо, по его же просьбе: он предложил мне вступить с ним в некрасоведческую переписку: написал ему письмо, а он не ответил. Теперь дня 2 назад он позвонил: простите, что не ответил. Просто не умею писать письма (?!), давайте теперь сговоримся, я уверен, что мы поладим. А поладить мы должны вот насчет чего: чтобы я дал свои тексты Н-ва и свои комментарии к Некрасову, то есть проредактировал бы самого Н-ва, а он даст свою вступительную статью (слабую), и это будет называться под редакцией *Н. Мещ [ерякова] и К. Чуковского.* 〈...〉

Июнь. Чорт меня дернул поселиться в Сестрорецком Курорте. Жарко раскаленная крыша моей комнаты,— невозможно не только заниматься, но и высидеть 5 минут. Дамочка размалеванная («я ваша почитательница») говорит за столом:

— Вы, должно быть, ужасно любите детей. Сколько замечательного вы пишете о них.

Я из ненависти к ее фальшивым ужимкам говорю:

— Нет, я терпеть не могу детей. Мне на них и смотреть противно.

— Что вы! Что вы!

— Верно вам говорю.

— Почему же вы пишете о них?

— Из-за денег.

— Из-за денег?!

— Да.

И она *поверила* и рассказывает кому-то на пляже: «Ч[уковский] ужасный циник».

Между тем дети здесь поразительные. Дети сторожа — украинца. Их у него с полдюжины... Или больше? Очень бедны, но ни под каким видом не принимают от нас никаких угощений: гордые. Я купил малины и сказал: кто вычистит эту малину для меня, получит в награду половину. Они малину мне вычистили, но от своей доли отказались. Даже крошечная девочка, если суешь ей пирожное, ни за что не хочет взять: «спасибо, не хочется». Все шестеро (или семеро? или восьмеро?) ютятся в сарайчике — без окон — но веселы, опрятны, полны украинской приветливостью и советского самоуважения. Ни тени сервилизма.

С тех пор как я познакомился с этими детьми (есть еще дочь повара и милая, худая, начитанная дочь заведующего) для меня как-то затуманились все взрослые. Странно, что отдыхать я могу только в среде детей. 〈...〉 Только что узнал, что умер Горький. Ночь. Хожу по саду и плачу... и ни строки написать не могу.

Бросил работу... Начал было стихи — о докторе Айболите — и ни строчки. Как часто я не понимал А. М-ча, сколько было в нем поэтичного, мягкого — как человек он был выше всех своих писаний.

Август 3. Я у милого Квітки. С 28 июля. После московских неудач и тревог как радостно было очутиться в атмосфере любви — среди чистосердечных людей, относящихся к тебе с братским участием. В Киеве я был уже однажды — в 1908 году, но ничего не помню (только конфеты Балабухи, которыми я объелся до рвоты и о которых до сих пор не могу думать без мути). Вчера с Антоном Григорьевичем (председатель Спілки Радянських Письменників), с Квіткой и Іваненко мы были в ЦК у Ник. Ник. Попова, и он сказал нам, что дело с урожаем очень плохо, т. к. жара стоит на Укр[аине] небывалая, но земледелие за эти годы поднялось на такую колоссальную высоту, что голода не будет; все будут сыты. Между тем как лет пять назад такая засуха означала бы голод. Засуха, и правда, ужасная. Я ездил вчера на Ирпень и видел целые гектары погибшей картошки. Как чудесно она прополена, сколько труда уложили в нее — и бездождие сгубило ее всю. Днепр обмелел как никогда. Его берега, обычно столь зеленые, теперь голы и желты. Плачевно выглядит из-за жары пионер-лагерь в Ирпене. Ни одной клумбы, ни одного кустика. На тех клумбах, которые были приготовлены для цветников,— жестянки и камушки разложены узорами. А надпись «Загін ім. В. І. Чапаева», которую следовало бы сделать на земле из цветов, сделали при помощи мелкого толченого угля. ⟨...⟩

7 августа. Ездил вчера в Ворзель — на открытие нового пионерского лагеря. Там же видел Комбинат Охматдета — для подкидышей. В голодное время в 1933 году подкидышей было множество. На Крещатике их дюжинами подбирала милиция. В январе было решено открыть для них нечто вроде приюта. Д-ру Городецкому поручили в двухмесячный срок оборудовать этот приют. Он взял 12 домов — и 26 марта туда привезли 500 детей — с большими животами, с кривыми ногами, с глистами во рту, с безбелковыми отеками. Многие тут же умирали. Казалось невероятным, что останется в живых хоть один. Многих привозили в кори, в коклюше, в дифтерите. «Хотелось бежать от них куда глаза глядят»,— говорит Городецкий. А теперь... пухлые «буржуйские» дети, в нарядных платьях, в бантиках. ⟨...⟩ Им не говорят, что это — приют для подкидышей. Они уверены, что живут в санатории: «приедет мама и возьмет меня домой». И мамы действительно являются. За $^1/_2$ года из «санатория» увели 30 детей: усыновили. Я видел нескольких мужчин и «жен ответственных работников», напр., Сапову, у к-рой есть мальчик, она хочет девочку, которые приехали из Киева выбирать себе «родных» детей из Комбината. Долго примериваются, вглядываются, возьмут на руки то одного, то другого. Дети тоже примериваются, выбирают родителей. Если их хочет усыновить небогатый, они говорят: «не пойдем: не на машине приехал». К Жене Ветровой пришла плохо одетая мать. Женя спряталась: я хочу себе другую маму. Усыновление производится тайно. Когда привезут к себе домой приютского ребенка, говорят: у мужа был в молодости грех, это ребенок мужа. Или подстраивают так, как будто ра-

ботница привезла из провинции племянницу. Выбирают не только здоровых и красивых — но непременно таких, которые похожи на приемных родителей. Больше всего везет ласковому ребенку. Пусть он будет даже некрасив. Аничка Костенко подошла к посетительнице и положила ей голову на колени. И прижалась к ней тельцем. Хоть она и слабенькая, и дурнушка, посетительница сказала: Вот это мой ребенок!

Обычно долго советуются с доктором, здоров ли ребенок, проверяют и почки, и печень, и сердце, и кровь. Приезжают из Польши, из Нежина, с Польской границы. В Домах Наркомздрава подкидыши могут жить до 9 лет — а потом их переводят в дома Наркомпроса. ⟨...⟩

10/VIII. Был в Киеве у Квитко. Квитко — седоватый, широкогрудый, ясный душою, нежный, спокойный и абсолютно здоровый человек. Занимает он 3 комнаты, в обстановке которых отразилась его художественная натура: каждый коврик, каждый лоскуток на столе, каждый гвоздь, вбитый в стенку, необыкновенно четки, целесообразны, лишены какой бы то ни было сумбурности, хламности, путаницы. Ясность душевная отражается на каждом карандаше, на расстановке стульев. Жена его (родом из Умани) Берта Самойловна так же поэтична, как и он, т. е. светла в отношениях к людям и к миру, молчалива, обладает безукоризненным вкусом. Дочь Етл — художница, с очень редким у женщин талантом: уменьем схватывать типичнейшее в человеке. Она редко рисует лица, а главным образом позы, походки, осанки. И фигуры без лиц у нее так характерны, словно у другого художника портреты. Поражает зрелость ее дарования. (Ей только 16 лет.) Отношения дочери, матери, отца — дружественные; все трое — нерасторжимый союз. Дочь сажает грузного отца себе на колени, мать зовет его Лейбеле, говорят они между собою по-еврейски. Ко мне все трое проницательно-сердечны. Вчера я с двумя свертками ушел от них на вокзал. Он, не говоря ни слова, взял наиболее тяжелый сверток — и пошел провожать; посадил меня в вагон, как мать — ребенка. Для Марины вызывают они докторов, кормят меня, обстирывают, приспособляют весь свой режим к моему, даже не показывая этого. Вчера я ушел в «Правду»— в корпункт — Квитко сопровождал меня туда, потом он ушел, и через полчаса приехал за мной на машине:

— Едем!

— Куда?

— Смотреть Чарли Чаплина.

— Да я не хочу. Бог с ним.

Отпустили машину, и тогда оказалось, что Квитко уже видел Чарли Чаплина, что он хотел истратить 3 часа только ради меня. ⟨...⟩

17/VIII. Вчера заснул в 9 час. веч. после обеда у Квiтко. ⟨...⟩

Затонский принял меня в Наркомпросе — вечером. Он работает с утра до поздней ночи. Я долго сидел в его синем квадратном большом кабинете. 〈...〉 Заговорили мы с ним о низком уровне школьников (в отношении литературы). Я рассказал ему, как ребята из палаточного лагеря (т. е. люди лет 17 — *из 8, 9 и 10 класса) на мой вопрос, кто был Тютчев, отвечали: чемпион футбола;* как этим подросткам читали «Графа Нулина», и они слушали его без волнения, как скучную вещь, и сейчас же стали после Нулина читать какую-то самодельщину и т. д.

Он сказал, что, к сожалению, это так, что в Харькове на испытаниях в ВУЗы сейчас по л-ре провалилось 70% испытуемых, а в Киеве —65%. «*Знание л-ры — сказал В. П.,* — это вопрос общей культуры. Нужно раньше всего учить учителя — тут вам работа, писателям. Нас все еще удручает бескнижье. Если мы и напечатаем какую-нб. книгу тиражом в 20 000 экз., значит, не каждая школа может получить книжку; добрая половина книг не попадает в селянские школы».

Завтра Олимпиада, на которой будет присутствовать Постышев.

18/VIII. Вчера опять был на Водной Станции. Хмуро, холодно, ребят немного. Читал утром ребятам детских домов, приехавшим на Олимпиаду. Было человек 100. Все это круглые сироты, в большинстве беспризорники. Слушали жадно — и мне было приятно читать им, т. к. оказалось, что *никаких моих книг они не знают*. Это так отрадно. В Ленинграде и в Москве у меня была иллюзия, будто каждый ребенок так и рождается с полным знанием моих «Мойдодыров» — и читать мне с эстрады было нечего. А теперь я читал «Тараканище», и они были в восторге. Впрочем все они поглощены предстоящими празднествами, где все они должны выступать.

Был я потом и на этих празднествах. Богатый и веселый карнавал, показывающий, как фантастически расцвела за эти три года Украина. Ничего детскодомского. Но есть и недостатки: *первый в том, что искусством на этих олимпиадах считается только пение и танцы, иногда музыка, а литература, поэзия — никогда*. Если же и выйдет какое дівча с декламацией — либо стихи дрянь, либо декламация — дрянь, либо и то, и другое. Хоть плачь! Больше всего в этой олимпиаде понравился мне — «Сурок» Бетховена, исполненный какой-то тоненькой испуганной девочкой — феноменальное чувство изящества, прелестный поэтический голос, чудесные тональности,— жаль только, что она так сильно оробела вначале. Особых лавров она не стяжала. Гораздо больше хлопали татарским, итальянским и всяким другим «гопакам», которые были исполнены виртуозно, но все же близки к физкультуре. Второй недостаток Олимпиады в том, что подавляющее большинство исполнителей — девочки. Как будто искусство — специальность одних только девочек! Дело дошло до того, что даже мужские роли

(в танцах) сплошь исполняют девочки (как бы компенсация за то, что в Средних Веках мальчики исполняли роли женские).

Был вчера на авиационном празднестве, на военном аэродроме. Десятки тысяч веселых людей. Демократия с арбузами, грушами, дынями, детьми, женами, (одна ж[енщи]на даже с козой) — разлеглась на траве — счастливая своим авиационным могуществом.

Оттуда в Ирпень — к Коле. Изумительно живописные места. Дачи писателей на берегу реки. «Дом творчества», где живут Коля, Щупак, Микола Бажан, Павел Антокольский и П. Тычина. Живет и автор картины «Земля» даровитый Довженко. Встретили меня радушно — и сейчас же предложили экспедицию за яблоками. Я взял их в «свою» машину — и мы поехали в какой-то идиллический сад, где хозяйка предоставила нам грушевое дерево: только сбивайте сверху, наверху самые спелые. Бажан взял лестницу и стал потрясать верхушку дерева. Посыпались золотые груши — мы — подбирать (оберегая головы) — а хозяйка показала нам дочку (лет 14), кот. «тоже хочет быть писательницей». ⟨...⟩ «Тут с нами рядом писатель живет... вот забыла фамилию... он в большой дружбе с нею...»

— Какой же писатель?

— Забыла.

Оказалось, что Макаренко, автор «Педагогической поэмы»... Я так и сорвался: пойду к нему.

— Это тут рядом.

Пошел. Небольшая дачка в большом лесу, белая, уютная, дряхлая. Первый, кого я увидал, был атлет, красавец, лет двадцати, с веселой «аристократической» улыбкой — приветливый, в руке ракетка от лаунтенниса — почти невероятный: такое здоровье, такая гармоничность, такая душевная ясность.

С ним рыжий, тоже отлично сложенный, но рядом с тем, первым кажущийся плюгавым: талантливые волосы (стиля соломы) и милая улыбка — «аристократа» (как изображают ее в англ. романах).

А потом вышел и он: лет 50, походка четкая, рукопожатие военное. Никаких лишних движений, ни одной развинченной гайки, лицо волевое, спокойное. Дисциплина и в то же время задушевность, юмор. «Пишу книгу о воспитании. Так и будет называться: «Книга о воспитании». Ведь сейчас такая книга ужасно нужна. Приходит ко мне на днях один родитель: что делать, как мне воспитывать моего сына? Он мальчик неплохой, но...

— Но?

— Но вошел с наганом [в] магазин, закричал «руки вверх» и ограбил кассу.

— А вы, я слышал, с Наркомпросом все ратоборствуете... Дело доброе, Ваши книги страшно популярны среди наших пацанов (я ведь пацанов люблю) — в поезде везде декламируют. Вот сейчас жена руководит приютом для девочек-проституток — 400 человек — подите поглядите. Да вы даже дзержинцев не видали?!

Вот вам два дзержинца — и он, к изумлению моему, показал на двух дэнди, с которыми я познакомился только что.

— Вот этот рыжий — великим будет артистом. Вы в очереди будете стоять за билетом.

Тут подъехала «моя» машина. В нашей компании была жена Довженко, Солнцева, которая страстно заинтересовалась этим рыжим — с точки зрения кино. У него фотогеничнейшая наружность». ⟨...⟩

2 сентября. Был вчера по случаю Мюда[6] на трибуне с отличниками. Погода пестрая: то дождь, то солнце, но больше дождя и холодного ветра. Я стоял прямо против трибун, где находилось правительство: Постышев, Косиор, Затонский, Балицкий и проч. Со мной были дети в украинских национальных костюмах. Они были поражены, какой печальный вид у Постышева! В черной кепке, в черном пальто, задумчивый и грустный, он стоял и думал какую-то невеселую думу. Иногда даже не глядел на процессию. Косиор махал кепкой, кричал ура, отвечал на приветствия, а П., обычно столь оживленный, не принимал ни в чем никакого участия.

— Бедный,— говорили дети.— Должно быть, у него горло болит. Как бы он еще сильней не простудился! ⟨...⟩

7/IX. Одесса. Вчера приехали. Не был я здесь с 1908 года. Перед этим был в 1905 г. Видел восстание Потемкина. А перед этим здесь прошло все мое детство, вся моя молодость. А теперь я приехал сюда стариком и вспоминаю, вспоминаю... Вот биржа — в мавританском стиле. Здесь в 1903 г. в январе я стоял с томиком Чехова (изд. Нивы) и не мог донести до дому — раскрыл книгу на улице — стал читать, и на нее падал снег. Вот маяк — где мы геройствовали с Житковым. Вот одесская 2[-я] прогимназия, где я учился. В эту прогимназию я побежал раньше всего. Здесь теперь типография им. Ленина; у дверей копошится какой-то старик. «Я — Чук., писатель, здесь у вас, в тип[огра]фии печатаются мои книги, я хотел бы взглянуть на тот дворик, где я был 45 лет назад,— я здесь учился... Здесь была школа...

— Нельзя.

— Почему?

— Говорят вам, нельзя. Сегодня выходной... Я здесь хозяин».

Так и не пустил. Его фамилия Гутов.

Был на Ново-Рыбной, там, где прошло мое раннее детство. Дом номер шесть. Столбики еще целы — каменные у ворот. Я стоял у столбиков, и они были выше меня, а теперь... И даже калитка та самая, к-рую открывал Савелий. И двор. Даже голубятня осталась. И замечательные нищенские норы, *обвитые виноградной листвой*... И дети играют в саду — как я с Марусей. Собственно, не садик, а так около дому расползся стеной виноград и создал беседку. Здесь мы с Марусей играли в путешественников,— Азия, Африка, Европа ⟨...⟩ наползло прошлое и не хочет уйти. Тут через 2 дома

Мария Б. Гольдфельд жила в «великолепном» доме Тарнопольского, доме, который оказался чрезвычайно невзрачным. Мы здесь бушевали когда-то любовью — мы, два старичка, производящие какое-то дикое впечатление на прохожих. Новая жизнь: где был памятник Екатерине — стал памятник Карлу Марксу. Где была синагога,— там клуб. Где была подлая пятая гимназия,— там институт. Где был Мих. монастырь, там дом НКВД. Где были дезорганизованные, полуголодные дети, там превосходные ученики — круглолицые весельчаки — и сколько их — я посетил 39 школу *(Ул. Чичерина, 20)* — и был очарован и видом воспитанников, и их знаниями — и чистотой тетрадок. Познакомился *с Богуславской Екатериной Трофимовной,* которая с 1886 года занимается преподавательской работой. Все было хорошо, но потом я пошел в 8-ой класс, где преподает Софья Яковлевна Гаско́. Спрашиваю детей: что такое ямб, что такое хорей — никто не знает, амфибрахий — не слыхали; про Пушкина

— Родился в 1836 году.

— После Павла царствовала Екатерина.

— Некрасов и Гоголь жили в разное время и встретиться не могли...

— Кто слыхал о Тютчеве? — Никто... 〈...〉

Как жаль, что в Одессе я не посетил Канатного переулка, где прошла моя мутная и раздребежжонная молодость. Дом Баршмана! Я заплакал бы, если бы увидел его. Там через дорогу жили Полищук, Роза, Бетя. К ним моя влюбленность, к ним и ко всем приходи[вшим] к ним. А внизу конфетная фабрика. В окно можно было видеть, как работницы грязными руками по 12 часов обворачивали карамельки. Там я прочел Бокля, Дарвина, Маркса, Михайловского, там я писал первые стихи, там вообще наметился пунктиром я нынешний. Стихи я читал (Пушкина, Некрасова) со слезами — и думал, думал, выдумал свою философию — самоцели или самодавления — и писал об этой философии целые тетради. Если бы жизнь моя не сложилась так трудно (многодетность, безденежье, необходимость писать из-за хлеба), я непременно стал бы философом. Помню жаркое ощущение, что я *один* знаю истину о мире — что я должен открыть эту истину людям, погрязшим в заблуждениях,— и сознание своего бессилия из-за необразованности, незнания физики, психологии, вообще слабый научный багаж — о! как тяжко было мне фельетонничать! В доме Баршмана я узнал все, что знаю сейчас,— даже больше. Там я учился английскому языку. (Сижу на мосту «Аджаристана». Выходим из Севастополя. Чайки над нами — пролетят немного против ветра, а потом распластываются в воздухе, и их несет назад — и, очевидно, это им очень приятно. И начинаются неотступные мысли о Муре — при виде крымских гор — их очертания.)

Какие у чаек умные чорные глаза, как он[и] ежеминутно поворачивают голову. Верткая голова: вправо, влево. И вкось. Друг за дружкой следят.

15.IX.1936. Алупка. На могиле у Мурочки.

Заржавела и стерлась надпись, сделанная на табличке Прососецкой

МУРОЧКА ЧУКОВСКАЯ

24/II 1920 — 10/XI 1931

А я все еще притворяюсь, что жив. Все те же колючки окружают страдалицу. Те же две дурацкие трубы — и обглоданные козами деревья. ⟨...⟩

Я все не могу взяться за повесть. Жизнь моя дика и суетлива. Очень хочется писать воспоминания — для детей. Пробую. Ничего не выходит... Благосостояние мое за эти пять лет увеличилось вчетверо.

Мой портрет рисует Татьяна Николаевна Жирмунская. Она — племянница Петра Струве, т. к. ее мать и жена Струве — сестры (Герд). ⟨...⟩

29.IX. На пароходе «Крым». Отъезжаем от Ялты в Сочи. Потрясающе провожали меня дети. Двое детей академика Семенова — Юра и Мила, а также Тата Харитон и дочь уборщицы Любы Кубышкиной — Тамара. Тата даже всплакнула за ужином. Каждый хотел непременно нести за мною какой-нибудь предмет: один нес за мною зонтик, другой шляпу, третий портфель. Тот, кому не досталось ничего, горько заплакал. Я сел в «pick up». Они убежали, и вдруг гляжу: несут мой самый большой чемодан — которого и мне не поднять — *все вчетвером* — милые! И как махали платками. ⟨...⟩

26/XI. Приехал в Л-д. Вчера слушал в Москве по радио речь Сталина. Это речь на вeка́[7].

28/XI. Вчера был в двух новых школах. Одна рядом с нами тут же на Манежном. Пошел в 3-й класс. Ужас. Ребята ничего не знают — тетрадки у них изодранные, безграмотность страшная. А учительница ясно говорит: тристо. И ставит отметки за дисциплину, хотя слово дисциплина пишется школьниками так:

дистеплина

десцыплина

и проч. Дети ей ненавистны, она глядит на них как на каторжников. А в другой школе, на Кирочной, (вместо церкви) — я попал на Пушкинский вечер. Некий человек из Русского музея организовал в школе «выставочку» и отбарабанил о мистике Ал. Бенуа и о реализме Тырсы — школьники слушали с тоской. На стене висели неузнаваемо плохие фотографии с рисунков Бенуа, Врубеля — повешенные слишком высоко: ничего не разобрать.

Потом вышел учитель Скрябин — и заявил, что Пушкин б[ыл]

Страница дневника. 28 ноября 1936 г.

революционер и что он подготовил... Сталинскую Конституцию, так как был реалист и написал стихотворение... «Вишня». Все наркомпросовские пошлости о Пушкине собраны в один пучок. Ребята не слушали, вертелись, перешоптывались, а когда педагог кончил, закричали *бис!* ⟨...⟩

1937

1 апреля 1937 г. Сегодня мне 55 лет. Ишиас. Что-то плохое с желудком. Загруженность работой небывалая. Всю зиму хворал и бессонничал. Но настроение ясное, праздничное. Думаю о Мурочке, о маме, о М. Б. ... Повесть моя застряла. Не могу писать ее из-за того,

что надо писать о Некрасове. А не пишу о Н-ве оттого, что надо писать повесть. На столе корректура Некрасова, которую не хочется держать. ⟨...⟩

27/IV. Еду в Одессу. Хочу нахватать впечатлений для повести. Едет Гернет. С нами — доктор-одессит, хирург. Гернет говорит о литераторах. Я между прочим упомянул, как богато и беспокойно жил Горький — в последнее время, какой пошлостью окружал его Крючков.

— Богато?! — встрепенулся одессит.— Вообще сколько зарабатывал он в месяц? А *широкие массы* так и не знали, что он был богат...

29/IV. Сейчас ночью в номере Красной гостиницы у меня украли золотые часы. Я ушел на полчаса в ресторан и оставил часы и золотую браслетку на ночном столике. Вор, заметив, что меня нет в комнате, вошел туда — и унес *только* часы.

6/V. Завтра уезжаю из Одессы, почти ничего не сделав. Улетаю в самолете. Страшно соскучился по М., по дому. Какой удивительно благородной и плодотворной кажется мне наша жизнь в Л-де по сравнению с этим моим дурацким мотанием здесь в этом омерзительном городе! Как он мне гадок, я понял лишь теперь, когда могу уехать из него. Хороши только дети. Но... что с ними делают.

23/V. ⟨...⟩ Сегодня приехал в Петергоф. Мне была обещана 9-я комната. Иду туда, там Тынянов. Обнялись, поцеловались. Долго сидели на террасе. Очень поправился, загорел. «Ничего не пишу, даже не читаю». Но комната полна книг. «Вот — Парни. Знаете, хороший писатель. Главное — умный. Читаю Некрасова на ò. И лучше его понимаю:

Во́т парадный по́дъезд.

Гениально. Его «Современники» знаете с кем перекликаются? С Маяковским!»

О Слонимском: «Ничего из него не выйдет. Даже родственники любого писателя пишут лучше».

Я дал ему «Русск. поэты, современники Пушкина».

«Давайте смотреть, кто из всех пушкинских современников больше всего боялся смерти».

24/V. Тынянов говорит: «Слава? Разве я ее ощущаю? Вот в Ярославле на днях к моему брату, почтенному человеку, пришел один врач и сказал, что он гордится знакомством с *братом Тынянова* — это единственный случай, когда я ощутил свою славу»[1]. ⟨...⟩

В конце концов Тынянов уехал. За обедом ему дали скверный суп. Он попросил дать ему взамен тарелку щей. Дали. Но во щах не

было яйца. Он попросил дать яйцо. Ему ответили: «А где же мы возьмем?»— Это в санатории, где десятки кур. «Нет!— сказал Т.— Надо уезжать». Ночью ему стало худо, ни сестры, ни сиделки. И дом заперт. Словом, 29-го за ним приехала машина, и мы уехали. Много говорил о своих планах для будущей книги о Пушкине. «Кто такой был Энгельгардт в лицее, и чорт возьми! — лицей не так плох! Из него вышли Матюш[к]ин, замечат. моряк, Дельвиг, Горчаков, Кюхельбекер. Неплохое учебное заведение! и знаете: когда П. умирал, вернее перед самой дуэлью, он хотел видеть только лицеистов, Данзаса, Яковлева. Ух, я изображу *смерть* Пушкина!.. И... мне ужасно хочется писать об эпохе перед революцией (1909—1916), вот можно сделать романище!» ⟨...⟩

Приехал в СССР (судя по газетам) Куприн. Я мог бы исписать 10 тетрадей о нем. Я помню его в Одессе в 1903 году, помню в 1905 (как он прятался в Потемкинские дни на Большом Фонтане), помню молодого, широкоплечего, с умнейшим, обаятельным лицом алкоголика, помню его вместе с Уточкиным (влюбленный в Кнута Гамсуна, взбирается на стол в «Капернауме» и декламирует), помню, как он только что женился на Марии Карловне, как в Одессе он играл в мяч — отлично, атлетически,— я заснул у Яблочкина на стульях, он — ко мне с ножницами и вырезал у меня на голове букву А («в честь государыни и[мператри]цы», было ее тезоименитство) — вижу его с Леонидом Андреевым, с Горьким... Последний раз я видел его у себя на квартире. Он пришел ко мне вместе с Горьким и Блоком. Ему было 48 лет, и он казался мне безнадежно старым — а сейчас ему 68, говорят: он рамоли.

...Был в Пионерлагере. Поздно. 11 часов. Пионеры еще не спят. Нет дисциплины. Не хватает пионервожатых. На втором эт. 5-го павильона открывается окно в белую ночь.

— Дяденька... вы написали «Телефон»?

— Я.

— Дяденька... Скажите, что мы все плачем. Нам так жалко...

— Кого?

— Цыгана.

— Какого цыгана?

— Собаку. Скажите, чтоб не убивали его... Мы его так любим... Мы все плачем.

Только вчера приехали и уже до слез полюбили собаку. Цыган играл с мальчиками... те срывали друг с друга фуражки и бросали ему, а он бегал за фуражками и разворотил клумбу. Сторож в шутку сказал: его надо пристрелить. Они поверили и плачут.

4/VI. Третий день дождь. Бедные пионеры. Нет вожатых. Смольный не прислал. Бегают какие-то охрипшие... лают, свистят... ⟨...⟩

15/VI. ⟨...⟩ Третьего дня жактовские дети по моему совету — даже не совету, а мимоходному замечанию—организовали библиотеку. Я устроил их «бега» и победителям дал призы — книжки. Теперь они

пожертвовали в б-ку все эти призы + те книжки, которые у них имеются. ⟨...⟩

13 июля. ⟨...⟩ Руководство б-кой я поручил Мане Шмаковой; школьнице 7-го класса — у которой тяжелое прошлое: уличена в краже белья; похитила у соседей 200 р. Я смело возложил на нее звание зава, т. к. работу по регистрации книг она произвела великолепно, составила каталог, установила штрафы, организовала читателей. Были возражения, но Маня оказалась чудесной работницей. ⟨...⟩

1/VIII. Болят глаза от корректуры. События, события! 28-го сразу: исчезновение Татки. Лида потеряла портфель, вчера Татка, ехавшая из Артека, потерялась в дороге. ⟨...⟩

Пропавший портфель — не нашелся. Лида забыла его у остановки автобуса в Сестрорецке, просто положила на тумбочку и уехала. А там — книги из Академии Наук и все черновые материалы для ее будущей исторической повести. Она напечатала объявление в газете и дала мой адрес — и я сделался жертвой смешного шантажа. ⟨...⟩

16/VIII. Был в Сестрорецке, виделся с Зощенко. Говорил с ним часа два и убедился, что он великий человек — но сумасшедший. Его помешательство — самолечение. ⟨...⟩

29/VIII. Этот август будет памятен. Мне приснился очень яркий сон: будто Боб утонул в Москанале, и я проснулся в слезах. ⟨...⟩ Лидина трагедия[1]. Хотя я с ней несогласен ни в одном пункте, хотя я считаю, что она даже в интересах сов. детей, в интересах детской книги должна бы делать не то, что она делает (т. е. должна бы писать, а не редактировать), все же я любуюсь ее благородством, ее энергией, ее прямотой. ⟨...⟩

30 августа. Мы приехали в Москву в 10.30 ⟨...⟩ у Лежнева вдруг услыхал, что тут же двумя этажами выше живет А. Макаренко. Созвонились: «Приходите, водка есть, пироги». Побежал наверх. В нем то же сочетание суровости с нежностью. Полон дом людей. Широколицая мордовка с мужем (очень приветливые), какой-то химик, написавший книгу об Америке (еще ненапечатанную), сын Макаренко, красивый чудесного сложения юноша (сын его жены), все это как-то необычайно дружно, спаяно, гостеприимно. Пироги, борщ и такие виды из окна, что хочется кричать... Из кухни (!) вид на Москва-реку, на Кремль, чудесно, а в кухне служанка-украинка, красивая, улыбается точно так же, как хозяин, хозяйка, сын, все гости: чувствуется чудесно налаженная *общая* жизнь. М[акаренко] написал («сегодня как раз закончил!») книгу о воспитании, ту, о которой говорил мне в Ирпене, уезжает нынче же, 29-го, в Крым (в Ялту), чемоданы уже уложены — и тут же за водкой, за пирогами сделал мне предложение: «Едем, Чуковский, в Америку, к весне, ладно?»

Я согласился немедленно — и сказал, что буду готовиться, как к экспедиции на Северный полюс. У меня вот какие преимущества: я знаю литературу страны, знаю язык, знаю историю. Но мой недостаток: я не умею быстро писать. Корреспонденции — не мой жанр. 〈...〉

26.IX. [Кисловодск.— *Е. Ч.*] Погода необычайная — ясность, теплынь. А мне худо. После ванны руки-ноги дрожат, теряю в весе. Чорт знает что! 〈...〉 С нами за одним столом сидит сестра Тимоши — Вера Алексеевна Громова — полненькая хохотушка, 47 лет. Говорит о Горьком: он был деспот (!) и самодур (!). Жизни совсем не знал (?). Жить в Горках (или на Никитской) было тяжко. Бóльше трех дней нельзя было выдержать. Внучку одну избаловал, а другую — все время держал в черном теле. 〈...〉

27-го был у нас в Санатории — Утесов и рассказывал мне, Лежневу, Кирпотину и еще двум-трем мужчинам анекдоты. Анекдоты были так художественны, так психологически тонки, что я не мог утерпеть — созвал большую группу слушателей. Мы хохотали до изнеможения,— а потом провожали его (был еще Стенич), и он рассказывал по дороге еще более смешное,— но, когда мы расстались с ним, я почувствовал пресыщение анекдотами и даже какую-то неприязнь к Утесову. Какой трудный, неблагодарный и внутренне порочный жанр искусства — анекдоты. Т. к. из них исключена поэзия, лирика, нежность — вас насильно вовлекают в пошлые отношения к людям, вещам и событиям — после чего чувствуешь себя уменьшенным и гораздо худшим, чем ты есть на самом деле. 〈...〉

13/XI. 〈...〉 Тревожит меня моя позиция в детской литературе. Выйдут ли «Сказки», выйдет ли лирика? И что Некрасов? И что «Воспоминания» Репина. Повесть моя движется медленно. Я еще не кончил главы Дракондиди. Впереди — самое трудное.

В душе страшное недовольство собою.

1939.

26 ноября 1939. Корплю над книгой «Искусство перевода». Могла бы выйти неплохая книга (пятое издание), если бы я не заболел. 〈...〉 Вчера в «Правде» напечатан мой фельетон о Радловой. Скоро в «Красной Нови» появится большая моя статья на ту же тему — «Астма у Дездемоны»[1]. В той же книжке будет Лидина повесть. Лида пишет о Чернышевском и Михайлове[2]. Я рад: эта тема как раз для нее.

29 ноября. Третьего дня читал в Бауманском Доме Культуры детям «литкружковцам» вступительную лекцию.— Сегодня начинаю там

же практическую работу с юными дарованиями. Мой портрет рисует Васильев, Петр Васильевич — умелый, но бесвкусный рисовальщик. ⟨...⟩

30 ноября. Был сейчас в телевизоре (Шаболовка, 53) и читал свои сказки. Перед началом меня нарумянили, начернили мне усы, покрасили губы. Очень противно! Никто даже не удивляется, что человек, находящийся на Шаболовке, может быть видим за десятки километров. ⟨...⟩

5 декабря. Третьего дня мы получили от Марины письмо. Самое обыкновенное — о разных мелочах. И внизу Колина приписка о том, что он уходит завтра во флот — командиром. ⟨...⟩

12 декабря. 3-го дня читал свою книгу в «Библиотеке Иностр. Л-ры» «Высокое искусство» в присутствии Анны Радловой и ее мужа, специально приехавшими в Москву — мутить воду вокруг моей статьи о ее переводах «Отелло». Это им вполне удалось, и вчера Фадеев вырезал из «Красной Нови» мою статью. Сегодня Лида пишет, что Радловы начали в десять рук бешеную травлю против меня, полную клеветы. Сегодня я написал Лиде о Матвее Петровиче[3]. ⟨...⟩

1940

1/IV. Мое рождение. 4 часа ночи. Бессонница. Вчера на ночь зачитался записками Ксенофонта Полевого — о пьесе «Рука всевышнего отечество спасла», о вызове Ник. Полевого в Петербург к Бенкендорфу и Дубельту. ⟨...⟩

Состояние мое душевное таково, что даже предстоящая мне операция кажется мне отдыхом и счастьем. ⟨...⟩

27 апр. ⟨...⟩ Был у меня сегодня утром Е. В. Тарле — приезжал сговориться, как хлопотать о Шурочке Богданович[1]. ⟨...⟩

26/VIII. [Переделкино.] Была Анна Ахматова. Величавая, медленная. Привела ее Ниночка Федина. Сидела на террасе. Говорила о войне: «каждый день война работает на нас. Но какое происходит одичание англичан и французов. Это не те англичане, которых мы знали... Я так и в дневнике записала: «Одичалые немцы бросают бомбы в одичалых англичан». По поводу рецензии Перцова: я храню газетную вырезку из «Театра и Искусства» за 1925 год: «Кому нужны любовные вздохи этой стареющей женщины, к-рая забыла умереть». О Лидочке: «Чудесная и такая талантливая». Очень восхищается Лидиной статьей об Олеше[2]. По ее словам, Лида уже

пережила утрату Мити. Много говорила о Лидиной операции. «Моей второй книги не будет: говорят: нет бумаги, но это из вежливости. Я вчера приехала из Л-да, встретила в вагоне Дору Сергеевну, Дора Сергеевна привезла меня сюда, минуя Москву, мне нужно повидаться с Фадеевым. Я уже его видела, он обещал звонить по телефону о Левушке — и сейчас пойду за результатом»[3]. Я пошел проводить ее, она очень волновалась по дороге.— Я себе напоминаю толстовскую барыню, знаете, в «В[ойне] и Мире».— Как же, «исплаканная».— Да! как вы догадались?— Меня с детства поразило это слово.— Да, и меня еще: парадное лицо.

27/VIII. Сидит внизу А. А. Вчера Фадеев прислал ей большое письмо, что он дозвонился до нужного ей человека, чтобы она завтра утром позвонила Фадееву, и он сведет ее с этим человеком. 〈...〉

21/XI. Еду в Л-д. Подъезжаю. Бессонная убийственно-трудная ночь.

2/XII. Был третьего дня у Тынянова. Он приехал на два дня из Детского Села (т. е. из Пушкина) — читать актерам новую пьесу «Кюхля». Ноги у него совсем плохи: он встает, чтобы поздороваться, и падает и улыбается, словно это случилось нечаянно. Лицо — в морщинах. «Спасибо Вам за письмо, К. И., но ответить я не могу, т. к. *уже* не способен писать письма. А когда-то как писал!— И своего Пшк. не могу писать... И вообще я имею редкий случай наблюдать, как относятся ко мне люди после моей смерти, п. ч. я уже умер». Речь его лишена прежнего блеска, это скорее всего брюзжание на мнимые обиды. 〈...〉

Был у Ахматовой. Лежит. Нянчится с детьми соседей. Говорить было, собственно, не о чем. Говорили о Джоне Китсе, о новой книжке переводов Пастернака. «Какой ужасный писатель Кляйст!» 〈...〉

1941

4/I. Вчера познакомился с Шолоховым. Он живет в Санатории Верховного Совета. Там же отдыхают Збарский и Папанин, и больше никого. Вчера Шолохов вышел из своих апартаментов твердой походкой (Леонида Андреева), перепоясанный кожаным великолепным поясом. Я прочитал ему стихи Семынина, он похвалил. Но больше молчал. Тут же его семья: «Мария Михайловна» (Вчера ей исполнилось 3 года), сын Алик, еще сын, теща и жена — все люди добротные, серьезные, не раздребежженные, органические. Впечатление от них от всех обаятельное, и его не отделить от всей семьи. Он с нею — одно, и его можно понять только в семье. Его Алик уже ворошиловский стрелок (здесь в тире парка получил

приз: три рубля), 10-летний, немного сумрачный, очень выдержанный, искренний, простодушный. Я читал ему и Леве Збарскому вчера «Союз рыжих» Шерлока. Вначале он боялся, что не поймет, а потом так солидно и в то же время взволнованно слушал, что приятно было читать. Ш[олохов] говорил о «Саше Фадееве»: «если бы Саша по-настоящему хотел творить, разве стал бы он так трепаться во всех писательских дрязгах. Нет, ему нравится, что его ожидают в прихожих, что он член ЦК и т. д. Ну, а если бы он был просто Фадеев, какая была бы ему цена?» Я защищал: Ф. и человек прелестный, и писатель хороший. Он не стал спорить. Рассказывал об охоте на фазанов в Кабардино-Балкарии, как крестьяне угощали его самогоном.

6. Сегодня письмо от Семынина. Вчера провел с Шолоховыми весь вечер. Основная тема разговора: что делать с Союзом писателей. У Ш. мысль: «надо распустить Союз — пусть пишут. Пусть остается только профессиональная организация».

31/I. Сегодня уезжаем. Чуть я приехал, меня бабахнула статья в «Правде» о «Лит. учебе», перед самым отъездом прихлопнула статья в «Литгазете». Одна 29/XII, другая 30/I. Раз в месяц — спасибо, что не чаще[1].

2/II. 1941. Вернулись в Москву. 〈...〉

11/II. Позвонил дней пять назад Шолохов: приходите скорей. Я пришел: номерок в «Национале» крохотный (№ 440) — бешено накуренный, сидят пьяный Лежнев, полупьяная Лида Лежнева и пьяный Ш-в. Ниже — в 217 № мать Ш-ва, которую он привез показать врачам. Был в Кремлевке консилиум. Но больно б[ыло] видеть Ш-ва пьяным, и я ушел.

Сегодня я утром зашел к нему — он теперь в 217. Я стукнулся в 440; там его мама, все не могла открыть. Он достал ключ и открыл снаружи. Принял меня чудесно; говорили о детской л-ре. Оказывается, он читает все — и «Мурзилку», и «Чиж», и «Колхозные ребята». Очень бранил какую-то сказку о шишке — как она влезла на лампу. «Чепуха». Согласился написать для наших учебников и об охоте и о гражданской войне.

Сегодня должна приехать Лида.

15/II. Вчера Чагин позвонил мне вечером, что вышла моя книжка «Высокое искусство». «Страха ради» Ч. выбросил оттуда список. 〈...〉

1 апреля. Сегодня мне исполнилось 59 лет. Никогда не думал, что доживу до такого возраста.— Встал в 4 часа утра. Пишу о Семынине. Послезавтра доклад о нем. Только что закончил новый перевод «Робинзона». Дня два назад ушла в набор моя книга (все мои сказки) «Чудо-дерево».— Вчера шел снег. Хорошая зимняя погода.

19/X. Бузулук. На пути в Ташкент. Поезд № 22, международный вагон, купе. Снег. Вчера долго стояли неподалеку от Куйбышева, мимо нас прошли пять поездов — и поэтому нам не хотели открыть семафор. Один из поездов, прошедших впереди нас, оказался впоследствии рядом с нами на Куйбышевском вокзале, и из среднего вагона (зеленого, бронированного) выглянуло печальное лицо М. И. Калинина. Я поклонился, он задернул занавеску. Очевидно, в этих пяти поездах приехало правительство. Вот почему над этими поездами реяли в пути самолеты, и на задних платформах стоят зенитки. Итак, с 18/X 1941 г. б[ывшая] Самара становится нашей столицей.

Дженни Афиногенова должна была ехать с нами. Здесь в нашем вагоне едут мать Аф[иногено]ва (Антонина Васильевна) и его дочь Светлана. **15 окт.** мы сдали вещи в багаж и приехали на вокзал, как вдруг за три минуты до намеченного отхода поезда (на самом деле поезд отошел позднее) прибыл на вокзал Афин., страшно взволнованный: «велено всем собраться к пяти часам в ЦК. Немцы прорвали фронт. Мы, писатели, уезжаем с правительством». Я помещен в списке тех литераторов, которые должны эвакуироваться с правительством, но двинуться к ЦК не было у меня никакой возможности: вся площадь вокруг вокзала была запружена народом — на вокзал напирало не меньше 15 тысяч человек, и было невозможно не то, что выбраться к зданию ЦК, но и пробраться к своему вагону. Если бы не Николай Вирта, я застрял бы в толпе и никуда не уехал бы. Мария Борисовна привезла вещи в машине, но я не мог найти ни вещей, ни машины. Но недаром Вирта был смолоду репортером и разъездным администратором каких-то провинц. театров. Напористость, находчивость, пронырливость доходят у него до гениальности. Надев орден, он прошел к начальнику вокзала и сказал, что сопровождает члена правительства, имя к-рого не имеет права назвать, и что он требует, чтобы нас пропустили правительственным ходом. Ничего этого я [не] знал (за «члена правительства» он выдал меня) и с изумлением увидел, как передо мною и моими носильщиками раскрываются все двери. Вообще В[ирта] — человек потрясающей житейской пройдошливости. Отъехав от Москвы верст на тысячу, он навинтил себе на воротник еще одну шпалу и сам произвел себя в подполковники. Не зная, что всем писателям будет предложено вечером 14/X уехать из Москвы, он утром того же дня уговаривал при мне Афиногенова (у здания ЦК), чтобы тот помог ему удрать из М-вы (он военнообязанный). Аф. говорил:

— Но пойми же, Коля, это невозможно. Ты — военнообязанный. Лозовский включил тебя в список ближайших сотрудников Информбюро.

— Ну, Саша, ну, устрой как-нибудь... А я за то обещаю тебе, что я буду ухаживать в дороге за Ант. Вас. и Дженни. Ну, скажи, что у меня жена беременна и что я должен ее сопровождать.

(Жена у него отнюдь не беременна.)

В дороге он на станциях выхлопатывал хлеб для таинственного чл. правительства, коего он якобы сопровождал.

И все же есть в нем что-то симпатичное, хотя он темный (в духовном отношении) человек. Ничего не читал, не любит ни [нрзб.— *Е. Ч.*] ни поэзии, ни музыки, ни природы. Он очень трудолюбив, неутомимо хлопочет (и не всегда о себе), не лишен литерат. способностей (некоторые его корреспонденции отлично написаны), но вся его природа — хищническая. Он страшно любит вещи, щегольскую одежду, богатое убранство, сытную пищу, власть.

Эти дни для меня страшные. Не знаю, где Боба. 90 процентов вероятия, что он убит. Где Коля? Что будет с Лидой? Как спасется от голода и холода Марина? Это мои четыре раны.

По дороге мы почти нигде не видали убранного хлеба. Хлеб гниет в скирдах на тысячеверстном пространстве. Кое-где, правда, есть на станциях кучи зерна,— просо, пшеница, ничем не прикрытые. На них сыплется копоть, пыль.

Изредка на станциях появляется кое-какая еда: блины из картошки — по рублю штука, верблюжье молоко, простокваша. На эту еду набрасываются сотни пассажиров, давя др[уг] др[уга], давя торговок,— обезумевшие от голода.

Поезд стоит на станциях по 2, по 3 часа. Запасы, взятые в Москве, истощаются.

21/X. Мы уже в Азии. Третьего дня на одной из станции Чкаловской (Оренбургской) области мы видели польское войско. Выползали из разных вагонов худые, но импозантные люди в тощих шинелишках, театрально козыряя друг другу. Столпились у будки, на которой написано Stazia* № 1. Расшитые серебром картузы и шинели были некогда очень эффектны, теперь все это истрепалось до лохмотьев — и все же сохраняет важный вид. Впрочем, неск. офицеров одето с иголочки.

— Куда вы?— спрашиваю у одного из поляков.
— В Бузулук. Там наша армия.
— Климат в этих местах, кажется, очень хорош.
— У нас в Польше лучше.

22 октября. У Аральского моря. Козалинск. Деревья еще зелены. Счастливцы покупают щук; по эвакосвидетельствам выдают хлеб. Потолкался я в очередях, ничего не достал. Пошел к коменданту просить у него талончик на право покупки хлеба.

Комендант сказал:

— Прошу оставить помещение!

Даю Виртам уроки английского языка.

23 октября. Ташкент. Гостиница «Националь». Только что приехали. Нас встретили местные писатели и представитель Совнаркома (управделами Коваленко). Выслали за нами четыре машины.

---

* Остановка (*польск.*).

24 октября. У парикмахера — веер. Попрыскает одеколоном — и веет. У чистильщика сапог — колокольчик. Почистил сапог и зазвенит, чтобы ты подставил ему другой. Тополя — необыкновенной высоты — придают городу особую поэтичность, музыкальность. Я брожу по улицам, словно слушаю музыку — так хороши эти аллеи тополей. Арыки и тысячи разнообразных мостиков через арыки, и перспективы одноэтажных домов, к-рые кажутся еще ниже оттого, что так высоки тополя — и южная жизнь на улице и милые учтивые узбеки,— и базары, где изюм и орехи,— и благодатное солнце — отчего я не был здесь прежде — отчего я не попал сюда до войны? Я весь больной. У меня и грипп, и дизентерия, и выпало три вставных зуба, и на губе волдырь от лихорадки,— и тоска по Бобе — и полная неустроенность жизни — и одиночество. Но — все же я рад, что я хоть на старости увидел Ташкент. Самое здесь странное, неожиданное: это смеющиеся дети... Всю дорогу от Москвы до Ташкента я видел плачущих, тоскующих детей со стариковскими лицами, похуделых, осиротелых, брошенных, и вдруг здесь — на каждом бульваре, в каждом дворе копошатся, дерутся, барахтаются беспечные вполне нормальные дети. Сегодня я вышел на улицу рано. Дворники — большей частью узбеки — поливают ведрами улицы, черпая воду из арыков. Очевидно, это — древний способ, передающийся из рода в род. Школьники торопятся в школу — зрелище, которого я не видел в этом году в Москве. Показалось странным, что в СССР еще есть места, где дети учатся. ⟨...⟩

29/X. Аптекарша сказала обо мне одному из пациентов поликлиники Когану, Иосифу Афанасьевичу. Коган узнал от нее, что я в гостинице живу без керосина. И — сегодня рано утром является пожилой худощавый человек с перевязанным глазом и приносит мне в подарок — жестянку керосина!! Эта доброта так взволновала меня — после той злобы, которую я видел в пути,— что я посвятил ему след. экспромт:

Я мнил, что в мире не осталось
Ни состраданья, ни любви,
Что человеческая жалость
Давно затоплена в крови.
И боже, как я был растроган,
Когда, как гений доброты,
Мой светлый друг, мой милый Коган,
Передо мной явился ты.

30/X. Ташкентская доброта неиссякаема. Пришел ко мне в номер бывший Нарком просвещения тов. Юлдашев и *предложил комнату* — чудесную меблированную комнату в центре города, в отличном районе. Уезжает его товарищ. Хохол — куда-то в район — и комната с телефоном, с патефоном — с письменным столом предоставляется нам за 58 руб. в месяц!! Чудо, редкость! Мне не пришлось кланяться Коваленке, не пришлось отнимать кров у

братьев-писателей, я избавлен от всяких дрязг, живу с женой уединенно — в стороне!

В начале ноября приехала Лида. Мы с М. Б. встретили ее на вокзале. Она ехала с Маршаком, Ильиным, Анной Ахматовой, академиком Штерн, Журбиной. Привезла Женю и Люшу. Маршак и Ильин остались в Алма-Ата.

Я заболел. Был в стационаре дней десять. Потом взвалил на себя кучу работы. Прочитал курс лекций о детских поэтах в Педагогическом Институте. Стал печататься в «Правде Востока». И провел множество выступлений на подмостках театров и в школе. Первых пяти выступлений не зарегистрировал, но вот последующие [перечислены даты, названия клубов и школ, темы выступлений. Всего тридцать три выступления в декабре 1941 — январе 1942.— *Е. Ч.*].

1942

14.I.42. Утром в Наркомпросе у Владимировой. У нас целая очередь: берут на воспитание эвакодетей. Людмила Степановна Зайцева из Главкинопроката (зарабатывает с мужем 1180 рублей):

— Мне национальность безразлична! Муж сказал мне: *Только не бери кривоногую.* ⟨...⟩

Оттуда в «Правду Востока». Редактор газеты — только что вернувшийся с фронта — сообщил мне, *что убит Шостакович!!!!* ⟨...⟩

21/I. Вчера в Ташкент на Первомайскую ул. переехал Ал. Н. Толстой. До сих пор он жил за городом на даче у Абдурахмановых. Я встречался с ним в Ташкенте довольно часто. Он всегда был равнодушен ко мне — и хотя мы знакомы с ним 30 лет,— плохо знает, что я такое писал, что я люблю, чего хочу. Теперь он словно впервые увидел меня, и впервые отнесся сочувственно. Я к нему все это время относился с большим уважением, хотя и знал его слабости. Самое поразительное в нем то, что он совсем не знает жизни. Он — работяга: пишет с утра до вечера, отдаваясь всецело бумагам. Лишь в шесть часов освобождается он от бумаг. Так было всю жизнь. Откуда же черпает он все свои образы? Из себя. Из своей нутряной, подлинно-русской сущности. У него изумительный глаз, великолепный рус. язык, большая выдумка,— а видел он непосредственно очень мало. Например, в своих книгах он отлично описал 8 или 9 сражений, а ни одного никогда не видал. Он часто описывает бедных, малоимущих людей, а общается лишь с очень богатыми. Огромна его художественная интуиция. Она-то и вывозит его. ⟨...⟩

3 марта. Ночь. Совершенно не сплю. Пишу новую сказку[1]. Начал

ее 1-го февраля. Сперва совсем не писалось... Но в ночь на 1-ое и 2-ое марта — писал прямо набело десятки строк — как сомнамбула. Никогда со мной этого не бывало. Я писал стихами *скорей,* чем обычно пишу прозой; перо еле поспевало за мыслями. А теперь застопорилось. Написано до слов:

Ты, мартышка пулеметчик

А что дальше писать, не знаю.
Телеграмма от Белякова.
Лида увлечена записями рассказов эвакодетей.

31/III. Доканчиваю 3-ью часть своей сказки. Писал ее с большими перерывами. Дней пять сидел, как идиот, за столом и не мог придумать ни строки. Но сегодня к вечеру вдруг прорвало — и я написал десятки строк почти набело. Работаю над Чеховым, составляю сборник сатир, хлопочу о квартире. Денег уже нет.— Читал вечером Пешковым новую «песню» сказки. Оказалось: плоховато. Вяло. М. Б. говорит: «сыро еще». Надо сызнова переделывать. Это гораздо труднее, чем писать заново.

1/IV. День рождения. Ровно LX лет. Ташкент. Цветет урюк. Прохладно. Раннее утро. Чирикают птицы. Будет жаркий день.

Подарки у меня ко дню рождения такие. Боба пропал без вести. Последнее письмо от него — от 4 октября прошлого года из-под Вязьмы. Коля — в Л-де. С поврежденной ногой, на самом опасном фронте. Коля — стал бездомным: его квартиру разбомбили. У меня, очевидно, сгорела в Переделкине вся моя дача — со всей библиотекой, к-рую я собирал всю жизнь. И с такими картами на руках я должен писать веселую победную сказку.

Живу в комнате, где, кроме двух гео-карт, нет ничего. Сломанный умывальник, расшатанная кровать, на подоконнике книги — рвань случайная — вот и все — и тоска по детям. Окна во двор — во дворе около сотни ребят, с утра до ночи кричащих по-южному.

Лида все еще работает над книгой «Слово предоставляется детям». ⟨...⟩

2/IX.1942. Уже $4^1/_2$ часа лечу в восьмим[естном] самолете (бомб. Дуглас) в Москву. ⟨...⟩ Читаю в «Красной Звезде» хорошую, но легко забываемую повесть Вас. Гроссмана «Народ бессмертен».

В Туркестане была остановка: брали бензин. С нами едут дыни, арбузы, яблоки, виноград.

Очень хорошо пишет Вас. Гроссман. Каждая строка — загляденье, а все вместе — банально и бледновато. Кое-где даже риторично. ⟨...⟩

29/X 42 г. Был в Москве. Вернулся. Третьего дня Толстой сказал мне, что Ф[адеева] зовут «Первый из Убеге». Никита Богословский сказал Погодину:

«Ну что ваши «Кремлевские прейскуранты»?» О Михоэлсе он сказал: «депутат Ветхого Завета». 〈...〉

1/XI. 〈...〉 Богословский вчера мимоходом:

«Если человек получает пощечину, это — оскорбление действием. Если он смотрит пьесу «Фронт», это оскорбление тремя действиями». 〈...〉

1943 год

26/I. Вчера ночью — двинулись в путь, в Москву, вместе с М. Б. и Женичкой. Прощай, милый Ташкент. Моя комната с нелепыми зелеными занавесками, с шатучим шкафом; со сломанной печкой, с перержавелым кривобоким умывальником, с двумя картами, заслоняющими дыры в стене, с раздребежженной дверью, которую даже не надо взламывать, с детским рисуночком между окнами, выбитым стеклом в левом окне, с диковинной форточкой,— немыслимый кабинет летом, когда под окном галдели с утра до ночи десятка три одесситов. 〈...〉

5 марта. 〈...〉 Я читаю Carlyle's «History of Frederick the Great»*. Поучительно! Вот где корни пруссизма, джингоизма, фашизма — и германского машинного тупоумия.

10 марта. Вчера звонок: «С вами будут говорить из Детгиза». Голос Голенкиной. «К. И., я вам должна сообщить, что мы получили указание не издавать вашей сказки». Я ничего не ответил и повесил трубку. Итак, победила Наумова, и советские дети остались без сказки.

11 марта. Вчера звонок. Алимджан! Ехал 20 дней! Приехал с Ломакиным! Едет на фронт! К Рокоссовскому! Значит, узна́ет, что «Б[армал]ей» запрещен! Значит, «Б[армал]ей» и в Уз[бекиста]не не выйдет! Решил идти к Тарле — за советом.

Приехал Коля. Говорит по тел. с Мишей Слонимским.

22 марта. Приехала Марина с Татой и Гулькой. Поехали за вещами. Принялся писать о Чехове.

29 марта. 26-го выступал в Союзе Писателей на Совещании. Очень плохо. Сам себе казался старым и провинциальным. Изумительно говорил Эренбург. Вчера в зале Чайковского читал воспоминания о Горьком (день его 75-летия). Вместе со мною выступали Фадеев,

---

* Карлейля «История Фридриха Великого» (*англ.*).

Федин, Сурков и Всев. Иванов. Фадеев (председатель) собрал все затасканные газетные штампы, смешал их в одну похлебку, и — речь его звучала как пародия. Она и есть пародия, т. к. единственное его стремление было — угодить не читателю, не слушателю, не себе, а начальству. Это жаль, п. ч. есть же у него душа! Федин мне рассказывал, что, когда из ЦК позвонили Фадееву, чтобы он написал похвалу Ванде Василевской, он яростно выругался в разговоре с Фед[иным] и сказал: «не буду, не буду, не буду писать», а потом на другой день написал и позвонил Ф[еди]ну: «Знаешь, «Радуга» не так и плоха». Написать-то он написал, а заказчики не взяли. Все же что-то в нем есть поэтическое, и сильное. ⟨...⟩

25/IV. Читал «Одолеем Бармалея»— в зале Чайковского — и в Доме Архитектора.

29/IV. Мне опять, как и зимою 1941/42 г. г., приходится добывать себе пропитание ежедневными выступлениями перед детьми или взрослыми. ⟨...⟩

15/V. Телеграмма из Ташкента: «Печатание сказки приостановлено. Примите меры. Тихонов».

Начал писать о Чехове. Увлекательно.

2 июня. О сказке еще никакого решения. Не знаю, что́ и делать. Завтра — в Союзе писателей в 6 час. заседание Президиума для обсуждения сказки. Был сегодня у Толстого. У него такая же история с «Иоанном Грозным». Никто не решается сказать, можно ли ставить пьесу или нет. Ни Щербаков, ни Еголин, ни Александров. В конце концов он сегодня написал письмо Иосифу Виссарионовичу.

От Толстого — к Шолохову. Шолохов завтра утром улетает на Дон. Сидит в «Национали», трезвый, печальный. «Удивляюсь легкомыслию Москвы. Жители ведут себя так, как будто войны и нету. Людям фронтовым это странно». От Шолохова — вечером к Маршаку. Маршак вновь открылся предо мною, как великий лицемер и лукавец. Дело идет не о том, чтобы расхвалить мою сказку, а о том, чтобы защитить ее от подлых интриг Детгиза. Но он стал «откровенно и дружески», «из любви ко мне» утверждать, что сказка вышла у меня неудачная, что лучше мне не печатать ее, и не подписал бумаги, которую подписали Толстой и Шолохов. Сказка действительно слабовата, но ведь речь шла о солидарности моего товарища со мною.

3 июня. Совещание Президиума по поводу моей сказки. Не пришли обещавшие придти Федин и Зощенко. Таким образом из членов Президиума были только Асеев и Анна Караваева. Хорош бы я был, если бы вчера не получил подписей Толстого и Шолохова! Все вели себя очень сплоченно — высказались за сказку единодушно: Мих. Слонимский, Перец Маркиш, Скосырев, Караваева и даже

Асеев — начавший дискуссию: «что ж, прекрасная сказка!» Обратно я шел со Слонимским и Асеевым. Погода прелестная. Тверской бульвар в зелени. Нежно серебрится аэростат заграждения. На бульварах гомон и смех. Москве хочется быть легкомысленной. «Как много лишнего народу в Москве!»— говорил вчера Шолохов.

15/VI. Сейчас мне позвонил академик Митин, что Г. Ф. Александров сказку разрешил. Так зачем же злые вороны очи выклевали мне? 〈...〉

24/VII. Был вчера в Переделкине — впервые за все лето. С невыразимым ужасом увидел, что вся моя библиотека разграблена. От немногих оставшихся книг оторваны переплеты. Разрознена, расхищена «Некрасовиана», собрание сочинений Джонсона, *все* мои детские книги, тысячи английских (British Theatre*), библиотека эссеистов, письма моих детей, Марии Б. ко мне, мои к ней — составляют наст на полу, по к-рому ходят. Уже уезжая, я увидел в лесу костер. Меня потянуло к детям, которые сидели у костра.— Постойте, куда же вы? Но они разбежались. Я подошел и увидел: горят английск. книги и между прочим любимая моя американская детская «Think of it»** и номера «Детской литературы». И я подумал, какой это гротеск, что *дети,* те, которым я отдал столько любви, жгут у меня на глазах те книги, которыми я хотел бы служить им. Вчера взят Харьков нашими войсками. Мне сказали об этом в б-ке Ленина, где я занимался (в Научном отделе). 〈...〉

Сейчас получил из Ташкента «Одолеем Бармалея» изд. Госуд. Изд-ва УзССР. 〈...〉

23/[IX]. Взята Полтава!!

Тата вернулась с Трудфронта. Первая ночь в родительском доме. Спит. И вдруг закричала. «Что с тобой?» «Мне приснилось, что немцы запихивают меня в пушку Катюшу, чтобы выстрелить мною в русских».

7/XI. Взят Киев. Речь Сталина. Получена телеграмма, что 3-го Лида и Люша выехали из Ташкента. 〈...〉

1944.

1 января 1944. 〈...〉 Был вчера у Михалкова, он всю ночь провел у Иос. Вис.— вернулся домой в несказанном восторге. Он читал Ст[алин]у много стихов, прочел даже шуточные, откровенно сказал

* Английский театр *(англ.).*
** Подумай об этом! *(англ.).*

вождю: «Я, И. В., ч[елове]к необразованный и часто пишу очень плохие стихи». Про гимн М. говорит: «Ну что ж, все гимны такие. Здесь критерии искусства неприменимы! Но зато *другие* стихи я буду писать — во!» И действительно его стихи превосходны — особенно о старике, продававшем корову. ⟨...⟩

1 марта. Пошляки утешают меня: «За битого двух небитых дают — да никто не берет».— «Битье определяет сознание». В тот же день я был в Театре Ленинского Комсомола — «Сирано». Играли скверно. «Нора» в тысячу раз лучше.

Статья в «Правде»[1]. ⟨...⟩

Достоевский (Для моей статьи о Чехове.) «Только то и крепко, подо что кровь течет». Только забыли, негодяи, что крепко-то оказывается не у тех, к-рые кровь прольют, а у тех, чью кровь проливают. Вот он — закон крови на земле»[2].

Читаю Достоевского «Вечный муж». Вольтера «Простак». Мопассана. Стихи Полонского. Биографию Д[остоевского] — Страхова. Письма Достоевского. Гейне (нрзб.— *Е. Ч.).*

Васильев внушил отвращение не своим наветом у Щербакова. Это мне понятно: ч[елове]к с навязчивой идеей предстал впервые перед тем, к кому стремился все эти годы,— обалдел — и человек патологически обидчивый, свое подозрение, свою обиду, свою уязвленность излил, как сущее. Гнусен он был *после доноса.* Вернувшись от Щ[ербакова], он заявил мне, что он покончит жизнь самоубийством, что он не может жить с таким пятном, что он сейчас же заявит т. Щ-ву о своей лжи. «Я не достоин подать вам руку!»— сказал он М. Б. Потом он сказал мне по тел., что ему звонил Щ. и запретил ему водиться со мной, а то бы он сейчас пришел ко мне; стал утверждать, что Щ. все это затеял (!) из неприязни (!) ко мне. Когда я через 2 часа потребовал у него, чтобы он написал правду, он вдруг заявил, что ОГЛОХ, что не слышит меня, что через час он непременно напишет. Когда же я пришел к нему через час, он сказал, что он мертвецки пьян, и вел себя так слякотно, что я, человек доверчивый, воображавший, что он переживает душевные муки невольного лжеца и предателя, увидел пред собою дрянненького труса и лукавца. ⟨...⟩

Июнь на 28-ое. Ночь. ⟨...⟩ После ударов, которые мне нанесены изза моей сказки,— на меня посыпались сотни других — шесть месяцев считалось, что «Искусство» печатает мою книгу о Репине, и вдруг дней пять назад — печатать не будем — Вы измельчили образ Репина!!! Я перенес эту муку, уверенный, что у меня есть Чехов, которому я могу отдать всю душу. Но оказалось, что рукопись моего Чехова попала в руки к румяному Ермилову, который, фабрикуя о Чехове юбилейную брошюру, обокрал меня, взял у меня все, что я написал о Чехове в 1914 году накануне первой войны и теперь — во время Второй,— что обдумывал в Ленинской б-ке уединенно и радостно,— и хотя мне пора уже привыкнуть к этим обкрадываниям: обокрадена моя книга о Блоке, обокраден Некра-

сов, обокрадена статья о Маяковском, Евдокимов обокрал мою статью о Репине, но все же я жестоко страдаю. Если бы я умел пить, то я бы запил. Т. к. пить я не умею, я читаю без разбора, что придется — «Eustace Necklace» by Trollope, «Black Tulip» by Al. Dumas, «Barchester Towers» by Trollope, «Passage to India» by Forster*, даже Олдингтона, даже «Newcomes»** Тэккерея — и меня возмущает, какие крошечные горести, микроскопические — по сравнению с моими, с нашими — изображал роман XIX в.,— и раз я даже хватил Троллопом о-земь, когда он хотел заставить меня взволноваться тем, что богатая вдова, дочь священника, получила письмо — вполне корректное — от *холостого* м-ра Slope'a — и обсуждение этого эпизода отняло у автора 20 страниц,— и сотни страниц посвящает он столь же важной проблеме: останется ли некий поп во главе богадельни для престарелых до конца своих дней — или у него эту богадельню отнимут? Нам, русским людям, людям 1944 года, такие проблемы кажутся муравьиными, а порою клопиными. Взял я на днях и без всякого интереса прочел «International Episode»*** Генри Джемса и его же «Washington Square», кот. мне когда-то нравились — эта регистрация мельчайших чувствованьиц *даже не муравьев, а микробов,*— и почувствовал себя оскорбленным. Пожил бы этот Джемс хоть один день в моей шкуре — не писал бы он этих вибрионад.

Третьего дня я был на вечере Ираклия Андроникова в Союзе писателей. Он — гениален. Абсолютный художеств. вкус. Но — и на нем потускнение.

29 июня. Вчера читал о Чехове в Бел. зале Дома Ученых. Кроме Збарского не было ни одного из приглашенных мною друзей. Ни Чагина, ни Заславского. М. Ф. Андреева сказала, что Горький не верил Книпперше, будто Чехов, умирая, произнес «Ich sterbe»****. На самом деле он, по словам Горького, сказал: «Ах ты стерва!» М. Ф. не любила Чехова. Она не может, по ее словам, простить ему его отношения к Софье II. Бонье, с кот. Чехов, по ее словам, жил 20 лет. Удивительно она оживлена, моложава, гармонична. 〈...〉

17/VII. Сейчас было мое последнее чеховское выступление — в зале Чайковского. Я прибежал туда в каких-то рябых шлепанцах, которые давно надо выбросить,— и *без носков.* Директор зала дал мне на время свои носки. 〈...〉

5/X. Сейчас вырезали из «Нового Мира» мою статью о Репине. 〈...〉

---

* «Ожерелье Юстаса» Троллопа, «Черный тюльпан» Ал. Дюма, «Барчестерские башни» Троллопа, «Поездка в Индию» Форстера *(англ.).*

** «Ньюкомы» (*англ.*).

*** «Случай из международной жизни» (*англ.*).

**** «Я умираю» (*нем.*).

21/XI. Третьего дня приехала Женина мама[3]. Она там, в Иошкар Ола, вышла замуж. Женя вбегает: «У меня есть американские рейтузы и родная сестра». Очень интересно рассказывает она о смерти Николая Александровича Пыпина: Пыпин жил у меня на Ленинградской квартире. Когда-то, лет десять назад в качестве бывш. военного, он б[ыл] выслан из Л-да в Саратов. Я похлопотал о нем у Катаняна и тем погубил его, п. ч. в Саратове он жил бы до сей минуты, а в Л-де он умер от голода[4]. Женат он был на Екат. Николаевне — и отношения у них были чопорные, церемонные — в петерб. стиле. И вот оказывается — незадолго до смерти он украл у нее одну картофелину, заперся в ванну и съел, а она стояла у двери и кричала:

— Н. А., вы — вор! вор! вор! Никто не знает, что вы вор, а я осрамлю вас перед всеми.

Вот — голод. А прежде всю жизнь он целовал у нее ручку и водил в концерты.

Читаю Thomas Hardy «Far from the Madding Crowd»*.

Удивительно то, что ткань его повествований удивительно тонка, драгоценна, а то, что он шьет из этой ткани,— халтурная банальщина. Сюжет гораздо ниже манеры, техники. ⟨...⟩

3/XII. Павленко дал мне книжку Жоржика Иванова «Петербургские зимы», изд. в Париже в 1928 г., записки о первых годах революции — о Сологубе, об Анне Ахматовой, Гумилеве и проч., о людях, кот. я знал. Очень талантливо, много верного, но — каким папильоном кажется Жоржик. Порхавший в те грозные дни среди великих людей и событий. Таковы же были и его стихи: как будто хороши, но почти несуществующие; читаешь и чувствуешь, что в сущности можно без них обойтись. ⟨...⟩

1945 год.

9-го VI. ⟨...⟩

Записи Берестова

Скоро кончится война,
Скоро Гитлеру капут,
Скоро временные жены
Как коровы заревут.

Вот и кончилась война,
Как бы нам не прозевать,
По 20-му талону
Будут мальчиков давать.

Ах, ты, Гитлер косоглазый,
Тебе будет за грехи.
На том свете девки спросят:
А где наши женихи?

---

* «Вдали от обезумевшей толпы» (*англ.*).

Светит месяц высоко,
Не достанешь палочкой!
Через Гитлера косого
Не походишь парочкой.

Скоро кончится война,
Мы вернемся к жонушкам,
А погоны и ремни
Оставим ухажорочкам.

Как под городом Орловым
Шли жестокие бои,
Чернобровые мальчишечки
Лежали все в крови.

Девок много, девок много,
Девок некуда девать.
Скоро лошади подохнут,
Будут девок запрягать.

На тарелочке — две вилочки,
Кусочек пирожка,
Полбутылочки наливочки
Для милого дружка.

Ах, каки сейчас подружки,
Отбивают друг у дружки.
Я сама теперь того,
Тай отбить бы у кого.

6-го июля. Переехали всей семьей в Переделкино. На грузовике. Чудесно. Люша приладила новый гамак. Начал писать сказку о Карагоне [позднее сверху вписано: «Бибигоне».— *Е. Ч.*] — последнюю сказку моей жизни. ⟨...⟩

15 октября. Переезд в город с дачи. 2 ночи бессонные. Вчера — в Колонном зале. Ужас. Жду 10 часов: будет ли передаваться «Бибигон»? Боюсь, что нет. Читал ночью Пиквика, переписку Блока и Белого,— чорт знает, куда себя приткнуть. Скорее бы дожить! — или умереть!

1946

31 марта. ⟨...⟩ 1 час ночи. Принял мединал. Не заснул.
У Чехова в «Чайке»:

«— Лечиться в шестьдесят лет!

— И в шестьдесят лет жить хочется.

— Лечиться в шестьдесят лет, жалеть, что в молодости мало наслаждался, это, извините, легкомыслие».

Но ведь легкомыслие главное мое спасение.

Как чудесно, что в *великий предсмертный канун* я еще раз могу с волнением и радостью читать Чехова. 〈...〉

День моего рождения

1 апреля 1946. Хотя я не спал ночь, хотя ничего радостного я не жду, хотя и впереди и позади горькие обиды и смерти, настроение благостное, вполне именинное. Погода с утра ясная.

Первый подарок: дивная бумага от В. В. Виноградова!!! 〈...〉

Итак, у Чехова в «Чайке» к моему 64 летию:

Дорн: *Выражать недовольство жизнью в 62 года, согласитесь — это не великодушно.*

Сорин: *Какой упрямец. Поймите, жить хочется!*

Дорн: *Это легкомыслие. По законам природы всякая жизнь должна иметь конец.*

3 апреля. Тоска и полный упадок сил. Оглушаю себя лекарствами. 〈...〉

Читаю В. Виноградова «Стиль прозы Лермонтова». Исчерпывающая работа — фундаментальная — но конец Лермонтову, как живому писателю. 〈...〉

15 апреля, понедельник. Вчера Б. С. Ромашов читал всем свою комедию «Со всяким может случиться». Чтение мастерское, и язык свежий, но содержание неправдоподобное и в то же время банальное, дюжинное.

Вчера М. Б. привезла мне моего Григория Толстого, побывавшего в редакции Лит. наследства. Исковеркано до последней степени. Редакторы не оставили живого места, причем выправляли главным образом *слог.* Всякая живая мысль объявлена *«фельетонной».* 〈...〉

22 апр. понед. Вчера был у меня Валя Берестов и читал мне наброски своей записной книжки. Книжка крохотная, он носит ее в кармане штанов — и какие в ней шедевры талантливости. Я на радостях написал его матери Зинаиде Федоровне в Калугу большое письмо о том, что в его очерках виден и зрелый, безупречный, безошибочный вкус, и зоркий проникновенный талант, и благородная ненависть ко всякой фальши, и забронированность от всякого упадочнического, циничного, мелкого, вздорного. Какие записи об отце, о свирепости немцев, о героизме и нравственной выдержке пленных, о пассажирах в вагоне, о разговорах в толпе. Был у меня вчера Л. Квитко (с Бертой Самойловной) — и он рассказал, что Поликарпов снят «за грубость и самоуправство» — и что в Союзе Писателей атмосфера немного прояснилась. Квитко тоже восхищался Валей Берестовым. 〈...〉

8 V 46. С утра в Ленинской б-ке. Смотрел критич. статьи о Н[екра-

со]ве в «Москвитянине» и т. д. Днем в «Мурзилке». Вечером, впервые, у Твардовского. Чудесное впечатление: шестилетняя дочка Олечка, *понимающая* жена, много книг, внутренняя заинтересованность в литературе. Говорил о новой сказке Исаковского, которую «Правда» предложила ему изменить[1]. Жалуется, что его, Твардовского, «избранные стихи» печатаются 6 лет в Гослитиздате и все не могут выйти. О Еголине: был у нас в унив-те профессором — посмешищем студентов. Задавали ему вопросы, а он *ничегошеньки не знал*. О Ник. Тихонове: саботирует все свои обязанности по Союзу писателей: решительно ничего не делает. ⟨...⟩

Июня 25, вторник. Третьего дня вечером пришел ко мне в Переделкино Алянский и сказал, что ведется большая кампания против «Бибигона». ⟨...⟩ «Бибигон» вполне беззащитен. Стоит завтра какому-ниб. ослу заявить, что в этой сказке — политич. намеки, и книга будет изъята, Детгиз не выпустит ее, «Мурзилка» прекратит ее печатание. Встревоженный пошел я к Фадееву. Рассказал ему свое горе. Там был В. А. Каверин. Этот чудесный ч[елове]к принял мое горе до такой степени к сердцу, что решил поехать завтра в ЦК ВЛКСМ, чтобы отпарировать удары, направленные против «Бибигона». ⟨...⟩ В ЦК ВЛКСМ собрались все подсудимые: Бабушкина, Халтурин, я, Алянский. В качестве судей прибыли библиотекарши, два-три педагога, Лидия Кон — и Каверин. К «Бибигону» предъявлены были идиотские обвинения: «внучки мои *завизжали*», что это за выражение «завизжали»; и т. д.

«Мурзилка» — дрянной журнал — но по существу никто не умел его выругать, говорили обиняками, о «Бибигоне» никто не сказал ни одного дельного слова, но разноса не было. Напротив, говорили, что «дети любят его», что «хоть это и чепуха, а забавно» и т. д. Каверин сильно поддержал меня: он сказал, что я владею «тайной» увлекать детей и что «Б[ибиг]он» энергичен, динамичен и проч.

В общем все обошлось благополучно — но главный бой отложен на четверг. Мишакова, усталая, но все еще прелестная, сказала, что это совещание собирается по случаю того, что И. В. Сталин выразил свое неодобрение издающимся в СССР журналам и потребовал, чтобы они повысили свое качество. ЦК ВЛКСМ решило рассмотреть все журналы и каждому сделать свои предложения. Рассматривается каждый журнал дважды — сначала у Мишаковой, потом на основе первого рассмотрения у Михайлова. Так что еще раз будут сечь «Бибигона» в четверг.

Все это я записываю только для того, чтобы записать изумительное поведение Фадеева, который сегодня утром пришел ко мне узнать, чем кончилась вчерашняя история. «Мы с Ангелиной Осиповной так взволновались третьего дня». Фадеев говорил: о томе Толстого за 1859 год, как отвратителен его язык, в смысле похабщины: «Ангел. Ос-на стала было читать и сказал[а]: Фу! и бросила». Говорил о Панферове: «я еще не читал его статьи, нужно прочесть,

ведь несомненно, он приедет ко мне плакаться[2]. Панф. неплохой ч[елове]к, но если б вы знали, какой невежественный. Вряд ли он прочитал хотя бы всего Тург[енева]...» Рассказывал о Горьком: Горький пригласил их всех, чтобы выслушать все их мнения, а потом изложить свое. Но кто-то (кажется, Динамов) только что начал излагать свое мнение, как Горький прервал его на полуслове — и стал читать свою статью, а потом отпустил домой. 〈...〉

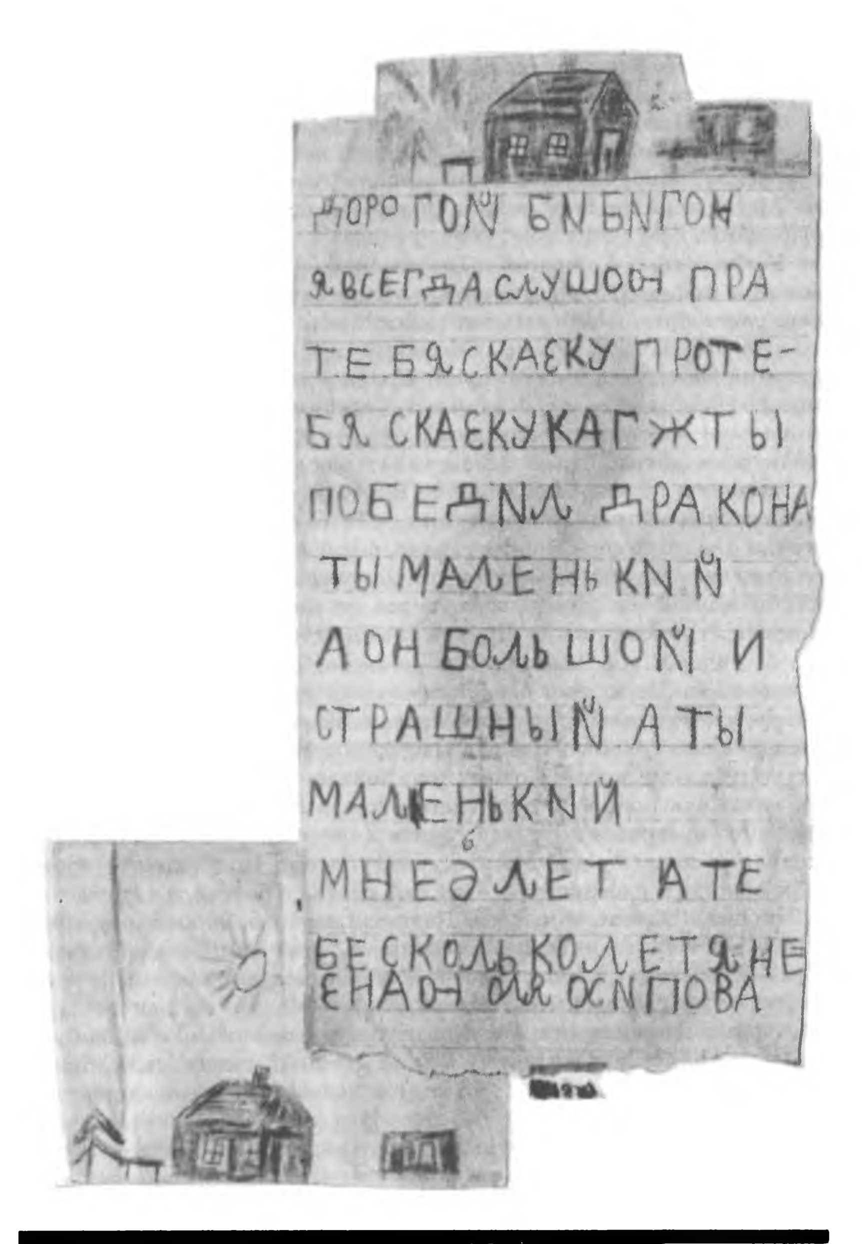
21 августа. 〈...〉 Встретил на улице Конст. Симонова. Он только что из Парижа, рассказывал о Бунине, о Тэффи, о Ремизове. Мережковские, оказывается, были заядлыми гитлеровцами и получали подачки от Муссолини. Эти богоискатели всю жизнь продавались кому-ниб. Я помню их, как они лебезили перед Сытиным, перед Румановым. Помню скандал, когда Суворинцы в «Нов. Вр.» напечатали их заискивающие письма к Суворину...[3] Сейчас узнал, что вчера на бедного Виталия Тренева налетела грузовая машина и нанесла ему тяжелые увечья.

Из поездки по Днепру воротился А. А. Фадеев... Есть признаки, что против моего «Бибигона» ведется яростная кампания...— Работаю над книгой о Некрасове.— Третьего дня Бабушкину вызвал к себе Михайлов и снял ее с работы. Халтурин тоже устранен. Я часто встречаюсь с Леонидом Леоновым — и любуюсь его великолепным характером. Это сильный человек — отлично вооруженный для жизни. Он приходит ко мне раза два в неделю — говорит без конца — но *никогда не говорит* о своих планах, удачах, затеях. Завтра у него, скажем, премьера в Малом театре, вчера у него вышла новая книга,— он говорит 3 часа и не проронит об этом ни слова. У него не только нет ни тени хвастовства, но напротив, он всегда говорит только о своих неуспехах, провалах и проч. У него золотые руки: он умеет делать абажуры, столы, стулья, он лепит из глины портреты, он сделал себе великолепную зажигалку из меди, у него много станков, инструментов, и стоит только посмотреть, как он держит в руках какие-нибудь семена или ягоды, чтобы понять, что он — великий садовод. При видимом простодушии он всегда себе на уме. Это породистый и хорошо организованный человек, до странности лишенный доброты, но хороших кровей, в нем много поэзии,— типический русский характер.

Третьего дня я был у Пастернака: он пишет роман. Полон творческих сил, но по-прежнему его речь изобилует прелестными невнятными туманностями.

23. Часы нашлись. Ночью была буря. Сломались бальзамины. Был Леонов. Говорил, что верит в бессмертие души, и рассказывал, как он вызывал тени Суворова и Нельсона. Он строит теплицу — великолепную и весь поглощен ею.

26. Неделя об Ахматовой и Зощенко. Дело, конечно, не в них, а в



ДОРОГОЙ БИБИГОН
Я ВСЕГДА СЛУШОЮ ПРА
ТЕБЯ СКАЕКУ ПРО ТЕ-
БЯ СКАЕКУ КАГЖТЫ
ПОБЕДИЛ ДРАКОНА
ТЫ МАЛЕНЬКИЙ
А ОН БОЛЬШОЙ И
СТРАШНЫЙ А ТЫ
МАЛЕНЬКИЙ
МНЕ 6 ЛЕТ А ТЕ
БЕ СКОЛЬКО ЛЕТ Я НЕ
ЕНАЮ ОЛЯ ОСИПОВА

Детское письмо

правильном воспитании молодежи. Здесь мы все виноваты, но гл. обр. по неведению. Почему наши руководители Фадеев, Тихонов — не указали нам, что настроения мирного времени теперь неуместны, что послевоенный период — не есть передышка, что *вся* литература без изъятия должна быть боевой и воспитывающей?[4]

Третьего дня был у меня Фадеев. Поправился,— розовый, толстый. Рассказывал о своей поездке в Одещину с Вандой Василевской, Корнейчуком и «Линой» [Ангелиной Степановой.— *Е. Ч.*]. Стреляли зайцев, ловили рыбу — водились с черноморскими рыбаками. ⟨...⟩

У Федина — Алянский, Паустовский, Гус. Только и разговоров — о Зощенко и Ахматовой. Я всячески запретил себе подобные разговоры — они мешают работать.

Сегодня 29 августа в пятницу в «Правде» ругательный фельетон о моем «Бибигоне»— и о Колином «Серебряном острове»[5]. Значит, опять мне на старости голодный год — и как страшно положение Коли: трое детей, строится квартира и после каторжных трудов — ни копейки денег. Был у меня Боровой — мы гуляли с ним — было весело — пришли с прогулки — М. Б. говорит: «посмотри, вот статья о «Бибигоне». Погода теплая, сыроватая. Все же у меня хватило силы прочитать Боровому о Некрасове, но сейчас сердце болит до колик — и ничего взять в рот не могу. Пришел Пастернак. Бодрый, громогласный. Принес свою статью о Шекспире. ⟨...⟩

5 сентября. Весь день безостановочный дождь. ⟨...⟩ В «Правде» вчера изничтожают Василия Гроссмана[6].— Третьего дня у меня был Леонов. Говорит: почему Пастернак мешает нам, его друзьям, вступиться за него? Почему он болтает чорт знает что? ⟨...⟩ Рассказывал подробно о заседании президиума: выступление Фадеева об Антокольском и Гурвиче («почему Гурвич никогда не похвалит ничего советского?»), выступление Поликарпова против «Знамени», Тарасенкова — «вот есть статья о поэтах, и тут сказано: «Тихонов, Пастернак и т. д.». Неужели вам это не обидно, т. Тихонов?»[7].— Я читаю: «Благонамеренные речи» Щедрина, «Записки» Г. З. Елисеева, дневник Блока,— занимаюсь с Женей и не вижу никаких просветов в своей стариковской жизни: ни одного друга, ни одного вдохновения. В сущности я всю жизнь провел за бумагой — и единственный у меня был душевный отдых: дети. Теперь меня ошельмовали перед детьми, а все, что я знаю, никому не нужно. ⟨...⟩

Меня мало смущают судьбы отдельных литераторов — и моя в том числе — но неужели мне перед самой могилой увидеть судьбу всего мира?

Надо взять мою тоску измором — задушить ее непосильной работой. Берусь за мою рукопись о Некрасове, которая так же клочковата, как и все в моей жизни сейчас.

Был сейчас Нилин. У него ни гроша. Изъятие «Большой жизни»

лишило его гонорара 440 000 р.[8]. Но он счастлив: ему дана командировка в Донбасс, он вскоре поедет туда и попытается загладить ошибку. После Нилина пришел ко мне Леонов. Весел, моложав, похож на Сурикова (на портрете Репина). Ву зет фатигэ? Пермете муа!* — заговорил он на своем французском яз. Оказывается, сегодня уже кончилось заседание президиума. Результаты: Фадеев — генеральный секретарь. Тихонов, Вишневский, Корнейчук, Симонов — его заместители. В секретариате Борис Горбатов и Леонов... Сегодня в разговоре все свои сравнения он брал из области садоводства. О романе Фадеева: «какая структура у клена, какая структура у самшита, медленно создаются новые клетки. А вон за окном ваш бальзамин — клетки увидишь без микроскопа, огромный, в три месяца достиг высоты, какой клену не достичь и в 12,— но трава, бурьян. Таков и фадеевский роман». Говорит, что не может написать и десятой доли того, что хотелось бы. «А вы думаете, почему я столько души вкладываю в теплицу, в зажигалки?.. Это торможение. Теплица — мой роман, зажигалка — рассказ».

«Ненавижу утечку полезного материала. Домработница Настя сыплет в траву овес для кур. Я убил бы ее за это. И все она делает так. Угощать я люблю, пусть едят, сколько хотят. Но взять яблоко, не доесть и бросить—это мне ненавистно...» ⟨...⟩ Зощенко и Ахматова исключены из Союза писателей. Говорят, Зощенко заявил, что у него денег хватит на 2 года и что он за эти 2 года напишет такую повесть, кот. загладит все прежние. ⟨...⟩

По поводу пьесы Гроссмана, разруганной в «Правде», Леонов говорит: «Гр[оссман] оч[ень] неопытен — он должен был свои заветные мысли вложить в уста какому-нибудь идиоту, заведомому болвану. Если бы вздумали придраться, он мог бы сказать: да ведь это говорит идиот!»

8. Опять солнце; возился с клубникой. Написал о Белинском в книгу о Некрасове.

10 сентября. ⟨...⟩ Вчера вечером были у нас Леоновы, а я в это время был на чтении у Пастернака. Он давно уже хотел почитать мне роман, кот. он пишет сейчас. Он читал этот роман Федину и Погодину, звал и меня. Третьего дня сказал Коле, что чтение состоится в воскресенье. Заодно пригласил он и Колю и Марину. А как нарочно в этот день, на который назначено чтение, в «Правде» напечатана резолюция Президиума ССП, где Пастернака объявляют «безидейным, далеким от советской действительности автором». Я был уверен, что чтение отложено, что Пастернак горько переживает «печать отвержения», кот. заклеймили его. Оказалось, что он именно на этот день назвал кучу народа: Звягинцева, Корнелий, Вильмонт и еще человек десять неизвестных. Роман его я плохо усвоил, т. к. вечером я не умею слушать, устаю за день к 8-ми

* Вы устали? Позвольте! (*франц.*)

часам, но при всей прелести отдельных кусков — главным обр., относящихся к детству и к описаниям природы — он показался мне посторонним, сбивчивым, далеким от моего бытия — и слишком многое в нем не вызвало во мне никакого участия. Тут и девушка, кот. развращает старик-адвокат, и ее мать, с которой он сожительствует, и мальчики Юра, Ника, Миша, и какой-то Николай Николаевич, умиляющийся Нагорной проповедью и утверждающий вечную силу евангельских истин.

Потом Юра — уже юноша сочиняет стихи — в роман будут вкраплены стихи этого Юры — совсем пастернаковские — о бабьем лете и о мартовской капели — очень хорошие своими «импрессионами», но ничуть не выражающие душевного «настройства» героя.

Потом П[астерна]к пригласил всех ужинать. Но я был так утомлен романом и мне показалось таким неуместным этот «пир» Пастернака — что-то вроде бравады — и я поспешил уйти. Я считаю гораздо более правильным поведение Зощенко: говорят, что он признал многие обвинения правильными и дал обещание в течение ближайших двух лет написать такое произведение, кот. загладит его невольную вину.

Был у меня Леля Арнштам. Его привез сюда Симонов. Работает над исправлением Глинки[9].

Оказывается: Пастернак вчера вечером не знал, что напечатано о нем в «Правде»!!! Зин. Ник. скрыла от него газету. Уже за ужином (рассказывает Марина) гости проговорились об этой статье, и он был потрясен... Но почему в таком случае Зин. Ник. не отменила чтение. ⟨...⟩

16. Были вчера у Веры Инбер. Она рассказала о Маяковском. М. пришел в какое-то кабаре вскоре после того, как Есенин сошелся с Айседорой Дункан. Конферансье — кажется Гаркави — сказал: «вот еще один знаменитый поэт. Пожелаем и ему найти себе какую-нибудь Айседору».

М. ответил:

«Может быть, и найдется Айседура, но Айседураков больше нет». ⟨...⟩

26 сентября. Первый погожий день после убийственной слякоти. Был у меня Ал. Ив. Пантелеев, и мы пошли с ним на Неясную поляну. За нами увязались веселые дети: Леночка Тренева, Варя Арбузова, Леня Пастернак и еще какие-то — шестилетние, пятилетние, восьмилетние веселой гирляндой — тут драка не драка, игра не игра. Барахтаются, визжат, цепляются — в каком-то широком ритме, который всегда дается детям осенью, в солнечный день — подарили мне подсолнухов, оборвали для меня всю рябину — и мне вдруг после страшно тяжелой похоронной тоски стало так

весело, так по-детски безбрежно и размашисто весело, что, должно быть, А. И. с изумлением смотрел на этот припадок стариковской резвости. ⟨...⟩

13 октября. Ночью выпал снег. И хотя просвечивает солнце, снег держится упорно на деревьях и на ярко зеленой траве. На этой неделе я пережил величайшую панику и провел несколько бессонных ночей. Дело в том, что я получил за подписью Головенченко (директора Гослитиздата) приглашение на заседание Редсовета — причем на повестке дня было сказано:

1. Решение ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград» и задачи Гослитиздата.

2. Обсуждение состава сборников избр. произведений Н. Н. Асеева и И. Л. Сельвинского и третьей книги романа В. И. Костылева «Иван Грозный».

3. Обсуждение плана полного собр. сочинений Некрасова.

Таким образом, моя работа над Некрасовым должна будет обсуждаться в качестве одной из иллюстраций к речи тов. Жданова о Зощенко, Ахматовой и проч. Я пришел в ужас. Мне представилось, что на этом митинге меня будут шельмовать и клеймить за мои работы над Некрасовым и в качестве оргвыводов отнимут у меня редакцию сочинений Некрасова, и мне уже заранее слышалось злорадное эхо десятка газет: «Ай да горе-редактор, испоганивший поэзию Некрасова». Это была вполне возможная награда за 35-летний мой труд, и мне представилось, что именно такова должна быть подготовка к юбилею Некрасова. Бессонница моя дошла до предела. Не только спать, но и лежать я не мог, я бегал по комнате и *выл* часами. Написал отчаянное письмо Фадееву и помертвелый, больной, постаревший лет на 10 пришел в Гослитиздат — под шпитцрутены. Заседание было внизу в большом зале. Первая, кого я увидел, была Людмила Дубровина, глава Детиздата, которая на прошлой неделе велела вернуть мне без объяснения причин мою работу над Некрасовым, сделанную по ее заказу. К счастью, все обошлось превосходно. И все это было наваждением страха. Я остался редактором стихотворений Некрасова — и Дубровина осталась ни с чем.

12 ноября. Сегодня мы переезжаем в город. С самой нежной благодарностью буду я вспоминать эту комнату, где я ежедневно трудился с 3—4 часов утра—до 5 вечера. Это самая любимая моя комната из всех, в каких я когда-либо жил. Это кресло, этот круглый стол, эта неспорая и вялая — но бесконечно любимая работа, как они помогали мне жить. ⟨...⟩

Фадеев ведет себя по отношению ко мне изумительно. Выслушав фрагменты моей будущей книги, он написал 4 письма: два мне, одно Симонову в «Новый мир», другое Панферову — в «Октябрь», хваля эту вещь[10]; кроме того, *восторженно* отозвался о ней в редакции «Литгазеты»; и, говорят, написал еще большое письмо о том, что пора прекратить травлю против меня.

Он переутомлен, у него бессонница, работа сверх головы, прочитывает груды чужих рукописей, одни приемы в Союзе отнимают у него десятки часов, но — грудь у него всегда вперед, движения очень четки, лаконичны, точны, и во всем, что он делает, чувствуется сила. ⟨...⟩

13 ноября. Утром вбегает Женя:

— Радость! Радость!

И показывает новый номер «Мурзилки», где нет «Бибигона»![11] «Бибигона» оборвали на самом интересном месте, причем — и рисунки Конашевича стали лучше! Главное, покуда зло торжествует, сказка печатается. Но там, где начинается развязка,— ее не дали детям, утаили, лишили детей того нравственного удовлетворения, какое дает им победа добра над злом.

18 ноября. У руководителей Союза писателей — очень неподвижные лица. Застывшие. Самое неподвижное — у Тихонова. Он может слушать вас часами и не выражать на лице ничего. Очень неподвижное у Соболева. У Фадеева, у Симонова. Должно быть, это — от привычки председательствовать. Впрочем, я заметил, что в нынешнюю волевую эпоху вообще лица русских людей менее склонны к мимике, чем в прежнее время. Мое, напр., лицо во всяком нынешнем обществ. собрании кажется чересчур подвижное, ежеминутно меняющимся, и это отчуждает от меня, делает меня несолидным.

Вчера сдал наконец статейку о Некрасове в «Новый Мир». Симонов работает в журнале очень много: вчера весь день сидел в редакции, запершись с Кривицким. Вот сколько инстанций прошла моя статья: с нею познакомились Фадеев, Симонов, Н. И. Замошкин, Бровман, завтра прочтет Кривицкий — и, конечно, это только начало[12]. ⟨...⟩

23 ноября. ⟨...⟩

Я дал в «Огонек» открытое мною стихотв. Некрасова:

Администратор оступился,
Писатель глупость сочинил,
Ура! весь город оживился,
Как будто праздник наступил,—
и т. д.

Ступникер возвратил мне его, т. к. «могут найти параллели»!!! Ст[ихотворен]ие написано в 1867 году.

В «Литгазете» завтра идет моя статья. «Белинский о поэме «Несчастные» — первое мое выступление в печати после «Бибигона»! ⟨...⟩

29 ноября. Пятница. Сегодня опубликован список членов Некрасовского комитета. Еще вчера вечером Фадеев не знал об этом. Он

сказал мне: «Очевидно, правительство решило не устраивать 125-летнего юбилея. Будет только 150-летний».

А сегодня утром звонит: К. И., юбилейный некрасовский ком[итет] состоится. Вы включены. Что делать? Кто должен быть докладчиком? Лебедев-Полянский? Еголин, как нарочно, в Сочи (я послал ему молнию), а Твардовский улетел в Болгарию. Все б[ыли] уверены, что некрасовского комитета не будет.

Сегодня в «Литгазете» в первый раз новый редактор Ермилов — приступил к исполнению своих обязанностей. Я поднялся на 3-й этаж — в самую гущу заседания — увидел Е. И. Ковальчик, Брайнину и др. Ермилов сказал: «вас интересует ваша статья? Она пойдет. Мы прочли ее — отличная статья». Между тем статья слабоватая — и найденные мною стихи Некрасова плохи: явный черновик![13] Позвонили из «Известий», не дам ли я статейку о Некрасове. ⟨...⟩

15/XII. У Лиды болят глаза — лопнул сосуд. Симонов (К) предложил ей заведывать стихами в «Новом мире». ⟨...⟩

20/XII. Вчера читал в клубе им. Серафимовича при каком-то военном заводе. Клуб огромный, коридоры, лестницы, плакаты. Сцена величиною с Казанскую площадь. Я долго отказывался, но меня Христом богом молили какой-то артист Николаев, какая-то девица из Филармонии и жена Николаева (как потом оказалось): «У нас уютно, у нас так жаждут, так жаждут... Вся интеллигенция завода... инженерно-технический состав... Будьте так великодушны...» Я согласился. Продержал корректуру своей статейки для «Нового мира», (котор. мне не нравится, т. к. она вся написана во время бешеной травли меня Детиздатом — невдохновенно и робко) — и не мог отдохнуть, так как меня посетил Заболоцкий, потом — И. А. Груздев по поводу Некрасова,— я никак не мог досидеть дома и поговорить с Груздевым как следует, так как ждет «актер Николаев». Не выпив чаю, сбежал вниз — нет Николаева! Он прибыл через полчаса в маленькой машине со своим шофером, которому он платит 1200 (как он сообщил потом) — бобровый воротник, бобровая шапка — везет меня в клуб — приезжаем: в огромном зале человек 50— не больше — холодно! — «куда же натопить такую махину» — я в дурацких валенках, в порванном пиджаке — на огромной сцене со своими бумажками — о семантике и мелодике Некрасова. Никто не слушает, разговаривают, ходят. ⟨...⟩

Вечером к Збарским. Он сейчас из Парижа. Загорелый, усталый — показывал вырезки из парижских газет, где Zbarsky, Zbansky и даже Zvarski и проч. Рассказывал, как любят нас французы и как разрушен Кенигсберг; какие руины в Берлине — и взялся устроить меня в онкологический институт на операцию. И я вдруг почувствовал радость, что у меня рак, и что мне скоро уйти из этого милого мира, я почувствовал, что я и вправду — страда-

лец — банкрот — раздавленный сапогом неудачник. Абсолютно ни в чем невиновный. Я вспомнил свою жизнь — труженическую, вспомнил свою любовь — к детям, к книгам, к поэзии, к людям, вспомнил, как *любили* меня когда-то Тынянов, Леонид Андреев, Кони, как тянулись ко мне миллионы детей,— и увидел себя одинокого, жалкого, старого на эстраде безлюдного клуба... оклеветанного неизвестно за что. 〈...〉

Новый 1947 г.

Лег в 9 час. вечера; спал до 11.45.

Разбудили застенные новогодние вопли. Попили мы с М. Б. чаю — и я засел за корректуру глупейших некрасовских пьес.

Сегодня придет ко мне Юлиан Гр. Оксман, только что вернувшийся из ссылки. 〈...〉

15 февраля. [в больнице.— *Е. Ч.*] 〈...〉 Сегодня был у меня Андроников с Вивой. Привез мне изюму. Врачи сошлись, чтобы послушать его. Был А. С. Попов, была Эльза Федоровна, Мария Александровна, Рина Борисовна. Андроников показал сцену «Маршак и Андроников у телефона». Великолепно передал он звучание смеха, передаваемое телефонной мембраной. Сидел у меня часа три. Замечательную вещь я подметил в его искусстве сегодня. Он рассказывал мне содержание речи Фадеева — о Пушкине, о Тургеневе, о Толстом и Чехове — и заботился только о том, чтобы точно передать эту речь, но, передавая ее, очевидно, так ясно представил себе Фадеева, что незаметно для себя самого стал воспроизводить его интонации, вскидывал по-фадеевски голову и смеялся тем внезапным, мгновенно потухающим смехом, который характерен для Фадеева. Чем больше вспоминал он *содержание речи,* тем живее возникал перед ним образ Фадеева — и это происходило независимо от воли Андроникова, само собою, нечаянно. Он показал ту физиологию, которой обусловлена логика, и логика от этого потеряла свою общеобязательность. 〈...〉

24 февраля. Вчера был у Людмилы Толстой по случаю годовщины смерти Ал. Н-ча. Огромный стол в виде буквы «Т» ломится под яствами. Пришли художник П. П. Кончаловский с женой, Майский с женой, граф Игнатьев с женой, Меркуров, Е. П. Пешкова, Федин с женой, муж Марьяны (генерал) с Машей, внучкой Репина, Шкловский и т. д. Мне стало грустно, я сбежал. Вместе со мною удрал Меркуров, скульптор — во дворе мы разговорились с ним. 〈...〉 Мне было так тяжко, что я обрадовался, когда С. Д. пригласил меня

к себе — посмотреть его новые работы. По дороге он угощал меня анекдотами — колоссально непристойными, причем, уверял, что ему их рассказала сейчас жена одного генерала. Приехали мы в его ателье — я чуть не написал: фабрику. Во дворе засыпанные снегом — бюсты членов Политбюро, огромная панорама-барельеф, фигуры, памятники — очень причудливо — во тьме, в снегу — сказочно,— в трех мастерских я видел титана Гоголя, у к-рого плащ развевается, точно в аэротрубе веселого гиганта,— в к-ром нет ни одной гоголевской черты, и несмотря на крупные пропорции — дряблая и вялая фигура. Тут же позолоченный саркофаг Калинина; тут же великолепно обобщенный — очень благородно трактованный Сталин — для Армении: голова гигантской фигуры. Но главное: маски. Он снимал с умерших маски. Есть маска Макса Волошина, Андрея Белого, Маяковского, Дзержинского, Крупской и т. д., и т. д. не меньше полусотни — очень странно себя чувствуешь, когда со стен глядят на тебя покойники, только что бывшие живыми, еще не остывшие (Меркуров снимает маски тотчас же после конвульсий).

Потом он угостил меня ужином и показал старую книгу Грабаря, где приведены цитаты из Антокольского (нарочито еврейские: «Я махаю шаблей» и проч.), и стал доказывать антисемитизм Грабаря. Потом по воспоминаниям Грабаря доказал, что Грабарь небезвыгодно для себя продавал за границу эрмитажные картины и проч.— И все же впечатление от него очень милое: несмотря ни на что, это талантливый, жизнеспособный человек.

17/III 1947. Недавно в Литгазете был отчет о собрании детских писателей, на к-ром выступал и я. Газета перечисляла: Маршак, Михалков, Барто, Кассиль и *другие*. Оказалось, что «и другие» это я.

Замечательнее всего то, что это нисколько не задело меня.

Когда-то писали: «Чуковский, Маршак и друг.». Потом «Маршак, Чуковский и другие». Потом «Маршак, Михалков, Чуковский и друг.» Потом — «Маршак, Михалков, Барто, Кассиль и *другие*», причем, под этим последним словом разумеют меня, и все это не имеет для меня никакого значения. Но горько, горько, что я уже не чувствую в себе никакого таланта, что та власть над стихом, которая дала мне возможность шутя написать «Муху Цокотуху», «Мойдодыра» и т. д., совершенно покинула меня, и я действительно стал «*и другие*».

Приехал Конашевич. Завтра он и Алянский обедают у меня. 〈...〉

10 июня. Ночь на 11-ое. Не могу заснуть: весь день писал о Феофиле Толстом. 〈...〉

Видел я Пастернака. Бодр, грудь вперед, голова вскинута вверх. Читал мне свои переводы из Петёфи. Очень хорошо — иногда. А порою небрежно, сделано смаху, без оглядки. 〈...〉

16 июля. Среда. Вчера у Федина — пожар. Дом сгорел, как коробка спичек. Он — седой и спокойный, не потерял головы. Дора Сергеевна в слезах, растерянная. Я, Лида, Катя — прибежали с ведрами. Воды нет поблизости ни капли. ⟨...⟩ Литфонд показал себя во всей красе: ни багра, ни бочки с водой, ни шланга. Стыд и срам. Пожар заметили так рано, что могли бы потушить 10-тью ведрами, но их не было. ⟨...⟩

8 ноября. Послезавтра уезжать. Мокрый снег. Только что закончил писать свою отповедь друзьям Максимовича. Ко всем моим бедам прибавилась и эта клевета. Должно быть, в 1935 году, а может быть, и раньше познакомился я с А. Я. Максимовичем. Это был полураздавленный, жалкий, неприкаянный молодой человек, только что вернувшийся из ссылки. Я взял его к себе в секретари, выхлопотал ему паспорт. Он ожил, стал бегать по моим поручениям, и так как главное мое занятие в то вр[емя] был Некрасов,— прилепился душою к некрасовским темам. Вначале мне казалось, что из него не будет толку, так как он не владел литературною речью, но он был на диво настойчив, работящ — и загорелся своей темой, как пожаром. В несколько лет из него выработался большой специалист по Некрасову — и когда в Гослитиздате было затеяно Собрание сочинений Некрасова, мы привлекли его к работе над некрасовской текстологией. Он страстно отдался этой работе и сделал ее всю с большим умением, но и с большими претензиями. Он потребовал, чтобы мы признали его моим соредактором. Если выразить количество тех поправок и дополнений, которые я внес в некрасовские тексты за 35 лет моей работы цифрой 100, количество поправок, которые внесены Максимовичем, едва ли можно будет выразить цифрой 0,01 — и тем не менее Евг.-Максимов и Лебедев-Полянский, чтобы напакостить мне, утвердили его моим соредактором. Я не противился, ибо не в этом было мое честолюбие. Это было в 1938 году. Вскоре Максимович умер. Мы затеяли новое издание, которое я осуществил без всякого его участия, и вот Евг.-М[аксимов] требует, чтобы я поставил на обложке фамилию Максимовича, как моего соредактора.

Требование подлое, внушенное завистью. С тех пор, как в 1918 году по настоянию А. Блока и А. Луначарского меня, а не Евг.-М. сделали редактором стих-ий Некрасова, Евг.-Максимов не может простить мне этого, как ему кажется, distinction*; и науськивает на меня кого может. И вот уже 4 дня я пишу свои объяснения по поводу А. Я. Максимовича, которого я очень любил и которому сделал добра больше, чем все его друзья, взятые вместе. ⟨...⟩

21.XI. Просиживаю дни в Лен. библиотеке над некрасовскими руко-

* Отличия (*англ.*).

письмами. Оказывается, Максимович, к-рому я слепо доверял, очень много напутал, и теперь приходится проверять каждую строчку; тупая работа, совершенно истощающая мозги. ⟨...⟩

30/XII. ⟨...⟩ Вчера в Гослитиздате видел Сергеева-Ценского. Ф. М. Головенченко сообщил ему, что решено не печатать его Избранных сочинений. Он стал кричать: «вы издаете Симоновых и Фадеевых — этих бездарностей с партбилетом (!), я пишу лучше их всех, я написал больше, чем Лев Толстой, Куприн мне и в подметки не годится, Куприн не знал, откуда поговорка: «сухо дерево — завтра пятница», я ему объяснил (назад не пятится), потому что я — художник, не то что ваш поганый Глеб Успенский... я... я... я...» Это было так патетично, эта страстная влюбленность в себя. «Я когда-то гирей мог креститься... Я знаю всю Россию и Россия меня знает». Шамкающий, глухой, лохматый старик. Я вспомнил его по-цыгански чорным, талантливым, милым — сколько вышагали мы с ним по Ленинграду — и к Вяч. Ив[ано]ву, и к Сологубу, и сколько встречались у Куприных. Его самовлюбленность казалась нам прелестною блажью — и никому не мешала. А теперь его просто жалко: весь мир он заслонил от себя своей личностью, и ничего даже вспомнить не может такого, что не имеет прямого отношения к нему. Его воспоминания о Репине очень характерны: все, что касается Репина, он забыл, перепутал. Обо мне там нет ни единого слова правды — он вообразил, будто я и в самом деле не знал, что 7 цветов радуги дают в соединении белый цвет, между тем как я говорил ему в шутку: «что это у вас снег всегда либо зеленый, либо пунцовый, либо оранжевый, ну хоть бы раз изобразили его белым».

К новому году написал поздравительные письма: Конашевичу, Ермольевой и др. Вчера Литгазета потребовала у меня написать 100 строк о самой лучшей и о самой худшей книге 1947 года. Я с увлечением написал о Нечкиной («Грибоедов и декабристы»), снес самолично в редакцию, и оказалось: так как никто другой не написал в подходящем стиле, весь задуманный отдел развалился — и зря я потерял целое утро. Вот даю себе слово уйти в Некрасова и не соблазняться газетной работой. Сколько я истратил души на такую мелочь и чушь! ⟨...⟩

Квитке я написал такое поздравление:

Если б не Детиздат,
Был бы я теперь богат,
И послал бы я друзьям
Двадцать тысяч телеграмм,
Но меня разорил он до нитки
И нанес мне такие убытки,
Что приходится, милые Квитки,
Поздравлять Вас сегодня в открытке.

1948

1 января. Ночь. Целую ночь — с часу до пяти читал «Трудное время» Слепцова,— прелестная талантливая вещь — единственная прелестная вещь 60-х годов. Каждый человек не двух измерений, как было принято в тогдашней беллетристике, а трех измерений, и хотя схема шаблонная, но нигде ни одной шаблонной строки. Вот истинный предтеча Чехова.

Так как Детиздат разорил меня, я согласился ежедневно выступать на детских елках, чтобы хоть немного подработать. А мне 66 лет, и я имею право отдохнуть. Боже, как опостылела мне эта скорбная, безысходная жизнь. ⟨...⟩

20 декабря. ⟨...⟩ Сегодня сдал в Детгиз обновленного и исправленного «Робинзона Крузо» с предисловием. Предисловие бесцветное, и ради него не стоило читать так много о Дефо, как прочел я: и у «Чемберса», и в «Encycl. Brit.», и в «Cambridge History of English Literature»*, и у Алибона изучил его биографию, достал библиографию его трудов, а написал $1^1/_2$ странички банального текста. ⟨...⟩

30 декабря. На улице слякоть. Прежде рождество было морозное, а пасха — слякотная. Теперь почти всегда наоборот. ⟨...⟩

Был Андроников. Принес свою книгу о Лермонтове. Рассказал о своей Актюбинской находке; показал список реликвий, вывезенных им из Актюбинска. Гениально говорил — о дикости, заброшенности, вульгарности этого мрачного города. Рассказал историю Бурцева, собравшего столько ценнейших бумаг. Письма Лермонтова, Некрасова, весь булгаринский архив, письма Чехова, Карамзина, Ломоносова.

И как он рассказал обо всем этом! Для меня нет никакого сомнения, что Андроников человек гениальный. А я — стал убого бездарным,— и кажется, это стало всякому ясно. И мне совестно показываться в люди, как голому.

Другого гениального человека я видел сегодня, Илью Зильберштейна. Героическая, сумасшедшая воля. Он показал мне 1-й том своего двухтомного сборника «Репин». Изумительно отпечатанный, и какая у Зильберштейна пытливость, какая любовь к своей теме. Это будет огромным событием — эти две книги о Репине. Какой материал для будущего биографа Репина.

В Гослитиздате — огромный доклад Макашина об XI томе Некрасова (редакция Рейсера). Обычно рецензии пишутся на 10 страницах, даже на 7, на 6,— он написал на шести с половиной листах.

---

* «Энцикл[опедии] Брит[анника]» и в «Кембриджской Истории английской литературы» (*англ.*).

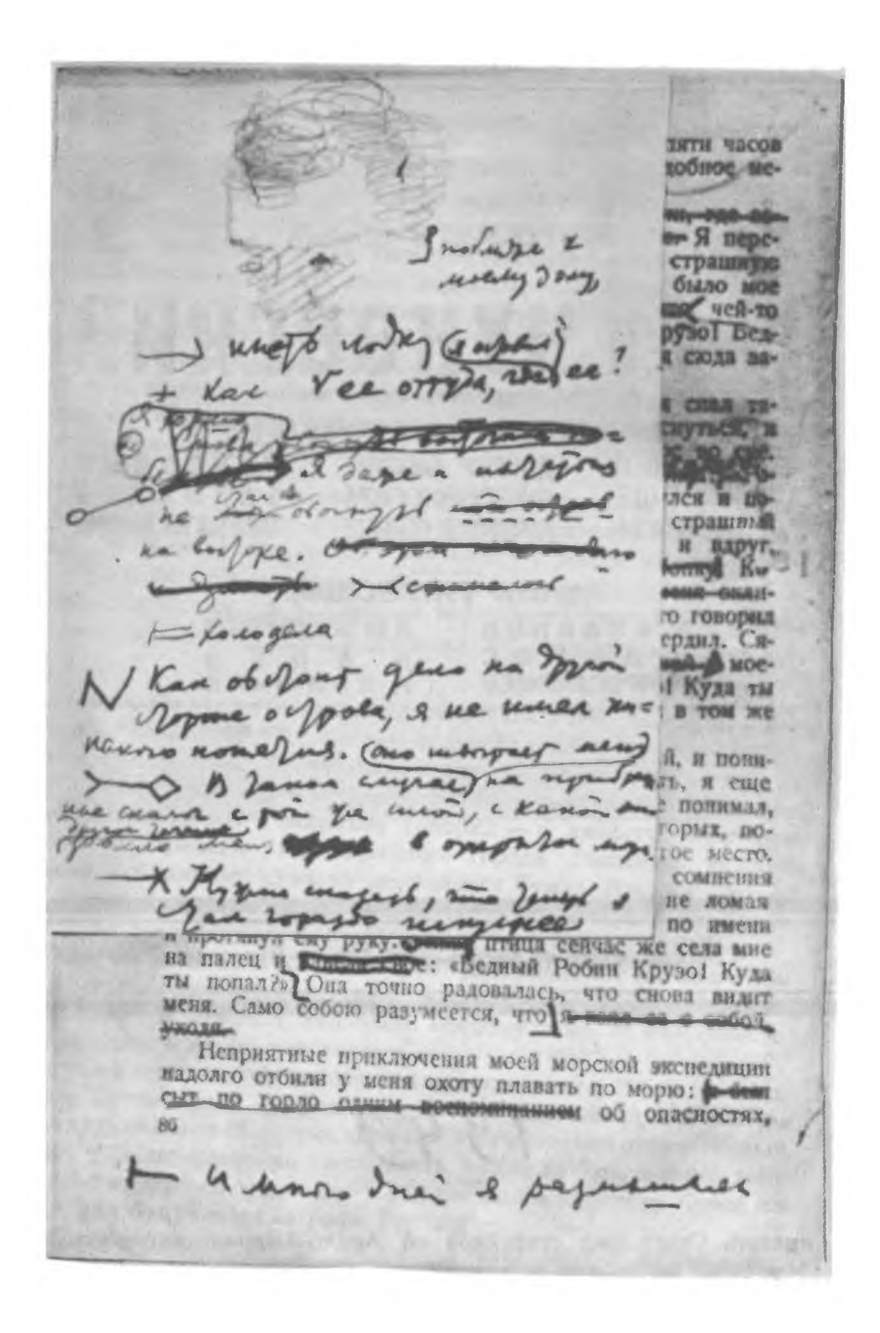


Афиша одного из выступлений Корнея Чуковского

1949

1 января. Сижу над статейкой об Англо-Америк. словесности. ⟨...⟩ я сижу за столом и думаю, что в конце концов сочетание цифр 1882—1949 — весьма завидная комбинация, на которую стыдно роптать, и что в порядке вещей, чтобы эта последняя цифра оказалась и вправду последней.

На 1948 год лучше не оглядываться. Это был год самого ремесленного, убивающего душу кропанья всевозможных (очень тупых!)



и протянул ему руку. [redacted] птица сейчас же села мне на палец и [redacted]: «Бедный Робин Крузо! Куда ты попал?» Она точно радовалась, что снова видит меня. Само собою разумеется, что я взял ее с собой, уходя.

Неприятные приключения моей морской экспедиции надолго отбили у меня охоту плавать по морю: [redacted] сыт по горло одним воспоминанием об опасностях,

86

Страницы книги Д. Дефо «Робинзон Крузо» в пересказе К. Чуковского. Правка текста для нового издания

Какой радостью показался мне каждое деревцо моего Гландариона! С ... смотрел я на эти долины, которые ... выделяли ... в моем ... сердце! Как радовался я, что снова увидел свое поле, свой ..., своего ... свою козу! Какой красивой показалась мне дорога к моему шалашу. Было уже вечером, когда я добрался до него. ...

Меня разбудил голос. Это был голос человека. Здесь, на этом острове, был человек, и он ...

которым подвергался. Конечно, было бы хорошо ... из этой стороне острова ... привести ... хотел и думать: я ни за что не рискнул бы обогнуть его еще раз; от одной мысли об этом у меня ... сердце и ... кровь ... Но что, если течение по ту сторону ... так же ... быстро, как и по эту? ... Словом, ... лучше остаться без лодки, чем рисковать из-за нее головой.

... во всех ручных работах, каких требовали условия моей жизни. ... мог бы при случае сойти за хорошего плотника, особенно если принять в расчет, как мало было у меня инструментов. Я и в гончарном деле сделал большой шаг вперед: устроил станок с вертящимся кругом, от чего моя работа

Когда я очутился на острове, я совершенно не умел обращаться с топором, а теперь я (совсем неотразимо!)

примечаний к трем томам огизовского «Некрасова», к двум томам детгизовского, к двум томам «Библиотеки поэта», к однотомнику «Московского рабочего», к однотомнику Огиза, к Авдотье Панаевой, к Слепцову и проч., и проч., и проч. Ни одной собственной строчки, ни одного самобытного слова, будто я не Чуковский, а Борщевский, Козмин или Ашукин. ⟨...⟩

9 мая. Воскр. Переехали в Переделкино.

Чудесный жаркий день. Хожу без пальто, в новом сером костюме. Сегодня Виктор Петрович Дорофеев, редактор Гослитиздата,— человек, как он любит выражаться, «несгибаемый» — протирает с песком мою несчастную статейку «Пушкин и Некрасов». Начало его переработки я видел — боже мой! — «широкий читатель», «Анненков размазывал», «острая борьба», «жгучая ненависть». Это умный и въедливый, но совершенно бесвкусный, воспитанный самой последней эпохой молодой человек — отлично вооруженный для роли сурового цензора, темпераментный, упрямый, фанатик. Читая вашу статью, он очень эмоционально относится к каждой строке и либо ненавидит то, что написано на данной странице, либо любит до страсти. Мне он нравится, и я любовался бы им, если бы дело не касалось меня. Моих мыслей мне не жалко — ибо всякому читателю ясно, в чем дело, но мне очень жаль моего «слога», от которого ни пера не осталось. Если бы не болезнь М. Б. и не нужда в деньгах, ни за что не согласился бы я на такую «обработку» статьи.

10/V. Понедельник. От $3^х$ до $8^{ми}$ ровно 5 час. мы с Дорофеевым спорили, ругались по поводу каждой строки, и я уступал, уступал, уступал. Дело происходило в Гослитиздате. Я вызвал туда Л. Ф. с машинкой... Она тотчас же переписывала все переделки. В наших спорах принимал участие Черемин; совсем молодой человек с лицом младенца, очень толковый и сведущий — в своей специальности. Двое против одного. За столом безучастно сидел Сергиевский И. В.— и криво улыбался. Он утомлен. Сгорбившись, целый день правил какую-то рукопись — вот так: на одной странице оставит одну строку, на другой две, а остальное черкает, черкает, черкает. Сбоку сидят еще три женщины: сестра Вяч. Полонского — Клавдия Павловна, рыжая Фелицата Ал-андровна и безвестная, бессловесная дева: за исключением Клавдии Павловны, все они с утра до вечера перекраивают чужие рукописи на свой лад, с тем, чтобы никакой авторской индивидуальности не осталось, не осталось никаких *личных* мнений, *своих* чувств и т. д. Все, что выходит из этой мастерской,— совершенно однородно по мыслям, по стилю, по идейной направленности.

II.V. Вторник. Холодная погода. Тучи. Боюсь, что М. Б. простудится.

18/V 1949. 4 часа утра. Прелестное утро. Птицы заливаются вовсю. Перед балконом у меня две вишни в полном цвету. Зелень кругом такой огненной яркости, какой я еще никогда не видал. «Молчит сомнительно восток», но уже предчувствуется «всемирный благовест лучей». А в душе у меня смутно и тяжко. Статья моя «Пушкин и Некрасов» — сверстана. Два дня я просидел в типографии, оберегая ее от дальнейших искажений, но все же она так искажена, что мне больно держать ее в руках[1]. [вырвана стр.— *Е. Ч.*] 〈...〉

А я вот уже несколько дней охвачен, как пожаром, книгой Филдинга «Tom Jones». У меня есть англ. собр. сочинений Fielding'a (1824) — и я никогда не читал ее. Вспоминаю, как упивался этими книгами покойный Лёва Лунц, но я почему-то не внял его призывам. И теперь случайно взял один томик — и очумел от восторга. Казалось бы, какое мне дело, будет ли обладать высокодевственной Софьей разгильдяй и повеса Джон,— но три дня я по воле автора только и хотел, чтобы это случилось. Всякая помеха, встречавшаяся Джонсом на пути к этому блаженству, встречалась мною с такой досадой, как личная неприятность, и порою я даже откладывал книгу — и весь слащавый конец книги, когда всем положительным героям стало хорошо, а всем отрицательным — плохо, доставил мне горячую радость. Может быть, мы, старые и очень несчастные люди, обманутые и ограбленные жизнью, так любим счастливые развязки в книгах, что развязки их собственной биографии так жестоки, так плачевны и трагичны. 〈...〉

16/VI. 〈...〉 У меня дела плоховатые. «Знамя» взяло было мою статейку «Пушк. и Н[екрасов]», хотя я предупредил их, что статейка войдет в состав брошюры. Они сказали, что это им не помешает. Теперь они заявляют: «ведь вышла брошюра!»

Корректур II тома «Библиотеки поэта» все еще нет.

Книга о Некрасове не пишется.

Тянет писать детскую сказку, но... Меня сковывает воспоминание о судьбе «Бибигона». 〈...〉

Я все читаю Филдинга. Кончаю Johnatan Wild — очень мучительная книга, ясно доказывающая низменность и гнусность «человеческой комедии». За исключением простонародия, все прочие персонажи говорят у Ф. книжным языком, в фабуле много натяжек, но общая концепция необыкновенно реалистична, верна, рассуждения автора остроумны и мудры, увлекательность сюжета колоссальна. После Johnatan'a Wild'a принялся за Jozeph'a And[r]ews'a — и тоже читаю взасос. А Шеридан, коего я прочел три томика, мне не понравился. Очень поверхностно, и весь он, бедняга, в великосветском фешенебельном кругу, и для него не существует другого.

29 июня. Страшный туман. Трое суток шел свирепый дождь, не переставая. 〈...〉

Люша получила золотую медаль. Все экзамены сдала на пять.

К моей радости примешивается горькая грусть: вот поколение, которому я совершенно не нужен, которое знать не знает того, чему я всю жизнь служил, не знает меня, моих увлечений и поисков. И нужно сказать: поколение крепкое, богатое новыми силами. С Люшей мне даже не о чем говорить, до того она *чужая*. Еще чужее Тата, Гуля. «И наши внуки в добрый час из мира вытеснят и нас». И они правы, но каковы будут их внуки, не представит себе даже величайший мудрец.

3 июля. Воскресенье. Встретил на задворках Переделкина — невдалеке от стандартного дома А. А. Фадеева. Он только что вернулся из Барвихи — напился — и теперь бредет домой в сопровождении В. И. Язвицкого. Боюсь, что у него начался запой. Он обнял меня, и я обрадовался ему как родному. «А Еголин — скотина!» — сказал он мне ни с того, ни с сего. ⟨...⟩

1950.

28 февраля. Корплю над Эзоповым языком. Вчера сдал окончательно *Однотомник* со всеми примечаниями. ⟨...⟩

11 марта. Утром наконец-то закончил главу «Некрасов и фольклор», над которой бился столько времени — и как будто не напрасно. Горе мое в том, что в своих комментариях к «Кому на Руси жить хорошо» я изложил столько *мыслей,* намеченных для этой книги, очень сильно спрессованных, мысли эти стали общим достоянием, что глава на ту же тему в моей книге в значительной мере утратила свою новизну.

Был у милого С. А. Макашина на его пирушке по случаю Сталинской премии. Были: Илья Зильберштейн, Лаврецкий, Бычков, Котов, Андроников с женой, Заславский, Поляков («Белинсковед»), Бродский, Еголин, Храпченко, Гудзий и другие столпы литературоведения. Еголин верно отметил, что здесь были щедриноведы, толстоведы, некрасоведы, лермонтоведы, белинсковеды и т. д. Пили за Щедрина, за «Современник», за многих присутствующих. Мне очень захотелось сказать речь — задушевную, длинную — о колоссальной работе, которую проделал юбиляр в «Литнаследстве», о нем как об идеальном редакторе, о его величайшей победе над болезнью жены, словом, о тысяче разных вещей, но я вспомнил, что я уже не прежний Чуковский, что я «битый Чуковский», что теперь не время задушевных речей, и поскорее убежал от соблазна. ⟨...⟩

1 апреля. Мне **68** лет сегодня.
Ощущение жертвы, которую тянут веревками на виселицу. Сегодня я оделся особенно тщательно, долго умывался, причесывался —

туалет перед казнью. 68 лет! Помню тот день, когда Репину исполнилось 68 лет,— каким смертником казался он мне. ⟨...⟩

Вот и 10 апреля. ⟨...⟩ На старости лет я оказался нищим, у меня нет ни копейки. Машина и Переделкино выпивают у меня всю кровь. Завтра придется начать добывать себе средства — на 69 году труженической жизни. Но —

Хоть солдатам тяжело,
Между прочим ничего!

11 апреля. Впрочем, есть и такой вариант:

Хочь солдатам ничего
Между прочим чижало.

Главная моя беда — в полном крахе моей книги о Некрасове. Не дается она мне, сколько я ни бьюсь над ней. Все выходит плюгаво, мелко, банально и вяло. Сказывается отсутствие философского образования и — старость. Вожусь, клею — и все не то.

12 апреля ⟨...⟩ Хоронил сегодня Адуева. Гроб усыпан живыми цветами. Лицо его не изменилось, милое лицо остряка и неудачника. Речи были пристойны и благожелательны: говорили о том, что он один из родоначальников *советской* музыкальной комедии, что он любил партию, любил родину,— и все это правда. И вдруг сатириконец Ардов, говоривший речь «от друзей покойного»,— вынул из кармана бумажку и прочитал его «посмертное стихотворение», написанное им за неск. часов до смерти, обращенное к *нам,* стоящим у его гроба, от лица покойника, прочел плохо, неумело, но эффект был потрясающий. Как будто он вправду беседует с нами из гроба. Были: Барто, Инбер, Арго, Рывкин, Пустынин, Андроников, какой-то генерал, с к-рым я встречался у Адуева, жена и дочь Сельвинского, Абрам Эфрос и еще какие-то незнакомцы. Погода ужасная: дождь, холод, мы сели с Андрониковым в автобус, поехали было на кладбище, но потом подхватили такси и поехали к нему, к Ираклию. У Ираклия: Манана в больнице, Вивенька поехала к ней. Кабинет полон коробочек папиросных, стоящих на особых полочках в необыкновенном порядке, в каждой коробочке карточки, относящиеся к его лермонтовским работам или к его устным рассказам. Сейчас он каждый день выступает со своей новой программой («Поездка в Актюбинск», рассказы об Остужеве) и имеет огромный успех. ⟨...⟩

10 июня. ⟨...⟩ Мы были с Колей у Каверина. В центре разговоров — статья В. В. Виноградова о Марре. Стихи, сложенные по поводу дискуссии о советской лингвистике, начатой в «Правде» выступлением проф. Чикобавы[1]:

Был Марр умен, был Марр велик,
Он Марксу был почти что пара,
Но Чикобава чик чик чик (bis),
И что осталося от Марра?

Это отрывок из большой студенческой песни, сочиненной по поводу дискуссии. Статья Виноградова умна до гениальности. ⟨...⟩

15 августа. ⟨...⟩ Только что уехала от нас Зиночка Анненкова, которой я не видал 35—36 лет. Все еще хорошенькая, с дочкой Нади — Галкой, аспиранткой, которая работает над черепами у Герасимова. Привезла картину Репина — портрет юноши, играющего на дудке (фото-снимок), чтобы я подтвердил атрибуцию. Думают, что Репин изобразил здесь брата Васю (1872), но Грабарь почему-то считает эту картину не-репинской.

Была хорошенькая 9-летняя Зиночка, хозяйская дочка, с наивными кудряшками и был у нее брат Юрочка[2], студент, который писал стихи и между прочим рисовал — и отец, служащий в Страховом, кажется, обществе, очень скучный, с усами, которые лезли ему в рот, либеральный, говоривший ежеминутно в каждой фразе: ви́ндите. Про него была молва, что он «знаком с Короленко». Мы снимали у них дачу. Лида играла с Зиночкой — но больше с мальчиками и научилась говорить: я пошел, я читал (по-мужски). И Зиночка дразнила ее, и она плакала. Недавно Зиночка была в Куоккале. От двух анненковских дач остались одни фундаменты, да и те заросли. Где ее брат Юрий, она не знает. Не знает даже, жив ли он. Солидная, самодовольная, загорелая, матронистая — чуть-чуть с проседью. ⟨...⟩

1957

7 января. Встал в 1 час ночи. Сейчас же за стол. У меня скопились: корректура последних листов 3^го тома Некрасова, 4-й том, переработанный Евг.-Максимовым, мой доклад об англо-амер. литературе и переработка «Лаборатории Н[екрасо]ва».

От часу до 11 час. утра, то есть 10 часов подряд я возился с корректурами, потом поехал в Ленинскую б-ку, где сверял все ссылки на издание Некрасова 1931 г., оттуда в Детиздат (о загадках), оттуда — в Гослитиздат — поговорить о корректуре 3-го тома с Миной Яковлевной. Приезжаю домой. Где М. Б.? Показалось, что ее нет. Говорят: на диванчике. Вижу: на диванчике, скрючившись, лежит М. Б. и будто дремлет. Я к ней. Обращаюсь к ней, она молчит. Я думал: сердится. Еще раз заговорил, то же самое. Перебирает пальцами левой руки, лежит в неудобнейшей позе. Я дал ей в левую руку карандаш, он выпал. Лицо остановившееся, с тихим выражением. Я в ужасе кинулся за врачом. Врач с двумя чемоданами, Сергей Николаевич — поехал — нашел кровоизлияние в мозг, паралич правой стороны. ⟨...⟩

4 марта. Солнце. Теплынь. Сижу на ул. Горького с раскрытым окном. Позвонил Леонов. Не хочу ли проехаться в Переделкино? Заехал за мною,— в пути стал рассказывать свой роман — о девушке Поле, ее отце, ученом лесоводе, его враге и сопернике, о гибели летчика Мациевича, о провокаторе Селезневе, и т. д., и т. д. Роман сразу в двух эпохах — то возвращается к 1905—1908 г.г., то движется в 1941—45 г.г. Очень много густой психологичности, много неправдоподобия, литературности, но очень талантливо, кудряво, затейливо. Больше всего мне понравилась сцена в трактире, когда закутивший купец дает четвертную будущему герою романа. Роман не без достоевщинки, очень злободневный — о лесе — есть страницы как будто из «Бесов» — особенно когда он описывает наивное мальчишеское общество «Молодая Россия».

16 мая. Дня три назад из-за сильных дождей вздулось озеро и прорвало плотину. Сегодня я ходил смотреть — и не узнал всей окрестности: на месте озера суша — не гладкая,— а ступенчатая, с верхней ступени с шумом бежит водопад. Лодки, бывшие в воде, оказались на взгорье. Одно из столетних деревьев, оставшихся от времен Самариных (имение было Юрия Самарина), отнесло метров на тридцать, и теперь оно параллельно земле. Другое дерево оказалось корнями вверх в речушке. Но дело не в частностях пейзажа, а в том, что весь он представляет собою очень пестрый, очень живописный хаос, среди которого глубочайшая пропасть на месте уплывшей дамбы. Все это произошло дня три назад, а сейчас — там наладился такой прочный и стройный быт, как будто уже десятки лет люди живут в этом хаосе: в глинистый обрыв спущена лестница, по которой люди привычно шагают к шатким мосткам, проложенным вчера над рекой, девочки собирают цветочки на оползне, мальчишки плещутся в водопаде, грузовик буксует над обрывом. ⟨...⟩

18 мая. ⟨...⟩ катастрофа с озером и дамбой отрезала меня от Москвы. Поповский хотел на своем «москвиче» проехать окольной дорогой и застрял в какой-то заболоченной выбоине. Пришлось вытаскивать его трактором. Может быть, окольную дорогу и можно было бы использовать, но целыми днями хлещут дожди, превращающие глину в кисель. Завтра я хотел съездить в Лен[инскую] б-ку, принять ванну, побывать в Детиздате, проехать в Узкое — но придется сидеть «в оцій незамкнутой тюрмі». ⟨...⟩ В 12 час. ходил в Чоботовскую школу выступать перед детьми. Все взрослые показались мне очень ничтожными: пионервожатая с профессиональным энтузиазмом на лице, какая-то Передониха с застылым, уныло-осуждающим взором, и т. д. и т. д. Но дети... неужели и эти взрослые были такими детьми? ⟨...⟩

20 июня. Видел Катаева. Он кончил роман. Три раза переделывал его. Роман обсуждался в издательстве, потом редактором, потом

его читал Фадеев,— сейчас послали в ЦК. «Я выбросил начало, вставил его в середину, у меня начинается прямо: «они давно хотели поехать в Одессу — отец и сын — и теперь их мечта осуществилась». Конец у меня теперь — они вернулись в Москву, вышли из метро — и только что кончился салют. Только две звездочки — синяя и розовая. А в самолёте с ними генерал медиц. службы,— не правда ли здорово? И в метро они только перемигнулись. Это напомнило им штреки — в подземельи».

Сам он гладкий, здоровый, веселый. У него в гостях подружка его юности Загороженко. ⟨...⟩

27 июня. ⟨...⟩ Был у Ираклия. Только что прочитал его книжку о Л[ермонто]ве: книжка куценькая, с коротким дыханием. Ираклий исследователь здесь превращается в следователя. Мелочи заполняют всю книжку. Вся книжка ряд сказуемых без подлежащего: очень много о том, что *делал* Л[ермонто]в тогда-то и тогда-то, но ничего о том — *кто* такой Л-в. Пусть у Михайловского неверно показан Л-в как «Герой безвременья», пусть Мережковский отклонился от истины в своем «Поэте сверхчеловечества», но это были попытки дать характеристику Л-ва, представить синтез, а не анализ деталей. И ни одной вдохновенной страницы! Мы с ним долго блуждали по Переделкину — теплый вечер, из-за бездождья пахнет пылью, встретили Каверина. ⟨...⟩

30 июня. Сейчас Леонов сказал:

И проехались, как
тракторы,
По Чуковскому
редакторы.

У меня были сегодня Мина Яковл. и Григоренко. Работали над 11 томом. ⟨...⟩

[Вклеен лист, другие чернила, без даты.— *Е. Ч.*]

У Евг. В. Тарле в его огромной ленинградской квартире. Лабиринты. Много прислуги — вид на Петроп[авловскую] крепость, много книг. Три рабочих кабинета. Пишет историю нашествий. Пригласил меня обедать, прислал за мной машину, был обворожителен: вспоминал мои bon mots столетней давности, цитировал мои забытые статьи и т. д. В одном кабинете: портреты Достоевского, Пушкина, Льва Толстого, Лермонтова, Чехова, Щедрина, Некрасова. Ольга Григорьевна совсем старенькая, без попыток красить волосы, радушная — великолепный обед, с закусками, с пятью или шестью сладкими — и — великолепная, не смолкающая беседа Евгения Викторовича: о Маколее — и о Погодине (и его скупости) — о Щеголеве, о Кони, о Льве Толстом и Тургеневе, о Белинском, о Шевченке, о Филарете. О скупости Погодина (сказал дивную речь о Хрулеве и пишет Шевыреву, чтобы с него не брали за обед на чествовании Хрулева) — все это без перерыва, по любым ассоциациям,

почти ничего не получая (и не желая получить) от собеседника. Очень хорошо про Кони. ⟨...⟩

20 августа. Сегодня Валентин Петрович Катаев рассказывал о своем отце: ему тетка в день именин подарила 5 томиков Полонского. И он (В. П.) очень полюбил их. Декламировал для себя «Бэду-проповедника», «Орел и змея». ⟨...⟩

26 августа. Работаю в малиннике. Подходит Катаев. «Какая чепуха у меня с моим «Белеет парус», то бишь — с «За власть Советов». Книга на рассмотр[ении] в ЦК. Приходит ко мне 3-го дня Саша Фадеев.— Где твоя книга? Отвечаю: — в ЦК.— Почему же они так долго рассматривают? — Не знаю.— Саша поехал в ЦК, спрашивает, где книга. Отвечают: у нас нет. Стали разыскивать. Нашли у тов. Иванова. Тот говорит: книга у меня (она уже свёрстана). Но я не знаю, зачем ее прислали. Ведь ее в Детгизе уже рассматривали, уже есть о ней две рецензии, зачем же вмешивать в это дело ЦК? И постановили — вернуть рукопись Константину Федотычу. И теперь милейшему Федотычу еще нагорит. Значит, книга моя через месяц может выйти. Вот здорово. Расплачусь с долгами. Я одному Литфонду должен 30 000. Попросил у Саши. Он весь побагровел. «30.000». Сделаю ремонт в этом доме. Стены оставлю некрашенные... Но я за это время написал другую книжку — о поездке в Крым с Женей и Павликом. Павлик у меня все время будет говорить «У меня есть идея!» А Женя будет на все смотреть с точки зрения учебника географии. И всем нам будет хотеться мороженого. Всю дорогу. «Вот в Туле купим». «Вот в Харькове». И только в Москве на обратном пути купили наконец мороженое. Я думаю, что вам дадут премию за 12-томник Некрасова...» И ушел так же внезапно, как пришел. ⟨...⟩

31 августа. Утром туманы — днем жара южная. Бабочки перестали влетать ночью, а еще неделю назад была их туча. Каждый день вожусь с малиной, срезаю старую, подвязываю новые побеги. ⟨...⟩ Был у меня вчера Пастернак — счастливый, моложавый, магнетический, очень здоровый. Рассказывал о Горьком. Как Горький печатал (кажется, в «Современнике») его перевод пьесы Клейста — и поправил ему в корректуре стихи. А он не знал, что корректура была в руках у Горького, и написал ему ругательное письмо: «Какое варварство! Какой вандал испортил мою работу?» Горький был к Пастернаку благосклонен, переписывался с ним; Пастернак написал ему восторженное письмо по поводу «Клима Самгина», но он узнал, что П-к одновременно с этим любит и Андрея Белого, кроме того, Горькому не понравились Собакин и Зоя Цветаева, которых он считал друзьями П-ка, и поэтому после одного очень запутанного и непонятного письма, полученного им от Бориса Леонидовича, написал ему, что прекращает с ним переписку[1].

О Гоголе — восторженно; о Лермонтове — говорить, что Лерм.

великий поэт — это все равно, что сказать о нем, что у него были руки и ноги. Не протезы же! — ха-ха-ха! О Чехове: — наравне с Пушкиным: здоровье, чувство меры, прямое отношение к действительности. Горького считает великим титаном, океаническим человеком. 〈...〉

1952

20 марта. Я в Узком. Чтобы попасть сюда, я должен был сделать возможно больше по 12-му тому. Для этого я работал всю ночь: вернее — с 1 часу ночи до 8 $^1/_2$. Семидесятилетнее сердце мое немного побаливает, но настроение чудесное — голова свежая — не то, что после мединала. 〈...〉

21 марта. Мороз 7 гр. Вышел на полчаса и назад — сдавило сердце. Корплю над 12-м томом. Вместо того, чтобы править Гина, Рейсера, Гаркави, я пишу вместо них, т. к. нужно торопиться, а их нет, они в Петрозаводске, в Ленингр., в Калининграде. Есть комментарии, кот. я пишу по 5, по 6 раз. Одно меня радует, что у М. Б. стало как будто более ровное светлое настроение. Читаю ам[ериканскую] книгу о шаманах — такая посторонняя тема отвлекает немного. Газетные известия о бактер[иологической] войне мучают меня до исступления: вот во что переродилась та культура, которая началась Шиллером и кончилась Чеховым. 〈...〉

Ровно 12 часов ночи на **1-ое апреля.** Мне LXX лет. На душе спокойно, как в могиле. Позади каторжная, очень неумелая, неудачливая жизнь, 50-летняя лямка, тысячи провалов, ошибок и промахов. Очень мало стяжал я любви: ни одного друга, ни одного близкого. Лида старается любить меня и даже думает, что любит, но не любит. Коля, поэтичная натура, думает обо мне со щемящею жалостью, но ему со мною скучно на третью же минуту разговора — и он, пожалуй, прав. Люша... но когда же 20-летние девушки особенно любили своих дедов? Только у Диккенса, только в мелодрамах. Дед — это что-то такое непонимающее, подлежащее исчезновению, что-то такое, что бывает лишь в начале твоей жизни, с чем и не для чего заводить отношения надолго. Были у меня друзья? Были. Т. А. Богданович, Ю. Н. Тынянов, еще двое-трое. Но сейчас нет ни одного человека, чье приветствие было бы мне нужно и дорого. Я как на другой планете — и мне даже странно, что я еще живу. Мария Борисовна — единственное близкое мне существо — я рад, что провожу этот день с нею; эти дни она больна, завтра выздоровеет, надеюсь. 〈...〉 Днем все повернулось иначе — и опровергло всю мою предыдущую запись. Явились Люша и Гуля и привезли мне в подарок целый сундук папетри — и огромный ларец сластей — и чудесную картину.

Семейный смотр сил Чуковских.

Приехал Викт. Вл. Виноградов и привез мне письмо от Ираклия — и пришла кипа телеграмм — от Шкловского, от саратовских некрасоведов, от Ивича, от Алферовой, от Таточки. Я был рад и спокоен. Глущенко подарил мне бюстик Мичурина, свою брошюру и бутылку вина, Ерусалимский — книгу, второе издание — и я думал, что все кончено, вдруг приезжает Кассиль с письмами от Собиновых, с адресом от Союза Писателей, с огромной коробкой конфет — а потом позвонил Симонов и поздравил меня сердечнейшим образом. Хотя я и понимаю, что это похороны по третьему разряду, но лучших я по совести не заслужил. Перечитываю свои переводы Уолта Уитмэна — и многое снова волнует, как в юности, когда я мальчишкой впервые читал Leaves of Grass*. Пришли телеграммы от Федина, от Симонова, и т. д. ⟨...⟩

1953

29 марта. ⟨...⟩ Всеволод Иванов подарил мне свою книгу о Горьком — вернее ту книгу, где есть его воспоминания о Горьком. Очень хорошие воспоминания, внушенные горячей — я сказал бы: сыновней — любовью. ⟨...⟩ вот наступил день 1-го апреля 1953, день моего рождения. Яркий, солнечный, бодрый. Я встал рано, часа три работал над Уитманом, над корректурами некрасовского трехтомника, а потом дряхлый, хилый, но счастливый — предсмертно счастливый — изобильно позавтракал с Марией Борисовной — и пришел неизвестный моряк и поднес мне от неизвестной розы, а потом приехала Аветовна и подарила мне абажур для лампы, расписанный картинками к моим сказкам (египетская работа, исполненная ею с большим трудолюбием), а потом носки и платки и рубаха от внуков с чудесными стихами, очевидно, сочиненными Лидой. Читаю множество книг, которые должны помочь мне в корне переделать «От двух до пяти» — и раньше всего «Основы общей психологии» С. Л. Рубинштейна. ⟨...⟩

13 апреля. Дивные апрельские события! Указ об амнистии, пересмотр дела врачей-отравителей окрасили все мои дни радостью.— Умерла Дора Сергеевна Федина, котор. я знаю с 1919 года. Федин исхудал, замучен. С восторгом говорит о Нине: «вот моя дочь, мне казалось: я знаю ее в совершенстве, но только теперь я увидел, сколько в ней любви, душевных сил, преданности. Когда заболела Дора Сергеевна, Ниночка словно переродилась: взвалила на себя весь уход за матерью, сняла с меня все заботы, ведалась с врачами, с сиделками, не спала ночей — совсем другая, какою я ее никогда не видал».

---

[1] «Листья травы» *(англ.)*.

Федин утверждает, что Дора Сергеевна давно уже знала, что у нее рак, но скрывала от них свое знание и делала вид, что верит их утешительным выдумкам. Почему? Он говорит: из любви к ним, из нежелания сделать им больно. Но ведь она знала, что они знают. Я думаю: тут другое. Умирать *стыдно*. Другие живут, а ты умираешь. Если быть стариком совестно (это я знаю по себе), то насколько же стыднее умирать. А она знала, что умирает, и скрывала это от всех, как тщеславные люди скрывают свою бедность, свою неудачливость. ⟨...⟩

26 апр. ⟨...⟩ Жаль, что я не записал своей беседы с Пастернаком в его очаровательной комнате, где он работает над корректурами «Фауста». Комната очаровательна необычайной простотой, благородной безыскусственностью: сосновые полки с книгами на трех-четырех языках (книг немного, только те, что нужны для работы), простые сосновые столы и кровать — но насколько эта обстановка изящнее, артистичнее, художественнее, чем, напр., ориентальная обстановка в кабинете у Вс. Иванова — где будды, слоны, китайские шкатулки и т. д.

26 апреля. Была вчера жена Бонди — так и пышет новостями о «новых порядках». «Кремль будет открыт для всей публики», «сталинские премии отменяются», «займа не будет», «колхозникам будут даны облегчения» и т. д., и т. д., и т. д. «Союз писателей будет упразднен», «Фадеев смещен», «штат милиции сокращен чуть не впятеро» и т. д., и т. д., и т. д. Все, чего хочется обывателям,— они выдают за программу правительства. ⟨...⟩

1 мая. Вчера отлеживался после поездки в город, чувствуя себя неизлечимо больным. ⟨...⟩ В городе был в Архиве (в селе Никольском), смотрел рукопись «Современников», некогда принадлежавшую мне. Вернувшись из города, встретил Федина, и мы провели с ним часа три. Он рассказывал о своем новом романе. Извеков «пострадает» в 1937 году, чем сильно будет снижена его карьера. ⟨...⟩ «Но мне очень хочется писать другой роман,— сказал Федин,— продолжение «Братьев», где будет изображена Нижегородская ярмарка»,— и тут он обнаружил качество, какого я прежде не знал: стал в лицах показывать продавцов и покупателей, на манер Андроникова, на все голоса — здорово! ⟨...⟩

Зашла речь об Алексее Толстом — и Ф. показал его не хуже Андроникова: как Толстой слушал скорбные стихи своей брошенной жены Крандиевской — она писала в этих стихах, сколько страданий причинило ей его отношение к ней, а он сказал:

— Туся с каждым годом пишет все лучше и лучше. Ну, Туся, прочти-ка еще.

Ф. очень осунулся, постарел после смерти Доры Сергеевны (это заметил даже Женя), но бодрится и заглушает тоску разговорами. ⟨...⟩ Гуляя по Переделкину, мы встретили Катаева, к-рый при-

ехал на праздники. Он говорил о своей пьесе «За власть советов». Сделано уже 100 репетиций. Все очень хорошо слажено. Молодая художница, которой поручены декорации, ездила специально в Одессу на этюды — и сделала чудесные зарисовки Одессы. Можно было бы хоть завтра ставить, но все актеры заняты в «Ломоносове» Всеволода. Там 102 действующих лица. Кроме того, молнией ставится какая-то антиамериканская пьеса. С большим уважением отзывается о министре культуры Пономаренко. «Я как-то ездил с ним в Белоруссию в одной машине — и он мне сказал: «Какая чудесная вещь у П[у]шк[ина] «Кирджали». А я не помнил. Беру П[у]шк[ина], действительно чудо... Он спас в 1937 году от арестов Янку Купала, Якуба Коласа и других. Очень тонкий, умный человек».

Но при всем том Катаев не верит, что возможно оздоровление л[итерату]ры. «Слишком много к ней присосалось бездарностей, которым никакие реформы невыгодны». ⟨...⟩

2 мая. ⟨...⟩ Встретил генерала Вас. Степ. Попова. Он рассказал, как чествовали тов. Буденного. Мы сложились и поднесли ему вазу с рисунком Грекова. За ужином зашел разговор о том, что Конармия до сих пор никем не воспета. «Не только не воспета, но оклеветана Бабелем»,— сказал кто-то.— Я ходил к Горькому,— сказал Б[уденный].— Но Горький мне не помог. Он встал на сторону Бабеля. Я пошел к Ленину. Ленин сказал: Делами литературы у нас ведает Горький. Предоставим ему это дело. Не стоит с ним ссориться...

Встретил Федина. Он попрежнему очарователен. Рассказал, что у Нины, когда ей было лет 10-11, была подружка Клавочка, хохотушка. Потом он не видел ее лет 15, и вдруг во время похорон Доры Сергеевны вбегает какая-то женщина — с маленьким цветочком (в горшке), «вся зареванная» и буквально грудью ложится на могилу... И вдруг я вспомнил: «это Клавочка!» — вспомнил и заплакал. «Милая Клавочка, теперь она уже преподает английский язык в каком-то высшем учебном заведении». Встретил Всеволода Иванова. «Ломоносов» пойдет в мае — то есть буквально на днях. Он восхищается декорациями Ходасевич. Особенно ей, по его словам, удался конференц-зал Академии Наук. «Я был в этом зале уже после того, как написал «Ломоносова». Плюгавая, неказистая комната. А Ходасевич, хоть и передала ее очень точно, но сделала помпезнее, торжественнее».

«В пьесе будет показана молния. Безвредная. Для нее изготовлен особый аппарат. Но Ливанов, хотя и знает, что она безвредная, всякий раз прикасается к ней с ужасом. Молния чудесная — и внесет в зрительный зал известную долю озона. Не театр, а санатория!» ⟨...⟩

6 июня. Получил от Веры Степановны Арнольд большое письмо: очень одобряет мои воспоминания о ее брате Житкове. Я боялся, что они ей не понравятся. Сестры великих людей так привередливы. В своих воспоминаниях о Маяковском я пишу, что был в его жизни

период, когда он обедал далеко не ежедневно. Его сестре Людмиле эти строки показались обидными. «Ведь мы в это время жили в Москве — и мы, и мама; он всегда мог пообедать у нас». Мог, но не пообедал. Поссорился с ними или вообще был занят, но заходил к Филиппову — и вместо обеда съедал пять или шесть пирожков... Но Людмила и слушать не хотела об этом: не бывал он у Филиппова, не ел пирожков.

Вера Степановна одобрила мои воспоминания, но в одном месте я назвал ее «херсонская сестра Житкова» — и она возражает: «совсем я не херсонская сестра, я жила в Херсоне недолго, не хочу я быть херсонской сестрой». Я написал, что у отца Житкова глаза были навыкате; она возражает: «напротив, они у него глубоко запали в орбиты» и т. д.

Был у меня третьего дня Федин. В его биографии — новая смерть... Умер лучший его друг архитектор Самойлов — причем, Федину пришлось самому искать для него могилу, устраивать его внука в Ленинграде (на время похорон) и т. д. Он ездил в Л-д на юбилей Ольги Форш, отвез Самойловского внука и устроил у себя в номере гостиницы пиршество по случаю именин Микитова-Соколова. На именинах был Зощенко. Зощенко очень подавлен: он по совету Союза Писателей написал в высшие сферы прошение о том, чтобы его вернули в Союз,— и никакого ответа. А в Л-де — злорадствуют; знают, что он обращался с прошением и что ему не ответили. Это ухудшило его положение[1]. 〈...〉

Был у меня Гудзий — он сообщил сенсацию о статьях в «Коммунисте» и борьбе за «типическое»[2]. Будет говорить на юбилее речь о Льве Толстом. 〈...〉

Видел Пастернака — он поглощен 2-й частью «Фауста». 〈...〉

27 июня. 〈...〉 Пришел Леонов. Поговорили о денежной реформе, о министре культуры Пономаренко (теперь в литераторской среде все говорят о Пономаренко), о случае в «Огоньке» (первый раз за все время своего существования журналу пришлось вырезывать ряд страниц и печатать другие. Дело произошло из-за статьи Александрова о новых фильмах. Один из фильмов, похваленных Пономаренко, похвалил и Александров. Оказалось, что, несмотря на похвалу Пономаренки, фильм решено не выпускать на экран — и, таким образом, статью Александрова пришлось вынуть из №). 〈...〉

27 июня. 〈...〉 Ни к одной сберкассе нет доступа. Паника перед денежной реформой. Хотел получить пенсию и не мог: на Телеграфе тысяч пять народу в очередях к сберкассам. Закупают все — ковры, хомуты, горшки. В магазине роялей: «Что за чорт, не дают трех роялей в одни руки!» Все серебро исчезло (твердая валюта!). Ни в метро, ни в трамваях, ни в магазинах не дают сдачи. Вообще столица охвачена безумием — как перед концом света. В «Националь» нельзя пробиться: толпы народу захватили столики — чтоб на свои обреченные гибели деньги в последний раз напитьсяинаесться.

Леонов, гениальный рассказчик анекдотов, выдумал такую ситуацию:

— Что это там у верхних жильцов за топот?! Прыгают, танцуют, стучат с утра до ночи. Штукатурка валится, вся квартира дрожит. Что у них свадьба, что ли?

— Нет, они купили лошадь и держат у себя, на пятом этаже.

Я видел в городе человека, у которого на сберкнижке было 55 тысяч. Он решил, что пять тысяч будут сохранены для него в целости, а 50 превратятся в нули. Поэтому он взял из кассы эти 50 тысяч и решил распределить их между десятью кассами — так сохранятся все деньги. Но вынуть-то он вынул, а положить невозможно. Нужно стоять десять часов в очереди, а у него и времени мало. Потный, с выпученными глазами, с портфелем, набитым сотняшками, с перекошенным от ужаса лицом. И рядом с ним такие же маньяки. Женщина: «Я стою уже 16 часов». Милиционер у дверей каждой — самой крошечной — кассы. К нему подходит изнуренная девица: «У меня аккредитив. Вот! У меня аккредитив».— Покажите проездной билет! — Билет я куплю завтра, чуть получу по аккредитиву.— Нет билета, становитесь в очередь.

Толпа гогочет. Все магазины уже опустели совсем. Видели человека, закупившего штук восемь ночных горшков. Люди покупают велосипеды, даже не свинченные: колесо отдельно, руль отдельно. Ни о чем другом не говорят.

Был у Леонова Федин. Постарелый, небритый: Что делается! Почему вдруг на заводах стали устраивать митинги против берлинского путча! С запозданием на две недели. А эта денежная паника! Хорошо же верит народ своему правительству, если так сильно боится подвоха!

И начался изумительно художественный (основанный на образах) и страстный спор о будущих судьбах России. Федин начал с очень живописного описания, как он семилетним мальчиком ехал с отцом в какой-то Саратовской глуши, и все встречные крестьяне кланялись ему в пояс. А Леонов стал говорить, что шестидесятники *преувеличили* страдания народные и что народу вовсе не так плохо жилось при крепостном праве. Салтычиха была исключением и т. д.

Вообще, Леонов очень органический русский человек. Страдая желудком, он лечится не только у кремлевского профессора Незнамова-Иванова, но и [у] какой-то деревенской знахарки. Жена его Татьяна Михайловна рассказывала, что она никак не могла лечить Леночку, «так как, вы понимаете, когда врачи были объявлены отравителями, не было доверия к аптекам; особенно к Кремлевской аптеке: что, если все лекарства отравлены!».

Оказывается, были даже в литературной среде люди, которые верили, что врачи — отравители!!!

Краткая беседа с Катаевым. «Как хорошо, что умерли Треневы — отец и сын. Они были так неимоверно бездарны. У отца в комнате под стеклом висело перо, которым Чехов написал «Виш-

невый сад», рядом фото: «Тренев и Горький», рядом фото: «Ст[алин] на представлении „Любови Яровой“» — и это был фундамент всей его славы, всей карьеры!! Отсюда дома, дачи, машины,— брр! А сын: «В это майское утро, *которое* сияло у реки, *которая»*... беррбр».

Я вступился: «У сына было больше дарования, чем у отца». Он только рукою махнул.

28/VI. Был Нилин. Сказал, что Зверев объявил, что никакой денежной реформы не будет. ⟨...⟩

3 июля. Вчера заседание Короленковского комитета. Председатель — Фед. Вас. Гладков. Его стиль — эмоциональные возгласы, преувеличенные тревоги, патетические жесты. Для чествования Короленко не удается достать Колонный зал,— он возмущается, негодует, бурлит. Кажется, Козловский (певец) в это время не будет в Москве. Гладков возмущается, негодует, бурлит. За участие оркестра и хора нужно уплатить 12 т. рублей. Гладков возмущается, негодует, бурлит. Это бурление было особенно эффектно на фоне равнодушного молчания всех остальных: Ек. Павловны Пешковой, Е. В. Тарле, Б. П. Козьмина, И. А. Новикова, И. С. Козловского (пришедшего позже).

Корплю над текстологией.

7 июля. Корректуры: школьного Некрасова, III-й том Гослитского (2-ая к[орректу]ра), II том Гослитского (3 корректура), всего около 70 листов. Переутомление, тошнота, рвота от мозгового напряжения. Работал часов 20 подряд, именно потому, что эта работа мне так ненавистна, и я хочу поскорее от нее отделаться.

Был вчера с Фединым у Ираклия. Об Ираклии думаешь равнодушно, буднично, видишь его слабости — и вдруг он за столом мимоходом изобразит кого-нибудь — и снова влюбляешься в него, как в гения. Вчера он показывал Бонч-Бруевича на поминках Цявловского. Б[онч]-Б[руевич] в поминальной речи стал рекламировать свой Лит. Музей, бранил сменившего его директора, который готовил прежде морс или сидр — (и забыл о Цявловском), показывал И. А. Новикова, прочитавшего на поминальном вечере, посвященном Цявловскому, стихотв. Пушкина «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» — утверждая, что это стихотв. прямо относится к Ц[явлов]скому. Потом речь Павленко в Тбилиси о нем, об Ираклии, потом Всеволод Иванов, выступавший перед четырехтысячной толпой без микрофона. ⟨...⟩

10-го июля. Пришел Гудзий, принес № 7 «Знамени», где рецензия о «Мастерстве Некрасова».— Мы пошли к Сельвинскому, с ним — к Ираклию. Говорили они о Берии, гадали о Берии, проклинали Берию, ужасались Берией, так что мне наконец стало скучно, как ребенку в церкви. К счастью, Ираклий (с обычной своей осторож-

ностью) даже не упомянул об этом деле, но зато дивно показал Фадеева. Даже веки стали у него закрываться, как у Фадеева,— и мне даже показалось, что он сразу стал седым, как Фадеев. Он улавливает ритм, который есть у каждого человека,— воссоздает его атмосферу. Все работы Ираклия — на оттенках и тональностях, а когда он на эстраде, оттенки исчезают, и выходит даже не слишком талантливо. ⟨...⟩

12 июля. ⟨...⟩ Мне вспоминается сын Берии — красивый, точно фарфоровый, холеный, молчаливый, надменный, спокойный; я видел его 29 марта, у Надежды Алексеевны на поминках по Горькому. Тамара Влад. (жена Всеволода) подняла тогда бокал за «внуков Горького» — то есть за Берию и мужа Дарьи. Что теперь с его надменностью, холеностью, спокойствием? Где он? Говорят, Марфа беременна. Говорят, Катерина Павловна тщетно пытается к ней дозвониться. Дикая судьба у горьковского дома: — от Ягóды до Берии — почему их так влечет к гепеушникам такого — растленного — образа мыслей, к карьеристам, перерожденцам, мазурикам. Почему такие милые — простодушные,— женщины, как Кат. П. и Надежда Ал.,— втянуты в эту кровь? ⟨...⟩

С 18 по 26 был болен: грипп и желудочная немощь. Исхудал, постарел ужасно. Навещал меня Андроников. Дивный созданный им образ Фадеева. Показывая его, Андр. выпрямляется, словно проглотив аршин, напруживает шею, закидывает голову, шагает сквозь толпу приветствующих его литераторов, как сквозь чащу кустарников, ни с кем не здоровается, не отвечает на многоголосое: «Здравствуй, Саша», «Здравствуйте, Ал. Ал.»,— и вдруг видит в сторонке уборщицу: здравствуйте, тетя Маруся...

Был у меня Каверин. Он сообщил, что Зощенко принят в Союз Писателей, что у него был редактор «Крокодила», просил у него рассказов и заявил, что покупает на корню всю продукцию. Какое счастье, что З[ощен]ко остался жить, а ведь мог свободно умереть от удара — и даже от голода, т. к. было время, когда ему, честнейшему и талантливейшему из сов. писателей, приходилось жить на 200 р. в месяц! Теперь уж этого больше не будет! ⟨...⟩

14 сент. Дождь сплошной, беспощадный. ⟨...⟩ Целый день у меня болела голова, к вечеру я под ливнем пошел к Андроникову. Он в крошечном, но *умном* и элегантном своем кабинете сидит над комментариями к Лермонтову, издаваемому «Огоньком». Комментарии очень интересны, есть новые даты, замечательно истолкование послания к Мятлеву «На наших дам морозных». Ираклий убедительно доказывает, что Лермонтов здесь ориентируется и на слово мороз, и на французское слово morose*. О стихотворении, которое считалось посвященным Сенковскому. Очень четкие чеканные примечания, которыми Ираклий поглощен всецело. ⟨...⟩

---

[1] Мрачный, хмурый *(франц.)*.

18 сентября. ⟨...⟩ Я болен, простужен, никого не вижу. Был, впрочем, Нилин — говорил очень много о Маленкове — с восторгом: «Маленков явился на секретариат ЦК. Его встретили обычными аплодисментами. Он сказал: «Здесь не Большой театр, и я не Козловский».

Весь день безвыходно работал, и как будто зря — над статьей о текстологии.

20 сент. Чудесный жаркий день. ⟨...⟩

Был у Катаева по делу Житковой — то есть Веры Арнольд, которая просила меня передать ему письмо: хочет, чтобы он написал о Борисе. Катаев рассказал мне содержание своей будущей пьесы, которая называется «Членский билет»,— о жулике, который 25 лет считался писателем, т. к. состряпал какую-то давно забытую ерундистику в молодости. С тех пор он ничего не писал, но все по инерции считают его литератором. Он известен. Его интервьюируют, он читает лекции в Литинституте, передает им свой «творческий опыт». Готовится его юбилей. Главное участие в подготовке юбилея принимает он сам. Все идет гладко. В каком-то писательском поселке он хочет получить участок для дачи. Ему охотно дадут, но просят предъявить членский билет. А билет утерян. Он пытается достать в Союзе Писателей дубликат. Но там заведен порядок: потерявший билет обязан представить все свои труды; и если о них будет дан благоприятный отзыв — его примут в члены Союза. А у него никаких трудов нет, и представить ему нечего. Он совершенный банкрот. Юбилей срывается. Его враги торжествуют. И... вдруг он находит свой членский билет! Ура! Больше ничего и не требуется. Начинается юбилейное чествование. Депутации приходят с венками, пионеры с галстуками и т. д., и т. д. Товарищи, никогда не теря[йте] членских билетов.

Читает Горького: какой драматург! Егор Булычев — гениально! — «К. И., нет ли у вас Карла Маркса I-й том. Нужно для семинара». Катаев в университете марксизма-ленинизма. И готовит уроки. ⟨...⟩

13 октября. Чудесный солнечный день. ⟨...⟩ Подошел башкир, студент, без шляпы, разговорились. Крепкие белые зубы, милая улыбка.

Душевная чистота, благородство, пытливость. Знает Пушкина, переводит на башкирский язык Лермонтова. Простой, спокойный, вдумчивый — он очень меня утешил — и как-то был в гармонии с этим солнечным добрым днем. Учится он в литинституте, слушает лекции Бонди. Почему-то встречу с ним я ощущаю как событие.

Сейчас продержал корректуру Уитмана, сочинил стишок для пьесы Филдинга — закончил опостылевшую мне статью о текстологии Некрасова. Меня даже самого испугала моя versatility*. А тут — воспоминания о Житкове и прочие жанры. ⟨...⟩

---

* Многосторонность (*англ.*).

20/X. Был у Федина. Говорит, что в литературе опять наступила весна. Во-1-х, Эренбург напечатал в «Знамени» статью, где хвалит чуть не Андре Жида («впрочем, насчет Жида я, м. б., и вру, но за Кнута Гамсуна ручаюсь. И конечно: Пикассо, Матисс»)[3]. Во-вторых, Ахматовой будут печатать целый томик — потребовал Сурков (целую книгу ее старых и новых стихов), во-вторых, Боря Пастернак кричал мне из-за забора (у Вари, внучки Федина, скарлатина, поэтому к нему боятся входить; Тамара Владим. боится за Антона и всех напугала): «Начинается новая эра, хотят издава́ть *меня!»*... О, если бы издали моего «Крокодила» и «Бибигона»! Я перечел «Одолеем Бармалея», и сказка мне ужасно *не понравилась*. Федин только что сдал шестой том Собрания своих сочинений. У него машина в ремонте, он взял из города такси и разговорился с водителем. Водитель рассказал ему, что он незадолго до этого возил писателя — автора «Белой березы». Тот был пьян, и когда таксист потребовал у него денег, тот не дал ни копейки, ударил его по лицу и выбил зуб — таксист узнал у лифтерши его адрес, пошел к его жене, жена заплатила по таксе, и шофер ушел, не стал жаловаться — чорт с ним! Кроме того, ему, шофёру, нравится «Белая береза».

25 октября. Был у Федина. ⟨...⟩ Федин в восторге от пастернаковского стихотворения «Август», которое действительно гениально. «Хотя о смерти, о похоронах, а как жизненно — все во славу жизни». ⟨...⟩

5 декабря. Был с Фединым у Пономаренко. Он больше часу излагал нам свою программу — очень простодушно либеральничая. «Игорь Моисеев пригласил меня *принять* его новую постановку. Я ему: «вы меня кровно обидели».— Чем? — Какой же я приемщик?! Вы мастер, художник — ваш труд подлежит свободной критике зрителей — и никакие приемщики здесь не нужны... Я Кедрову и Тарасовой прямо сказал: отныне ваши спектакли освобождены от контроля чиновников. А Шапорин... я Шапорину не передал тех отрицательных отзывов, которые слышал от влиятельных правительных лиц (Берия был почему-то против этого спектакля), я сказал ему только хорошие отзывы, нужно же ободрить человека... Иначе нельзя... Ведь художник, человек впечатлительный» и т. д., и т. д., и т. д. Мы поблагодарили его за то, что он принял нас. «Помилуйте, в этом и заключается моя служба» и т. д. Говорили мы о необходимости переиздать книжку «Воспоминаний» Тихонова — и о памятнике Алексею Толстому, к-рый из-за бюрократической волокиты стоит где-то на задворках, и мальчишки швыряют в него камни. ⟨...⟩

21 декабря. В Переделкине 10° мороза. Погода мягкая,— пожалуй, даже слишком. Из-за того, что Гослит предательски отказался от второго издания моего «Мастерства», я в этом году пустился во

все тяжкие и стал заниматься мелочишками: 1) заново переработал «Робинзона»; 2) перевел с Таней Литвиновой Фильдинга «Судья в ловушке»; 3) переделал «Доктора Айболита»; 4) заново перевел кое-что из Уитмана и переработал старые переводы (причем, обнаружилось, что Кашкин — пройдоха, а Мендельсон — тупица); 5) переделал «Бибигона»; 6) написал воспоминания о Житкове и Тынянове; 7) написал статью «Принципы текстологии Некрасова»; 8) проредактировал трехтомник Нек-ва для Гиза; 9) проредактировал трехтомник Н-ва для «Огонька»; 9) написал для «Огоньковского» издания три листа вступительной статьи; 10) проредактировал Некрасова для «Детгиза»; 11) писал статейки для «Литгазеты» и «Огонька». Все это «мура́ и блекота́», как любил выражаться Зощенко. Это — самоубийство. С 1-го января, если буду жив, возьмусь за большое: переработаю на основе учения Павлова свою книгу «От двух до пяти», переработаю в корне «Воспоминания о Репине». Благо у меня теперь прекрасный секретарь — Клара Изр[аилевна] Лозовская, очень старательный неглупый человечек.

Третьего дня праздновали 10-летие со дня смерти Тынянова. Три щита с его произведениями и портретами, зал набит битком,— но со стороны заправил Союза саботаж: ни Симонова, ни Леонова, ни Федина, ни Фадеева.

Председательствует такой маломощный (с точки зрения начальства) человек, как Всеволод Иванов. Эренбург не явился, но прислал статью — вернее, письмо на 3-х страничках во славу Ю. Н. Юбилей по существу устроен сестрой Юрия Николаевича — женой Каверина — и самим Кавериным. Если бы у Т[ыняно]ва не было в Союзе Писателей родственников, поминки были бы еще беднее. Я четыре дня писал свой краткий доклад о нем — и сейчас вижу, что не сказал о Ю. Н. и десятой доли — о его гордости: он никогда не метал бисера перед свиньями, о его принципиальности, о его верности друзьям и т. д.

Жаль, что, торопясь в Переделкино, я не слыхал ни Шкловского, ни Андроникова, выступавших после меня. Лидина статья «Гнилой зуб» (о сюсюкателях в детской л-ре) так понравилась тамошней редакции, что ее (статью) выносят на первую полосу. Честь небывалая для статей о детской л-ре[4]. ⟨...⟩

22 декабря. Мы сидели вчера с Павликом Буниным, который не столько талантливо, сколько бойко рисовал мой портрет,— очень мешая мне заниматься. Вдруг на улице забренчал «маленький набатик» — кто-то, пробегая, стучал одной железкой о другую. Мы глянули в лес — колоссальный костер до самой верхушки деревьев — одного сплошного красного цвета. Мне показалось, что горит дом Назима Хикмета, где прежде жил Евг. Петров,— только что отделанный. Но нет,— он цел, а горит дом Н. С. Тихонова. Пробираемся по снегу туда. Гуси, утки, куры мечутся у забора, ничего не понимая. Вдалеке стоит машина (зим) Н. С. Тихонова — в ней сам Тихонов, без шапки, без пальто, обвязывает руку Марии

Константиновне бинтом и целует ее, утешая. Загорелось наверху, в чердаке. Из-за труб. М. К-на бросилась наверх — спасать рукописи Н. С. и все его книги об Индии (он собрал целую коллекцию индийских книг) — и обожгла себе руку и теперь без платка сидит в машине и очень беспокоится о «тете Маше». Здесь-то и проявилась ее обычная философия: «чорт с ними с вещами!». Когда шофер хотел войти в дом, чтобы вынести какую-то редкую вазу, она сказала: «ничего не нужно спасать, пусть горит — ведь балка может свалиться, убьет». И с обычным своим оптимизмом:

— Хорошо, что случилось не ночью, погибли бы все непременно. Чудесно, что я не прихватила с собою Вареньку.

Пришел Федин. Снял с себя кашне, надел ей на голову. Тихонов стоек, угрюм. Пропали книги. Часть книг — не знаю каких — очутилась на улице. Мы с Ниночкой Фединой внесли их в машину. Приехала московская пожарная команда и перекрестными могучими струями потушила пожар. Низ остался, благодаря этому, цел, а верх — погиб.

Мне всю ночь снился Чехов. Будто я разговариваю с ним, и он (я даже помню, каким почерком) внес поправки в издание Гослита. Проснувшись, я еще помнил, какие поправки, но теперь, через час, забыл. ⟨...⟩

1954

5 января. Вчера М. Б. сказала мне ошеломляющую новость — воистину праздничную: *Збарский освобожден!!!* Его жена — тоже. У меня руки задрожали от счастья. Не было дня, чтобы я не вспоминал с болью об этой милой семье — о Леве, о Вите, которым я был бессилен помочь. Меня мучило чувство вины перед ними; в самые трудные (для них) месяцы я лежал больной, был вне жизни, а потом был уже ненадобен им. Но я помню все доброе, что они сделали мне, и Бор. Ильич и Евг. Борисовна, и невозможность помочь им тяготила меня, как страдание. ⟨...⟩

Был я в «Новом Мире». Дементьев сообщил мне, что он в восторге от Лидиной статьи про детскую литературу, и просил у нее такую же для «Нового Мира».

11 января. Мороз — 22°. Весь день в городе. «Правил» — то есть портил свою статью «От дилетантизма к науке». Дементьев предложил мне ряд изменений, которые я вначале принял без большого раздумья, но ночью решил во многих местах восстановить Status Quo ante*. Из-за этого двойная корректура — сначала «по Дементьеву», потом «назад к Чуковскому». ⟨...⟩

* Положение, которое было прежде *(лат.)*.

17 января. 〈...〉 Снег. Метет со вчерашнего вечера. Встретил Катаева — весь засыпан снегом, коричневая фетровая шляпа, щегольское пальто. Лицо молодое, смеющееся, без обычной отечности. Похвалил мою статью о текстологии — в будущем «Новом Мире». Идет к телефону в контору.— «Эх, завел бы я телефон дома, да жена, да дочь... целый день будут щебетать без умолку. Посадить бы стенографистку — о чем они говорят, боже мой!»

Написал рассказ о Максе Волошине — и о жене его Марии Степановне. «Я три года наблюдал ее в Коктебеле. Святая ж[енщи]на, а отдала свою душу вздору. Я вывел их под псевдонимами, но узна́ют, и больше мне в Коктебель нет пути[1]. Пьесу о бездарном писателе, который бездельничал 25 лет — и справляет юбилей, я все никак не могу начать... нет персонажа» 〈...〉. Я сказал ему: что́ писатели! Но сколько есть академиков, не имеющих научных трудов! Ну, напр., член-корреспондент Еголин, академик Майский и др.

Катаев: Чтобы сделать вам приятное, введу в пьесу члена-корреспондента.

Я забыл приписать, что Тихонов рассказывал о своем разговоре с Неру. «Об этом разговоре я мечтал одиннадцатилетним мальчишкой. Я писал тогда об Индии и рифмовал: «па́год» и «на́ год». И все мои индийские книги сгорели. Но ничего, они тут (и он указал на лоб). Я так знаю Индию, что, когда в Пешаварском музее гид не мог объяснить, почему сабли (экспонаты) имеют такой-то изгиб, я объяснил гиду, и все обомлели».

22 янв. Умер Пришвин. Умер Горбатов. В Гослите объявили, что берут к изданию мой и Танин перевод пьесы Фильдинга[2]. 〈...〉

29 января. Радости: 1) был у Збарского, видел Евг. Борисовну, Бориса Ильича. В маленькой комнатке у Левы. Евг. Б-на, преображенная страданием, светлая. Б. И. похудевший, как после смертельной болезни. Круглый стол, пирожки, пирожное («вот твое любимое, с кремом», говорит Евг. Б.). Она уже отбывала «лагерь» в Мордовии, а он был еще под следствием. Его держали в одиночке на Лубянке. Он даже не знал, что умер Сталин, он не знал о предательстве Берии. Когда его стали брить и потребовали квитанции, выданные ему при аресте, он подумал: «конец!» — а его повели к генерал-прокурору Руденко, который сказал ему — Садитесь, *товарищ* Збарский! — Чуть Зб. услыхал слово товарищ, слезы хлынули у него из глаз, и он понял, что начинается *чудо*. Ему вернули все ордена, все звания. (И сейчас вновь представили к Сталинской премии за учебник по химии.) У него было на двести тысяч облигаций, и, возвращая их ему, канцеляристка стала выписывать:

0.03759, серия 612

и т. д. мелкими купюрами. Это отняло час. Он так рвался на свободу, что сказал канцеляристке:

— Жертвую эти облигации государству.

— Нет, погодите:

0.0971216 серии 314

и т. д. Эти минуты, когда он, освобожденный, оправданный, ехал домой, ради них стоит жить. Он рвался, чтобы увидеть жену, детей. ⟨...⟩

6 февраля. Были Каверин и Лидия Николаевна. Они тоже в восторге от статьи Лифшица о Мариэтте Шагинян. Повторяют наизусть

Мы яровое убрали,
Мы убрали траву,
Ком се жоли! ком се жоли!
Коман ву порте ву?[3]

Куда я ни пойду, всюду разговоры об этой статье[4]. Восхищаются misquotation*. «Над вымыслом слезами обольюсь» и «Кто ей поверит, тот ошибется». Но есть ханжи, которым «жаль Мариэтту». Самые несхожие люди: Макашин и Т. Спендиарова. Говорят, что Мариэтта предприняла ряд контр-мер. ⟨...⟩

В Детгизе прелестные рисунки Конашевича к «Тараканищу». ⟨...⟩

Вечером встретил в конторе у телефона Вал. Катаева. «Я уже написал 1-й акт своей пьесы. Вам первому хотел бы прочитать». Мы пошли к нему в его изящный кабинет с экспрессионистской картиной и висячей этажеркой для красиво переплетенных книг. Пьеса чудесная. Имен действ. лиц нет, но всех узнаешь. Написано страниц 12. Заглавие теперь: «Юбилей». Фамилию героя он хочет изменить. Мадам, по его словам, списана с NN — но в обобщенном виде. Сироткин, дочь, ветеринар — название романа «Овсы цветут», все это великолепно. Я слушал и смеялся непрерывно. Уже есть начало 2-го действия. Я сказал, что его пьеса и статья о Шагин[ян] — на одну тему. О статье про Шагинян он говорит, что она была злее и прямее, да ее почистили в редакции. О скоропалительности Мариэтты было сказано, что она «наполеоновская». К Наполеону пришла красавица и хотела завести с ним роман. Наполеон вынул часы и сказал: «Сударыня, я согласен, у меня есть пять минут».

Говорил Катаев о том, что меня выдвинули на премию *единогласно,* не было ни одного возражения. ⟨...⟩

«Маяковского втянул в детскую л-ру я,— говорит он.— Я продал свои детские стишки Льву Клячке и получил по рублю за строку. Маяк., узнав об этом, попросил меня свести его с Клячкой. Мы пошли в Петровские линии,— в «Радугу», и Маяк. стал писать для детей».

13 февр. Третьего дня был я у Всев. Ив[анова]. Его рабочий кабинет весь увешан старинными народными картинами, раскрашен-

* неправильным цитированием *(англ.).*

ными гравюрами на дереве. Очевидно, это связано с его нынешней темой — он сочиняет народное представление в духе Царя Максимилиана в стихах — на тему лесковской «Блохи». Чуть только я сказал: «какой у вас прелестный кабинет»,— он порывисто схватил одну картину, написал на ней «К. Чуковскому от автора» и подарил мне. Великодушный, щедрый подарок! Оказалось, что рамочка к этой картине сделана самим Всеволодом Вячеславовичем. Некоторые картины он сам и раскрашивает — тоже с огромным вкусом — картина, к-рую он мне подарил,— «Тройка» Некрасова с чуть-чуть переиначенным текстом.

Его внук Антон четырех лет чудесно поет эту «Тройку». Очень меланхоличны выходят у него последние строки:

И к другой
Мчится вихрем корнет молодой.

Вчера приходил ко мне Федин, и мы сделали с ним большую прогулку. Тема разговоров (как и со Всев. Ивановым) — статья Лифшица о Шагинян. Федин сказал мне, что чуть только Шагинян похвалила в «Лит. Газ.» роман Панферова, Панферов в журнале «Октябрь» похвалил дневник Шагинян, тот самый дневник, который высмеял теперь Лифшиц[5]. Так что Панферов встанет теперь за Мариэтту горой.— Федин бодр, пишет роман, много смеется.

Женя все еще в больнице.

15 февраля. Вчера Катаев прочитал мне второй акт своей пьесы. Окончательно решено, что она будет называться не «Членский билет», не «Юбилей», а «Понедельник». Я непрерывно смеялся, слушая. Очень похоже на правду и очень смешно. «Будь я помоложе, я бы из тебя Гоголя сделала»,— говорит жена писателя зятю — и действительно, у нас Гоголи делаются при помощи всяких внелитературных приемов. Грибачев и Щипачев — и Еголин — и академик Майский, и Бельчиков тому доказательство. И Шагинян. Катаев боится, что пьесу не разрешат, и принимает меры: выводит благородную девушку, которая ненавидит по-советски всю эту пошлость, выводит благородного Сироткина, выводит благородную машинистку, к-рая должна сообщить зрителям, что Правление возмущено поведением Корнеплодова. Но ведь в конце концов Правление Союза писателей выдает даже деньги на этот юбилей — хотя бы и второго разряда.

Гуляли мы с Катаевым под метелью по Переделкину, встретили Всеволода Иванова, Тамару Вл. и Ко́му. Я подбежал к ним, а Катаев даже не поздоровался. Вообще же Катаев счастлив и добродушен — ему весело и интересно писать такую забавную и удачную пьесу, и, читая, он сам несколько раз смеялся до упаду — как будто пьеса ему неизвестна и он читает ее в первый раз.

По дороге говорили о Пономаренко: ушел. Вместо него, говорят, назначен Александров. «Говорят, он дон Жуан»,— сказал я.—

«Знаю! — отозвался В. П.— Мы с ним вдвоем состязались из-за одной замечательной дамы».

20 февраля 1954. Уже несколько дней у нас гостит Коля. Читал нам поэму «Дед Кельбук», переведенную им с чувашского. Отличная поэма, четкий поэтичный перевод.

Вчера ко мне с утра пришел Фадеев и просидел девять часов, в течение которых говорил непрерывно: «Я только теперь дочитал вашу книгу — и пришел сказать вам, что она превосходна, потому что разве я не русский писатель...» Мы расцеловались — он стал расспрашивать меня о Куприне, о Горьком, о 1905 годе — потом сам повел откровенный разговор о себе: «какой я подлец, что напал на чудесный, великолепный роман Гроссмана. Из-за этого у меня бессонные ночи. Всё это Поспелов, он потребовал у меня этого выступления. И за что я напал на почтенного милого Гудзия?»[6] Долго оплакивал невежество современных молодых писателей. Были: Софронов, Бубеннов, Мальцев и еще кто-то. «Я говорю им, как чудесно изображена Вера в «Обрыве», и, оказывается, никто не читал. Никто не читал Эртеля «Гардениных». Они ничего не читают. Да и писать не умеют, возьмите хотя бы Суркова... Ну ничего, ничего не умеет. Двух слов связать не умеет. И вообще он — подлец. Спрашивает меня ехидно-сочувственным голосом: «Как, Саша, твое здоровье?» и т. д.»

Кончился визит чтением Исаковского, Твардовского — «За далью даль». Читали с восхищением. ⟨...⟩

22 февраля. Вчера мы с Колей были у Федина. Опять разговор о «гужеедах», взявших в Союзе верх и называющих «эпоху Пономаренко» — *идеологическим нэпом...* Рассказывал о мытарствах Твардовского и Шолохова. Тв. представил начальству продолжение «За далью даль» (для III кн. «Нового Мира») — и там два места сочтены подлежащими удалению. Шолохова вся вторая часть «Поднятой целины» — вся ее история. Рассматривали рисунки Конашевича к доктору Айболиту. ⟨...⟩

8 марта 1954. У Всеволода Иванова. (Блины.) Встретил там Анну Ахматову впервые после ее катастрофы. Седая, спокойная женщина, очень полная, очень простая. Нисколько не похожая на ту стилизованную, робкую и в то же время надменную с начесанной челкой, худощавую поэтессу, которую подвел ко мне Гумилев в 1912 г.— сорок два года назад. О своей катастрофе говорит спокойно, с юмором. «Я была в великой славе, испытала величайшее бесславие — и убедилась, что в сущности это одно и то же».

«Как-то говорю Евг. Шварцу, что уже давно не бываю в театре. Он отвечает: «да, из вашей организации бывает один только Зощенко». (А вся организация — два человека.) «Зощенке,— говорит она,— предложили недавно ехать за границу... Спрашиваю его: куда? Он говорит: «Я так испугался, что даже не спросил». Спра-

шивала о Лиде, о Люше. Я опять испытал такое волнение от ее присутствия, как в юности. Чувствуешь величие, благородство,— огромность ее дарования, ее судьбы. А разговор был самый мелкий. Я спросил у нее: «Неужели она забыла, что я приводила к ней Житкова (который явился ко мне с грудой стихов, еще до начала своей писательской карьеры и просил познакомить меня с нею)». «Вероятно, это и было когда-нибудь... несомненно было... Но я была тогда так знаменита, ко мне приносили сотни стихов... и я забыла».

Пришел Федин. Он был в городе — ему нужно спешно прочитать гору эстонских книг, выступить на эстонской декаде — но пришел на минуту — и остался. Ахматова принесла свои переводы с китайского, читала поэму 2000-летней давности — переведенную пушкинским прозрачным светлым стихом — благородно простым — и как повезло китайцам, что она взялась их перевести. До сих пор не было ни одного хорошего перевода с китайского. «Мой редактор в Л[енингра]де такой-то (я забыл фамилию) очень большой китаист[7]. Два года был ламой в Тибете, и никто не знал, что он был наш советский шпион». Федин рассказал о китаисте Федоренко, который должен был служить переводчиком при встрече Сталина с Мао Дзе Дуном. И Мао Дзе Дун был вынужден писать ему иероглифы, потому что при единстве алфавита речь у разных племен китайцев — различна. ⟨...⟩

19 марта. Был Леонов. Розовый, веселый, здоровый. Сидел часа четыре. Рассказывал, как в те времена, когда его, Леонова, били, его жена пришла к Фадееву хлопотать о муже: а Ф. не принял ее и разговаривал с ней через окно со второго этажа, а сбоку выглядывала красная физиономия Ермилова. Этот эпизод Л[еонов] и ввел в свой последний роман. В центре всех литературных разговоров история Вирты. (См. «Комсомольскую правду» от 16-го)[8]. В Литфонде вынесено постановление: выселить из переделкинской дачи первую жену Вирты — Ирину Ивановну. От Вирты — естественный переход к Сурову, кот. дал по морде и раскроил череп своему шоферу и, когда пришла врачиха, обложил ее матом. Сейчас его исключили из партии — и из Союза писателей[9]. ⟨...⟩

21 марта. Оказывается, глупый Вирта построил свое имение неподалеку от церкви, где служил попом его отец — том самом месте, где этого отца расстреляли. Он обращался к местным властям с просьбой — перенести подальше от его имения кладбище — где похоронен его отец, так как вид этого кладбища «портит ему нервы». Рамы на его окнах тройные: чтобы не слышать мычания тех самых колхозных коров, которых он должен описывать... Всё это рассказал мне Федин, которого я вытащил вечером на прогулку. ⟨...⟩

23 марта. Встретил Федина на улице. Гулял с ним. Он рассказывает о Твардовском. Тот приезжал к нему с Сергеем Смирновым —

стеклянно-пьяным, выпил еще графинчик — и совсем ослабел. Еле-еле заплетающимся языком прочитал новую вещь — «Теркин на небе» — прелестную, едкую[10]. ⟨...⟩

5 апреля. Вчера одним махом перевел рассказ О. Генри «Стриженый волк». К вечеру сделал открытие: о связи фольклорных стихотворений Некрасова с Рылеевскими — и вписал эти соображения в главу о фольклоре. Тяжелым камнем висит на мне рукопись Наппельбаума, фотографа, которую я сдуру взялся прочитать. Рукопись нелепая, клочковатая. Я почему-то испытываю давно не бывшее у меня чувство беспричинного счастья: должно быть, *перед бедой.* ⟨...⟩

25 апреля. Пасха. Со вчерашнего вечера лежу в «боксе», феноменально чистом — стекло и кафель. ⟨...⟩ Читаю О. Генри. Он теперь мне милее, чем прежде. Остроумный рассказ «The Hypothesis of Failure»* об адвокате по бракоразводным делам, которого двое посетителей (которых он принял в разных комнатах) уговаривали: один — чтобы он дал развод с женой некоему Биллингу (так как Биллинг не понимает ее возвышенной и тонкой души), другой, чтобы он примирил мужа и жену (а жена сбежала к любовнику Джессону.) Только в последнюю минуту выясняется, что первый был Биллинг, а второй — Джессон. Второй рассказ «Girl»**, человек делает предложение девушке, она соглашается—и лишь в последних строках узнаем, что весь их диалог не признание в любви — а наем кухарки. Дело не в этих концовках, а в поразительной ткани повествования, где ни одна строка не пишется по инерции, всякая изобретена заново. В каждой строке О. Генри идет по линии наибольшего сопротивления. Эта небанальность его фразеологии особенно чувствительна для нас, иностранцев. ⟨...⟩ О. Генри смертельно надоедает. В его разнообразии есть что-то монотонное. ⟨...⟩

26 апреля. ⟨...⟩ Прочитал Hall Cain'а «Воспоминания о Россетти». Hall Cain'а я терпеть не могу, но его воспоминания кажутся мне интересными. Этот огромный дом в Cheyne Walk'е, где одиноко, отрешенный от всего мира жил несчастный Россетти, страдавший бессонницей, пивший каждую ночь хлорал, уверенный, что против него устроен заговор шайкой каких-то врагов. Оказывается, Россетти не любил той женщины, на которой женился, которую увековечил на картинах, в гробу которой похоронил свою рукопись. Умер он внезапно от брантовой болезни на 54 году жизни; умер весною 1882, чуть ли не в день моего рождения.

Кончает Хол Кэйн пошло: «наконец-то его бессонница кончилась, и он заснул непрерывным сном!» Скоро это можно будет сказать и обо мне! ⟨...⟩

---

* «Гипотезы неудачи» *(англ.)*.

** «Девушка» *(англ.)*.

13 июня. Был у меня Леонов. Говорит, что вместо Твардовского редактировать «Новый мир» будет Ермилов.

Очень смешно показывал, как в Латвию на писательскую конференцию приезжает представитель Киргизской л-ры только для того, чтобы сказать: «Мы, киргизские писатели, шлем вам пламенный жаркий привет» и т. д. Как за то, что он скажет эти шаблонные фразы, он получает подъемные, командировочные и т. д.

Хочет бросить пост председателя Литфонда. На прием к нему приходит дамочка — жаловаться, что Литфондовская пошивочная мастерская испортила ей бархатный жакет. M-me Соболева одолела мельчайшими жалобами и т. д.

— Ой, какая повесть вертится у меня в голове. ⟨...⟩

15 июня 54 г. Вчера Федин рассказывал, что, когда Поспелов вызвал к себе редакцию «Нового мира» — по поводу нового «Теркина»,— смелее всех держался Дементьев. Очень струсил Сергей Сергеевич Смирнов — и тотчас же стал от всего отрекаться.— Федин поправился. Уже не кажется таким немощным старцем, как месяца два тому назад. Я одновременно читаю биографию О. Генри, готовлю статейку о Пантелееве, работаю над «От 2 до 5», стряпаю передачи о Чехове для радио — о боже! как надоела мне эта пестрота. ⟨...⟩

18 июня. ⟨...⟩ Сегодня был у Федина. Он правит стенограмму своего выступления в честь эстонцев. Заговорили об Эренбурге. «Я,— говорит он,— был в Кремле на приеме в честь окончания войны. Встал Сталин и произнес свой знаменитый тост за русский народ — и Эр. вдруг заплакал. Что-то показалось ему в этом обидное».

По словам Федина, один из литераторов в кулуарах Союза назвал Эр. «патриархом космополитов».

Мы устраиваем костер.

Против романа Леонова «Русский лес» особенно яро выступали два писателя — Злобин и Дик. По этому поводу Леонов цитирует Лермонтова:

Рвется Терек, Дик и Злобин.

15 июля. Пятьдесят лет со дня смерти Чехова. Ровно 50 лет тому назад, живя в Лондоне, я вычитал об этом в «Daily News» и всю ночь ходил вокруг решетки Bedford Square'а — и плакал как сумасшедший — до всхлипов. Это была самая большая моя потеря в жизни. Тогда же я сочинил плохие, но искренне выплаканные стихи: «Ты любил ее нежно, эту жизнь многоцветную», то есть изложил в стихах то самое, что сейчас (сегодня) изложил в «Литгазете».

Прошло 50 лет, а моя любовь к нему не изменилась — к его лицу, к его творчеству. ⟨...⟩

4 ноября. [Барвиха.— *Е. Ч.*] Тоска!! Переутомление! Нет ни одного человека, с которым хотелось бы перекинуться словом. ⟨...⟩

[illegible] грузовик. В [illegible] отравлен, с одним повреждённым глазом, с крикливым голосом, изуродованная бородой — одна из самых [illegible] [illegible]. Я рад, что мне [illegible] [illegible].

Говорят про Евг. Бор. Збарского — что он прекрасно вела себя в лагере.

[illegible] с [illegible] в машине Коля с Лидой и Марина.

День яркий, солнечный, невсамделишный. Коля рассказывал про свадьбу Гули. Какая это была страшная пошлость. Были Щипачёв, Степанов, Русланова со своим генералом. Говорят, о котором романе есть рецензия в „Новом мире“.

„Шуба с збарского плеча“ — говорят про [illegible] Щипачёва, [illegible] Збарского.

Коля дал мне ряд советов по поводу Съезда, к-рые [illegible] на докладе.

ПИСАТЕЛИ В ГОСТЯХ У ШКОЛЬНИКОВ

Вчера, 14 ноября, в Колонном зале Дома союзов состоялся утренник — школьники Москвы встретились с писателями. К ученикам 3—6-х классов пришли детские писатели К. Чуковский, Н. Носов, Л. Кассиль, С. Михалков, Ю. Яковлев, Я. Тайц, А. Алексин, Е. Ильина, Л. Воронкова и другие.

Открывая утренник, Л. Кассиль рассказал о подготовке ко Второму Всесоюзному съезду писателей.

Утренник закончился большим концертом.

Чуть ли не впервые за 10 лет в „Правде“ я отмечен как детский писатель. [illegible] почему-то не назвала [illegible] [illegible].

17 ноября. Вчера был поразительно солнечный день. А сегодня впервые сразу — снег. Снег и солнце. Но я вырвался из [illegible] работы и [illegible]

Страница дневника. Вклеена вырезка из газеты. 1954 г.

Что делать? От тоски, от корректур, от безлюдья, от сознания полной своей неприкаянности — я побрел к Екатерине Павловне Пешковой — которая живет в деревне Барвихе на собственной даче (дача Горького). Сколько ей лет? лет 78, а она бодра, возбуждена, эмоциональна, порывиста. Недавно в Лит. Музее был, оказывается, вечер Чехова и читались письма Станиславского к Чехову — «такие дивные, такие благородные, милые, что я была очарована чуть не до слез. И какие талантливые воспоминания Ольги Леонардовны о смерти Чехова: он здесь лежит, в номере гостиницы, похолоделый, а в окно врывается чудесное летнее утро — та природа, которую он так любил...— И тут же была прочтена речь, которую Станиславский сказал при открытии памятника Чехову в Баденвейлере,— чудесная речь, очень молодая, волнующая. Я так была взбудоражена всем этим, что, когда Дарья заехала за мною и я села в машину, Дарья говорит: «Бабушка, что с тобою?..»

Потом заговорила о Серго[11]. «Хлопочу, бегаю в прокуратуру, но Руденко меня не принимает, а ведь С. не имел к отцу никакого отношения, и это была такая пара, так они любили друг друга (и побежала, принесла фотографию). А нам уже нельзя жить широко, ведь мы уже не получаем гонорара за книги Алексея Максимовича, срок прошел, оказалось, что мы жили не по средствам, приходится бросить дачу, жить в городе... Жалко правнуков, им так хорошо за городом...» Но потом отмахнулась от личного и стала говорить про издание писем Горького к ней: вот вышла книжка «Письма Марии П[авловны] Чеховой» с ее примечаниями, а мне не позволили. ⟨...⟩

11 ноября. Теплынь, благодать. Принесла Клара корректуру «Мастерства» с дурацкими требованиями очень тупой редакторши. Продержал 10 листов — и смертельно устал. Одно приятно: от цензуры строгий приказ: не хвалить русскую литературу в ущерб иностранным. Вычеркнули то место, где Чернышевский говорит «Фильдинг хорош, но все же не Гоголь». Вообще объявлена война шовинизму. Говорят: в кино показывают Рим, Париж [не] в виде грязных лачуг бедноты, а — лучшие здания, памятники и т. д. Это тоже приятная новость. ⟨...⟩

14 ноября. Позвонила Лида: только что вернулась из ссылки Катя Боронина. Совершенно оправдана. Второй раз в жизни мне случается выхлопатывать для нее освобождение. ⟨...⟩

15 ноября. Вчера ездил в Колонный зал — выступать на предсъездовском детском утреннике. Сидел рядом с Михалковым — милым, веселым. Михалков рассказал мне, что, когда его Андрону было 6 лет, к ним пришла Рахиль Баумволь, и Андрон сказал:

В гости к нам пришла Рахиль
И в глаза пустила пыль.

Из-за этой пыли
Я не видал Рахили.

⟨...⟩ Третьего дня женился Гуля на Тане Погодиной.

— Кем теперь приходится вам Н. Ф. Погодин? — спросил Михалков. И ответил:

— Собутыльником.

Прочитал ребятам вторую часть дяди Степы — «дядя Степа — светофор», прелестно, очень талантливо. ⟨...⟩

Был на минутку дома. Видел Катю Боронину. Такое впечатление, будто ее только что переехал грузовик. В каких-то отрепьях, с одним поврежденным глазом, с хриплым голосом, изнуренная базедом — одна из сотен тысяч невинных жертв Берии. Я рад, что мне посчастливилось вытащить ее из ада. Говорит про Евг. Бор. Збарскую — что та прекрасно вела себя в лагере. ⟨...⟩

23 ноября. Чудесная погода — мороз и солнце.

Завтра мне отчаливать от этого волшебного острова — в бурное море литературных ураганов, и смерчей, и подводных утёсов. Сегодня сообщается в газетах, что умер Игнатьев, которого я видел в Париже блестящим военным атташе, а потом встречал... на кухне у Горького на Никитской, 6. Тогда еще жива была рыжая Липа (Олимпиада), домоправительница, ухаживавшая за Ал. Макс. во время его болезней. Бывало, к Липе придут два бывших графа — Игнатьев и Ал. Толстой — поздно вечером: Липа, сооруди нам закуску и выпивку — и Липа потчует их, а они с величайшим аппетитом и вкусом спорят друг с другом на кулинарные темы. Игнатьев был завзятый гурман и писал книгу «Советы моей кухарке». Умер А. Я. Вышинский, у коего я некогда был с Маршаком, хлопоча о Шуре Любарской и Тамаре Габбе. Он внял нашим мольбам и сделал даже больше, чем мы просили, так что М. обнял его и положил ему голову на плечо, и мы оба заплакали. Человек явно сгорел на работе.

Сколько смертей за то время, что я здесь! ⟨...⟩

15 декабря. Вчера собрание московских делегатов. Отличная (по форме) речь Суркова: о том, что будут новые журналы: — «Красная Новь», «Юность» и др. О том, что делегаты не должны выходить из зала, когда будет выступать азербайджанец или татарин. После заседания, очень короткого, на котором Сурков был выбран руководителем Московской делегации, ко мне подошел Катаев — пригласил в журнал «Юность».

Федин написал для «Правды» большую статью. Ему вернули для доработки. Он вез меня в машине и продолжал работать над статьей. Весь город говорит о столкновении Эренбурга и Шолохова, говорившего в черносотенном духе[12]. ⟨...⟩

Только что вернулся со Съезда. Впечатление — ужасное. Это не литературный Съезд, но анти-литературный съезд.

19 декабря. Не сплю много ночей — из-за Съезда. Заехал было за Пастернаком — он не едет: «Кланяйтесь Анне Андреевне», вот и все его отношение к съезду. Я бываю изредка — толчея, казенная канитель, длинно, холодно и шумно. Сейчас ночью гулял с Ливановой и Пастернаком 2 часа. Он много и мудро говорил о Некрасове.

21 декабря 54. Выступал на Съезде. Встретили аплодисментами, горячо. Читал я длинно, но слушали и прерывали аплодисментами. Но того успеха, который был на I съезде, не чувствовал — и того единения с аудиторией. Проводили тоже рукоплеском. Подошел Сурков и поздравил. Но сейчас ничего, кроме переутомления, не чувствую. ⟨...⟩

25 декабря. Вчера на Съезде «сомлел» — потерял сознание. Поплелся домой. Был у меня милый Еремин — очень мрачно настроенный. Рассказал, что в Гослите одновременно три смерти: умер художник Мухин; заведующий худож. частью Н. В. Ильин и секретарша литературоведческого отдела Клавдия Павловна. Теперь они все трое стали под землей одинаковыми, но какие разные были при жизни. Клавдия Павловна — тишайшая старушка, седая, болезненная, сестра критика Вяч. Полонского, когда-то очень шумного, очень драчливого, устраивавшего публичные прения о Бакунине и Достоевском, редактировавшего журнал «Печать и Революция» и ушедшего из литературы бесследно. Ильин был агрессивно бездарен, безвкусен, отчаянно карьерен, полон пустопорожних претензий. Бешеная жажда успеха — даже странно, что ныне она прекратилась. Мухин был всегда озабочен чем-то, всегда торопил и торопился, всегда кричал, что все сроки упущены,— а оказывается, торопиться было некуда. Почему же я, их ближайший собрат по могиле, сейчас 1) сдаю Гослиту новое издание «Трудного времени»; 2) новое издание Авдотьи; 3) готовлю к выпуску «От двух до пяти»; 4) правлю корректуру «Телефона» (с новыми рисунками Конашевича); 5) жду чистых листов 2$^{\text{го}}$ изд. «Мастерства Некрасова»? Зачем мне все это, невозможно понять. ⟨...⟩

1955

1 янв. Вчера Женя с Леней, Борей и Валей и др. добыли в лесу елку,— большую и ладную — и украсили ее молча, т. к. я занимался в соседней комнате. Их было 5 человек, но они проделали всю операцию *молча,* так что я и не догадался, что за стеною народ. Удивительно вымуштровал их Женя. Вечером вышел на прогулку вместе с Мишкой (собакой Катаева). Мишка видит цель прогулки в том, чтобы полаять у каждого забора, за которым тявкает собака. Полает и бежит ко мне похвастаться. Я говорю: «молодец,

Мишка!» — и он с новыми силами кидается в новый бой. И снова подбегает ко мне за похвалами и поощрением. Встретил незнакомого мне адмирала Митрофана Ивановича — в штатском — так как с виду мы знаем друг друга, мы поздравили др[уг] др[уга] с Новым Годом — и пошли гулять вместе. Оказалось, что он начитаннейший адмирал во всем флоте. Какой литературной темы я ни касался, всякую он знает назубок. Он острогожский — из тех же мест, что и Крамской. Съезд изучен им досконально. Я, бывавший на Съезде, не знаю и десятой доли того, что знает он о речах Овечкина, Николаевой и др. Пришел домой. Елка убрана. Женя трогательно показывал мне игрушки, которые достались ему от отца. Вот этот поваренок, этот шар, этот крокодил, эта цепочка,— и я вдруг вспомнил, как я держу его отца на руках — трехлетнего — и тот восторженно глядит на зажженную елку. ⟨...⟩

Я читаю Троллопа «Eustace Necklace» роман о лживой, блудливой и пройдошливой лэди Юстэс, которая не хочет отдать наследникам их фамильное брильянтовое ожерелье. Триста страниц — или больше — посвящено только этой теме. Наследники — и от их имени юрист Кемпердаун — говорят «отдай брильянты», а лэди Юстэс отвечает: «не отдам». Только такой огромный талант как Троллоп мог сделать из этого интересный роман. Но дальше пошло еще интереснее: героиня заснула, к ней пробрались грабители и вынесли из ее спальни железный сейф с ожерельем, а потом оказалось, что ожерелье у нее под подушкой, и грабители трудились зря. Она объявляет себя ограбленной, прячет ожерелье в ящике стола, уезжает в театр, а в это время ее горничная и в самом деле похищает ожерелье, которое считалось похищенным. Казалось бы, фабула тощая, но вокруг этого столько бытовщины, столько страстей, столько характеров, что жалеешь, что роман скоро кончится. В нем около 600 страниц. Сейчас я мудрю над книгой «От двух до пяти» — и хлопочу о том, чтоб Детгиз тиснул в конце концов моего «Крокодила» ⟨...⟩.

2 января. Весь день сидел в жениной комнате и правил «Заповеди для детских писателей» — и читал «Eustace Necklace», которое во второй части становится воистину гениальным. Волнуешься, словно дело идет о твоей личной судьбе. ⟨...⟩

4 января. ⟨...⟩ Ездил вчера к Лиде в Голицино,— она показывала мне сборник «Ленинградские писатели — детям», феноменально безграмотный, гнусный. «Новый Мир» ей предложил написать рецензию — и она, ради крошечной рецензии, читает около 30 книг, взятых ею из Дома Детской книги, будет работать месяца полтора, получит рублей 300 гонорару и наживет еще десятка два врагов.

10 января. Умер Тарле — в больнице — от кровоизлияния в мозг. В последние три дня он твердил непрерывно одно слово — тысячу раз. Я посетил его вдову, Ольгу Григорьевну. Она вся в слезах, но

говорит очень четко с обычной своей светской манерой. «Он вас так любил. Так любил ваш талант. Почему вы не приходили! Он так любил разговаривать с вами. Я была при нем в больнице до последней минуты. Лечили его лучшие врачи — отравители. Я настояла на том, чтобы были отравители. Это ведь лучшие медицинские светила: Вовси, Коган... Мы прожили с ним душа в душу 63 года. Он без меня дня не мог прожить. Я покажу вам письма, кот. он писал мне, когда я была невестой. «Без вас я размозжу себе голову!» — писал он, когда мне было 17 лет. Были мы с ним как-то у Кони. Кони жаловался на старость. «Что вы, А. Ф., сказал ему Евг. Викт.— грех вам жаловаться. Вон Бриан старше вас, а все еще охотится на тигров».— «Да,— ответил А. Ф.,— ему хорошо: Бриан охотился на тигров, а здесь тигры охотятся на нас». Несколько раз — без всякой связи — О. Г. заговаривала о Маяковском. «Ведь это вылитый Лебядкин».

Оказывается, в той же больнице, где умер Е. В., лежит его сестра Марья Викторовна. «Подумайте,— сказала Ольга Григорьевна,— он в одной палате, она в другой... вот так *цирк!*» — (и мне стало жутко от этого странного слова). М. В. не знает, что Е. В. скончался: каждый день спрашивает о его здоровьи и ей говорят: лучше».

Были у меня вчера Каверин, Леонов и Фадеев. Но нет времени — нужно писать — главу о сказке для «От двух до пяти».

Леонов рассказывал, будто на совещании о гонорарах в ЦК Фадеев выступил за сокращение гонораров: «Вот я, напр.,— говорил он,— прямо-таки не знаю, куда девать деньги. Дал одному просителю 7 тысяч рублей — а давать и не следовало. Зря дал, потому что лишние»... Против него выступил Смирнов: «Ал. Ал. оторвался от средних писателей». ⟨...⟩

21 января. Был в городе — хотел поговорить с Пискуновым о новом сборнике своих «Сказок», куда они как будто согласны включить «Крокодила». Вдруг звонит ко мне Клара: «М. Б-не стало хуже, зовите Алексея Вас-ча». У нее совершенно перестало действовать сердце, сильно болит левая рука, аппетита никакого, губы синие. Но голова ясная, речь не хуже обычной. Что делать? Я примчался из Москвы — не доделав своих мелконьких дел. ⟨...⟩

22 янв. Щемящее чувство к родному гибнущему человеку душит меня слезами. Хотел было отвлечь ее от мучительных мыслей — и стал читать ей рукопись «Бибигона» — и все боялся, что прорвутся рыдания. Он[а] слушала очень внимательно — и указывала, где длиноты и вялости — но вдруг я увидел, что это тяжкая нагрузка для ее усталого мозга — и что я утомляю ее. Держится она только черным кофеем и ядами лекарей. ⟨...⟩

21 февраля. Лида вошла и сказала: «скончалась». Ольга Ив. и Анаст. Ив. обмыли ее, одели, приехал врач: смерть. ⟨...⟩

23 февраля. Вот и похороны. ⟨...⟩

Я на грузовике вместе с Лидой и Сергеем Николаевичем. Смотрю на это обожаемое лицо в гробу, розовое, с такими знакомыми пятнышками, которое я столько целовал — и чувствую, будто меня везут на эшафот. Сзади шествуют Штейн, Погодина, Леоновы, Федин, Каверин — дети, внуки и мне легче, что я не один, но я смотрю, смотрю в это лицо, и на него падает легкий снежок, и мне кажется, что на нем какое-то суровое благоволение, спокойствие.

Гроб на горку несли Миримский, Сергей Ник., Дима Родичев.

Чудесный венок от Маршака, от Георгиевской и Габбе (Габбе дивно говорила со мною — в комнате, отдельно), и вот гроб на горке — и мне кажется, что я в первый раз вижу похороны и в первый раз понимаю, что такое смерть,— мы плетемся по ухабистому снегу, проваливаясь, прекрасное место под тремя соснами выбрал я для нее и для себя, здесь я пережил всю казнь — и забивание гроба гвоздями, и стуки мерзлой земли по гробу и медленную — ужасно медленную работу лопат. Прокопыч сколотил крестик, Женя написал чудесную табличку, насыпь засыпали цветами, венками, и я не помню, как я вернулся домой. Трогательнее всех был Сергей Николаевич, наш бывший шофер. ⟨...⟩

28 февраля. Вчера снова ездил на могилу — вместе с Женей и Катей Лури. Мороз — чудесная погода — ясная. И ленты и цветы — в целости. Прокопыч обтянул проволокой. Видел Ивановых — Кому, Т. В., они проводили меня к Пастернаку, который и звонил мне, и приходил ко мне. Пастернак закончил свой роман — теперь переписывает его для машинистки. Написал 500 страниц. Вид у него усталый: были у него Ливановы, и он был на домашнем юбилее Всев. Иванова — не доспал, пил. Приехав домой, я застал у себя Ираклия, который гениально показал речь, сказанную Пастернаком на юбилее:

«Я помню... тридцать лет назад... появились такие свежие... такие необычайные — великолепные произведения Всеволода... а потом... тридцать лет прошло... и ничего!»

Вчера вечером приехала правнучка. Я ее еще не видал.

Читаю Бозвелла «Жизнь Джонсона». Какая древность! Словно минуло три тысячи лет. Какая преданность королю и религии! Какая напыщенность. Любопытен отзыв Джонсона о Ричардсоне и Филдинге. Рич. знает, *как* сделаны часы, знает каждый винтик механизма, а Ф. глядит на часы и имеет сказать, который час.

Женя говорит, что за неск. дней до кончины М. Б. спросила у него, сколько километров прошла наша «Победа», и, узнав, что 33 тысячи, сказала: «как много».

Умерла вдова Тарле.

Звонил С. М. Бонди.

Ездил вчера к правнучке, играл с нею и с Митей в лото. Она сказала мне (тем тоном, каким говорят: «смотри, какая я хорошая

девочка»): «я узнала про бабеньку и плакала вчера и немножко плакала сегодня».

И потом:

— «Тебе тоже скоро умирать. А ты поживи еще чуточку!» Умер театральный критик Крути, который за день до смерти сказал: «Как жаль Корнея Ивановича, что у него умерла жена». ⟨...⟩

7 марта. Был рано утром на могиле. Снежок. Снял ленты — с венков. Уцелели очень немногие — от Маршака, от детей. Какая-то сволочь ворует надгробные ленты. Никогда еще так ясно не представлялась мне хрупкость понятий «мое», «твое». К своим вещам М. Б. была по-детски ревнива, и мне даже странно, что я могу взять ее чемодан, или открыть ее столик и что в ее комнате сейчас ночует Катя и неизвестная М. Б-не Елена Бианки. Странно, что я могу переставлять в ее комнате вещи — странно и страшно.

И как остро ощущаешь те перемены, которые происходят в мире *без нее*. ⟨...⟩ В Москве у Образцова гостит Сима Дрейден — тебе было бы интересно взглянуть на него. Сима вернулся из лагеря, оправданный. Рассказывает, что в качестве лжесвидетеля был Дембо, в качестве лжеэксперта была Тамара Казимировна Трифонова. Дембо «уличал» его в антисоветских речах — уличал в глаза, на очной ставке. А когда Дрейден вернулся и появился в театре, Дембо подошел к нему: «Здравствуй, Симочка, поздравляю!» Дрейден прошел мимо негодяя, даже не взглянув на него. М. Б-не это было бы интересно очень. ⟨...⟩

Был сейчас у Степанова. Говорил, что хочу ставить на могиле М. Б-ны памятник — и что рядом будет моя могила. Он сказал деловито:

— Вас тут ни за что не похоронят. (Словно добавив: «вот увидите».)

Значит, надо хлопотать, чтобы похоронили именно здесь. ⟨...⟩ Когда теряешь друга и спутника всей твоей жизни, начинаешь с изумлением думать о себе — впервые задаешься вопросом: «кто же я таков?» — и приходишь к очень неутешительным выводам ⟨...⟩. И еще одно: когда умирает жена, с которой прожил нераздельно полвека, вдруг забываются последние годы, и она возникает перед тобою во всем цвету молодости, женственности — невестой, молодой матерью — забываются седые волосы, и видишь, какая чепуха — время, какая это бессильная чушь. ⟨...⟩

10 марта. ⟨...⟩ Читаю Стивенсона «Men and Books»* — Статья «Some Aspectes of Robert Burns»** — вся обо мне. Стивенсон в моих глазах великий писатель. Его «Men and Books» в тысячу раз лучше его «Острова сокровищ».

---

* «Люди и книги» *(англ.)*.

** «Кое-что о Роберте Бернсе» *(англ.)*.

11 марта. Встретил на улице Корнелия Зелинского и Перцова. Рассказывают сенсационную новость. Александрова, министра культуры, уличили в разврате, а вместе с ним и Петрова, и Кружкова, и (будто бы) Еголина. Говорят, что Петров, как директор Литинститута, поставлял Александрову девочек-студенток, и они распутничали вкупе и влюбе. Подумаешь, какая новость! Я этого Ал-ва наблюдал в Узком. Каждый вечер он был пьян, пробирался в номер к NN и (как говорила прислуга) выходил оттуда на заре. Но разве в этом дело. Дело в том, что он бездарен, невежествен, хамоват, туп, вульгарно-мелочен. Когда в Узком он с группой «философов» спешно сочинял учебник философии (или Курс философии), я встречался с ним часто. Он, историк философии, никогда не слыхал имени Николая Як. Грота, не знал, что Влад. Соловьев был поэтом, смешивал Федора Сологуба с Вл. Соллогубом и т. д. Нужно было только поглядеть на него пять минут, чтобы увидеть, что это чинуша-карьерист, не имеющий никакого отношения к культуре. И его делают министром культуры!

Это мне напоминает случай с Анной Радловой. Она гнусно переводила Шекспира. Я написал об этом, доказал это с математической точностью. Малый ребенок мог убедиться, что ее переводы никуда не годятся. Но она продолжала процветать,— и Шекспир ставился в ее переводах. Но вот оказалось, что она ушла в лагерь Гитлера — и тогда официально было признано, что она действительно плохо переводила Ш-ра. Александров на Съезде выступал тотчас же после меня. Я в своей речи говорил о бюрократизации нашего советского лит. стиля. И речь Александрова была чудесной иллюстрацией к моему тезису. Публика хохотала. Я получил несколько записок, где его речь подвергалась насмешкам — именно как образец того стиля, над которым я сейчас издевался. *Все* видели, что это Держиморда, холуй. Но — повторилась история с Берией — начальство было слепо, и Ал-ов был поставлен во главе всей советской культуры ⟨...⟩.

Приехал Коля. Рассказывал дело Сурова, который, пользуясь гонениями против космополитов, путем всяких запугиваний, принудил двух евреев написать ему пьесы, за которые он, Суров, получил две сталинских премии! Гниль, ложь, бездарность, карьеризм! ⟨...⟩

В городе ходит много анекдотов об Александрове. Говорят, что ему позвонили 8 марта и поздравили с женским днем.— Почему вы поздравляете *меня?* — «Потому что вы главная наша проститутка». Говорят, что три министра заспорили, чье ведомство было создано раньше: мин. земледелия: «мое» (потому что бог раньше всего создал землю); министр электрост.: «мое» (потому что «Да будет свет»); министр культуры: «мое» (так как вначале был хаос).

Оказывается, Еголин действительно причастен к этим оргиям. Неужели его будут судить за это, а не за то, что он, паразит, «редактировал» Ушинского, Чехова, Некрасова, ничего не делая, сваливая всю работу на других и получая за свое номинальное редакторство больше, чем получили при жизни Чехов, Ушинский,

Некрасов! Зильберштейн и Макашин трудятся в поте лица, а паразиты Бельчиков и Еголин ставят на их работах свои имена — и получают гонорар?! 〈...〉

14 марта. 〈...〉 Я перевожу заново Song of Joys* — выходит плохо. Читаю Андрея Лескова. «Жизнь Николая Лескова» — мстительную книгу злопамятного сына о крутом и суровом отце.

15 марта. Леонов говорит, что Александров вчера как ни в чем не бывало явился вчера в Академию Наук за жалованием (20 тысяч) и говорил тамошней администрации: теперь я более свободен, присылайте мне побольше аспирантских работ. Я понял цель Андрея Лескова: он знал, что после отца останутся десятки писем, где он, Андрей, выведен шалопаем, бездельником — и задумал забронировать себя от этих писем перед потомством. Хожу каждый день на могилу и по пути вспоминаю умершую: вот мы в доме Магнера на квартире Черкасских, вот она в бархатной кофточке, и я помню даже запах этой кофточки (и влюблен в него), вот наши свидания за вокзалом у Куликова поля, когда она сказала: «Милостивый государь» и т. д., вот она на Ланжероне, мы идем с ней на рассвете домой, вот ее отец за французской газетой — «L'Aurore» — вот мы на Коломенской, «милая» твержу я и бегу на могилу, как на любовное свидание. 〈...〉

23 марта. Первый день в «Соснах». Чудесный вид на Москву-реку. Неподалеку от Николиной горы. Смотрел меня профессор невропатолог. Ярославец. Все та же банальщина: коснитесь пальцем своего носа, вытяните руки и т. д. Ванны, души, прогулки. Но для прогулок нужен спутник, а здесь сплошные канцеляристы. Я слушал их разговоры за обедом: кто чей заместитель, «а я звоню Косыгину» и т. д. Есть женщина, лет 50ти, долго объяснявшая, что чай и кофе она любит только в горячем виде, а суп — теплый; эту мысль она излагала минут семь — снова и снова. 〈...〉

24 марта. 〈...〉 Я целый день читал дневник Льва Толстого 1854—1857 — поразила меня ёмкость его времени — в один день он успевает столько увидеть людей и вещей, сколько иной не увидит и в месяц, и какое труженичество! Каждый день пишет и пишет, читает бездну — и еще укоряет себя в лени, бездельи и проч. И сколько физических сил! Нет недели, чтобы он не сходился с женщиной, а если не удастся сойтись — поллюции (стыдливо обозначаемые буквой п). Такая ненасытность мужских желаний уже сама по себе свидетельствовала об огромности жизненной мощи. 〈...〉

Воскресенье 27 или 28 марта. 〈...〉 Познакомился со Сперанским, Георгием Нестеровичем. Он родился в 1873 году, работает лопатой, много ходит пешком. 〈...〉

---

* «Песня Радостей (*англ.*). Стихотворение Уолта Уитмена.

31 марта. Сюда я приехал изможденный, но с очень исправным желудком. Здесь с первого же дня мне стали желудок портить при помощи дурацкого меню. Сначала вызвали у меня колит, а потом — дизентерию. 〈...〉 Головная боль — тошнота. Я лежал в смертельной тоске — и к счастью пришла милейшая Елизавета Петровна, жена Г. Н. Сперанского. Туполевы и Г. Н. уехали в Переделкино смотреть дачу Елизара Мальцева, продающего оную за 270 тыс. рублей. Ел. Петр-не скучно, и она пришла позвать меня к себе. Узнав о моем положении, она села у моей постели и мы стали болтать, и вскоре я забыл о своей болезни. 4—5 часов прошли как одна минута. В самом начале я совершил ужаснейший «гафф». Елиз. Петровна (которой теперь 77 лет) сказала мне, что она — слепая; еле видит краюшком глаза какие-то смутные пятна и что лечил ее Филатов. Я эмоционально воскликнул: «Но ведь Фил.— жулик».

— Не думаю,— сказала она.— Я знаю его давно, ведь это *мой родной брат*. И начались рассказы. Она замужем 57 лет «и до сих пор не может привыкнуть к феноменальной доброте Георгия Нестеровича». Рассказала мне, что, когда арестовали профессоров отравителей, в медиц. Академии выступил какой-то прохвост и стал клеймить этих «преступников». Потом сказал: попросим высказаться об их преступлениях старейшего из академиков — Г. Н. Сперанского. Г. Н. встал и сказал: «Я работал с этими людьми десятки лет и считаю, что они чудесные врачи, благородные люди и т. д.» Присутствующие зааплодировали. Он лечит уже третье и четвертое поколение тех людей, которых лечил, когда они были детьми. 〈...〉

«Он лечил внука Берии, сына Марфиньки. И я так боялась, когда за Г. Н. присылали машину. Ведь если мальчику станет худо — Б. может расстрелять Г. Н. Я так боялась!»

Третьего дня у меня была Лида. 〈...〉 Лида говорит, что на закрытом партсобрании Союза писателей обсуждалось «дело Александрова-Еголина», которого сделали козлом отпущения за Александрова и всю его клику. ЦК объявил этому «члену-корреспонденту Академии Наук» строгий выговор с предупреждением. Многие выступавшие требовали для Еголина исключения из партии, но Д. А. Поликарпов сказал: «не нам переделывать постановления правительства».

Лидочка привезла мне письмо от Заславского, который одновременно с письмом выслал три брошюры. Я брошюр не читал и написал ему дружеское письмо. А теперь читаю брошюры, и они мне ужасно не нравятся. Особенно о Каркегоре. Вульгарно и неверно. Даже судя по тем цитатам, которые он приводит. К[аркего]р был даровитый, глубокий мыслитель. И все его (Заславского) выпады против Гаксли, против американских философов носят балаганный (и в то же вр[емя] казенный) характер. Если даже допустить, что Гаксли таков, как пишет З[аславск]ий, так ведь им не ограничивается англо-американская культура. А Заславский внушает читателю, будто там только Гаксли — и ничего другого нет. То же произошло с моей лекцией о «комиксах». Я написал большую статью,

где указывал, что наряду с величайшими достижениями англо-америк[анской] детской литературы есть и ужасные «комиксы», и мне в последнюю минуту вычеркнули всё о положительных чертах этой литературы и оставили только о комиксах. Вышла дезориентация читателей. Увидев, что сказать правду нельзя, я ретировался. Но Заславский? Неужели он не сознает, что его статьи есть зловредное искажение действительности? ⟨...⟩ Сегодня Туполевы вместе с Георгием Нестеровичем уехали смотреть дачу на Николиной горе, и Елиз. Петровна была у меня снова. Она подробно рассказала, как умирал И. В. Как-то ночью проф. Коновалову позвонил министр здравоохранения Третьяков. «Приезжайте сию же минуту к опасно больному». «Не могу, очень устал». «Я вам приказываю. Сейчас за вами будет машина». Машина привезла Коновалова в министерство, где было еще 2—3 врача. Вместе [с] министром поехали куда-то за город. Подъехали к зеленому забору. «Ваши документы». Внутри еще один зеленый забор. Опять: «ваши документы». Вошли — видят, лежит И. В. без сознания. С первого взгляда видно, что дело безнадежное. Здесь же все члены правительства. Стали применять все медикаменты, возились долго. Б[ерия] говорит Коновалову — «Извольте мне завтра сказать, насколько положение больного улучшится». И в его голосе зазвучала угроза. На другой день: «больному хуже». Б.: «Почему же вы вчера мне этого не сказали?»

Повезли его делать вскрытие в мертвецкую (около Зоопарка). Надо распилить череп. Проф. (я забыл фамилию, ученик Абрикосова), специалист по этому делу, здесь обомлел, испугался. Шутка ли, пилить гениальный череп великого человека. Но Третьяков и здесь сказал: «я вам приказываю». Распилили. Оказалось, весь череп залит кровью.

Я читаю Твена «Tramp abroad»* — книгу, которую я впервые читал 50 лет назад в тюрьме в предварилке на Шпалерной и хохотал до икоты, так что часовой все время подбегал к глазку, думая что я плачу. Прошло 50 лет, а книга все так же для меня свежа, мускулиста. Она не только вся пронизана юмором, она поэтична.

Георгию Нестеровичу 82 года. А он читает чешскую брошюру — со словарем — о положении больничного дела в Чехословакии. И говорит: «Какой чудесный народ. Всю систему охраны здоровья детей они позаимствовали у нас и глядите: уже во многом перегнали нас!»

Читал Стивенсона о дневнике Pepys'а — и там нашел поразительное место: обо мне и М. Б. Все (за исключением злой характеристики жены Pepys'а) слово в слово относится ко мне и к ней (стр. 226)[1].

Меня тянет не только на могилу к М. Б., но и в могилу. Как будто высунулась из могилы рука и тянет меня, тянет с каждым днем все сильнее, и я не сопротивляюсь, *не хочу* сопротивляться, не

---

* «Бродяга за границей» *(англ.)*.

имею воли к жизни, и вместо всех книжонок, которые я хотел написать, мне по-настоящему хочется писать *завещание*.

Я заставляю себя интересоваться своими «Бибигонами», «От двух до пяти», но на самом деле я наэлектризованный труп. ⟨...⟩

1 апреля 55. Ну вот, Корней, тебе и 73 года!

До сих пор я писал дневник для себя, то есть для того неведомого мне Корнея Чуковского, каким я буду в более поздние годы. Теперь более поздних лет для меня уже нет. Для кого же я пишу это? Для потомства? Если бы я писал его для потомства, я писал бы иначе, наряднее, писал бы о другом, и не ставил бы порою двух слов, вместо 25 или 30,— как поступил бы, если бы не мнил именно себя единственным будущим читателем этих заметок. Выходит, что писать дневник уже незачем, ибо всякий, кто знает, что такое могила, не думает о дневниках для потомства.

Вчера читал «Tramp abroad» — и с прежним восторгом «*The Awful German Language*»*. Эта глава кажется мне одним из лучших произведений Твена. Никогда ни одна филологическая статья не вызывала такого хохота. Написать *веселую* статью о лингвистике — сделать грамматику уморительно смешной — казалось бы, немыслимое дело, и однако через 50 лет я так же весело смеялся — читая его изыскания. И с омерзением думал о Мендельсоне, напечатавшем книжку о нем: этот клоп проглядел его всего — целиком — и заметил только его «оппозицион[ные]» мысли. Вместо портрета дал только одно ухо — или может быть, одну бровь, да и ту раздул до гигантских размеров. То же он сделал и с Уитменом. Читатель не так заинтересован политич. убеждениями юноши Уитмена, как воображает М-сон, и вообще полит. убеждения это бровь Уитмена, а не Уитмен. Подумайте об идиоте, который стал бы характеризовать поэзию Фета политическими его убеждениями. ⟨...⟩

2-го апреля. Ночь спал с нембуталом. Голова как пятка. Ни строки написать не могу. Правил «Феофила» и «Грегуара» Толстых, потом гулял с Ив. Вяч. Якушкиным, внуком декабриста. Он в разговоре назвал Твардовского грубияном и нахалом. Оказывается, М. Ф-на, кропающая самодельные стишки, решила показать их Твардо́вскому (живя в Барвихе) — и Твар. забраковал их самым невежливым образом. Спрашивается, что же ему было делать. Теперь Як. хочет вызвать и меня на такую же грубость. ⟨...⟩

5 мая. Была вчера Тамара Влад. Иванова. ⟨...⟩

Говорила Тамара о том, что против Всеволода в Союзе писателей было нечто вроде заговора. Когда впервые давали ордена, было решено дать Всеволоду орден Ленина, но Павленко вмешался: «ему достаточно знак почета». Тогда Сталин сказал: «Ну если не Ленина, дадим ему орден Красного знамени». Тамара Влад. утверждает, что

---

* «Ужасный немецкий язык» *(англ.)*.

в союзе писателей сплочённая группа руководителей (Симонов, Сурков и др.) все время запугивали власть, указывая на мнимую контрреволюционность целого ряда писателей.

Мне это показалось фантастикой. Но в тот же день я получил подтверждение этого преступления литературной верхушки. Пришел к Коле Э. Казакевич и без всякого побуждения с моей стороны стал говорить об этом. Каз. утверждает, что Сурков держится главным образом тем, что при всякой возможности указывает на антисоветскую (будто бы) линию таких писателей, как Казакевич, Н. Чуковский, Гроссман, Всев. Иванов и др.

С Казакевичем я впервые познакомился только вчера. Из него так и брызжет талант. Речь его необычайно энергична. Он составил очень забавную табель о рангах для писателей — или, как он говорит, «шкалу» — состоящую, кажется, из 84 (или 76) номеров, начиная от «величайший», «гениальный» и кончая «классовый враг». Тут есть и «справедливо забытый», и «несправедливо забытый», и «небезызвестный», и «интересный», и «выдающийся», и «видный», и «крупный», и «крупнейший», и как качественное определение — «детский». Он говорил, что, если разработать эту шкалу, она сильно помогла бы, скажем, работникам Литфонда.

— Предположим,— сказал он — я, Казакевич, прошу пособия 5000 рублей. Рудянский глядит в «шкалу» и видит: «Казакевич — интересный писатель», и отвечает: я могу дать вам только 2 тысячи.

У него это гораздо смешнее и тоньше. Я передаю смысл его речи, но вся ее сила — в деталях.

Корректура Уитмена для «Огонька», корректура Авдотьи, корректура Слепцова — все это сгрудилось, и я не могу закончить срочной статьи о Уитмене для Гослита.

Казакевич советует читать «Эстетику» Гегеля, очень восхищается ею, кроме того какой-то книгой об атомной бомбе. Общий тон его речей о литературе — насмешливый. Из писателей он очень любит Твардовского, с к-рым недавно пил. Твард. читал ему продолжение «За далью даль» — две новых части, причем одна — о 37 годе. 〈...〉

10 мая. Был у меня сейчас Ираклий, недавно воротившийся из Вены. Он пересказал ходячие остроты о деле Александрова-Еголина.

«Философский ансамбль ласки и пляски им. Александрова».

«Александров доказал единство формы и содержания: когда ему нравились формы, он брал их на содержание».

Еголин любил «еголеньких» женщин.

Еголина давно уже называют: «под хреном» (опуская слово: «поросенок»). У него действительно наружность свинёнка. Андроников полон венских впечатлений. Чудесно усвоил интонацию тамошней речи.

Гуляя с Ираклием, встретили Пастернака. У него испепеленный вид — после целодневной и многодневной работы. Он закончил вчерне роман — и видно, что роман довел его до изнеможения.

Как долго сохранял П-к юношеский, студенческий вид, а теперь это седой старичок — как бы присыпанный пеплом. «Роман выходит банальный, плохой — да, да,— но надо же кончить» и т. д. Я спросил его о книге стихов. «Вот кончу роман — и примусь за составление своего однотомника. Как хотелось бы всё переделать,— например, в цикле «Сестра моя жизнь» хорошо только заглавие» и т. д. Усталый, но творческое, духовное кипение во всем его облике. ⟨...⟩

21 июня. 4 месяца как скончалась М. Б. Утром сегодня хоронили Марию Потаповну Сыромятникову, мать Зинаиды Кашириной и Тамары Ивановой. За гробом шли Всеволод Иванов, Людмила Толстая, Пастернак, Тимоша, б[ывшая] Паустовская, Нина Федина, Дубинский и множество других. Отпевали в церкви. Катерина Павловна Пешкова пригласила меня к себе «непременно и возможно скорее». Марфа с детьми уехала к мужу. После похорон поехали с Лидой в садоводство — купили цветов, украсили могилу М. Б. ⟨...⟩

30 июня. Сколько встреч и событий, а записывать не хочется. Встречаюсь с Кавериным, Пастернаком, Андрониковым, Перцовым — мы много разговариваем — и всё поглощается мной без аппетита.

Ахматова приехала ко мне в тот самый день, когда в СССР прилетел Неру. Так как Можайское шоссе было заполнено встречавшим его народом, всякое движение в сторону Переделкина было прекращено. Перед нами встала стена мильтонов, повторявшая одно слово: назад. Между тем в машине сидит очень усталая, истомленная Ахматова, которую мне так хочется вывезти из духоты на природу. В отчаянии мы двинулись на Воробьевы горы. Там милиционер-резонер:

— Дальше проезда нет. Возвращайтесь в город. И напрасно вы сердитесь. Всем это мероприятие нравится.

«Мероприятием» называл он встречу Неру.

(И не он один: вскоре в Москве всякие манифестации в честь Неру стали называться «неруприятиями».)

Ахматова была как всегда очень проста, добродушна и в то же время королевственна. Вскоре я понял, что приехала она не ради свежего воздуха, а исключительно из-за своей поэмы. Очевидно, в ее трагической, мучительной жизни поэма — единственный просвет, единственная иллюзия счастья. Она приехала — говорить о поэме, услышать похвалу поэме, временно пожить своей поэмой. Ей отвратительно думать, что содержание поэмы ускользает от многих читателей, она стоит за то, что поэма совершенно понятна, хотя для большинства она — тарабарщина. Ахматова делит весь мир на две неравные части: на тех, кто понимает поэму, и тех, кто не понимает ее. ⟨...⟩

17 июля. Был у Каверина. Лидия Николаевна показала мне письмо

от жены Зощенко. Письмо страшное. «В последний свой приезд в Сестрорецк он прямо говорил, что, кажется, его наконец уморят, что он не рассчитывает пережить этот год. Особенно потрясло М. М. сообщение ленинградского «начальства», что будто бы его вообще запретили печатать, независимо от качества работы... По правде сказать, я отказываюсь в это поверить, но М. М. утверждает, что именно так ему было сказано в Л-ском союзе. Он считает, что его лишают профессии, лишают возможности работать и этого ему не пережить... Выглядит он просто страшно... по утрам страшно опухают ноги» и т. д. Прочтя это письмо, я бросился в Союз к Поликарпову. П-в ушел в отпуск. Я к Василию Александровичу Смирнову, его заместителю. Он выразил большое сочувствие, обещал поговорить с Сурковым. Через два дня я позвонил ему: он говорил с Сурковым и сказал мне совсем неофициальным голосом: «Сурков часто обещает и не делает; я прослежу, чтобы он исполнил свое обещание». Вот мероприятия Союза, связанные с Зощенковским делом: позвонили Храпченко и спросили его, почему он возвратил из редакции «Октябрь» 10 рассказов Зощенки, написали М. М-чу письмо с просьбой прислать рассказы, забракованные Храпченкой, написали вообще одобрительное письмо Зощенке и т. д.

Я поговорил с Лидиным, членом Литфонда. Лидин попытается послать М. М-чу 5000 рублей. Я с своей стороны послал ему приглашение приехать в Переделкино погостить у меня и 500 рублей. Как он откликнется, не знаю.

Хлопоты о Тагер уперлись в тупик. Полковник Ковалев уехал в отпуск, и милая девушка, работающая в Прокуратуре («зовите меня просто Вера»), утверждает, что дело еще на рассмотрении в Л-де[2]. 〈...〉

Был [у] Федина, хлопотал о квартире для Габбе и о продлении авторского права для дочери Бальмонта. 〈...〉

Сейчас у меня ночует Бек. Он рассказал мне дело Сахнина, укравшего у сосланной Левиной ее роман. Она прислала в «Знамя» роман о Японии. Он, как секретарь редакции, сообщил ей, что роман принят,— и попросил сообщить свою биографию. Она ответила, уверенная, что он, приславший ей радостную весть о том, что роман будет напечатан, достоин полной откровенности. Чуть только он узнал, что она была арестована, он украл у нее роман, содрал огромный гонорар (роман печатался и в Детгизе, и [в] «Роман-газете») — и не дал ей ни копейки[3]. Теперь на суде его изобличили, но как редакция «Знамени» пыталась замутить это дело, прикрыть мошенника, запугать Левину — и опорочить Бека, который и открыл это дело! 〈...〉

Я читаю письма Репина к Стасову, Третьякову, к писателям, к художникам, и он опять встает передо мной как живой, а написать о нем не могу. Старческая немочь.

Сегодня воскресенье. В Переделкине несколько тысяч гуляющих москвичей. И вдруг — гроза, да какая!

Хотя Тагер — Колина приятельница, но он очень осуждает меня за мое решение помочь ей не словами, а делом. Интересно, приедет ли Зощенко.

Нет, Зощенко не приедет. Я получил от него письмо — гордое и трагическое: у него нет ни душевных ни физических сил[4]. 〈...〉

21 июля. Ровно 5 месяцев со дня смерти М. Б. Был сегодня у нее на могиле. Нужно делать решетку вокруг нашей общей могилы, нужно ставить памятник. Я заехал за Тамарой Ивановой, которая обещала разузнать, где можно заказать все эти кладбищенские вещи. 〈...〉

Был у меня Федин, принявший близкое участие в Тагер — в качестве депутата Верх. Совета. Когда она спросила, согласен ли он обратиться в одну инстанцию, он сказал: «Нет, я обращусь в *две*».

С Зощенко дело опять повернулось в плохую сторону. Я хлопотал, чтобы Литфонд дал ему 5000 р. Но чуть только Поликарпов, находящийся в отпуске, узнал, что Союз хочет проявить о нем какую-то заботу, он сказал:

— Зощенко и шагу не сделал в нашу сторону, зачем мы станем делать в его сторону целых шесть или семь шагов.

И все приостановилось.

Говорят, что сегодня вышло 10-е издание моей книжки «От 2 до 5». Урезанное и обескровленное. 〈...〉

1 августа. 〈...〉 Вот Лидино письмо из Ленинграда о свидании с Зощенко.

Дорогой дед, третьего дня вечером я была у М. М. Разыскать его мне было трудно, т. к. он по большей части в Сестрорецке.

Наконец мы встретились.

Кажется, он похож на Гоголя перед смертью. А при этом умен, тонок, великолепен.

Получил телеграмму от Каверина (с сообщением, что его «загрузят работой») и через 2 дня ждет В. А. к себе.

Говорит, что приедет — если приедет — осенью. А не теперь. Болен: целый месяц ничего не ел, не мог есть. Теперь учится есть.

Тебя очень, очень благодарит. Обещает прислать новое издание книги «За спичками».

Худ страшно, вроде Жени. «Мне на все уже наплевать, но я должен сам зарабатывать деньги, не могу привыкнуть к этому унижению». 〈...〉

23 сентября. 〈...〉 18-го августа Женя раздробил себе плечевую кость взрывчаткой, которая предназначалась им для ос. Одна из величайших мук моей жизни — тот вечер, когда я его, обескровленного, с торчащей наружу костью, с висящими жилами вез к Склифосовскому, с милой Валерией Осиповной — вез в машине к Склифосовскому. Он был мужествен, не стонал и просил у меня прощения —

«прости меня, дед» — а я был уверен, что ему ампутируют руку. Взрыв был так силен, что, попади он в глаза, Женя навеки ослеп бы.

Вожусь со Слепцовым, с Репиным, с «От двух до пяти», с воспоминаниями о девятьсот пятом годе. Но изо всех работ меня по-настоящему занимает *только* «От 2 до 5», хотя у меня нет уверенности, что новое исправленное мною издание выйдет при моей жизни. Но тянет как водка — пьяницу.

Сегодня наконец Детгиз решил окончательно ввести в мой Сборник — «Крокодила», которого я сильно поурезал.

14 октября. Были у меня дня три назад Котов, Бонецкий, Еремин. Котов предложил издать мое «Избранное» в 4-х томах.

Анна Ахматова приехала в Москву хлопотать о Лёве, который болен. Сказала Лиде: «Меня опять выругали — но на букву О». Оказалось, что в Большой Энциклоп[едии] есть «О Журналах „Ленинград“ и „Звезда“» — текст постановления.

Сегодня Тагер и Коля вспоминали Стенича — какой был блистательно умный, находчивый, влюбленный в литературу большой человек.

Открылся Дом Творчества. Здесь Мих. Ал. Лифшиц, Фиш, Калашникова, Вильмонт. Познакомился с Мих. Ал. Лифшицем и с его женой. Милые люди, очень образованные, приветливые. Она работает «в системе» Академии Художеств. Очень забавно рассказывает об Александре Герасимове, «Президенте Академии художеств». Все речи и статьи ему пишут сотрудники. Сам он не способен ни строки написать. И вот однажды он «произносит» какую-то из своих речей — и вдруг с размаху прочитав несколько строк, восклицает:

— Нет. Я с этим не согласен!

Показывали мне швейцарское издание трехтомной «Истории итальянской живописи»: великолепные репродукции, и я снова убедился, как сильно действует на меня живопись — Чимабуэ, Джотто — до слез. 〈...〉

20 окт. Коля уехал в Финляндию, где провел все свое детство. В Хельсинки мы ездили с ним и с Марией Борисовной в 1914 году до войны (или в 1913). Там он зазевался на улице, и на него наехал экипаж. Мы в ужасе отвезли его к хирургу, думали: он повредил ногу! Хирург (финн) с омерзением оглядел ногу русского мальчика, даже ушиба не было к его огорчению, и Коля от всех потрясений мгновенно уснул. Чтобы развлечь его дорогой в поезде, я рассказывал ему сказку о Крокодиле: *«Жил да был Крокодил»* под стук поезда. Импровизация была длинная, и там был *«Доктор Айболит»* — в качестве одного из действующих лиц; только назывался он тогда: *«Ойболит»*. Я ввел туда этого доктора, что[б] смягчить тяжелое впечатление, оставшееся у Коли от финского хирурга.

Жене через два дня снимут повязку. Он старательно занимается со мною английским — читаем Стивенсона «Mr. Hyde and Mr. Jekyl». По истории с ним занимается Тагер Ел. Мих. 〈...〉

8 ноября. ⟨...⟩ Куприна дала мне почитать свои воспоминания о Куприне. Много интересного,— ценные факты,— но в них нет Куприна — этого большого человека, лирика, поэта, которого изжевала, развратила, загадила его страшная гнилая эпоха. Он выходит у нее паинькой, между тем он был и нигилист, и циник, и трактирная душа, и даже хулиган,— у нее же он всегда на стороне добра и высокой морали.

Вчера был у меня Алянский. Привез в Москву от Конашевича окончательные рисунки к «Бибигону». Я почти ничего не пишу, занимаюсь с Женей англ. языком. ⟨...⟩

13 декабря 1955 г. вторник. Вчера сдал наконец в «Дом детской книги» новое, 11-ое издание своей книжки «От двух до пяти». Редактор Иван Андреевич Давыдов, седенький приятный человечек, редактор, обещал прочитать эту книгу к 16-му — то есть к пятнице. Я буду рад, если ее немедленно отправят в печать — это избавит меня от нее. Мне хотелось работать над Чеховым, над Блоком, над Буниным, над Слепцовым — а *тянуло* к этой незаконной книжонке, как, судя по романам, тянет от жены к любовнице.

На прошлой неделе выступал с чтением о Блоке. В зале Чайковского было пышное чествование. Федин металлическим голосом, как Саваоф на Синае, очень веско и многозначительно произнес вступительное слово. Потом началась свистопляска. Антокольский с мнимой энергией прокричал свой безнадежно пустопорожний доклад, так и начал с крика, словно возражая кому-то, предлагая публике протухшую, казенную концепцию («Блок — реалист! Блок — любитель революций!») — прогудел как в бочку и уселся. Я сидел рядом с Твардовским, который сказал: кричит словно с самолета. Твардовский приготовил слово о Блоке, но, прослушав, как корчится и шаманствует Кирсанов, как лопочет что-то казенное Сергей Городецкий, отказался от слова. Федин предоставил мне слово уже тогда, когда вся публика ужасно устала — и все же мое выступление — единственное — дошло ей до сердца (так сказали мне тогда же Федин, Твардовский, Казакевич), а между тем и это было выступление, тоже недостаточно осердеченое.

Готовя это выступление, я прочитал свою старую книжку о Блоке и с грустью увидел, что она вся обокрадена, ощипана, разграблена нынешними Блоковедами и раньше всего — «Володей Орловым». Когда я писал эту книжку, в ней было ново каждое слово, каждая мысль была моим *изобретением*. Но т. к. книжку мою запретили, изобретениями моими воспользовались ловкачи, прощелыги — и теперь мой приоритет совершенно забыт.

То же и с книжкой «От двух до пяти». Покуда она была под запретом, ее мысли разворовали.

Между тем я умею писать только *изобретая*, только высказывая мысли, которые никем не высказывались. Остальное совсем не занимает меня. Излагать *чужое* я не мог бы. ⟨...⟩

14 декабря. Вчера вечером были у меня Ваня Халтурин и Вера Вас. Смирнова (у которых нынче летом утонул замечательный сын) — и Берестов. Мне очень хотелось отвлечь Х[алтури]на и С[мирно]ву от гнетущей тоски, а также познакомить их с поэзией Берестова, которая снова — после долгого охлаждения — стала для меня обаятельной.

Он в последнее время многое в своих старых стихах изменил — к лучшему. 〈...〉

Валя Берестов похож на юного Шостаковича — даже цветом волос и прической — и та же душевная тональность.

Надо бы мне браться за Слепцова, за Блока, но я вдруг увлекся опять «Бибигоном». Хочется ввести в него Цинцинеллу,— но как? 〈...〉

Я получил письмо от своей любимой писательницы Веры Пановой.

15 декабря 55. Как сильно переделывает Берестов свои стихи! «Срочный разговор» он на моей памяти переделывал раз шесть — и вот вчера прочитал в новой редакции.

Сутугина-Кюнер из Сенгилея просила меня достать для нее лекарство Theophedrin. Я достал. Набил ящик сахаром, конфетами, положил туда лекарство — но послать невозможно: почта в Одинцове закрыта, а в Баковке очередь человек 60. Женя в лютый мороз взялся отправить эту посылку, потерял часов пять-шесть, теперь лежит; боюсь, не простудился ли. Сегодня с ним большой разговор о книгах: он терпеть не может Диккенса — и не понимает, как можно любить Достоевского. Больше всего он любит «Мертвые души» и... «Двенадцать стульев».

У меня вялость мозга — катастрофическая. Думаю, что мне уже ничего никогда не написать.

Корплю над страницами и ничего не могу выжать из своего склерозного мозга. 〈...〉

Читаю Конан Дойла — его последние рассказы о Шерлоке — как плоско и тупо. Тагер пишет своего «Ваську Буслаева» — и как я ни стараюсь питать к ней симпатии, никак не могу — хотя она как будто и не плохой человек, но — какой напористый, цепкий и хваткий![5] 〈...〉

1956

2 января. Провожу мои дни в оцепенении. Ничего не делаю, все валится из рук. Если мне 74 года, если завтра смерть, о чем же хлопотать, чего хотеть. Одиночество мое полное: вчера в день нового года не пришло ни одного человека. 〈...〉

21 февраля. Сплю третью ночь с нембуталом — годовщина смерти Марии Борисовны. И нужно же так случиться, чтобы именно на этот день была назначена операция Жени. За все это время, начиная с августа, у Жени не заживает рука — кости не срастаются, я показывал его многим хирургам. 〈...〉 Бургман повел Женю к хирургу Еланскому Николаю Николаевичу, огромному мужчине («самому большому изо всех маленьких хирургов» — как выразился Бургман) — и тот, посмотрев на Женину руку, определил: немедленно делать операцию, вбить в кости гвоздь, для чего и положил его в больницу. Операция мучительная: будут делать под наркозом — и потом будет долго болеть, да и поможет ли? Что делать? С кем посоветоваться? Я боюсь всяких гвоздей. 〈...〉

Замечателен, мажорен, оптимистичен, очень умен XX съезд,— хотя говорят на нем большей частью длинно, банально и нудно. Впервые *всякому* стало отчетливо ясно, что воля истории — за нас.

Сегодня приедут Лида, Коля, Марина — разделить мое горе — как будто *такое* горе можно разделять!

28 февраля, вторник. 〈...〉 Третьего дня Бек принес мне «Литературную Москву», где есть моя гнусная, ненавистная заметка о Блоке. Я, ничего не подозревая, принялся читать стихи Твардовского — и вдруг дошел до «Встречи с другом» — о ссыльном, который 17 лет провел на каторге ни зá что ни прó что,— и заревел. Вообще сборник — большое литературное событие. В нем попытка дать материал очень разнообразный, представить лит. Москву со всех сторон — особенно с тех, которые было немыслимо показывать при Сталине. У Казакевича в романе о Советской армии наряду с героями показаны прощелыги, карьеристы, воры — и т. д. 〈...〉

4 марта. Сейчас был у меня Казакевич. Пришел Оксман, приехал Коля. Казакевич весь вечер бурлил шутками, остротами, буфонил, изобретал комические ситуации, вовлекая и нас в свои выдумки. Среди них такая: вдруг в «Правде» печатается крупным шрифтом на третьей странице: «В Совете Министров СССР». Вчера в 12 часов 11 минут считавшийся умершим И. В. Сталин — усилиями советских ученых ВОСКРЕШЕН и приступил к исполнению своих обязанностей. Вместе с ним воскрешен и заместитель председателя Совета министров Лаврентий Павлович Берия».

И никто даже не удивился бы.

Сегодня я впервые заметил, какой у Казакевича высокий думающий лоб — и какой добрый щедрый смех.

Он рассказал анекдот. Едет в поезде человек. Сосед спрашивает, как его фамилия. Он говорит: первый слог моей фамилии то, что хотел дать нам Ленин. Второй то, что дал нам Сталин. Вдруг с верхней полки голос: «Гражданин Райхер, вы арестованы».

Я с волнением прочитал его «Дом на площади» — особенно вторую часть, очень драматичную.

Коля рассказывает, что в новом томе Советской энциклопедии

напечатано, будто Лунц (Лева, Лунц, мальчик) руководил (!?) «Серапионовыми братьями», из руководимой им группы единственный остался его закоренелый последователь... Зощенко!!!

Как удивился бы Лева, если бы прочитал эту ложь.

Из Третьяковки вынесли все картины, где холуи художники изображали Сталина. Из Военной Академии им. Фрунзе было невозможно унести его бюст. Тогда его раздробили на части — и вынесли по кускам.

Как кстати вышла «Лит. Москва». Роман Казакевича воспринимается как протест против сталинщины, против «угрюмого недоверия к людям». В продвижении сборника в печать большую роль сыграла Зоя Никитина — полная ж[енщи]на.
Инициатор сборника — Бек. Поэтому Казакевич острит, пародируя Маяковского:

Наш бог — Бек,
Никитина— наш барабан.

Вообще у него манера: сказав остроту, смеяться так, будто ее сказал кто-то другой, будто сострили все собеседники — и оттого получается впечатление дружного острословия, компанейского.

6 марта. Был вчера у Ивановых. Всеволод кончил роман «Мы идем в Индию». 31 печатный лист. Тамара Влад. говорит, что из плана Гослита исключили его «Собрание сочинений» и заменили Собр. соч. Ленча. Впрочем, кто теперь знает о каких бы то ни было планах! Всев. утверждает со слов Комы, что все книги, где было имя Сталин, изъемлются теперь из библиотек. Уничтожили миллионы календарей, напечатавших «Гимн». Все стихотворные сборники Суркова, Симонова и т. д. будто бы уничтожаются беспощадно.

Большая советская энциклопедия приостановлена. Она дошла до буквы С. Следующий том был целиком посвящен С[тали]ну, Ст. премиям, С-ской конституции, Сталину, как корифею наук и т. д. На заседании редколлегии «Вопросы истории» редактор сказал: «Вот письмо *мерзавца* Ст-на к *товарищу* Троцкому». ⟨...⟩

Всев. Иванов сообщил, что Фрунзе тоже убит Сталиным!!! Что фото, где Ст. изображен на одной скамье с Лениным, смонтировано жульнически. Крупская утверждает, что они *никогда* вместе не снимались. ⟨...⟩

8 марта. ⟨...⟩ Вечером пришла ко мне Тренева-Павленко. У нее двойной ущерб. Ее отец был сталинский любимец, Сталин даже снялся вместе с ним на спектакле «Любови Яровой», а мужа ее, автора «Клятвы», назвал Хрущев в своем докладе *подлецом.* И вот она говорит теперь, что многое в сообщении Хрущева неверно, что Орджоникидзе никогда не стрелялся, а умер собственной смертью, что снимок «Ленин — Сталин» не фальшивка и т. д.

Вчера Ел[ене] М[ихайлов]не сообщили, что она РЕАБИЛИТИРОВАНА.

Снился мне Боба в возрасте Жени — очень явственно.

Нужно приниматься за Слепцова.

9 марта. Когда я сказал Казакевичу, что я, несмотря ни на что, очень любил Сталина, но писал о нем меньше, чем другие, Казакевич сказал:

— А «Тараканище»?! Оно целиком посвящено Сталину.

Напрасно я говорил, что писал «Тараканище» в 1921 году, что оно отпочковалось у меня от «Крокодила»,— он блестяще иллюстрировал свою мысль цитатами из «Т-ща».

И тут я вспомнил, что цитировал «Т-ще» он, И. В. Сталин,— кажется, на XIV съезде. «Зашуршал где-то таракан» — так начинался его плагиат. Потом он пересказал всю мою сказку и не сослался на автора. Все «простые люди» потрясены разоблачениями Сталина, как бездарного полководца, свирепого администратора, нарушившего все пункты своей же Конституции. «Значит, газета «Правда» была газетой „Ложь“»,— сказал мне сегодня школьник 7 класса. 〈...〉

13 МАЯ

Воскресенье

Застрелился Фадеев

Мне сказали об этом в Доме Творчества — и я сейчас подумал об одной из его вдов Маргарите Алигер, наиболее любившей его, поехал к ней, не застал, сказали: она — у Либединских, я — туда, там — смятение и ужас: Либединский лежит в прединфарктном состоянии, на антресолях рыдает первая жена Фадеева — Валерия Герасимова, в боковушке сидит вся окаменелая — Алигер. Я взял Алигер в машину и отвез ее домой, а потом поехал к Назым Хикмету, за врачихой. Та захватил[а] пантопон, горчичники, валерьянку — и около часу возилась с больным, потом поехала к Алигер (она — одна, никого не хочет видеть, прогнала Гринбергов, ужасно потрясена самым плохим потрясением — столбняком), ее дети в Москве, в том числе и дочь Фадеева; Наталья Конст. Тренева лежит больная, приехать не может; все писатели, каких я встречал на дороге,— Штейн, Семушкин, Никулин, Перцов, Жаров, Каверин, Рыбаков, Сергей Васильев ходят с убитыми лицами похоронной походкой и сообщают друг другу невеселые подробности этого дела: ночью Фадеев не мог уснуть, принял чуть не десять нембуталов, сказал, что не будет завтракать, пусть его позовут к обеду, а покуда он будет дремать. Наступило время обеда: «Миша, позови папу!» Миша пошел наверх, вернулся с известием: «папа застрелился». Перед тем как застрелиться, Фадеев снял с себя рубашку, выстрелил прямо в левый сосок. Врачиха с дачи Назыма Хикмета, которую позвали раньше всего, рассказывала мне, что уже в $15^1/_2$ часов на теле у него были трупные пятна, значит, он застрелился около часу

дня. Семья ничего не слыхала. Накануне у него были в гостях Либединские — и, говорят они, нельзя было предсказать такой конец. Ольга Всеволодовна (жена Пастернака) рассказывает, что третьего дня по пути в город он увидел ее, остановил машину — и весело крикнул: — Садитесь, Ольга Всеволодовна, довезу до Москвы.

Мне очень жаль милого А. А.— в нем — под всеми наслоениями — чувствовался русский самородок, большой человек, но боже, что это были за наслоения! Вся брехня Сталинской эпохи, все ее идиотские зверства, весь ее страшный бюрократизм, вся ее растленность и казенность находили в нем свое послушное орудие. Он — по существу добрый, человечный, любящий литературу «до слез умиления», должен был вести весь литературный корабль самым гибельным и позорным путем — и пытался *совместить* человечность с гепеушничеством. Отсюда зигзаги его поведения, отсюда его замученная СОВЕСТЬ в последние годы. Он был не создан для неудачничества, он так привык к роли вождя, решителя писательских судеб — что положение отставного литературного маршала для него было лютым мучением. Он не имел *ни одного* друга — кто сказал бы ему, что его «Металлургия» никуда не годится, что такие статьи, какие писал он в последнее время — трусливенькие, мутные, притязающие на руководящее значение, только роняют его в глазах читателей, что перекраивать «Молодую гвардию» в угоду начальству постыдно,— он совестливый, талантливый, чуткий — барахтался в жидкой зловонной грязи, заливая свою совесть вином[1].

В прошлое воскресенье был у меня Бурлюк. Нью-Йорк только усилил его природное делячество. Но мне он мил и дорог — словно я читал о нем у Диккенса. Мы встретились на дороге: Лили Юрьевна везла его к Вс. Иванову. Он, забыв, какие океаны времени прошли между нами, спросил:

— Вы из Куоккалы? Где ваши дети? (воображая, что Коля все еще мальчуган, каким он был во времена Маяковского).

23 июня 1956. Я окончательно понял, что писал эти заметки в никуда, что они, так сказать, заключительные — и потому торжественно прекращаю их. Но так как я еще не умер, меня интересует практически, кто когда был у меня (ибо я забываю о всяком, чуть только он уйдет от меня), и потому превращаю дневник в книгу о посетителях и практических делах. 〈...〉

25 июня. Была милая Маргарита Алигер — и вечером заговорила о Фадееве, о его смерти, о том, что он в 1954 г. послал в ЦК письмо, не понравившееся там, и он пытался загладить и т. д. И я возбужденный не ушел спать и ходил с нею по нашей улице. 〈...〉

3 августа. Вчера у меня были: Гудзий с женой, Эйхенбаум, Берестов, Катанян; третьего дня был Бонди.

Бонди читал свою статью для Литгазеты о Дм. Дм. Благом.

Статья еще тусклая — неестественная смесь учености с фельетонизмом. Устные его филиппики против Благого были в тысяу раз сильнее.

Катанян прочитал хранящуюся у него записку Т. А. Богданович о Маяковском — чудесную записку, правдивую, точную, задушевную.

Я прочитал стенограмму речи, произнесенной Оксманом 18 июня 56 г. в Саратовском у-те при обсуждении книги В. Баскакова. Речь, направленная против «невежества воинствующего, грубо претенциозного, выращенного в столичных инкубаторах, воспитанного годами безнаказанного коньюнктурного лганья и беспардонного глумленья над исторической истиной». Речь потрясающая — и смелая, и великолепно написанная.

Гудзий пишет об Ив. Франко. Я корплю над Дружининым и «Сочинениями» Слепцова. ⟨...⟩

В понед. была у меня Алигер, читала письма к ней А. А. Фадеева, спрашивала совета, публиковать ли их. Оба письма — пронзили меня жалостью: в них виден запутавшийся человек, обреченный гибели, заглушающий совесть. ⟨...⟩

Сейчас была Анна Ахматова с Лидой. Она виделась с Фединым, он сказал ей, что выйдет книга ее стихов под ред. Суркова.

Я позвал на свидание с ней Сергея Бонди. Бонди прочитал неизвестное письмо Осиповой к Александру Тургеневу — очень изящно написанное, но ни единым словом о том, что говорил Пушкин за два дня до дуэли с ее дочерью Евпраксией. Ахматова рассказывала, какой резонанс имела в Америке ее статья о «Золотом Петушке», основанном на новелле Ваш[ингтона] Эрвинга.

У меня гостит Вера Алекс. Сутугина-Кюнер, которую я из сантиментальности выписал из Сенгилея.

10 августа. ⟨...⟩ Вчера была у меня Маргарита Алигер — ей *очень* понравилась моя статейка о Чехове — для сборника «Лит. Москва». Она специально пришла сказать мне об этом.

1-ое сентября 1956. Был вчера у Федина. Он сообщил мне под большим секретом, что Пастернак вручил свой роман «Доктор Живаго» какому-то итальянцу, который намерен издать его за границей[2]. Конечно, это будет скандал: «Запрещенный большевиками роман Пастернака». Белогвардейцам только это и нужно. Они могут вырвать из контекста отдельные куски и состряпать: «контрреволюционный роман Пастернака».

С этим роман[ом] большие пертурбации: П-к дал его в «Лит. Москву». Казакевич, прочтя, сказал: оказывается, судя по роману, Октябрьская революция — недоразумение, и лучше было ее не делать». Рукопись возвратили. Он дал ее в «Новый мир», а заодно и написанное им предисловие к Сборнику его стихов[3]. Кривицкий склонялся к тому, что «Предисловие» можно напечатать с небольшими купюрами. Но когда Симонов прочел роман, он отказался

печатать и «Предисловие».— Нельзя давать трибуну Пастернаку!

Возник такой план: чтобы прекратить все кривотолки (за границей и здесь) тиснуть роман в 3-х тысячах экземплярах, и сделать его таким образом недоступным для масс, заявив в то же время: у нас не делают П-ку препон.

А роман, как говорит Федин, «гениальный». Чрезвычайно эгоцентрический, гордый, сатанински надменный, изысканно простой и в то же время насквозь книжный — автобиография великого Пастернака. (Федин говорил о романе вдохновенно, ходя по комнате, размахивая руками — очень тонко и проницательно,— я залюбовался им, сколько в нем душевного жара.) Заодно Федин восхищался Пастернаковым переводом «Фауста», просторечием этого перевода, его гибкой и богатой фразеологией, «словно он всего Даля наизусть выучил». Мы пошли гулять — и у меня осталось такое светлое впечатление от Федина, какого давно уже не было.

Читаю Писарева, и мне кажется, что мне снова 14 лет.

Третьего дня вышло новое издание «От двух до пяти». Книжка стала серьезной, чеканной, стройной. Нет ни одной мысли, которую я списал бы откуда-нибудь — вся она *моя,* и все мысли в ней *мои.* Ее издать надо было серьезно, строго, просто, а издали ее вычурно, с финтифлюшками, с плохими детскими рисунками.

Женя, к моему изумлению, отлично сдал все экзамены в Гик. Даже по истории получил пятерку. И рука у него как будто заживает.

С «ЛитМосквой» вышел такой анекдот: я дал туда статью о Чехове, Коля — рассказ «Бродяга», Лида — статью. Вся семья в одном альманахе!!! Неудобно. Пришли ко мне Казакевич и Алигер, встали на колени — разрешите перенести Вашу статью в 3-й альманах, иначе у нас получится «Чуковская Москва». Я согласился. Но теперь им страстно хочется вместо Лидиной статьи тиснуть мою. Я протестую: для Лиды напечатание ее статьи — вопрос жизни и смерти; она написала эту статью по заказу «Нового мира», оттуда ее вернули. Она дала статью в «Молодую Гвардию». Вернули. Впрочем, и с моей статьей о Чехове то же самое: ее вернули из «Нов. Мира» и «Знамени».

Вчера Серов-самозванец («В. А. Серов») напечатал в «Правде» статью в защиту черносотенства в искусстве.

2 сентября. ⟨...⟩ Был у меня третьего дня профессор Оксф. У-та по фамилии Берлин. Необычайно образованный человек; он говорил, что в Англии появился новый чудесный перевод «Былого и Дум», который очаровал англичан. Впервые имя гениального Герцена привлекло к себе внимание широких кругов (по его словам письма Герц. к Гервегу хранятся в Брит. Музее). Он читал о Герц. лекцию по лонд. радио — и это вызвало сочувственные отклики огромной семьи Герцена, ныне живущей в Швейцарии. Сам он пишет о Белинском. Знает хорошо мои книжки — даже «Мастерство» Некрасова.

Был у меня Володя Швейцер — впоследствии фельетонист

(псевд. «Пессимист») и киношник. Я когда-то давал ему уроки по 3 рубля в месяц, он помнит Одессу — и меня молодого, и маму, и Марусю — рассказывал такое, что я совершенно забыл. ⟨...⟩

14 сентября. Приехал в «Узкое». По дороге узнал об изумительном событии: Татка родила двух мальчиков. Итак, я еще до смерти с сегодняшнего дня имею *трех* правнуков. Здесь — Шапорин, Козарницкий, Корнелий Зелинский,— химики,— философы. Я сижу за столом с Оплетиным, Михаилом Яковлевичем. Мы гуляли с ним, и [он] рассказывал много о Китае. Поражен талантливостью Бена Ивантера. Его «Моя знакомая» лучший рассказ, какой я читал за последние годы. Все, что есть в женщине самого женского, чудесно опоэтизировано и возвеличено здесь. И как великолепно дана обстановка: Украина, редакция журнала и люди, хохол Однорог, его жена, обе Галины и хамло Колесаев. Если бы такой рассказ написали Леонов или Всев. Иванов, их приподняли бы до небес — а Ивантер — кто же ждет от Ивантера такого проникновения в жизнь, и такой человечности, и такого искусства. И какое великолепное в рассказе начало, и как он чудесно построен, и сколько в нем юмора, и доверия к женской душе.

Послал Пожаровой 400 рублей для отравления кошек. У нее, она пишет — рак. И если не кончает жизнь самоубийством, то лишь потому, что ей жаль живущих у нее кошек. Их надо убить по-научному, а для этого нужны деньги — и я как идиот выслал ей — сам не знаю, почему.

В общем «Том Сойер» — очень наглая книга. Твен даже не знает возраста Тома. Судя по рисунку мальчишки (который он сделал для Бекки) — ему самое большее 4 года, судя по его отношению с теткой — 7 лет, а похищает он золото у Индейца Джо как 18-летний малый. Поэтому художники никогда не могут нарисовать Тома, всегда выходит брехня. Всю художественную правду Твен истратил на бытовые подробности, на изображение детской психики — здесь он гениален (равно как и в разговорном языке персонажей) — а все adventures* заведомая чушь, ради угождения толпе. Угодливость Твена доходит здесь до того, что он заставляет своих героев в обеих книгах — и в «Томе» и в «Геккльбери Финне» — находить в конце концов кучи долларов.

17 октября. Надо писать о Блоке, а я как идиот перевожу заново «Тома Сойера» и не могу выкарабкаться из этой постылой работы. ⟨...⟩

17 окт. Был вчера Каверин, рассказывает, будто секретарь Хрущева вдруг позвонил Твардовскому. «Н. С. велел спросить, как вы живете, нуждаетесь ли в чем-ниб., что вы пишете, и т. д. Тв. ответил:

---

* «Приключения (*англ.*).

«Живу хорошо, не нуждаюсь ни в чем».— «А как ваш «Василий Теркин на том свете»? Что вы думаете с ним делать?» — «Думаю напечатать».— «Вот и хорошо. Теперь самое время».

Твардовский «исправил» эту поэму чуть-чуть, но основное оставил без изменений. Тот же Хрущев в свое время разнес его за эту поэму — теперь наступили «new times»*.

Тот же Каверин рассказывает, что на совещании драматургов Н. Н. Михайлов вдруг как ни в чем не бывало наивно спросил: почему не ставятся пьесы Булгакова — напр., такая чудесная пьеса, как «Бег». А Каверин на днях поместил в журнале «Театр» как раз статью о «Беге», которая лежала в редакции 6 месяцев. Во всем этом Каверин видит «симптомы». ⟨...⟩

25 декабря. Вчера была милая Лида, написавшая мне письмо, которое при сем прилагается. [Вклеено письмо.— *Е. Ч.*]

Дорогой дед, сейчас — ночью — мне звонила Алигер в отчаянии, до нее дошли слухи, что ты опять волнуешься Чеховым и сроками. Она прямо плачет в телефон — и, по правде сказать, я думаю, что тебе пора перестать терзать их и терзаться самому. Несомненно, что они сделают все, чтобы напечатать скорее и почетнее, а так как сейчас это лучшее место и лучшие люди (из действующих), то мой тебе совет — смирись. И успокойся. ⟨...⟩

Дело в том, что я — в качестве одного из редакторов «Москвы»,— показал свою статью о Чехове Атарову, который очень хочет печатать ее в 1-м номере журнала. Но я еще летом сдал ее «Литературной Москве» (альманаху). Статью горячо одобрили Каверин, Алигер, Казакевич. Они наметили ее напечатание в 2-м альманахе, но так как в альманахе должны были печататься и Лида и Коля, они попросили меня отложить моего «Чехова» в 3-й альманах. Я согласился,— иначе они отложили бы статью Лиды.

Но цензура задержала 2-й альманах и держала его под спудом $2^1/_2$ месяца, третий еще неизвестно когда пойдет в производство, Атаров же хочет печатать «Чехова» сию минуту. Мне это было бы очень выгодно, но рыцарские чувства не позволяют мне изменить «Литмоскве» тем более что я очень люблю Казакевичей (всех, всю семью, особенно Олю и Женю), связан старой дружбой с Кавериным и верю в душевное благородство Алигер. Отсюда — мое страдание. Когда звонит Атаров (умный, энергичный, глубоко человечный), мне хочется отдать Чехова ему (да и личный интерес очень велик), когда звонит Алигер, я забываю всякие личные интересы, и мне хочется от всей души, чтобы они не потерпели ущерба. Хуже всего то, что и Атаров, и Алигер, и Казакевич недавно открылись мне своими светлыми душевными качествами, они в моих глазах (вместе с Твардовским) воплощают благороднейшую линию совет-

* «Новые времена» *(англ.)*.

ской литературы, и я так горжусь их добрым отношением ко мне. Из-за этих мучительных разговоров я совсем развинтился, абсолютно не сплю — даже со снадобьями — и бросил писать (о Блоке, о Квитке, о Леониде Андрееве) — спешно, для книги «Люди и книги», которую я уже сдал в Гослит.

Книга моя не дописана: даже о Слепцове нужно расширить новым материалом.

Читаю Samuel'a Butler'a «Erewhon»* — сатиру-утопию, очень разрекламированную в англ. прессе. Она не поднимается выше посредственности — язык хорош, но образы схематичны, и воображение не слишком богатое, робкое. Чем же объяснить шум, вызванный ею в англ. прессе? Прочитал я также книгу Эстеллы Стед «My Father»** — о Вильяме Стеде, журналисте, который гремел в мое время как редактор «Review of Reviews»***. Все пошлости и миражи, которые создавал XIX век — «Армия Спасения», «Спиритизм», «Джингоизм», миротворчество в Гааге — всему этому отдавал свою пустую душу W-m Stead. Он — воплощение всех суеверий этого ничтожно-великого века. Сенсационалист, саморекламист, он и умер саморекламной смертью — утонул на «Титанике».

Пишу о Блоке. Отношения наши долго не налаживались. Я не любил многих, с кем он так охотно водился: расхлябанного, бесплодного и ложно многозначительного Евгения Иванова, бесцветного, моветонного Георгия Чулкова, бесталанного Александра Гиппиуса, суховатого педанта Сюннеберга, милого, но творчески скудного Пяста и т. д. На Георгия Чулкова я напал в «Весах» как на воплощение бездарной «символочи», компрометирующей символизм. Статья эта в 1904—5 г.г. возмутила Блока, а в 1919 году он говорил мне, что вполне с ней согласен. И хотя мы очень часто встречались в Териоках, где был Старинный Театр, у Мгеброва и Чекан, у Руманова (в «Русском Слове») на Морской, у Ремизова, в «Вене», у «Лейнера», у Вяч. Иванова, у Аничковых, мы встречались как чужие: я — от робости, он от пренебрежения ко мне. В театре нам случилось сидеть рядом в партере — как раз в тот день, когда был напечатан мой фельетон. Он не разговаривал со мной, когда же я спросил его о фельетоне, он укоризненно и гадливо сказал:

— Талантливо,— словно это было величайшее ругательство, какое только известно ему.

Сейчас перечел «Записные книжки» Блока (Медведев — редактор). Там упомянута Минич — и о ней ссылка: «поэтесса». Я знал ее; это была невысокого роста кругловатая девушка, подруга Веры Германович. Обе они влюбились заочно в Блока и жаждали ему отдаться. Поэтому считались *соперницами*. Германович написала

---

* «Erewhon» — «Едгин» (анаграмма слова «нигде» по-английски).
** «Мой отец» (*англ.*).
*** «Обзор обзоров» (*англ.*).

ему любовное письмо, он возвратил его ей и написал сверху: «Лучше не надо». Или «пожалуйста, не надо».

Упомянут там и Мейер, которого я знал в Одессе. Он был сперва революционер, приносил мне пачки прокламаций, кот. я прятал в погребе,— потом стал нео-христианином. Всю жизнь оставался бедняком. Иногда приходил ко мне ночевать — и нудными словами пытался обратить меня в православие.

26 декабря. Болен. Горло, кашель, банки, слабость. Читаю Кони — его судебные речи. Нисколько не гениально, но метко, умно, благородно, с глубочайшим знанием жизни. Некоторые речи (вместе со вступлениями) стоят хорошего романа: удушение жены Емельянова, подлог расписки княгини Щербатовой, убийство Чихачева — обобщенная правда о русском человеке, о дрянности не только тех, кто совершил преступление, но и тех, против кого оно было совершено. Солодовников был миллионер, которого *стоило* обокрасть, Филипп Истраки был ростовщик, которого *стоило* убить, и пожалуй, Емельянова была женой, которую *следовало* утопить. Когда я познакомился с Кони, его судейская слава была позади. Он был для всех нас — писатель и праведник,— даже более, чем писатель. Иногда он казался пресноватым, иногда витиеватым — но действительно ему было свойственно почти неестественное благородство: Ада Полякова, Викт. Петр. Осипов, Евгеньев-Максимов, я — всем он делал огромное, бескорыстное добро. Нужно бы написать о нем. Но писание стало таким трудным процессом для меня — особенно теперь, когда я болен. Проклятая история с «Чеховым» — совершенно лишила меня способности выражать что бы то ни было на бумаге.

Надо писать о Блоке. Как нежно любил он меня в предсмертные годы, цеплялся за меня, посвящал мне стихи, писал необычайно горячие письма — и как он *ненавидел* меня в 1908—1910.

29 декабря. Решительно нет времени писать даже этот дурацкий дневник. ⟨...⟩

Пишу о Кони (заметку в «Литгазету»), правлю корректуру Слепцова и делаю много другого ненужного, а до Блока руки не доходят. Была вчера у меня милая, милая М. Ф. Лорие.

30 декабря. Был я сегодня у Федина — просил меня Зильберштейн спросить Конст. Ал-ча, когда он может явиться к нему с материалами по новому (советскому) тому «Литнаследства». И как всегда — ушел из его кабинета к Вареньке и Костеньке. Костенька *впервые* осознал елку — и очень чисто произносит: Дед Мороз — и показывает на него пальцами (под елкой), а Варенька стала показывать мне подарки, которые получила она в день рождения, и я заметил, что Федину как будто досадно, что я покинул его, он все время поры-

вался рассказать мне какую-то историю. Я ушел и в доме творчества узнал от Фриды Вигдоровой, что было у Фурцевой собрание писателей, где Смирнов назвал Симонова троцкистом, «Новый Мир» троцкистским журналом, Паустовского — контрреволюционером и т. д., а заключил свою речь, что он готов стать на колени, чтобы писателям дали квартиры. После этого слово предоставили Федину. Ф. сказал, что он тоже готов стать на колени, чтобы писателям дали квартиры, но при всем том он не согласен ни с одним словом Смирнова: Паустовский честный советский писатель, Симонов в настоящее время отсутствует, он с честью отстаивает советские интересы в Индии — и судить его в его отсутствие неэтично, что же касается «Нового мира» и романа Дудинцева, нельзя не признать, что в их направлении много благородства и правды; он, Федин, вполне солидарен с их направлением, хотя и считает роман Дудинцева — незрелым. Вообще,— сказал он,— все эти расправы с писателями ни к чему не приводят, воспитывать писателей дубиной нельзя. Одно дело сделать тончайшую хирургическую операцию глаз, другое — шарахнуть по голове дубиной.

— Так вы нас считаете дубинами? — спросила Фурцева.

Федин уверил, что нет, но все же после его речи заготовленная резолюция была отменена и — можно считать, что на этот раз дубинка отложена в сторону. Фурцева в дальнейшем разговоре неск. раз ссылалась на Федина: «как сказал Константин Александрович».

Он в своей речи сказал между прочим: как вы хотели бы воспитывать, напр., Пришвина? Кто мог бы воспитывать его? Разве что сам Тимирязев.

Фрида ликует. Была у меня Маргарита Алигер, принесла в подарок «Литмоскву». Колин рассказ чудесный (чуть-чуть длинновато в середине), очень уверенный рисунок, скупые краски, верно наложенные, отличный сюжет. Заглавие «Бродяга» не годится. Гвоздь — стихи Заболоцкого. «Старая актриса» чудо — и чувства, и техника. Пьеса Погодина по замыслу — отличная, по выполнению посредственная. Два доносчика — Клара и О., и оба оказываются милыми людьми. Записи Олеши претенциозны, Цветаева то очень хороша, то ужасно плоха,— в общем же альманах никем не редактируется — строгого отбора нет.

Сегодня — в последний день нового года — мороз. «Оттепели не предвидится!» — острит Ивич. Встретил жену Кирпотина, она тоже здесь. Видел Живова, Раскина — и больше никого. Сижу в своей мурье — и пятый день пишу с утра до вечера все один кусок (строк 12) для «Лит. газеты» — и ни черта не выходит.

Самая умная статья в «Лит. Москве» — Александра Крона: о театре. Острая, полная неотразимых силлогизмов. Рядом с нею раздребеженная, шаткая, валкая, претенциозная статейка Олеши кажется еще более жалкой. Читал Бернарда Шоу — «Дом вдовца»

и т. д.— холодные, мозговые продукты без тени вдохновения — и жизни. Так дожил до

1957 года,

до которого не чаял дожить никогда. Весь прошлый год я жил в идиотских трудах. Зачем-то два месяца истратил на редактирование Конан Дойла, месяц переводил «Тома Сойера» — зачем? зачем? — и для Блока, Слепцова, мемуаров не осталось времени. Идиот. Душегуб.

1 янв. Вышел в 5.30 утра на балкон. Звезды как апельсины. Морозно. Снег — как декорация. Сажусь за постылую заметку о Кони. ⟨...⟩

Кони: я прочитал его книгу. Есть блестящие места, но какое самолюбование, сколько раз он сообщает, красуясь и рисуясь, как благородно он ответил такому-то, как ловко он срезал такого-то и т. д., и т. д. Язык местами хорош, а местами канцелярский с типичными судейскими цитатами, крылатыми словечками, истасканной рухлядью адвокатского жаргона.

4 января. На душе муть, тошнота. Всю ночь томит меня сознание непоправимой ошибки. Вчера я пришел в Гослит. Зашел в производственный отдел. Спросил: когда, по-вашему, выйдет 3 книга «Лит. Москвы»? Может ли она выйти в марте? Там расхохотались. «Ни за что! Никоим образом! Дай бог чтобы в мае. И то не наверняка». Это так взбеленило меня, что я бросился сдуру в «Москву» — и сказал: «Берите моего Чехова». Я не буду печатать его в «Лит. Москве». И пошел в «ЛитМоскву»: отдайте мне моего Чехова. И только что я это сделал, я почувствовал, что поступил подло, предательски; вдруг мне стало ясно, как люблю я Алигер, Казакевича — и главное, как люблю я «ЛитМоскву» единственный *благородный* литер. орган в это пошлое страшное время. Теперь уже поздно, но как я не по-чеховски поступил со своим «Чеховым» — и этого я себе никогда не прощу. О, почему не пришла ко мне 1-го Маргарита Ал[игер] — как обещала. Хотела придти — мы почитали бы стихи — побеседовали бы, и я почувствовал бы связь с «ЛитМосквой».

В «ЛитМоскве» всех раньше всего будоражит статья Крона, меня же — стихотворение Заболоцкого «Старая актриса» — мудрое, широкое, с большими перспективами. И почему я ухожу от этой группы лучших писателей, наиболее честных и чистых — и связываю себя с чужаками,— неизвестно. Всякая подлость раньше всего непрактична.

Чтобы отвлечься от горя, я пошел к К. А. Федину. Мы пошли гулять. Снежно, не холодно, ветер. Он рассказал, что в Гаграх, где он был на улице, огромная картина «Утро родины» (Сталин среди полей) освещается прожекторами! — и рядом памятник С[талин]у;

из Турции на груз. языке передается по радио нечто вроде «Би Би Си для бедных», эта передача начинается пением груз. нац. гимна, а кончается гимном в честь Берии. Изо всех раскрытых окон раздается голос радио:

«Слава Берии, Берии, Берии!»

Очень подробно рассказал Федин о своем выступлении у Фурцевой. Говорил о романе: Кирилл Извеков в 1937 г. по ложному навету пострадал и в результате очутился в Туле, на пониженной должности. Цветухин окажется в Бресте и т. д. Но я слушал его сквозь душевную муку. Для успокоения стал читать переписку Победоносцева с Ал[ександром] Ш. Потрясающее по своей тупости письмо Д. Щеглова, бывшего товарища Добролюбова, который превратился в фанатика-черносотенца, вызывающего гадливость даже в других черносотенцах. Чичерина записка и письма Сиона — и дело Катаказю — и процесс первомартовцев — интереснейшая, но совершенно неизвестная книга[2]. Пытаюсь писать о Блоке, но все валится из рук.

6/I. У меня есть особый способ лечиться от тоски и тревоги: созвать к себе детей и провести с ними часов пять, шесть, семь. Чтобы забыться от моей истории с «Чеховым», я созвал к себе Сережу, Варю (внучку Федина), Иру (дочь Кассиля), Машу и Веру (Таниных детей) — и стал играть с ними в разные игры. К семи часам они очень утомили меня — но сердце отдохнуло, и я отправился спать, чувствуя блаженное спокойствие. И вдруг снизу голос: «Письмо от М. О. Алигер» и — сна моего как не бывало. Укол в самое сердце[3]. Я вскочил и стал бегать по комнате. Все мои усилия забыться сразу пошли насмарку; промаявшись до двух часов, я оболванил себя нембуталом, и вот теперь все мое утро пошло насмарку. Как жестоки все эти люди: Атаров и Маргарита. Каждый день они пилят меня деревянными пилами — вместо того, чтобы понять, что же делается со мной. Они, небось, и спят, и работают, а я превращаюсь в калеку — и вся эта история стоит мне год жизни по меньшей мере.

8 января. 2 письма: одно — от Зощенко, другое — от Сергеева-Ценского. Зощенко пишет скромно и трогательно: не укажу ли я ему, какие рассказы нужно изъять из нового издания его книги, просит совета в деликатнейших выражениях, а С[ергеев]-Ц[енский] хлопочет о том, чтобы о его «Вале» был отзыв в «Комсом. Правде». Какая жизнестойкость.

Человеку девятый десяток, он оглох и почти ослеп — но не теряет ни надежд, ни желаний.

Как упоительно пишет Троллоп. Я читаю его «John'a Caldigate'a», и весь сюжет до того волнует меня, что в трагических местах я оставляю книгу, не могу читать дальше, так «переживаю». И какая уверенная рука в обрисовке характеров, какое знание жизни —

и самых глубоких глубин души человеческой. И как все это скромно, словно он и сам не подозревает о своей гениальности.

20 янв. Взялся за Уайльда. Мне выдали в «Иностр. б-ке» — 4 книги о нем. И я залпом читаю все четыре. А «Леонид Андреев», крохотная статейка — выматывает у меня всю душу. А стол загроможден корректурами журнала «Москва», который отвратительно глуп.

13 февраля. Я уже два дня в Барвихе. Врачи нашли, что я зверски переутомлен, и запретили работать. А я как назло привез с собой бездну планов: переработать статью об Оскаре Уайльде, статью о Блоке, начать воспоминания о 1905 годе, написать о Баскакове, но все это — так и останется в виде неосуществленных проектов. Сегодня познакомился с *Шаровым Ал. Ф-чем.*, который когда-то устроил перегородку в моей квартире на ул. Горького. Если бы мы пошли нормальным путем — волокита тянулась бы месяцев 8, но загадочный, нечеловечески влиятельный, могучий *Шаров* устроил это росчерком пера. (Он начальник московского строительства.) Познакомился с ивановской ткачихой, говорящей на *о*. Познакомился с женой министра культуры *Михайлова*.

21 февраля. 2 года со дня смерти Марии Борисовны. Машенька дорогая — как хотела ты правды и прямоты — и какой я был перед тобой криводушный! И в литературе я не помню, чтобы она давала мне женские, дамские советы — слукавить, пренебречь правдой ради карьеры и выгоды. 〈...〉

Были у меня здесь Лида и Коля. Лида стяжала ненависть Детгиза своей статьей «Рабочий разговор»[4]. Теперь будет вынесена резолюция Союза писателей, будто Лида ведет какую-то антипартийную (!?) линию. Коля выступил в Президиуме против Ванды Василевской, потом имел с Вандой разговор. Ванда говорит, что в Варшаве русских преследуют, заставляют ходить по мостовой, а не по тротуару, что советские люди там под бойкотом и т. д. Коля уезжает в Малеевку. Любовь читателей к его книге «Балтийское небо» огромна. 〈...〉

Здесь Маршак. Третьего дня мы говорили с ним три часа, вчера он просидел у меня два часа. 〈...〉

Маршак обаятелен. За то время, что он здесь, он перевел (буквально у меня на глазах) одно ст[ихотворен]ие Йетса и стихотв. Галкина (с еврейского) — оба стихотворения сразу стали прочными, сработанными раз навсегда. Иногда он повторяется: трижды сказал (по разным поводам), что Данте — петух, разбудивший новую поэзию, русские писатели — сверхписатели, что эстетика должна быть этична, но талантливость так и прет из него. Вчера мы слушали с ним у Семенова пластинки Моцарта и Баха — и было видно, что он всей кровью воспринимает каждый новый музыкальный ход — и вообще интенсивность его духовной жизни поразительна. И хотя он кажется больным, глотает эфедрин, кашляет, но голова у

него необычайно свежа и вечно готова к работе. Чудесно говорил он вчера о Фадееве и о Твардовском. Оказывается, Тв. написал Ф. суровое письмо, осудил его металлургический роман, высмеял его последние речи, и это очень огорчило Фадеева[5].

Вот стихи Маршака, дарственная запись Людмиле Толстой.

На переводах из Бернса:

Пускай мой Роберт милый
Веселый и простой
Беседует с Людмилой
Ильиничной Толстой.

На переводах из Шекспира:

Правда неразлучна с красотой
Скажут, эту книжечку листая,—
Не любил Шекспира Л. Толстой,
Но быть может, любит Л. Толстая.

Я дал ему прочитать мою книгу «От 2 до 5», и главное его замечание: как это я мог поставить рядом имена: Маршак, Михалков, Барто. И полились рассказы о каверзах, которые устраивала ему Барто в 20-х годах. ⟨...⟩

7 марта. ⟨...⟩ Лида третьего дня выступала на пленуме писателей — по секции прозы — снова дразнила гусей под бурные аплодисменты собравшихся. Я вяло — еле-еле работаю над Уайльдом и думаю (гораздо более серьезно) над своим завещанием. ⟨...⟩

Все еще читаю Фолкнера. Мне очень нравится его почерк. В его романе я нашел слова, прямо относящиеся к здешним отдыхающим: «they had a generally *identical* authoritative air, like policeman in disguise and not especially caring if the disguise hid the policeman or not...»* Главное: все они в огромном большинстве страшно похожи друг на дружку, щекастые, с толстыми шеями, с бестактными голосами без всяких интонаций, крикливые, здоровые, способные смотреть одну и ту же кинокартину по пять раз, играть в козла по 8 часов в сутки и т. д.

Но о Фолкнере: он многословен, кое-что у него неправдоподобно, но он чудесный психолог, великолепно регистрирующий подспудные бессознательные поступки людей — и у него «нет в мире виноватых» — он возбуждает жалость даже к зверю Кристмасу, зарезавшему бритвой доверившуюся ему женщину, даже к Брауну, выдающему своего товарища Кристмаса, чтобы получить премию за донос — у него прелестный простонародный язык (персонажей), почти каждый эпитет у него свеж, меток, разителен; фабула такая, что нельзя оторваться, и все же он *противный* писатель, тошнотный и мутный, при несомненном таланте. ⟨...⟩

---

* «всем им была присуща *одинаковая* самоуверенность, и потому они напоминали переодетого полицейского, который не особенно беспокоится насчет того, хорошо ли маскирует одежда его службу в полиции...» (*англ.*).

21 марта. ⟨...⟩ Был вчера у Федина. Он с восхищением говорит о рассказе «Рычаги» (в ЛитМоскве). «То, что описано в «Рычагах», происходит во всей стране,— говорит он.— И у нас в Союзе писателей. Когда шло обсуждение моей крамольной книги «Горький среди нас», особенно неистовствовала Шагинян. Она произнесла громовую речь, а в кулуарах сказала мне: «великолепная книга». Ну чем не «рычаг»[6]!

Был у меня Юрий Олеша. Он задумал целую книгу критических заметок и набросков. О своих любимейших книгах. Он умен и талантлив, но с очень коротким дыханием — оттого он так мало написал. (Помню, как восхищался его «Лиомпой» Ю. Тынянов, который вообще ненавидел его одесские «изыски», считая их моветоном.)

Вечером я был у Каверина, коего сегодня выбранили в «Правде»[7]. Он, конечно, угнетен, но не слишком. «Мы будем продолжать «ЛитМоскву» — во что бы то ни стало». Читал мне отрывки из своей автобиографии. Оказывается, его отец был военный капельмейстер, считавший военный быт нормой человеческого поведения. В доме он был деспот, тиран. И в свою автобиографию Вениамин Александрович хотел ввести главу «Скандалы». Я его отговорил: нельзя слишком интимничать с совр. читателем... У Кав. готов целый том критических статей. Целые дни он сидит и пишет. Счастливец.

27 мая. В жизни моей было много событий, но я не записывал их в эту тетрадь. После того, как пропали десятки моих дневников, я потерял вкус к этому занятию. События были такие: 30 марта праздновали мой юбилей. 75 лет!

Хоть этот срок не шутка,
Хоть мил еще мне свет,
Шагнуть мне как-то жутко
За 75 лет.

Юбилей мой удивил меня нежностью и лаской — количеством и качеством приветствий. Поздравляли меня — меня!!! — и Университет, и Институт Горького, и Академия наук — и «Крокодил», и «Знамя», и «Новый мир», и «Пушкинский дом», и *сотни* детских домов, школ, детских садов,— и я казался себе жуликом, не имеющим права на такую любовь. Конечно, я понимал, что это — похороны, но слишком уж пышные, по 1-му разряду. Все в Союзе писателей думали, что меня будут чествовать по 3-му разряду (как и подобало), но столпилось столько народу (в Доме Литераторов), пришло столько делегаций, выступали *такие* люди (Федин, Леонов, Образцов, Всеволод Иванов и т. д.) — что вышли похороны 1-го разряда. В качестве честолюбивого покойника, я был очень счастлив и рад.

Второе событие: орден Ленина и его получение в Кремле — вместе с Никитой Хрущевым.

Милый Ворошилов — я представлял его себе совсем не таким. Оказалось, что он светский человек, очень находчивый, остроумный, и по своему блестящий. Хрущев сказал: «наконец-то я вижу злодея, из-за которого я терплю столько мук. Мне приходится так часто читать вас своим внукам». На их приветы я ответил глупой речью, которая сразу показала им, что я идиот.

Третье событие: я был приглашен правительством вместе с писателями, художниками, композиторами — на банкет под открытым небом. Ездил на правительственную дачу — заповедник — слушал речь Хрущева, длившуюся $4^1/_2$ часа. ⟨...⟩

[Вложен листок со стихами.— *Е. Ч.*]:

Все ждал, то опасался,
То верой был согрет.
Чего ж гляжу дождался
Я в 75 лет?

Ведь этот срок не шутка,
Хоть мил еще мне свет,
Шагнуть мне как-то жутко
За 75 лет.

Я силы в распре с веком
Прошу не для побед: —
Остаться б человеком
Мне в 75 лет.

. . . .

Вдруг спросят там наивно
За розгу я иль нет.
Мне с новыми противно.
Мне — 75 лет.

1. Три года пережиты,
И все пока — поэт,
Хоть с прозвищем: «маститый» —
Я в 75 лет.

2. Под тяжестью их груза,
Один-другой куплет
Сложи, старушка муза,
Про 75 лет.

3. Устал я жить в надежде
На умственный рассвет;
Хоть меньше тьмы, чем прежде
За 75 лет.

18 июня. Часа в два звонок. Вадим Леонидович Андреев. В первый раз я видел его в 1903 году, в детской колясочке. С тех пор прошло всего 54 года. Потом — на даче в Ваммельсуу (1908—1916), потом в Ленинграде в 1917 — ровно 40 лет назад. В первый раз мне показывала его «дама Шура» — в колясочке, ему было не больше полугода. Сейчас это седоватый, высокий мужчина, с узким лицом, живыми глазами — с печатью благородства, талантливости и — обреченности. Он позвонил мне — из Дома творчества и через 10 минут был у меня. Мы сели на балконе, и он стал рассказывать мне свою фантастическую жизнь. Анна Ильинична, скупая, тупая, любила одного только Савву и вскоре по приезде в Париж Вадим оказался буквально на улице. Он хватил лиха, был линотипистом, пробовал пристроиться к литературе, написал неск. книг (в том числе «Воспоминания об отце»), пробыл 25 лет в эмиграции, потом добыл советский паспорт, переехал в США и работает в ООН'е. Я повез его к Ек. П. Пешковой — в Барвиху. По дороге он читал свои стихи — негромкие, но подлинные, чуть-чуть бледноватые — о своем детстве, которое я помню так хорошо. Читает он стихи старинным петербургским напевом, как и его сверстник, Коля Чуковский. Американцы в массе своей ему ненавистны: девочки распутны, мальчишки — кретины. Теперь у девочек мода: мужская рубашка, без штанов или юбки,— «это более неприлично, чем нагота». Рассказывал об Алексее Ремизове — стал в 80 лет писать превосходно, пронзительно, без прежних выкрутас. Юрочка Анненков женился на молоденькой, прислал на какой-то конкурс рассказ (под фамилией Тимирязев) и получил первую премию и т. д. В литературном мире Андреев знает все обо всем — и о Заболоцком, и о Дудинцеве, и о Пастернаке, и о Бунине, и о разных американских писателях. Впечатление произвел он чарующее.

30 июля. Был у Казакевича. Остроумен, éдок по-прежнему. Говорили о Федине — и о его выступлении на пленуме. Федин с огромным сочувствием к ЛитМоскве и говорил (мне), что если есть заслуга у руководимого им Московского отделения ССП, она заключается в том, что это отделение выпустило два тома «ЛитМосквы». А потом на Пленуме вдруг изругал ЛитМоскву и сказал, будто он предупреждал Казакевича, увещевал его, но тот не послушался и т. д. Я склонен объяснять это благородством Ф[еди]на (не думал ли он таким путем отвратить от ЛитМосквы более тяжелые удары), но Казакевич говорит, что это не благородство, а животный страх. Тотчас же после того, как Ф. произнес эту свою «постыдную» речь — он говорил Зое Никитиной в покаянном порыве — «порву с Союзом», «уйду», «меня заставили» и готов был рыдать. А потом выдумал, будто своим отречением от ЛитМосквы, Алигер и Казакевича, он тем самым выручал их, спасал — и совесть его успокоилась. «А все дело в том,— говорит Казакевич,— что он стал бездарно писать, потерял талант, растерялся — и захотел выехать на кривой». И рассказал анекдот:

Сумасшедший вообразил себя зерном. Его вылечили. Но проходя мимо курицы, он стал метаться и спрятался. Приятель говорит ему: но ведь ты знаешь, что ты не зерно.

— Я-то знаю, но знает ли курица?

Сам-то Федин знает, что ЛитМосква хороша, но знает ли это начальство?

Казакевич переводит Пиноккио. С немецкого; перед ним итальянский текст, итальянский словарь.

— Работа эта слишком уж легкая! Переводчики-паразиты выбрали себе легчайшую литер. профессию. Но я вставлю перо Алексею Толстому!! Буратино умрет во цвете лет. Испортил Алексей такую сказку.

Показал мне «Сердце друга» в переводе на франц. яз. и на немецкий язык. Две очень изящные книжки.

Насчет третьего сборника говорит:

— Мы возьмем тем, что у нас будут самые лучшие в *художеств.* отношении вещи. У нас есть дивный Паустовский и чудесный Тендряков — великолепная повесть. Критических статей не дадим. Критика не обязательна в альманахе.

Бодр. Очень умен. Образован. Искренен.

— Не знаю, как я встречусь с Фединым. Не подать руки — глупо.

Мы пошли к больному Каверину. В. А. исхудал, жалуется на головные боли — у него воспаление мозговых оболочек, болезнь с греко-латинским названием. О ней он сочинил стихи, остроумно перечисляя в качестве недугов все те обвинения, которые выдвинула против него литерат. критика.

Олечка Казакевич встретила меня приветливо и угостила бананом. На костре у нас она читала

Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые.

Странно было слышать эти строки в 9-летних устах.

LIBRARY FOR CHILDREN*

23 июля. Кто такой Филатов? Я никогда не видел его. Знаю, что он начальник Межобластной конторы Лесстройторг и что зовут его Александр Константинович. Около недели назад я послал ему письменную просьбу выделить для моей детской библиотеки «финский домик», и он сказал, что *даст непременно.* ⟨...⟩

Кажется, я могу предаться мечтам — они накануне реализации. Мне кажется, что к осени у меня за гаражами возникнет просторное здание — не только библиотека, но и читальня, и дом детской книги. Чуть только начнут выводить стены, я обращусь ко всем писателям: к Кассилю, Маршаку, Барто, Михалкову с просьбой

---

* Детская библиотека (*англ.*). История ее строительства записана в отдельной тетради. Включаю эту историю в общий дневник. (При этом дата «30 июля» встречается дважды).— *Е. Ч.*

прислать в библиотеку свои портреты, чтобы дети видели своих авторов.

Вчера в библиотеку пришла жительница Ташкента 8-ми лет. Она пришла с бабушкой. Бабушка сказала мне, что девочка любит Носова, и, когда я сказал, что знаком с ним, девочка посмотрела на меня с завистью. «Как бы я хотела увидеть его». Портрет Носова тоже нужен. И портрет Пантелеева. ⟨...⟩

24 июля. ⟨...⟩ Чем объяснить враждебность Литфонда к моему делу? Казалось бы, как не помочь писателю, который уже третий год ведет активную просветительную работу среди детей рабочих и колхозников. Но Ляшкевич демонстративно уклоняется от всякой помощи этому делу — и предоставляет мне биться как рыба об лед.

25 июля. ⟨...⟩ Вчера собирал с детьми хворост для костра. После бури много отломившихся веток.

Сегодня величайшее событие: я послал Клару и П. Г. Медведева в Одинцово на склад за домиками. Когда они приехали, Филатов позвонил при них заведующему, и на складе разрешили приехать завтра — внести деньги и... получить домик. Сам по себе он стоит 20 500, но всякие причиндалы к нему еще 5000 р.

В газете «Советская культура» напечатано, что строить библиотеку мне помогает Литфонд[8]. Вздор!! Литфонд до сих пор только мешает мне и тормозит мое дело. Рекомендовал мне пройдоху инженера Семена Осиповича, который, проканителив две недели, в конце концов ничего мне не дал. О том, чтобы мне продали кирпич, я тоже должен умолять христом богом.

26 июля. Сегодня утром я с Медведевым поехал на склад — уплатить деньги за дом (взяв с собой 7-летнюю Зиночку, дочь работницы). Иван Серг. Болдырев круто отказал:

— Приказ Филатова до меня еще не дошел. Филатов говорил с главным бухгалтером, а бухгалтер в банке.

Я взбеленился. Но излить своего гнева не мог, т. к. Ив. С. тотчас же вызвали к телефону, и он рявкал там не меньше получаса. ⟨...⟩ Участие во мне приняла Елизавета Сампсониевна — замбухгалтер. Она быстро провела через кассу уплаченные ей деньги 20 500 р.— и повела меня по двору склада, где в страшном беспорядке навалены под открытом небом разные бочки, кадки, ящики — в том числе и домá. Увидев стены своей будущей библиотеки, я чуть не запрыгал от радости. Стен очень много — вообще «домик» вдвое больше, чем я ожидал, и сколько еще работы над ним! Нужен фундамент — *не две, а пять* с *половиной тысяч кирпичей,* а Литфонд отказал мне даже в двух тысячах. Куда податься, кого умолять? Где достать каменщиков? Как уберечь те части домика, которые свезены ко мне на участок — от дождей. Вчера, например, всю ночь шел дождь и сегодня идет. На складе все до одного — взяточники, начиная от привратника, кладовщика.

Сейчас в половине восьмого Медведев, взяв у меня пять тысяч восемьсот рублей, отправился пешком на склад за остальными частями домика.

Вчера Нилин порекомендовал мне обратиться в Секретариат Союза писателей СССР — с жалобой на Литфонд.

Пошел ужасный злой дождь — не дождь, а потоп — размоет все дороги — и как Медведев привезет сегодняшнюю порцию домика!? И то, что он привез, мокнет под дождем!

29 июля. Весь «домик» находится у меня на участке. Медведев сложил множество досок, дверей, потолков, стен, плиток для крыши на траве под деревьями — и я так обрадовался этому будущему библиотечному зданию, что дал грузчикам вдвое больше, чем они запросили. Пришли клиенты библиотеки — 10—12-летние дети и с радостью помогли грузчикам разостлать брезент.

Вчера я пошел к Лидину — в чудесном настроении, *и вдруг он сообщил мне, что на сегодняшнем заседании* Литфонд рассматривает мое «ходатайство» (ходатайство!) о постройке на арендуемом мною участке библиотеки — и намерен мне отказать, т. к. арендатор не имеет права строить что бы то ни было на арендуемой земле. Оооо!

Что мне делать?

30 июля. Чиновники Литфонда не хотят библиотеки. Им плевать, что вчера библиотека обслужила больше 70 детей. Вчера я привел на свою строительную площадку Леонида Макс. Леонова — он осмотрел мой стройматериал и сказал: «дрянь». Это, конечно, верно; по сравнению с немецкими и финскими домиками наш домик позорно сучковат, кое-какист, сработан с полным неуважением к делу, хамски и наплевательски. Но ведь для того, чтобы не было в России таких бесстыжих и бесчестных работников, я и строю свою библиотеку. Конечно, я пригласил Леонова не для суждения о качестве материала, а для того, чтобы он отстоял мое право на постройку библиотеки. Но он ускользнул, говоря: «я в отпуску; посоветуйтесь с Сурковым. С Сурковым». И ушел.

1 августа. Вчера директор Городка писателей Ив. Ив. Сергеев обещал быть у меня утром в $7^1/_2$ — или в $8^1/_2$ часов, чтобы решить наконец, где ставить библиотеку. Я встал спозаранку и хотя у меня есть спешная работа, отложил ее в сторону, т. к. ждал с минуты на минуту, что он придет (а если не придет, то извинится по телефону). Мне и в голову не приходило, что кто-нибудь может так издеваться надо мною. $7^1/_2$ — никого, $8^1/_2$ — никого, 9 — никого. Я позвонил по телефону в контору — ответ стереотипный: «ушел на склад». Всякий раз, когда Ив. Ив. уходит куда бы то ни было, ответ один: «ушел на склад». Между тем сегодня я должен сообщить о том, как идет строительство. Вместе с Сергеевым обещал придти и Ал. Ал.

Иванов (инженер) — и тоже насмеялся надо мною, не пришел. А между тем части домика, разрозненные, лежат под дождем, мокнут, и Петр Георгиевич поневоле бездействует, и вся работа срывается. 〈...〉

3 августа. 〈...〉 Я решил подать в Секретариат такую записку. [Кроме даты — все напечатано на машинке.— *Е. Ч.*]

3 августа 1957 г.

Два года назад я завел в Переделкине (в нижнем этаже моей дачи) небольшую детскую библиотеку. Теперь она обслуживает около 400 детей — главным образом детей колхозников, рабочих и служащих. Каждый день от 17 до 19 часов библиотеку посещает в среднем около 40 — 50 ребят. Библиотека зарегистрирована и в Москве и в Кунцеве. С большим сочувствием относятся к ней Министерство культуры и Кунцевский райком партии. В библиотеке ведется строгий учет посетителей и выдаваемых книг. Руководит ею опытный библиотекарь с двадцатилетним стажем. Видя, что библиотека отвечает жгучей потребности местных детей, я выделил из своих сбережений шестьдесят тысяч рублей и решил построить на земле Литфонда здание библиотеки, которое и намеревался принести в дар государству.

После долгих мытарств мне удалось приобрести в Одинцове сборный трехкомнатный домик и перевезти его к себе на участок. Детям я наивно обещал, что через 2 — 3 недели в этом домике будет открыт детский клуб. Конечно, я был уверен, что Литфонд с энтузиазмом поддержит мое начинание. Но чуть только Литфонд узнал о моей скромной затее, он самым бюрократическим образом стал ставить мне палки в колеса.

Тактика Литфонда такова: «мы от души приветствуем ваш благородный почин, но погодите немного, вот мы пришлем комиссию и рассудим».

Я с волнением жду комиссию в назначенный день, и, конечно, она не является.

Потом говорят:

— Мы разрешили бы, но у вас нет разрешения Кунцевского райсовета.

Я обращаюсь в Кунцевский райсовет,— там говорят:

— Мы разрешили бы, но у вас нет разрешения Литфонда.

Я звоню в Литфонд. Говорят:

— Сегодня приедет к вам т. Ляшкевич и все объяснит.

Жду т. Ляшкевича. И, конечно, он не приезжает.

А покуда части сборного домика мокнут под дождем и коробятся, и мне стыдно смотреть детям в глаза. Рабочим, которых я нанял, я говорю каждый день:

— Приходите, пожалуйста, завтра!

И не знаю, покупать мне кирпич для фундамента или прекратить это дело и закрыть библиотеку совсем. Так тянется уже две недели.

И если протянется еще хоть три дня, я заболею и слягу в больницу.

Главное горе в том, что Литфонд не говорит ни *да,* ни *нет.* А строительный сезон между тем проходит, и дом окончательно сгниет под дождем.

К. Чуковский

5 августа. В. А. Смирнов и В. Н. Ажаев осмотрели участок и обещали принять это дело к сердцу. ⟨...⟩

10 августа. Дело двинулось, благодаря случайности. У Ажаева есть очень милый мальчишка Алеша. Я зашел к Алеше (он позвал меня, когда я проходил по дороге); Ажаев, услыхав от меня всю историю дома, повел меня к своему соседу Вас. Ал-андр. Смирнову, который, оказывается, имеет большой вес в Союзе. Смирнов так возмутился всей волокитой, происходящей в Литфонде по вине Ляшкевича, что тотчас же несмотря на дождь пошел со мной и Ажаевым ко мне на участок, и лично убедился, что Ляшкевич вставляет мне бюрократические палки в колеса. Через два-три дня он привез ко мне Воронкова и Ляшкевича — и они втроем обещают мне посильную помощь. Возник было план — чтобы я продал им домик, а они сами построят библиотеку. Но так как темпы их строительства мне известны, я понял, что, если я соглашусь, я не доживу до той блаженной поры, когда над б-кой будет воздвигнута крыша, я отказался: строить б-ку буду я сам.

Сейчас вся остановка за деревьями. Нужно срубить 6 деревьев, среди которых есть и сухостой. Сегодня приезжал ко мне наш главный лесник Васильев, очень любезный,— но рубить *не разрешил.* Без Москвы он не вправе. Опять задержка. Хорошо сказал Ленин:

— «А по существу издевательство!»

После того, как Васильев ушел, явился (от него?) один объезчик, который заявил, что если дать ему, объезчику, взятку в 200 р., а Васильеву 400 р., дело будет устроено так, что не потребуется разрешения Москвы. ⟨...⟩

17 августа. ⟨...⟩ Литфонд верен себе: когда я попросил сделать вокруг библиотеки ограду, он взвалил и это дело — на меня.

$4^1/_2$ тысячи кирпича. 3 машины по 5 тонн.

Завтра костер. Я пригласил Екат. Павл. Пешкову, Нилина, Либединского, Вс. Иванова, Федина, Тихонова, индийскую посольшу, Маршака, Михалкова, Тараховскую, Барто, и т. д., и т. д.

Выступать будет Райкин, иллюзионисты из цирка, будет самодеятельный Котя Райкин (гениально) и мн. др.

Но что если будет дождь. Об этом и подумать страшно.

Пришел благообразный каменщик.

Требует за фундамент 500 рублей. Я хорошо понимаю, что это рвачество,— но соглашаюсь.

Утро костра 18 авг. После бессонной ночи в 6 час. утра пошел на

постройку. Вся семья каменщика на работе,— человек 8: возят на тачке кирпичи, заливают цементом. Весело глядеть на их спорую работу. Пришел чувашский писатель — попросился на поденщину. П. Г. поручил ему засыпать глиной глубокую яму, когда-то служившую погребом. Писателю 60 лет, но работает он усердно.

19 авг. Костер сошел отлично. Были Федин, Слонимский, Пустынин, Тараховская, Нилин, Барто, Арк. Райкин, Кассиль, А. А. Морозов, Екат. Пав. Пешкова, Марфа Пешкова, Дарья Пешкова, их дети: Максик, Катя и Надя, Шилькрет (автор отличных «Крыльев холопа»), Михалков, советник индийского посольства (кажется, Ратнам) с женой и двумя детьми, Леонид Гроссман, Гудзий, Сузанна Марр, С. С. Виноградская, Либединские, Петя Штейн, Алеша Сафонов, Лесючевский с дочерью Леночкой, был отличный затейник Узволок Яков Львович (Москва, В-85, Второй Верхне-Михаиловский проезд 8 кв. 2. Калужская застава). Погода разгулялась. Детей пришло больше 300.

В детской самодеятельности больше всего мне понравился безмерно артистичный Котя Райкин, выступавший с номером собственного изобретения — «Природа», кукольный театр Тани Абашкиной, танец Ирочки Кассиль с подругой.

Первым выступил Кассиль, пожелавший детям хорошо учиться. После самодеятельности Аркадий Райкин со стихами среднего качества и с прелестной мимической миниатюрой «Рыбная ловля», потом оказалось, что приехал Михалков, милый поэт, он оставил дома гостей — и (всегда аккуратный) приехал на полчасика — выступил с «дядей Степой», которого ребята подсказывали ему, если он запинался ⟨...⟩.

22 авг. ⟨...⟩ *Литфонд* отказывается дать 1 столб для освещения. ⟨...⟩

Сегодня Кл. Изр. принесла газету («Литературную») со статейкой Макса Поляновского «Был у Чуковского костер». Там упоминается библиотека. Я написал Друзину письмо с просьбой не печатать этюдов о моей личной жизни. Особенно не нужно о б-ке. Скажут — устроил для саморекламы. ⟨...⟩

12 ноября. Был у меня сегодня Твардовский вместе с Казакевичем. У меня такое чувство, будто у меня был Некрасов. Я робею перед ним как гимназист. «Муравия» и «Теркин» — для меня драгоценны, и мне странно, что такой ПОЭТ здесь у меня в Переделкине, сидит и курит, как обыкновенные люди. Я прочитал ему кусок своей статьи о Маршаке, читал робко и сбивчиво — и был страшно обрадован, когда он похвалил. Вообще он ко мне благоволит: принес свои два томика и говорил обо многом вполне откровенно. Об Эренбурге: «бездарно переводит франц. поэтов, и читая его низкопробные вирши, я не верю ни в его романы, ни в его стихи. Вообще по стихам можно сразу узнать человека. Как-то я заболел — пришел

врач — у меня было растяжение жил, он прописал лекарство, а потом говорит: рад, что познакомился с вами, я ведь тоже пишу стихи — и прочитал такую галиматью, что я ужаснулся: неужели такой идиот может лечить людей. Сразу увидел, что и врач он никудышный». ⟨...⟩

О детской литературе: «она очень расцвела и все такое, но это литература городская, деревня еще не имеет своего детского поэта».

О Маяковском: «Прятали отзыв Ленина о «150 миллионах» — и всячески рекламировали его похвалу «Прозаседавшимся». И 25 лет *заставляли* любить Маяковского. И кто относился к нему не слишком восторженно, тех сажали, да, да,— у меня есть приятель, который именно за это и был арестован — за то, что не считал его величайшим поэтом...»

К Барто относится с презрением. «Стихи Ник. Тихонова об Орджоникидзе омерзительно слабы. Косноязычные, глупые, беспомощные. Встретил Кожевникова, зовет в «Знамя». Я говорю: как не стыдно печатать такую чушь, как стихи Тихонова. Он смеется. Говорит: дальше лучше будет»[9]. ⟨...⟩

2 декабря. Вчера в воскресенье приехал ко мне милый Конашевич с женой Евгенией Петровной и Самуилом Алянским. Библиотеку они одобрили. Конашевич согласился нарисовать на стене какую-нибудь сцену из Пушкинских сказок. Улыбающийся, скромный, нежный, чуть-чуть глуховатый, он необычайно гармоничен — и полон той неиссякающей радостью, какою полны его рисунки. С удивлением я узнал, что Союз художников считает его отщепенцем — держит его в черном теле — и не дает ему даже путевок в санаторий.

Алянский обещал пожертвовать в библиотеку сохранившиеся у него листы гравюр. ⟨...⟩

Сегодня юбилей Маршака. Я должен выступить — так хотел Твардовский и так хочет Маршак. Вчера я почувствовал, что и Алянский и Конашевич уверены, будто я участвую в чествовании Маршака из тактических соображений, неискренне. Почему-то они не хотят поверить, что, несмотря на все колоссальные недостатки Маршака, я люблю его талант, люблю его любовь к поэзии, его юмор, то, что он сделал для детей — и совершенно отрешаюсь от тех каверз, кои он устраивал мне. Он *насквозь* литератор. Ничего другого, кроме литератора, в нем нет. Но ведь это же очень много.

На днях были у меня Казакевич и Алигер. Алигер, замученная свалившейся на нее катастрофой, понемногу выползает из-под бессонниц и слез. Теперь она (и Казакевич) ударились в смех и без конца говорят смешное, от к-рого кошки скребут: изыскивают, например, слова, из к-рых можно сделать имена и фамилии. Пров Акатор, Циля На, Геня Рал, Витя Мин, Злата Уст, Элек Тричка. Я хотел было предложить им Оскар Блять, но постеснялся. Сина Гоголь, Голгофман, Арон Гутанг.

3 декабря. Твардовский подвел меня ужаснейшим образом. Он упросил меня сделать содоклад о Маршаке на 20—25 минут. Я возился с этим содокладом 2 недели, изучал Бернса, Блэйка, сонеты Шекспира — и вдруг у Твардовского начался запой — он даже не пришел на юбилей (который состоялся вчера) — и возглавил все дело Сурков, который сказал мне, что может предоставить мне не больше 8 минут. Я скомкал свою речь на чествовании Маршака самым отвратительным образом, убежал как оплеванный — с ощущением полного провала. А сегодня мне звонили Паперный, Алигер и сам Маршак — и говорили, что речь моя была блистательна. Мне же больше всего понравился Назым Хикмет, который явился на секунду как солнечный луч — и сказал 10 талантливых слов. 〈...〉

7 декабря. 〈...〉 Как отвратительны наши писательские встречи. Никто не говорит о своем — о самом дорогом и заветном. При встречах очень много смеются — пир во время[чумы] — рассказывают анекдоты, уклоняются от сколько-нибудь серьезных бесед. 〈...〉

27 декабря 1957. Вот, Корней, милый друг, наступает, быть может, последний год твоей жизни. Будь же хоть в этот последний год ЧЕЛОВЕКОМ. В минувшем году я изменял себе на каждом шагу: заново переводил «Тома Сойера», редактировал Слепцова, писал зачем-то огромную статью о Маршаке, которая так и осталась ненапечатанной, ненужной, дрянной. Отныне у меня две заботы — и только: продолжать свое писание о Чехове и привести в порядок старые статьи. С книгой «Книги и люди» большая докука. Книга эта вновь и вновь подвергается общипыванию со стороны редакции. Приехала Софья Петровна Краснова, моя редакторша, и давай: о Бакунине вы слишком любовно, о Льве Толстом слишком фривольно, Тургенев у вас слишком ущемлен. В издательстве «Советский писатель» моя книжка воспоминаний, которую я хочу озаглавить «Да, это было, было, было». Или просто *«Было»*. Надо бы вспомнить об Ал. Толстом и Короленко — но к чорту, буду писать о Чехове — выполняя предсмертный завет Марии Борисовны.

Вчера был на предвыборном собрании писателей: скучно, я ушел. Хотят выбирать меня — тоска! Я буду последний идиот, если соглашусь. Самоубийца. Вчера я слушал доклад Федина, к-рый он писал в Суханове целый месяц. Целый месяц талантливый беллетрист должен был корпеть над докладом, заячье-трусливым, где речь идет о секциях, подсекциях, группах, подгруппах и т. д. Я десяти минут не мог пробыть в этой обстановке — выбежал на воздух. Какая чушь! Если считать, что из тысячи слушавших этот доклад каждый написал бы только по странице — и то вышло бы два романа. Чем больше заседаем, тем хуже мы пишем. 〈...〉

29 декабря. Конашевич прислал великолепную картину для библиотеки: «Чудо-юдо рыба-кит».

Хотя я сделал все возможное, чтоб меня не выбрали в Правление

Московского отделения Союза Писателей,— меня выбрали — зачем, неизвестно. Сегодня сообщают подробности выборов,— с таким азартом, будто все это и в самом деле имеет отношение к литературе. 〈...〉

30 дек. Был у милого Федина. Он угнетен, изнурен. Рассказывает, что работа в Союзе Писателей его совершенно замучила. Что он $1^1/_2$ часа доказывал Фурцевой невозможность для него остаться на посту Председателя Московского Отделения, что он болен, истомлен и т. д.

Ниночка Федина рассказывала мне, что он в последние дни совершенно лишился сна. Я хлопочу о том, чтобы Федин примирился с Маргаритой и Казакевичем. 〈...〉

1958

2-ое января. Почты еще не видел. Поздравили меня по телефону Леонов и Маршак, немного позже: Каверин. Были Алигер и Н. Л. Степанов. Степанов сказал Маргарите Осиповне, что Заболоцкий отдал в «Москву» те стихи, которые вначале предназначал для 3-го сборника «Литмосквы» — она возмутилась и тем же голосом, каким говорила обо мне, когда ровно год назад я взял у нее Чехова, стала порицать Заболоцкого.

Я начал писать о Брюсове и бросил. Начал об Алексее Толстом и бросил. Начал об Оскаре Уайльде и бросил. Сейчас нужно: Чехов, Чехов, Чехов. Вчера стал изучать его записные книжки. 〈...〉

13 января. Понедельник. 〈...〉 Вечером были у меня Андроников и Федин. Не застали. Федин оставил книжку о литературе. В книжке очень много хорошего — о переводе Фауста (Пастернак), о Зощенке, о языке. Я читал с большим удовольствием.

14 января. Гулял очень много с Фединым. Он немного отдохнул после конференции — но все же вид у него изможденный. На столе у него груды писем — он показал мне письмо о смерти Ремизова, написанное его (Ремизова) ярой поклонницей, которая уверена, что Ал. М. был величайшим из русских писателей: «В последнее время у меня была преинтересная переписка с Пастернаком — я так и сказал начальству: не натравливайте меня против Пастернака — я на это не пойду». Видел итальянское издание Б. Л-ча, с его портретом — и заявлением, что книга печатается без его согласия. Красивое издание — «Доктор Живаго». Мы вышли погулять, был снежок, Ф[един] рассказал о том, что уже был проделан опыт с переброской человека на дальнее расстояние при помощи баллистического снаряда. Узнал он об этом в Суханове — когда к одному из отдыхающих явился его зять, красавец-летчик, гениально сложенный

юноша и сообщил о своем близком товарище, что тот взялся корректировать движение ракеты — находясь в ее контейнере. Ракета понеслась, он спрыгнул с парашюта, но от нервного напряжения лишился ног; теперь он в больнице, награжденный всеми дарами правительства — и кажется, поправляется. Федин видел библиотеку.

В новой своей книге (критических очерков) Федин напечатал статью о Зощенко. Это страшно взволновало Мих. Мих., и он прислал Федину поразительно нежное письмо[1].

Во главе Кунцевского Райисполкома стоит Ив. Вас. Казин, который печатно выразил мне благодарность за то, что я подарил детям вверенного ему района библиотеку. Райисполкомом было вынесено решение взять библиотеку на свой кошт с 1-го января. Вот уже январь на исходе, а я продолжаю платить и за отопление и за уборку б-ки — сам покупаю книги и т. д.

20 января. Вчера библиотеку посетили: сын академика Капицы (Андрей Петрович), бывший в Антарктике. Он обещал прочитать для наших школьников лекцию о своей поездке туда — и подарить нам фото пингвина. С ним были Тимоша (Надежда Алексеевна Пешкова), ее муж Владимир Федорович, Людмила Толстая, Мария Федоровна Лорие, Раиса Тимофеевна Михайлова (жена министра) и ее дочь Светлана.

Так как все они отнеслись с искренним чувством к библиотеке, я отнесся к ним весело и дружественно и был им рад очень. Б-ка им как будто понравилась. Раиса Тимофеевна тотчас же стала записывать все подробности о ней, исписала неск. страничек. Звонил третьего дня Алянский — Юра Васнецов (художник) прислал для библиотеки картинки. Надо будет сегодня взять их в Детгизе. Но нет столяра, который мог бы сделать рамки. ⟨...⟩

1-ое февр. Заболел Пастернак. В пузыре скопилась моча, которую невозможно извлечь. Нужен катетр. Нет сегодня ни у кого шофера: ни у Каверина, ни у Вс. Иванова, ни у меня. Мне позвонила Тамара Влад., я позвонил в ВЦ[С]ПС, там по случаю субботы все разошлись. Одно спасение: Коля должен приехать — и я поеду на его машине в ВЦ[С]ПС — за врачами. Бедный Борис Леонидович — к нему вернулась прошлогодняя болезнь. Тамара Влад. позвонила в город Лидии Ник. Кавериной: та купит катетр, но где достать врача. Поеду наобум в ВЦСПС.

Был у Пастернака. Ему вспрыснули пантопон. Он спит. Зин. Ник. обезумела. Ниоткуда никакой помощи. Просит сосредоточить все свои заботы на том, чтобы написать письмо Правительству о необходимости немедленно отвезти Б. Л-ча в больницу. Лидия Ник. привезла катетр. Сестра медицинская (Лидия Тимоф.) берется сделать соответствующую операцию. Я вспомнил, что у меня есть знакомый Мих. Фед. Власов (секретарь Микояна), и позвонил ему. Он взялся позвонить в Здравотдел и к Склифосовскому. В это

время позвонила жена Казакевича — она советует просто вызвать скорую помощь к Склифосовскому. Но скорая помощь от Склифос. за город не выезжает. И вот лежит знаменитый поэт,— и никакой помощи ниоткуда.

В Союзе в прошлом году так и сказали: «П[астерна]к недостоин, чтобы его клали в Кремлевку». Зин. Ник. говорит: «П-к требует, чтобы мы не обращались в Союз».

3 февр. Был у Пастернака. Он лежит изможденный — но бодрый. Перед ним том Henry James. Встретил меня радушно — «читал и слушал вас по радио — о Чехове, ах — о Некрасове и вы так много для меня... так много...» — и вдруг схватил мою руку и поцеловал. А в глазах ужас... «Опять на меня надвигается боль — и я думаю, как бы хорошо [умереть]... (Он не сказал этого слова). Ведь я уже сделал [в жизни] все, что хотел. Так бы хорошо».

Все свидание длилось три минуты. Эпштейн сказал, что операция не нужна (по крайней мере сейчас). Главное: нерв позвонка. Завтра приедет невропатолог.

Я пошел к Федину. Федин правит корректуру своей переписки с Горьким (для Зильберштейна). «Как странно читать свои письма (через столько лет)». Вообще, когда ни придешь к Ф-ну, он сидит за письменным столом. Груда писем, корректур, огромное количество заграничных писем, только что полученные книги — все это в немецком порядке расположено вокруг него. Он устало здоровается, но, разговаривая, вдруг вскакивает, начинает сильно жестикулировать, пронзительно глядит на собеседника своими милыми, единственными в мире, выпученными глазами — и с необычайным оживлением, и бархатным баритоном смеется. Мы пошли гулять — он говорил о немцах — сейчас у них в ихнем Союзе писателей ряд видных литераторов выступают с покаяниями, отмежевываясь от своих либеральных увлечений («мы неверно поняли события в Венгрии»),— словом, происходит то же, что и у нас.

Вчера у Пастернака. Лечат его бестолково. Приезжавшие два профессора (Раппопорт и еще какой-то [сверху вписано: «Ланда».— *Е. Ч.*]) сказали Зин. Ник., что, делая ему горчичные ванны, она только *усилила* его болезнь. («Он мог и умереть от такого лечения».) Клизмы ему тоже противопоказаны. До сих пор не сделаны ни анализы крови, ни анализы мочи. Не приглашена сиделка. Познакомился я у постели Бор. Л-ча с Еленой Ефимовной Тагер, очень озабоченной его судьбой. Мы сговорились быть с нею в контакте. Сегодня и завтра я буду хлопотать о больнице. О Кремлевке нечего и думать. Ему нужна отдельная палата, а где ее достать, если начальство продолжает гневаться на него.

Ужасно, что какой-нибудь Еголин, презренный холуй, может в любую минуту обеспечить себе высший комфорт, а П-к лежит — без самой элементарной помощи.

7 февраля. Вчера я не мог заснуть даже с нембуталом и уже в три

часа ночи принялся за рецензию о гнусняке Еголине. В 12 — в город. Подыскивал больницу для Пастернака. В «7-м корпусе» Боткинской все забито, лежат даже в коридорах, в Кремлевке — нужно ждать очереди, я три раза ездил к Мих. Фед. Власову (в Совет министров РСФСР, куда меня не пустили без пропуска; я говорил оттуда с М. Ф., воображая, что он там, а он — в другом месте; где — я так и не узнал); оказалось с его слов, что надежды мало. Но, приехав домой, узнаю, что он мне звонил и оказывается: он добыл ему путевку в клинику ЦК — самую лучшую, какая только есть в Москве — и завтра Женя везет Тамару Вл. Иванову за получением этой путевки. Я обрадовался и с восторгом побежал к Пастернаку. При нем (наконец-то!) сестра; у него жар. Анализ крови очень плохой. Вчера была у него врачиха — помощница Вовси (Зинаида Николаевна); она (судя по анализу крови) боится, что *рак*. Вся моя радость схлынула. Он возбужден, у него жар. Расспрашивал меня о моей библиотеке для детей. Зинаида Николаевна (жена Бориса Леонидовича) все время говорит о расходах и встретила сестру неприязненно: опять расходы. В поисках больницы забегал я и в Союз. Видел там Смирнова (В. А.) и Ажаева. Они пытаются добыть для П-ка Кремлевку, но тщетно.

Милый Власов! Он звонил проф. Эпштейну, расспрашивал о болезни П-ка. Звонил в Союз — узнать его отчество и т. д. Говорил с Министром Здрав. РСФСР и министром Здр. СССР. ⟨...⟩

8 февраля. Вчера Тамара Владимировна Иванова ездила в моей машине (шофер — Женя) за больничной путевкой в Министерство Здравоохранения РСФСР (Вадковский пер., 18/20, район Бутырок) к референтке министерства Надежде Вас. Тихомировой. Получив путевку, она поехала в больницу ЦК — посмотреть, что это за больница и какова будет палата Бор. Леон. Там ей ничего не понравилось: директор — хам, отдельной палаты нет, положили его в урологическое отделение. Но мало-помалу все утрясется. Хорошо, что там проф. Вовси, Эпштейн и др. Пришлось доставать и «карету скорой помощи». В три часа Женя воротился и сообщил все это Б-су Л-чу. Он готов куда угодно — болезнь истомила его. Очень благодарит меня и Там. Вл. По моему предложению надписал Власову своего «Фауста», поблагодарив за все хлопоты. З. Н. нахлобучила ему шапку, одела его в шубу; рабочие между тем разгребли снег возле парадного хода и пронесли его на носилках в машину. Он посылал нам воздушные поцелуи.

17 февраля. Все эти десять дней провел в безумии, в тоске и отчаянии. Бонецкий, которого я очень люблю, дал мне на рецензию рукопись Еголина «Некрасов». Рукопись глупая, наглая, лживая. Стал я изучать ее и кроме того прочитал все другие опусы Еголина. Мелкое жульничество, оловянная голова идиота и карьеризм отвратительной гниды. Я писал рецензию каждый день по 10—12 часов, писал больной, в лютую бессонницу, и чем дальше писал,

тем яснее видел свое бессилье — сочетание пошляка и подлеца оказалось мне не по зубам. ⟨...⟩

Библиотека приводит меня в отчаяние. Я отдал ей столько души, убрал ее как игрушку, отдал огромные деньги, которых в то время было у меня не так уж много — но дети кажутся мне грубыми, тупыми, тусклыми — не лучше родителей. ⟨...⟩

26 февраля. Дни провожу в безделье — хоть и занят так, что за все сутки не соберусь написать письмо нужнейшее, срочнейшее,— корплю над материалами о Чехове — перебираю старые бумажки, и ничего *нового* сказать о нем не могу. Дрянная чушь — которая уже напечатана мною,— детский лепет, элементарщина, а теперь предстоит говорить о его *сложности,* и я — кляну свое бессилие.

В библиотеке реформы — повесили по-новому картины Васнецова и Конашевича (Мариночка окантовала их), приехал столяр Иван Гаврилович — будет делать новые стульчики и новые столики — и по-настоящему мне следовало бы бросить всю литературу — и заняться детьми — читать им, рассказывать, развивать их, звать их к достойной человеческой жизни, а без этого — одна раздача книг — бесполезна. ⟨...⟩

16 марта. Не спал всю ночь. В половине 7-го сошел вниз. Правнук орет во все горло и не дает спать ни Кате, ни Тате. Я взял его наверх,— чтоб дать им вздремнуть — и, оставшись с ним наедине, почувствовал себя во власти целой шайки разбойников, к-рых нужно умилостивить. Сначала я оборонялся спичками, зажигал одну за другою, но вскоре почувствовал, что это оружие перестает действовать. Тогда я переключился на корзину из-под стола — гонял ее по всей комнате, положив в нее ключи от комода. Это отсрочило мою гибель на 2 или 3 минуты. Но минуты прошли, и я стал спасаться носом. Прижимал палец к носу и по-идиотски мычал всякий раз. Бобе это понравилось, и он, великий исследователь причин и следствий, заинтересовался этой зависимостью между носом и звуком. Раз 50 он прижимал свои грязные пальцы к моему злополучному носу, и ему показалось, что он открыл великий закон природы. Окончательно он убедился в этом, когда я нажимал его носишко, издавая при этом писклявые звуки. Но когда и нос был исчерпан, Боба взобрался на диван и стал срывать со стены картинки, приговаривая «па-па», ибо всякую картину он считает папой (ему как-то показывали портрет отца и при этом говорили папа; он и подумал, что так называется всякий портрет). После того, как все картины оказались на полу — я в целях самообороны поджег в печке бумагу — тем и обеспечил себе минуты полторы сравнительного покоя. После я тщетно прибегал к спичкам, к носу, к ключам — он требовал новых жертв. И я откупился от него — Историей Ключевского, предоставив ему вырвать четыре страницы о странностях в характере Ивана Четвертого. И когда изничтожение этих страниц подходило к концу, мною овладело отчаяние, и я уже не

видел ниоткуда спасения — ко мне на выручку явились все те же ключи — он вытаскивал их из комода и пытался снова вставить в ту же скважину: это исследование природы вещей (natura rerum) отняло у него минуты четыре, после чего он скривил рот, подбежал к двери и задребежжал: мама! Я растерялся и стал завлекать его прежними радостями: но это было повторение пройденного, и только после того, как я нашел под столом Катины бусы и надел их на Колину палку — это было первое утро за много лет, когда я отвлекся от бумаг, от стола, от ненавистных статей и от страданий от своей литимпотенции. ⟨...⟩

Вспоминаю о Горьком (сейчас надвигаются горьковские дни). Были в моей жизни два года, когда я встречался с ним изо дня в день. И конечно, я хотел сохранить для потомства все, что он тогда говорил. Я носил с собою небольшую тетрадку, пытался *записывать* туда каждое слово Алексея Максимовича. Он долго не замечал моего вероломства. Но однажды он пригласил к себе группу писателей — в том числе и меня, и я заранее принял меры, чтобы записать за ним все, что он скажет. Я прикрепил булавками к спине Лунца белую бумажку и попросил его, чтобы во время беседы с Горьким он сел впереди меня. Тогда мне будет удобно записывать. Но Горький против ожидания усадил нас всех на диван, и Лунц оказался рядом со мною. Записывать было очень неудобно, но я приспособился. Горький заметил мою дикую позу:

— Что это вы делаете здесь, джентльмен?

Я почувствовал себя пойманным школьником. Он страшно рассердился: я и сам немного умею писать! — сказал он.

21 марта. Со дня смерти Марии Борисовны 3 года 1 месяц.

Правнука отвезли к Марине, и Тата получила минутную передышку. Так как сейчас 90 лет со дня рождения Горького, в Литературном музее — вечер, устраиваемый Надеждой Алексеевной Пешковой. Она пригласила меня выступить с воспоминаниями. По этому случаю я взял Тату на Никитскую — к Пешковым. Там застали Ираклия Андроникова, который готовит для телевизора передачу о квартире Горького и потому изучает каждую деталь обстановки. Милый Максик, милая Катенька, милая Дарья. Самое интересное, что услышал я там, было приглашение на горьковский вечер — Зощенки. Самый помпезный вечер состоится в Зале Чайковского — 3 апреля. Вот на этот-то вечер и решено пригласить М. М. Чуть только Надежда Алексеевна узнала об этом, она позвонила ему и попросила его приехать раньше и остановиться у них на Никитской. Это могло бы быть для М. М. новым стимулом к жизни. Сейчас он очень подавлен — из-за того, что ему не выдают всесоюзной пенсии. ⟨...⟩

30-е марта. Вчера вечером в доме, где жил Горький на Никитской, собралась вся знать. Были Кукрыниксы, летчик Чухновский, летчик Громов, Юрий Шапорин, Козловский, проф. Сперанский,

Мих. Слонимский, министр Культуры Михайлов, Микола Бажан, Людмила Толстая, горьковед Б. Бялик, дочь Шаляпина, Капицы (академик с супругой), Анисимов,— и Зощенко, ради которого я и приехал.

В столовой накрыты три длинных стола и (поперек) два коротких, и за ними в хороших одеждах, сытые, веселые лауреаты, с женами, с дочерьми, сливки московской знати, и среди них — он — с потухшими глазами, со страдальческим выражением лица, отрезанный от всего мира, растоптанный.

Ни одной прежней черты. Прежде он был красивый меланхолик, избалованный славой и женщинами, щедро наделенный лирическим украинским юмором, человеком большой судьбы. Помню его вместе с двумя другими юмористами: Женей Шварцем и Юрием Тыняновым в Доме искусств, среди молодежи, когда стены дрожали от хохота, когда Зощенко был недосягаемым мастером сатиры и юмора,— все глаза зажигались улыбками всюду, где он появлялся.

Теперь это труп, заколоченный в гроб. Даже странно, что он говорит. Говорит он нудно, тягуче, длиннейшими предложениями, словно в труп вставили говорильную машину — через минуту такого разговора вам становится жутко, хочется бежать, заткнуть уши. Он записал мне в «Чукоккалу» печальные строки:

И гений мой поблек, как лист осенний —
В фантазии уж прежних крыльев нет.

Слово прежний он написал через ѣ Я сказал ему:

— Как я помню ваши ѣ.

— Да, было время: шутил и выделывал штучки. Но, Корней Иванович, теперь я пишу еще злее, чем прежде. О, *как* я пишу теперь!

И я по его глазам увидел, что он ничего не пишет и не может написать. Екатерина Павловна посадила меня рядом с собою — почетнейшее место: — я выхлопотал, чтобы по другую сторону сел Зощенко. Он стал долго объяснять Ек. П-не значение Горького, цитируя письмо Чехова — «а ведь Чехов был честнейший человек» — и два раза привел одну и ту же цитату — и мешал Ек. Павловне есть, повторяя свои тривиальности. Я указал ему издали Ирину Шаляпину. Он через несколько минут обратился к жене Капицы, вообразив, что это и есть Ирина Шаляпина. Я указал ему его ошибку. Он сейчас же стал объяснять жене Капицы, что она не Ирина Шаляпина. Между тем ведь предположено 3-го апреля его выступление на вечере Горького. С чем же он выступит там? Ведь если он начнет канителить такие банальности, он только пуще повредит себе — и это ускорит его гибель. Я спросил его, что он будет читать. Он сказал: «Ох, не знаю». Потом через несколько минут: «лучше *мне ничего не читать: ведь я заклейменный, отверженный»*.

Мне кажется, что лучше всего было бы, если бы он прочитал

письма Горького и описал бы наружность Горького, его повадки — то есть действовал бы как мемуарист, а не — как оценщик.

Все это я сказал ему — и выразил готовность помочь ему. Он записал мой телефон.

У Пешковых все было хорошо срежиссировано — и тосты, и размещение гостей, и улыбки хозяев.

Обрадовала меня встреча со Светланой Халатовой — дочкой Артемья Багратовича — которую я знал очень маленькой. Замужняя. Необычайное сверкание глаз. И ко мне — сердечное (детское) расположение. ⟨...⟩

Зощенко седенький, с жидкими волосами, виски вдавлены внутрь,— и этот потухший взгляд!

Очень знакомая российская картина: задушенный, убитый талант. Полежаев, Николай Полевой, Рылеев, Мих. Михайлов, Есенин, Мандельштам, Стенич, Бабель, Мирский, Цветаева, Митя Бронштейн, Квитко, Бруно Ясенский, Ник. Бестужев — все раздавлены одним и тем же сапогом.

31 марта. ⟨...⟩ Только с 1-го апреля (с завтрашнего дня) Поссовет берет на свой кошт библиотеку. Об этом мне сообщили по телефону: значит, после того, как я подарил ее Райсовету — я содержал ее полгода на свой счет.

1 апреля. Мне 76 лет. How stale and unprofitable!* Никогда я не считал себя талантливым и глубоко презирал свои писания, но теперь, оглядываясь, вижу, что что-то шевелилось во мне человеческое — но ничего, ничего я не сделал со своими потенциями.

Снился мне Зощенко. Я пригласил его к себе, пошлю за ним машину. Он остановился у Вл. Алекс. Лифшица, милого поэта. Я не знаю нового адреса Вл. Ал.— мне хочется, чтобы Зощенко был у меня возможно раньше, чтобы выяснить, можно ли ему выступать 3-го на Горьковском вечере или его выступление причинит ему много бед. Я условился с В. А. Кавериным, что он (Каверин) придет ко мне, и мы, так сказать, проэкзаменуем Зощенку — и решим, что ему делать.

Читал пустопорожнего Ежова — воспоминания о Суворине[2]. Как беспомощно! ⟨...⟩

Гости: Каверин, Фрида, Тэсс, Наташа Тренева, Лида, Люша, Ника, Сергей Николаевич (шофер), Людмила Толстая, Надежда Пешкова, Левик, Гидаши, Зощенко, Маргарита Алигер. Я был не в ударе, такое тяжелое впечатление произвел на меня Зощенко. Конечно, ему не следует выступать на горьковском вечере: он может испортить весь короткий остаток своей жизни. Когда нечего было делать, я предложил, чтобы каждый рассказал что-нибудь из своей биографии. Зощенко сказал:

---

* Как банально и бесполезно! *(англ.)*

Из моего повествования вы увидите, что мой мнимый разлад с государством и об[щест]вом начался раньше, чем вы думаете — и что обвинявшие меня в этом были так же далеки от истины, как и теперь. Это было в 1935 году. Был у меня роман с одной женщиной — и нужно было вести дела осторожно, т. к. у нее были и муж, и любовник. Условились мы с нею так: она будет в Одессе, я в Сухуми. О том, где мы встретимся, было условлено так: я заеду в Ялту и там на почте будет меня ждать письмо до востребования с указанием места свидания. Чтобы проверить почтовых работников Ялты, я послал в Ялту «до востребования» письмо себе самому: вложил в конверт клочок газеты и надписал на конверте: М. М. Зощенко. Приезжаю в Ялту: письма от нее нет, а мое мне выдали с какой-то заминкой. Прошло 11 лет. Ухаживаю я за другой дамой. Мы сидим с ней на диване — позвонил телефон. Директор Зеленого театра приглашает — нет, даже умоляет — меня выступить — собралось больше 20 000 зрителей. Я отказываюсь — не хочу расставаться с дамой.

Она говорит:

— Почему ты отказываешься от славы? Ведь слава тебе милее всего.

— Откуда ты знаешь?

— Как же. Ведь ты сам себе пишешь письма. Однажды написал в Ялту, чтобы вся Ялта узнала, что знаменитый Зощенко удостоил ее посещением.

Я был изумлен. Она продолжала:

— Сунул в конверт газетный клочок, но на конверте вывел крупными буквами свое имя.

— Откуда ты знаешь!

— А мой муж был работником ГПУ, и это твое письмо наделало ему много хлопот. Письмо это было перлюстрировано, с него сняли фотографию, долго изучали текст газеты... и т. д.

Таким образом вы видите, *господа*, что власть стала преследовать меня еще раньше, чем это было объявлено официально,— закончил З[ощенко] свою новеллу.

Это было бестактно. Рассказывать среди малознакомых людей о своих любовницах, о кознях ГПУ! Причем все это пахнет выдумкой! Было ясно, что здесь сказалась мания преследования — как мне говорили — всецело владеет Зощенкой.

Мы с Т. Тэсс переглянулись: конечно, невозможно и думать, что *такой* Зощенко может выступить на эстраде с воспоминаниями о Горьком.

Самый голос его, глухой, тягучий, недобрый,— не привлечет к нему сочувствия публики.

Получил телеграммы от Пантелеева, Анны Ахматовой, Тамары Габбе, Детгиза и многих других.

5. На днях Зощенко был у Коли: в своем кругу — умен, остроумен,— совсем не такой, как у Пешковых. 〈...〉

18 апреля. Видел Пастернака. Шел с Катей, Гидашами и Львом Озеровым. Вдруг как-то боком, нелепо, зигзагом подбегает ко мне Борис Леон.— «Ах, сколько вы для меня сделали... Я приду... Приду завтра в 5 час.». И промчался, словно за ним погоня. Все это продолжалось секунду. Накануне он говорил по телефону, что хочет придти ко мне.

Сегодня, 19-го апр. я был в городе: устраиваю книгу «От 2 до 5» в изд-ве «Советская Россия». Сегодня сдал им рукопись: обещают выпустить к сентябрю.

Приехал в Переделкино и поспешил к Пастернаку. Он — после обеда. Зинаида Ник., Нейхауз, и молодая невестка (забыл фамилию). Б. Л. спокойнее — опять о моем «подвиге». Разговор о Henry James'е, о Леониде Мартынове, о Паустовском.

— Я всегда в больнице решаю, что читать можно только Чехова. Но на этот раз думаю: дай-ка возьму Куприна. С предисловием Паустовского. Читаю — немощно, претенциозно, пусто.— Отношение ко мне дружественное — но мне показалось, что он утомлен, и я ушел. ⟨...⟩

22 апреля. Вот уже два дня, как мне не пишется, не читается, не работается. Вчера навестили меня Тамара Владимировна Иванова (у нее тромбофлебит — произошел в Карловых Варах, откуда она только что вернулась). Все же она поднялась по лестнице, чтобы навестить меня.

Там был и Шолохов, о котором она говорит с отвращением, как о надменном и тупом человеке, который никаких связей с культурой не имеет, смертельно скучает и даже кино не желает смотреть. Шолохов был в Карловых Варах с женою и всей семьей. У источника он стоял прямо не сгибаясь, а его жена черпала для него воду и почтительно подавала ему.

Там. Вл. сказала Шолохову с улыбкой о его домостроевских замашках. Он ничего не ответил, только протянул жене стакан, чтобы она зачерпнула ему еще.

Люшенька подарила мне третьего дня изданный в Дрездене альбом франц. импрессионистов. И я понемногу *перестаю любить* Репина. Это очень огорчает меня. Ведь сейчас выходят и в Детгизе и в «Советском писателе» мои воспоминания о нем. ⟨...⟩

Был у меня Заболоцкий. Специально приехал, чтобы подарить мне два тома своих переводов с грузинского. Все тот же: молчаливый, милый, замкнутый. Говорит, что хочет купить дачу.

А давно ли он приехал из Караганды, не имея где преклонить голову, и ночевал то у Андроникова, то у Степанова в их каморках.

Сегодня были у меня: Оля Грудцова, Наташа Тренева; мы сидели и читали переводы Заболоцкого из Важа Пшавелы и Гурамишвили, когда пришли Пастернак, Андроников,— и позже Лида. Пастернак — трагический — с перекошенным ртом, без галстуха, расска-

зал, что сегодня он получил письмо из Вильны по-немецки, где сказано:

«Когда вы слушаете, как наёмные убийцы из «Голоса Америки» хвалят ваш роман, вы должны сгореть со стыда».

Я романа «Доктор Живаго» не читал (целиком). ⟨...⟩

Но сам он производит впечатление гения: обнаженные нервы, неблагополучный и гибельный.

Говорил о Рабиндранат Тагоре — его запросили из Индии, что он думает об этом поэте — а он терпеть его не может, так как в нем нет той «плотности», в которой сущность искусства.

Взял у меня Фолкнера «Love in August»[3].

Сегодня он первый раз после больницы был в городе — купил подарки сестрам и врачам этой лечебницы. ⟨...⟩

29 апреля. Я в Загородной больнице Кремля. Палата роскошная, но для меня неудобная. Познакомился с хирургом Ник. Ник. Куном, милейшим сыном Бела Куна, братом Агнессы. По соседству со мной палата, где лежит Федор Гладков. Он неск. раз хотел навестить меня. Я не мог принять его. Сейчас зашел к нему и ужаснулся. Болезнь искромсала его до неузнаваемости. Последний раз я видел его на Втором съезде писателей, когда он выступил против Шолохова. По его словам с этого времени и началась его болезнь. Он, по его словам, не готовился к съезду и не думал выступать на нем. Но позвонил Суслов: «вы должны дать Шолохову отпор». Он выступил, страшно волнуясь. На следующее утро ему позвонили: «вашим выступлением вполне удовлетворены, вы должны провести последнее заседание...»

— И сказать речь?

— Непременно.

Это его и доконало, по его словам. После его выступления против Шолохова он стал получать десятки анонимных писем — ругательных и угрожающих — «Ты против Шол., значит, ты — за жидов, и мы тебя уничтожим!»

Говоря это, Гладков весь дрожит, по щекам текут у него слезы — и кажется, что он в предсмертной прострации.

— После съезда я потерял всякую охоту (и способность) писать. Ну его к черту. Вы посмотрите на народ. Ведь прежде были устои, такие или сякие, а были, а теперь — пьянство, разгул, воровство. А высшие власти...

Тут он страшно закашлялся. Из дальнейших слов выяснилось, что в поезде, когда он ехал в Саратов к избирателям (его наметили кандидатом в депутаты Верх. Совета), с ним приключился инфаркт — и с тех пор он держится только инъекциями, новокаином — и мыкается по больницам.

30 апреля. Гладков вызвал меня на прогулку. Мы гуляли часа полтора. Он — это его стиль! — рассказывал с возмущением разные случаи несправедливости, подлости, воровства и т. д., всякий раз

выставляя на вид свое благородство. Сообщил мне, что Берия издавал приказ, чтобы даже по гражданским делам не было оправдательных приговоров. И перешел на своего любимого конька: на чистоту русского языка, кот. он понимает не диалектически. Когда Виноградов сказал, что слово «довлеть» теперь понимается в новом значении, он настоял, чтобы довлеть в этом новом значении в словаре не фигурировало. Упрекнул меня, почему я говорю озорнича́ть, а не озорни́чать и т. д. ⟨...⟩

20 мая. ⟨...⟩ Пришла корректура моей книжки «Из воспоминаний». Держу корректуру. Книжка мне очень не нравится. О «Потемкине» — плохая беллетристика. О Репине растянуто и слащаво. Хуже всего то, что Репин уже не вызывает во мне того восторга, с каким я относился к нему, когда писал эту книжку. О Горьком — вяло, много недоговоренного. Вообще что-то есть в этой книжке фальшивое.

Пишу о Блоке — очень туго, без воодушевления. Чехов опять отложен. ⟨...⟩

23 мая, ночь на 24-ое. Вот уже 4-ая ночь, [как] я не сплю. Стыдно показаться людям: такой я невыспанный, растрепанный, жалкий. Пробую писать, ничего не выходит. Совсем разучился. Что делать? Иногда думается: «Как хорошо умереть». Вообще без писания я не понимаю жизни. Глядя назад, думаю: какой я был счастливец. Сколько раз я знал вдохновение! Когда рука сама пишет, словно под чью-то диктовку, а ты только торопись — записывай. Пусть из этого выходит такая мизерня, как «Муха Цокотуха» или фельетон о Вербицкой, но те минуты — наивысшего счастья, какое доступно человеку.

Читаю переписку Блока и Белого. Белый суетен, суетлив, истеричен, претенциозен, разнуздан. Блок спокоен и светел, но и у него в иные периоды сколько мути, сколько заикания и вялости. ⟨...⟩

14 июня. ⟨...⟩ Вдруг пришел ко мне милый Кассиль — и говорит, что он наверное узнал, что Пастернак собирается завтра выступить со своими стихами, с чтением своей автобиографии в Доме Творчества, где наряду с почтенными переводчиками, литературоведами живет много шушеры — «которая сделает из Пастернаковского выступления громчайший скандал — и скандал этот будет на руку Суркову».

Я побежал к П-ку предупредить его и все время твержу его стихи:

Как вдруг и[з] расспросов сиделки,
Покачивавшей головой,
Он понял, что из переделки
Едва ли он выйдет живой.

Не застал его до́ма, он пошел гулять; гуляет он часа два; я не мог дождаться его; З. Н. тоже против его чтения — просит уговорить. Условились, что сегодня утром он зайдет ко мне. Читать сейчас было бы безумием. А какие стихи! Я упиваюсь его «Августом», «Больницей», «Снегом». Прочитал книгу D. W. Winnicott'a «The Child and Outside World»*, изданную в Англии в 1957 году: собачья чушь, круто замешанная на психо-анализе. «The Child and Sex»** — ерундистика. Есть куски словно из Кузьмы Пруткова. 〈...〉

9 сентября. У меня с Пастернаком — отношения неловкие: я люблю некоторые его стихотворения, но *не люблю* иных его переводов и *не люблю* его романа «Доктор Живаго», который знаю лишь по первой части, читанной давно. Он же говорит со мной так, будто я безусловный поклонник всего его творчества, и я из какой-то глупой вежливости не говорю ему своего отношения. Мне любы (до слез) его «Рождественская звезда», его «Больница», «Август», «Женщинам» и еще несколько; мне мил он сам — поэт с головы до ног — мечущийся, искренний, сложный. 〈...〉

27 октября. История с Пастернаком сто́ит мне трех лет жизни. Мне так хотелось ему помочь!!! Я предложил ему поехать со мною к Фурцевой — и пусть он расскажет ей все: спокойно, искренне. Пусть скажет, что он возмущен такими статейками, как те, которые печатают о нем антисоветские люди, но что он верит (а он действительно верит!!), что премия присуждена ему за *всю* его литературную деятельность. Пусть скажет, что он стал жертвой аферистов, издавших его роман против его воли, как он говорит.

Это написано для показа властям.
[Дописано позже другими чернилами.— *Е. Ч.*].

Дело было так. Пришла в 11 часов Клара Лозовская, моя секретарша, и, прыгая от восторга, сообщила мне, что Пастернаку присуждена премия и что, будто бы, министр Михайлов уже поздравил его. Уверенный, что советское правительство ничего не имеет против его премии, не догадываясь, что [в] «Докторе Живаго» есть выпады против советских порядков — я с Люшей бросился к нему и поздравил его. Он был счастлив, опьянен своей победой и рассказывал, что ночью у него был Всеволод Иванов, тоже поздравляя его. Я обнял Б. Л. и расцеловал его от души. Оказалось, что сегодня день рождения его жены. Я поднял бокал за ее здоровье. Тут только я заметил, что рядом с русским фотографом есть два иностранных. Русский фотограф Александр Васильевич Морозов был от Министерства Иностр. Дел. Он сделал множество снимков. Тут же находилась вдова Тициана Табидзе, к-рая приехала из Тбилиси, чтобы Б. Л. помог ей продвинуть русское издание стихов ее мужа.

* Д. В. Винникотт. «Ребенок и окружающий мир» (*англ.*).
** «Ребенок и секс» (*англ.*).

Страница дневника. 27 октября 1958 г. Позже другими чернилами приписка: «Это написано для показа властям»

Она привезла неск. бутылок чудесного грузинского вина. Никто не предвидел, что нависла катастрофа. Зин. Ник. обсуждала с Табидзе, в каком платье она поедет с «Борей» в Стокгольм получать Нобелевскую премию. Меня сильно смущало то, что я не читал «Доктора Живаго» — то есть когда-то он сам прочитал у меня на балконе черновик 1-й части — и мне не слишком понравилось — есть отличные места, но в общем вяло, эгоцентрично, гораздо ниже его стихов. Когда Зин. Н. спросила меня (месяца два назад), читал ли я «Живаго», я сказал: «Нет, я не читаю сенсационных книг». Забыл сказать, что едва мы с Люшей пришли к П-ку, он увел нас в маленькую комнатку и сообщил, что вчера (или сегодня?) был у него Федин, сказавший: «Я не поздравляю тебя. Сейчас сидит у меня Поликарпов, он требует, чтобы [ты] отказался

от премии». Я ответил: «ни в коем случае». Мы посмеялись, мне показалось это каким-то недоразумением. Ведь Пастернаку дали премию не только за «Живаго» — но за его стихи, за переводы Шекспира, Шиллера, Петефи, Гете, за огромный труд всей его жизни, за к-рый ему должен быть признателен каждый советский патриот. Я ушел. Б. Л.: «подождите, выйдем вместе, я только напишу две-три телеграммы». Мы с Люшей вышли на дорогу. Встретили Цилю Сельвинскую. Она несла горячие пирожки.— Иду поздравить.— Да, да, он будет очень рад.— Нет, я не его, а З. Н., она именинница.— Оказалось, Циля еще ничего не знала о премии. Выбежал П-к, мы встретили нашу Катю и вместе пошли по дороге. П-к пошел к Ольге Всеволодовне — дать ей для отправки свои телеграммы и м. б. посоветоваться. Мы расстались, а я пошел к Федину. Ф. был грустен и раздражен. «Сильно навредит П-к всем нам. Теперь-то уж начнется самый лютый поход против интеллигенции». И он рассказал мне, что Поликарпов уехал взбешенный. «Последний раз он был у меня, когда громили мою книжку «Горький среди нас». И тут же Ф. заговорил, как ему жалко Пастернака. «Ведь Поликарпов приезжал не от себя. *Там* ждут ответа. Его проведут сквозь строй. И что же мне делать? Я ведь не номинальный председатель, а на самом деле руководитель Союза. Я обязан выступить против него. Мы напечатаем письмо от редакции «Нового Мира» — то, которое мы послали П-ку, когда возвращали ему его рукопись» и т. д.

Взбудораженный всем этим я часа через два снова пошел к П-ку. У него сидел Морозов (из М-ва Ин. дел) вместе с женой. Они привезли Зин. Н-вне цветы и угнездились в доме, как друзья.

Была жена Н. Ф. Погодина. Был Леня, сын Б. Л-ча. Б. Л., видимо, устал. Я сказал ему, что готовится поход против него, и сообщил о письме из «Нового Мира». А главное — о повестке, полученной мною из Союза писателей, с приглашением завтра же явиться на экстренное заседание. Как раз в эту минуту приехал к нему тот же посыльный и принес такую же повестку. (Я видел посыльного также у дачи Всеволода Ив[анова].) Лицо у него потемнело, он схватился за сердце и с трудом поднялся на лестницу к себе в кабинет. Мне стало ясно, что пощады ему не будет, что ему готовится гражданская казнь, что его будут топтать ногами, пока не убьют, как убили Зощенку, Мандельштама, Заболоцкого, Мирского, Бенед. Лившица, и мне пришла безумная мысль, что надо спасти его от этих шпицрутенов. Спасение одно — поехать вместе с ним завтра спозаранку к Фурцевой, заявить ей, что его самого возмущает та свистопляска, которая поднята вокруг его имени, что «Живаго» попал за границу помимо его воли — и вообще не держаться в стороне от ЦК, а показать, что он нисколько не солидарен с бандитами, которые наживают сотни тысяч на его романе и подняли вокруг его романа политическую шумиху. Меня поддержали Анна Никандровна Погодина, Морозов и Леня. Когда Б. Л. сошел вниз, он отверг мое предложение, но согласился напи-

сать Фурцевой письмо с объяснением своего поступка*. Пошел наверх и через десять минут (не больше) принес письмо к Фурцевой — как будто нарочно рассчитанное, чтобы ухудшить положение. «Высшие силы повелевают мне поступить так, как поступаю я, я думаю, что Нобелевская премия, данная мне, не может не порадовать всех советских писателей», и «нельзя же решать такие вопросы топором»[4]. Выслушав это письмо, я пришел в отчаяние. Не то! и тут только заметил, что я болен. Нервы мои разгулялись, и я ушел чуть не плача. Морозов отвез меня домой на своей машине.

3 декабря. Весь ноябрь «я был болен Пастернаком». Меня принудили написать письмо с объяснениями — как это я осмелился поздравить «преступника»! Колино выступление в Союзе[5]. Ни одной ночи я не спал без снотворного. Писал собачью чушь — воспоминания о журнале «Сигнал» — туго, склерозно. Кончил новую статью об Оскаре Уайльде, тоже дряблую, стариковскую. На днях должно выйти 13-ое изд. «От двух до пяти» в «Советской России» — с ужасными опечатками в бедненьком оформлении. Держу корректуру «Мастерства Некрасова» и с огорчением вижу, что это плохая книга. Особенно на главах «Пушкин», «Гоголь» отразился сталинский террор. Здесь в Доме творчества отдыхает проф. Асмус. Он передал мне привет от Пастернака (кот. я ни разу не видел с 25-го окт.) — Б. Л. просил сказать мне, что нисколько не сердится на Николая Корнеевича.

4 декабря. Вчера, гуляя с Асмусом, мы встретили Тамару Владимировну Иванову — в страшной ажитации. Оказывается, на юбилее Андроникова Виктор Влад. Виноградов сказал Тамаре Владимир., что Корнелий Зелинский подал донос на Кому Иванова, где утверждает, будто дом Всеволода Иванова — это гнездо контрреволюции. В своем доносе он ссылается на Федина и Суркова. Вся эта кляуза опять-таки связана с делом Пастернака: Кома месяца 3 назад не подал руки Зелинскому и при этом громко сказал: вы написали подлую статью о Пастернаке. Зелинский сообщил об этом на собрании писателей, публично[6]. И кроме того — написал донос. Странный человек! Когда П. был болен, Зел. звонил ко мне: «Скажите, ради бога, как здоровье Бори?» «Я Борю очень люблю и считаю великим поэтом» и т. д. Теперь он ссылается на Федина. Тамара Владимировна, узнав об этом, пошла к Федину после бессонной ночи.

«— Правда ли, что вы солидаризируетесь с подлецом Зелинским — и что в своем доносе он ссылается на вас?» — «Я не считаю З[елинск]ого подлецом — и то, что он написал, не считаю доносом. Я возвращался с З[елинск]им после осмотра памятника Фадееву и действительно говорил о Коме. Я говорил, что он и мне не подал

* Леня брался на другой день доставить это письмо в ЦК к 9 час. утра.— *Примеч. автора.*

руки» и т. д. Федин, по словам Ивановой, очень путался, сбивался... «а ведь мы 31 год были в дружбе... и мне так больно терять друга...» (Она плачет.)

У Комы дела плохи. Его травят. Карьера его под угрозой. «Но я горжусь, что воспитала такого благородного сына».

Нилин: «Пастернак очень щедр. За малейшую услугу — здесь в Городке писателей — он щедро расплачивается. Поговорит в Доме творчества по телефону и дает уборщице пятерку. По этому случаю один старик сказал: «Ему легко швырять деньги. Он продался американцам,— читали в газетах? Все эти деньги у него — американские»... ⟨...⟩

9 декабря. Вчера приехал в Барвиху. Занял комнату 44-ую в III корпусе, совсем изнеможенный. Немного поработал над «Сигналами». Работа успокоила меня. Сегодня впервые вышел, и первый, кого я встретил, был Дм. Алексеевич Поликарпов. Лицо остеклянелое, больное. ⟨...⟩ Очень хорошо отзывается о Соболеве: и талантлив, и с *нами* сработался, прямой человек, без извилин. Вполне *наш*. Но вот Ольга Иоанновна, его жена... ⟨...⟩

14 декабря. Вчера с 8 до 9 вечера гулял с Поликарповым. Сочувственно расспрашивал о Заболоцком. «Я был в больнице и не заметил некролога. Вдруг в 12 кн. «Нов. Мира» его стихи в черной рамке. Неужели умер? Он вообще был честен: очень хорошо вел себя в Италии и отлично выступал как общественник».

О жене Вас. Гроссмана: «Ольга... Ольга... забыл ее отчество. Она родилась под Сочи. Трогательно относилась к мужу, любила его. Мы с ними втроем ездили из Сочи к ней на родину». ⟨...⟩

Когда П. волнуется, он начинает *кричать,* то есть говорить так громко, что слышно на соседней аллее. Я заговорил о Зощенко. «Нет, нет, он был не наш... нет»... (что-то в этом роде, не теми словами). И перевел разговор на другое.

Восхищается Андрониковым. «Но нельзя ему публично показывать Маршака, Суркова, Леонова... Нельзя. Это народ ранимый, чувствительный к обидам... *вы и представить себе не можете*».

«Сурков — недурной оратор, но не готовится к выступлениям и часто порет чушь. Плавает. Я ему это не раз говорил. Мы с ним друзья и прямо говорим друг другу все в глаза...» ⟨...⟩

18 декабря. Весь день не выхожу из комнаты. Ковыряю «От 2 до 5» и «Воспоминания». На улице слякоть — drizzle. Гулять невозможно. Пошел в общий зал, где фонтаны. Стоит смуглый юноша, мечтательно курит. Мы разговорились. Он необыкновенно красив, вежлив, доброжелателен. Говорит только по-французски — и немного по-русски. Видя, что он скучает, я повел его к себе и только тогда догадался, что это афганский принц[7]. Он лежал в кремлевской больнице и за три месяца изучил русский язык —

как иные не изучат и в год. Ему 18 лет. В больнице он познакомился с Маршаком. Grand ecrivain!* 〈...〉

25 декабря. Принц Афганский совсем стал домашним. Когда он проигрывает в козла, ему говорят:

— Ваше высочество, вы — козел!

Дегтярь зовет его «товарищ принц».

Беседовал с директором Константином Алексеевичем о Гладкове, и оба сошлись на том, что он скончался, гл. обр., от злобы. Злоба душила его. Он смертельно ненавидел Горького, считал Маяковского жуликом и ненавидел всякого, кто по его мнению коверкал русский язык. «Ужас, ужас! — говорил он.— Подумать только: говорят «тягловая сила» про автомобиль — между тем «тягло» это...» и т. д. И хватался за голову.

Умер Ценский. «Я знал его, мы странствовали с ним». Его сочинения для меня делятся на 4 разряда.

1-й, ранние — наивно, провинциально декадентские. Настоящий матерый декадент (напр., Брюсов) только морщился от его вульгарных загогулин.

2-й разряд. Символически воспринятое изображение *реального* мира: «Медвежонок», «Движения», «Печаль полей», «Лесная топь» — отличные вещи, с одной единственной темой: все гибнет, рушится, тает, умирает. Движения рано или поздно превратятся в застылость.

3-й разряд. Ужасно пошлые, фатоватые, невежественные историко-литературные повести: «Гоголь уходит в ночь», о Лермонтове, о Пушкине. Читая эту скудоумную пошлятину, я так возмутился, что прекратил переписку с С. Н.

4-й разряд. «Севастопольская страда» (или как в публике говорят: «Эстрада») и прочие претенциозные, но пустопорожние вещи, недостойные его дарования.

Выходит, что он был талантлив лет восемь за всю свою полувековую литературную работу. Но самовлюблен был ужасно. Весь его разговор сводился к «я... я... я...» Замечательное меднолобое самообожание!

А в юности мы были друзьями. 〈...〉

26 декабря. Уехал сегодня Иогансон. Приходил прощаться. Он прочитал мою книжку о Чехове — и по-студенчески, горячо и взволнованно сказал мне о ней несколько благодарственных слов. «Вот не буду больше лгать! — сказал он.— А я лгал и лукавил. Больше не буду. И Нина требует от меня, чтобы я больше не лгал». 〈...〉

Вечером пришел ко мне Маршак, помолодевший, здоровый, чуть-чуть задыхающийся. Заговорили о Житкове. Житков патологически возненавидел Маршака, сошелся на этой почве с Бианки —

---

* Великий писатель (*франц.*).

и оба они ненавидели его жгучею ненавистью, к-рая М-ку непонятна, т. к. этим людям он помог встать на ноги и стать писателями. Одну книгу Бианки он всю написал вновь (кажется, «Мурзук»), другую подсказал ему («Лесную газету»). Он, Маршак, хлопотал перед Ягодой о Васильевой и т. д., и т. д. И о Бианки хлопотал, чтобы его с Урала перевели в Новгород. А Житкова он прославил в «Почте» — и Житков слышать не мог его имени, и т. д., и т. д. ⟨...⟩

Маршаку предлагают играть в козла. Он:

— Я не козлоспособен!

Потом прибавил:

— Но зато и не козлопамятен.

— Знаете, я родился в тот самый день, когда умер Лев Толстой.

— Да, так бывает всегда. За одним несчастьем следует другое. ⟨...⟩

31 декабря. Вчера Маршак был прелестен. У него в номере (18-м) мы устроили литературный вечер: я, он и Кнорре. Стали читать его переводы Бернса — превосходные, на высочайшем уровне. Мы обедали и ужинали вместе; за ужином вспоминали Льва Моисеевича Клячко, о котором С. Я. сохраняет самые светлые воспоминания. Мне тоже захотелось вспомнить этого большого и своеобразного человека. Я познакомился с ним в 1907 году, работая в литерат. отделе газеты «Речь». Он был репортером, «королем репортеров», как говорили тогда. Казался мне вульгарным, всегда сквернословил, всегда рассказывал анекдоты, острил — типичный репортер того времени. Выделяла его из их толпы только доброта. Так как по своей должности он часто интервьюировал министров, да и видел их ежедневно (в Думе и в министерствах), к нему всякий раз обращались десятки людей, чтобы он похлопотал о них. И он никогда не отказывал. Жил он тогда на Старо-Невском. Я однажды ночевал у него и был свидетелем того, как его квартиру с утра осаждают всякие «обремененные и трудающиеся» — и он каждый день от 9 до 11 принимал их всех,— и брался хлопотать обо всех. Причем был бескорыстен (до грубости): выгнал одного пожилого просителя, котор. предложил ему вознаграждение. Всех принимал сразу — на глазах у всех. Одна девушка, сестра виленского доктора Шабада, сказала ему:

— Я не могу говорить о своем деле при всех. Дайте мне возможность рассказать вам всё наедине.

Он разъярился.

— Ни за что. Сейчас же скажут, что вы дали мне взятку. Только при всех. В чем же ваше дело? Говорите.

— Я германская подданная.— Тогда это было ужасно. Все по-

смотрели на нее с ужасом. Немецких подданных тогда ссылали, топтали ногами... Но Клячко поехал куда-то, поговорил, объяснил — и я видел ее дней через десять, она приходила благодарить его.

В 1921 году Клячко задумал основать издательство. Брат его жены — дал ему ссуду: 5000 р. Он по настоянию брата затеял издавать «Библиотеку еврейских мемуаров». Евреи (такие, как Винавер) снабдили его десятками рукописей. Он пригласил меня редактировать их. В то время после закрытия Всемирной Литературы я сильно голодал, семья была большая, и я охотно пошел в поденщики. Правил слог, сверял исторические факты. Милый Клячко, он не имел представления, как неинтересны и сумбурны были многие из приобретенных им рукописей, и требовал, чтобы я скорее сдавал их в набор. Нужна была марка для еврейских мемуаров, повторяющаяся на каждом томе. Я предложил изобразить на марке Ноя, который видит радугу и простирает руки к летящему голубю. Мы так и назвали будущее мемуарное изд-во «Радуга», я познакомил Клячку с Чехониным, который и нарисовал нам Ноя с голубем и радугой. На другой день, когда у Клячко был семейный праздник (кажется, именины одной из дочерей), он немного выпил и был в благодушнейшем настроении, я прочитал ему две свои сказки, которые написал тем летом на Лахте (наряду со статьей: денежная тема в творчестве Некрасова): «Мойдодыра» и «Тараканище». Не успел я закончить чтение, как он закричал, перебивая меня:

— Идьёт! Какой идьёт!

Я смутился.

— Это я себя называю идьётом. Ведь вот что нужно издавать в нашей «Радуге»! Дайте-ка мне ваши рукописи!

И он стал читать их, захлебываясь и перевирая слова. На следующий день он знал их наизусть и декламировал каждому, кто приходил к нему. «Ехали медведи на велосипеде».

В тот же день побежал к моему приятелю Ю. Анненкову (тот жил рядом со мною на Кирочной), съездил в литографию, снова посетил Чехонина, и каша заварилась.— Его энтузиазм был (нужно сказать) одиноким. Те, кому он читал мои сказки и кому, по его настоятельному желанию, читал я, только пожимали плечами и громко высказывали, что Клячко свихнулся. Помню репортеров, которые продолжали составлять его компанию (Полякова рыжего, Гиллера и др.), которые предсказывали ему верное банкротство. Он и вправду казался одержимым: назначил обеим моим книжкам «огромный» по тому времени тираж: 7000 экз. и выпустил их к Рождеству 1921 года (или чуточку позже). Когда я привел к нему Маршака, тогда же, в самом начале 1922 г., он встретил его с восторгом, как долгожданного друга, издал томик его пьес и был очарован его даровитостью. Помню, как он декламирует:

На площади базарной,
На каланче пожарной —

упиваясь рифмами, ритмом, закрывая глаза от удовольствия. В качестве газетного репортера он никогда не читал никаких стихов. Первое знакомство с *поэзией вообще* у него состоялось тогда, когда он стал издателем детских стихов — до той поры он никаких стихотворений не знал. Весь 1922 и 1923 год мы работали у него с Маршаком необыкновенно дружественно, влияя друг на друга — потом эта дружба замутилась из-за всяких злобных наговоров Бианки и отчасти Житкова, которые по непонятной причине не взлюбили С. Я. и — я не то чтобы поддался их нашептываниям, но отошел от детской литературы и от всего, чем жил тогда М[арш]ак.

1959

1 января. С Новым Годом, дорогой Корней Иванович!

Моя ненависть — старинная — ко всяким застольным торжествам, юбилеям, вечерникам, пирам и т. д.— заставила меня согласиться с милым предложением Арсения Григорьевича Головко́ (адмирала) съездить в Переделкино, навестить «своих». Я даже не надевал пиджака. В серой больничной пижаме — ровно в 8 часов — я сел в Зис милейшего А. Г.— и мы покатили. До́ма очень хорошо. 〈...〉 Вспоминая прошлое — а как же не вспоминать его в день Нового года — я должен помянуть Сергеева-Ценского. Это был кудрявый, как цыган, очень здоровый, жилистый, моветонный прапорщик. Уходя, всегда говорил вместо До св*идания* — «До сви*швеция*», вместо «я ухожу»

Ухо жуя,
Ухожу я!
и т. д.

Сочинял самоделковые очень бесвкусные, витиеватые стишки. 〈...〉

7 января, среда. 〈...〉 Пошел к Всеволоду Иванову. У Тамары Вл. грипп. Она еле сидит. 〈...〉

За час до этого был у меня Пастернак. Постарел, виски ввалились — но ничего, бодр. Я сказал ему, что из-за его истории я третий месяц не сплю. Он: «А я сплю превосходно». И с первых же слов: «Я пришел просить у вас денег. 5000 рублей. У меня есть, но я не хочу брать у Зины. И не надо, чтобы она знала».

Очевидно, деньги нужны О[льге] В[севолодов]не. Я лишь вчера получил 5000 в сберкассе и с удовольствием отдал ему все.

Он разговорился:

— Ольге Всев-не не дают из-за меня переводческой работы в

Гослите. Ту, что была у нее, отобрали. Я перевел пьесу Словацкого, сдал в изд-во, рецензенты одобрили, но денег не платят. Послушайте, а что, если я дам доверенность на получение моих заграничных гонораров Хемингвею? Денег нет ниоткуда. Но зато — если бы [Вы] видели письма, к-рые я получаю. Потоки приветствий, сочувствий...

— Была у меня Ливанова. У нее был день рождения, и она решила провести его у нас. Она ведь знакома со всеми Громыками и говорит, что дела мои скоро поправятся.

По словам Т. Вл. Пастернак не читает газет, не читал о себе в советской печати ни одной строки — всю информацию дает ему О. В-на. ⟨...⟩

27 января. Опять Пастернак. Вчера был у меня, когда я спал. Придет сегодня в час — или в два. Пишет, что за советом. Какой совет могу дать ему я, больной, изможденный, измочаленный бессонницами? ⟨...⟩

Был у меня С. С. Смирнов. Его назначают редактором «Литературной газеты» вместо Кочетова и Друзина, к-рый уходит в Оргкомитет Союза писателей — к Соболеву. ⟨...⟩ Прислал Оксман свою книжицу «Летопись жизни и творчества Белинского» — монументальная, умная, прочная книга: в ней и биография Б-го и детальный обзор его творчества. ⟨...⟩

Без десяти два. Позвонил П[астерна]к.— «Вы знаете, кто звонит?» — Да! — Можно мне быть у вас через 10—15 минут? — Пожалуйста.— Но м. б. вы заняты? — Нет.

Был Пастернак. Он встревожен, что на 21-м съезде опять начнут кампанию против него — и потребуют изгнать его из отечества. Он знает, что было заседание идеологической комиссии.

Я сказал ему:

— Вы можете считать меня пошляком, но, ради бога, не ставьте себя в такое положение: я, Пастернак, с одной стороны и Советская власть с другой. Смиренно напишите длинное письмо, заявите о своих симпатиях к тому, что делает Советская власть для народа, о том, как вам дорога Семилетка — и т. д.

— Нет, этого я не напишу. Я сообщу, что я готов быть *только* переводчиком и отказываюсь писать оригинальные стихи.

— А им какое до этого дело? Они ни в грош не ставят ни то, ни другое. Вам надо рассказать подробно о том, при каких обстоятельствах вы отдали свой роман за границу, осудить этот свой поступок.

— Ни за что. Скорее пойду *на распятье*. ⟨...⟩

26 февраля. [в больнице.— *Е. Ч.*] ⟨...⟩ Прочитал роман Агаты Кристи «Hickory Dickory Dock». Дело происходит в общежитии иностранных студентов, съехавшихся в Лондон отовсюду. Есть там и англичане. Есть и не студенты. И как всегда у Кристи, все они вначале кажутся невинными, простодушными, милыми. Но в доме

совершаются убийства и всякие каверзы, и на протяжении $^{3}/_{4}$ книги читателю приходится снова и снова вглядываться в каждого персонажа и *каждого подозревать в убийстве, в негодяйстве, в воровстве* и т. д. Лишь на последних страницах выясняется, что убийство совершил наименее подозрительный из всех, который перед тем отравил (мединалом!) свою мать; что элегантная хозяйка «Салона красоты» — его соучастница, контрабандистка, которая и не поморщилась, когда он мимоходом отравил ее мать! Все это произведение могло произрасти лишь на почве глубочайшего неверия в людей. ⟨...⟩

9 марта. ⟨...⟩ Сестер насильно заставляют быть гуманными. Многие из них сопротивляются этому. В голове у них гуляет ветер молодости и самой страшной мещанской пошлости. Сейчас Коля принес мне Заболоцкого, Люша — Матисса. Даже дико представить себе, чтобы хоть одна из них могла воспринять это искусство. Словно другая планета. Кино, телевизор и радио вытеснили всю гуманитарную культуру. Мед. «сестра» это типичная низовая интеллигенция, сплошной массовый продукт — все они знают историю партии, но не знают истории своей страны, знают Суркова, но не знают Тютчева — словом, не просто дикари, а недочеловеки. Сколько не говори о будущем поколении, но это поколение будет оголтелым, обездушенным, тёмным. Был у меня «медбрат» — такой же обокраденный. И у меня такое чувство, что в сущности не для кого писать. ⟨...⟩

25 марта. Меня сегодня выписывают. Между тем сегодня мне особенно худо. ⟨...⟩

Вы без особенных усилий
Мое здоровье подкосили.
О да, напрасно я глотал
Ваш ядовитый нембутал.
Сначала стуками и криками
Меня кололи вы, как пиками,
И в довершение обид
Мне поднесли радикулит.

Нет, я еще (или уже) не в силах кропать даже колченогие стишонки.

Прошло много времени после выхода из больницы.

23 апреля. За это время я раза три виделся с Пастернаком. Он бодр, глаза веселые, побывал с «Зиной» в Тбилиси и вернулся помолоделый, самоуверенный.

Говорит, что встретился на дорожке у дома с Фединым — и пожал ему руку — и что в самом деле! начать разбирать, этак никому руку подавать невозможно!

— Я шел к вам! — сказал он.— За советом.

— Но ведь вы ни разу меня не послушались. И никакие не нужны вам советы.

Смеется:

— Верно, верно.

Пришел ко мне: нет ли у меня книг о крестьянской реформе 60-х годов. Нужны имена Милютина, Кавелина, Зарудного и т. д. и в каких комитетах они работали.

Рассказывал (по секрету: я дал подписку никому не рассказывать), что его вызывал к себе прокурор и (смеется) начал дело... Между тем следователь по моему делу говорит: «плюньте, чепуха! все обойдется».

— У меня опять недоразумение... слыхали? — «Недоразумение» ужасно. Месяца три назад он дал мне свои стихи о том, что он «загнанный зверь». Я спрятал эти стихи, никому не показывая их, решив, что он написал их под влиянием минуты, что это не «линия», а «настроение». И вот оказывается, что он каким-то образом переслал «Зверя» за границу, где его и тиснули!!![1]

Так поступить мог только сумасшедший — и лицо у П-ка «с сумасшедшинкой».

Переписывается с заграницей вовсю. Одна немка — приятельница Рильке — прислала ему письмо о Рильке, и вот что он ей ответил — а кто-то адресовал ему свое послание во Франкфурт на Майне, и все же оно дошло.

Погода до вчерашнего дня была жаркая, и П-к ходил без шляпы, в сапогах, в какой-то беззаботной распашонке. 〈...〉

27 апреля. Был у меня в лесу Федин. Зашел по пути. Говорит, что с «Литнаследством» (после напечатания книги «Новое о Маяковском») дело обстоит очень плохо. Так как начальству нужна лакировка всего — в том числе и писательских биографий — оно с ненавистью встретило книгу, где даны интимные (правда, очень плохие) письма Маяк-ого к Лили Брик — и вообще М[аяковски]й показан не на пьедестале. Поэтому вынесено постановление о вредности этой книги и занесен удар над Зильберштейном. Человек создал великолепную серию монументальных книг — образцовых книг по литературоведению, отдал этой работе 30 лет — и все это забыто, на все это наплевать, его оскорбляют, бьют, топчут за один ошибочный шаг.

— Создана в Ак[адемии] Н[аук] комиссия,— сказал Федин.— Я председатель.

— Вот и хорошо! Вы выступите на защиту Зильберштейна.

— Какой вы чудак! Ведь мне придется подписать уже готовое решение.

— Неужели вы подпишете?

— А что же остается мне делать?!

И тут же Ф. стал подтверждать мои слова, что З-н чудесный

работник, отличный исследователь, безупречно честный, великий организатор и т. д.

— А его книга о Бестужевых![2] — говорит он.— А герценовский том и т. д. И знаете, что отвратительно: в комиссию не введены ни Зильбершт., ни Макашин, но зато дополнительно введен... Храпченко. Какая мерзость!

— И все же вы подпишете?

— А что же мне остается делать?!

Бедный Федин. Вчера ему покрасили забор зеленой краской — неужели ради этого забора, ради звания академика, ради оффициозных постов, к-рые ему не нужны, он вынужден продавать свою совесть, подписывать бумаги. ⟨...⟩

Дал в «Новый Мир» свои воспоминания о Луначарском — тусклые и никому не нужные. Над Чеховым работаю вяло, без прежней охоты. И без таланта.

5/V. Дважды был у Федина по делу Литнаследства. Хлопотал, чтобы он, председательствуя в Комиссии, созданной Академией Наук специально для рассмотрения вопроса о Лит. Наследстве («Новое о Маяковском»), сказал бы похвальное слово о Зильберштейне и Макашине. Второй визит нанес ему вместе с Макашиным. М. боится, что «Литнасл.» передадут в Институт Горького, где распоряжается Эльсберг — тот самый Эльсберг, по доносу которого (так утверждает Макашин) он и был сослан. «Из-за этого человека я узнал лагерь, войну, плен, этот человек мерзавец, и работать с ним я не буду»[3]. Хуже всего то, что Зильб. поссорился с Храпченко, а Храпченко (как теперь оказалось) уже член-корреспондент — подумать только! — тусклый чинуша, заместитель Виноградова!

Целый час Макашин своим ровным голосом сообщал Федину всевозможные дрязги, опутавшие со всех сторон «Литнаследство»: недовольно начальство тем, что в Герценовских томах раскрыта история Натали Герцен и Гервега, недовольно, что Илья пользуется иностранными источниками. Храпченко хочет спихнуть Виноградова и утопить Илью и т. д.

Для меня во всем этом печально, что тот литературоведческий метод, которым до сих пор пользовался я — метод литературного портрета без лакировки — теперь осужден и провален. Требуется хрестоматийный глянец — об этом громко заявлено в постановлении Ц. К. Мои «Люди и книги» вряд ли будут переизданы вновь. Сволочи. Опять нет у меня пристанища. Из детской литературы вышибли, из критики вышибли, из некрасоведения вышибли.

Тамара Влад. Иванова рассказала мне, что недавно ей позвонила Ольга Всеволодовна (приятельница Пастернака), с которой Тамара Владимировна не желает знаться.

— Ради бога, подите к Пастернаку и скажите ему — тайком от жены,— чтобы он немедленно позвонил мне.

— Понимаете ли вы, что вы говорите. Я приятельница его жены и не могу за спиной у нее...

— Ради бога. Это нужно для его спасения.

Нечего делать, Т. В. пошла к Пастернаку. Зинаида Николаевна внизу играла в карты с женой Сельвинского (к-рый, кстати сказать, швырнул в П-ка комком грязи в «Огоньке»)[4]— прошмыгнула к нему в кабинет и выполнила просьбу О. В-ны.

П. тотчас же ринулся к телефону в Дом творчества.

Оказалось: он получил приглашение на прием к шведскому послу — и ему сообщило одно учреждение, что, если он не пойдет к послу и вообще прекратит сношения с иностранцами, ему уплатят гонорар за Словацкого и издадут его однотомник.

Он согласился. 〈...〉

6 мая. Вчера видел в городе Федина. Он подошел к моей машине и сказал: Зильберштейна, хоть и со скрипом, удалось оставить. Бой длился три часа. Коллегию «Литнаследства» раздули до 9 человек. Большую помощь Илье оказал Виноградов, который вел себя отлично.

Моим сказкам опять грозит беда, возрождение РАПП'а. Был я вчера в Детгизе, разговаривал с Конст. Федотычем. И он, явно повторяя фразу начальства, сказал: «довольно птичек и кошечек — нашим дошкольникам нужно другое». Когда в декабре прошлого года я слышал эту фразу от Михайлова, я думал, что он острит; оказывается, это — директива. 〈...〉

8 мая. 〈...〉 Был у меня Макашин. Его сделали завед. редакцией. Он недоволен. «Во 1-х, Илья обидится. Во 2-х, я не умею быть заведующим, огромная ответственность, трата времени. В 3-х, я должен писать о Щедрине (2-й том) — и вот опять отрывают меня».

Умер Еголин — законченный негодяй, подхалим и — при этом бездарный дурак. Находясь на руководящей работе в ЦК он, пользуясь своим служебным положением, пролез в редакторы Чехова, Ушинского, Некрасова — и эта синекура давала ему огромные деньги,— редактируя (номинально!) Чехова, он заработал на его сочинениях больше, чем заработал на них Чехов. Он преследовал меня с упорством идиота. Он сопровождал Жданова во время его позорного похода против Ахматовой и Зощенко — и выступал в Питере в роли младшего палача — и все это я понял не сразу, мне даже мерещилось в нем что-то добродушное, только года два назад я постиг, что он беспросветная сволочь. Его «работы» о Некрасове были бы подлы, если бы не были так пошлы и глупы.

Странно, что я понял это только в самое последнее время, когда он явился ко мне с *покаянием,* говоря, что он лишь теперь оценил мои «труды и заслуги.» 〈...〉

10 июня. [в Барвихе.— *Е. Ч.*] 〈...〉 Здесь Маршак. Мы читали с ним пародию Паперного на Панферова: чудо[5].

Сейчас пришел ко мне очень возбужденный Маршак: ему зво-

нили от Хрущева — как он себя чувствует, не нужно ли ему чего и т. д. Очень хвалили его сонеты и вообще отзывались о нем с похвалой. ⟨...⟩

Говорил с Маршаком о поэтах-символистах, почти все их фамилии начинались на *б*: Брюсов, Бальмонт, Белый, Балтрушайтис, Блок.

— Да, да,— сказал он.— А Сологуб даже кончался на б. А Кузмин и сам был б. ⟨...⟩

«Отелло в гипсе»,— сказал Маршак про одного ревнивого чеха, изображенного в чешском фильме «Горькая любовь». Хорошо бы, чтобы отдельно была «горькая», отдельно «любовь». ⟨...⟩

19/VI 1959. Вчера с Маршаком у Ек. П. Пешковой. Пришли в санаторной одежде. Маршак говорит: «Мужики Самойло и Корней из деревни Оборвиха». Е. П. бодра и раскидиста (ей свойственна порывистость жестов). Были: Всеволод Иванов с Тамарой Вл., Капица с женой, Федин, Андроников с милой Вивой, Федин и министр Михайлов с Раисой Тимоф. Андроников был гениален: он экспромтом произнес речь, какую *должен был* сказать Сурков Федину, покидая пост генерального секретаря. Хохотали до слез. Правнучка Горького красавица Наденька — сидела тоненькая и блаженствовала, слушая Андроникова. Он чудесно рассказал о своем посещении Ясной Поляны. ⟨...⟩

8 августа. ⟨...⟩ Вчера был у меня в гостях ни с того ни с сего индийский журналист — с гидом Светланой — далекий мне как река Брахмапутра. Какой-то президент всех индийских газет. ⟨...⟩

Отняв у меня два рабочих часа и поведав мне, что он только что был в Америке, где говорил с Эйзенхауэром, и вообще объехал два десятка стран, и что завтра он уже будет в Индии ⟨...⟩, гость пожелал видеть Пастернака. Я стал прощаться, говорил, что П. в это время работает, что иностранцы, посещая его, причиняют ему много вреда, все же он решил зайти на минуту. П-ка я не видел месяца три. Он здоров, весел, в глазах «сумасшедшинка».

Мы были в саду. Здесь же был прелестный внученок П-ка — двухлетний, который сразу пошел ко мне и требовал, чтобы я сел с ним на ступеньку и не уходил никуда. Издали я слышал, как Пастернак передает свои Greetings* чуть ли не всей Индии.

Весь его сад превращен в огород — сплошная картошка...

Пристройка к библиотеке скоро будет закончена. Здесь единственное мое утешение. ⟨...⟩

15 августа, суббота. Вернулся из Америки В. Катаев. Привез книгу «The Holy Barbarians»,** о «битниках», которую я прочитал

* Приветы *(англ.)*.
** «Святые варвары» *(англ.)*.

в течение ночи, не отрываясь. Капитализм должен был создать своих битников — протестантов против удушливого американизма — но как уродлив и *скучен* их протест. ⟨...⟩

Катаева на прессконференции спросили: «Почему вы убивали еврейских поэтов?»

— Должно быть, вы ответили: «Мы убивали не только еврейских поэтов, но и русских»,— сказал я ему.

— Нет, все дело было в том, чтобы врать. Я глазом не моргнул и ответил:

— Никаких еврейских поэтов мы не убивали.

О Пастернаке он сказал:

— Вы воображаете, что он жертва. Будьте покойны: он имеет чудесную квартиру и дачу, имеет машину, богач, живет себе припеваючи — получает большой доход со своих книг. ⟨...⟩

Дневник 1960

10 апреля 1960 г. Вот уже почти месяц я в постели. Сначала было несколько сердечных припадков, потом вдруг — страшный вирусный грипп — который тянется уже 10 дней. ⟨...⟩

Дня три назад приходил ко мне Пастернак. Его не пустили ко мне. Сн возвратил мне 5000 р., которые взял в прошлом январе на год.

— Ваш отец был так благороден, что даже не сказал вам, что я должен ему 5000,— сказал он, вручая ей деньги.

Увы, я *не был* так благороден и, думая, что помираю, сказал Лиде о долге Пастернака. ⟨...⟩

21 апреля. Приехал Фишер младший, которого я помню пионером. Хорошо помню его отца, кот. жил в России, был энтузиастом советской власти, восхвалял Чичерина, Литвинова, Воровского — и вдруг преобразился в гандиста, стал правоверным индийцем.

Сын очень похож на отца. Говорит, что он одно время писал антисоветские вещи, но теперь, побывав в СССР, прозрел — и будет писать беспристрастную книгу о структуре советского о-ва. Лида дала ему «Педагог. поэму». ⟨...⟩ Вожусь с воспоминаниями о Короленко. Снился мне до полной осязательности Чехов. Он живет в гостинице, страшно худой, с ним какая-то пошлая ж[енщи]на, знающая, что он через 2—3 недели умрет. Он показал мне черновик рассказа: вот видите, я пишу сначала без «атмосферы», но в нижней части листка выписываю все детали, которые нужно сказать мимоходом в придаточн[ых] предложениях, чтобы создалась атмосфера. Живу я будто в гостинице — и забыл, в котором номере. Предо мной то и дело мелькают три неразлучные молодые веселые ж[енщи]ны. Одна из них моя жена. Я не знаю,

которая из них, и спрашиваю об этом коридорного. Чехов пригласил меня кататься в коляске. И та пошлячка, которая состоит при нем, говорит:

— Ты бы, Антоша, купил Кадиляк.

И я думаю во сне: какая стерва! Ведь знает, что он умрет и машина останется ей.

И поцеловал у Ч[ехова] руку. А он у меня. Потом сон перенес меня в Узкое.

23 мая. Болезнь Пастернака. Был у меня вчера Валентин Фердинандович Асмус; он по три раза в день навещает П-ка, беседует с его докторами, и очень отчетливо доказал мне, что выздоровление П-ка будет величайшим чудом, что есть всего 10% надежды на то, что он встанет с постели. Гемоглобин ужасен, рое — тоже. Применить рентген нельзя. ⟨...⟩

31 мая. Пришла Лида и сказала страшное: «Умер Пастернак». Час с четвертью. Оказывается, мне звонил Асмус.

Хоронят его в четверг 2-го. Стоит прелестная, невероятная погода — жаркая, ровная,— яблони и вишни в цвету. Кажется, никогда еще не было столько бабочек, птиц, пчел, цветов, песен. Я целые дни на балконе: каждый час — чудо, каждый час что-нибудь новое, и он, певец всех этих облаков, деревьев, тропинок (даже в его «Рождестве» изображено Переделкино) — он лежит сейчас — на дрянной раскладушке глухой и слепой, обокраденный — и мы никогда не услышим его порывистого, взрывчатого баса, не увидим его триумфального... (очень болит голова, не могу писать). Он был создан для триумфов, он расцветал среди восторженных приветствий аудиторий, на эстраде он был счастливейшим человек[ом], видеть обращенные к нему благодарные горячие глаза молодежи, подхватывающей каждое его слово, было его потребностью — тогда он был добр, находчив, радостен, немного кокетлив — в своей стихии! Когда же его сделали пугалом, изгоем, мрачным преступником — он переродился, стал чуждаться людей — я помню, как уязвило его, что он — первый поэт СССР, неизвестен *никому* в той больничной палате, куда положили его,—

И вы не смоете всей вашей
черной кровью
Поэта праведную кровь.

(Нет, не могу писать, голова болит.)

6 июня. Сейчас был у меня В. Ф. Асмус, который — единственный из всех профессоров и писателей — произнес речь на могиле Пастернака. Он один из душеприказчиков П-ка. Жена звонила ему из города, что на его имя все время приходят книги, подарки, благодарственные письма и т. д. Сейчас с запозданием из Англии

приехала сестра Пастернака. Асмус встретил ее, когда она говорила в Доме Творчества по телефону. Остановилась она у Зинаиды Николаевны. Когда после смерти Пастернака сделали рентгеновский снимок, оказалось, что у него рак легкого, поразивший все легкое,— а П-к и не чувствовал. Только 6-го мая он сказал А[сму]су: «что-то у меня болит лопатка!» Сейчас самая главная проблема: Ольга Всеволодовна. Я помню,— когда я был у П-ка последний раз, он показывал мне груды писем, полученных им из-за границы. Письмами был набит весь комод. Где эти письма теперь? Асмус боится, что они у Ольги Всеволодовны — равно как и другие материалы.

8 июня. ⟨...⟩ Корнелий Зелинский, по наущению которого Московский университет уволил Кому Иванова за его близость к Пастернаку, теперь с некоторым запозданием захотел реабилитироваться. Поэтому он обратился к ректору у-та с просьбой:

«Прошу удостоверить, что никакого письменного доноса на В. В. Иванова я не делал».

Ректор удостоверил:

«Никакого *письменного* доноса на В. В. Ив. К. А. Зелинский не делал».

Копию этой переписки Зелинский прислал Всеволоду Иванову. Это рассказала мне Тамара Влад. Иванова.

Она же сообщила мне, что Асмуса вызывали в Университет и допрашивали: как смел он назвать Пастернака крупным писателем.

Он ответил:

— Я сам писатель, член Союза Писателей и, полагаю, имею возможность без указки разобраться, кто крупный писатель, кто некрупный.

Последний раз Тамара Вл. видела Пастернака 8 мая. Он шутил, много и оживленно разговаривал с нею, и врачиха Кончаловская, зная, что у него инфаркт, не велела ему лежать неподвижно и вообще обнаружила полную некомпетентность.

Он давал читать свою пьесу (первые три акта) Коме — уже в законченном виде. Но очевидно, этот текст передан Ольге Всеволодовне, так как у Зин. Ник. есть лишь черновики пьесы. (О крепостной артистке, к-рую ослепили.) Вообще у О. В. весь архив Пастернака, и неизвестно, что она сделает с ним.

Брат П-ка и его сын спрашивали его, хочет ли он видеть О. В., и говорили ему, что она в соседней комнате, он отчетливо и резко ответил, что не желает видеться с ней. ⟨...⟩

16 июня. Когда спросили Штейна (Александра), почему он не был на похоронах Пастернака, он сказал: «Я вообще не участвую в антиправительственных демонстрациях». ⟨...⟩

13 августа. Я снова в Барвихе. ⟨...⟩

14 августа. ⟨...⟩ Маршак работает до изнеможения — целые дни. С утра пишет воспоминания о своем брате Ильине, вечером правит корректуру своего четвертого тома. Ему помогают его сестра Елена Ильина и Петровых, милая поэтесса. Петровых рассказывает о неблагополучии со сборником Ахматовой, кот. должен выйти в Гослите. Редакция выбросила лучшие стихи — и принудительно печатает ее «сугубо-советские» строки, написанные ею в Сталинскую эпоху, когда ее сын Лёва был в ссылке (или на каторге).

Маршак рассказывает опять, как («неизвестно за что») ненавидели его Бианки и Житков. Сейчас он бьется с корректором Гослита и достиг того, что ему разрешили печатать не черт, а чорт. Я вожусь с «Гимназией» и вижу свою плачевную бездарность: бессонницы и старчество.

15-ое изд. «От двух до пяти» уже сдано в производство. Как бы мне хотелось еще поработать над этой книгой! Но нужно писать Чехова, нужно перестраивать «Мастерство перевода». Опять здесь в санатории мне попался Walt Whitman и очаровал как в дни юности — особенно Crossing Brooklyn Ferry*, где он говорит о себе из могилы.

И нельзя себе представить того ужаса и того восторга — с которым я прочитал книгу J. D. Salinger'a «The Catcher in the Rye»** о мальчишке 16 лет, ненавидящем пошлость и утопающем в пошлости — его автобиография. «Неприятие здешнего мира», сказали бы полвека назад. И как написано!! Вся сложность его души, все противоборствующие желания — раздирающие его душу — нежность и грубость сразу. ⟨...⟩

1 сентября 1960. [Барвиха.— *Е. Ч.*] ⟨...⟩ Маршак острит напропалую. Зубной кабинет он зовет «Ни в зуб ногой», кабинет ухо-горло-нос — «Ни уха ни рыла». Кабинет электро медицины: «До облучения не целуй ты ее». ⟨...⟩

6 сент. Говорят: он сегодня уезжает. Я провел с ним два вечера — как в древности, и это очень взволновало меня. ⟨...⟩

Говорил он, как новое, все свои старые «находки»: что Лермонтов и Пушкин люди чести, а Лев Толстой и Достоевский — люди совести; что у Пушкина нет ошибок, нет провалов.

Иные его определения чудесны:

«Короленко это «хорошая польская писательница».

«Есть среди медицинских сестер — сестры родные и сестры двоюродные».

«И почему это Данте переводили поэты, у которых в фамилии есть звук «мин»: «Мин», «Минаев», Чю*мин*а. Да и Мих. Лозинский тоже «мин». ⟨...⟩

---

* Переправа на бруклинском пароходике *(англ.)*.
** Дж. Д. Сэлинджер «Над пропастью во ржи» *(англ.)*.

11 сентября. Вчера весь вечер сидел у меня Дм. Вас. Павлов, министр торговли. Он написал книжку «Ленинград в блокаде» — и теперь расширяет ее, готовит новое издание. Читал отрывки — спрашивал советов.

Говорит:

— У меня уже та заслуга, что я впервые назвал в своей книге таких расстрелянных людей, как Попков.

И рассказал, как приходилось ему спасать во время террора разных людей, прикосновенных к Попкову. Один директор кондит[ерской] фабрики был арестован только за то, что Попков приходил к нему на фабрику принимать душ.

Павлов защитил д[ирекго]ра, но все же его уволили и искл[ючили] из п[арт]ии. ⟨...⟩

22 сент. Я в Переделкине. ⟨...⟩

Было это, кажется, 5-го октября. Погода прелестная, сухая. Ко мне в гости приехала 589 школа 5-й класс и 2-й класс. У меня болела голова, я лежал в тоске — и вдруг столько чудесных — веселых, неутомонных детей. Я провел с ними 4 часа и выздоровел. Даже усталости не чувствовал ни малейшей. Они собирали ветки для костра, бегали наперегонки, наполнили весь наш лес гомоном, смехом, перекличками — и мне кажется, я никогда ни в одну женщину не был так влюблен, как в этих ясноглазых друзей. Во всех сразу. Насколько они лучше наших переделкинских (мещанских) детей. В библ. я много читал им своего — они внимательнейше слушали. Потом бегали по скамьям, показывали физкультурные номера, взлезали на деревья, девчонки не хуже мальчишек. Мне даже учителя их понравились — особенно биолог Зарема Марковна — очень счастлива она своим общением с детьми — чувствуется: без них она не могла бы прожить. На следующий день у меня был Вадим Андреев с женой Ольгой Викторовной. Очень красивый, уверенный, написал роман о франц. résistance*. Его уже не пускают ни в USA, ни во Францию, где он прожил всю жизнь. Вместе с ними приехал Чувяков (специалист по Андрееву) — и француженка, забыл ее фамилию, которая пишет о Л. Андрееве диссертацию. ⟨...⟩

Октябрь 12-го. Я почему-то уверен, что эта тетрадь будет последней тетрадью моего дневника: зимы мне не пережить — «свежей травы мне не мять». Был сегодня на могиле Марии Борисовны — собственно на *своей* могиле. Там рядом с нею оставлено свободное место для моей ямы. Сегодня сидел у своей могилы — вместе с Лидой — и думал, что я в сущности прожил отличную жизнь, даже могила у меня превосходная.

Сегодня Таня Литвинова читала мне свой перевод Чивера — открытого мною писателя: о доброй, благодушной, спокойной

* Сопротивлении (*франц.*).

женщине — которая меняет любовников, как чеховская Душенька мужей — и только в конце выясняется, что это символ Смерти. 〈...〉

28 октября. 〈...〉 Я наметил день своей смерти: 21 февраля 1961 года. Вот на всякий случай мое завещание. Четверть наличных денег Евгению Борисовичу Чуковскому, три четверти Лидии Корнеевне Чуковской. Деньги на похороны пусть даст из своих средств Николай Корнеевич Чуковский. Мебель разделить полюбовно между всеми наследниками. Чукоккалу — Лидии Корнеевне и Елене Цезаревне. Мои дневники тоже. Весь архив — им же, с тем, чтобы к разбору его они непременно привлекли Клару Израилевну Лозовскую, которой наследники должны дать на память обо [мне] мой секретер. Татьяне Максимовне Литвиновой нужно на память обо мне дать любые английские книги, какие она захочет взять. Гонорары за мои книги в первый год после моей смерти разделить между всеми моими внуками поровну, в дальнейшем тоже отдать моей дочери Лидии Корнеевне, которая очень больна. Так как она человек глубоко справедливый и совестливый, я прошу из получаемой ею суммы выделять в случае надобности и в дальнейшем тем из моих внуков, которые будут нуждаться, соответствующие суммы. Прошу возможно щедрее отблагодарить от моего имени Белова Геннадия Матвеевича.

29 октября. Уверен, что Лидочка будет по-прежнему принимать участие в делах детской библиотеки. И Марина, и Клара, и Лида, и я — отдали библиотеке много любви и забот, но только Лида по-настоящему определила ее настоящие функции — и воплотила их в жизнь. Надеюсь, что мне еще в этом году удастся выхлопотать третью единицу для библиотеки — и тогда, при ближайшем участии Лиды — дело будет еще плодотворнее.

Костры «Здравствуй, лето» — в конце июня — нужно сделать традицией, если только Колю, Лиду, Марину не удалят с «нашего» участка. А если и удалят, устраивать их по уговору с новыми владельцами. 〈...〉

7 ноября. Праздник. В сущности праздник был у меня вчера: Лида прочитала мне отрывки из своего дневника о Тамаре Гр. Габбе — и свои воспоминания о ней... Впечатление огромное. Габбе была одной из самых одухотворенных — и вследствие этого — самых несчастных женщин, каких я когда-либо знал. У Лиды одухотворенность Т. Г-ны ощущается в каждом ее слове, каждом движении.

9 ноября. Все еще над Квиткой — по-прежнему страдаю от безъязычия, от неспособности выразить самую элементарную мысль.

Снотворных не принимаю.

У нас Митя, очень милый, добрый — сильно изменившийся к

лучшему. Ум у него удивительно быстрый. Мы смотрим с ним карикатуры без подписей. Покуда я соображу, в чем здесь суть, он безошибочно угадывает всю ситуацию, делающую рисунок смешным.

Что такое лит. творчество? Это — сопряжение нечаянных слов.

11 ноября. В большом зале Дома Литераторов, набитом битком, сегодня был вечер памяти Квитко.

Кассиль сказал прекрасную речь, где сказал, что враги, погубившие Квитко — наши враги, враги нашей культуры, нашего советского строя. Это место его речи вызвал[о] гром аплодисментов. К сожалению (моему) он сказал, что я первый открыл поэзию Квитко. Это страшно взбаламутило Барто, которая в своей речи («я... я... я...») заявила, что Квитко открыла она.

Перед нею было мое выступление — очень сердечно принятое слушателями. Все понимали, что совершается великий акт воскрешения Квитко, и радовались этому воскрешению. Были Пискунов, Алянский, С. Михалков, Таня Литвинова, Клара (с Глоцером), поэт Нуради[н] Юсупов, Казакевич,— не было ни Смирновой, ни Мих. Светлова.

[Вклеено письмо Ф. Вигдоровой.— *Е. Ч.*]

Дорогой Корней Иванович, этот листок только для Вас.

Студенты Ленинградского Института Точной Механики и Оптики проходили практику на сторожевом корабле в/ч 36190. В конце августа практиканты были направлены для занятий на берег. Занятия не состоялись, и студенты решили, что время, отведенное на занятия, они могут провести на берегу. Это и было их главным проступком, но совершен он был не по злому умыслу — поведение этих юношей в годы обучения в институте, их поведение на целине и на других кораблях, где они проходили практику, показывает, что они дисциплинированные студенты.

Когда они вернулись на корабль, капитан Шадрин спросил: — Кто зачинщик? У кого собственные машины и папаши на высоких должностях — шаг вперед!

Студент Бернштейн спросил у командира: — А тем, чьи отцы погибли — надо выходить?

Командир ответил: — Не верю, чтоб у таких, как вы, отцы погибали на фронте!

Затем капитан сказал студенту Виктору Костюкову:

— Как могли вы, сын русского пролетария, попасть под влияние десяти евреев? Думаю, вас еще не засосала атмосфера синагоги, в вашем возрасте я бил таких из рогатки. Из 15-ти человек, присланных на мой корабль —10 евреев, и так во всех институтах. Я буду делать все, что могу, чтоб спасти русскую науку.

Затем капитан написал студентам очень плохие характеристики, в результате чего три студента — Функ, Каган, Долгой были исключены из института.

Политуправление Балтфлота создало комиссию для рассмотрения этого дела и предложило капитану Шадрину написать новые характеристики. Вторые характеристики, такие же несправедливые, опять были «отозваны», Политуправлением, адмирал Головко наложил на капитана Шадрина взыскание, да и в разговоре с Вами, если помните, отозвался о капитане очень нелестно. Однако, тов. Василевский из Министерства Высшего образования продолжает аргументировать этими аннулированными характеристиками.

Один из исключенных Функ — сын рабочего-столяра, другой — Каган — сын рабочего-гвоздильщика, третий — Долгой — сын портного. Комсомольская организация ходатайствовала за них перед директором института Капустиным, Капустин сначала отказывался их восстановить, *а третьего дня сказал секретарям институтского, факультетского и курсового бюро, что восстановит их, если они вернутся в Ленинград. Они должны были сегодня выехать, но только что звонили из Ленинграда, что к ним на дом приходил милиционер с приказом немедленно явиться в военкомат.* Армия — дело святое, но прежде всего надо добиться справедливости, а директор института пообещал восстановить исключенных, видимо, в уверенности, что их призовут в армию и это освободит его от необходимости разбираться в этой истории.

Все это длится три месяца!!!! А ведь дело простое, Корней Иванович. И постыдное...

И нельзя, нельзя его больше откладывать.

Очень важно то, что Вы лично говорили с адмиралом и знаете его мнение не понаслышке.

Сказать по правде, поведение т. Василевского мне *совершенно* непонятно. Вот какой диалог произошел между мальчиками и Василевским. Как известно, к т. Елютину обратился с письмом Эренбург.

Василевский: — А кто такой Эренбург?

— Наш депутат.

— А зачем он вмешивается не в своё дело?

Разве у депутата есть дела, которые его не касаются?!

2 декабря. Слева письмо от Фриды Вигдоровой. Вот по этому делу я ходил вчера к Министру высшего образования Вячеславу Петровичу Елютину. Встретил меня с распростертыми. Заявил, что воспитывался на моих детских книжках. Но помрачнел, когда узнал, что я по этому неприятному делу. Обещал разобраться.

Посмотрим. ⟨...⟩

Сегодня вечером я выступал в Доме Учителя. Маргарита Алигер, Озеров, Зелинский, Перцов, Злобин. Симпатичная аудитория — умеющая безропотно слушать тридцать выступлений подряд. Озеров говорил очень хорошо.

7 декабря. Сегодня открытие Пленума по детской литературе. Было от чего придти в отчаяние. В Президиум выбраны служащие всех трех правлений, а подлинные писатели вроде Барто были в публике. Уровень низкий, чиновничий.

Вместо того, чтобы прямо сказать: «Писателишки, хвалите нас, воспевайте нас», начальство заводит чиновничьи речи о соцреализме и пр. Но все понимают, в чем дело.

13 декабря. Выступал в МГУ и в Политехническом музее с воспоминаниями о Луначарском, в ЦДРИ и Доме актера поминал Блока, стал опять публичным оратором — ибо страшно люблю это дело, хотя оно и изнуряет меня. ⟨...⟩

19 декабря. Сегодня Коля в ЦДРИ выступает с воспоминаниями о Вишневском. В Доме литераторов выступает Лида, будет обсуждение ее книги «В мастерской редактора». Вчера у меня были Прилежаева и Кассиль — оба обещали быть на обсуждении, обоим книга чрезвычайно понравилась. Сегодня часа в 4 вечера промчалась медицинская «Победа». Спрашивает дорогу к Кожевникову. У Кожевникова — сердечный приступ. Из-за романа Вас. Грос[с]мана. Вас. Грос[с]ман дал в «Знамя» роман (продолжение «Сталинградской битвы»), к-рый нельзя напечатать. Это обвинительный акт против командиров, обвинение начальства в юдофобстве и т. д. Вадим Кожевников хотел тихо-мирно возвратить автору этот роман, объяснив, что печатать его невозможно. Но в дело вмешался Д. А. Поликарпов — прочитал роман и разъярился. На Вадима Кожевникова это так подействовало, что у него без двух минут инфаркт[1].

Роман Казакевича — о Ленине в Разливе — вырезан из «Октября», ибо там сказано, что с Лениным был и Зиновьев. ⟨...⟩

27 дек. ⟨...⟩ Коля рассказывает, что Казакевич, роман которого вырезали из «Октября», послал Хрущеву текст романа и телеграмму в триста слов.

Через 3 дня Казакевичу позвонил секретарь Х[рущев]а и сказал, что роман великолепный, что именно такой роман нужен в настоящее время, что он так и доложит Н. С-чу.

Лида очень похудела. Грустит и томится.

Новый 1961.

4 янв. Год начался для литературы ужасно. Из «Октября» вырезали роман Казакевича. Из «Знамени» изъяли роман Василия Гроссмана; из «Нового мира» вырезали Воспоминания Эренбурга о Цветаевой, о Пастернаке и проч.

Неохота писать о языке. Какой тут язык! Недавно одна женщина

написала мне: «вы все пишете, как плохо мы говорим, а почему не напишете, как плохо мы живем». 〈...〉

13 января. Вот какую идиотскую чушь принесла мне вчера Кларинда

385. Чуковский К. И. Культура слова, изд-во «Молодая гвардия», 2 л., 50 000 экз., цена 6 коп. (IV кв.).

Корней Иванович Чуковский с пристальным вниманием и любовью относится к культуре слова. В книге, адресованной молодежи, К. Чуковский расскажет о богатстве русского языка, о культуре образного живого слова, о необходимости бороться с проникновением в устную и письменную речь невыразительных канцеляризмов.

Книга будет интересна и полезна широкому кругу читателей.

Тем. план 1961 г. Заказ .экз.

Ни о каком богатстве русского языка я и не собираюсь говорить, называть свою книгу «Культура слова» не думаю, печатать ее в IV квартале не намерен — и вообще все это собачья брехня. Брошюра моя будет листов пять или больше, и ее содержания до сих пор не знаю я сам, хотя каждое утро прилежно пишу ее. Писание происходит так. Встаю я в пять — иногда чуточку позже — и сейчас же за стол. Чувствуя, что уж недолго осталось мне сидеть за столом, стараюсь написать возможно больше — тороплюсь, сбиваюсь, путаюсь, предпочитаю количество качеству — и жду, когда заболит сердце. Когда оно болит нестерпимо, я иду и ложусь — и читаю. Читаю что придется: на днях закончил дивную книгу Nancy Mitford «Voltaire in Love»* — и позавидовал таланту (и цинизму) этой отличной писательницы. Она умудряется нежнейшим образом относиться и к Вольтеру и к m-me de Châtelet, хоть и демонстрирует на каждой странице их карьеризм, способность ко всяческой подлости, своекорыстие. 〈...〉

Теперь читаю книгу Vladimir'a Nabokov'a «Pnin», великую книгу, во славу русского праведника, брошенного в американскую университетскую жизнь. Книга поэтичная, умная — о рассеянности, невзрослости и забавности и душевном величии русского полупрофессора Тимофея Пнина. Книга насыщена сарказмом — и любовью.

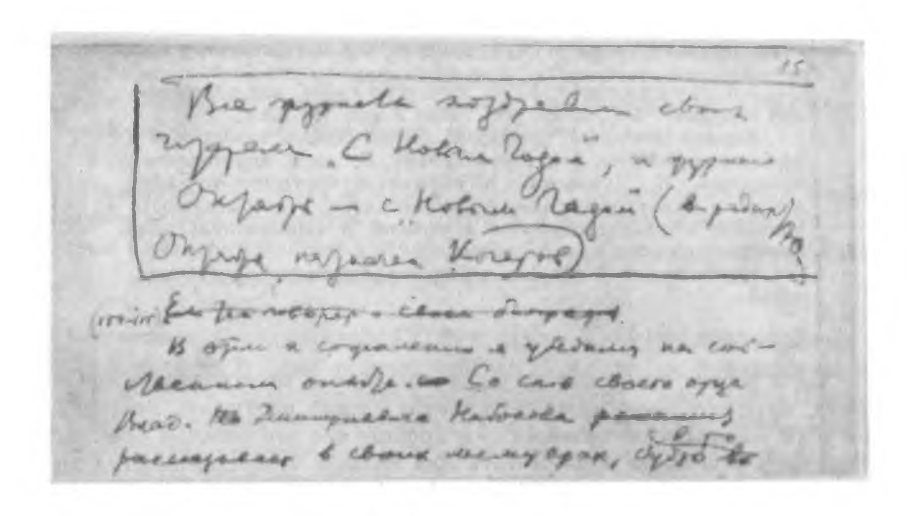
Читаю также Майского «Путешествие в прошлое», где глава о Британском музее, где мы с М. Б. были в 1903—1904 гг., где я читал впервые Роберта Броунинга — пронзила меня.

Vladimir Nabokov «Pnin», Copyright 1953, 1955, 1957 (Avon Publication, inc).

В этом романе автор делится с читателями своим воспоминанием об одном русском человеке, которого он встречал в Петрограде, в Париже, в Америке. Этот человек не очень-то высокого мнения о правдивости своего биографа. Когда тот завел в его при-

---

* Нанси Митфорд «Влюбленный Вольтер» *(англ.)*.



Страница дневника. 13 января 1961 г.

сутствии разговор о какой-то Людмиле, Пнин громко крикнул его собеседникам:

— Не верьте ни одному его слову. Все это враки... Он ужасный выдумщик!

— Don’t believe a word he says... He makes up every thing... He is a dreadful inventor (стр. 153).

> Все журналы поздравили своих читателей «С Новым Годом», а журнал Октябрь — с «Новым Гадом» (в редакторы Октября назначен Кочетов)

В этом, к сожалению, я убедился на собственном опыте. Со слов своего отца Влад. Дмитриевича Набокова романист рассказывает в своих мемуарах, будто в то время, когда я предстал в Букингемском дворце перед очами Георга V, я будто бы обратился к нему с вопросом об Оскаре Уайльде. Вздор! Король прочитал нам по бумажке свой текст и Вл. Д. Набоков — свой. Разговаривать с королем не полагалось. Все это анекдот. Он клевещет на отца...[1]

20 января. Храбровицкий дал мне книгу Гиппиус «Дмитрий Мережковский». Издана YMCA. Бедная, пустопорожняя, чахлая книга — почти без образов, без красок,— прочтя ее, так и не знаешь: что же за человек был Мережковский. Вместо того, чтобы изображать его, она изображает коловращение событий вокруг него, причем путает и даты и факты. (Как они бежали через Гомель — пожалуй, верно описано, но о поездке Ал. Толстого, Егорова и Набокова в Лондон — все брехня.) И кроме того: холодное, безлюбое сердце.

В этот же день я получил от Ел. Драбкиной ее книгу «Черные сухари». На одной странице больше таланта, души, жизни, чем во всей книге Гиппиус, хотя тема книги мне глубоко чужда.

Сегодня же книга Марии Карловны Куприной «Годы молодости» о Куприне. В ней Куприн слишком благолепен и благостен — и многое завуалировано, но книга жгуче интересна — и главное, живая, не то что книга-кадавр З. Гиппиус.

21 января. Страшная годовщина. Через месяц —6 лет со дня смерти Марии Борисовны. Я перечитываю ее письма ко мне. Поразительное,— которое начинается «Дорогой Коля, получил ли ты мое письмо. Я на этот раз не могу дождаться от тебя ответа. Как ты себя чувствуешь?» и т. д. Это письмо написано в 1911 году, когда я на деньги Леонида Андреева уехал в санаторий Гранкулла. Письмо доверчивое, нежное, светлое. О том, что Коля издает с Юрой журнал «Ясное небо», что у М. Б. были в гостях на блинах Дымов, Гржебин, Брусянин, Коппельман с сестрой, Вера Евгеньевна Беклемишева, Елена Карловна Добраницкая, О. Л. д'Ор, Лернер — все ныне умершие, давно уже ушедшие в землю — как и она — она была рада с ними, с друзьями — по-человечески — провести вечер — и как мало в ее жизни было таких вечеров! Какая чувствуется в ее письме любовь ко мне, к ним ко всем, к Коле, к жизни,— и каким подарком была для меня ее дружба! И какие страшные ждали ее удары! Умирание (долгое) Мурочки — и она там у ее постели в Крыму — какое трагическое письмо от 28 декабря 1930 года — сейчас после шторма — в голодном Крыму — откуда она послала Бобе «богатейшие варежки»... Сколько благородства, героизма, душевной ясности[2].

Я целый день под впечатлением этого своего общения с нею — приобщения к ней — не нашел себе места и бросился к Достоевскому и стал читать любимейшего своего «Игрока» — где гениальность Достоевского дана без всяких посторонних примесей — чистая гениальность — в сюжетосложении, в характерах, в создании образа бабуленьки, в диалогах, в нервном подъеме вдохновения. ⟨...⟩

7 февр. ⟨...⟩ Прочитал в «Нов. Мире» воспоминания Эренбурга — об убиенных Мандельштаме, Паоло Яшвили, Цветаевой, Маяковском. Пафосу этой статьи мешает мелькание людей —

имен,— мест — устаешь от этой чехарды. Но все же это подвиг, событие. 〈...〉

11-го счастливейший день. С утра до вечера пишу без оглядки, не перечитывая того, что написалось. Писать мне приятно лишь в том случае, если мне кажется, что я открываю нечто новое, чего никто не говорил. Это, конечно, иллюзия, но пока она длится, мне весело. Завтра будут у меня Алянский и Цейтлин с рисунками к «Серебряному Гербу». 〈...〉

1 апреля. День рождения: 79 лет. Встретил этот предсмертный год без всякого ужаса, что удивляет меня самого. 〈...〉

Очень интересно отношение старика к вещам: они уже не его собственность.

Всех карандашей мне не истратить, туфлей не доносить, носков не истрепать. Все это чужое. Пальто пригодится Гуле, детские англ. книжки Андрею, телевизор (вчера я купил новый телевизор) — гораздо больше Люшин, чем мой. Женя подарил мне вечное перо. Скоро оно вернется к нему. И все это знают. И все делают вид, что я такой же человек, как они. 〈...〉

1 мая. 〈...〉 Я встретил Асмуса. Асмус встревожен. Хотя он (вместе с Вильмонтом, Эренбургом и семьей Пастернака) душеприказчик Пастернака, Гослит помимо комиссии печатает книгу Пастернаковских стихов. Стихи отобрал Сурков — в очень малом количестве. Выйдет тощая книжонка. Комиссия по наследству Пастернака написала высшему начальству протест, настаивая, чтобы составление сборника было поручено ей и был бы увеличен его размер. А Зин. Ник.— против этого протеста. «Пусть печатают в каком угодно виде, лишь бы поскорее!»

Сейчас у З. Н.— инфаркт. И в этом нет ничего удивительного. Странно, что его не было раньше — столько намучилась эта несчастная ж[енщи]на.

Поэтому протест написали тайком от нее, и Ленечка послезавтра повезет его куда следует.

23 июля, воскресенье. У меня было отравление, потом бронхит. Еле жив. Не выходил 3 недели. Все больше валяюсь в постели. Вожусь с «языком». Но сегодня надо встать. Через полчаса начало спектакля (у нас в лесу) «Ореховый прутик» — по мотивам румынских народных сказок.

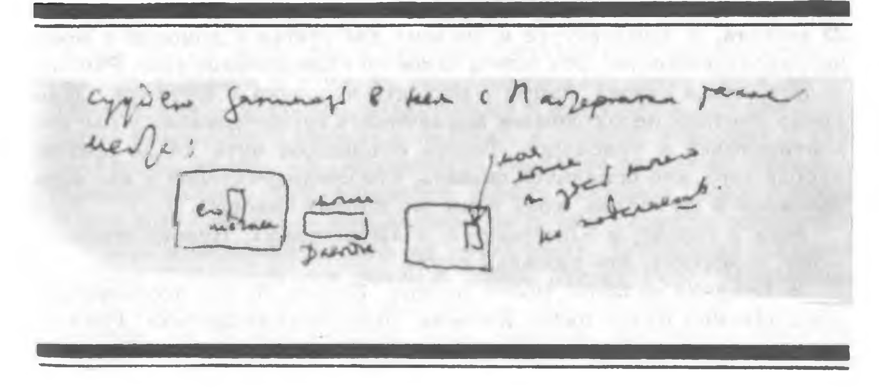
Все это устроила Цецилия Александровна Воскресенская, дочь жены Сельвинского — женщина феноменальной энергии. Она всполошила весь поселок, устроила декорации, два месяца натаскивала всю детвору, вся детвора заворожена этим спектаклем. Вчера я дошкандыбал до костра — увидел такое предспектакльное настроение, какое помню только в Худож. театре перед постановкой «Слепых» Метерлинка. Все дети вдруг оказались милыми,

дисциплинированными, сплоченными тесной дружбой. Ровно в 12 за мною пришли.

Приехали две подруги Клары — Вера и Нелли, приехала американка педагог Елена Яковлевна с мужем Фрицем — психологом, погода чудесная, идут, идут, идут без конца наряженные дети, и дежурные указывают им путь. Я гляжу из окна. Видна крепкая организация, какой у нас не бывало. Надеваю индейские перья — схожу вниз — и вижу чудо. Великолепная декорация с башней. Все дети — шелковые. За кулисами суета — на сцене идеальный порядок. Девочка Марина Костоправкина играет роль героини, идущей освободить своего брата от чар ведьмы. Ведьма — Груня Васильева. Немножко жаль, что чудесные детские лица прикрыты масками: Котя Смирнов — дракон, Женя — прикованный к скале великан — ужасные личины, под которыми свежие щеки и детские глаза. Спектакль идет без суфлера. Все знают свои роли. Среди публики — Конст. Федин (оба его внука — участники спектакля)... В пять часов чай в библиотеке, роскошно сервированный для артистов. Успех огромный. Десятки детей хотят записаться в кружок.

Я все бьюсь над статейкой о школьном арго. Больно чувствовать себя бездарностью. 〈...〉

30 июля 〈...〉 Первые пять глав своей книги «Живой как жизнь» я уже отдал «Молодой Гвардии». Отдал в субботу, а в понедельник утром редакторша Сырыщева (Татьяна Як.) позвонила мне, что книга ей в общем нравится. Жара страшная. Был на кладбище. Так странно, что моя могила будет рядом с Пастернаковой. С моей стороны это очень нескромно — и даже нагло, но ничего не поделаешь. Покуда земной шар не перестанет вертеться — мне суждено занимать в нем с Пастернаком такие места:



Страница дневника. 30 июля 1961 г.

Слишком большую главу занимают в моей книжке канцеляризмы. Между тем дело не только в них, пропала самая элементарная грамотность.

4 авг. Сегодня Митя держал первый экзамен — русский письменный. Дали тему: «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях». Он написал удачно: ввел всякие сказания о геройствах от «Слова о полку Игореве» до «Волоколамского шоссе» Бека. Я очень волновался за него — из чего заключаю, что за то время, пока он живет у меня, я успел полюбить его. ⟨...⟩

Сегодня 6-го августа два огромных события — полет 2-го Востока в космос, Германа Степановича Титова. Сейчас, когда я сижу в комнате и пишу эти строки, его, Германа Степановича, мотает в безвоздушном пространстве вокруг этой трагически нелепой планетки — с ее Шекспирами, Львами Толстыми, Чеховыми, Блоками, Шиллерами — и Эйхманами. Что он чувствует в эту минуту? Меня почему-то томит такая тревога, что я буквально не нахожу себе места. Нашел ли он там, в пустоте, бессмертье или смерть?

И второе событие. Я закончил (даже не верится) свою книгу «Живой как жизнь», над которой корпел день и ночь весь этот год,— и как я боюсь, что в ней сказались мой старческий склероз, мои бессонницы, моя предсмертная тоска. Книжка вышла свежая и, пожалуй, не вредная. Великую техническую и не только техническую помощь оказала мне Татьяна Яковлевна Сырыщева, которая и сортировала полученные мною письма о языке (я получил их около 200), и переписывала на машинке последние страницы. Всех страниц оказалось 180. Всех глав семь. И я даже поверить не могу, что, вставая с постели в 4—5 час. утра, я уже не должен сочинять эти главы. ⟨...⟩

23 августа. В «Литературе и жизни» две статьи с доносом о моей неблагонадежности[3]. Эта газета какое-то «Ежедневное ура». Рассердилась, что я сказал, будто у нас есть человеки в футляре. Одно время считали необходимым замалчивать существование у нас очковтирателей и тунеядцев. Теперь объявляют чуть ли не врагом народа того, кто осмелится сказать, что среди учителей у нас есть человеки в футлярах, хотя сами же плодят таковых. ⟨...⟩

Был в городе, в «Литгазете», в «Известиях». Нужно отвечать «Лит. и жизни», это тяжелая скука.

В Барвиху — 28-го, после костра. Костер будет послезавтра: представлена будет пьеса Катаева «Цветик-семицветик». Репетировали ее каждый день — два месяца. Выявился огромный талант Марины Костоправкиной — лирический, богатый оттенками. Мальчики смастерили космический корабль, заготовлены чудесные атрибуты цветов (разноцветные фартухи, яркие, пышные, сказочные), разработаны музыкальные номера, соберутся все окрестные

жители и кое-кто из города и вдруг это все провалится из-за дождя! Страшно подумать.

28 августа. «Костер» был великолепен. Дети все до одно[го] оказались необыкновенно талантливы. Собралось около 1000 зрителей. Все время накрапывал дождик, но это никого не смутило. Циля оказалась отличным педагогом-режиссером. Ей устроили овацию. Потом человек 10—12 пошли ко мне обедать: Сельвинские, Нилин, Панич (из Питера), Смирнов, индиец Синх, *Флара* Литвинова, Шаскольская с девочками, крохотная Оксана (дочь Цили), Женя, Митя, Марина, Коля.

Я в Барвихе. Сыро. Корплю над «врезкой» по поводу нападок «Литер. и жизни».

Маршак еще сильнее похудел — его щекастое лицо стало узким и длинным, плохо стоит на ногах, недавно у него было 39°, кашляет непрерывно; читал мне свои переводы Edward'а Lear'а — чисто, аккуратно, но не смешно, как в подлиннике:

They went in a sieve to a sea, they say,
In a sieve they went to the sea*,—

нет энергии подлинника, нет изюминки. Словом, хорошо, но это не прежний Маршак. Вспоминает о Тамаре Габбе — курит. Возмущается стихами Михалкова в «Правде» — особенно концом: пишу не для поэтов-эстетов, а для вас, для народа.

Вечером я пошел с Иофаном гулять. Иофан овдовел, с ним нет его милой Фабрициевны; он моложав, студентоподобен, необыкновенно скромен, мил. Нас догнал Твардовский — в конце концов мы разбились на пары — Иоф. пошел с каким-то толстым глуповатым химиком, мы пошли с Твардовским. Тв. бодр, душевно приподнят, изумительно прост. Заговорили о романе Федина «Костер» — «Чистописание». «Внутри пусто, но форма хорошая. Видно, что не знает, кто в деревне бригадир, кто председатель — никогда в жизни с этим не сталкивался. Но очень старателен». Паустовский — мещанин, влюбленный в красивость. Его автобиография ложь. «Волк вбежал в палатку, я схватил винтовку и уложил его на месте». «В Переделкино умирание талантов: Леонов — бывший талант, Фед.— бывший талант, Тихонов, Всев. Иванов. И вот еще Соболев.— Как должно быть ему страшно проснуться ночью — и вспомнить, что он — Соболев». (Рассказал историю с m-me Соболевой — и раком). Очень ругает Серг. Михалкова. «Ведь уже седой, а такой мазурик...» Рад, что отстоял Дороша о деревне, «в печати еще не было отзывов, но писем приходит много». Поезжайте по России — во всех книжных киосках най-

---

* Они пустились в море в решете, говорят/В решете они пустились в море *(англ.)*.

дешь нераскупленным роман Леонова «Русский лес». А его — о Толстом: жульничество. Ни одной мысли — одни вензеля. А начальство не видит, что это пирог с нетом, и он продал эту чушь за 10000 р.— Она вышла брошюрой.— Ведь читать невозможно — смехота. И т. д., и т. д. Мы разошлись в 12 часов ночи, и я не заснул до утра.

3 сентября. Всю эту неделю я хвораю: темп. 37,4. Тоска величайшая. После горячего душа вышел на сквозняки коридорные.

С Твардовским неск. длинных разговоров. «Ненавижу я слово: *творчество*. Совестно говорить про себя: я живу в доме творчества. Мне дана «творческая командировка» и т. д. Я даже слово *поэт* не смею применить к себе. А теперь сплошь говорят: мы, трое поэтов. Как вычурно пишет Паустовский, а обыватель любит. А какой шарлатан Лев Никулин! Бедный Казакевич: не дается ему солдатская речь. Чуть начнут говорить солдаты — фальшь. В его рассказе идеально честный солдат приносит золотые часы вдове своего командира... Василий Тёркин пропил бы их, и был бы прав. Что за чудак Маршак. Он требует, чтобы его переводы печатались так: раньше крупными буквами: Маршак, потом перевод, а потом внизу мелким шрифтиком Шекспир».

Подарил мне «За далью даль» — с доброжелательной надписью[4]. ⟨...⟩

18 сент. Познакомился я с нашим израильским послом[5]. Он недавно приехал из Иерусалима. У одного из америк. богачей в Иерусалиме есть вилла; в молодости этот богач был (по линии бизнеса) связан с Сов. Союзом — поэтому он пригласил к себе нашего посла — и первое, что тот увидел, был

Мой Портрет работы Репина.

Вот куда он перекочевал из Америки. Итак, путь этого портрета: Куоккала, Рим, Москва, Нью-Йорк, Иерусалим. Интересно, куда метнет его дальше. Между тем Репин торжественно подарил его мне. ⟨...⟩

1962.

21 февраля. ⟨...⟩ Вчера закончил работу над Сашей Черным (малая серия) и отправил в Л-д. Принимаюсь за работу над «Искусством перевода». Читаю свое «Высокое искусство» и вижу, какая это сумбурная многословная книжка.

Сегодня получил официальное приглашение в Оксфорд и письмо от С. А. Коновалова, дающее мне указания, какие лекции там читать и прочее.

По случаю годовщины со дня смерти М. Б. были Марина и Агата Андр. Охотина. Охотину я помню 20-летней девицей, прыгавшей в Лутахенде через костер, а теперь ей 76 лет. Т. к. она сибирячка, зубы у нее до сих пор целы, но — хотя она кончила высшее учебное заведение — и прошла в более позднее время весь курс англ. языка (в школе Берлитца), она не помнит никаких наук, **ни слова** не понимает по-английски и вообще совершенно разинтеллигентилась — интересы у нее чисто бабьи (у кого сколько детей) и разговор кухарочный — но феноменально благородный, светлый человек. Одного из ее сыновей, челюскинца, расстреляли, оттого что он ездил на охоту с Попковым.

22 февраля. ⟨...⟩ Сейчас вспомнил, как мама оберегала мою детскую нравственность: лет семи я принес откуда-то песенку:

Ах какое наслажденье
Офицера быть женой.
Муж поедет на ученье,
А ко мне придет другой.

Мама сказала:

— Ты не так поешь. Нужно:

И жену возьмет с собой.

Сейчас уехала от меня Вера Федоровна Панова — первая вне всякого сравнения писательница Советского Союза — простая, без всякого чванства. Рассказывала о том, как в 1944 году везла троих детей и больную мать в Пермь из Полтавы и как за две бутылки самогону и мешок сухарей ее пустили в вагон, на который она имела полное право, т. к. у нее были билеты. Показала в лицах ту бабу-железнодорожницу, с к-рой она вела переговоры. Как баба и кондуктор пробовали самогон, хорош ли и т. д. Очень умна, необыкновенно деятельна, сейчас от меня поехала в Мосфильм, там по ее сценарию готовится кино-картина. За два года изготовила шесть сценариев.

Ярко талантлива и очень естественна в каждом движении — держит себя как самая обыкновенная женщина. ⟨...⟩

24 февр. Сейчас была у меня Ольга Николаевна Высотская; принесла воспоминания о Мейерхольде, с которым она *жила* в Териоках. Бывшая красавица — сейчас ей не меньше 80 — и все же остались повадки и манеры красавицы. После Мейерхольда она сошлась с Гумилевым и имела от него сына Ореста, который теперь... заведует мебельной фабрикой. Он сводный брат Левы Гумилева, сына Анны Ахматовой ⟨...⟩ О. Н. говорит, растягивая гласные; моталась при большевиках в разных городишках и селах, ставя самодеятельные спектакли, получает 33 рубля ежемесячной пенсии. Вспоминает Пронина, Евреинова, Сапунова. ⟨...⟩

1 марта. ⟨...⟩ Эльсберга исключили-таки из Союза за то, что он своими доносами погубил Бабеля, Левидова и хотел погубить Макашина. Но Люсичевский, погубивший Корнилова и Заболоцкого — сидит на месте[1]. Катаев встретил Колю и сказал ему, будто найдено письмо Леонова к Сталину, где Леонов, хлопоча о свое[й] пьесе «Нашествие», заявляет, что он чистокровный русский, между тем как у нас в литературе слишком уж много космополитов, евреев, южан. ⟨...⟩

5 марта. ⟨...⟩ Вчера я получил из Оксфорда фантастическое приглашение. Университе[т] за мои литературные заслуги (!?) намерен торжественно возложить на меня мантию «д-ра литературы». Неужели я и в самом деле достоин такой чести? Кроме удивления, никаких чувств это во мне не вызывает. А ездить в город, в Союз, в ЦК — по этому поводу, ох как не хочется. ⟨...⟩

На днях выйдет «Новый Мир» с моей статейкой о Куприне. Звонила сегодня Сырыщева, что «Живой как жизнь» уже отпечатан. У нее есть сигнал.

7 марта. Но боже мой, какие бывают подлецы. Оказывается, что Югов, тоже печатающий в «Молодой гвардии» книгу о языке, с января требует, чтобы издательство рассыпало набор моей книжки — и вообще не издавало бы ее. Бек был в кабинете директора изд-ва (Потемкина), когда тот очень подобострастно разговаривал с Алексеем Кузьмичем (Юговым).— «Нет, все же невозможно рассыпать, нет, придется выпустить!»

Бек сказал об этом Коле, и сегодня же была у меня Сырыщева, принесла мне экземпляр книжки «Живой как жизнь». Книжка вышла бы в начале февраля. Ее задержал Югов — и отчасти Сырыщева, к-рая задумала обложку, на которой должна была составиться из разных слов, обсуждаемых в книжке, орнаментальная вязь. Слова были выбраны наобум, но издательство усмотрело в них клевету на комсомол — и запретило обложку, уже напечатанную в 175 тысячах экземпляров, за что и объявило Сырыщевой выговор. ⟨...⟩

Но каков Югов! Во время войны он здесь в Переделкине симулировал сумасшествие — и как пресмыкался предо мной! А я долго не знал, что он — симулянт, и очень жалел его.

Ночью разговаривал с Храбровицким. Редактируя «Записки моего современника», он нашел новые канонические тексты. Работал над изданием два года, не получая ни копейки, влез в долги, и теперь издательство вернуло ему его работу — так как не согласно с его принципами редактирования. ⟨...⟩

17 марта. ⟨...⟩ Книжка моя «Современники» имеет 700 стр. Я с Кларой и Мариа[н]ной Шаскольской держал ее корректуру, и она (книжка) вдруг показалась мне такой пустопорожней и тусклой и кособокой, что я упросил изд-во не торопиться с ее печатанием и дать мне возможность исправить ее, хотя мне кажется она неисправимой. А статья о «Скрипке Ротшильда» по-прежнему кажется мне очень неплохой, но нецензурной, так как она вся направлена против идиотской теории о делении литературных героев на положительных и отрицательных. ⟨...⟩

18 марта. ⟨...⟩ Лида рассказывает, что на ее книжке, изданной в «Библиотеке путешествий», была поставлена марка издательства «Б П». Велели марку убрать, так как испугались, как бы кто не прочел Борис Пастернак[2]. ⟨...⟩

30 марта 1962. Вчера меня «чествовали» в Доме Пионеров и в Доме Детской книги. ⟨...⟩ Отлично сказал Шкловский, что до моих сказок детская литература была в руках у Сида, а мои сказки — сказки Гекклъбери Финна. ⟨...⟩

Все эти заботы, хлопоты, речи, приветы, письма, телеграммы (коих пуды) созданы специально для того, чтобы я не очнулся и ни разу не вспомнил, что жизнь моя прожита, что завтра я в могиле, что мне предстоит очень скоро убедиться в своем полном ничтожестве, в полном бессильи.

Получил орден Красного знамени. Одновременно с Юговым. ⟨...⟩

Письмо от Казакевича[3].

2 апреля. Выступал в Политехническом Музее и по телевизору. Меня по-прежнему принимают за кого-то другого. Что делалось в Политехническом! По крайней мере половина публики ушла не достав билетов. Зал переполнен, все проходы забиты людьми. И все сколько есть смотрят на меня влюбленными глазами. Андроников пел мне дифирамбы ровно полчаса. Я чувствовал себя каким-то мазуриком. Ведь, боже мой, сколько дряни я написал в своей жизни, постыдной ерунды, как гадки мои статьи у Ильи Василевского в «Понедельнике». Чтобы загладить их, не хватит и 90 лет работы. Сколько пошлостей — вроде «Англия накануне победы», «Заговорили молчавшие». Ничего этого нельзя оправдать тем, что все это писалось искренне. Мало утешения мне, что я был искренний идиот. Получено больше тысячи телеграмм, среди них от Анны Ахматовой, Твардовского, Паустовского, Исаковского и проч. ⟨...⟩

7 апреля. Утром во дворце — получал орден. Вместе со мной получал бездарный подонок Югов, которому я не подал руки. Брежнев говорил тихим голосом и был очень рад, когда оказалось, что никто из получавших орден не произнес ни одного слова. Любимое выражение Брежнева: «я удовлетворен», «с большим удовлетворением я узнал» и т. д.

Оттуда в Барвиху. Первый, кого я увидел в холле,— Твардовский, с ясными глазами, приветливый. В столовой увидел Исаковского. Он, бедняга, совсем слепнет. Черные очки. 〈...〉

9 апреля. Вчера вечером кино — отвратное. После пяти минут я выскочил как ужаленный. Читаю Jane Austen «Pride and Prejudice»*. Чудесная прозрачная изящная проза. 〈...〉

Твардовский относится ко мне трогательно. Сегодня подошел к моему столу и сказал, что в пять часов придет ко мне побеседовать. Говорили о здоровье Маршака. Оно сильно улучшилось. Изумительно четкие кованые стихи прислал мне Маршак к моему 80-летию, свидетельствующие о его душевной силе — и власти над материалом[4].

Отправил письмо Алянскому, где браню рисунки Цейтлина к «Серебряному гербу».

Сегодня приедет ко мне С. В. Образцов.

Между тем я чувствую себя и простуженным и всю ночь маялся животом.

Твардовский располнелый, с очень ладными уверенными движениями, в полной поре прекрасной зрелости. Вчера Исаковский прочитал едкое стихотворение о том, что их судьбы схожи — «У меня есть „Победа“ и у Тв. есть „Победа“, но я езжу в своей, а он — в казенной».

Со мной за столом сидит какое-то большое начальство женского пола (из Белоруссии).

Сейчас был у меня Твардовский. Поразительный человек. Давно уже хотел бы уйти из «Нового Мира». «Но ведь если я уйду, всех моих ближайших товарищей по журналу покроет волна».— И он показал рукою, как волна покрывает их головы. Ясные глаза, доверчивый голос. «Некрасову издавать «Современник» было легче, чем мне. Ведь у него б[ыло] враждебное правительство, а у меня свое». Принес мне рукопись некоего беллетриста о сталинских лагерях. Рукопись дала ему Ася Берзер[5]. Рассказывал, как он нечаянно произнес свою знаменитую речь на XXII съезде. Подготовил, но увидал, что литераторов и без того много. Оставил рукопись в пальто. Вдруг ему говорят: следующая речь — ваша. Рассказывал о Кочетове, что ему кричали «долой!», а в газетных отчетах это изображено, как «оживление в зале». Публика смеялась над ним издевательски, а в газетах: («Смех в зале».) 〈...〉 Говорил о черносотенцах и подонках: «они вовсе не так сплочены —

---

* Джейн Остен «Гордость и предубеждение» *(англ.)*.



Картина работы Вл. Конашевича. Персонажи из сказок поздравляют Чуковского с восьмидесятилетием. 1962 г. Печатается впервые

охотно продают друг друга, и притом все как один бездарны. В нем чувствуется сила физическая, нравственная, творческая. Говорил об Эренбурге — о его воспоминаниях. «Он при помощи своих воспоминаний сводит свои счеты с правительством — и все же первый назвал ряд запретных имен, и за это ему прощается все. Но намучились мы с ним ужасно». Говорит о Лесючевском: «Это патентованный мерзавец. Сколько раз я поднимал вопрос, что его нужно прогнать, и все же он остается. А его стукачество в глазах многих — плюс: «значит, наш».

13 апреля. 〈...〉 Третьего дня Тв. дал мне прочитать рукопись

«Один день Ивана Даниловича» — чудесное изображение лагерной жизни при Сталине. Я пришел в восторг и написал краткий отзыв о рукописи[6]. Тв. рассказал, что автор — математик, что у него есть еще один рассказ, что он писал плохие стихи и т. д. ⟨...⟩

12 апр. 1962. Сейчас в три часа дня Александр Трифонович Твардовский, приехавший из города (из Ленинского комитета), сообщил мне, что мне присуждена Ленинская премия. Я воспринял это как радость и как тяжкое горе.

Чудесный Твардовский провел со мною часа два. Шутил: «вдруг завтра окажется, что вы всю свою книгу списали у Архипова!» Говорил об Ермилове, который выступил против меня. Оказалось, что провалились Н. Н. Асеев, Вал. Катаев. Я — единственный, кому досталась премия за литературоведческие работы. Никогда не здоровавшийся со мною Вадим Кожевников вдруг поздоровался со мною. Все это мелочи, которых я не хочу замечать. ⟨...⟩

13 апр. 1962. ⟨...⟩ Я забыл записать, что 11 апр. Твардовский, отправляясь в Ленинский Комитет голосовать, не достал машины. Жена его почему-то не прислала ему «Победы». Он пошел пешком на станцию и с большим трудом доехал в поезде. Очень против меня ораторствовала Елена Стасова, с к-рой у меня было столкновение в Барвихе. ⟨...⟩

14 апр. воскресенье. ⟨...⟩ *Твардовский* сидит с компанией в холле: Я проходя говорю: «Совет старейшин». Он отзывается: Совет Курейшин. (Это стоит суетории[7]).

18 апр. Сегодня были у меня из Гослитиздата Софья Петровна Краснова и новый заведующий отделом литературоведения. Мы выработали 6 томов моего Собрания Сочинений. Ох, сколько предстоит мне работы. ⟨...⟩

19 апр. ⟨...⟩ Твардовский входит в столовую майестатно хозяйской походкой человека, только что оторвавшегося от интересной и важной работы. Странно, что он *на ты* с Вадимом Кожевниковым и что они так мирно беседуют. ⟨...⟩ Читаю Ажаева. Я даже не предполагал, что можно быть таким неталантливым писателем. Это за гранью литературы.

22 апр. Хотел ли я этого? Ей-богу, нет! Мне вовсе не нужно, чтобы меня, старого, замученного бессонницами, показывали в телевизорах, чтобы ко мне доходили письма всяких никчемных людей с таким адресом: «Москва или Л-д Корнелю Чуйковскому», чтобы меня тормошили репортеры. Я потому и мог писать мою книгу, что жил в уединении, вдали от толчеи, пренебрегаемый и «Правдой» и «Известиями». Но моя победа знаменательна, т. к. это

[illegible]

Куда Москва

Кому Чуковскому
Корнею Ивановичу —
любимцу маленьких и
больших.

Адрес отправителя Ленинград М-6
Колмовская ул. 7 кв 5
Кичанова З.А

Любопытный адрес

Страница дневника. Наклеен кусок конверта с адресом.
19 апреля 1962 г.

победа интеллигенции над Кочетовыми, Архиповыми, Юговым, Лидией Феликсовной Кон и другими сплоченными черносотенцами. Нападки идиота Архипова и дали мне премию. Здесь схватка интеллигенции с черносотенцами, которые, конечно, возьмут свой реванш. В «Правде» вчера была очень хитренькая статейка Погодина о моем... даже дико выговорить! — снобизме[8].

Первым приехал меня поздравить Лев Ст. Шаумян.

Две недели мастера, вооруженные отбойными молотками, уничтожают памятник Сталину, торчавший в Барвихе против главного входа. Целый день, как бормашина у дантиста, звучит *тр-тр-тр* отбойных молотков.

Екатерина Павловна Пешкова, которую я навестил, чувствует головокружение — ее «шатает».

30 апреля 1962. Ек. Павл. Пешкова получила от Марии Игн. Бенкендорф (Будберг) просьбу пригласить ее к себе из Англии. Ек. Павловна исполнила ее желание. «Изо всех увлечений Алексея Максимовича — сказала она мне сегодня — я меньше всего могла возражать против этого увлечения: М. Игн.— женщина интересная». Но тут же до нее дошли слухи, будто Мария Игн. продала каким-то английским газетам дневники Ал. М-ча, где говорится о Сталине. «Дневников он никаких никогда не вел,— говорит она,— но возможно, что делал какие-нибудь заметки на отдельных листках». И вот эти-то заметки Мария Игн. могла продать в какое-ниб. издательство. Лицо Екат. Павл. покрывается пятнами, она нервно перебирает пальцами. ⟨...⟩ Заговорили опять о Марии Игнатьевне. «Когда умирал Ал. Максим., она вдруг дает мне какую-то бумажку, исписанную рукою Крючкова — и подписанную Горьким. «Пожалуйста, А. М. просил, чтобы вы передали эту бумажку Сталину, а если нельзя, то Молотову». Я сначала даже не взглянула на эту бумажку, сунула ее в карман халата, но потом гляжу: да это — завещание! — обо мне ни слова, все передается в руки Крючкова!» (И опять на лице красные пятна.) Вот воспоминания, терзающие эту беспокойную душу.

5 мая. Ну вот и кончается моя Барвиха. Завтра уезжаю. Очень рад. ⟨...⟩

19 мая. В Англии я был в 1903—1904 годах — провинциал, невежда. Шестьдесят лет назад. Cadbury Cocoa и Beechamp's Pills, Review of Reviews* — нищий — из Russel Square я был выгнан в Tichfield Street — улица безработных, воров и проституток: настоящий slum**. Теперь половина пятого — в 8.30 отлетает мой самолет. В 80 лет — я ничего не чувствую, кроме усталости.

21 мая. Летели мы очень хорошо. В самолете мне с Мариной до-

---

* Какао Кадбери, таблетки Бичампа, Обзор обзоров *(англ.)*.
** Трущоба *(англ.)*.

стались отличные места. Впереди. Ни с кем не познакомились в пути. Видели далеко, глубоко под собою — облака. Пролетели над Копенгагеном, и вот Лондон. Встретил меня Ротштейн и незнакомец. Оказывается, я гость Британского Совета. В Посольство — мимо Кенсингтон Garden — знакомые места. Чуть не плачу от радости. Сопровождающий меня англичанин — оказался тем самым Норманом, которого я встретил в Переделкине! Шел по Переделкину молодой ч[елове]к без шляпы, я догадался, что это—англичанин, затащил его к себе — и он прочитал мне по моей книге Броунинга «О Галупи Балтасаро this is very sad to find»*. Оказывается, он — работник Британского Совета. В Оксф[ордском] Randolf Hotel — две прелестные комнатки с тремя зеркалами каждая, но без письменного стола. Встретил нас С. А. Коновалов без шапки — бесконечно милый. ⟨...⟩

Был в Бодлейн Library** — чудо! Letters of Swinburn***, собр. соч. Трол[л]опа. Чудесное издание Газзлита — и красота дивная, гармоничность всего архитектурного ансамбля подействовала на меня как музыка. Видел прелестные рисунки *Сомова, Бенуа, Серова, П[астерна]ка отца, видел эскизные портреты Ленина (с натуры).*

24 мая. Счастливейший день. Облачно, но дождя нет. Зашли за мною студенты вместе с Pier'ом Хотнером, который каждую свою речь начинает словом: «Послушайте!» По дороге мы купили бритву и банку чернил. Подъехала машина, и в ней жена Пьера — с мальчиком Мишей 8 месяцев — умное глазастое лицо — прелестный мальчуган. По дороге — Alice's Shop, лавка, где Люиз Кэрролл покупал для детей леденцы. В честь Люиз Кэрролла поехали по Isis'у в лодке, здесь ровно сто лет назад он рассказывал девочкам Лиддел «Alice in Wonderland»****. Прелестная река — виды великолепные, вдали Magdalen Tower, серая белка прыгает, как кенгуру, в траве, в воде лебеди, и кажется, будто и белка и лебеди здесь с 1320 или с 1230 года. ⟨...⟩

Я забыл записать, что третьего дня происходила церемония, при помощи которой меня превратили в Lit. D[octor]'a*****. Процедура величественная. Дело произошло в Taylor Institution, так как то здание, где обычно происходят такие дела, теперь ремонтируется. На меня надели великолепную мантию, по обеим моим сторонам встали bedels (наши педели?) с жезлами, в мантиях, ввели меня в зал, наполненный публикой,— а передо мною на возвышении, к к-рому вели четыре ступеньки, сидел с каменным, но очень симпатичным лицом Vice Ghancellor of Oxford University проф. А. Л. П. Норрингтон. Профессор Ворчестера A. N. Bryan (Broun)

* как печально это обнаружить (*англ.*).
** библиотека (*англ.*).
*** Письма Суинборна (*англ.*).
**** «Алиса в стране чудес» (*англ.*).
***** Доктора лит[ературы] (*англ.*).

прочитал латинскую похвалу, где упомянул «Crocodilius'а», после чего я поднялся на 4 ступеньки и пожал Vice Chancellor'у руку.

Vice Chancellor посадил меня рядом с собою, после чего я пошел читать лекцию о Н[екрасо]ве. Читал я легко, непринужденно, почти без подготовки — и к своему удивлению имел громадный успех. Перед этим проф. Obolensky огласил мою краткую биографию. Я читал по англ. отрывки из Swinburn'а и прославил нашу советскую науку, наше литературоведение, назвав имена акад. Алексеева, Макашина, Машинского, Скафтымова, Вл. Орлова, Оксмана, Зильберштейна и многих других русских исследователей л-ры[9].

После моей лекции Reception* тут же. ⟨...⟩

Вернувшись, я предложил Марине пройтись переулками перед сном. Тихие средневековые стогны — и вдруг из одного домика выбегает возбужденная ж[енщин]а и прямо ко мне: «Мы воспитались на ваших книгах, ах, Мойдодыр, ах, Муха Цокотуха, ах, мой сын, который в Алжире, знает с детства наизусть ваше «Тараканище» — вовлекли меня в дом и подарили мне многоцветный карандаш.

Марина чудесный товарищ в путешествии, ее сопутствие радует меня очень. Коновалов чистый ч[елове]к, любит Россию горячей любовью. ⟨...⟩

26 мая. Вчера два визита: заехал за нами сэр Морис Баура — автор «Песен диких народов» — и повез нас в свою гениальную холостяцкую квартиру, ту самую, где когда-то в тысяча шестьсот... котором-то году жил сэр Кристофер Рен. Таких музыкальных пропорций, такой абсолютной гармонии, такого сочетания простоты и роскоши я никогда не видал. Быть в такой комнате значит испытывать художественную радость. А комнат у него много — и столько книг в идеальном порядке, итальянские, греческие, французские, русские, английские — наверху зимний сад с кактусами. Завтрак в такой столовой, что хочется кричать от восторга. Sir Maurice холостяк. Бесшумный лакей — chicken, chocolade pudding**, говорили о Роберте Броунинге, о Суинберне, Уотт Dunton'е, сэр Морис декламировал Фета, Гомера, Сафо. ⟨...⟩

Едва я пришел домой, меня уже поджидали студенты — повели меня на St. Giles street, где труппа студентов из 12 человек ежедневно с $2^1/_2$ до $3^1/_2$ изображает пьесу о Робине Гуде. Помост, вокруг которого ограда из раскрашенных полотнищ, на помосте столб, на столбе тряпка, на которой изображена луна со звездами — это ночь, когда нужно изобразить рассвет, тряпку переворачивают, возникает солнце. Артисты и артистки патетически молоды — 18, 19, 20 лет, Робин Гуд огромный детина со счастливым лицом, есть монахини, нищие, разбойники в средневековой одежде —

---

* Прием (*англ.*).

** Цыпленок, шоколадный пудинг (*англ.*).

весело, непринужденно, молодо... Из окон сбросили листья капусты.

Стал накрапывать дождь. Я ушел и стал читать «Первую любовь» Тургенева в переводе сэра Isaiah. Перевод хороший, через некоторое время заехал за мной Оболенский на своей крохотной машине и повез меня к сэру Isaiah. Опять божественные лужайки, сверх-естественной красоты деревья, необыкновенно богатое жилье — с привкусом бесвкусицы — вкуснейшая еда, молчаливые лакеи. Лэди B[erlin], внучка миллионера Гинзбурга, который подарил Антокольскому виллу в Ницце и водил дружбу с Тургеневым и Гончаровым, стройная, молчаливая, изумительно тактичная, повела меня в комнату своего сына. Огромная комната, половину которой занимает железная дорога (игрушечная) с рельсами, вокзалами и т. д. У мальчика комиксы самые аляповатые — но безвредные, он смотрит телевизор (дебри Африки), на столе учебник латинского языка; я спрашивал его латинское спряжение всяких глаголов, лат. склонение он отвечал безупречно. Оболенский, везя нас в машине назад, прочитал своим металлическим голосом «Сон статского советника Попова». Я забыл сказать, что у Берлинов останавливался Шостакович, когда получал ученую степень. ⟨...⟩

27 мая. Погода прегнусная. ⟨...⟩ Нужно уезжать. Марина талантливо укладывается. Вечером за нами заехал милый Симонс (библиотекарь), повез меня с Мариной на обед: к себе. Я думал, что мы и пообедаем вместе с ним и чудесным автором статьи о процессе «Lady Chatterley's Lover»* (др. Сперроу он ректор (Warden) колледжа All Souls). Мы говорили о Rossetti, о Суинберне, об Оскаре Уайльде (он показывал мне дивное издание писем Оск. У., они выйдут в июне, он пишет о них рецензию). Все было дивно, я буквально влюбился в Сперроу'а — энергичный, умный, вооруженный с головы до ног — и вдруг нас повели в соседнюю залу, где человек 30 ученых в визитках с накрахмаленной грудью готовы сесть к столу. На столе вина, фрукты, и... палки такой формы . Этими палками джентльмены орудуют над столом, чтобы привлечь вазу с фруктами или бутылку вина. Сперроу разговаривал со мной непрерывно, и я впервые стал пользоваться англ. языком, даже не замечая, что говорю по-английски, ⟨...⟩

2 июня. Вчера выступал три раза: по BBC для русского отделения. Читал «Муху», «Мойдодыра», «Чудо дерево». ⟨...⟩ Приехали за нами часа в 4, повезли в Лондонский университет — колоссальное классическое здание. Вначале — приём (reception) потом Lecture room**. Большая вступительная речь проф. Кембриджс[кого] университета Элизабет Хилл, где она сравнила меня с дедушкой Кры-

---

* «Любовник лэди Чаттерлей» (*англ.*).
** Аудитория (*англ.*).

ловым. Потом два часа я с упоением читал свои стихи под *гром* аплодисментов, потом импровизированная лекция о стиле Некрасова, потом — воспоминания о Маяковском. Success* небывалый, неожиданный. Старики, молодые кинулись меня обнимать и ласкать — студенты были очень возбуждены, а директор Лондонского университета сказал, что лекция была entertaining и instructive**. Потом Крейтон (краснолицый, дюжий детина) повез меня в Клуб *«Англия — СССР»* — и там я снова читал до полного истощения сил. Горло опять болит, будь оно проклято.

3 июня. Кашляю. Выступал вчера в Пушкинском клубе. 〈...〉

Был перед этим у Iona и Peter Opie. Мудрые люди, устроившие свою жизнь мудро и счастливо. Они *вместе* создали три фундаментальные книги — и с какой любовью, с каким гениальным терпением. Весь их дом сверху донизу — музей, изумительный музей детской книги и детской игрушки. Так как в их работе — систематизация, классификация играет главную роль — в их огромном хозяйстве величайший порядок; тысячи папок, тысячи конвертов, тысячи экспонатов — распределены, как в музее. Он моложавый с горячими глазами, она черноглазая, энергичная, приветливая — их жизнь — идеал супружества, супружеского сотрудничества. Дочь их тоже собирательница. Она собирает карты всего мира, и в ее комнате нет ни одной стены, к-рая не была бы увешана географ. картами. Ей задано: прочитать 13 классич. книг: Диккенса, Теккерея и т. д. Каждую субботу в том месте, где живут эти счастливцы, в городке — распродажа книг, любая книга 6 пенсов, они каждую субботу ходят на ловлю — и возвращаются с добычей. Вообще весь их громадный музей создан не деньгами, а энтузиазмом.

Сегодня 3 июня — мой счастливейший день, прогулка с Мариной по Лондону. Солнце, потрясающей красоты здания Парламента, West Cathedral'a, парад ирландских ветеранов войны перед Cenotaph. Мы поехали в National Gallery. Она заперта! Воскресенье. 〈...〉 Постояв у закрытых ворот галереи, мы пошли на Trafalgar Square. Львы как будто выросли за те годы, что я их не видел. Огромные фонтаны с подсиненной водой. Голуби тысячами бродят по земле. Дети держат на ладошках зерно и считают себя счастливыми, если голубь клюнет у них из ладошки. Маленьких детей родители водят на вожжах. 〈...〉 Тут-то мы увидели Кенотаф — памяти погибших на войне ирландцев, и вдруг к этому памятнику с обнаженными седыми волосами и лысинами стройной колонной, по-военному, прошли в штатской одежде ветераны ирландских полков. Трубы трубили печально-панихидно, солнце, священник в белой накидке — God, save the Queen!*** Потом богослужение,—

* Успех *(англ.)*.
** Увлекательная и поучительная *(англ.)*.
*** Боже, спаси Королеву! *(англ.)*.

на груди у каждого старика десятки орденов и медалей, один без ноги, все это так растрогало меня и Марину. Так жалко было этих старичков в такой праздничный солнечный день, так стало мне жалко себя, что я побрел прочь к бессмертному красивому Вестминстерскому аббатству, по дороге: памятник Canning'у, Линкольну и... Георгу пятому. Меня это потрясло. Я привык в Москве ходить среди памятников моим знакомым: памятников Репину, Маяковскому, Горькому, но здесь в Лондоне — найти памятник — огромный, помпезный человеку, которого ты видел живым, голос которого слышал,— это так странно. ⟨...⟩

4 июня. Была Эллен Winter, возила нас в своем автомобиле. Яркая женщина. Очень хочет, чтобы я разрешил ее сыну Стеффенсу, профессору, который на днях приезжает из Америки, перевести книгу «От двух до пяти». Была Мура Будберг с какой-то Андрониковой — *глухой и слепой.* «Мне А. А. посвятила стихотворение «Тень».

— Прочтите, пожалуйста.

— Не помню. ⟨...⟩

9 июня. Летим обратно. ⟨...⟩ В самолете была 7-летняя девочка Таня, с к-рой мы очень сошлись. Она поглядела на облака, клубившиеся внизу, и сказала: «мыльная страна».— Путешествие было незаметное. Я чувствовал себя в самолете, как в трамвае.

Сразу привык к тому, что внизу видна Дания, как на карте, что в 1-м классе молчаливые пассажиры, а во втором — говорливые, что капитаны убийственно молоды, что вообще полеты на jet'ах* никакое не событие.

Колледж Christ Church основан в 1546 году. В Trinity Colledge (1554) я получал степень, там же была лекция. Степень Доктора Литературы получали в 1952 году — Могэм, в 1955 г.— король Густав VI Шведский, в 1956 г.— Жан Кокто, в 1957— Роберт Фрост, в 1962 г.— я. ⟨...⟩

15 июня. ⟨...⟩ Был вчера у Маршака. Он уезжает в Крым. Бодр необыкновенно. Читал мне свои стихи — из них лучшее — о Марине Цветаевой[10]. Читал новый перевод из Вильяма Блэйка. Еще полгода назад (да нет, три месяца назад) врачи приговорили его к смерти: он еле дышал. Теперь он стал прежним Маршаком, неистощимо работающим, с горою рукописей на столе, непрерывно говорящим со́ всеми по телефону, принимающим в день десятки людей — расточающим себя, как богач. В Крым он уезжает на пять месяцев.

Он написал рецензию на повесть «Один день», которую Твардовский все же хочет поместить в «Новом Мире» в августе. «После этой повести нельзя будет писать плохую беллетристику». В со-

---

* Реактивных самолетах (*англ.*).

седней комнате Глоцер и Лена Маршак работают над какими-то рукописями. К Маршаку пришла германская писательница, к-рую зовут Габбе, и хотя она не родственница Тамаре Григ., он принял ее особенно ласково. Читал мне стихи, посвященные Там. Григ.[11].

Мои «Современники» до сих пор не вышли. ⟨...⟩

Вечером ко мне пришел Марьямов и сказал, что Твардовский взял мою статейку о Маршаке — в понедельник будет результат.

И тут же сообщил новость: к нам приезжает Кеннеди с Робертом Фростом, а в Америку летит Хрущев с Твардовским. Каждый — со своим поэтом.

16-е июня. Суббота. ⟨...⟩ Откуда-то появилась у меня на столе ужасная книга: Иванов-Разумник «Тюрьмы и ссылки» — страшный обвинительный акт против Сталина, Ежова и их подручных: поход против интеллигенции. Вся эта мразь хотела искоренить интеллигенцию, ненавидела всех *самостоятельно думающих,* не понимая, что интеллигенция сильнее их всех, ибо если из миллиона ими замученных из их лап ускользнет *один,* этот один проклянет их навеки веков, и его приговор будет признан всем человечеством. ⟨...⟩

26 июня. ⟨...⟩ Вчера на прогулке зашел с Кларой в хибарку, где обитает Женя Пастернак со своими детьми. Пети не было, его братишка лежал во дворе в колясочке, прикрытой кисеей. Из окна «большого дома» выглянула Зинаида Николаевна — «заходите, у меня есть с вами интимный разговор».

Она загорела. «Вожусь в огороде. Но сегодня была моя докторша; вам нельзя на солнце, после инфаркта». Сейчас у нее радикулит, она больше лежит.

28 июня. Кропаю 2-ое изд. «Живого как жизнь»... Вспомнил Мурочку, реву, не могу успокоиться. *Клара — милая, чуткая.* Третьего дня был у Зинаиды Николаевны Пастернак. Она живет на веранде. Возле нее — колода карт. Полтора часа она говорила мне о своем положении: по ее словам, П-к, умирая, сказал: «как я рад, что ухожу из этого пошлого мира. Пошлятина не только здесь, но и там (за рубежом)». Перед смертью к нему пришли проститься его дети. З. Н. спросила: не хочешь ли ты увидеть О. В. Он ответил: «Нет!» Ей сказал: «Деньги у Лиды, она знает, как добыть их для тебя». Но вот Лида приехала сюда — и оказалось, что *никаких* денег у нее нет.

— Я совсем нищая! — говорила З. Н.— Когда в театре шли Борины переводы Шекспира, он весь доход от спектаклей клал на мою сберкнижку. У меня было 120000 рублей. Но его болезнь стоила очень дорого: консилиумы профессоров, каждому по 500 рублей,— осталась у меня самая малость. Теперь 500 р. (то есть по ста-

рому 5000) дал мне Литфонд, кроме того Литфонд оставил меня на этой даче и не берет с меня арендной платы, но у меня нет пенсии, и продать нечего. Ольга, когда ее судили за спекуляцию, сказала: «У Пастернака было около 50 костюмов, и он поручил мне продать их». Все это бесстыжая ложь. У П-ка был один костюм, который привез ему Сурков из Англии — от покойного отца-Пастернака — и старые отцовские башмаки, тоже привезенные Сурковым. В костюме отца я положила его в гроб, а башмаки остались. Вот и все. Когда арестовали Ольгу, пришли и ко мне — два молодых чекиста. Очень вежливых. Я дала им ключи от шкафов: «Посмотрите сами — ничего не осталось от вещей». Борис не интересовался одеждой, целые дни работал у себя наверху — вот я и осталась нищей; если истрачу последнюю копейку, обращусь к Федину, пусть даст мне 1000 р.— и к Вам обращусь. Хочу писать Хрущеву, но Леня меня отговаривает. О моей пенсии хлопочет Литфонд,— но есть ли какие-нибудь результаты, не знаю. Узнайте, пожалуйста. И было бы очень хорошо, если бы Вы, Твардовский, Вс. Иванов — обратились бы к правительству с просьбой — получить за границей всю (деньги) валюту, причитающуюся Пастернаку, и выдать ей взамен советскую пенсию.

«Проф. Тагер уже перед смертью П.-ка определил, что у него был годовалый (она так и сказала) рак легких. Как раз тогда начался, когда началась травля против него. Всем известно, что нервные потрясения влияют на развитие рака. ⟨...⟩ Я не хочу покидать эту усадьбу, буду биться за нее всеми силами; ведь здесь может быть потом музей... Жаль, я больна (после инфаркта), не могу добраться до его могилы, но его могила для меня здесь...» ⟨...⟩

29 июня. Были у Лиды Копелевы, муж и жена. Оказывается, он, Копелев, достал для «Нового Мира» рассказ «Один день», который давал мне Твардовский[12]. ⟨...⟩ Женя Пастернак с женой и сыном Петей, прелестным мальчиком 4-х лет. Они пришли сказать, что в воскресение Зинаида Ник. и он, Женя, едут на Истру к Эр[енбургу] попросить у него совета по поводу денежных дел. Эр. говорит: «Я член комиссии по литер. наследству Пастернака, не имею права вмешиваться в его финансовые дела». Но он может составить умную и дельную бумагу, под которой охотно подпишемся мы все.

Нужно писать новую главу для «Живого как жизнь». Копелевы рассказывают, что, приехав в Тбилиси, они поселились на ул. Сталина, потом переехали на улицу Джугашвили, а [в] Сухуми (кажется) оказались на улице Кобы (парт. кличка Сталина). ⟨...⟩

1 июля. ⟨...⟩ Отовсюду мрачнейшие сведения об экономическом

положении страны: 40 лет кричать, что страна идет к счастью — даже к блаженству — и привести ее к голоду; утверждать, что вступаешь в соревнование с капиталистич. странами, и провалиться на первом же туре — да так, что приходится прекратить всякое соревнование... ⟨...⟩

3 июля. ⟨...⟩ у меня был Женя Пастернак (приходил 3 раза) и (голосом своего отца) сообщил мне, что он вместе с Зин. Ник. ездил к Эренбургу — Эренбург советует хлопотать не столько о заграничном гонораре Пастернака, сколько о пенсии З. Н., написал письмо к Никите Сергеевичу, которое должны подписать я, Твардовский, Шостакович, Тихонов, Федин. Я подписал, но так трудно собирать подписи других. Женя хочет, чтобы их собрал я. Я взялся. И здесь меня выручила Клара. Она пойдет к Марьямову, к Федину, она сделает. ⟨...⟩

Читал Эренбурга в 6-й кн. «Нового Мира». Все восхищаются. А мне показалось: совсем не умеет писать. Выручает его тема: трагическая тема о России, попавшей в капкан. Но зачем — чехарда имен, и всё на одной плоскости без рельефов: Даладье, Пастернак, Лиза Полонская? Рябит в глазах, и какие плохие стихи (его собственные) он цитирует в тексте[13]. ⟨...⟩

[Вклеено письмо.— *Е. Ч.*]:

Дорогой Корней Иванович! Вашего адреса я не знаю. Надеюсь, что почтамт Вас найдет.

31.03.62.

Многоуважаемый Корней Иванович!

Разрешите от всей души поздравить Вас с 80-летием. Я не хочу говорить Вам комплиментов, но вы на фотографиях, помещенных в последних номерах журналов и газет, выглядите значительно моложе. Это тем более приятно, что любимый общепризнанный писатель для детей до сих пор молод душой.

Дорогой Корней Иванович, многие не знают, что в прошедшую войну Вы потеряли сына. В первые дни войны я вместе с ним был в армии и хочу об этом Вам рассказать. Мне пришлось с ним переживать солдатскую жизнь в июле, августе и сентябре 1941 года.

Вначале я не знал, кто этот веселый, а вместе с тем серьезный молодой симпатичный человек. Потом мне сказали, что это сын Корнея Чуковского.

Тогда пригляделся к нему внимательно и нашел много черт, схожих с отцом. Как сейчас помню, он был высокого роста, брюнет, лицом похож на Вас (я мог это сравнить, т. к. Вашу фотографию не раз видел в печати).

Помню, что у него был друг — такой крепышок, пониже ростом Вашего сына, студент IV курса, почти инженер по гидросооружениям. По-моему, к этой области имел отношение и Ваш сын, так

как этим двум солдатам было поручено восстановить плотину в одной из деревень, где мы сооружали оборонительные укрепления. Они с этой задачей справились успешно. К нам приходили представители общественности деревни и объявили благодарность Вашему сыну и его товарищу.

В дальнейшем ходе военных событий нас разлучили. Мы были в одном взводе, а потом меня перевели в штаб батальона, и с тех пор я больше его не видел.

Все это происходило в 13 Ростокинской дивизии гор. Москвы (народное ополчение).

Всю войну я помнил о Вашем сыне, помню этого милого человека до сих пор. По демобилизации и приезду в Москву, я разыскал телефон Вашей квартиры, позвонил, разговаривал с матерью, справлялся, не вернулся ли Ваш сын.

Но он не вернулся.

Память о нем у Вас в сердце, но поверьте, все, кто соприкасался с ним, а тем более ел из одного котелка, никогда его не забудут.

С уважением
М. Ершов

гор. Пенза, ул. Куйбышева, 45 а, кв. 11
Ершов Михаил Андреевич.

P. S. Может быть, есть что-нибудь нового в известиях о Вашем сыне. Буду очень признателен, если дадите ответ.

Читая Эренбурга о сговоре Сталина с Гитлером, я вспомнил, как в 1939 году Евгений Петров говорил простодушно::

— Что мне делать? Я начал роман против немцев — и уже много написал, а теперь мой роман погорел: требуют, чтоб я восхвалял гитлеризм — нет, не гитлеризм, а германскую доблесть и величие германской культуры... ⟨...⟩

В дополнение к воспоминаниям Эр., которые все же хороши своим великолепным благородством, я хочу прибавить: когда Эр. приехал из Парижа и думали, будто он, выступивший против нашего союза с немцами, лишен благоволения начальства, у него отняли переделкинскую дачу и дали Валентину Катаеву, а когда он захотел объясниться с Павленко и подошел к автомобилю, в который садился Павленко, тот «дал газу», и автомобиль умчался.— Эр. готовится к выступлению на Конгрессе Мира. ⟨...⟩

6 июля. К обеду были две вдовы Горького. Мура Бутберг и Екат. Пешкова. Муре 71 год, Е. П-не 82. Мура привезла с собою «New Statesman», где яростная статья Причарда о Горьком и — о русском народе. За обедом она пила водку и коньяк — и, к великому моему сожалению, сообщила, что она ведет переговоры с разными фирмами о переводе моих воспоминаний. Переводчица она очень бесцветная, и как отвадить ее от моей книжки, не знаю. ⟨...⟩

7 июля. В пять часов за мной зашел Всеволод Иванов, и мы поехали в моей машине в Барвиху к Ек. Павл. Пешковой, в ее новую (построенную после пожара) дачу. Я захватил с собой папку о Зин. Ник. Пастернак. Дача отличная, в тысячу раз лучше старой, двухэтажная. На кухне пять или шесть старух, готовящих пышный ужин. В гостиной Толстая, Федин, Леонов с женой, акад. П. Л. Капица, его жена и Мария Игнатьевна, ради которой мы и собрались здесь. Я сейчас же схватил папку — Капица подписался с удовольствием, Всеволод тоже. Федин морщился («Мы и без того хлопочем о ней»), но — подписался. Дал подпись и Леонов. Пошли ужинать, а я побежал с детьми на берег реки. Было пасмурно — и вдруг глянуло солнце. Поразительно красивы дети Марфы — внуки Берия. Старшая девочка — лучистые глаза, нежнейший цвет лица, стройная, белотелая — не только красивая, но прекрасная, брат ее — ей подстать и тут же простенькая Катя с косичками, дочь Дарьи, и рыжий Макс, упорный, начитанный, сильный. Мы помчались по песчаному берегу, сначала упражнялись — кто дальше прыгнет, потом на одной ноге, потом стали загадывать загадки.

Какая-то девочка (подружка) загадала: «не 8, не 9, а едет». Оказалось: трамвай № 7. И еще:

20 чинно восседают,
10 сало выжимают,
Трое в воздухе висят,
Двое жалобно пищат.

Оказалось: пассажиры в автобусе. 〈...〉

Дольше нельзя было оставаться с ними, и я, скрепя сердце, пошел к старикам. Ужин был в полном разгаре. Со мною рядом оказалась жена Капицы (кажется, Анна Алексеевна, дочь академика Крылова, умная, моложавая, сердечная). Капица, очень усталый, но оживленный, рассказывал анекдот о разоружении. Звери захотели разоружиться. Лев сказал: я за разоружение. Давайте спилим себе рога. Корова сказала: я за разоружение: давайте уничтожим свои крылья. А медведь сказал: «я за полное разоружение. Да здравствует мир. Придите в мои братские *объятья*». 〈...〉

Капица вообще остряк. Он — доктор философии Кембриджского у[ниверсите]та. И еще: «я ослиный доктор». Все изумились. Оказалось, он доктор университета в Осло. Но на церемонии он не был. Ему не дали визы. «Вместе с докторской степенью мне прислали из Осло кольцо, только я потерял его».

Леонов сказал стишок:

У Петра Великого
Нету близких никого.
Только лошадь и змея,
Вот и вся его семья.

Жена Капицы рассказала, что после погребения Сталина, на Красной площади появился призрак с венком. На венке надпись: *«Посмертно репрессированному от посмертно реабилитированных»*. ⟨...⟩

Я забыл записать, что Капица сообщил, что Вышинский — посмертно репрессирован: его семью выслали из Москвы — выгнали с дачи, к-рую они занимали в том же поселке, где живут Капицы (Вышинский был АКАДЕМИК!?!). ⟨...⟩

Я всегда боялся звонить к начальству; и сегодня с трепетом позвонил тов. Лебедеву — секретарю Н. С. Хрущева, и вдруг услышал: «Как я рад, что слышу ваш голос. Поздравляю с Ленинской премией, вполне заслуженной. Я был так рад, что ее получили вы» и т. д. Я изложил всё по поводу Пастернак (Зин. Ник.) ⟨...⟩

Я прочитал Леб. по тел. почти всю записку — он одобрил ее содержание, сказал, куда направить ее, и обещал в ближайшие же дни передать. ⟨...⟩

13 июля. Наконец-то чудесная теплая погода. Читал *с отвращением* своего «Житкова» для радио. Гулял с Марьямовым. Он сообщил словечко Шкловского о Федине: «Комиссар собственной безопасности». ⟨..⟩

19 июля. Трагично положение Аркадия Белинкова. Он пришел ко мне смертельно бледный, долго не мог произнести ни единого слова, потом рассказал со слезами, что он совершенно лишился способности писать. Он стал писать большую статью: «Судьба Анны Ахматовой», написал, по его словам, больше 500 стр., потом произошла с ним мозговая катастрофа, и он не способен превратить черновик в текст, пригодный для печати.— Поймите же,— говорит он,— у меня уничтожили 5 книг (взяли рукописи при аресте), я не отдыхал 15 лет — вернувшись из ссылки, держал вторично экзамены в Литер. И-туте, чтобы получить диплом, который мне надлежало получить до ареста (тогда он уже выдержал экзамены),— тут слезы задушили его, и он лишился способности говорить. Я сидел ошеломленный и не мог сказать ни единого слова ему в утешение. Он дал мне первые страницы своей статьи об Ахматовой. В них он говорит, что правительство всегда угнетало и уничтожало людей искусства, что это вековечный закон — может быть, это и так, но выражает он эту мысль слишком длинно, и в конце концов она надоедает и хочется спорить с нею. Хочется сказать: а Одиссея? а «Война и Мир», а «Ромео и Джульетта», а «Братья Карамазовы». ⟨...⟩

28 июля. Вчера был Александр Александрович Крон — принес мне огромное — на 14 страницах — письмо по поводу моей книжки «Живой как жизнь». Письмо умное, отлично написанное.

Был Андрей Вознесенский — читал стихи об усах Сталина, показывал итальянское издание своих стихов. Была ... Ел. [Мих.] Тагер, читала свои воспоминания о Мандельштаме. Вначале вяло (вернее: начало вялое): витиевато, чуть-чуть напыщенно, с красивостями дурного тона, но потом — когда дело дошло до его гибели — очень сильно, потрясающе.

30. Вчера мы пошли с Люшей к Андроникову. Он в ударе. Только что из Пятигорска. Полон впечатлений. Показал всех выступавших — одного, к-рый все время говорил: Михаил Ив. Лермонтов. Показал Суркова, к-рый в Эдинбурге говорил: «мы гордимся тем, что в жилах Лермонтова наряду со славянской кровью текла и *благородная* шотландская кровь». Показал Маршака, который, даже не подозревая, что Андроников — писатель, говорил ему: «знаешь, попробуй, напиши что-нибудь».

Сейчас у меня был Женя Пастернак. Рассказал, что его дед, Леонид Осипович, когда-то выгнал из Училища Живописи юного Александра Герасимова за его принадлежность к Союзу Русского народа, а Фальк дал тому же Герасимову пощечину. С тех пор Герасимов невзлюбил их обоих.

Получил от неизвестного мне Медведева великолепно написанную статью о Лысенке и Презенте, убийцах академика Вавилова[14]. Статья взволновала меня до истерики. 〈...〉

16 авг. Четверг. Читаю Корнилова.

Плачут. Вконец исчез рафинад,
Масла и мяса нету.
Но ежедневно благодарят
Сталина газеты.

Поскакали девчата замуж,
Пропадают во цвете лет!
И осталась самая залежь,
На которую спросу нет.

Получил от Евтушенко книжку. Был у меня вчера утром в 9 часов С. Вл. Образцов — с кенгуру и слоненком. Слоненок очень смешно шевелит хоботом. Образцов как всегда — магнетический, прыщущий талантом, радостный, весь по горло в работе. Рассказывал свой фильм, который сейчас снимается, рассказал частушку, спел песню. Согласился выступить у нас на костре 19-го, если мы достанем пианино. О[льга] В[асильевна] достала в военной части.

Сегодня гулял с сыном Пастернака — Женей. Он прочитал мне свой реквием.— Сегодня придет к Лиде и ко мне Корнилов.

Корнилов был. Это действительно большой человек. Высокий лоб, острижен под машинку, очень начитан, говорлив, поэтичен и нежен. Прочитал «Анастасью», «Анне Ахматовой», отрывки из

новой поэмы — страшно торопясь и глотая слова, но впечатление неотразимое. Впечатление подлинности каждого слова. Замечательно: хотя в большинстве стихотворений он говорит терпким и едким жаргоном, на котором изъясняются сейчас все тертые советской действительностью 30-летние люди, для разговора со мною (напр.) он имеет в запасе интеллигентский язык без всякого цвета и запаха.

Погода хмурится. Боюсь, что нам не удастся попрощаться с летом, так же как не удалось поздороваться с ним.

Сколько чужих рукописей навалилось на меня, но голова устала до предела. Не хочется вскрывать ни одного конверта.

19 августа был чудесный костер «Прощай, лето!». Собралось до тысячи детей. Выступали Сергей Образцов и Виктор Драгунский. Присутствовали Кодрянские, Аманда Haight, ее подруга, дочь шотландского лорда, и четверо англ. студентов. Была Шаскольская с девочками. Погода облачная, но без дождя. ⟨...⟩

28 авг. ⟨...⟩ Сегодня я встретил Катаева. Излагая мне свою теорию, очень близкую к истине, что в Переделкине и Тихонов, и Федин, и Леонов загубили свои дарования, он привел в пример Евтушенко — «я ему сказал: Женя, перестаньте писать стихи, радующие нашу интеллигенцию. На этом пути вы погибнете. Пишите то, чего от вас требует высшее руководство».

25 сентября. Я в Барвихе уже 12 дней. ⟨...⟩

Умер Казакевич. Умирая, он говорил: «не то жаль, что я умираю, а то жаль, что я не закончу романа...» Говорить это, значит не представлять себе, что такое смерть. Но и я такой же. Чорт с ним. Уж приспело время ложиться в могилу, но жалко, что не удастся подготовить шеститомник. ⟨...⟩

6 ноября. ⟨...⟩ Митин рассказал, как ак[адемик] Юдин и Панферов в 1943 году ездили на фронт. Их поместили в избушке — где перед иконой горела лампадка. Они привезли с собой водку — и в первый же день напились. Пьяны в лоск, а хочется еще. Послали красноармейца — не достал. Тогда Юдин упал на колени перед иконой и сказал:

— Матерь Божья, сделай чудо, пришли нам хоть по стакану — и я поверю в тебя и отрекусь от экономического материализма!

Но чуда не случилось, и Юдин остался неверующим. ⟨...⟩

11 ноября. ⟨...⟩ Сейчас были у меня Таня Винокур, Крысин и Ханпира — талантливые молодые лингвисты. Ханпира — задиристый, постоянно готовый уличать, резать правду-матку в глаза, Таня — умница, 2 года прожила в Сиаме (ее сыну 14 лет), прочитала мне прелестную статью о штампах, где указывает такие новые штампы, как «разговор», «форум» и т. д. Очень изящно и остроумно

написана. Крысин — самый молодой из них, вдумчивый,— они берут шефство над моей книжкой «Живой как жизнь». Рассказали, что их институту заказаны чуть ли не три тома, чтобы разбить учение Сталина о языке — его, как сказано в предписании ЦК, «брошюру».

Пять лет называли его статьи «Гениальный труд корифея науки товарища Сталина» — и вдруг «брошюра»! В. В. Виноградов, громче всех восхвалявший «гениальный труд»,— теперь в опале.

Когда умер сталинский мерзавец Щербаков, было решено поставить ему в Москве памятник. Водрузили пьедестал — и укрепили доску, извещавшую, что здесь будет памятник А. С. Щербакову.

Теперь — сообщил мне Ханпира — убрали и доску и пьедестал.

По культурному уровню это был старший дворник. Когда я написал «Одолеем Бармалея», а художник Васильев донес на меня, будто я сказал, что напрасно он рисует рядом с Лениным — Сталина, меня вызвали в Кремль, и Щ[ербаков], топая ногами, ругал меня матерно. Это потрясло меня. Я и не знал, что при каком бы то ни было строе всякая малограмотная сволочь имеет право кричать на седого писателя. У меня в то время оба сына были на фронте, а сын Щ-ва (это я знал наверное) был упрятан где-то в тылу[15].

Но какой подонок Васильев! При Щербаковском надругательстве надо мною почти присутствовал Н. С. Тихонов. Он сидел в придверии кабинета вельможи.

Я сдуру выступал перед барвихинской публикой с воспоминаниями о Маяковском. Когда я кончил, одна жена секретаря обкома (сейчас здесь отдыхают гл. обр. секретари обкомов: дремучие люди) спросила:

— Отчего застрелился Маяковский?

Я хотел ответить, а почему Вас не интересует, почему повесился Есенин, почему повесилась Цветаева, почему застрелился Фадеев, почему бросился в Неву Добычин, почему погиб Мандельштам, почему расстрелян Гумилев, почему раздавлен Зощенко, но к счастью воздержался. 〈...〉

14 ноября. Вчера во вторник я с восторгом удрал 〈...〉 из беспощадной Барвихи, где меня простудили, отравили лекарствами и продержали полтора месяца 〈...〉

Здесь ждала меня нечаянная радость: дружеское письмо от Ахматовой: очень задушевно, искренне благодарит меня за статейку «Читая Ахматову.»[16] 〈...〉

19/XI. Был милый Вадим Леонидович Андреев с Ольгой Викторовной. Они *оба* работают в ООН. С его «Диким Полем» вышла странная вещь. «Новый мир» принял эту вещь, похвалил, поручил мне сократить, я сократил, сокращение было одобрено — Марьямов написал ему в Женеву два письма, с горячими похвалами и с обещанием тиснуть в ближайших номерах. Но потом журнал охладел к этой повести — и возвратил ее автору. А Марьямов — в отпуске, и



Открытка с рисунком П. Васильева. Приписано рукой К. Чуковского: «Этот П. Васильев — стукач. Донес на меня Поскребышеву, что говорил я о Сталине — и чуть не погубил меня. К. Ч.»

«Нов. Мир» насчет гонорара ни гу-гу. Я написал увещательное письмо Марьямову; но — отнюдь не уверен, что «Новый Мир» согласится платить.

Насчет своих «Воспоминаний об отце» он тоже ничего не знает определенного. Рукопись принята и даже уплачена часть гонорара, но это ничего еще не значит: за два года она не продвинулась к печатному станку ни на йоту.

Оказывается, его брат Даниил был арестован по обвинению в злодейском замысле покуситься на жизнь Сталина. Те подлецы, которые судили его, отлично знали, что это бред, и все же сгноили его в тюрьме. Главным материалом обвинения послужили письма Вадима из Нью-Йорка: в них Вадим писал о своей тоске по родине, никто, не будучи палачом, не мог бы вычитать в них никакого криминала.

Вспоминали прошлое. Вадим рассказывает, что когда Ал. Толстой написал свои ранние рассказы и первую несуразную повесть «Хромой барин», Леонид Андреев, к удивлению своего брата Павла, заявил, что он, Толстой, самый талантливый русский писатель, талантливее Горького (а Г. в то время печатал самые сильные свои вещи: «Детство», «В людях»).

Посетили они Анну Ахматову. Она «в отличной форме»: спокойна, здорова, жизнерадостна. Говорит: готовится отмена постановления ЦК о ней и Зощенке.

Я все еще корплю над «Живым как жизнь». Вчера был у меня злоехидный Ал. Ал. Реформатский, отличный лингвист, вместе со своими молодыми сотрудниками Л. И. Крысиным и Скворцовым. Они великодушно прочитали мою книжку и привезли мне около десятка поправок. Статья Ал. Ал. о книжке Бориса Тимофеева убийственна и остроумна[17]. С ними была Наталия Ильина — чудесная пародистка. ⟨...⟩

23/XI. Был у меня Лев Озеров — редактор стихотв. Пастернака, замученный Пастернаком. Слишком уж это тяжелая ноша. Ахматова рассказывала, что когда к ней приходил Пастернак, он говорил так невнятно, что домработница, послушавшая разговор, сказала сочувственно: «У нас в деревне тоже был один такой. Говорит-говорит, а половина — негоже».

24 ноября. Сталинская полицейщина разбилась об Ахматову... Обывателю это, пожалуй, покажется чудом — десятки тысяч опричников, вооруженных всевозможными орудиями пытки, револьверами, пушками — напали на беззащитную женщину, и она оказалась сильнее. Она победила их всех. Но для нас в этом нет ничего удивительного. Мы знаем: так бывает всегда. Слово поэта всегда сильнее всех полицейских насильников. Его не спрячешь, не растопчешь, не убьешь. Это я знаю по себе. В книжке «От двух до пяти» я только изображаю дело так, будто на мои сказки нападали отдельные педологи. Нет, на них ополчилось все государство, опиравшееся

на миллионы своих чиновников, тюремщиков, солдат. Их поддерживала терроризованная пресса. Топтали меня ногами — запрещали — боролись с «чуковщиной» — и были разбиты наголову. Чем? Одеялом, которое убежало, и чудо-деревом, на котором растут башмаки.

Сейчас вышел на улицу платить (колоссальные) деньги за дачу — и встретил Катаева. Он возмущен повестью «Один день», которая напечатана в «Новом Мире». К моему изумлению он сказал: повесть фальшивая: в ней не показан протест.— Какой протест? — Протест крестьянина, сидящего в лагере.— Но ведь в этом же вся *правда* повести: палачи создали такие условия, что люди утратили малейшее понятие справедливости и под угрозой смерти не смеют и думать о том, что на свете есть совесть, честь, человечность. Человек соглашается считать себя шпионом, чтобы следователи не били его. В этом вся суть замечательной повести — а Катаев говорит: как он смел не протестовать хотя бы под одеялом. А много ли протестовал сам Катаев во время сталинского режима? Он слагал рабьи гимны, как и все.

Теперь я вижу, как невыгодна черносотенцам антисталинская кампания, проводимая Хрущевым. Повесть эту прочитал Хр. и разрешил печатать, к ужасу всех Поликарповых.

27 ноября. Третьего дня был у меня Образцов и сообщил, что в Москве закрывается газета «Лит. и жизнь» из-за недостатка подписчиков (на черносотенство нет спроса) и вместо нее возникает «Литературная Россия». Глава Союза писателей РСФСР — Леонид Соболев подбирает для «Лит. России» сотрудников и, конечно, норовит сохранить возможно больше сотрудников ЛИЖИ, чтобы снова провести юдофобскую и вообще черносотенную линию. Но для видимости обновления решили пригласить Шкловского и Образцова. Обр. пришел в Правление, когда в нем находились Ст. Щипачев и Соболев, и сказал: я готов войти в новую редакцию, если там не останется ни одного Маркова, а если там проявится антисемитский душок, я буду бить по морде всякого, кто причастен к этому. Соболев помрачнел и ушел. Образц. уполномочил меня пойти к Щипачеву и сказать, что он в редакцию «Лит. России» не входит. Вчера я был у Щ. Он производит светлое впечатление со своим бульдогом, кот. ходит по его письменному столу (громадная собачища!). Щ. рассказывает, что на президиуме Соболев, перечисляя намечаемых сотрудников, даже не упомянул ни Паперного, ни Образцова и так нагло просовывал своих, что Щип. ударил кулаком по столу и ушел, хлопнув дверью. Тут же Щип. прочитал ст[ихотворен]ие на модную нынче тему: да будет проклят Сталин и да здравствует Постышев и Киров. Стихотворение это он, гуляя по Переделкину, прочитал Вадиму Кожевникову, тот сказал: я выброшу из «Знамени» другой материал и немедленно напечатаю твои стихи. 〈...〉

28. В Американском посольстве. Встреча с детским писателем Ли-

фом — были Кассиль, его жена, Лиф, его жена, переводчица при Лифе и милая директриса дома детской книги[18]. Оказалось, что жена посла — переводчица. Перевела книгу маркиза де Кюстина — в которой столько правды о Сталине (на сто лет вперед, дивное пророчество). Кюстин очень хорошо понял, что правительство это — фасад, воплощение лжи и насилия, но все, что он пишет о русском народе, собачья чушь, клевета, т. к. никакой народ не восставал так героически-самоотверженно против своих угнетателей, как рус. люди в XIX веке. ⟨...⟩

1 декабря. Снег молодой, обильный, бессмертно-красивый. Я вышел с Мариной погулять. Зашел к Зинаиде Николаевне Пастернак — сообщить ей, что я говорил с Черноуцаном по поводу обеих книг Пастернака, к-рые застряли в издательствах. Проза — в Гослите, переводы пьес в «Искусстве». Черноуцан обещал подогнать это дело — и я думал, что очень обрадую З. Н., сообщив ей об этом. Но она отнеслась к моему сообщению без энтузиазма.

— А как же моя пенсия? — спросила она.

Оказывается — ей до сих пор не дали пенсию. ⟨...⟩

Н. С. Хрущев пришел на выставку в Манеж и матерно изругал скульптора Неизвестного и группу молодых мастеров. Метал громы и молнии против Фалька.

Пришла ко мне Тамара Вл. Иванова с Мишей (выставившим в Манеже свои пейзажи), принесли бумагу, сочиненную и подписанную Всеволодом Ивановым — протест против выступления вождя. Я подписал. Говорят, что подпишет Фаворский, который уже послал ему телеграмму с просьбой не убирать из Манежа обруганных картин — и с похвалами Фальку.

10 декабря 1962. Третьего дня выступал по теле вместе с Винокуровым, Коржавиным, Корниловым. Они приехали ко мне. Я прочитал «Тараканище», «Чудо-дерево», «Мимозу» (Ел. Гулыги). Они читали свои стихи. Удачно ли, не знаю. ⟨...⟩

Ахматова: «Главное: не теряйте отчаяния». Она записала свой «Requiem».

16 декабря. ⟨...⟩ «Сибирские огни» приняли к напечатанию Лидину повесть «Софья Петровна». Но по свойственной редакторам тупости требуют озаглавить ее «Одна из тысяч». Лида — фанатик редакционного невмешательства, отвергает все поправки, внесенные ими. Между тем еще полгода тому назад нельзя было и подумать, что эта вещь может быть вынута из-под спуда. Сколько лет ее рукопись скрывалась от всех, как опаснейший криминал, за к-рый могут расстрелять. А теперь она побывала в «Новом мире», в «Знамени», в «Советском писателе», в «Москве» — все прочитали ее и отвергли, а «Сибирские огни» приняли и решили печатать в феврале.

Впрочем, все зависит от завтрашней встречи с Н. С. Х[руще-

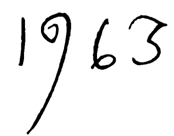
вым]. Не исключено, что завтра будет положен конец всякому либерализму. И «Софье Петровне» — каюк.

Коля написал великолепные воспоминания о Заболоцком — очень умно и талантливо.

Очень печален конец 1962 г. Я подписал письмо с протестом против нападок Н. С. Х. на молодежь художественную, и мне на вчерашнем собрании очень влетело от самого Н. С. Х. Хотя мои вкусы определялись картинами Репина и поэзией Некрасова, я никак не могу примириться с нынешним Серовым, Александром Герасимовым и Локтионовым, кои мнят себя продолжателями Репина. Ненавижу я деспотизм в области искусства.

I don't cherish tender feelings for Neizvestny, but the way they have treated him fills me with intense intense indignation*.

При Сталине было просто: бей интеллигенцию, уничтожай всех, кто самостоятельно думает! Но сейчас это гораздо труднее: выросли массы *технической* интеллигенции, без которой государству нельзя обойтись,— и вот эти массы взяли на себя функцию гуманитарной интеллигенции — и образовали нечто вроде общественного мнения.



Morituri te Salutant!**

8 января. Свои дневники я всегда писал для себя: «вот прочту через год, через 2, через десять, через 20 лет». Теперь, когда будущего для меня почти нет, я потерял всякую охоту вести дневники, п. ч. писать о своей жизни каким-то посторонним читателям не хочется — да и времени нет. ⟨...⟩

17 января. Мороз 30°. Жду Геннадия Матвеевича — и Люшу. Уже 6 часов. Сегодня Г. М. должен привезти мне новое издание моего бедного «Мастерства». Издание четвертое — удостоенное ленинской премии. Я вполне равнодушен к этой книге. Она — худшая из всех моих книг. Писана во время проклятого культа, когда я старался писать незаметные вещи, потому что быть заметным — было очень опасно. Стараясь оставаться в тени, я писал к юбилею Пушкина статейку «Пушкин и Н[екрасо]в», к юбилею Гоголя «Гоголь и Некрасов» и т. д. Перед этим (или в это время) я несколько лет писал комментарии к стихотворениям Некрасова — тоже ради пребывания на литературных задворках, не привлекающих внимания

---

* Я не питаю нежных чувств к Неизвестному, но то, как они поступили с ним, внушает мне сильное, сильное негодование *(англ.)*.

** Идущие на смерть приветствуют тебя! *(лат.)*

сталинской полицейщины. Человек я громкий и бросающийся в глаза, избрал себе тихую заводь, где и писал вполголоса. Если вспомнить, с каким волнением я писал «Поэт и Палач», «Жизнь и судьба Николая Успенского», «Нат Пинкертон», будет ясно, что книга моя «Мастерство» — не творчество, а рукоделие. ⟨...⟩

15 февраля. В Доме Творчества отдыхает Паустовский. Вчера Лида сказала мне, что он хотел бы меня видеть. Сегодня я пришел к нему утром. Он обаятелен своей необычайной простотой. Голос у него слабый и очень обыкновенный, прозаический, будничный. Он не изрекает, не позирует, он весь как бы говорит: я не праздник, я будни. Дело у него ко мне такое: идиоты, управляющие Карелией, решили уничтожить чуть ли не все древние деревянные церкви. На столе у него фотоснимки этих церквей — чудесных, затейливых, гибнущих. Так и хочется реставрировать их. Подумать о том, чтобы их уничтожить, мог только изверг — и притом беспросветный тупица. Чуть только я вошел в № 10 Дома творчества, где живет Паустовский, как в комнату втерся Макс Поляновский с фотоаппаратиком и стал снимать нас обоих.

Паустовский нахмурился: «вы нам мешаете, у нас тут серьезный разговор».

И пронырливый Макс исчез.

Разговор у нас был о том, чтобы послать телеграмму властям о прекращении этого варварства. Кто ее подпишет?

Леонов, Шостакович, я, Фаворский.

Паустовский предложил зайти к нему вечером. Он за это время приготовит текст.

Между тем ко мне пришла Таня Литвинова, прочла свою статью о казаках — прекрасную статью, прозрачную, очень изящную.

Потом я показывал свои заметки для нового издания «Искусства перевода». Она зафыркала: неверно, зачем это? не нужно! ваша старая книжка не нуждается в новых заплатах — и сразу вся моя работа скисла!

И мы пошли к Паустовскому. Он рассказал нам целую новеллу о памятнике Марины Цветаевой в Тарусе. Марина Цветаева, уроженка Тарусы, выразила однажды желание быть похороненной там,— а если это не удастся, пусть хотя бы поставят в Тарусе камень на определенном месте над Окой и на этом камне начертают:

Здесь хотела быть погребенной
МАРИНА ЦВЕТАЕВА

Некий энергичный молодой человек пожелал выполнить волю Цветаевой. Он приехал в Тарусу, получил у властей разрешение, раздобыл глыбу мрамора,— там же в Тарусе есть залежи мрамора — и пригласил гравера, который и начертал на граните:

Здесь хотела быть погребенной и т. д.

Но в это время какой-то бездарный скульптор ставил в Тарусе памятник Ленину; он узнал о затее энергичного юноши и побежал в Горком.

— Что вы делаете? Ставите монументы эмигрантке? врагу родины? и т. д.

Там испугались, отменили решение, прислали подъемный кран — и увезли памятник эмигрантке Марине Цветаевой обратно, чтобы он не осквернял Тарусу.

У Тани во время этого рассказа блестели глаза, как свечи. Увидав это сверкание, П. стал словоохотлив. Привел еще несколько фактов распоясавшегося хамства, все же закончил свою «беседу» словами.

— Я оптимист! Я верю: все будет превосходно. «Они» выпустили духа из бутылки и не могут вогнать его обратно. Этот дух: общественное мнение.

Сегодня он придет ко мне с готовым письмом или телеграммой.

Задержан 2-й номер «Нового Мира»: там должны были печататься воспоминания Эренбурга о советских антисемитах и их жертвах.

По словам Паустовского в «Правде» и в «Известиях» должны появиться статьи, громящие два новых рассказа Солженицына.

— Меня пугает в Солженицыне одно,— сказал Паустовский: — он — враг интеллигенции. Это чувствуется во всем. «Оттого-то он так люб[ит] Твардовского, который при встрече со мною всякий раз говорит укоризненно: «ведь ваша «Золотая чаша»[1] — интеллигентская штука».

— Но ведь судьба подшутила над Александром Трифоновичем: ему пришлось издавать самый интеллигентский журнал в СССР.

17 февр. воскресенье. Вчера был у меня Паустовский. Уже поднимаясь по лестнице (с одышкой), он сказал:

— Читали «Известия» — насчет Ермишки?

Оказывается, в «Изв.» целая полоса занята подборкой писем, где Ер[мило]ва приветствует темная масса читателей, ненавидящих Эренбурга за то, что он еврей, интеллигент, западник[2].

Пауст. принес чудесно написанное обращение к Ник. Серг. по поводу уничтожения северных церквей. Написано обращение со сдержанным гневом; мы обсудили черновик. Таничка взялась переписать его на красивой бумаге и внесла от себя неск. мелких поправок, с к-рыми Паустовский вполне согласился[3].

О Федине: «Какой чудесный был малый! И как испортился! Меня уже не тянет к нему. Да и его «Костер». Боже мой, я даже не мог дочитать! И совсем не знает простонародной речи. Всё по словарям, по этнографическим исследованиям!»

О Бабеле. Всем врал даже по мелочам. Окружал себя таинственностью. Уезжая в Питер, говорил (даже 10-летней дочери соседей): еду в Калугу.

Когда у отца Бабеля, у которого в Одессе был склад земледель-

ческих машин (Мал Кормика), делали обыск, его жена (мать Бабеля) закрыла мужа в комнате на ключ, чтобы он не проговорился. Обыск прошел благополучно: партийцы ничего не нашли. Но мать Бабеля выпустила своего старика слишком рано, он выскочил и показал партийцам фигу — «ну что́, взяли! Уходите-ка ни с чем!» Те вернулись, вскрыли подполье и нашли там кучу долларов, золото и т. д.

Мы с Таней проводили П-ого до дома, он всю дорогу задыхался. Таня взялась достать подписи Леонова и Фаворского.

У меня кризис с моей работой на[д] «Искусством перевода». Не хочется писать. ⟨...⟩

Вчера черт меня дернул согласиться выступить в 268 школе с докладом о Маяковском. Кроме меня выступала сестра Маяковского, 79-летняя Людмила Маяковская. Ее длинный и нудный доклад заключался весь в саморекламе: напрасно думают, что Володя приобрел какие-нб. качества вне семьи: все дала ему семья.

Остроумию он научился у отца, чистоплотности от матери. Сестра Оля отличалась таким же быстрым умом, «у меня — скромно сказала она — он научился лирике. Я очень лиричная».

Выступала А. И. Кальма. Та прямо начала с саморекламы. «Сегодня у меня праздник. Вышла моя новая книжка». И показала книжку, которая не имеет никакого отношения к Маяковскому. Потом: «Всем, что я сделала в литературе (?!?), я обязана Маяковскому. Вся моя литературная деятельность» и т. д.

Потом рассказала, как Маяк. любил детей. Познакомившись с девочкой Витой, служаночкой, он каждый день встречал ее словами: «Вита немыта, небрита» и т. д. Это вовсе не значит, что он любил детей. Это значит, что он любил рифмы. У Маяк. была эта черта: услыхав чью-нб. фамилию, он немедленно подбирал к ней рифму:

Аверченком заверчен ком.
и т. д. ⟨...⟩

Светлову была подана на эстраду записка:

Вот надейся и терпи:
Далеко нам до Шекспи!

Он ответил:

Ох, наивная душа!
Далеко нам до Оша!
[нина]

О Светлове рассказала мне Рина Зелёная, которая сейчас была у меня в гостях. Сразу собрались: Рина, Перцов, его сын Коля, Люша, Николай Чуковский, Ал. Яшин, его жена Злата, его дочь Злата, Вал. Берестов. Берестов читал стихи, Рина со множеством нюансов рассказала о родителях, которые хотели приучить ребенка любить животных, но сами их ненавидели и, когда в доме заводилась

птица или собака или черепаха, изгоняли их из дому на второй же день, потом Яшин прочитал четыре великолепных стихотворения, таких глубоких и таких проникновенных, что у всех в комнате стали просветленные лица. Он вологодский крестьянин — у него крестьянское обличье,— и мне кажется, что в нем воплотилась красота духовной силы и ясности, свойственной так наз. «русской душе». Замечательно, с какой любовью смотрели на него, когда он читал стихи, обе Златы — жена и дочь, и если он забывал строку, они подсказывали. Дочь Злата в восьмилетнем возрасте писала прелестные стихи. Их редактировала Оля Казакевич, и я когда-то прочитал их по радио.

Я забыл сказать, что Яшин пришел ко мне не только с двумя Златами, но и с братом-кибернетом из Ленинграда — такой же крепкий крестьянин с хорошим лицом.

Сейчас Яшина колотят в «Комсом. правде» за его статью «О вологодской свадьбе» в «Новом Мире». Он очень приуныл, но я без труда доказал ему, что эта брань — воспринимается лучшей частью читателей как высшая хвала и что он не должен отвечать «Комсом. правде», потому что они вновь обольют его помоями[4].

Он опечалился. «Мне бы на всё наплевать, но там в деревне моя мать и две сестры».

Когда гости ушли, я получил из Парижа письмо от Бориса Конст. Зайцева!!! Помню его в 1909—1910 г., то есть 53 года назад. С надменным профилем — музыкального и лучезарного москвича.

21 февраля. Вот и 8 лет миновало с тех пор как скончалась моя милая Мария Борисовна. Сегодня еду на ее могилу, как всегда растерянный, без какого-нибудь *единого* чувства. Все мое оправдание пред нею, что скоро, очень скоро, я лягу навеки рядом с нею — и искуплю все свои вины перед нею, вольные и невольные.

Работаю сдуру над искусством перевода, хотя надо бы составлять 6-й том — мои произведения до 17 года. Когда я теперь читаю эти вещи, я вижу, что в них действительно была какая-то доля таланта, чего я никогда не замечал во время их писания.

Ходил с Лидой на могилу. Февральская вьюга, мгла. Постоял, подумал. На моей могиле снежок. Так ясно представляю себе Переделкино — без меня. Кое-кто будет говорить: «Это случилось, когда еще старик Чуковский был жив». Мебель дачная и книги разойдутся по внукам и детям, и, как я ни напрягаю мозги, никак не могу понять, что такое посмертная слава, и на что она нужна, и какое мертвецу от нее удовольствие. Появятся новые вещи, и наследники будут говорить:

— Это полотенце куплено *еще* при Корнее Иваныче.

— Нет! Что вы. Оно куплено в прошлом году.

В Переделкине у всех Серапионов есть внуки — у Федина, у Каверина, у Тихонова ⟨...⟩ — у всех, кого я знал молодыми людьми; у Леонова, у Всеволода Иванова, у Сельвинского. Приехали они сюда отцами, а стали дедами. После меня все эти внуки поженятся, в

70-х годах большинство дедов повымрет, в 80-х годах внуки начнут лысеть и кто-нб. из внуков напишет роман «Переделкино», первая часть будет называться «Доисторическая древность», и в этой части будем фигурировать мы: «Сейфуллина, Бабель, Пильняк, Лидин, Леонов, Пастернак, Бруно Ясенский и я — первые насельники Переделкина. Во второй части возникнут Тренев, Павленко, Андроников, Казакевич, Нилин. ⟨...⟩

23.II.63. Страшно взволновала меня сегодняшняя встреча с моим давним прошлым: Макс Поляновский ⟨...⟩ устроил сегодня в Клубе (в Чоботах) демонстрацию старых фильмов. В том числе была показана дача Леонида Андреева в Ваммельсуу — дача, в которой я знал каждое бревно, каждое деревце. Я помню, как Андр. Андр. Оль показывал Леониду Андрееву в поезде проект этой дачи — и вот уже 40 лет она разрушена дотла, не осталось ни щепочки — и вот она тут передо мною, вся, такая знакомая, я даже учуял запах из кухни, всегда ощущаемый чуть войдешь в hall. А вон и Ал. Ал. Измайлов, бурсак, «Добролюбов „Биржевых ведомостей"», лукавый и страшно наивный, автор остроумных пародий (В перила вперила свой взор Неонила, Мандрила же рыла песок). А вот и Анастасья Николаевна, мать. Давно уже ее кости смешались с землей, а тут она сидит, натягивая шаль, и я вновь услышал ее хриповатый голос, и вспомнил ее походку, ее усталый, заторможенный вид. И Чириков!!! Теперь-то он, очевидно, простил мне все обиды. Человек мелко-талантливый; и сам Леонид Николаевич — боже мой, в последний раз я видел его в 1916 году — и вот встречаюсь в 1963. И седой Вадим — шестилетний. И мот[орная] лодка «Савва», та, на которой мы ходили в море. И лодка Хамондол! И Анна Ильинична — страшно подумать: я знал ее отца. Это было тысячу лет назад.

Сильный мороз. Писателям дали автобус. Поляновский организовал все это дело блистательно. ⟨...⟩

1 марта. Позвонили из Детгиза, что умер (даже странно писать) Конашевич. Я помню его в издательстве Гржебина — молодой щеголь с прелестными усиками, очень умело рисующий розы, шикарно одетый, эстетствующий (график, как мне тогда казалось, подражатель Чехонина), и только потом я разглядел, что за этой холодноватой наружностью скрывается очаровательно добрый, простой и простодушный человек, прекрасный, надежный товарищ. Он был гармоничный, спокойный, вполне петербургский человек. Очень интеллигентный, начитанный, молчаливый, сторонящийся от всякой пошлости, с украинской флегмой. (Один из его предков был украинским гетманом.) Изящество мысли, изящество чувств, изящество художеств. стиля было свойственно ему органически. Лет 5 тому назад он приехал ко мне, посмотрел библиотеку для детей и через несколько времени прислал мне в подарок чудесную большую картину «Конек Горбунок», где в каждом мазке чувствуется его

ясность души и его доброта. И еще был у него талант — литературный. Он писал прекрасные письма.

В Доме творчества Шкловский. Отношения у нас не налаживаются. Он почему-то в моем присутствии съеживается, хотя я отношусь к нему с открытой душой. Вчера мы пошли гулять: Елизар Мальцев с женой, Шкловский с женой, Арк. Райкин,— дошли до нашего дома, с радостью взошли ко мне по первому моему приглашению, а Шк., дойдя до порога, сказал:

— Корней Ив., мы с Симой погуляем, мы завтра...

И ушел.

Был я у Паустовского. Он рассказал чей-то афоризм (чуть ли не Бабеля):

Для того, чтобы стать образованным, достаточно прочитать 7—8 книг... Да. Но перед этим нужно прочитать тысяч двадцать.

Воскресение 3 марта

1) *Евг. Бор. Збарская* после смерти мужа получает очень небольшую пенсию. Я написал письмо М. А. Шолохову (с которым оба они были близко знакомы), он написал соответствующую бумагу — и она приедет сегодня, чтобы я подписал ее вместе с ним.

2) *Профессор Weil* с гитарой. Очень симпатичный молодой человек. Энтузиаст Горького, хочет писать книгу о нем. ⟨...⟩

Получил письмо от Солженицына!!!

Вторник 5 марта. Был вчера у меня Юр. Ник. Коротков. Требует введения в книгу Горьковских воспоминаний.

Поэтому я забрасываю работу над искусством перевода и берусь за глупую статейку. Получил от М. И. Бенкендорф отвратительный перевод моих «Современников» (о Чехове и о Л. Андрееве). Посылаю ей письмо и телеграмму.

STOP TRANSLATING TILL YOU GET MY LETTER*.

Послезавтра в четверг 7-го марта назначен разгром литературы, живописи и кино в Ц. К. Я был в Доме творчества, видел Паустовского и Яшина. Яшин в панике. Рассказывает анекдот о Карапете, который, спасаясь от льва, спустился по канату в колодец и вдруг увидел, что на дне — крокодил. «Но Карапет не унывает». И вдруг он видит, что мышь подгрызает веревку. «Но Карапет не унывает».

Сам он очень «унывает». Ему прислали по поводу его «Вологодской свадьбы» крестьяне описанного им колхоза, что он совершенно прав; он носит это письмо при себе — и дрожит: «У меня шестеро детей и что будет с нами, если меня перестанут печатать?» Паустовский мрачен: «У них уже всё слажено заранее, как обедня; и мне в этом богослужении нет места. Я три раза на всех

* Остановите работу над переводом, пока не получите моего письма *(англ.)*.

трех съездах хотел выступить — и мне три раза не давали слова». Ему и мне звонят из ЦК, чтобы мы были непременно. ⟨...⟩

7 марта. Жаль, что я болен и не могу поехать на сегодняшнее собрание в Кремле.

Что будет на этом собрании, не знаю — и не будь мне *81 года*, я бы принял там «живейшее участие».

Но разговоров много. Говорят, будто Шолохов приготовил доклад, где будут уничтожены «Новый Мир» с Твардовским, будет уничтожен Солженицын, будет прославлен Ермилов, будет разгромлена интеллигенция и т. д.

Был вчера у Нилина. Он читал мне прелестные рассказы (varia) и сказал, будто ни Катаев, ни Яшин не получили приглашения в Кремль.

14 марта. Был у меня Паустовский. Со слов Каверина, к-рый бывает у Эренбурга каждый день, он говорит, что Эр. страшно подавлен, ничего не ест, похудел и впервые в жизни не может писать[5]. Паустовский показывал фото (достал из кармана): мраморная глыба, на которой высечено: «Здесь хотела лежать Марина Цветаева». Глыбу бросили в Оку. Вывезли специально на пароме.— «Но я знаю место, куда ее бросили, и постараюсь летом выудить. Буду хлопотать о восстановлении»[6].

Вчера он весь день писал. По дороге мы встретили Сельвинского. Пауст. сказал Сельвинскому:

« — Я начинаю 4-ю часть своей автобиографии рассказом о том, как на диване у меня сидел Багрицкий и декламировал вашу «Улалаевщину». Чудесно на все голоса».

Сельв. пробовал заговаривать о знаменитом совещании в Кремле, но я сказал ему, что так как я занят «Искусством перевода» и подготовкой собрания сочинений, и кроме того нездоров, я запрещаю своим домашним разговаривать со мной на эту тему, сообщать мне какие бы то ни было сведения по этому поводу и не видел за все это время ни одной газеты; он, конечно, не поверил мне, но на самом деле это так. Я запутался с искусством перевода — стараюсь преодолеть эту путаницу, мудрую, комбинирую отдельные куски — и покуда не склею их крепкими связками, не могу думать ни о чем другом.— Получил книгу В. Н. Орлова «Пути и судьбы». Интересная, отлично написанная, умная — но холодная, без темперамента. Очень сенсационная «История одной любви» — и боже, до чего ядовита, «тлетворна», как говорили встарину. И вот из такой-то гнили выходили гениальные стихи. ⟨...⟩

18 марта. Невероятный мороз: 23 градуса. И ветер. Днем на солнце теплее. Но по утрам и ночью — ужасная стужа. Паустовский рассказывал о житье-бытье Рыльского. Позвонишь к нему на квартиру — отзывается свора собак — в квартире их множество. Хозяин

отгоняет их и предостерегает гостя: сюда не садитесь: грязно. А этот стул развалился и т. д. В комнатах беспорядок, сумбур. Куча родственников и какие-то приживальщики. Внизу под Рыльским живет Павло Тычина. Он не выносит громких звуков, страдает от каждого стука. Чтобы обезопасить себя от шума, идущего с верхнего этажа, он на свой счет «подковал» всю мебель Рыльского резиной. Но Рыльский, подвыпив, предлагает гостям и домочадцам:

— Давайте дразнить Тычину.

Гости начинают горланить дубинушку:

Англичанин мудрец, чтоб работе помочь,
Изобрел за *Тычиной Тычину*.

Это выводит Тычину из себя. Он прибегает с проклятиями... и остается, и сам принимает участие в хоре.

20 марта, вечер. Сейчас ушел от меня Паустовский. Он выступал перед студентами электро-(какого-то) института. В конце они поднесли ему букет... для Эренбурга. «А я,— говорит Константин Георгиевич,— как раз к нему и ехал. Он очень плох. Сидит в кресле, не вставая. Целые дни звонит телефон, где ему без конца выражают сочувствие. Он сидит оцепенело, и жена его... страшно взглянуть на нее». Мне, конечно, понятно, что Э-гу надо уехать куда-ниб. от себя самого, куда-нб. на природу. Сегодня Вс. Иванов и Каверин были у Федина:

— Ты же председатель Союза. Сделай же что-нибудь для облегчения судьбы Э-га.

Пауст. рассказал, что в Казани в архиве нашелся его роман «Дым отечества», который когда-то отверг Симонов, стоявший во главе «Нового Мира». В «Новом Мире» рукопись пропала. О его гибели П-ий сообщил в одной из своих книг. Книгу прочитал некий казанский житель и сообщил П-му, что роман его нашелся.

21 марта. День Марии Борисовны. Мороз ужасный, невообразимый. Окна замерзли снизу до самого верху. ⟨...⟩ Получил от Марии Игнатьевны дивное письмо: я потребовал, чтобы она прекратила перевод моих «Современников», потребовал грубо — телеграммой и письмом. И вот она на мою грубость ответила нежным письмом.

Паустовский вчера рассказывал о героическом поведении Елизара Мальцева. Этот, как сказал он, «малютка» среди всей свистопляски вел себя достойно и гордо, и когда один из присутствующих крикнул:

— Да мы вас на кол посадим!

«Малютка» сказал:

— Кто это там кричит. Встаньте!

И негодяй встал.

— Вы член Союза писателей? — спросил Мальцев.

— Нет!

— Так ка́к же вы сюда попали? Уходите сейчас. И приходите ко мне завтра объяснить, почему вы бесчинствуете и кто привел вас сюда (банда софроновцев протащила в Союз своих подручных).

В 6 часов пришла Агата Андр. Охотина-Белопольская, с к-рой я познакомился в 1906 году. Сибирячка-студентка, она в Лутахенде прыгала со мной через костры. Мне приятно было ее посещение: сегодня день Марии Борисовны, а она очень любила Марию Борисовну. ⟨...⟩

26 марта. 20 дней тому назад мне позвонила Наташа Роскина и взяла [у] меня интервью по поводу «детской недели». Я наговорил ей всякого неинтересного вздору, и вдруг третьего дня она звонит мне невинным голосом, что она внесла туда несколько строк — откликов на речь т. Хрущева о литературе. «Лит. газета» сейчас только такими откликами и интересуется, и вот поэтому Наташа вставила в текст моего интервью неск. абзацев о том, что я не вижу ни малейшей розни между (сталинистами)-отцами и детьми. Словно кто ударил меня по голове. Я пришел в ужас. Послал за Наташей — она приехала, я требовал, чтобы эта позорная отсебятина была выброшена, а потом сообразил, что в это траурное время всякое выступление с каким-то *тру-ля-ля* отвратительно, потребовал, чтобы все интервью было аннулировано. Наташа не ручалась за успех, но обещала попробовать. Это было в субботу. После двух бессонных ночей я в понедельник (вчера) поехал в «Лит. Газ.». Прошел в кабинет редактора и сказал ему: «Вы сами понимаете, что я, старый интеллигент, не могу сочувствовать тому, что происходит сейчас в литературе. Я радуюсь тому, что «дети» ненавидят «отцов», и если вы напечатаете слова, не принадлежащие мне, я заявлю вслух о своих убеждениях, которых ни от кого не скрываю».

И еще много безумных слов. Он обещал. Но вернувшись, я не спал еще одну ночь (т. е. спал, но тревожно, прерывисто, т. к. знал бандитские нравы нынешней печати) — мне чудилось, что, несмотря на обещание, «Лит. Газ.» тиснет за моей подписью черт знает что! Об этом рассказал мне Илья Зверев (Изольд), кот. был у меня накануне. Он сдал «Лит. Газ[ет]е» очень либеральную статью и уехал в Польшу. Пользуясь его отсутствием, «Лит. газ.» изменила всю направленность статьи и приписала конец, сплошь состоящий из цитат из речи Хрущева. Получилась полная противоположность тому, что Зв[ерев] хотел сказать.

Но со мною, слава богу, обошлось. ⟨...⟩

12 апреля. Тоска. Кропаю свою книжку о переводах — бессмысленно, тупо, тратя иногда по 3 часа на то, чтобы выжать из себя 2 строки... Все разговоры о литературе страшны: вчера разнесся слух, что Евтушенко застрелился. А почему бы и нет? Система, убившая Мандельштама, Гумилева, Короленко, Добычина, Маяковского, Мирского, Марину Цветаеву, Бенедикта Лившица,— замучившая



Обложка книги К. Чуковского «Современники». 1962 г.

Белинкова, и т. д. и т. д. очень легко может довести Евтушенко до самоубийства.

Говорят, что к Солженицыну приехали репортеры спросить, как он относится к современному оскотинению литературы, он сказал им:

— Вы мешаете мне работать. Если вы не уйдете из комнаты, уйду я 〈...〉.

6 июня. Сегодня был у меня Солженицын. Взбежал по лестнице

легко, как юноша. В легком летнем костюме, лицо розовое, глаза молодые, смеющиеся. Оказывается, он вовсе не так болен, как говорили. «У меня внутри опухоль, была как два кулака, теперь уменьшилась, ташкентские врачи, очень хорошие, лечили». Много рассказывает о своих тюремных годах. «Я мог бы деньги зарабатывать: сидеть в тюремной приемной и учить старушек, какие вещи можно передавать, а какие нельзя». Потом: «В тюрьму нельзя идти в хорошем костюме, уголовные отнимут все равно, нужно сшить из тряпки мешок, взять ложку и чашку из пластмассы (ничего металлического); вообще в Таганку можно брать папиросы, а в Бутырки нельзя, и т. д. и т. д. И как мы веселились по вечерам в Бутырках. Я там лекции читал по физике, в три смены, совсем запарился. Ах, К. И., какие хорошие русские слова — сохранились в науке и в технике» (привел слова). Рассматривал «Чукоккалу». Заинтересовался предреволюционными записями: «Я пишу Петербургскую повесть, давно хотел написать. Сейчас я закончил рассказ о том, как молодежь строила для [себя] техникум, а когда построила, ее прогнали. У нас в Рязани из трех техникумов два были построены так».

— 75%,— сказал я.

— 66! — сказал он, и я вспомнил, что он учитель. Очень восхищается городом Таллином. «Единственный город в Эстонии, где сохранились памятники средневековья. И какие! (перечисляет). Особенно в Северозападном углу Эстонии — (назвал место). «Мы туда с товарищем на велосипеде собираемся».

Поехали мы с ним на кладбище. Посмотрели на могилу Пастернака, она вся в белых цветах шиповника — и множество цветов внутри. Побывали мы и на могиле Марии Борисовны — и моей. Там густые заросли: вишни, акация, рябина. Мы постояли там долго — и я ушел как всегда умиротворенным.

Давно я не писал дневника. Между тем у меня дважды (две среды подряд) была Ахматова, величавая, медлительная, но с безумными глазами: ее мучает, что Сергей Маковский написал о ее отношениях с Гумилевым какую-то неправду. «Он не знал первого периода нашего брака».

С Солженицыным мы приехали на станцию, когда подошел поезд: как молодо помчался он догонять поезд — изо всех сил, сильными ногами, без одышки. Какими-то чертами он похож на Житкова, но Житков был тяжелый человек, хмурый деспот, всегда мрачный, а этот легкий, жизнерадостный, любящий. ⟨...⟩

14 сент. Суббота. Зинаида Николаевна Пастернак рассказывает: я просто взбесилась и написала бешеные письма Федину и Тихонову. О том, что я в нищете, что до сих пор не получаю пенсии, что томик стихов Бори изд-во сократило вдвое, что из-за границы мне не шлют ни копейки; о том же написала и Тихонову. Тихонов сейчас же пришел ко мне — обещал поговорить с Фединым — и вот нужно же было так случиться, что после этого я пошла к Сельвинским взять в

долг хоть несколько рублей — вижу, идут они оба: Тихонов и Федин. У меня подкосились ноги, чувствую, что падаю, сердце застучало как сумасшедшее, «только бы дойти до кордиамина» (лекарства), Федин обещал сделать, что может, и придти ко мне в понедельник. Ждала его весь день, он пришел только к вечеру, смертельно усталый (у него вообще вид глубокого старца, особенно это бросилось в глаза днем, когда я встретила его с Тихоновым: брови и нос). Он сказал, что дано распоряжение уплатить за дачу, дать мне единовременное пособие, печатать стихи Пастернака в «Библ. поэта» в количестве 18—20 листов (а не 11-ти, как сказано в договоре) и т. д. Я заговорила о «Докторе Живаго». Он смутился и сказал: «Подождем, теперь не время». Но на следующий день позвонил Хесин из Управления авторских прав, попросил *спешно* сообщить ему сведения о наследниках. (Очевидно, хотят перевезти сюда иностранные деньги.)

25 сентября в великолепную погоду я приехал в Барвиху. Встретил здесь милых Солдатовых, которые подарили мне песни Бернса (Souvenir Edition)*. ⟨...⟩

30 сентября. Вот говорят о молодежи: тунеядцы, паразиты и проч. Но со мною сидит за столом старый большевик Ермаков — темная посредственность, глухой ко всему человеческому, кроме еды, круглый оголтелый невежда — и оказывается, он здесь, в Барвихе — бесплатно (содержание больного здесь стоит 6 тысяч в месяц). Завтра он уезжает — на прощание спросил меня:

— Вы прикреплены к столовой на ул. Грановского?

И я вспомнил, что великое множество вот этаких принципиальных бездельников получает бесплатное пропитание в больничной столовой.

— Я получаю сухим пайком! — похвастался он.

Вообще он очень доволен судьбой:

— У меня жена моложе меня на 16 лет. ⟨...⟩

2^ое^ октября. Изумительная невероятная погода. Впервые за все эти месяцы я позволил себе решительно ничего не делать и гулять над прудом. Жара. У пруда акад. Цицин целые дни с удочкой. Его жена тоже. На пруде золотая рябь — деревья стоят кругом, как зачарованные. Мы 3 часа — или больше — нежились вместе с А. А. Солдатовым на солнце и вели ленивый разговор. Говоря о сталинских временах, С. сказал:

— Подумайте: только в одном «Аркосе» пять директоров один за другим были сняты и расстреляны. Теперь они все реабилитированы. Так? (он любит, рассказывая что-нб., приговаривать: «так?») Пять директоров! Ясно, что уже 3-й, 4-й, 5-й думали не о деле, а о том, как бы им уцелеть.

---

* Сувенирное издание *(англ.)*.

Тут Солд. говорит.

— Особенно пострадали партийцы.

И конечно, это не верно: особенно пострадали интеллигенты. Из писателей: Бенедикт Лившиц, Осип Мандельштам, Марина Цветаева, Гумилев, Мирский, Копелев, Солженицын, Добычин, Зощенко, Ахматова, Эйхлер, Заболоцкий, Бабель, Мих. Кольцов, Ал. Введенский, Хармс, Васильева, Бруно Ясенский, Пильняк, Ел. Тагер.

9/X. Разговорился с одним отдыхающим о Макаренко. Он говорит:

— Макаренко — дутая фигура. Его метод никуда не годится. Да и таланта у него маловато. Его «Педагогическая поэма» — вздор.

Я спрашиваю:

— А чем вы занимаетесь?

— Бывший учитель.

Все кругом засмеялись. Оказалось, это маршал Соколовский. Завтра уезжают Солдатовы, и я с тоскою думаю об этом. Такие уютные, сердечные, милые люди, и мне с ними было так хорошо..

Погода все время изумительная. Теплынь. Подумать только: летают осы, бабочки, мухи жужжат на стеклах. Вместо октября сплошной июль. Я все еще увяз в Куприне.

10 октября. Солдатовы уезжают, и я остаюсь сиротой. Подарил им книжку «Живой как жизнь». Сделал на ней такую топорную надпись:

Не дожить бы до проклятого
Десятого!
В этот день, по воле сатаны,
Я лишаюсь милого Солдатова
И его приветливой жены.
Мне без них в Барвихе будет лихо:
Будет мне пустынею Барвиха.
Всегда-то вы,
Солдатовы,
Отрадой были мне,
Так пусть вам будет сладостно
В туманной и безрадостной
Далекой стороне!

---

12 окт. 〈...〉 Вышел пройтись. Навстречу маршал Соколовский. Слово за слово — стал ругать Солженицына. «Иван Денисович» это проповедь блатного языка. Кому из нас нужен (!) блатной язык! Во-вторых, если хочешь обличать сталинскую эпоху, обличай ясно, а то сказал о Сталине неск. слов — и в кусты! и т. д.

А «Матренин двор» — нашел идеал в вонючей деревенской старухе с иконами и не противопоставил ей положительный тип советского ч[елове]ка!

Я с визгом возражал ему. Но он твердил свое: «*проповедь* блатного языка».

О «Случае на станции...» говорит более благосклонно. Покуда мы спорили, смотрел на меня с ненавистью. ⟨...⟩

Соколовский звук *г* произносит мягко, по-украински. В разговоре употребляет крутые солдатские ругательства. А боится блатного языка.

Здесь отдыхают два председателя колхоза: «Мы хотим поговорить с вами о Солж.». Я избегаю их всеми способами.

Вчера была у меня Мура Будберг и Людмила Толстая. Мура привезла мне книжку Устинова, посвященную ей... Я поставил ей бутылку вина, к-рую она, не допив, взяла с собой. ⟨...⟩

27 октября. ⟨...⟩ Весь здешний бюрократический Олимп ужасно посвински живет. Раньше всего все это недумающие люди. Все продумали за них Маркс — Энгельс — Ленин — а у них никакой пытливости, никаких запросов, никаких сомнений. Осталось — жить на казенный счет, получать в Кремлевской столовой обеды — и проводить время в Барвихе, слушая казенное радио, играя в домино, глядя на футбол (в телевизоре). Очень любят лечиться. Принимают десятки процедур.

Разговоры такие:

— Что-то нет у меня жажды...

— А ты съешь соленого. От соленого захочется пить.

— Верно, верно.

Или:

— Какая водка лучше — столичная и[ли] московская?

— Московская лучше, на этикетке у нее — медали.

Или:

— Кто у вас там секретарь.

— Солодухин.

— Иван Васильевич.

— Нет, Василий Иванович.

Со мною рядом сидит Сергей Борисович Сутоцкий, один из редакторов «Правды». Милейший человек, загубленный средой, поддающийся ее влиянию. Он принес мою книжку «Живой как жизнь», прося автографа. Я написал ему следующее:

Средь сутолоки идиотской
Ты помнишь ли, Сергей Сутоцкий,
Глубокомысленный завет,
Что нам оставил Заболоцкий,
Мудрец, учитель и поэт:
— «Не позволяй душе лениться,
Она — служанка, а не дочь.
Душа обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь».
В Барвихе или в Кисловодске —

В какой бы ни попал ты рай,
Прошу тебя, мой друг Сутоцкий,
Своей души не усыпляй.
Оставим стаду идиотов
Усладу грязных анекдотов,
Транзисторы и домино
И скудоумное кино.
К лицу ли нам, друзьям искусства,
Такое гнусное паскудство?

Вчера к Екатерине Павловне Пешковой, которая живет здесь в 22 палате, приехали ее правнуки: Катя, Максик и волшебно красивая Ниночка (внучка Берии), а также Людмила Толстая. Мы все уселись на террасе. Невдалеке поместился маршал Соколовский. Как нарочно, заговорили о Солженицыне. Все отзывались о нем восторженно. С. слушал-слушал, не выдержал и сбежал. (За это время я ближе познакомился с ним, и он мне симпатичен — очень болен.)

А третьего дня ко мне подошел один вельможа. «Я депутат той области, где живет Матрена. Ваш Солженицын все наврал. Матрена совсем не такая».

Напрасно я говорил ему, что художник имеет право преображать действительность, он толковал свое: «Все исказил, все переврал. Если ты писатель, пиши правду». ⟨...⟩

10 декабря. Мне легче. Вчера я ходил гулять — вместе с Расулом Гамзатовым, который поселился здесь в Доме Творчества во флигеле. ⟨...⟩ Очень забавно рассказывал, как он исполняет обязанности члена правительства. Всякий раз, когда какое-нибудь новое превращение какого-нб. генерала в маршала или мелкого посланника в посла, звонят ему из Кремля, чтобы он подал свой голос. Он всякий раз отвечает: «Я согласен», так как никого из этих людей не знает, и их карьера не интересует его. Но это выходило очень монотонно, и вот для разнообразия он ответил однажды «я подумаю», хотя и не знал, о ком идет речь. «Я подумаю и на днях дам ответ». Там всполошились. Но он через день позвонил и сказал: «Пожалуй, я согласен». Вообще у него много юмора. ⟨...⟩

1964

4 января 1964. Опять в Барвихе. Измочален совсем. Шумно, неуютно. ⟨...⟩

Все, что вчера удалось мне услышать от соседа по столу, это анекдот о Н[иките] С[ергеевиче]. Приехал Н. С. в одну украинскую

деревню. Председатель угощает его самогоном. Н. С. (с неудовольствием): «У вас это еще не изжито».

Предс.— «Нет, не из жита, а из кукурузы».

10 января 1964. Гулял с Андреем Андреевичем Громыко. Высокий мужчина, бывалый — и жена его. Рассказывал им о Пастернаке — о том, что деньги огромные пропадают в США — гонорары за иностр. издания «Д-ра Живаго». Не лучше ли взять эти деньги (валютой) и выдать жене П-ка советскими деньгами.

Прихожу домой — на столе книжка: Pasternak, «Fifty Poems». Chosen and translated by Lydia Pasternak Slater* (Unwin Books).

Предисловие прелестное: биография матери, отца, отрывки из писем Бориса Леонидовича. Но переводы — уж лучше бы прозой. Большинство пастернаковских стихов передано в ритме Якуба Коласа — причем нечетные строки без рифмы, воображаю, как страдал бы П-к, если бы познакомился с такими переводами. У нас ни одна редакция не допустила бы таких переводов в печать. Значит, напрасно я взъелся на бедную Miriam Morton и Марию Игнатьевну за переводы моих вещей. ⟨...⟩

Селих рассказал, как в «Известиях» и в «Правде» (случайно в один день) появились рецензии, ругающие «Наполеона» Тарле. «Книга-то очень хорошая, но ее *нужно* было выругать, т. к. предисловие к ней написал Радек».

— Так ругали бы Радека. Зачем же ругать книгу Тарле.

— Вы ничего не понимаете. Так всегда делается.

Дальше он рассказал то, что я знаю. Что Тарле написал Сталину письмо, просил разрешения ответить своим рецензентам в газете, Сталин ответил ему письмом:

«*Академику* Тарле

(Т[арл]е был тогда исключен из Академии)

Не нужно отвечать в газете. Вы ответите им во 2-м изд[ан]ии Вашего прекрасного труда».

Оказывается, Сталин вызвал Мехлиса и Стельмаха (описка, следует читать: Селиха.— *Е. Ч.*) и сделал им нахлобучку за злобные выпады против Тарле. «И мы тогда признали свою ошибку и обещали похвалить эту книгу»,— закончил Селих.

— Значит, вы хвалите и браните только по распоряжению начальства.

— А как же иначе!

11.1.64. ⟨...⟩ Вспомнил о маме. Послала она меня в аптеку (Дзенкевича) за каплями Боткина и дала бумажный рубль. Я сунул рубль в перчатку, а перчатка была дырявая — и в аптеке оказалось:

---

* Пастернак. «Пятьдесят стихотворений». Выбраны и переведены Лидией Пастернак-Слэйтер *(англ.)*.

рубля нет. Я в слезах и в отчаянии прибежал домой без рубля и без лекарства. И мама сказала:

— Ну что ж! Подумай только, как обрадуется тот, кто найдет этот рубль. Какая-нб. бедная женщина и т. д.

История с ее именинами. 24 дек. в день св. Екатерины. Особенный день, другого цвета, другого запаха, чем все остальные. И нужно было по секрету подготовить подарки. И тут происходили чудеса: вдруг дней за десять где-нибудь в башмаке я находил трехрублевку — мама, вот 3 р.— «Это не мои деньги».— Уверенный, что просто мне повезло, я шел с Марусей и Маланкой в магазин Колпакчи и покупал стеклянный графин со стаканом, а на полученную сдачу бюст Шевченко и был так мал, что не знал о Шевченко ничего и думал, что всякий бюст называется Шевченко.— А Маруся, найдя у себя под подушкой такие же три рубля, покупала канву и мотки гаруса и начинала вышивать для мамы подушку, таясь по темным углам. Секретность соблюдалась чрезвычайная.— Мама идет! Прячь! — шептал я в ужасе — но мама упорно не замечала ни Маруси, ни вышивки. Мне и в голову не приходило тогда, что мама знает в этой вышивке каждый крестик и, покуда Маруся спит, корректирует ее вышивание. И ужас: я сам же нечаянно и разбил кувшин, предназнач. для подарка. И на туалетном столе — розовая юбка у туал. стола, а сверху тюль — нашел новую трехрублевку.

Воспитывала она нас демократически — нуждою. Какой это был ритуал: когда она мыла посуду, вытирать полотенцем тарелки и вообще помогать маме. ⟨...⟩

24/1. У меня такое впечатление, будто какая[-то] пьяная личность рыгнула мне прямо [в] лицо. Нет, это слишком мягко. Явился из Минска некий Сергей Сергеевич Цитович и заявил подмигивая, что у Первухина и Ворошилова жены — еврейки, что у Маршака (как еврея) нет чувства родины, что Энгельс оставил завещание, в к-ром будто писал, что социализм погибнет, если к нему примкнут евреи, что настоящая фамилия Аверченко — Лифшиц, что Маршак в юности был сионистом, что Кони (Анат. Фед.) был на самом-то деле Кон и т. д. Я сидел оцепенелый от ужаса. Чувствовалось, что у него за спиной большая поддержка, что он опирается на какие-то очень реальные силы. ⟨...⟩

31 января. Вчера кончил возиться с предисловием к книге Вл. Ос. Глоцера «Дети пишут стихи». Книга не научная, а чисто педагогическая. Но она обличает наших казенных учителей, и в этом ее заслуга. ⟨...⟩

2 февраля 64. Вчера в Барвиху приехал Маршак. Поселился в полулюксе № 23 в нижнем этаже. Когда я увидел его, слезы так и хлынули у меня из глаз: маленький, сморщенный, весь обглоданный болезнью. Но пышет энергией. Не успел я сесть, как он стал говорить о себе со страшной силой самовосхищения, которое совершенно

оправдано, так как он в самом деле феноменально одухотворен, творчество так и пышет из него. Рассказывал о Блэйке. Как Горький говорил ему и даже писал: «Не стоит Ваш Блэйк, чтобы Вы переводили его». Рассказывал о Солженицыне, который вместе с Твардовским третьего дня приходили благодарить Маршака за статью в «Правде»[1]. Статья первоначально была предназначена для радио. Говорит с большим одобрением о Солженицыне — «Отличный человек: ему так нравятся мои переводы сонетов Шекспира». Об Эткинде: Эткинд в своей книге очень расхвалил Маршака, но позволил себе не совсем благоговейно отозваться об одном переводе одного из сонетов Ш[експи]ра, и Маршак уже два месяца всюду порицал его книгу[2]. Но вчера был у М[аршака] Эткинд, и М. доказал ему его неправоту, и они помирились. Читал мне свои лирические эпиграммы, среди которых есть одна хорошая.

«Теркин на том свете» был переведен (не до конца) одним английским поэтом, к-рый жил в СССР и умер, не закончив перевода. Теперь Маршак написал предисловие к этому переводу, к-рый выйдет в Англии.

Говорил Маршак о своем разговоре с Косолаповым, директором Гослита по поводу поэта Бродского, с которым тот расторг договор:

— Вы поступили как трус. Непременно заключите договор вновь... и т. д.

Он говорил со мной, как с колокольни. Не просто говорил, а «дарил своей мудростью» — «щедро делился своими богатствами» — и все же был трогателен великой победой духа над плотью, бессмертья над обступившей его со всех сторон смертью. И когда я ушел, чувство жалости *к нам обоим* сжало мне горло.

Кстати: сердце у меня продолжает болеть. Вчера перестало, а сегодня —

3 февраля боль вознобновилась. 〈...〉

Снастин, заместитель Ильичева, говорил мне во время прогулки, что существует много рукописей Ленина, не вошедших в «Собр. соч.» — одна из них о Ворошилове — о том, как В. развалил армию. «Мы не печатаем: жаль старика».

Рассказывал о Шепилове, к-рый нынче служит в архиве: разбирает военные бумаги XIX века. «Мы дали ему квартирку на Кутузовском — две комнаты. Он запротестовал: мало. Где я буду держать мои бумаги? — Мы даем вам квартиру не для бумаг, а для жилья».

Молотов не взял никакой работы. «Он упрямый, нераскаянный». А Булганин был на встрече нового года в Кремле и дружески беседовал с Ник. Сергеевичем.

О Федине говорит с великим почтением.

7 февраля. Вчера вечером показывали «Новые времена» Чарли Чаплина. Пришел Маршак. Оказывается, он все видит, даже мелкие

титры. Но слух у него очень ослабел, и самовлюбленность необъятная. Вчера я проводил его из кино в его номер, вижу: на столе новая книжка «Нового мира», беру ее с жадностью; он говорит: «здесь мои «лирич. эпиграммы» — прочитайте». Я читаю ему вслух его стихотворения, которые он читал мне вчера и третьего дня. И когда я стал перелистывать книжку, взял ее у меня. Вновь рассказал мне, что́ он ответил директору учреждения, где служит его сын, вновь рассказал, что директор сказал: «я распущу всю эту синагогу», хотя у него три проц. служащих-евреев. Я было хотел приходить к нему ежедневно и читать, но вижу, что это невозможно: он терпит только чтение *о нѐм* и всякое другое чтение заменяет своим монологом.

Чаплин, конечно, гений, равного которому нет. Он сделал цирковую эксцентрику лиричной. ⟨...⟩

17 февраля 64. Здесь новые лица. Зам. министра МИД: Сергей Георгиевич Лапин, человек студенческого обличья, проводящий на коньках и на лыжах по 3—4 часа в день, отец полуторагодовалого ребенка (Сергея) — весь блондин, с ног до головы, веселый, озорной человек, пишущий стихи, читающий всевозможные книги, питомец Высшей партийной школы. И с ним его друг Влад. Семенович Лебедев, референт Никиты Сергеевича, молодой и моложавый человек в очках, непрерывно острящий — главным образом над своим дружком Лапиным. Их дружба выражается в непрерывных остротах друг над другом — иногда очень удачных. Лапин сочинил какое-то — неплохое — стихотворение, Леб. прочитал его и сказал: нужно попросить Маршака, чтобы он перевел его на русский язык.

С Маршаком я вижусь каждый день. Он по-прежнему говорит только о себе или превращает свою речь в ряд бессвязных афоризмов, которые произносит с таким видом, будто изобрел их сию минуту. Иные афоризмы хороши, например о том, что стихи Луговского похожи на воду, в к-рой художник моет кисти, и вода от этого разноцветная, но не перестает быть водой. Или о том, что у наших критиков есть руки, но нет пальцев. И т. д. Сейчас он работает над изменением своих переводов сонетов Шекспира, к-рые он передал как обращения к женщине, в то время как они явно обращены к мужчине.

Здоровье его очень расшатано. От неумеренного потребления антибиотиков во всем его теле зуд, который не дает ему спать по ночам. Зрение ухудшается, хотя он видит и кино-картины, и рукописи,— сам пишет десятки страниц.

Лида и Фрида Вигдорова хлопочут сейчас о судьбе ленинградского поэта Иосифа Бродского, которого в Л-де травит группа бездарных поэтов, именующих себя «Руссистами». Его должны завтра судить за бытовое разложение. Лида и Фрида выработали целый ряд мер, которые должны быть приняты нами, Маршаком и Чуковским, чтобы приостановить этот суд. Маршак охотно включился в эту борьбу за несчастного поэта. Звонит по телефонам, хлопочет.

— Пойдем, поговорим о нем по прямому проводу,— предложил он. У меня в это время был Митя. Он помог Маршаку взобраться на 2й этаж в ту комнату (рядом с кино), где телефон. Был 7-й час. Но мы не могли дозвониться до Лиды. Митя в промежутке между звонками стал рассказывать о Солженицыне. Солженицын пришел в студию МХАТ'а посмотреть инсценировку «Случая на станции». Поглядеть на него собралась куча народа. Долго ждали его — что же он запаздывает? — оказалось, он давно сидит в третьем ряду, неузнанный никем. Когда его опознали, он сказал, что хотел поговорить с глазу на глаз с актерами, а не с публикой,— и особенно ему неприятно, что здесь присутствуют журналисты. «Все, что я хочу сказать читателям, я скажу в своих произведениях — и мне не нужны посредники». И стал так нелестно отзываться о журналистах, что один из них предпочел уйти.

Маршак внимательно слушал этот Митин рассказ и вдруг сказал совсем простым голосом: «Мне плохо» и сомлел. Митя чуть не на руках отвел его в его палату (№ 23), мы вызвали врача, открыли фрамугу окна, и через неск. минут он отошел. «А я думал, что умираю»,— очень просто сказал он.

На Митю все это произвело большое впечатление. Маршак, едва очнулся, сказал: «Звоните Лиде об Иосифе Бродском».

Есть в этом характере черты величия.

18 февраля. Сейчас ушел от меня Влад. Семенович Лебедев. Вот его воззрения, высказанные им в долгой беседе. Шолохов — великий писатель, надорванный сталинизмом. «Разве так писал бы он, если бы не страшная полоса сталинизма.— Вы, К. И., не знаете, а у меня есть документы, доказывающие, что Сталин намеревался физически уничтожить Шолохова. К счастью, тот человек, который должен был его застрелить, в последнюю минуту передумал. Человек этот жив и сейчас. Леонов, исписавшийся, выжатый как лимон,— тоже жертва сталинизма: «Вот, мол, меня Горький любил». Тем и живет. И его «Русский лес» такая чушь. Анну Ахматову я люблю и чту: в то самое время, когда велась против нее травля, она писала стихи о Родине.

Об Ахматовой я заговорил с ним первый: ей 75 лет, нужен ее однотомник. «Ну что же — однотомник будет». И вообще, К. И., все будет. Будет собрание соч. Пастернака. Мы издадим даже «Д-ра Живаго», в к-ром чудесные описания природы, зима, например, великолепна.

О Фросте: я записал всю беседу Н. С. с Фростом. Фрост ребенок, наивный, знал, что умирает, и приехал умирать в СССР. Но наивен. Сурков даже сочинил стихи — где называет его идеи бредовыми Сурков весь изменился на 180°. Удивляют меня эти люди — «изменившиеся» и т. д.

Ничего не знаю об Иосифе Бродском. Интересно, что М[аршак] возложил на меня не только составление телеграмм, но и оплату их[3].

Сегодня он как ни в чем не бывало оделся, надел шубу, шапку и умчался в Москву. «Там в театре репетируют одну мою пьесу».

Завтра приедет ко мне Паперный, а также художник Кузьмин.

19 февраля. Будь прокляты Бенкендорфы и Дубельты, какой бы режим ни защищали они насилием над Литературой! Бедный, ничтожный поскребышек, его бесславье перейдет в века. Жданов и не догадывался, каким страшным клеймом он клеймит и себя и свое потомство — своим безграмотным и хамским наскоком на Ахматову и Зощенко.

Вот что хочу я написать Лебедеву на книжке «От двух до пяти», к-рую он принес ко мне, чтобы я начертал на ней автограф. ⟨...⟩

Паперный — автор фильма «День рождения Чуковского» — хороший литературовед, труженик, остроумный пародист, юморист. Очень одаренный человек. Его жена Калерия Ник. Озерова — редактор рецензий «Нового Мира».

21 февраля. Приехал сюда с месяц тому назад некий старый большевик Воеводин, одержимый манией грандиоза. После первого же знакомства он поднес мне саморекламную брошюру, из которой явствует, что он был зауряден как плотва, бездарный и бесцветный человечек. Прошло недели три, и вдруг он потребовал у меня свою брошюру назад.

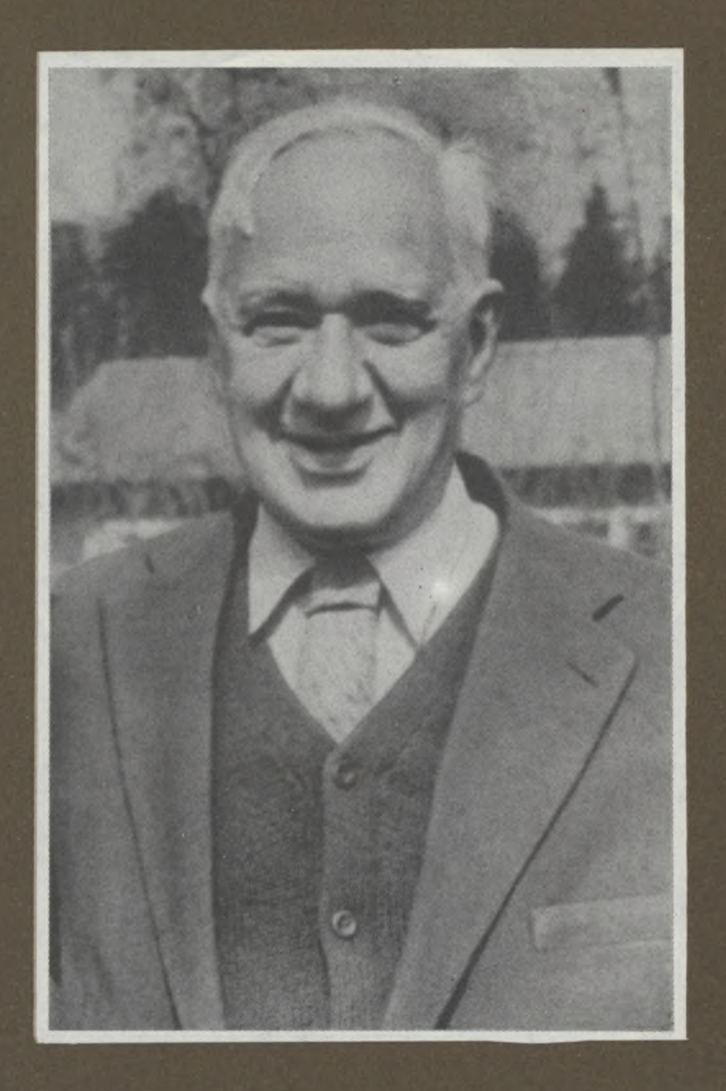
— ?

— Вы сказали, что вы ненавидите старых большевиков, а я как старый большевик. Я требую свою книжку назад.

Оказалось, на общей террасе я в присутствии Снастина, Артюшиной и некоего Баттероля Бандероля позволил себе сказать, что среди старых людей — пенсионеров, а также некоторых старых большевиков живет стремление к тунеядству. Они считают себя вправе решительно ничего не делать только потому, что лет 30 назад они совершили некий — часто весьма заурядный поступок. Услышал это Бандероль и стал звонить по всему санаторию, что я будто бы ругал всех старых большевиков. Ему возражали: Майзель-Розовская, Андреева, Алтаева, но все же сплетня делала свое дело — и многие чуть ли не бойкотировали меня.

Но вот сплетня эта дошла до Вл. Сем. Лебедева. Он, больной гриппом, тотчас же пошел к Бандеролю и сказал ему: «Вы клеветник», и позвонил Снастину, и Снастин передал ему мои слова в точности и сказал, что вполне солидаризуется со мною. Тогда Лебедев пошел к Воеводину и предложил ему извиниться передо мною и потом пришел ко мне успокоить и утешить меня. ⟨...⟩

1 марта 1964. Вчера состоялся вечер Маршака. Перед этим М. ездил в Москву на репетицию своих «Умных вещей», готовящихся в Малом театре. Была первая читка. Он приехал очень довольный. «Ильинский превосходен. Малый театр взял из театра Сатиры двух



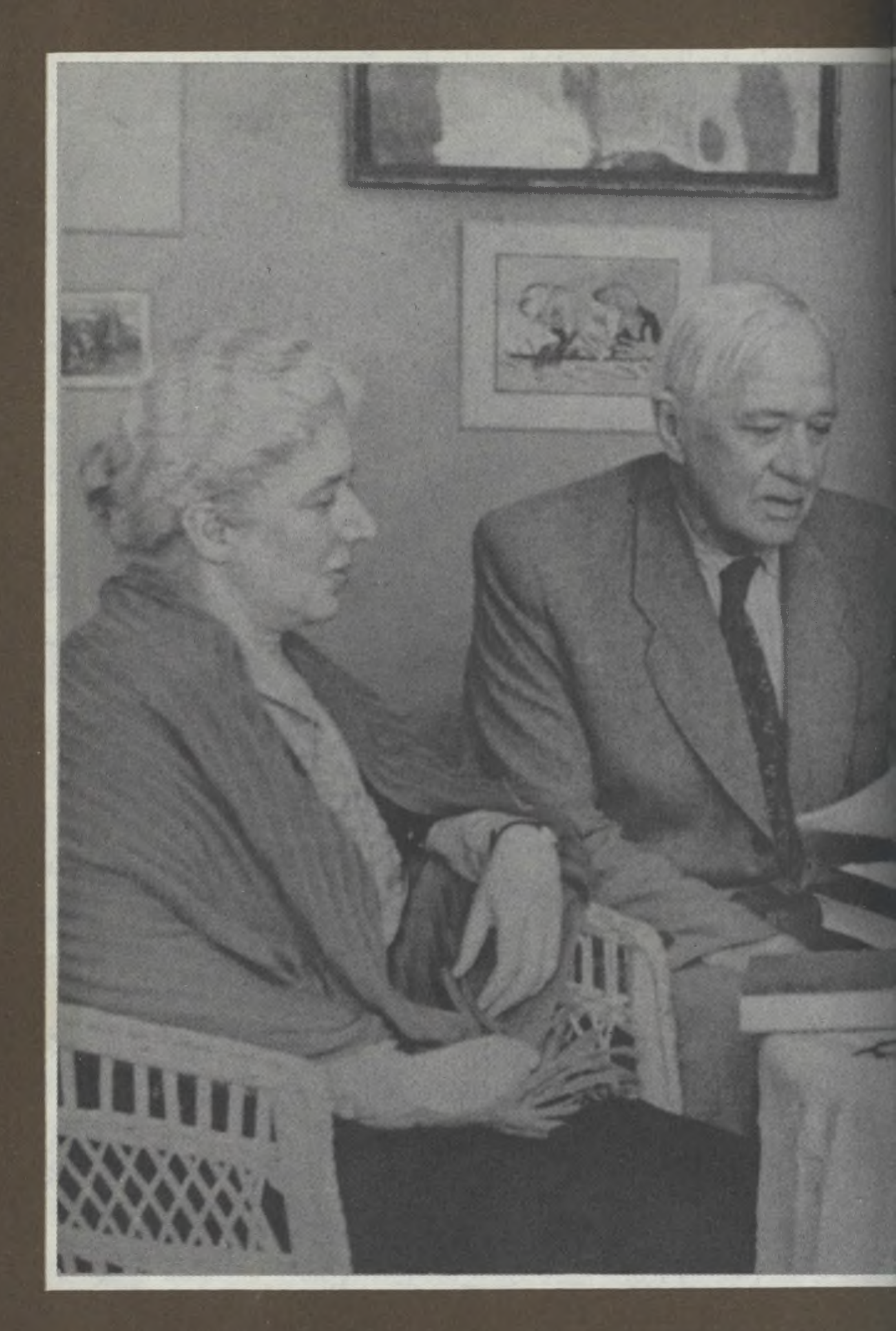
Пятидесятые годы. Снимал В. Иванов



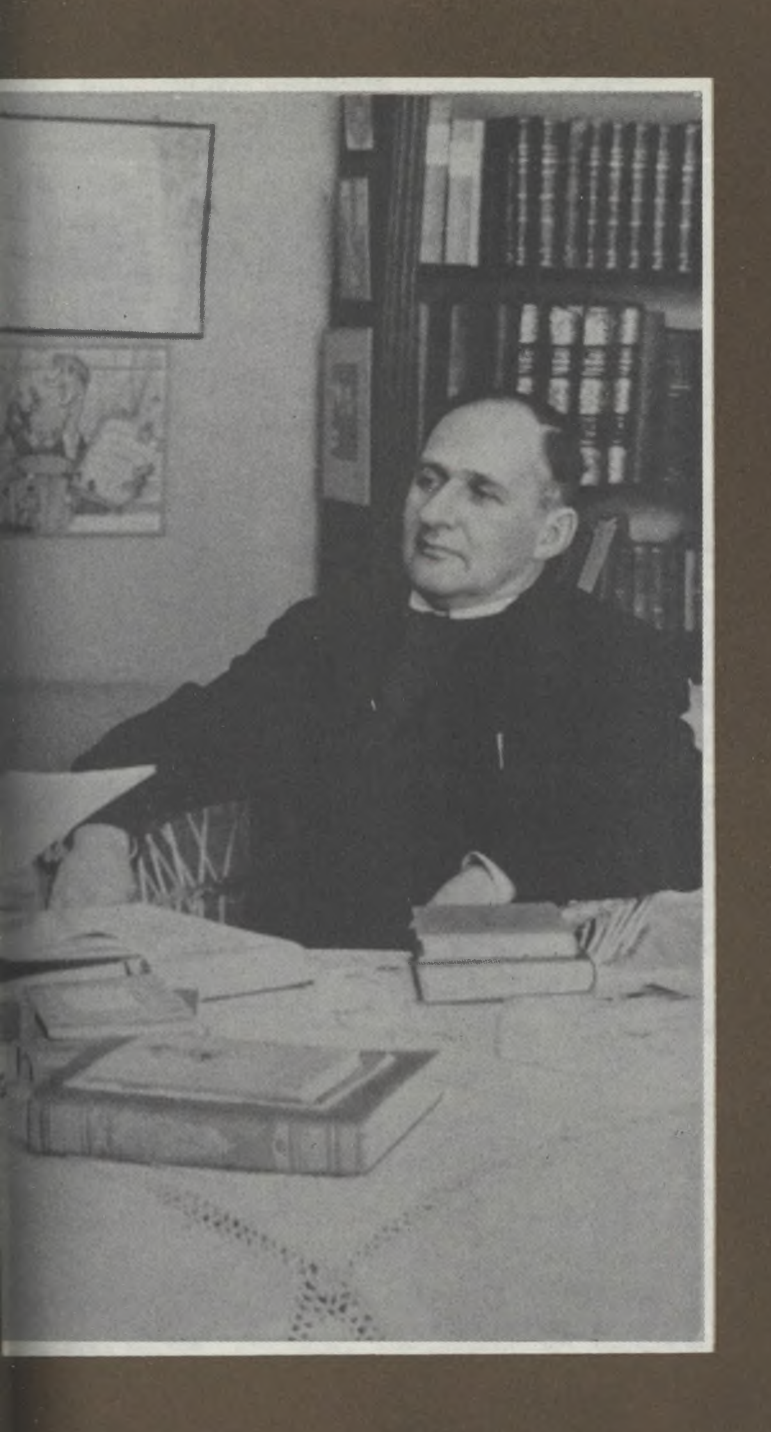
И. Л. Андроников и его дочь Манана беседуют с К. Чуковским. Дача Андроникова. Переделкино, конец 50-х годов



Корней Иванович и Агата Андреевна Охотина.
Переделкино, 50-е годы. Печатается впервые



Корней Иванович с дочерью Лидией и сыном Николаем.
Переделкино, 1957 г. Снимал Ал. Лесс





К. Чуковский, С. Маршак и Е. Фурцева во время экскурсии по каналу Москва — Волга в дни Всемирного фестиваля молодежи. Москва, 1957 г.



Корней Чуковский и К. И. Лозовская. Переделкино, 60-е годы. Печатается впервые



Корней Иванович с Ольгой Викторовной и Вадимом Леонидовичем Андреевыми. Переделкино, 60-е годы. Печатается впервые



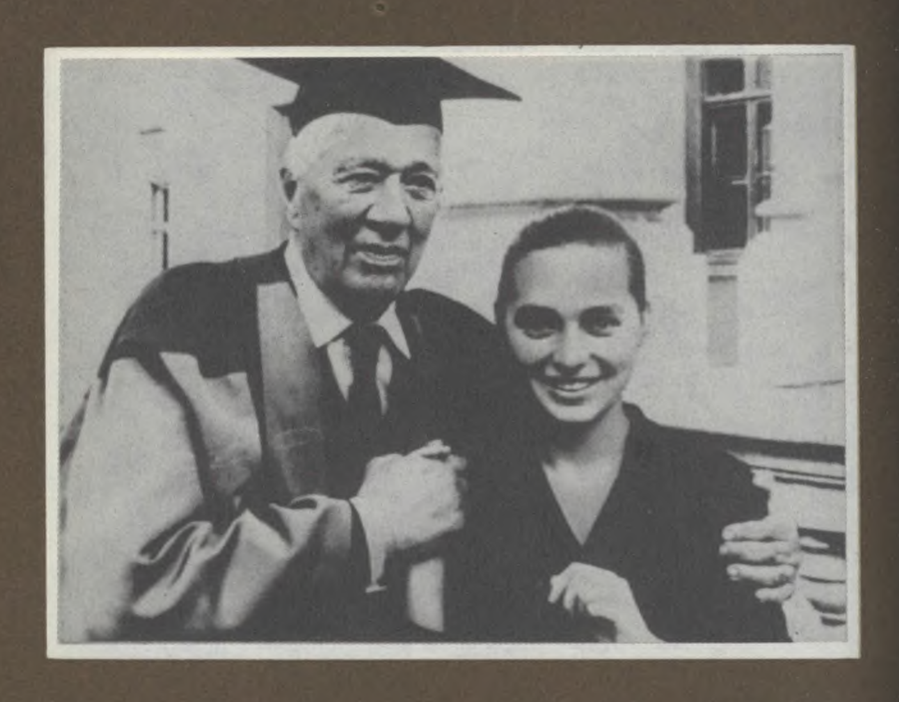
К. Чуковский с японской писательницей и переводчицей Томико Инуи. Переделкино, 60-е годы. Печатается впервые



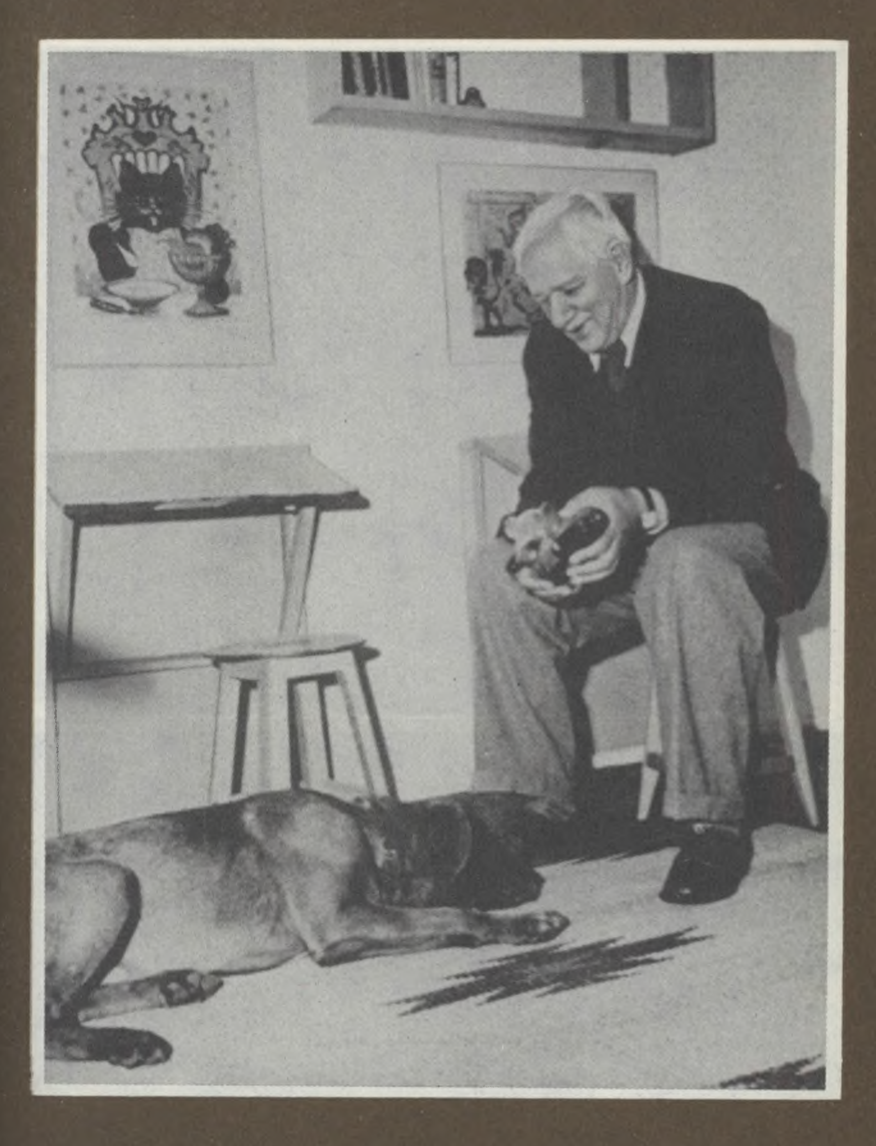
Корней Иванович, жена его внука — Анна Владимировна Дмитриева и правнучка Марина. Переделкино, 1967 г. Печатается впервые



Дом Чуковского в Переделкине



Корней Иванович с правнучкой Машей. Переделкино, 1968 г.
Снимал М. Поляновский



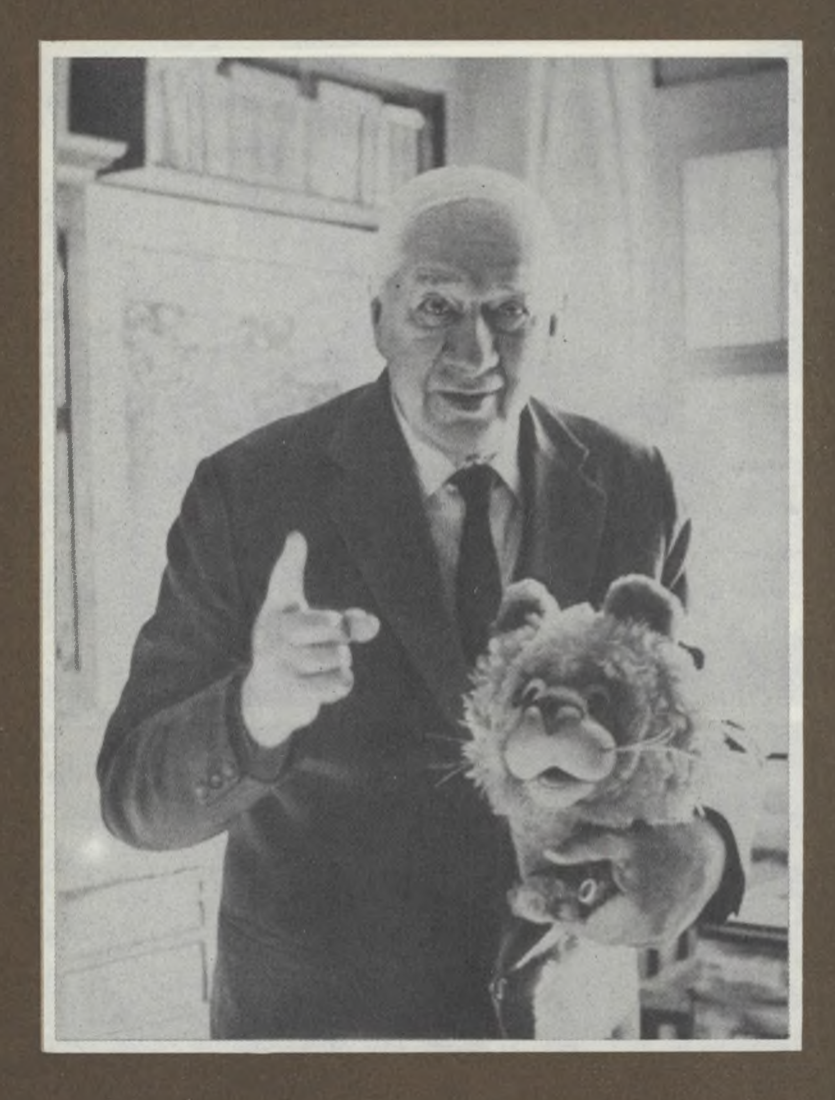
К. Чуковский с собакой Мишкой в переделкинской детской библиотеке. Май 1962 г. Снимал Л. Иванов



К. Чуковский и А. Солженицын. Лето 1969 г.
Снимала Н. Решетовская



Корней Иванович и Татьяна Максимовна Литвинова. Переделкино, лето 1969 г. Печатается впервые



К. Чуковский с говорящим игрушечным львом.
Переделкино, 60-е годы. Снимал Н. Носов

лучших артистов — на читке многие хохотали — спектакль намечается легкий». Это очень окрылило Самуила Яковлевича. Он вышел «на эстраду» в сопровождении Элика очень изнеможенный, но бодрый. Читал свою чудесную «Быль и небылицу» по памяти, Элик смотрел в книгу и подсказывал, но т. к. М. глух, эту подсказку публика слышала раньше, чем он. Потом он прочитал из Бернса «Честную бедность» и 3—4 эпиграммы, потом шекспировские сонеты, публика хлопала после каждого опуса, хотя многое до нее совсем не доходило. Например, о словаре, о времени и т. д.

Вл. Сем. Лебедев уверяет, что рядом с ним один восхищался:

— И все в рифму!

Я забыл сказать, что перед этим показывалась кино-картина «Маршак» — очень хорошая, прекрасно оформленная 〈...〉

Меня и Маршака позвал к себе Вл. Сем. Прочитал нам письмо Солженицына, к-рый очень благодарит за участие,— видимо волнуясь по поводу премии. Потом очень много рассказывал об Н. С. Хрущеве:

«Работает с 7 час. утра. Читает документы, корреспонденцию. Потом разговоры по телефонам. Приемы, до 7 вечера. Ни минуты свободной. Вообще можно сказать, что это самая тяжелая жизнь, без малейшего просвета — и врагу не пожелаю такой. Разве иногда он выезжает на охоту, но редко. С Молотовым спорил без конца. Молотов противник всяким новшествам. Сейчас мы все сталинисты — и вы, Корней Ив., и вы, Самуил Яковлевич».

Ненавидит Евтушенко. Это лгун. Он сказал матери, что уезжает на ст. Зима, а сам направился в Л-д на симпозиум — восстановить связи с иностранцами.

Очень самобытный ч[елове]к — Вл. С. Лебедев. Линия у него либеральная: он любит Паустовского, выхлопотал печатанье «Синей тетради» Казакевича, обещает добыть для вдовы Пастернака пенсию, восторженно говорит о русской ин[теллиген]ции, но при этом глумлив, задирист, всегда ведет разговор так, чтобы кого-ниб. из собеседников высмеять, обличить, поставить в неловкое положение. Так [как] у него бездна юмора, он очень находчив,— это блистательно удается ему. Спорщик он великолепный, с иезуитским наклоном. И тут же рядом учительный тон, когда он говорит о святынях, отчасти даже поповский, проповеднический.

Кстати: он говорил об изумительной памяти Н. С. Хрущева: он помнит почти дословно все документы, которые когда-либо читал, хотя бы десятилетней давности.

Эти строки я пишу перед отъездом из Барвихи, где я пробездельничал два месяца.

4 марта. Воротился третьего дня в Переделкино. Очень грустно старому человеку возвращаться в обновленный дом, где ему — человеку — остается жить не годы, но месяцы. Ремонтировали дом очень добротно: ванная внизу, кухня, все неузнаваемо прелестно — мой кабинет, Кларочка сделала чудеса, воротив сюда и в соседнюю

комнату все мои книги, которые были снесены вниз в сараи, и расставив их по полкам — и Марина прекрасно оформила столовую,— никогда я не жил в таком отличном благоустроенном доме. ⟨...⟩

20 марта. Надвигается 82 года. Была вчера врачиха NN, которая, очевидно, и уложит меня в гроб. Она сказала, что в моей истории болезни записано:

— *Считает* себя здоровым!

Нет, я считаю себя очень больным, но, ненавидя лечиться, не желая, чтобы врачиха (очень тупая) надоедала мне ежедневными визитами, я ежедневно говорил ей:

— Чувствую себя превосходно.

21 марта. День Марии Борисовны. Не спал ночью, встал с головной болью. Из всех событий главное: приехала Ек. П. Пешкова и привезла некую американку — лет 60. Американка оказалась русской — автор книжки рассказов, «которые хвалил Бунин». Бедная женщина. От России отстала, к США не пристала. Странно видеть русскую *интеллигентную* женщину, не знающую русской литературы — совсем, даже не слыхавшую таких имен, как Федин, Зощенко и т. д.

Гулял с Гребневыми. На кладбище не пошел.

Американка написала роман (по-русски) и жаждет пристроить его. За тем и приехала. И я интересую ее ровно настолько, насколько я имею, как она думает, влияние устраивать романы.

Екат. Павл.— феномен. Ей 84 года (говорят: 87), она легко поднялась на 2-й этаж, осмотрела все уголки в моих комнатах, даже выбежала без пальто на балкон, ходила смотреть детскую библиотеку, недавно была в Одессе, там была горьковская сессия, очень поздоровела (по сравнению с Барвихой) — и, как это ни странно, сохранила много женственности, прелестного изящества души.

Зовут «американку» *Ольга Михайловна Ньюберг.*

Калашникова, Холмская и Богословская были у меня по поводу наследия Ив. Ал. Кашкина. Я председатель Комиссии по его наследству, а я даже не знал, что он умер. ⟨...⟩

5 апреля. ⟨...⟩ Влад. Жаботинский (впоследствии сионист) сказал обо мне в 1902 году:

Чуковский Корней
Таланта хваленого
В 2 раза длинней
Столба телефонного. ⟨...⟩

17 июня. ⟨...⟩ У нас ремонт. Красят крышу, выкрасили мой балкон, заливают отмостье асфальтом. Я очень радуюсь всему этому, хотя и понимаю, что недолго мне пользоваться этим отремонтированным жильем.

18 июня. Утро: дождь!! Вот тебе и наружный ремонт. Вот тебе и костер. После того, как я умру, вся жизнь переполнится такими событиями, вещами, стихами, романами, именами, о которых я сейчас и понятия не имею. Через десять лет после моей смерти моя нынешняя эпоха покажется древностью. «Это еще когда жил здесь Чук.»,— будут говорить о Переделкине.

Только что уехала от меня милая Инуи, подарившая мне ту ручку, к-рой я пишу сейчас. Книжки её детские (проза) написаны под сильным английским влиянием — я устроил в детской библиотеке выставку её книг, несколько ее портретов. Она надела кимоно, и мы пошли с нею по улицам Переделкина. Вместе с нею приехали: студент и студентка у[ниверсите]та Дружбы — Ясуко Танака и Юза Танако (муж и жена) и Ирина Кожевникова из «Советской женщины». Я пригласил Веру Никол. Маркову и ее мужа Леонида Евгеньевича, художника. Маркова, отличная переводчица, бегло говорит по-японски. У Инуи прелестный смех — такого я никогда не слыхал, как будто она решила засмеяться, но на половине бросила, раздумала. Что-то есть в ее смехе младенческое. Мы пошли в Дом Творчества — к Марковой, там японцы спели несколько народных японских песенок — в маленькой комнатке. Потом пошли к Лили Брик и Катаняну и пригласили Новеллу Матвееву, она спела: «Какой большой ветер» и «Окраину».

Сегодня я бегло познакомился с Евтушенко и с Ахмадулиной.

19 июня. Снова взялся за Зощенко. Пишу первые полторы страницы целый месяц. Из-за этого даже не мог поехать навестить Паустовского (в Барвихе). Вечером гулял с Нилиным. Он на словах страшно левый. Бранит Хр[ущева] за то, что тот сказал в Дании заносчивую речь. «Ему бы поучиться у датчан сельскому хозяйству. Ведь как-никак маленькая страна, 5 миллионов жителей, а кормит молочными продуктами половину земного шара. Зачем такое зазнайство». Нилин пишет сейчас о Бурденко и рассказывает случаи гражданской доблести Бурденко (т. е. его мнимых выпадов против Сов. власти).

Встретил глухую сестру Веры Вас. Смирновой — очень милую, набожно верующую в марксистскую эстетику. Должно быть, это от глухоты. 〈...〉

22 июня. Божественная погода продолжается. 〈...〉

Вожусь с Зощенко.

Сегодня была у меня б[ывшая] балерина Гердт и брат Ираклия Элефтер.

Сирень цветет бешено.

Маляры кончили ремонт.

24 июня. Вчера в Доме Творчества две «вдовы»: Лили Брик и Н. А. Нольде (Коган). Одна — о Маяковском, другая — о Блоке. О, если б их увидели сейчас Маяковский и Блок. Нольде совсем пло-

ха: разбита параличом, еле движется, в лице ни кровинки, глаза мертвые.

Лили говорит мне:

— Не правда ли, странный человек был Володя? Очень странный. ⟨...⟩

Петра Семеновича Когана Маяк. презирал, как воплощение всяческой тупости. Издевался над ним в стихах. Но чего не сделает смерть. Вчера я видел, как вдова Когана передавала вдове Маяковского фото (лекция Дюапеля), на которой присутствуют и Маяк. и Коган. И вдова Маяк. нежно спросила:

— А где же Петр Семенович?

— А Петр Семенович вот здесь.

25 июня. Были у [меня] вчера четыре джентльмена. Л. Н. Смирнов, председатель верховного суда РСФСР, В. Г. Базанов, директор Пушкинского Дома, Е. Ворожейкин, директор Юриздата (тел. К 7-72-63, К 7-91-67) и еще один, чья фамилия не выяснена. Мои коллеги по изданию 8-томного Кони. Я стал критиковать их проспект (пропустили дело о крушении поезда в Борках: дали в III томе то, что надо было дать в IV-ом, отвели под комментарии всего по 2 листа!). Они слушали без интереса, ибо цель их приезда — уговорить меня, чтобы я дал вступительную статью об Анатолии Федоровиче.

— Но ведь я написал статью о нем.

— Чудесная статья!

— В ней я сказал все, что знаю о нем. И больше сказать мне нечего.

Все же настаивают. Оказалось, что со Смирновым, Председателем Верховного Суда, я уже встречался в жизни — на Лахте, в Ольгино, в 1922 году. Он говорит: «помню, вы все возились с детьми». Был ли он тогда ребенком, я не решился спросить. Он тучный, высоколобый, с усталым лицом. Я заговорил об Иосифе Бродском.

Он оживился:

— Представьте, я получил о нем два письма. Оба из Лен-да. Одно по-английски. Пишет какой-то студент — на бумаге, вырванной из тетради. Такое смешное письмо...

— Вам смешно, а он страдает. Больной, должен где-то под командой грубых людей возить навоз и т. д.

— Очень смешное письмо...

Я стал говорить о злобном Прокофьеве, который из темных побуждений решил загубить поэта, о невежественном судье, Базанов и незнакомец вяло поддерживали меня, но Смирнов отошел в угол балкона (покурить) и все говорил:

— Такое письмо... И по-английски.

Мы вышли с ним в лесок. Он стал жаловаться на усталость. Должен сейчас ехать обратно в Москву. Много непрочитанных дел: убийства, изнасилование и снова убийства... Несколько человек к расстрелу.

Лицо симпатичное. Интеллигент. На прощание:

— Это очень хорошо, что вы любите детей.

26 июня. Почти весь июнь был солнечный. Утро золотило деревья. Сегодня первое утро в облаках. Но птицы поют как и прежде.

Вчера Зина (девица, у которой умер отец) пришла ко мне с предложением бесплатной работы, т. к. у нее каникулы. Она — студентка. Я обрадовался. Но оказалось, что она никогда не читала Анны Ахматовой; знает об Эмиле Золя только понаслышке. Я лег на диван и попросил ее читать мне вслух статью о Золя в «Вопр. Л-ры» (№ 6). Она читала: «Бальзака́», «На́на», «Эри́о», явно не понимая того, что читает. Я вежливо отклонил предложенные ею услуги.

Гуляя вечером, встретил Баталова. Он проезжал в «самоделковой» машине, перестроенной из «Москвича». Говорили об Иосифе Бродском, судьбой к-рого Баталов живо интересуется. Приехал он к Шкловскому по каким-то киношным делам. «Ну и субъект!» — говорит он о Шкловском.

Мне предложили выступить по радио к юбилею Ахматовой. ⟨...⟩

27 июня. Облачно. Целый день возился с Зощенко. Только в 8 час. вечера встал из-за стола. Пошел гулять с Ваней Халтуриным. Встретили Андроникова; только что вышла его новая книга, он обещал принести. Анд-ков закапывает свой огромный талант в землю: Кирпотина он не показывает, так как Кирпотин обижается. Фадеева не показывает, т. к. Ф. трагически умер. Суркова не показывает, т. к. Сурков — начальство. Маршака не показывает, т. к. М. обидчив, Федина не показывает, т.к. ... и т. д., и т. д., и т. д. ⟨...⟩

С ним была Марина — его красивая и умная дочь.

28/VI. С ужасом вижу, что «Зощенко» никуда не годится. Пишу его с 1го марта, думал выкроить 10 страничек, но и это не удалось. Были вчера Таня с Верой. ⟨...⟩ Таня приехала не ко мне, а к Белинкову, кот. болен воспалением лёгких. Белинкова били и истязали в лагере — он вернулся оттуда полутрупом. Сколько я знаю его, он всегда на пороге смерти. Страданиям его нет конца: легкие, сердце, желудок — все искалечено, изуродовано. Жена его Наташа — страдалица. Она тяжко работает (в каком-то институте — «оформляет книги»), и все ее мысли — о нем. Он в Переделкине, она каждый день ездит поездом на службу — и кажется на десять лет старше, чем есть. Конечно, мне жаль его очень, и я даже чувствую себя виноватым перед ним — но разговоры с ним меня утомляют, я заболеваю от них. Он написал книгу о Тынянове, она имела успех,— и он хочет продолжать ту же линию, то есть при помощи литературоведческих книг привести читателя к лозунгу: долой советскую власть. Только для этого он написал об Олеше, об Анне Ахматовой.

Он предложил мне свои рукописи — для прочтения. Я отказался, так как перегружен работой сверх головы. Он обижен на меня

кровно. Но мне утомительно читать его монотонную публицистику. Это сверх моих сил. Теперь он навалил свои писания на Таню. Она чуть не плачет: он пишет так затейливо, претенциозно, кудряво. 〈...〉

2 июля 〈...〉 Пришла верстка 1-го тома Собр. моих сочинений. Очень пухлый том — 46 листов. «Серебряный герб» мне по-прежнему отвратителен: это самая слабая, самая неоригинальная из моих книг. «От 2 до 5» — не плохо. А из сказок не надо было включать «Бибигон». «Бибигон» и «Серебряный герб» — единственные вещи, которые я писал без азарта, равнодушно и вяло. Нужно было бы выбросить их. Продержал 30 листов. Осталось 16.

Вчера были у меня критик Огнев, поляк Северин По́ляк и армянский поэт Эмин. 〈...〉

5 июля. Три дня назад Лида вышла из наших ворот, чтобы пойти в Дом Творчества — и увидела автомобиль. Отбежав от него в сторону, она не заметила велосипеда, который мчался за ним. Велосипед сбил ее с ног, она рухнула на землю — повредила себе всю левую сторону тела; с тяжкими ушибами ее доставили в дом. 〈...〉

Я правил (в кукушке) корректуру «От двух до пяти». Понадобилась сноска из маршаковского «Воспитания словом». Я взял эту книгу, нашел нужную страницу и стал записывать в корректуру, позвонил Володя Глоцер, котор. был у меня вчера с Риной Зеленой, и сказал мне два обыкновеннейших слова: «Маршак умер» — и меня словно кипятком ошпарило. Рука дрожит, не могу собрать мысли.

И страшная мысль: что если узнает Лида?!

Она сейчас изнервленная, прикованная к постели, лишенная возможности попрощаться с ним, написать о нем — я позвонил Люше, чтобы она приняла меры, но ведь приедет Любарская — и остановится у нас на квартире. Люб. приедет на похороны.

7 июля. Совсем пододвинулись черные дни. От С. Н. Мотовиловой открытка. «Лежу больная» и т. д. Лида больна — сотрясение мозга.— Маршак, его похороны 9-го.— Вчера с тоскою наговорил чего-то для «Литгазеты» и «Лит. России».— Позвонил кто-то и сказал про семью Уструговых: Варв[ара] Карольевна была убита, а Аля Устругова, так чудесно певшая моего «Крокодила», курносенькая, похожая на девочку, изящная, талантливая, была расстреляна за шпионство (!), ее пытали так, что она с кровью вырвала свои чудесные волосы и т. д. Я боюсь подойти к телефону. Каждый звонок о беде. Была вчера у меня Софа Краснова, бездарная редакторша моего Собрания сочинений. 1-й том сверстан гнусно, рисунки выбраны кое-как, стишонки распределены по-дурацки. Но... калькуляция тома уже сделана — и менять ничего нельзя. Я вообразил, что будет макет, макета мне не показали. Ужасно это возмутило меня. 50 лет назад, когда я редактировал Репина «Далекое близ-

кое», перестановка всех рисунков, переверстка и т. д. производились в 3 дня — и не было преступлением. А теперь при плановом хозяйстве требуется чуть ли не декрет Совета министров, чтобы произвести перестановку текста в 4-[х] листах (из 46). Калькуляция... ⟨...⟩

8 июля. Все страшнее для меня мысль о Маршаке. Больной, весь в когтях смерти, он держался здесь на земле только силой духа, только творчеством. Возле его постели был целый стол, заставленный лекарствами. Он не мог ходить, оглох, ослеп, весь съежился, как воздушный шар, из которого выкачали воздух — но на письменном столе у него высился ворох бумаг, и покуда он был повелителем этих бумаг, покуда он мог создавать свои черновики, которые он бесконечным, неустанным трудом превращал в поэзию, в песню, в эпиграмму, в русского Бернса, русского Блэйка — он держался на поверхности земли. Вообще эта «поверхность земли». Она существует миллионы лет. И вдруг после миллионов лет небытия на ней возникает на минутку человек — и через минутку уходит в небытие прочь с поверхности. С такими глазами, с такой биографией, Самуил Яковлевич написал о Габбе:

Ты научила меня умирать.

И в его устах это были не слова. Он после ее смерти стал мудрее, смиреннее, строже к себе. ⟨...⟩

24 августа. Последние полтора месяца впервые показали мне, что моя жизнь вступила в *предсмертный период*. Сердечные спазмы, феноменальная слабость. Уже сорок дней я лежу в постели, почти не работаю, меня колют, пичкают лекарствами — и с этого дня я начинаю

ПРОТОКОЛ МОЕГО УМИРАНИЯ. ⟨...⟩

Утром 10 сент. Камфара.

Все это пустяки. Умирать вовсе не так страшно, как думают. Из-за того, что я всю жизнь изучал биографии писателей и знаю, как умирали Некрасов, Тургенев, Щедрин, Вас. Боткин, Леонид Андреев, Фонвизин, Зощенко, Уолт Уитмен, Уайльд, Сологуб, Гейне, Мицкевич, Гете, Байрон и множество других, в том числе Куприн, Бунин, Кони, Лев Толстой, я изучил методику умирания, знаю, что говорят и делают умирающие и что делается после их похорон. В 1970 году Люша будет говорить: это было еще при деде, в квартиру к тому времени вторгнется куча вещей, но, скажем, лампа останется. «Эту дорожку в саду провели еще при Корнее Ивановиче». «Нет, через год». И проходя мимо дачи: «Вот на этом балконе сидел всегда Маршак...— Какой Маршак? Чуковский!» И появятся некрологи в «Литгазете» и в «Неделе». А в 1975 году вдруг откроют, что я был ничтожный, сильно раздутый писатель (как оно и есть на самом деле) — и меня поставят на полочку.

10 сент. Четверг. В $10^1/_2$ пришел Солженицын. Моложавый. Отказался от кофею, попросил чаю. Мы расцеловались. Рассказывает по секрету о своем новом романе: Твардовский от него прямо с ума сошел. В восторге. Но Дементьев и Закс растерялись. Положили в сейф. Посоветовали автору говорить всем, что роман еще не кончен. А он кончен совсем. 35 печатных листов. Три дня (сплошь: двое с половиной суток) 49-го года. Тюрьма и допросы. Даже Сталин там изображен[4]. Завтра он скажет Тв[ардовско]му, чтобы Тв. дал прочитать роман мне.

Узнал, что я пишу о Зощенко. «Много читал его, но не люблю. Юмор кажется грубым».

Мы гуляли с ним под дождем по саду — взошли наверх и вдруг ему стало худо. Лида уложила его в нижней комнате — дала ему валокордина. И сейчас он лежит до $2^1/_2$, когда...

[Дописано позже.— *Е. Ч.*]:

Потом: Тв. так и не дал мне романа. Он вдруг круто меня не взлюбил.

23 октября. Вчера был у меня Чивер, поразительно похожий на Уэллса: тот же цвет волос, та же улыбка, тот же рост, та же фактура розовой кожи. Сидел он долго — 4 часа, и хотя у него был билет в Большой театр, предпочел пропустить 1[ое] и 2[ое] действия. У меня грипп, мне было трудно сидеть, хотелось лечь, но я так люблю его, что мне было радостно с ним. Уходя, он обнял меня — о если б он знал, какую плохую статейку я написал о нем!

Разговор главным образом вела Таня, которая вся расцвела в его обществе. Она чудесно перевела его «Swimmer'a»*. ⟨...⟩

За это время сняли Хрущева, запустили в небо трех космонавтов[5], в Англии воцарились лейбористы, но обо всем этом пусть пишут другие.— Я же запишу, что вчера приехал в Москву Апдайк.

Чивер совсем домашний.

20 ноября. Пятница. С этого дня буду вести дневник регулярно. Сейчас ушел от меня Ал[екс]андр Георгиевич Менделеев, член редакции «Недели» — умница, высокого роста. Он очень жалел, что Таничка говорила не с ним по поводу Чивера — очень просит дать ему ее перевод.

Пишу о Зощенко. Написал $74^1/_2$ страницы. Надо кончать. Удачнее всего вышла глава о языке. Хочется удлинить эту главу. ⟨...⟩

21 ноября. ⟨...⟩ Так как, свергнув Хрущева, правительство пребывает в молчании — и обыватели не знают, под каким гарниром их будут вести «по Ленинскому пути»,— сочиняется множество эпиграмм, песен, анекдотов, стишков.

24 ноября, вторник. Сегодня я гулял по снежному Переделкину

---

* Пловца *(англ.)*.

с Нилиным, Заходером и Максом Поляновским — каждые пять минут — новый анекдот.

26 ноября, четверт. Когда-то Коля (ему было лет 6) рассматривал на полке мои книги и сказал:

— Когда папа умрет, вот эти книги я отдам в переплет, а эти выброшу вон.

Теперь это время придвинулось, и я думаю, что Коля так и поступит. Вообще с книгами будет им возня. За последнее время очень большое место в моей библиотеке занимают английские книги. Ни у кого из моих наследников нет охоты читать английские книги.

Читал сегодня по радио свои воспоминания о Леониде Андрееве. Теперь над радио и TV новый начальник. Он усмотрел какой-то криминал в недавней телевизионной передаче «Цирк» и уволил троих сотрудников. Бездарная, слабоумная сволочь. Ничему не научились — полицаи — по-прежнему верят лишь в удушение и в заушение[6].

Первого приезжает Лидочка. Я послал ей свою статейку об Анне Ахматовой — и теперь испытываю конфуз: статейка элементарна и плохо написана.

У Лиды дела с глазами плохи, между тем она не выносит, чтобы ей читали вслух.

В пятницу, то есть завтра, выходит моя книга «Искусство перевода», я очень хочу послать ее Солженицыну, но боюсь посылать по его адресу в Рязань. Он говорил, что вся его почта под строжайшим контролем.

Сейчас ко мне придет Александр Борисович Раскин и пойдем с ним гулять. Морозу 9 градусов.

4 декабря. Приехала из Комарова Лида. Сегодня встал в 5 часов. Написал рецензию о Банниковской «Антологии», закончил вступительную статейку о фокуснике Али-Ваде, исправил корректуру «Что вспомнилось», которую перекорежила редакция «Лит. России», и теперь принимаюсь за «Зощенко», куда я внес десятки исправлений, предложенных мне Вениамином Кавериным.

Лиды я еще не видал. Вчера был у Фриды,— которая после всякого своего депутатского приема заболевает и лежит в постели. 〈...〉

7 декабря. Сейчас позвонила мне Ласкина из журнала «Москва». Моя статья о Зощенко ей понравилась — «вы научили нас читать Зощенко».

— Значит, я как критик здесь гораздо сильнее, чем как мемуарист.

— Верно. Нужно будет сократить мемуарную часть.

В «Лит. газету» я отправил статью «Язык Зощенко». Вышло 11 страниц.

В «Литературной России» идут мои записи «Что вспомнилось».

В «Неделю» я отправил дрянную статейку об Анне Ахматовой.

Сейчас звонил мне сын Пастернака, Евгений Борисович, просит написать предисловие к книжке его стихов, кот. выходят в Гослитиздате.

O!o!o!

Сволочь я, что не пишу о Чехове.

Таня рассказывает, что она на квартире одного из работников ам. посольства смотрела кино — по его приглашению, присланному в Инкомиссию Союза писателей. С нею была Волжина и два молодых переводчика — четыре человека. И на эту четверку — пришлось четыре стукача, причем один из них в лифте попросил одного из переводчиков открыть портфель и показать, какие книги подарил ему работник посольства. ⟨...⟩

Ахматова в Италии — это фантастика.

У нее

Нет косточки неломаной,
Нет жилочки нетянутой,—

и вдруг в Италии, где ее коронуют[7].

А что с моим Зощенко для «Литгазеты»?

8 декабря. Приехала вчера Лида из Комарова. Рассказывает, что Лернер, дружинник, сыгравший такую гнусную роль в судьбе Бродского, выследил одного физика, к которому в гостиницу повадилась дама. Стоя на страже морали, Лернер запугал коридорного, и тот впустил Лернера в номер, где физик принимал свою даму. Лернер вошел в прихожую, а так как физик — атомщик, у него в прихожей сидели два охранника, которые и отколотили Лернера, потом вызвали директора гостиницы, и тот отобрал у Лернера все документы.

Вечером вчера был на даче Всев. Иванова. Копелев болен: радикулит. Фрида больна — голова. ⟨...⟩

10 декабря. Прекрасная погода. Были у меня М. Ф. Лорие, В. Мих. Россельс. Потом — Оленька Андреева, внучка Леонида Николаевича. Она в Нью-Йорке переводит с мужем «Идиота», в Париже устраивает выставку своих рисунков, а в Женеве проживает с родителями.

Вечером встретил трех партийцев: Елиз. Мальцева, Павла Нилина и [в оригинале пропуск.— *Е. Ч.*] ...енко. Они гораздо левее беспартийных, их отзывы о происходящих реформах — ироничны. Рассказывают, что Румянцев, новый редактор «Правды», поместил ругательную заметку о журнале «Октябрь», к-рый расхвалил дрянную пьесу Софронова. Так и сказано: дрянную. Те пришли к нему объясняться и сказали: «Очевидно, это случайность». Он ответил: нет, не случайность. Ваша пьеса действительно плоха — и я буду и впредь бороться с плохими произведениями, а что касается груп-

повщины, которую вы насаждаете,— мы будем осуждать ее всячески.

11 декабря. Пятница. «Унитаз никогда не превратится в Джиоконду»,— сказал Симон Дрейден, узнав, что «Лит. Газета» не приняла моей статьи о Зощенко.

Я говорил по телефону с каким-то Залманом Ахраимовичем, к-рый заведует каким-то отделом «Лит. Газеты». Этот Залман сказал о моей статье, что она не газетная. «Я 60 лет пишу в газетах,— сказал я,— и очень хотел бы хоть раз написать что-нибудь не газетное и не могу. Статья моя газетная вполне, а просто вы трусите. Я дал вам возможность хоть перед подпиской — показаться читателю честными людьми, и вы сами знаете, что одна эта статья создала бы сотни подписчиков. Но вы захотели солидаризироваться с теми, что топтали сапогами М. Зощенко».

15 вторник. Мой «Зощенко» все еще читается в редакции «Москвы» — и загадочное молчание. Боюсь, что там найдут статью не журнальной.

Был вчера благороднейший Елизар Мальцев. $1^{1}/_{2}$ часа рассказывал о заседании в Горкоме партии. Страшно взволнован, потрясен, рассказывал нервно, вскакивал, хихикал, вскрикивал. «Я сказал Егорычеву, а он говорит... А Борщаговский... А Антокольский... А Слуцкий крикнул с места... А Щипачев схватился за сердце и упал... вызвали врача... а Сергей Сергеевич Смирнов... Прижали Егорычева...»

Я слушал и думал: при чем же здесь литература? Дело литераторов — не знать этих чиновников, забыть о их существовании — только тогда можно остаться наследниками Белинского, Тютчева, Герцена, Чехова. Почему между мною и Чеховым должен стоять запуганный и в то же время нагловатый чиновник. Я микроскопический, недостойный, но несомненный наследник Чеховых, Тургеневых, Куприна, Бунина, я целыми днями думаю о них, о своих законных предках, а не о каких-то невежественных и бездарных Егорычевых.

Сегодня получил еще одного «Чивера»,— не знаю, от кого.

У Лиды очень хорошая статья — о Герценовских «Былом и Думах»[8].

«Высокое искусство» еще не вышло из печати. Те, кому я послал эту книгу, пишут о ней с похвалами: Д. С. Лихачев, Е. Эткинд, Мкртчан, акад. Алексеев и др. Но конечно, в книге множество дыр.

Умер С. И. Ожегов, мне поручено написать для Литгазеты некролог.

11 дек. Четверг. 1964. А. Г. Менделеев позвонил мне вечером, что *«Анна Ахматова»* моя идет в ближайшем номере «Недели».

Коля вернулся из Италии, куда ездил с Мариной. Марина в Риме видела в телевизоре торжество Ахматовой. Говорит, что Твардов-

ский сказал дикую речь: будто А. А. «и на родине пользуется признанием и почетом».

Сейчас был у меня Менделеев, редактор «Недели». Привез мою статейку об Ахматовой, которая пойдет в ближайшем номере. От него несет водкой — человек он со всячинкой, но ура — заговор молчания об Ахматовой нарушен!!!!

Но почему-то я очень волнуюсь за нее. 〈...〉

18 дек. 〈...〉 Все хохочут над дураком — Локтионовым, который написал предисловие к роману «Тля». Т. к. в этом гнусном романе пресмыкательство перед Хрущевым, против него (и против локтионовского романа) ополчилась даже сервильная пресса. Локтионов, желая оправдаться, публично заявил (письмом в редакцию «Лит. Газеты»), что

1. романа он не читал,

2. не читал и своего предисловия, так [как] это предисловие в порядке саморекламы сочинил сам автор «Тли».

То есть сам о себе заявил, что он шулер, причем думает, что здесь — оправдание[9].

21 декабря. День Марии Борисовны. Гулял с Залыгиным, кот. живет в Новосибирске. Тамошние жители давно уже не выходят вечерами на улицу, так как недавно на улице появилась группа молодых вполне советских юнцов, которая в один вечер убила ни с того, ни с сего 12 человек. Просто эти веселые люди развлекались во время прогулки. Помахивая гирькой на веревке, они при встрече с возвращающимися из театра людьми говорили: вот этого и вот эту. Гирька взлетала в воздух, и на улице оставались два трупа, а молодые люди, взращенные советской действительностью, шли дальше и развлекались убийствами.

Одна сотрудница местной газеты написала об этом очень неполный, урезанный цензурой отчет — ее вызвали в Горком: как вы смеете позорить наш город? ведь в других городах то же самое.

Гуляя с З[алыгиным] и с Елизаром Мальцевым и с Колей Степановым, мы встретили Вадима Кожевникова — который всегда проходил мимо меня не здороваясь, но теперь вдруг признал и прошел с нами целый круг, щеголяя своими либеральными взглядами — тот самый человек, кот. снес в ЦК роман Василия Гроссмана, вследствие чего роман арестовали — и Гроссман погиб. Теперь он называет журнал «Октябрь» «черносотенным», автора «Тли» «черносотенцем» и тут же сообщил, что черносотенка Серебрякова потерпела позорный крах: она нашла ход к m-me Хрущевой, и «Нина Петровна» выхлопотала для нее согласие мужа на то, чтобы С-ова посвятила ему свою книгу. Она посвятила. Хр. стал эту книгу хвалить. Она со своей стороны расхвалила роман «Тлю» и теперь оказалась в луже. Кож[евников] выразил сожаление, что, свергнув Лысенко, возвеличивают «В. Серова» — который гораздо более нагл, чем тот. 〈...〉

25 декабря ⟨...⟩ Гулял с Симой Дрейденом. Он рассказал мне потрясающую, имеющую глубокий смысл историю. Некий интеллигент поселился (поневоле) в будке жел. дор. сторожа. Сторож был неграмотен. Интеллигент с большим трудом научил его грамоте. Сторож был туп, но в конце концов одолел начатки грамматики. Он очень хотел стать проводником на поезде. Для этого нужно было изучить десятки правил наизусть — и сдать экзамен. Интеллигент помог и здесь. Сторож стал проводником, приезжая на юг, закупал апельсины и проч. и небезвыгодно продавал на севере. Разбогател. Интеллигента между тем арестовали. Отбыв в лагере свой срок, он воротился домой. Здесь его реабилитировали — и показали его «дело». Оказалось, что, научившись грамоте, благодарный железнодорожник первым делом написал на него донос: «Предупреждаю, что NN имеет связи с заграницей».

Увлекся опять книжкой «Живой как жизнь». Пишу вставки то в одну главу, то в другую. ⟨...⟩

А жизни осталась самая капелька. Сердечные припадки — подсказывают, что мне помереть от сердца. ⟨...⟩

Как радостно сердце больное
заёкало,
Когда я услышал словечко Чукоккала. ⟨...⟩

31 декабря. ⟨...⟩ Написал письмо Косолапову о том, что я запрещаю выбрасывать из моей статьи имя Оксмана. Но Штильманы, приехавшие ко мне с Новогодним визитом —

1-го января 1965 года

уже знают об этом, хотя никаких копий я не снимал. Погода чудесная. Мы с Мариной много гуляли по оснеженному Переделкину.

Сумбурно и бездарно проходят мои предсмертные дни. ⟨...⟩

14 января. Вчера два часа сочинял поздравительную телеграмму В. В. Виноградову. Надо было смешную, легковесную, а я написал: «Глубокоуважаемый шкаф». Был в городе: хлопотал, чтобы «Москва» перенесла моего Зощенко из 5-го номера в 4-й. Оказалось, что он перенесен... в 6-ой. 4-й будет ленинским, 5-й (майский) весь посвящен победе над фашизмом.

Из «Москвы» — в «Правду». Николай Александрович Абалкин с серым лицом, облыселый, прочитал вслух при мне статейку о Васнецове и сказал: «хорошая статейка, талантливая, и главное: нужная. Мы должны *воспитывать* (!) молодежь (!) в духе национальных и даже националистических идеалов. Потому что куда идет молодежь? Разнуздалась, никаких святынь» и т. д. Мне и в го-

лову не приходило, что моя бедная статейка — узда для молодежи. Обещал напечатать. Впечатление от «Правды» мрачное, словно тюремное. Оттуда в Гослит. ⟨...⟩

Третьего дня я, больной (желудок, бессонница, сердце), несмотря на все уговаривания близких, поехал в Союз писателей выступить на вечере, посвященном Зощенко. Первый вечер за двадцать лет. Хотя публики собралось очень много, ее загнали в Малый зал. Нигде, даже внутри Дома Литераторов — ни одной афиши. Секретное нелегальное сборище. В программе: Вал. Катаев, Шкловский, Чуковский, Каверин, Ильинский. И Катаев, и Шкловский побоялись приехать, да и стыдно им: они оба, во время начальственного гонения на Зощенко, примкнули к улюлюкающим, были участниками травли... Очень сильный мороз, я приехал в валенках. Слушали мой доклад с увлечением, много аплодировали, кричали: спасибо.

Председательствовал Лев Славин. Он сказал чудесное вступительное слово: о том, что есть у нас целый разряд великолепных писателей, которых даже не упоминают в истории советской литературы: Бабель, Платонов, Хацревин, Лапин,— и вот Зощенко. Мы будем бороться за них и т. д.

Каверина доклад, блестяще написанный, мужественный, прозвучал негодованием к палачам, погубившим Зощенко. После нас Ильинский. Говорят, он великолепно прочитал два рассказа: «Елка» и еще какой-то.

16 янв. Типичное мое утро. Сажусь за стол, хочу готовить Уитмена для 2-го тома. Но нет гослитиздатского издания его стихов, намеченных мною для этого издания. Откладываю Уитмена, решаю писать о Маршаке, но нет стихов, к-рые Клара послала сыну Самуила Яковлевича.— Решаю написать письмо японке, но нет тех книг, о к-рых я хотел ей написать.

Недели две назад Евтушенко прочитал по радио стихи о корабле, который волны швыряют туда и сюда (т. е. о партии Ленина)[1]. Стихи вызвали ярость начальства, и две редакторши уволены. ⟨...⟩

Во главе Союза писателей, равно как и во главе всех журналов — по замыслу начальства — должны стоять подлецы. На днях будет избираться новое руководство Союза писателей — правление. Лиду это ужасно волнует. Если бы выборы были правильные, то все подлецы полетели бы. Но конечно, начальство придумает способ, чтобы навязать Союзу своих подлецов. Из-за чего же волноваться? Исход выборов предрешен. Однако Лида рвется в бой: пусть молодежь видит, что есть борьба за справедливость (?!). Вместе с нею рвется и Таня. Она хочет встать и спросить об Оксмане.

Фридочка Вигдорова страшно больна: думали, что рак поджелудочной железы. Третьего дня в Институте Виноградова ей сделали операцию, к-рая длилась $3^1/_2$ часа. Обнаружили камни в желчном

пузыре. Фрида и на «смертном одре» спрашивала: что с Иосифом Бродским? Решено ли его дело?

18 января. Литераторы в восторге. В Ленинградском Союзе писателей были перевыборы и с грохотом провалили Прокофьева, который состряпал «дело Иосифа Бродского». В правлении выбраны «бродскисты»:

Добрынина (описка, на самом деле Грудинина.— *Е. Ч.*)
Долинина
Эткинд и др.

Такое крошечное и хрупкое торжество справедливости вызывает восхищение всего литературного мира.

А третий посмотрел лукаво
И головою покачал...

Фриде как будто лучше. 〈...〉

21 января. День Марии Борисовны.
Через месяц — десять лет, как она похоронена и ждет меня в соседнюю могилу. Была у меня Раиса Орлова и рассказывала о выборах в правление Союза Писателей. Целый день тысячи писателей провели в духоте, в ерунде, воображая, что дело литературы изменится, если вместо А в правлении будет Б или В, при том непременном условии, что вся власть распоряжаться писателями останется в руках у тех людей, которые сгубили Бабеля, Зощенко, Маяковского, Ос. Мандельштама, Гумилева, Бенедикта Лившица, Тагер, Марину Цветаеву, Бруно Ясенского, Пастернака и сотни других.

12 февраля. На днях получил письмо от 63-летней Е. Б. Буховой, о которой 40 лет [назад] я сочинил такие стихи:

Ты еще не рождалась,
Тебя еще нет.
Ты побоялась
Родиться на свет.
Ты кем-то несмелым,
Как будто во сне,
Начертана мелом
На белой стене.

Надо писать о Пастернаке. Только что кончил о Библии. Оказывается, нельзя писать Библия [с] большой буквы и лучше бы не говорить, что это еврейская книга.

«Нью Йоркер» уведомил меня, что Чивер подписался для меня на этот журнал. Но журнала нет, и вряд ли будет. 〈...〉 Мне очень противно признаваться в своей стариковской косности, но я с негодованием вчера читал любимую Лидой и Люшей *Марину Цветаеву.*

Сплошной моветон, словоблудие, претенциозность, кокетливость: «Я люблю Брюсова и потому ненавижу его, и как он был туп, что не догадался, как я люблю его и только потому ненавижу». 〈...〉

29 марта. В среду (24го) обещала приехать ко мне Анна Ахматова. Перед этим мне захотелось поехать на праздник детской книги в Колонный зал. Открытие недели. Приехал благополучно. Барто. Яковлев. Детиздатские друзья. Сижу на эстраде. Дивный зал. Вспоминаю: здесь мы отпевали Горького, Кирова. Здесь когда-то выступал Лермонтов —14-летний мальчуган. Впереди сидят крохотные девочки в венках. Налаживается телепередача. Кассиль говорит о космонавтах,— и вдруг все поплыло у меня перед глазами, и я еле добрел до дивана в фойе. Мира Наумовна, мать Аркадия Белинкова, и милый Владимир Осипович Глоцер — первые засуетились вокруг меня. Нашли здешнего доктора Татьяну Григорьевну, вызвали скорую помощь, и вот я, после сосудорасширяющей инъекции, возвращаюсь еле живой в Переделкино.

Анна Ахматова уже в Переделкине (у Фриды), но я не могу ее принять. Она уезжает, а [я] обречен на бездействие и на глотание всяческих ядовитых лекарств. Должен был править Уитмена для 3-го тома, а сейчас лежу «как дурак, как нерожденный, как мертвый», и добрая Марина читает мне «Фрегат «Палладу», специально написанную для тех, кому, как мне, предписано не шевелить мозгами. Очень талантливая, но пресная книга.

Самое большое событие: Коля прочитал мне свои воспоминания о Жене Шварце, прекрасно написанные, задушевные, умные, исполненные «клокочущей ненависти» к тому, что душило и душит всех нас. О Тынянове его воспоминания тоже хороши, но безысходно печальны — больше о болезни Тынянова и его трагической смерти.

30 марта. Пасмурно. Не выходил на воздух. Вчера Марина, а сегодня Клара читают мне «Фрегат «Палладу», из которой я узнал, что в 50^{х} годах слово отель было женского рода — и кажется, больше ничего. Гончаров такой, что если подумаешь о нем, что он хорош, он покажется плох, а если решишь, что он плох, он окажется не таким уж плохим.

Приходят чистые листы моего первого тома. Я очень сержусь на себя, что включил туда банальный «Серебряный герб» и что не сократил «От двух до пяти». Есть разбухшие скучные страницы. Я стараюсь сжать книгу для из-ва «Просвещение». 〈...〉

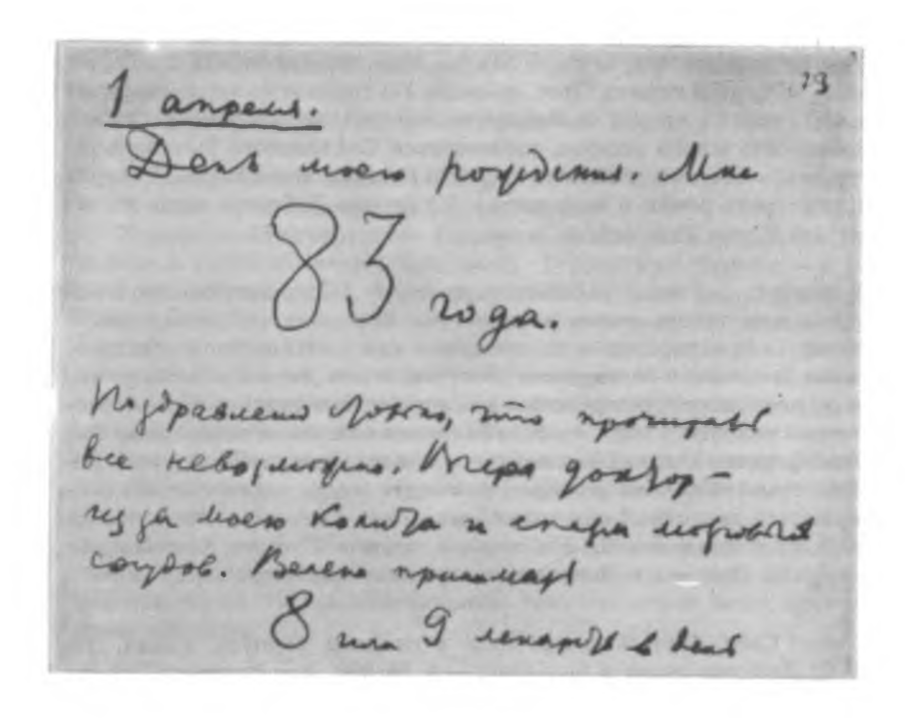
1 апреля. День моего рождения. Мне

83 года.

Поздравлений столько, что прочитать все невозможно. Вчера доктор 〈...〉. Велено принимать

8 или 9 лекарств в день

по 3 или 4 раза


1 апреля.
День моего рождения. Мне
83 года.

Страница дневника. 1 апреля 1965 г.

и никого не принимать! Если придут поздравители, всех примут внизу — и угостят, а ко мне наверх — никого! ни в каком случае.

Вчера была Леночка Лозовская, вылепила под моим окном бабу, вот и все мое развлечение: глядеть на нее из окна. ⟨...⟩

Итак, с 4-го апреля 1965 я здесь в 93 боксе Загородной больницы, то есть в раю. ⟨...⟩

Сегодня приедет ко мне Ясиновская — очень дельный и смышленый редактор «Библии». Я жалею, что согласился составить эту книгу. Нападут на меня за нее и

верующие
и неверующие.

Верующие — за то, что священное писание представлено здесь как ряд занимательных мифов.

Неверующие — за то, что я пропагандирую Библию. ⟨...⟩

6 апр. В больнице. Провожая Клару, встретил Вл. Сем. Лебедева. Он уже два месяца здесь — завтра уезжает. Он пишет диссертацию: «Радио в период Отеч. войны». Но главное — воспоминания: о Сталинской эпохе, о Хрущеве. Говорит, что в новом романе Солж. есть много ошибок, касающихся Сталинского бытового антуража. «Александр Исаевич просто не знал этого быта. Я берусь просмотреть роман и исправить». По словам Лебедева здесь же отдыхает Борис Полевой. ⟨...⟩

12 апреля. ⟨...⟩ надо держать корректуру «Современников», в которых мне теперь очень не нравятся Короленко, Луначарский и Репин. О Луначарском я всегда думал как о легковесном и талантливом пошляке и если решил написать о нем, то лишь потому, что он по контрасту с теперешним министром культуры — был *образованный* человек. Репин — статейка о нем создалась тогда, когда было запрещено хвалить его, вскоре после его смерти. Теперь имя Репина стало знаменем реакции, и, следуя моде, надлежало бы воздержаться от похвал, но плевать на моду — все же я очень любил его, хотя и согласен с Вл. Набоковым, что его «Пушкин на экзамене» и «Дуэль Онегина с Ленским» — дрянные картинки[2]. ⟨...⟩

4 мая. Снег. Лютый ветер. Был в главном корпусе. Узнал, что В. С. Лебедев снова в больнице — в № 206. Хохлушка-работница почему-то повела меня в Зимний сад — очень жидкий и жалкий. Пальмы, кактусы. Вл. Сем., совсем больной, сидит в палате, и по лицу его видно, сколько он перенес страданий. Негодует, что Паустовскому не дали Ленинской премии. И всё — из-за его полемики с Рыльским. Его сокрушительную статью против Рыльского сперва запретили. Фурцева наложила на него вето. «Но я,— говорит В. С.,— прочитал эту статью в поездке Никите Сергеевичу. Тот слушал сперва невнимательно, но когда присутствовавший здесь очень влиятельный товарищ стал бешено восставать против этой статьи, Н. С. сказал: «Прочти-ка еще раз». Я прочел. Н. С. распорядился: печатать. И пожелал познакомиться с Паустовским[3].

Заговорили о С. С. Смирнове. Оказывается Вл. Сем. и ему дал «путевку в жизнь», помог обнародовать «Брестскую крепость». ⟨...⟩

9 мая. Впервые — кукушка: уныло и назойливо, не переставая. И как будто в соседней комнате. И — неужели я слышу это опять? — многоголосый птичий хор, идущий из леса волна за волной. Нахлынет и замолкнет и снова нахлынет. ⟨...⟩
Разговор с африканцем из Кении.

Он. Вы так чудесно говорите по-английски.

Я. О нет! Я только читаю по-английски.

Он (смотрит на меня с недоумением). Читаете англ. книги?!

Я. Да и очень люблю их.

Он. Любите англ. книги? А мы их ненавидим, англичан.

Я. Шекспир, Бен Джонсон, Тек[к]ерей, Сэм Джонсон, Диккенс.

Он. Мы все равно ненавидим их всех. Мы ненавидим колониализм...

Я. Позвольте, вот, например, Байрон, Бернард Шоу, Уильям Морис...

Он поморщился словно от кислого.

И таких — миллионы. И все как один.

Упрощенчество страшное. Подлинно культурные люди окажутся вскоре в такой изоляции, что, напр., Герцен или Тютчев — и все, что они несут с собой, будет задушено массовой полукультурой. Новые шестидесятые годы, но еще круче, еще осатанелее. Для них даже «Pop literature» слишком большая вершина. Две-три готовых мыслишки, и хватит на всю жизнь.

А человек симпатичный, с богатой жестикуляцией, с высоким лбом, с блестящими молодыми глазами.

Вышел томик избранных статей из «Times Literary S[upplemen]t», и там статья о моей книжке «Живой как жизнь», о к-рой в России не появилось ни одной рецензии[4]. Я перелистал эту high brow* книгу — и вдруг принесли «Юность» с поэмой Евтушенко о Братской Гэс — и вся эта умная книга сразу показалась мне горстью пыли. Поэма замечательна тем, что в ней наша кровная, огненная тема. ⟨...⟩

15 мая. Вчера уехал. Попрощался с докторшей Риммой Ал. Написал в книгу пожеланий. Дождь. Марина приехала за мною и увезла меня домой. Дома — холодно, неуютно. ⟨...⟩

16. Вчера был у Ивановой Т. Вл. Чудесный день. Сидел на террасе. У нее живут Лили Брик и Катанян. Женя Пастернак, которого я встретил на дороге, рассказал, что когда Озеров послал в редакцию «Библиотеки» свои замечания для составленного им тома Пастернака, ему ответили: «Редакция считает себя достаточно компетентной и в Ваших советах не нуждается».

Ахматова собирается в Англию. Будет у меня. Ее коронование произойдет в июне[5]. ⟨...⟩

17 мая. Подарил сто (то есть тысячу) рублей докторше NN. Мы говорили с ней о больнице, где я лежал. Больница позорная: работники ЦК и другие вельможи построили для самих себя рай, на народ — наплевать. Народ на больничных койках, на голодном пайке, в грязи, без нужных лекарств, во власти грубых нянь, затурканных сестер, а для чинуш и их жен сверх-питание, сверх-лечение, сверх-учтивость, величайший комфорт. Рядом с моей палатой — палата жены министра строительства,— законченно пош-

---

* Высоколобую (*англ.*).

лая женщина,— посвятившая все свои душевные силы борьбе со своим 50-летием, совершенно здоровая.

27 мая. Звонила вчера Анна Ахматова. Я давал ей по телеф. разные довольно глупые советы насчет ее предстоящего коронования. И между прочим рассказывал ей, какой чудесный человек сэр Изайа Берлин, какой он добрый, сердечный и т. д.

И вдруг Лида мимоходом сказала мне, что А. А. знает Б[ерли]на лучше, чем я, так как у нее в 40-х годах был роман с ним в Л[енингра]де (или в Москве), что многие ее стихи («Таинственной невстречи») посвящены ему, что он-то и есть инициатор ее коронования. А он очень влиятелен и, конечно, устроит ей помпезную встречу.

Какой у нее, однако, длинный донжуанский список. Есть о чем вспоминать по ночам.

28 мая. Анна Ахматова не уехала в Англию. Ей наши не выдали визы. Сидит на чемоданах. У Ардова. Лида сообщила, что ей (А. А-не) хочется приехать ко мне.

Получил «Лето в Москве» Михайла Михайлова. И «Encounter», где большая статья о суде над ним и обо всем, что предшествовало этому суду. 〈...〉

31 мая. Получил памфлет Михайлова — «Moscow Summer»* и «Encounter» о суде над Михайловым. Много ошибок и журналистской пустяковины.— Ахматовой сказали, что едет в пятницу, потом — что во вторник, а дали визу в понедельник. Литгазета взяла у нее стихи, а напечатала — переводы с египетского.

Наташа Белинкова привезла мою статью о Зощенко — всю исчерканную цензурой. О Серапионовых братьях никак невозможно. Статья должна пойти в июньской «Москве».

Шефы ставят эстраду для костра.

8 июня. Об Ахматовой в газетах ни звука. Получил из Нью-Йорка брошюру Михайлова «Московское лето»— собачья чушь. О Шкловском и о Гудзии пишет как о центральных явлениях сов. культуры: выдает с головою — Дудинцева, который беседовал с ним по душе. Тито, преследуя по нашему настоянию Михайлова,— тем самым создал ему всемирное имя. Наши идиоты, преследуя Пастернака, предав гласному суду Бродского, сделали их знаменитостями на пяти континентах. Теперь то же самое Тито сделал с Михайловым. Быть ему американским журналистом.

6-го было совещание о костре. Шефы выкопали у костра 12 ямок для эстрады, обещали привезти 7-го, но не привезли.

10 июня. С утра приехал грузовик, привезший доски, столбы,

* «Московское лето» (*англ.*).

колья для эстрады. Приехали 5 комсомольцев — и немедленно взялись за работу. И воздвигли дивную эстраду на 18 столбах. Сегодня эстрада была бы закончена, но не хватило гвоздей. Эстрада прочная — на 1000 лет. ⟨...⟩

Держу корректуру 2-го тома. Отвратителен «Луначарский», «Собинов», «Сигнал».

11 июня. Чудесное утро — все в солнце, в сирени, в птичьем гомоне,— сижу на своем гениальном балконе, правлю корректуру II-го тома — и вдруг меня обожгло, как кипятком — из статьи о Тынянове все же выбросили фамилию Оксмана. Будь они прокляты, бездарные душители русской культуры!

14 июня. Вчера в 2 часа были Виноградовы. Виктор Вл.— рассказывает, сколько неприятностей пришлось им вынести из-за поездки в Финляндию. На вокзале их встретил хороший филолог Кипарский. В посольстве этим очень недовольны — Кипарский настроен антисоветски. Виноградовы все же продолжали водиться с ним. Из-за этого В. В-ча вызвали здесь в Ц. К. и не пустили в Швецию.

Кто-то выслал В. В-чу и его жене роскошное изд. Камю́ и еще две какие-то книги. Цензура сообщила В. В-чу, что задержала эти книги. А если ему угодно, он может явиться в помещение цензуры и читать эти книги там. ⟨...⟩

17 июня. Вчера был страшный день. Утром в 11 час. приехал американец Ivan Best — 79-летний чудак, в такую страшную жару посетивший Ирак, Иран, Афганистан и другие жаркие страны и приехавший в Переделкино по пути в Иркутск. Что у меня с ним общего? Ничего. Родился он в Одессе, откуда уехал 16-летним мальчишкой. Чтобы развлечь его, я пригласил Утесова и Поляновского — двух одесситов. На это дело ушло 4 часа, и чуть уехал Бест, приехал С. А. Коновалов. Он привез известия об Ахматовой. Поселилась она у Берлина. Завтракала у Vice Chancellor'а. Ее фото и интервью с нею напечатаны в «Times». Коновалов привез отрывок из этого интервью: там она говорит, что в СССР народилась бесстрашная молодежь, что лучших поэтов (напр., Марию Петровых) не печатают, что ей, Ахматовой, пришлось голодать, что никак не понять, по какому принципу, на каком основании Сталин выбирал свои жертвы и т. д.

Меня это интервью *ужаснуло*. Лиде оно по душе. «Ахматова была всегда героична».

Погода прелестная. Разгар лета. В лесу мелькают дети — готовимся к костру. Все еще поет или кричит кукушка.

19 июня. Итак, завтра *Костер*.

Получил из Иерусалима письмо, полное ненависти к деспотизму раввината. Автор письма Рахиль Павловна Марголина прислала мне портрет пожилого Жаботинского, в котором уже нет ни одной

черты того Альталены, которого я любил. Тот бы[л] легкомысленный, жизнелюбивый, веселый; черный чуб, смеющийся рот. А у этого на лице одно упрямство и тупость фанатика. Но конечно, в историю вошел только *этот* Ж-ий. Марголина выслала мне его *двухтомную* биографию! Странная смесь у меня на письменном столе! Календарь из Японии, портрет Катеньки Андреевой из Кембриджа, стакан для перьев из США, аппарат для сшивания страниц — из Оксфорда, портрет Жаботинского из Иерусалима, статуэтка Дон Кихота из Испании, статуэтка Андерсена — из Дании.

27 июня. Воскресенье. Ясная погода.

Вчера у меня был маленький мозговой криз. Сегодня спозаранку пришел Женя Пастернак и принес сигнальный томик «*Библиотека поэта»,* на котором крупными буквами начертано:

«БОРИС ПАСТЕРНАК»!!!

он везет этот томик Зинаиде Николаевне в больницу. Это обрадовало меня, как праздник.

Из Лондона-Парижа вернулась Ахматова — в среду. Нужно одеваться к костру. ⟨...⟩

1 июля. Получил «Москву» с моей статьей о Зощенко. Ужасно изгажена. Вместо карикатуры, которую я послал в редакцию, напечатали мутный портрет «Зощенко за письм. столом». Насилье над авторами доходит до смешного: я послал в «Комсомольскую правду» письмо в редакцию — благодарность участникам костра. В редакции письмо превратили в статейку, назвали ее «Гори, гори ясно»— и *поправили стиль!* Не согласовав со мною[6].

2 июля. Сейчас Мих. Ал. Лифшиц, живущий на даче Паустовской, рассказал, что во дворе того дома, где он живет в Москве, он часто встречает чистенького, вежливого старичка, пенсионер[а], который любит детей. Это бывший исполнитель приговоров, то есть попросту палач. «Получает *очень* хорошую пенсию, отлично одет, вечно улыбается всем».

Вышла в «Москве» моя статья о Зощенко.

Был Кома — подарил мне книгу Выготского, вышедшую с его примечаниями[7]. Кома же предложил мне подписаться под телеграммой к Микояну о судьбе Бродского. Я с удовольствием подписал — и дал Коме десять рублей на посылку телеграммы. Там сказано, будто Бродский замечательный поэт. Этого я не думаю. Он развязный. ⟨...⟩

4 июля. Вожусь над Уитменом. Прочитал (как будто впервые) статью Д. Мирского о нем. Умная статья, но написана только для умных. *Средний* читатель ничего в ней не поймет. Автор силен анализом и говорит о W. W. так, словно читатели знают его на-

зубок[8].— Получил из Иерусалима поразительную биографию Жаботинского — к сожалению, только второй том... Книга бешено взволновала меня[9]. ⟨...⟩

23 июля. ⟨...⟩ Здесь в Доме творчества — Н. М. Чернышевская. Оказывается, она подруга по гимназии жены Зощенко. С ее помощью я составил еще одну бумагу о воскрешении Зощенко. Мы посылаем ее Суслову, с к-рым Ч-ая в добрых отношениях. К этому делу я привлек Каверина. У К-на есть статья «Белые пятна»— о Зощенко, Заболоцком и др. отверженцах. Статью эту набирали для «Нового Мира» несколько раз. Теперь он обратился к Поликарпову. Тот сказал: пришлите мне жалобу на «Новый Мир». Это даст возможность «Новому Миру», оправдываясь, изложить все доводы за печатание Вашей статьи... Вот каковы чиновничьи фиоритуры. Каверин так и сделал. Теперь он поехал в «Новый Мир»— помочь «Новому Миру» ответить на его жалобу[10]. Здесь Гудзий, Галь, Облонская.

З. Н. Пастернак вернулась из больницы домой — она купила 90 томов стихов Пастернака для раздачи друзьям. ⟨...⟩

30 июля. Вчера держал корректуру Пастернака — то есть моей вступительной статейки к его госиздатскому томику.

Чтоб размыкать тоску, пошел к пастерначатам — семилетнему Пете и пятилетнему Боре. Оказалось, что на даче Пастернака (под влиянием выхода его книги в «Библиотеке поэта») Литфонд вдруг сделал асфальтовую дорогу — от ворот до самой усадьбы. До сих пор эта дорога была отвратительна: острые камни, песок. А теперь для пастерначат раздолье: мчатся на самокатах, как вихрь,— очень сильные, смелые, ловкие. Когда они — ради показухи — взбираются на ворота, я закрываю глаза — так лихо они действуют своими мускуленками. По моему совету отец устроил им трапецию во дворе — они подтягиваются, потом передвигаются по железной палке вправо и влево: Боря называет это — «делать занавеску». ⟨...⟩

15 авг. ⟨...⟩ Впервые в жизни слушаю радио и вижу, что «радио — опиум для народа». В стране с отчаянно плохой экономикой, с системой абсолютного рабства так вкусно подаются отдельные крошечные светлые явления, причем раритеты выдаются за *общие* факты — рабскими именуются все другие режимы за исключением нашего.

Была вчера Люша. Читала «Гэтсби», которого Таня не захотела и слушать.

Написал письмо Твардовскому.

С таким же правом можно сказать: газета — опиум для народа. Футбол — опиум для народа. А какие песни — всё бодряцкие — прикрывающие собою общее уныние. И персонажи — всё бодряч-

ки́ — «вот, Ив. Пафнутьич, расскажи нам, как вы достигли в своем колхозе таких изумительных успехов...».

Небо свинцовое. Уже целую неделю ни одного клочка синевы. И бешеный ветер. Бывали дождливые летние месяцы и прежде, но таких не бывало. Из окна вижу стог сена — гниющий у меня на глазах. Так гниет весь урожай.

18 авг. Получил из Италии письмо от Исайи Берлина — сообщает, что итальянские газеты пишут о моем предисловии к стихам Пастернака. Симмонс прислал из Оксфорда вырезку из «Times'а» идиотскую — о том же. Какая-то канадская докторша прислала мне вырезку из канадской газеты — о том же: «Pasternak Poems». Нужно сообщить Евгению Борисовичу. ⟨...⟩

Был Митя. Веселый, умный, вернулся из Вильнюса. ⟨...⟩ И мимоходом сказал о том, что умерла Фрида. Оказывается, она умерла в тот день, когда меня увезли в больницу, и об этом не проговорился никто из моих посетителей. Фрида — большое сердце, самая лучшая женщина, какую я знал за последние 30 лет. Говорят, Лида сказала над ее могилой чудесную речь. Говорил Адмони. От моего имени послали венок. Очень осуждают Алекс. Бор. Раскина за то, что он во время болезни Фриды заперся у себя в комнате, ни разу не вышел к ней, не брился, не ел — и не поехал на кладбище... Я не осуждаю его, мне это понятно, и жаль его из-за этого втрое.

Люша принесла ужасные вести. Состоялся пленум, на к-ром разнуздались изуверы-черносотенцы. Опять поход на литературу, против «Нового Мира», против Бродского, и вообще против всех, кто смеет иметь свое суждение[11]. ⟨...⟩

Дивный концерт Рахманинова (3-й лирич. концерт).

Дивная энергия чувства — бурный и мятежный фон и на этом звуковом фоне хрустальный лирический голос — восторженный плач — некоторые куски из чистого золота. И вдруг пауза — и после нее задумчивые, медленные наивные — медленные — звуки, готовые прерваться, близкие к тишине, почти тишина—ночные, уединенные, шопотные, разговор с самим собою,— и вот день, рассвет, ярь солнца и страстей, мнимые приманки и ценности жизни, бешеное биение крови, молодость, Jazagung*, здоровье —

Надолго ли? Надолго ль все на свете? Была дробь, и вдруг потоки взрывчатые отрывистые, переходящие в пляску, праздничные (великолепные, без оглядки, простодушные) звучания, и опять шопот,— но я устал и дальше не слушал, но хрусталь и золото остаются в памяти на весь день. ⟨...⟩

Ужас — радио. Все передачи «Юности» сплошные мармеладно-сладкие сопли.

Говорил Гагарин как поп:

«*Вам открыты все пути*», а если Люша захочет поехать в Голландию, а если я захочу написать, что «Русский лес» Леонова плох — этот путь будет мне закрыт. ⟨...⟩

---

* Согласие со всем *(нем.)*.

18 авг. Получил из Италии письмо от Исаии Берлина — сообщает, что итальянские газеты пишут о моем предисловии к стихам Пастернака. Симмонс прислал из Оксфорда вырезку из „Times'а“ — передовую — о том же. Канадская канадская докторша прислала мне вырезку из канадской газеты — о том же: „Pasternak Poems.“ Нужно сообщить Евгению Борисовичу.

Опять головокружение

P.E.O.

Реорганизация

Реостат

Страница дневника. 18 августа 1965 г.

24 авг. Вчера в парке — у озера — блаженный день. ⟨...⟩ Встретил... Вл. Сем. Лебедева и Цейтлина (из «Известий») — стиль у них по-прежнему глумливый, иронический — и в то же время нежный. Леб. говорит, что русская инт[еллиген]ция очень обижена, что Шолохову не дали героя труда!!! Я взвился: разве инт-ция следит за чинами? за бляхами, которые прицепят тебе на грудь. Какая же это инт-ция! и т. д. ⟨...⟩

Сентябрь 15. Дивная погода. Мне лучше. Главное событие: «Театральная повесть» Булгакова — чудо. В 8-й книге «Нов. Мира». Ослепительный талант. Есть гоголевские страницы.

Статейка моя о Пастернаке — напечатанная в «Юности»— вызывает столько неожиданных похвал. От Сергея Боброва, от жены Бонди, от семьи Пастернака слышу необычные приветы по этому поводу. Была группа студентов — выразить благодарность. ⟨...⟩

21 сент. ⟨...⟩ Сегодня у меня будет Солженицын. Его московский адрес: Чапаевский пер. 8 кв. 54 (около Сокола и площади Расковой).

Сообщает Би Би Си, что Румянцева сняли.

В самом деле: можно ли было ему позволить, перечисляя лучших творцов советской литературы,— не упомянуть ни Грибачева, ни Софронова, ни Кочетова?! И где? В «Правде». ⟨...⟩

Сейчас ушел от меня Солженицын — борода, щеки розовые, ростом как будто выше. Весь в смятении. Дело в том, что он имел глупость взять в «Нов. Мире» свой незаконченный роман — в 3-х экз. и повез этот роман в чемодане к приятелю. Приятель антропософ. Ночью нагрянули к нему архангелы. Искали якобы теософские книги; а потом: «Что это там у вас в чемодане? белье?»— и роман погиб[12].

Враги клевещут на него: распространяют о нем слухи, будто он власовец, изменил родине, не был в боях, был в плену. Мечта его переехать в ученый городок Отнинск [Обнинск.— *Е. Ч.*] из Рязани, где жена его нашла место, но сейчас ее с этого места прогнали. Он бесприютен, растерян, ждет каких-то грозных событий — ждет, что его куда-то вызовут, готов даже к тюрьме.

Сегодня в «Правде» напечатано письмо инженера С. Иванова, жалующегося, что он нигде не может достать моих сказок, причем эти сказки называются всякими лестными прозвищами. ⟨...⟩

27 сент. ⟨...⟩ Сегодня написал письмо Дёмичеву[13]. ⟨...⟩

28. Клара поехала отвезти мое письмо в ЦК. В час дня приехал Солженицын с вещами и женой. Завтра утром он поселится у меня в Колиной комнате.

29 сент. среда. Поселился у меня Солженицын. Из разговора выяснилось, что он глубоко поглощен своей темой и не слишком

интересуется, напр., Пушкиным, Леонидом Андреевым, Квитко. Я читал ему любимые стихи. Ему они никак не понравились. Зато о лагере может говорить без конца.

Гулял с ним по лесу. 〈...〉

30 сент. Поразительную поэму о русском наступлении на Германию прочитал А. И.— и поразительно прочитал. Словно я сам был в этом потоке озверелых людей. Читал он 50 минут. Стихийная вещь,— огромная мощь таланта.

Он написал поэму 15 лет назад. Буйный водопад слов — бешеный напор речи — вначале,— а кончается тихой идиллией: изнасилованием немецкой девушки. Был Борис Заходер. Привез Винни Пуха. Чудесный цикл его стихов в «Юности» (9). Но издателя для них нет. Замышляет перевести «Алису в волшебной стране».

2 окт. Вчера была милая Столярова, привезшая мне подарки от Вадима Андреева. Она оказалась секретарем Эренбурга. С[олженицын] хорошо знаком с ней — и мы провели отличный вечер (вчетвером: приехала Люшенька). Ст[олярова] сообщила, что Синявский признался, что он один из «Абрамов Терцов». Она видела в Париже старых эмигрантов: вымирающее племя — 30 инвалидов из богадельни — в том числе Г. Адамович, Одоевцева.

3 октября. Вчера разбирали с Люшей Чукоккалу, которую она знает гораздо лучше, чем я. Очень весело было работать вместе. Солженицын вчера уехал в Москву. Может быть, приедет сегодня, а может быть, в четверг. Я ближе присмотрелся к нему. Его, в сущности, интересует только одна тема — та, что в «Случае на станции» и в «Ив. Денисовиче». Все остальное для него, как в тумане. Он не интересуется литературой, как литературой, он видит в ней только средство протеста против вражьих сил. Вообще он целеустремлен и не глядит по сторонам. 〈...〉

4 окт. 1965. В 16.00 час. прибыл в Барвиху, привезя 14 стр. статьи о Набоковском «Пушкине». 〈...〉 Погода дивная. По дороге встретил академика Цицина с женой. Интересно узнать, здесь ли Солдатовы?

Солдатовы здесь!!!

5 окт. Гнусная бессонница. Горчичники. 3 порции димедрола... С милым Солдатовым сошел к озеру — и вдруг головокружение. Вернулись — и С-вы сообщили мне потрясающую новость: Мария Игнатьевна Будберг зашла в какой-то магазин и сунула в свою сумку товару на десятки фунтов, а в кассу внесла лишь самую ничтожную сумму. «Очевидно была пьяна»,— говорит Руфина Борисовна. На суде она держалась развязно. Говорила: в тот день я украла кое-какие вещички еще и в другом магазине.

В газетах было сказано, что Будберг уроженка России.

Как удивились бы, узнав об этом, Горький и Уэллс — ее именитые lovers*. 〈...〉

8 окт. 〈...〉 Рассказывают Солдатовы, что Ахматова заявила им, что не любит Чехова, так как он был антисемит, из всех писателей выше всех ставит Достоевского.

Познакомился с президентом Латышской Академии[14]. 〈...〉

14. Уехали Солдатовы. Здесь Ив. Ив. Анисимов и Ажаев с женой. 〈...〉

Добрый Ажаев принес мне адрес работника ЦК, ведающего поездками за границу, Альберт Андреевич Беляев К-6-28-59. Он рассказывал вчера о том, что на каторге он б[ыл] вместе с Заболоцким. 〈...〉

Среда 28. Сегодня среда: Мортониха и Столярова. Пробую писать комментарии к Чукоккале. А Набоков? А подготовка 4-го тома. Вчера мы гуляли: я, Ажаев, Щипачев и Храпченко. Хр. рассказывал случаи, когда автор, не знающий языков, пишет солидные научные труды руками подчиненных ему специалистов (Щербина). Покойный Александров-академик прибег к такому способу: призвал к себе молодого человека, талантливого, и сказал ему: звонили из ГПУ, справлялись о вас, вообще вам грозит катастрофа: единственное для вас спасение — написать книгу в честь Сталинских статей по лингвистике. Тот в панике пишет, Ал. запугивает его вновь и вновь и получает книгу в 20 листов, на котор. Ал. ставит свое имя.

А Баскакова книга — о Чернышевском — вся невежественная, подло лживая, доносительная,— несмотря на критику Жданова и др.— получила в ВАКе высокую оценку и автору была присуждена степень доктора. Степень эту отняли у него лишь теперь, когда оказалось, что он проворовался. Ни одному автору нельзя дать свою книгу на рецензию — рецензент сопрет и выдаст за свое. 〈...〉

5 ноября 1965. Пришла Клара. С нею Митя и Люша. Я дико обрадовался. Кларочка обняла меня сзади и вдруг, покуда я болтал чепуху, сказала: Вчера днем умер Николай Кор.

Мне эти слова показались невероятными, словно на чужом языке. Оказывается, Коля, к-рый был у меня три дня назад, вполне уравновешенный, спокойный, прошелся со мною над озером,— вчера после обеда уснул и не проснулся. Тихо умер без страданий. Марина — в трансе — вошла, увидела мертвого Колю и пошла на кухню домывать посуду. Потом пришла Облонская, мы редактировали Уолта Уитмена, и это меня спасло. Весь день мы работали над «Листьями травы»— она умница, работяга, и я держу себя в тисках. Очень хорошо отнеслись ко мне Щипачевы и Ажаевы. И вдруг

---

* Любовники *(англ.)*.

ночью приехал Андроников, и Люша привезла его, и он посидел у меня час. Я был отвлечен и увидел, что самая страшная БОЛЬ не дает мне показывать ее наружу. Коленька! С той минуты как Мария Борисовна в 1905 году показала его большеголового мне в Одессе под олеандрами, я так привык что у него, а не у меня будущее.

Кларочка делает все, чтобы облегчить мою му́ку. Получил портреты от Сингера.

Прости меня, Колечка, не думал я тебя пережить. В голову не приходило, что я буду видеть облака, деревья, клумбы, книги, когда все это для тебя тлен и прах.

8 ноября. Вчера Лидочка приехала из Комарова. Была у меня. Чувствует себя бодрее, чем в Переделкине. Статья Солженицына в защиту языка — против Виноградова[15]. Обсуждаем проект устроить его в Москве. Думаю о Коле непрерывно. Он написал рассказ, который сейчас не для печати. Он оставил около 700 страниц «Воспоминаний», вчера Марина читала о Стениче его записи — превосходны. У Марины на руках столько живья (или живности) — ждет внука от Митиной Ани, Женины малыши, Татины малыши — она найдет куда приложить свое сердце. ⟨...⟩

13 ноября. Мороз 12°. ⟨...⟩ Говорил с Пузиковым. Действительно напечатают с моей статьей, но с прибавлением статьи Банникова, коему и предложено найти «сложность и противоречивость» пути Бориса П[астерна]ка[16].

15 ноября. Так развинтилось мое сердце, что меня сегодня перевезли в Кунцевскую б-цу. Зоя Семеновна отметила увеличение одышки, опухание ног и т. д. Я в 515 палате больницы. Здесь Исаковский, Вл. Сем. Лебедев, Паустовский. Прошу убрать ящик TV, чтобы расположить книги. Но вот мертвый час — а тишины никакой. Звяк посуды, мужские, дамские всячины. И как нарочно мой номер — против этакого уютного холла. Боюсь лечь в постель. Бахнула дверь.

Был у Исаковского. Лежит, угрюмый, с перевязанной рукой. ⟨...⟩

Оттуда — вместе с Лебедевым — к Паустовскому. При Паустовском — сестра («пост»). Он все еще не может очнуться от Италии. Говорит, что в тамошних газетах пронесся слух, что он, Паустовский, будет выдвинут на Нобелевскую премию. Его бешено фотографировали для газет. Сейчас он еле говорит, но куда здоровее Исаковского.

Палата № 515 — очень шумная. Я заявил ультиматум: если не переведут меня в тихую комнату 500, я еду домой. ⟨...⟩

23. Вчера. Были две аристократки: графиня Людмила Толстая и баронесса Будберг (Мура). Заговорили о Солженицыне. Люд-

мила: «С удовольствием отдам ему комнату Алеши — одну из пяти комнат в моей квартире». Говорят, он был у Капицы — и произвел на них чарующее впечатление.

Была Люша, и мы чудесно поработали с ней над Чукоккалой. Она привезла сотни фото. Знает материал идеально. И вообще, мне с нею очень хорошо.

27. 〈...〉 Стал набрасывать для Чукоккалы о Гумилеве: бездарно и немощно.

Каждый вечер посещаю Паустовского: он в палате № 299. 〈...〉

28 ноября 65. 〈...〉 Выползаю из-под Гумилева. Прочитал рассказ Солженицына. Ну и мастерище. Правая кисть.

Опять о бесчеловечьи человеческом.

Паустовский выразил желание подписать петицию о Солженицыне. Мы были у него с Люшей. Прежде чем пойти к нему, произошла заминка. Он послал узнать, кто звонил. Его испугало, что вдруг — Чаковский.

«Впрочем,— прибавил он,— в Италии он вполне знаменит, там его называли Чайковский». 〈...〉 Вчера Паустовский был в духе — и рассказывал мне и Вл. С. Лебедеву о Булгакове, который изобрел целую серию рассказов о своей мнимой дружбе со Сталиным. Новеллы очень смешные — в них двойное мастерство — Паустовского и Булгакова.

Вчера написал большое письмо Солженицыну. Мы собираем подписи: уже есть подпись С. Смирнова, Капицы, Шостаковича, моя, Паустовского. Интересно: даст ли свою подпись Твардовский[17].

4 декабря. Жена Евреинова, пухленькая старуха — боевая, бодрячка. «На мне хотел жениться Сергей Маковский... Один чилийский дипломат... А Юрий Анненков — кормится не своей живописью, а работой своей жены. Та работает на фабрике Мульти. А Бутковскую я выгнала в шею — и другую даму Евреинова, Молчанову. Мы с Николаем $1^1/_2$ года прожили в США. Самые его пьесы — в Латинской Америке — имеют бешеный успех» и т. д.[18].

Был В. С. Лебедев — он буквально спасает моего «Поэта и палача». Очень дельные замечания. 〈...〉

6 декабря. 〈...〉 Встал со свежей головой, стал мудрить над тем, чтобы ради цензуры исковеркать свою статью «Поэт и палач» 〈...〉

Карьерий Поллюцианович Вазелинский.

Паустовский рассказывает, как в Союзе писателей Вазелинский подошел к нему (после своего выступления против Пастернака) и Паустовский сказал ему:

— Я не могу подать вам руку.

Вазелинский прислал П-му письмо на машинке: «вы нанесли мне тяжкое оскорбление» и т. д., а пером приписал:

«Может быть вы и правы». 〈...〉

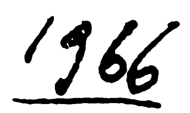
27/XII. ⟨...⟩ Все говорят о деле Синявского, во всех лит. учреждениях выносят ему порицание по воле начальства, хотя никто из осуждающих не видел его криминальных произведений[19]. ⟨...⟩

28. ⟨...⟩ Вспоминаю Сергеева-Ценского. Он был из тех армейских остряков, которые говорят Досви*швеция* вместо до*свидания*, ухожуя ухожу я, и т. д. Зубы крепкие, волосы черные густые, здоровяк. Зарабатывал много, но тратил на себя очень мало: ходил в дрянном пальто, с толкучего рынка, в стоптанных башмаках. Все заработки шли у него на путешествия по России. Получит гонорар из «Сов. Мира»— тысячи полторы — и сейчас же закатится либо в Сибирь, либо в «Западный Край», либо в Донецкий бассейн изучать быт шахтеров. Изучение быта той или другой русской местности он ставил себе в обязанность, но не для того, чтобы написать *бытовой* рассказ. Нет, быт был нужен ему как материал для Символической лирики — для целых симфоний о том, что все в мире тленно и призрачно. Читал он свои вещи отлично; читал у меня Репину «Движения», и все мы удивлялись, откуда столько поэзии у этого незамысловатого прапорщика. Он был холостяк, бобыль, неделями жил у меня в Куоккале, или где-нибудь в дешевых номерах. Влюбился в Марию Карловну Куприну, и для завоевания ее сердца постоянно доказывал ей, что он, Ценский, пишет лучше Куприна. Тут проявлялась отталкивающая черта его личности: самовлюбленность, уверенность в том, что он — гениальный писатель. Когда началась революция, он не признал ее, поселился на горе в Алуште, женился, обзавелся коровой — и ни разу не сошел вниз — и слал мне укоризненные письма, зачем я «продался большевикам». А потом переменил вехи, стал кропать бездарные романищи и сделался любимым писателем Сталина. Оглох.

Как и все самовлюбленные, был гомерически скуп. В последнее время мог говорить только о себе. Но я, знавший его в лучшую пору его творчества, в пору «Медвежонка», «Наклонной Елены», «Печали полей», «Лесной топи»,— сохранил любовные чувства к *тому* С. Ценскому, непохожему на автора «Севастопольской Эстрады».

29 дек. Я вырвался из этой подлой тюрьмы. Температура у меня 37, но какое счастье проплестись на трясущихся ногах к машине и очутиться в глубоких снегах Переделкина.

Поздравлений с Новым годом я получил около сотни — от Солженицына, от Паперного, от протоиерея Пимена. ⟨...⟩



6 января. Был Иосиф Бродский. Производит впечатление очень самоуверенного и даже самодовольного человека, пишущего сум-

бурные, но не бездарные стихи. Меня за мои хлопоты о нем он не поблагодарил. Его любовь к английской поэзии напускная, ибо язык он знает еле-еле. Но человек он в общем приятный. Говорит очень почтительно об Анне Ахматовой. 〈...〉

15 января. Софья Николаева из «Искусства». О Репине. Перед нею молодой интервьюер. После нее тотчас же: Петр Леонидович Капица с В. М. Ходасевич и женою — по поводу Солженицына. Настаивает, чтобы я написал Брежневу. Очень милый, сильно постаревший, подарил мне книжку, где есть отличная статья о Резерфорде. 〈...〉

18.I. Были у меня лингвисты. Я показывал им начало Чукоккалы. В. Г. Костомаров попросил у меня сделать надпись на книге «Высокое искусство»— под портретом, снятым Вл. С. Лебедевым. И вдруг Таня Винокур сказала: три дня назад Лебедев умер.

Умер? Лебедев?! Я чуть не заплакал. Мы видались в больнице почти ежедневно. И какие планы строил он — хотел писать записки о Сталине, о Хрущеве — и хотя был очень слаб, мне и в голову не приходило, что я переживу его. 〈...〉

Вчера умерла Анна Ахматова.

Сегодня 5 марта. Умерла от пятого инфаркта в Домодедове. От Лиды скрывают: Лида только что перенесла припадок аритмии, зверский. Боюсь, как бы она не сорвалась с места и не уехала в Л[енингра]д на похороны. С Ахматовой я был знаком с 1912 г.— стоит передо мною тоненькая, кокетливая, горбоносая девушка, в которую я больше верю, чем в эту рыхлую, распухшую, с болезненным лицом старуху. Наши слабоумные устроили *тайный* вынос ее тела: ни в одной газете не сообщили ни звука о ее похоронах. Поэтому в Союзе собралась случайная кучка: Евтушенко, Вознесенский, Ардов, Марина, Таня, Тарковский и др. Тарковский сказал:

— Жизнь для нее кончилась. Наступило бессмертие.

9 марта 1966. 〈...〉 Я послал в Союз телеграмму:

Изумительно не то, что она умерла, а то, что она так долго могла жить после всех испытаний — светлая, величавая, гордая. Нужно теперь же начать составление ее монументальной биографии. Это будет поучительная книга.

Оказывается, в Союзе писателей 9-го было собрание писателей. Горячо протестовали против подлого молчания о выносе тела Ахматовой. Это сделали по распоряжению ЦК, даже на стенке не вывесили объявления. Думали, что дело сойдет шито-крыто. Но на собрании в Союзе самые тихони с негодованием кричали: «позор». Михалков, произнесший знаменитую фразу:

— Слава богу, что у нас есть ГПУ! — был обруган единогласно.

Особенно отличалась Тамара Иванова.

25 марта. Я уже 10-й день в больнице — в Инфекционном корпусе, бокс № 93.

Приехал сюда с нормальной t°, а сейчас у меня 37,5. Душевные муки я испытываю страшные. Сейчас, держа корректуру III тома, прочитал свою статью о Бичер Стоу. Позор, банальщина, сюсюкание, фальшь. Если бы мне, когда я был молод и бился за новые формы критических статей, показали эту статейку, написанную в сталинские дни для Детгиза (а Детгиз отверг ее, так как тогда боролись с «Чуковщиной») — если бы мне показали эту дряблую бескровную статейку, я бы заплакал от горя. Всю жизнь я отдал на то, чтобы таких ханжеских гладеньких статеек не существовало на свете — и вот в «Собрании моих сочинений» как образец читателям преподносится эта затхлая статья, в которой нет ни искры чуковщины.

Кларочка на себе принесла 30 экз. стихов Б. Пастернака с моим жидковатым предисловием. Предисловие правлено кем-то, и в него введено даже ненавистное мне слово «показ». Так как я отказался порицать (в своей статье) Пастернака за его мнимые ошибки, за это взялся пьяница Банников, обожающий П-ка гораздо больше, чем я. Он написал несколько хороших страниц — но потом все же ругнул «Доктора Живаго», упомянул о порочных идейных позициях П-ка, о его «отгороженности и обособленности». Если бы это было пороком, мы не славили Генри Торо.

И чуть он, Банников, стал брехуном, ему изменил даже стиль. Он пишет:

«Заблуждения и ошибки Пастернака (359) (как будто заблуждения и ошибки не синонимы), В «умах и (?) душах» (338), «морально этические» (357)[1]. К письму (к Косолапову) нужно прибавить:

Пользуюсь случаем, чтобы сказать Вам, как горько мне выносить цензурный гнет над моим «Собранием». Вырезали из моей статьи «Тынянов» несколько строк о Юлиане Григорьевиче Оксмане, в то время как это имя свободно печатается во многих изданиях. И сейчас почему в мой третий том не вводят мою живую статью о Джеке Лондоне? Разве Джек Лондон тоже табу, как и Оксман? Я думал, что, приобретая сочинения Чуковского, Вы знали, что такое Чуковский 〈...〉

1 апреля. 〈...〉 Подлая речь Шолохова — в ответ на наше ходатайство взять на поруки Синявского так взволновала меня, что я, приняв утроенную порцию снотворного, не мог заснуть. И зачем Люша прочитала мне эту речь[2]. Черная сотня сплотилась и выработала программу избиения и удушения интеллигенции. Я представил себе, что после этой речи жизнь Синявского станет на каторге еще тяжелее.

3-е апреля. Пишу с трудом о Сологубе. 〈...〉

Весь день с Люшей работали над «Чукоккалой». С Люшей

необыкновенно приятно работать, она так организована, так четко отделяет плохое от хорошего, так литературна, что, если бы я не был болен, я видел бы в работе с нею одно удовольствие.

Кончил корректуру «От двух до пяти». 〈...〉

12 апреля. 〈...〉 Пробую писать для Чукоккалы — о Сологубе; трудная тема. Вообще — по теперешним временам Чукоккала — сплошная нелегальщина. Она воскрешает Евреинова, Сологуба, Гумилева, Анненкова, Вячеслава Иванова и других замечательных людей, которых начальство предпочитает замалчивать. Что делать?

18 апреля. Сегодня в Доме Литераторов поминки по Коле. А я здесь. Весь день не нахожу себе места. Ничего не могу делать. Вечером пришел какой-то довольно дубовый мужчина, и я вел себя с ним так нервно, так истерично, что мне сейчас стыдно, но это оттого, что [я] всей душой там, в Доме Литераторов — и на кладбище. Говорят, что сегодня должны выступать Лев Успенский, Миша Слонимский, что в Доме Литераторов устроена выставка его произведений, что выступает Герой Сов. Союза, кот. Коля вывел в «Балтийском небе»[3], а мне все время рисуется круглоголовый мальчишка 7—8 лет, который в Куоккале бегает по камням дачи Бартнер у взморья и сам себе рассказывает фантастические рассказы или входя в воду говорит:

— Папа, купи зай —... ой какая вода холодная! — ца.

И не верится, что именно сейчас лежит в гробу под землей и весенние ручьи протекают к нему, к его черепу! А сегодня начали петь соловьи, и это такое проклятье.

19. Были Марина, Успенский и Слонимский. Марина как будто немного ожила, сбросила с себя тоску.

Вечер, посвященный Коле, ей понравился. Хорошо говорили Слонимский, Успенский, Штейн, Каверин. Сорвался Бек — понес какую-то несуразицу. 〈...〉

19 июля. Вчера был Солженицын с женой. Я только что прочитал его «Раковый корпус». Он боится, что «высшие власти», раздобыв его худшие пьесы, недаром напечатали их для внутреннего распространения. Хотят, чтобы с пьесами познакомились члены правительства и вынесли бы ему свой приговор. Очень хвалит мою книжку «От Чехова до наших дней» (?), Катаева еще не прочел. «Раковый корпус» в «Новом мире». Надеются напечатать. Твардовский одобрил, но запил — третий запой за нынешнее лето. Он предлагает заглавие «От четверга до среды». Похоже, что Солж. никакими другими темами не интересуется, кроме тех, которым посвящены его писания.

Спросил его жену: есть ли у них деньги. Говорит, есть. Даже

валюта. Она получает 300 р. в месяц (как химик). Кроме того, А. И. говорит: богатство не в том, чтобы много зарабатывать, а в том, чтобы мало тратить. «Говорю ему: тебе нужны ботинки. А он: еще не прошло 10 лет, как я купил эти».

Работаю над вступлением к Ахматовой (ленинградский сборник стихов). 〈...〉

20 июля. 〈...〉 Милая Маринка-младенец, чуть у нее прибавилось немного ума, перестала по-толстовски исповедывать непротивление злу. Прежде бывало отнимешь у нее игрушку, она хватает другую, мирно и даже смиренно. Как ни положишь ее, она счастлива. Казалось,— воплощенная флегма. Теперь, чуть что не по ней, орет вовсю. Ест и кисель и суп — в огромных количествах. И бесконечно мила. Каждую свободную минуту я стараюсь сидеть у ее колыбели. Теперь у нее одно стремление: сесть. Ей надоело лежать. Я кладу палку поперек ее коляски, она хватается за нее и садится — и все было бы хорошо, но она сейчас стремится прильнуть к этой палке губами — приходится валить ее на спину, из-за своего прекрасного характера она не обижается, не плачет, но тянется к палке снова.

С Солженицыным снова беда. Твардовский, который до запоя принял для «Нового мира» его «Раковый корпус»,— после запоя отверг его самым решительным образом. 〈...〉

1967

14 янв. 〈...〉 Читаю старый отчет о заседании в Союзе писателей по поводу Пастернака. Особенно подлы речи Перцова и Корнелия Зелинского[1]. Вчера на полчаса приезжала Лида, рассказывала о Пуниных, разбазаривших наследие Ахматовой. 〈...〉

8 [февраля]. Вожусь с V-м томом. Очень скучные статьи, в которых нет меня. На всех отпечаток той скуки, к которой вынуждала нас эпоха культа. Помню тоску, с которой я писал эти статьи — без улыбки. 〈...〉

Сегодня приехал Мирон[2]. Мы работали с ним над «Поэтом и палачом», портя всю статью, чтобы приспособить ее к цензурным требованиям.

Кончил Чехова как будто окончательно. Впрочем, хочется еще раз поглядеть перед печатью.

21 февраля. День Марии Борисовны. Ровно 12 лет со дня ее смерти. Был у меня по этому случаю Митя — и вечером Лидочка. Она привезла мне в подарок чудесное стихотворение Ахматовой, очевидно, обращенное к Исайе Берлин[у]:

Ты напрасно мне под ноги мечешь.

Несмотря на тяжкую болезнь, Лида очень много работает: и над изданием Ахматовского сборника, ⟨...⟩ и над составлением Антологии детских стихов, и над дневниками Фриды. Вид у Лиды неплохой. ⟨...⟩

3 марта. ⟨...⟩ Гостит у меня Машенька Слоним — уютная, трижды родная, простая, талантливая.

Оказывается, «Times Literary Supplement» пишет о Лиде, что ее повесть есть classic of purge*, сравнивает повесть с Ив. Денисовичем и с Реквиемом. ⟨...⟩ Сижу и порчу «Поэта и палача». ⟨...⟩

14 марта. Таня. Какая-то матовая, словно пеплом посыпанная. Без сумасшедшинки. Я показал ей «Поэта и палача», которого я переделываю — она помогла мне в композиции. Написал письмо одному американцу, который предлагает мне, что переведет мои сказки. Мы написали «They are untranslatable»**. Читала мне стенограмму одного судебного процесса, где юношу, чистого душою, прямо исповедующего свои убеждения, после замечательной речи адвоката, доказавшего его невиновность,— приговорили к трем годам каторги. Фамилия юноши, кажется, Хаустов.

Вожусь с комментариями к Некрасову в Библиотеке поэта. С изумлением увидал, что мои комментарии к поэме-сатире «Современникам» почти целиком переписал Теплинский и выдал за свои. ⟨...⟩

18 марта. Была вчера Ясиновская. Вела себя корректно и смиренно. Все вожусь с «Поэтом и палачом», порчу свой текст напропалую. ⟨...⟩

24. ⟨...⟩ Сегодня день рождения Лиды. 60 лет назад я пошел в Пале-Рояль, где внизу была телефонная будка, чтобы позвонить в родильный дом д-ра Герзона, и узнал, что родилась девочка. Сзади стоял И. А. Бунин (в маленькой очереди). Он узнал от меня, что у меня дочь,— и поздравил меня — сухим, ироническим тоном. Вчера приходил Тарковский, чтобы переслать в Москву поздравление Лидочке. ⟨...⟩

31 марта. Бешеный, безостановочный снег. ⟨...⟩ А я, как подобает [в] 85 лет, лежу больной с мозговым кризом, так как вздумал с Симоном Дрейденом заняться своим пятым томом. Телеграмм и поздравлений — кучи, более всего тронула меня из Рязани — от Солженицына. Сима провел со мной здесь наверху весь свой досуг — умный, задушевный, радостный. ⟨...⟩

---

* Классика периода чисток (*англ.*).

** Они непереводимы (*англ.*).

1 апреля. ⟨...⟩ В каждой телеграмме — за каждым пожеланием долголетия скрывается: «Знаем, что ты скоро помрешь».

Художники малюют фасад Библиотеки, а я лежу в двух шагах от них — и не могу полюбоваться.

Таня, Люша, Клара — вот мои подруги, которыми я счастлив, умирая.

Марина испекла гигантского Наполеона. ⟨...⟩

Андроников напечатал обо мне очерк «Корней Иванович»— гиперболический, я назвал этот очерк Шиллер Шекспирович Гёте и поместил в папке, на которой Сима написал:

«Быть знаменитым некрасиво»[3].

В «Новом Мире» Колины воспоминания о Блоке. Лида подарила мне свой дневник об Анне Андреевне[4]. ⟨...⟩

20 мая. Я в постели. Затянулась пневмония. Сегодня приехал Солженицын, румяный, бородатый, счастливый. Закончил вторую часть «Ракового корпуса». О Твардовском, о его двойственности. Тв-ий С-ну: «Вы слишком злопамятны! Надо уметь забывать — вы ничего не забываете».

С[олженицын] (торжественно): Долг писателя ничего не забывать.

Он ясноглазый и производит впечатление простеца. Но глаз у него сверлящий, зоркий, глаз художника. Говоря со мной, он один (из трех собеседников) заметил, что я утомлен. Меня действительно сморило. Но он один увидел это — и прервал — скорее сократил — рассказ.

Таким «собранным», энергичным, «стальным» я еще никогда не видел его. Оказывается, он написал письмо Съезду писателей, начинающемуся 22 мая,— предъявляя ему безумные требования — полной свободы печати (отмена цензуры). В письме он рассказывает о том, как агенты Госбезопасности конфисковали его роман. Письмо написано — с пафосом. Он протестует против того, что до сих пор не вышли отдельным изданием его рассказы, напечатанные в «Новом Мире».

Я горячо ему сочувствовал — замечателен его героизм, талантливость его видна в каждом слове, но — ведь государство не всегда имеет шансы просуществовать, если его писатели станут говорить народу правду... Если бы Николаю I-му вдруг предъявили требование, чтобы он разрешил к печати «Письмо Белинского к Гоголю», Николай I в интересах целостности государства не сделал бы этого. Нужно же войти в положение Семичева [Демичева.— *Е. Ч.*]: если он предоставит писателям волю, возникнут сотни Щедриных, которые станут криком кричать о Кривде, которая «царюет» в стране, выступят перед всем человечеством под знаменем ПРАВДЫ и справедливости. И куда денется армия агитаторов, куда денутся тысячи областных и районных газет, для которых распоряжение из Центра — закон. Конечно, имя С-на войдет в литературу, в историю — как имя одного из благород-

нейших борцов за свободу — но все же в его правде есть неправда: сколько среди коммунистов было восхитительных, самоотверженных, светлых людей — которые действительно создали — или пытались создать — основы для общенародного счастья. Списывать их со счета истории нельзя, так же как нельзя забывать и о том, что *свобода слова* нужна очень ограниченному кругу людей, а большинство,— даже из интеллигентов — врачи, геологи, офицеры, летчики, архитекторы, плотники, каменщики, шоферы делают свое дело и без нее.

Вот до какой ерунды я дописался, а все потому, что болезнь моя повредила мои бедные мозги. 〈...〉

Пятница 6 часов. [В больнице.— *Е. Ч.*] Какое число, не знаю. Съезд еще продолжается. Говорят, что около ста человек подписались под письмом Солженицына. Или, кажется, составили свое письмо, еще более сильное. 〈...〉

Бокс 93. 30 мая. 〈...〉 Прочитал две книги. Одну — о Тынянове, другую — «Прометей» № 2. Автобиография Тынянова — чудо. Вся из конкретных образов, из художественных деталей. Как будто пишет не ученый, а великий беллетрист. И какая память на те живописные образы, что окружали его в детстве!

В книге нигде не говорится, что он был еврей. Между тем та тончайшая интеллигентность, которая царит в его «Вазир Мухтаре», чаще всего свойственна еврейскому уму. Сравните романы Ал. Толстого с Тыняновскими. У Тынянова героями выступают идеи, идеи борются и сталкиваются и вообще на первом месте — *идеология.* Идеология, подкрепленная живописью. А у Ал. Толстого — плоть.

Были врачи. Как единодушно они ненавидят Светлану Аллилуеву-Сталину[5]. Опростоволосившиеся власти торопятся клеветать на нее в газетах, но так как в стране царит единомыслие, даже честные люди попадаются в этот капкан.

И вся Россия мечется,
Покуда не излечится.

Барбитураты
Виноваты,
Что мы с тобой дегенераты.

Сейчас няня «тетя Дуся» увещевала меня:

— И зачем вам работать? Надо и отдохнуть. Много ли вам жить осталось? Ну год, ну два,— не больше.

И все это — от доброго сердца.

Два дня истратил на чтение книги Erle Stanley Gardner'a

Страница дневника. 6 августа 1967 г.

«The Case of the Beautiful Beggar»*. Чушь страшная, но нельзя оторваться. 〈...〉

Читаю Голдинга «Lord of the Flies»**. Здóрово.

В «Нью Йоркере» — записные книжки Эдмунда Уилсона. Сколько самодовольства и какая бедность мысли.

Прочитал I часть автобиограф[ии] Bertrand'a Russel'a. При всем своем демократизме он остается британским аристократом.

Пишет прекрасным, классически прозрачным языком. Юмор — чудесна свобода суждений — и полная откровенность насчет своих сексуальных причуд.

Ни математика, ни философия не убили в нем человека.

Прочитал «Papa Hemingway», развязную, вульгарную книжку — со страшным концом — о сумасшествии великого писателя. 〈...〉

6 августа. Вчера в Переделкино приехал А. И. Солженицын. Но мне было так худо, что я не мог его принять. Голова, сердце, желудок. Сейчас он спит внизу. 〈...〉

Сегодня завтракал с Солженицыным. Он сияет. Помолодел, пополнел. Великолепно рассказал, как в Союзе писателей почтительно и растерянно приняли его в кабинете Федина — Воронков, Марков, Соболев. Он вынул и положил на стол бумаги. Марков испугался: что, если это новый обличительный документ, обращенный к мировому общественному мнению? Они дружески упрекнули его: зачем же вы не написали письма в Президиум. Зачем размножили свое письмо к Съезду и разослали копии каждому члену Съезда?

Он обратился к тем бумагам, которые выложил заранее на стол.

— Я уже два года обращался к разным отдельным лицам и ни разу не получил ответа.

Вот копия моего письма к Брежневу. Брежнев мне не ответил. Вот копия письма в «Правду». Ответа я не получил. Вот мое письмо к вам в Союз, вы тоже не ответили мне.

Марков, Воронков, Соболев — изобразили на лицах изумление.

---

* Эрла Стэнли Гарднера «Случай с прекрасным нищим» (*англ.*).
** «Повелитель мух» (*англ.*).

Несомненно, Леонид Ильич Брежнев не получал Вашего письма.

Словом, все лебезили перед ним. «Не мешает ли вам форточка? Не дует ли?» Когда он попросил воды, тотчас же в комнату были внесены подносы со стаканами чаю и обильными закусками.

Твардовский, привезший С-на, спросил: Скажите, пожалуйста, не думаете ли вы, что́ ваш «Раковый корпус» будет напечатан за границей.

Солж. Весьма вероятно. По моим сведениям, существует не меньше 500 машинописных копий этой вещи; нельзя надеяться, что ни одна из этих копий не попадет за границу.

— Что же нам делать?— в отчаянии спросили судьи у подсудимого.

— Остается одно,— сказал Твардовский,— печатать «Рак. корпус» в «Новом Мире».

Заговорили о клевете на Солж., будто он дезертир, будто он был в немецком плену чуть ли не полицаем и т. д. Великодушно обещали ему защитить его доброе имя.

Он чувствует себя победителем. И утверждает, что вообще государство в ближ. будущем пойдет на уступки. «Теперь я могу быть уверен, что по крайней мере в ближайшие три месяца меня не убьют из-за угла».

Походка у него уверенная, он источает из себя радость. ⟨...⟩

15 авг. 67. ⟨...⟩ Лидочке лучше; ей нужна клиника, где она быстро поправилась бы, но из-за ее нервного заболевания ей нужна отдельная палата, и чтобы не было шума в коридоре. Единственная клиника, где ее могли бы вылечить — та якобы инфекционная, где лечился я, но туда ее вряд ли примут, из-за ее письма к Шолохову и из-за ее «Софии Петровны», выходящей в Англии.— В 3-м номере «Прометея» ее статья о детстве и юности Герцена — очень талантливая, но неоконченная, так как ей скучно заниматься такой нетворческой работой при наличии «Былого и дум». ⟨...⟩

Сегодня 15-го авг. ⟨...⟩ Сима сообщил, что вчера по BBC сообщили о Лидиной книге, вышедшей в Англии. Интересно бы узнать, кто переправил ее рукопись через границу. ⟨...⟩

Какая мутная, претенциозная чушь набоковское «Приглашение на казнь». Я прочитал 40 страничек и бросил. ⟨...⟩

21 августа. ⟨...⟩ Сейчас от меня ушел Роман Якобсон, которого Маяковский назвал в стихах Ромка. Оказывается, Эрнест Симонс перевел это слово как *рюмка* (по словам Р. Як.).

Здесь в СССР печатается его книга в переводе на русский язык, и он говорит, что перевод блистателен, что в СССР сейчас великие лингвисты — у них тонкое понимание, большое научное воображение — напр., Кома Иванов. «В январе его мы в америк. лингвистическом О-ве выберем почетным членом».

Сам он бодр, дружествен, полон электричества.

Сегодня Коме 38 лет — день рождения — Якобсон приехал к нему на праздник.

Очень взволновала меня встреча с ним, с нашей молодостью, и сразу вся хворь прошла. ⟨...⟩

24 авг. Четверг. Была чудесная Аня, только что напечатавшая в «Юности» очень любопытный рассказ о себе[6]. Митя помог мне рассортировать материал для VI тома и прочитал мне вслух замечательный рассказ Грековой «На испытаниях». Была Таничка. Был Сима Дрейден.

Всех я любил прощальной любовью. Работал над реставрацией «Ив. Бунина».

Статья Рассадина обо мне в 7 кн. «Нового Мира». Я и не подозревал, что я такой симпатичный. Он делает меня крупнее, чем я есть. ⟨...⟩

12 сентября. Вчера была Лидочка, очень похудевшая. ⟨...⟩ Увлеченно говорила о составленных ею комментариях к стихотворениям Ахматовой.— Я уверен, что эти комментарии превосходны. Прочитала новое издание моих «Современников». Одобряет: «Житкова», «Чехова», «Леонида Андреева», «Куприна». А статью об Анне Ахматовой считает ниже других. Особенно мемуарная часть жидковата. Это ощущаю и я сам. ⟨...⟩

17 сент. ⟨...⟩ Ожидал вчера Артура Миллера и Олю Карлайль, не приехали. Вожусь со статьей об Ахматовой — для Ленгиза. Делаю вставки, многие из которых подсказаны мне Лидой.

Когда вышла моя статья «Читая Ахматову», А[хмато]ва прислала мне письмо, которое куда-то пропало вместе с другой Ахматовианой.

Бунин в своей беллетристике мастер деталей, для которых у него порой нет никакого стержня.

Здесь в Доме Творчества Новелла Матвеева. Я ее назвал «уходящая». Встречаясь со мною, она весело идет мне навстречу, но после 2-х минут разговора убегает. Недавно мы сидели большой компанией в саду — я рассказывал какую-то историю. Она послушала минут десять, но не выдержала и убежала: «Не могу,— объяснила она,— очень уж вы интересно рассказываете». Подарила мне книжку последних стихов. ⟨...⟩

Письмо о том, что жива Елена Киселева, дочь составителя учебников алгебры и геометрии,— ученица Репина,— с которой у меня был бурный (и короткий) роман в 1915 году. Помню, как волновал меня ее красный зонтик, с котор. она выходила на пляж[7]. Теперь ей лет 90,— и пусть бы она вышла с ним на пляж!

Память моя с каждым часом слабеет. Вчера я дошел до того, что никак не мог вспомнить, откуда эти строки у Пушкина:

Зачем арапа своего
Младая любит Дездемона.



Портрет К. Чуковского работы Е. Киселевой. Акварель, 1915 г. На обороте рукой К. Чуковского написано: «— Немного Иисус, немного каторжник. Ох, ужас!» Собрание К. И. Лозовской

Читаю Артура Миллера — очень умелый писатель. Здесь Ибсен, Чехов — и самая бурная фабула. 〈...〉

23 сент. Суббота. Был Солженицын. Вчера он 5 часов находился под судом и следствием Секретариата Союза Писателей — где его допрашивали с пристрастием Федин, Сурков, Воронков и др. 〈...〉

6 окт. Была Лидочка. Я показал ей куски статьи об Ахматовой. Получил от проф. Кэйдена приглашение написать предисловие об Ахматовой — к ее переводам. Был у меня Семен Липкин — очень умно говорил об Ахматовой. Как-то поздно вечером она позвала его к себе — «по очень важному делу»,— сказала в телефон. Он, встревоженный, поспешил приехать. «Вот» и она показала ему статью во фр. газете. Липкин читает: статья восторженная. Ахматова негодует: «Какая мерзость». Оказывается, в статье сказано, будто Гумилев разошелся с нею.— «Нет, это *я* кинула Гумилева. А в этой подлой статье...»

8 октября.

Прилетели синички. Стучатся в окно.

15, воскресенье. Октябрь. Таня о рукописи Мередита, над к-рой она работает:

— Не мередите мои раны!

Таня — наиболее одухотворенная женщина из всех, с кем мне доводилось дружить. Свободная от всякой аффектации и фальши. Это видно из ее отношения к отцу, к-рого она любит нежно и — молчаливо. Никогда я [не] слышал от нее тех патетических слов, какие говорятся дочерьми и вдовами знаменитых покойников. Она любила отца не только сердцем, но и глубоким пониманием. Она живет у меня вот уже неделю, и это — самая ладная, самая светлая моя неделя за весь год. Больше всего на свете Таня любит свою мать и своих детей. Но и здесь опять-таки никакой аффектации. И умна — и необычайно чутка ко всякому лже-искусству. 〈...〉 Ее работа над Мередитом — колоссальная умственная работа. Теперь она правит рукопись своего перевода — и за весь день напряженного труда ей удается «сделать» 8—10 страниц.

Она много и охотно рисует, но всегда кроки́, всегда наброски,— ее альбомы полны зарисовками разных людей — в судах, в кофейнях, в вагонах железной дороги — порою в них пробивается сильная талантливость, а порою это просто каракули. Вообще ее отношение к изо-искусству хоть и понятно мне — но не совпадает с моим. Зато литературные оценки *всегда* совпадают. 〈...〉

Чего нет у Тани и в помине — важности. Она демократична и проста со всеми — не из принципа, а по инстинкту. Не могу представить ее себе *солидной* старухой.

16 понед. Был чудесный Митя. Рассказал об Олеше. Тот пьяный вышел в вестибюль «Астории» и говорит человеку с золотыми галунами:

— Швейцар! Позовите такси!

— Я не швейцар. Я адмирал!

— Ну так подайте катер. 〈...〉

22 октября. Митя держит экзамены в институт Режиссеров Телевидения. Им дали свободную тему: «Лестница». Марина пишет заметку о Коле — для «Молодой Гвардии».— Талантливо и умно. Я послал в Театр на Таганке рецензию о «Пугачеве» Есенина-Эрдмана. Приезжал ко мне директор театра Юрий Петрович Любимов — просить рецензию, так как театр подвергся нападкам начальства, вполне справедливо усмотревшего здесь пасквиль на нынешнее положение вещей. Замучен корректурами пятого тома своих сочинений — где особенно омерзительны мне статьи о Слепцове. Причем я исхожу в этих статьях [из] мне опостылевшей формулировки, что революция — это хорошо, а мирный прогресс — плохо. Теперь последние сорок лет окончательно убедили меня, что революционные идеи — были пагубны — и привели [не дописано.— *Е. Ч.*]

26 октября. Таня, прочтя мои старые дневники (1921—1924 гг.), сказала: «Боже мой, какой вы были несчастный человек. Очень жалко читать». А я и не знал, что я несчастный. Все время чувствую приливы счастья — безумные.

30 октября. 〈...〉 В Чоботовской школе новый учитель русского языка и словесности. Он внушал детям, что при самодержавии все поэты гибли на дуэли. Никто не умирал своей смертью.

Одна девочка невинно спросила:

— А в советское время почему застрелился Маяковский? И Есенин? Девочку объявили злодейкой, стали исключать ее из школы,— и она была счастлива, когда ей объявили строгий выговор и опозорили перед всем классом.

Был у меня вчера Рассадин. Впечатление симпатичное. Уговариваю его написать книгу «Булгарин». Он работает над книгой о «Баратынском» и для себя пишет об Осипе Мандельштаме.

Сегодня закончил 2-ую корректуру пятого тома. Ужасно угнетает меня включение туда статейки «Ленин и Некрасов». Все это мои старые мысли, с коими я сейчас не согласен. Нужно будет издать седьмой том дополнительный:

Жена поэта
Достоевский в Кругу «Современника».
Формалист о Некрасове
Все обзоры 1909—1917
Мы и они
Две души Горького и т. д.

Книга об Ал. Блоке. ⟨...⟩

Я хорошо знаю, что эта моя осень — последняя. И не дико ли, что я думаю об этом без грусти! Между тем единственное, что прочно в моем организме — мои вставные зубы. Остальное ветошь и рухлядь. А зубы какие-то бессмертные. Я — приговоренный к смерти — не «смертный», но «смертник»— и знаю, что никто не заменит мне казни — пожизненной каторгой —

«Напрасно просить: погоди!»[8]

— и все же ликую и радуюсь. Неожиданное чувство.

Таня — вся в «Мередите». Завязла в переводе этого труднейшего сочинителя. Я очень сочувствую ей — и при этом знаю, что глаза мои уже не увидят этого перевода в печати[9]. Также не увидят они напечатанной «Чукоккалы». Не увидят статьи об Ахматовой — в Лениздате — и не увидят будущей весны. ⟨...⟩

2 декабря. Мягкая погода. Сейчас пойду гулять. Вчера ни с того ни с сего снова занялся Набоковым. «Бунин» вышел у меня неудачен. Больше месяца мудрю над ним.

Очевидно каждому солдату во время войны выдавалась, кроме ружья и шинели, книга Сталина «Основы ленинизма». У нас в Переделкине в моей усадьбе стояли солдаты. Потом они ушли на фронт и каждый из них кинул эту книгу в углу моей комнаты. Было экземпляров 60. Я предложил конторе городка писателей взять у меня эти книги. Там обещали, но надули. Тогда я ночью, сознавая, что совершаю политическое преступление, засыпал этими бездарными книгами небольшой ров в лесочке и засыпал их глиной. Там они мирно гниют 24 года,— эти священные творения нашего Мао.

7 декабря. ⟨...⟩ Когда я написал трескучую и моветонную статью о Сергее Городецком, появилась эпиграмма:

Сергей воспел стихами «Ярь»,
Корней покрыл его хвалою.
Поверьте, други, вас бы встарь
Одною высекли лозою. ⟨...⟩

8 дек. ⟨...⟩ Была сегодня Ясиновская с радостной вестью: «Библия», составленная нами, в ближайшие дни идет в печать!!!

Но — строгий приказ: нигде не упоминать слова *Иерусалим*. Когда я принимался за эту работу в 1962 году, мне было предложено не упоминать слова «евреи» и слова «бог». Я нарушил оба запрета, но мне в голову не приходило, что Иерусалим станет для цензуры табу.

10 декабря 67. Вышел с Мариной погулять по чудесному воздуху по нашей тропинке — и по дороге мы встретили: Нилина, потом Сер-

гея Смирнова с женой, потом Татьяну Тэсс, потом Райкина и Утесова. Утесов стал рассказывать анекдоты — артистически — и я хохотал до икоты — и почувствовал, как это здоро́во — смеяться на морозе. Мороз мягкий, не больше 7° — вся дорога в снегу — в серебре, красота фантастическая.

А я просил — нет, не
объятья,
Но тихого рукопожатья.

Вожусь со старой статьей о Сологубе для VI тома, а хочется писать о Набоков[ском] Пушкине.

25 декабря. Сейчас был Каверин. Очень весел. Говорит: «Раковый корпус» уже набран и сверстан для 12-й книжки «Нового Мира». Точно также решено издать книгу рассказов Солженицына. Говорят, что на этом настояли итальянская и английская компартии.

Солженицын говорил Каверину: «Я убежден, что Советский Союз неизбежно вступит на западнический путь. Другого пути ему нет!»

Жду Люшу.

Люша пришла и сразу окатила меня холодной водой. Оказалось, что никакого разрешения на печатание «Корпуса» нет. Твардовский намерен включить первые 8 глав в 12[-ю] книжку, но этот текст еще не был в цензуре и т. д.

26 дек. Встретил сегодня Залыгина, который сказал, что в 12[-ой] книге «Нового Мира» — повести «Рак. Корпус» *не будет*. Перенесли на I-ую книгу.

27 дек. Возобновил древнее знакомство с Шагинян. Мы с нею пошли к старухе Александре Бруштейн. Та слепа, глуха. Феноменально исхудала. Видно, истрачена вся до конца, до последней кровинки.

Шагинян рассказывает, как она нашла, что мать Ленина была дочерью еврея-выкреста Бланка, местечкового богача. Мариетта выследила этот род. Настоящее имя этого выкреста было Израиль. При крещении он получил имя Александр. Со своим открытием Шагинян поспешила к Поспелову. Тот пришел в ужас. «Я не смею доложить это в ЦК». Шагинянше запретили печатать об этом[10].

Обе старухи — глухие. У каждой свой слуховой аппаратик, и трогательно видеть, как они разговаривают, вооруженные этими позолоченными изящными штучками и суя их друг другу в лицо. ⟨...⟩

29 декабря. ⟨...⟩ Вчера Бибиси передавало «протест», написанный Павлом Литвиновым против заметки в «Вечерней газете», где Буковского зовут хулиганом[11]. Кажется, протест передан за рубеж самим Павлом. ⟨...⟩

Таничка рассказала мне, что едва только по БиБиСи передали о поступке Павла Литвинова, советские умники решили сорвать свою ненависть на... покойном М. М. Литвинове. Как раз на этих днях было празднование юбилея Советской дипломатии. И газетам было запрещено упоминать имя М. М. Литвинова. Говорили «Чичерин и другие». Так поступила даже газета «Moscow News». Таничка справилась: оказывается, было распоряжение замалчивать имя покойника, понесшего ответственность за проступки племянника [внука.— *Е. Ч.*] через 25 лет после своей смерти. ⟨...⟩

1968

11 января. ⟨...⟩ Таня опять: написала негодующее письмо в «Известия» по поводу суда над четырьмя и опять стремилась прорваться в судебную залу вместе со своим племянником Павлом. Мне кажется, это — преддекабристское движение, начало жертвенных подвигов русской интеллигенции, которые превратят русскую историю в расширяющийся кровавый поток. Это только начало, только ручеек. Любопытен генерал Григоренко — типичный представитель 60-х годов прошлого века. И тогда были свои генералы. Интересно, ширится ли армия протестантов, или их всего 12 человек: Таня, Павлик, Григоренко, Кома Иванов — и обчелся.

Павлик вручил иностранным корреспондентам вполне открыто свое заявление, что нужно судить судей, инсценировавших суд над четырьмя, что Добровольский — предатель, что все приговоры были предрешены, что весь зал был заполнен агентами ГПУ — и это заявление вместе с ним подписала жена Даниэля[1].

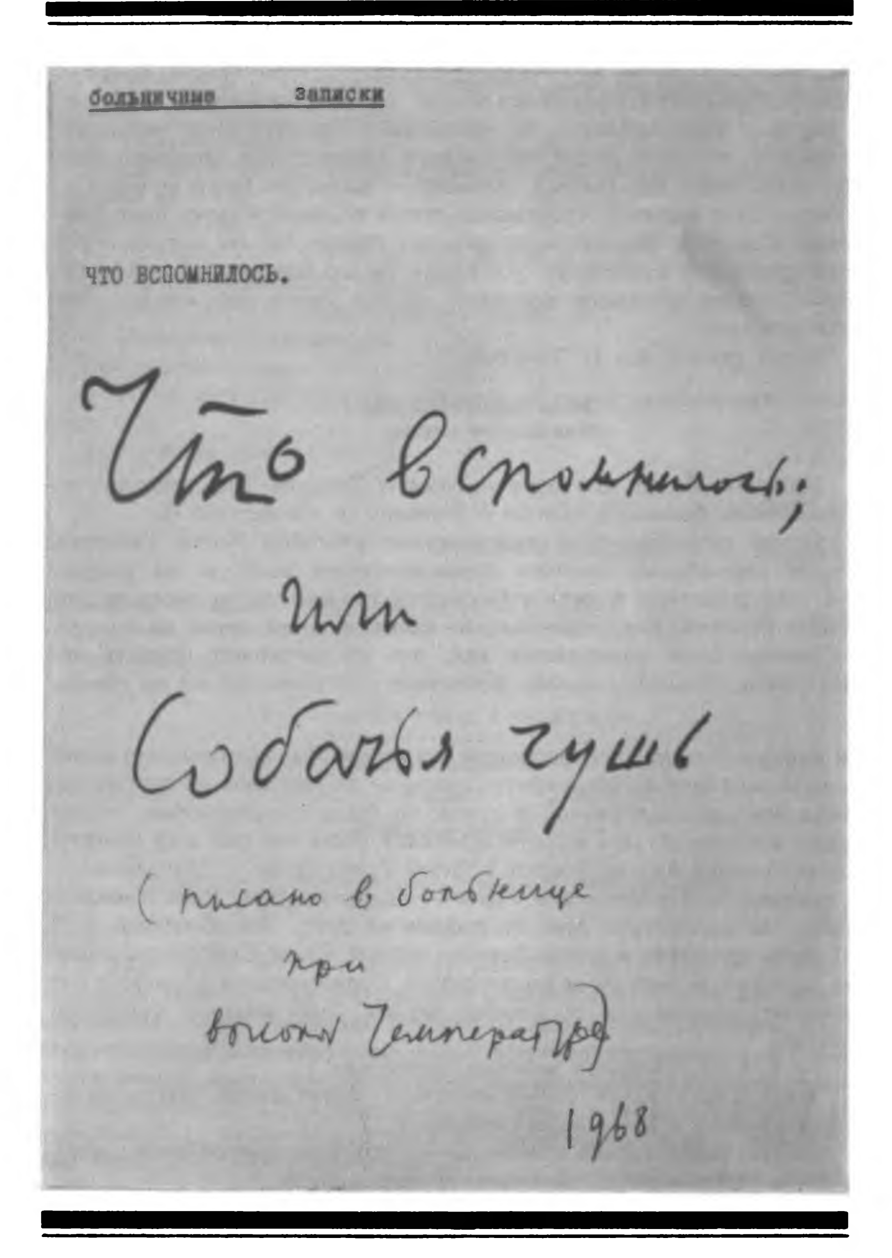
Английская коммунистическая партия в «Morning Star» заявила, что наше посольство в Лондоне обмануло английских коммунистов, уверив их, что суд будет при открытых дверях. ⟨...⟩

17 января. ⟨...⟩ Слушал передачу Би би си, где меня называют корифеем и хвалят меня за то, что я будто бы «работаю» вместе с дочерью. А я узнал текст ее письма к Шолохову из амер. газет[2]. ⟨...⟩

Кончаю перечитывать Семина[3]. Очень хороший писатель. ⟨...⟩

20.I. Чувства какие-то раскидистые,— Бог с ними, с моими чувствами. Таня рассказала, что Ivy, старуха, ни с того ни с сего, дала интервью репортеру газеты «Morning Star», одобряя поступки своего безумного внука[4], которого, кстати сказать, вызвали вчера в военкомат. ⟨...⟩

29 января. В гостях у меня был гений: Костя Райкин. Когда я рас-



больничные записки

ЧТО ВСПОМНИЛОСЬ.

Что вспомнилось;

или

Собачья чушь

(писано в больнице

при

высокой температуре)

1968

Титульный лист машинописного варианта записей «Что вспомнилось»

стался с ним, он был мальчуганом, играл вместе с Костей Смирновым в сыщики, а теперь это феноменально стройный, изящный юноша с необыкновенно вдумчивым, выразительным лицом, занят — мимикой, создает этюды своим телом: «Я, ветер и зонтик», «Индеец и ягуар», «На Арбате», «В автобусе». Удивительная наблюдательность, каждый дюйм его гибкого, прелестного, сильного тела подчинен тому или иному замыслу — жаль, не было музыки — я сидел очарованный, чувствовал, что в комнате у меня драгоценность. При нем невозможны никакие пошлости, он поднимает в доме духовную атмосферу — и глядя на его движения, я впервые (пора!) понял, насколько красивее, ладнее, умнее тело юноши, чем тело девицы.

Верно сказал Ал. Н. Толстой:

Девка голая страшна:
Живородная мошна.

Привели Костю его мать — Рома и Татьяна Тэсс, только что написавшая большую статью о Райкине (в «Известиях»).

Очень своеобразен и художествен разговор Кости Райкина. Своим серьезным, немного саркастическим голосом он рассказал, как родители и дети собираются где-нибудь за городом для общих веселий: родители вначале опекают детей, стоят на страже, но вскоре сами напиваются так, что их начинают опекать дети: «папа, стыдно!», «мама, довольно» — и развозят их по домам. ⟨...⟩

30 января. Создалась неуклюжая ситуация. Лида (я слышал) написала резкое письмо Маргарите Алигер — та ответила ей грубостью, Лида ответила еще резче[5]. И нужно же было так случиться, что сегодня вечером ко мне в гости приехала Лида как раз в ту минуту, когда пришла Алигер (вместе с Ритой Райт). Лида — полуслепая — в темноте услышала голос Риты — «Здравствуйте, Рита Яковлевна» и, не рассмотрев Алигер, подала ей руку. Все обошлось. ⟨...⟩

Лида величава и полна боевого задора. Люда Стефанчук сказала за ужином, что один из рассказов Солженицына (которого она обожает) понравился ей меньше других. Лида сказала железным голосом:

— Так не говорят о великих писателях.

И выразила столько нетерпимости к отзыву Люды, что та, оставшись наедине с Кларой, заплакала. ⟨...⟩

Читаю Габбе «Быль и небыль»— чудо! Безупречный вкус, абсолютное понимание своей литературной задачи.

21 февраля. Ровно 13 лет со дня смерти Марии Борисовны. А я по-прежнему веду суматошливую, бестолковую — дурацки труженическую жизнь.

Видел Расула Гамзатова, мы расцеловались. Написал статейку в защиту Грековой, которую преследует остервенелая военщина

за ее повесть «На занятиях»[6]. Написал плохо, был болен. Когда в Союзе писателей на партийной Секции прозы обсуждали повесть (16-го февраля) и читали мою статью, один из военных громко сказал:

— Спятил старик.

Председатель предложил ему уйти. Он извинился и сказал, что выругал не меня.

Председатель:

— Поверим ему, что он сказал это не о К. И.

Собрание согласилось поверить.

Утешая Грекову, я по телефону сказал ей:

— Рассосется как-нибудь.

Она разгневалась:

— Я не хочу, чтобы рассосалось. Я хочу изобличить негодяев. ⟨...⟩

Прекрасная книга Семина.

Бокс 93

Март 68 в Инфекционном Корпусе

12 марта. Приехал сюда здоровый — и здесь меня простудили t° 37,3.

Вспоминаю.

Больничные записки

Что вспомнилось
или
Собачья чушь

(писано в больнице при высокой температуре)[7]

1968

1.

В 1905—1906 гг. был литературный салон у Николая Максимовича Минского на Английской набережной в доме железнодорожного дельца Полякова. Поляков (родственник Минского) предоставил поэту роскошную квартиру. Минский поселился там с молодой женой, поэтессой Вилькиной. Вилькина была красива, принимала гостей лежа на кушетке, и руку каждого молодого мужчины прикладывала тыльною стороною к своему левому соску, держала там несколько секунд и отпускала.

Однажды пошел я с нею и с В. В. Розановым на митинг. Когда ей нравился какой-нибудь оратор, она громко восклицала, глядя на него в лорнет:

— Чуковский, я хочу ему отдаться!

Брюсовский «Скорпион» напечатал книгу ее стихов «Мой сад». Розанов написал к книге предисловие, не читая ее. «Я думал, что книга зовется „Мой зад“»,— оправдывался он.

* * *

2.

У Розанова была падчерица — Шура, высокая девушка, дочь его второй жены попадьи Варвары Дмитриевны. Раз — около 1907 г.— она назначила мне свидание у памятника Пушкина в Петербурге и сказала мне: «Я сифилитичка. Посмотрите!» (И показала болячки во рту, на шее). «Я сама себе отвратительна. У моего отца (священника) был сифилис».

Что мне было делать? Я предложил ей — на этот день — забыть обо всем и пойти со мной гулять по городу. Мы пошли к Неве. Я читал ей стихи Брюсова, Белого, Блока. Она слушала с упоением. «Еще!»— говорила она, едва я прекращал свое чтение.

На следующий день она повесилась.

Как В. В. Розанов любил свою Варвару! Здесь была его святыня — эта женщина с неприятным хриплым голосом, со злыми глазами, деспотка. Ее слово было для него — закон. Меня она терпеть не могла. Не выносила, насколько я помню, и Бердяева. «Фальшивые люди!»— говорила она.

* * *

Розанов очень мало читал. «Довольно с меня того, что я написал книгу «О понимании». Книга большая: 5 рублей стоит»,— хвастал он по-детски.

В кабинете у него висел барельеф — гипсовый портрет Ник. Ник. Страхова. На столе был портрет Николая Яковлевича Данилевского. «Данилевский правильно доказал, что дарвинизм — чушь. Вот я порезал палец, и какая-то премудрая сила скрепила порез, наложила сверху струп, произвела тонкую работу под струпом, струп отпал — и от пореза ни следа — вся фактура кожи ровная, словно и не было пореза. Природа совершила ряд целесообразных поступков, клонящихся к благу индивидуума, но при чем же здесь борьба за существование? Легче верить в бога, чем в эту борьбу».

Страшно хотел, чтобы Репин написал его портрет. Репин наотрез отказался: «лицо у него красное. Он весь похож на...»

Узнав, что Репин не напишет его портрета, Розанов в «Новом времени» и в «Опавших листьях» стал нападать на него, на Наталию Борисовну и выругал мой портрет работы Репина. Но все это простодушно; при первой же встрече он сказал: «Вот какую я выкинул подлую штуку».

* * *

3.

Пишу, что вспомнилось: о Константине Набокове, полюбившем меня после моих переводов Уитмена. Тощая фигура, изможденное измятое лицо, отличный костюм от парижского портного — прие-

Страница дневника. Март 1968 г.

хал ко мне в Куоккалу из-за границы, даже не заехав к своей матушке на Сиверскую (вся Сиверская принадлежала Набоковым). Денег у меня не было. Семья большая. Весь наш обед состоял из горохового супа. Я отправлялся в лекционное турне, читать лекцию, кажется, об Оскаре Уайльде. Он сопровождал меня и в Москву, и в Вильну, и в Витебск и снова и снова слушал мою лекцию — одну и ту же. Причем останавливался в дорогих гостиницах, водил меня по дорогим ресторанам — из-за чего мои заработки сильно уменьшились. Когда мы вернулись в Москву — я по некоторым поступкам Кости понял, что он гомосексуалист, и любовь его ко мне — любовь урнинга. Он любил искусство, был очень учтив, увлекался стихами — потом я встретил его в Лондоне, он был I-ым секретарем посольства — и нашей дружбе наступил конец.

А в Питере мы очень дружили.

* * *

4.

Помню: гулял с Константином Набоковым, встретил Дымова. Дымов был дивный рассказчик — тогдашний Андроников. Зашли в подворотню, и Дымов выложил там весь свой репертуар: об Антокольском, на могиле которого энергичный оратор произнес:

— Он умер, *наконец*.

О юбилее еврейского прозаика Пружанского и т. д. Потом оказалось, что Дымов спешил в аптеку за лекарством для больного ребенка. Уезжая из Финляндии, я оставил все письма Константина Набокова ко мне у сербского посланника Ив. Ст. Шайковича[8], женатого на дочери Шишкина.

* * *

5.

Как Ахматова презирала Шкловского! Это перешло к ней по наследству от Блока, который относился к нему с брезгливостью, как к прокаженному. «Шкловский,— говорил он,— принадлежит к тому бесчисленному разряду критиков, которые, ничего не понимая в произведениях искусства, не умея отличить хорошее от плохого, предпочитают создавать об искусстве теории, схемы — ценят то или иное произведение не за его художественные качества, а за то, что оно подходит (или не подходит) к заранее придуманной ими схеме».

* * *

6.

Читаю 5-ое издание Хрестоматии по детской литературе. Сколько принудительного ассортимента: например, родоначальником детской литературы считается по распоряжению начальст-

ва Маяковский. Я прочитал его вирши «Кем быть». Все это написано левой ногой, и как неутомима была его левая нога! Какое глубокое неуважение к ребенку. Дело дошло до такого неряшества — о самолете —

В небеса, мотор, лети,
Чтоб *взамен* низин
Рядом птички пели.

Почему птички поют взамен низин? Разве низины поют? И потом, разве самолеты для того поднимаются ввысь, чтобы слушать пение птиц? И если бы даже нашелся такой летчик, что захотел бы взлететь в небеса, чтобы послушать птиц, их голос будет заглушен пропеллером. Между тем именно в низинах огромное большинство певчих птиц. И какая безграмотная фразеология. И как устарело! Этот фимиам рабочему, этот рассказ о постройке многоэтажного дома при помощи строительных *лесов*. Так как я люблю Маяковского, мне больно, что по распоряжению начальства навязывают детям самое плохое из всего, что он написал. Издательство «Просвещение» лучше бы назвать «Затемнение». В «Хрестоматии» есть много Баруздина и нет ни Майкова, ни Полонского, ни Хармса, ни Вознесенского, ни Пантелеева.

* * *

7.

Мережковский однажды изрек:

— Люди разделяются на умных, глупых и молдован. Репин — молдованин.

— И Блок тоже! — громко крикнула из другой комнаты З. Н. Гиппиус.

В ту минуту мне показалось, что я их понял.

* * *

8.

В 1968 году я написал рецензию о Копшицере. Отдал ее в «Литгазету». Там отказались напечатать.

— Это не наш профиль.

Я ответил:

— Тут виноват не ваш профиль, а профиль Копшицера.

И отправил статейку в «Литроссию».

— Хорошо,— сказал мне Поздняев,— но вы *за это* дайте нам материал о Горьком.

Я обещал. Поздняев напечатал мою рецензию[9].

Потом приехал ко мне. Я дал ему кое-какой материал и в том числе — запись Горького об антисемитизме гравера Боброва,

где говорится, что Горький выступил в защиту евреев. Поздняев взял, но этого материала *не напечатал* — «Гравюра не поддается воспроизведению»,— бесстыже заявил он мне в глаза[10].

* * *

9.

Я — Леониду Андрееву, когда он, уехав в Италию, предоставил мне жилье в своем доме:

Длиннейший изо всех Корнеев
Шлет капитану свой салют
С фрегата «Леонид Андреев»,
Где средь заброшенных кают
Нашел он отдых и уют.
и т. д.

* * *

10.

Сейчас вспомнил, что была в Одессе мадам Бухтеева (ее объявления можно найти в «Одесских новостях»). У нее было нечто вроде детского сада — и туда мама поместила меня, когда мне было лет 5—6. Там было еще 10—15 детей, не больше. Мы маршировали под музыку, рисовали картинки. Самым старшим среди нас был кучерявый, с негритянскими губами мальчишка, которого звали Володя Жаботинский. Вот когда я познакомился с будущим национальным героем Израиля — в 1888 или 1889 годах!!!

* * *

27 марта. Тоскуя от одиночества, пошел в Главный Корпус. Встретил там сладчайшего армянина, читающего моих «Современников». «Это изумрудная книга! Жаль, что Вы не написали в ней об Аветике Исаакяне».

* * *

10, а

Встретил акад. Скрябина, которому сейчас 93 года. Остались одни усы. А ведь был дюжий и бравый. Лет 30 (или 40) назад мы оба отдыхали в Кисловодске, в санатории Академии Наук (или КСУ), меня прельстила его поэтическая походка, его музыкальная фамилия. Я спросил у него, чем он занимается. Он ответил: гельмин-

тологией. Что это такое, я не знал. Думал, что-нибудь поэтическое, вроде ботаники. И попросил его выступить вечером для отдыхающих с маленьким докладом по гельминтологии (я был устроителем вечерних бесед). Собрались дамы в вечерних туалетах, вышел он походкой артиста или капельмейстера и начал поэтическим голосом:

— Рано утром, покуда детки еще спят, войдите в любую спальню детского дома и поднимите им рубашечки. Вы увидите, что у них из заднего прохода, высунув головки, выглядывают глисты...

И около часу продолжал в этом роде. А закончил весело: «В каждом из вас сидят черви. Мы все зачервлены, все до одного».

Заведующий вечерними развлечениями назывался почему-то диктатор. После того, как я на следующий вечер устроил чтение проф. Н. Н. Петрова «О раке», и он убежденно сообщил, что по крайней мере одна треть слушающих его умрет от рака,— мне пришлось передать свой диктаторский жезл другому.

* * *

11.

У Саввы Мамонтова когда-то проживал юноша Вентцель. С него Репин написал своего смертника в картине «Отказ от исповеди». Что Вентцель делал впоследствии, не знаю. Я познакомился с ним, когда он был глубоким стариком и писал в «Новом времени» стишонки под псевдонимом «Бенедикт». Сологуб жил тогда на Вас. Острове. Вентцель, глухой, снежно седой, сидел в стороне от всех и беспомощно улыбался. Ни одного звука из того, что читали Тэффи, Сологуб, Блок, Кондратьев, он не слышал и сидел среди толпы «in splendid isolation»*. Но изредка к нему подбегал кто-нибудь (чаще всего Петр Потемкин) и кричал ему в черную большую трубу, похожую на рожок, какое-нибудь слово. Это значило, что от Вентцеля требуется рифма к этому слову. Помню, Потемкин крикнул ему в трубу слово «евангелие» — старик оживился и тотчас же сообщил могильным голосом, что святой Николай был очень обижен,

Когда святого *дали ранг Илье.*

Игра в рифмы была очень распространена на сологубовских вечерах. Помню, Сологубу дали рифмы «Чернильница» и «лампа». Он тотчас же сказал, не задумываясь:

Предо мною лампа
И чернильница,
Я танцую там па,
Где родильница.

---

* «В великолепной изоляции» (*англ.*).

В «Чукоккале» он записал такую рифму на слово Африка:

Солнце жаркое палит
Кафра, кафриху и кафрика,
Бур за камушком лежит,
Это Африка.

* * *

Сестра Галя говорит «Ессентучки».

12.

Самовлюбленный Луговой. Красивый, высокий, с венчиком седеющих волос вокруг лысины — облик большого писателя. Любил сниматься — руки на груди (как у Брюсова на врубелевском портрете). Пришел к нам в нашу нищенскую квартиру (Коломенская, 11) и предложил мне издать мою книжку («так как у вас несомненно талант»). Я обрадовался: напечатать книжку это выход из нищеты. «Книжка будет с портретом».— «С каким?»— «С моим, конечно». Название книжки: «Алексей Луговой». Из-за безденежья я согласился. Поехал к нему в Лугу на неделю (главный соблазн — ежедневный обед), и он водил меня по Луге и говорил: «Вот здесь я задумал роман «Добей его!». Здесь я закончил свою повесть «Умер талант». Я увидел, что писать о нем невозможно,— разве что эпиграмму. Банален, претенциозен, не без проблесков дарования, но пуст. Свои черновые рукописи он посылал в Вашингтонскую библиотеку, не доверяя нашим русским хранилищам. Многие свои вещи предварял эпиграфами из Шопенгауэра, Эсхила, Ипполита Тэна на немецком, древнегреческом, французском языках. Когда его жена шла в гости, он писал длинные подсказки, что говорить и чего не говорить. Когда он задумывался, жена снимала обувь и ходила по комнатам в одних чулках. Каждое утро в постели он сочинял новый афоризм и вставлял его в рамочку и вешал у себя над кроватью до следующего утра. А старые афоризмы складывал как драгоценность. Была у него секретарша, извилистая, словно резиновая, с чувственным, тоже резиновым ртом. Она каталась зимой на салазках, попала в колодец, разбилась насмерть. Ее сфотографировали: она лежит на спине, мертвая, а он стоит в позе мудреца — глядит на нее и размышляет о таинстве смерти. Вскоре после кончины Лугового его вдове попались в потаенном ящике любовные письма этой резиновой девушки к Луговому. Вдова возненавидела его: «Я из-за него сделала себе девять абортов, а он, подлец»,— говорила она мне. Она дружила с мадам Маркс, женой издателя «Нивы», звала ее Лидушей. На Маркса такое впечатление произвела наружность Лугового, что он под влиянием Лидуши купил у Лугового его претенциозные сочинения за 65 тыс. рублей. Луговой был обижен — меньше, чем Чехову! Вообще он был непоколебимо уверен в своей гениальности.

Страстная мечта жгла его — попасть в академики. Поэтому он ухаживал за Боборыкиным — и в бытность свою редактором «Нивы» дал бесплатным приложением его Собрание сочинений. Подписка на «Ниву» мгновенно упала. Единственное, что было в нем для меня интересно — знакомство его с Влад. Соловьевым. Вл. Соловьев переписывался с ним, дарил ему свои стихи.

Претенциозное самомнение Лугового сыграло с ним злую шутку. Он вообразил, что он может написать трагедию о баварско-мексиканском Максимилиане, в которой будет около 25 действий и около 1000 действующих лиц. Трагедия была написана корявыми стихами — и окончательно сгубила его репутацию. Он послал ее в «Русское Богатство» и получил отрицательный отзыв от Короленко. Ну уж и отделал он Владимира Галактионовича в ответном письме!!!

* * *

13.

У Ольги Николаевны Чюминой каждую среду бывали мы с Марьей Борисовной, Поликсена Соловьева, Зинаида Венгерова. Иногда Мизинова, молчаливая, полная дама с мужем (Саниным). Ни разу я не слышал от нее ни одного слова о Чехове.

* * *

6 апреля. Читаю Бунина «Освобождение Толстого»[11]. Один злой человек, догадавшийся, что доброта высшее благо, пишет о другом злом человеке, безумно жаждавшем источать из себя доброту. Толстой был до помрачения вспыльчив, честолюбив, самолюбив, заносчив, Бунин — завистлив, обидчив, злопамятен.

14.

Несколько воспоминаний из очень далекого прошлого.

Огромный зал, наполненный толпою. Человек семьсот, а пожалуй, и больше. Студенты с огневыми глазами и множество наэлектризованных дам.

Все томятся страстным ожиданием. Наготове тысячи ладоней, чтобы грянуть аплодисментами, чуть только на сцене появится *он*.

«Он»— это Семен Юшкевич, любимый писатель, автор сердцещипательного «Леона Дрея» и других столь же бурных творений, которые не то чтобы очень талантливы, но насыщены горячей тематикой. Знаменитым он стал с той поры, как его повести, рассказы и очерки стали печататься в горьковских сборниках «Знание», рядом с Горьким, Куприным и Леонидом Андреевым.

Сейчас он, постоянный обитатель Одессы, появится здесь,

перед киевской публикой и самолично прочтет свой только что написанный рассказ.

Но почему он запаздывает? Прошло уже десять минут, а сцена, где стоит пунцовое кресло и столик с графином воды, все еще остается пустая.

Вот и четверть часа, а Юшкевича все еще нет.

Вместо него на эстраде возникает какой-то растерянный, дрожащий, щеголевато одетый юнец и голосом, похожим на рыдание, сообщает об ужасной катастрофе: любимый писатель прислал телеграмму, что из-за внезапной простуды он не может сегодня порадовать Киев своим драгоценным присутствием.

В зале раздается общий стон. Вздохи разочарования и скорби.

Когда они немного затихают, незнакомец торопится утешить толпу:

— В этом зале присутствует другой беллетрист, тоже участвующий в сборниках «Знание»,— Иван Алексеевич Бунин, который любезно согласился выступить здесь перед вами с чтением своих произведений.

Публика угрюмо молчит. Юноша завершает свою грустную речь неожиданно бодрым басом:

— Желающие могут получить свои деньги обратно.

Желающих оказывается великое множество. Все, молодые и старые, словно в зале случился пожар,— давя и толкая друг друга, кидаются безоглядно к дверям. Каждый жаждет получить поскорее свои рубли и копейки, покуда не закроется касса.

В это время на сцене появляется Бунин с неподвижным, обиженным и гордым лицом. Не подходя к столику, он останавливается у левого края и долго ждет, когда кончится постыдное бегство ошалелой толпы.

Оставшиеся в зале — человек полтораста — шумно устремляются к передним местам.

Бунин продолжает стоять все в той же застывшей позе — бледный, худой и надменный.

Начинает он со своего стихотворения «Пугало». Это единственное его стихотворение на гражданскую тему: прогнившее самодержавие изображается здесь в виде жалкого огородного чучела:

На за́дворках за ригами
Богатых мужиков
Стоит оно, родимое,
Одиннадцать веков.

Но иносказания не понимает никто. «Одиннадцать веков», эта точная дата возникновения абсолютизма в России осталась никем не замеченной. Всем кажется, что Бунин и вправду намерен подробно описать деревенское чучело. Человек семьдесят — из тех, что хотели остаться — срываются с мест и устремляются, сломя голову, к выходу.

— Ээ! Природа и погода! — с презрением резюмирует поэзию Бунина один из пробегающих мимо, тучный, мордастый мужчина, увлекая за собою двух кислолицых девиц. Вот и еще дезертиры, а за ними еще и еще. В зале остается ничтожная кучка. Сгрудившись у самой рампы в двух-трех шагах от оскорбленного Бунина, мы хлопаем неистово в ладоши, чтобы хоть отчасти вознаградить его за то унижение, которое он сейчас испытал.

Но он смотрит на нас ледяными глазами и читает свои стихи отчужденным, сухим, неприязненным голосом, словно затем, чтобы мы не подумали, будто он придает хоть малейшую цену нашей преувеличенно-пылкой любви.

Кончилось тем, что какой-то желторотый студент, желая блеснуть своим знанием поэзии Бунина, обратился к нему с громкой просьбой, чтобы он прочитал: «Каменщик, каменщик в фартуке белом», не догадываясь, что это стихотворение Брюсова.

То было новой обидой для Бунина. Он даже не взглянул на обидчика и горделивою поступью удалился со сцены.

Происходило это, насколько я помню, в так называемом Коммерческом клубе. Я встретился с Буниным у входа, и мы пошли по киевским переулкам и улицам.

О том, что случилось сейчас, мы не говорили ни слова, но было ясно, что обида, которую ему нанесли, отразилась на его тогдашнем настроении. Он с первых же слов стал хулить своих литературных собратьев: и Леонида Андреева, и Федора Сологуба, и Мережковского, и Бальмонта, и Блока, и Брюсова, и того же злополучного Семена Юшкевича, из-за которого ему пришлось пережить несколько неприятных минут.

Говорил он без всякой запальчивости, ровным, скучающим голосом, но видно было, что мысли, которые он излагает,— застарелые, привычные мысли, высказывавшиеся им тысячу раз.

Я любил его произведения, понимал, что он имеет право считать себя непонятым, недооцененным писателем, но его недобрые отзывы казались мне глубоко ошибочными. Он говорил о писателях так, словно все они, ради успешной карьеры, кривляются на потеху толпы. Леонида Андреева, который в то время был своего рода властителем дум, он сравнивал с громыхающей бочкой — и вменял ему в вину полнейшее незнание русской жизни, склонность к дешевой риторике. Бальмонта трактовал как пошляка-болтуна, Брюсова — как совершенную бездарность, морочившую простаков своей мнимой ученостью. И так дальше, и так дальше. Все это были в его глазах узурпаторы его собственной славы.

В ту ночь, слушая его монолог, я понял, как больно ему жить в литературе, где он ощущает себя единственным праведником, очутившимся среди преуспевающих грешников.

Ему, сознающему себя талантливее и выше их всех, оставалось одно: относиться к ним с высокомерной брезгливостью. Особенно поразили меня его язвительные отзывы о Горьком. «Утро в Куоккале,— рассказывал он.— На дачной террасе кипит самовар. Горький

сходит вниз раньше всех и нетерпеливыми пальцами разворачивает свежие газеты. В каждой газете говорится о нем. Он ухмыляется. Проходит полчаса. Он откладывает газеты в сторону. К чаю спускаются дамы — и тоже первым делом за газеты.— Алексей Максимович, здесь репортажная заметка о вас, а здесь целый подвал о вашей книге.

Горький с деланным равнодушием:

— А мне неинтересно».

Я принял все это за чистую монету и не догадался спросить, откуда же мог Бунин узнать, что делал Горький у себя на террасе один без посторонних свидетелей.

С Горьким и Леонидом Андреевым Бунин все еще поддерживал отношения дружеские.

Нельзя сказать, чтобы он был непризнанным автором. Истинные ценители литературы, ее верховные судьи, Чехов и Горький, уже по ранним стихам и рассказам высоко оценили его дарование. Академия наук почтила его званием академика. Но публика, читательская масса долго оставалась к нему равнодушна.

Мне вспоминаются несколько отрывочных фактов.

Самое древнее воспоминание такое:

Гостиница «Метрополь». Москва. В двух крайних номерах ютятся редакции и контора декадентского издательства «Скорпион» и молодого журнала «Весы». Валерий Брюсов, глава и руководитель издательства, только что уехал — на конке — домой. Издатель «Скорпиона» скромнейший и тишайший миллионер Сергей Александрович Поляков со своей милой, виноватой улыбкой угощает нас чаем,— меня, Андрея Белого, Бальтрушайтиса и каких-то норвежских гостей. Уже подали два подноса с двумя пузатыми московскими чайниками. Уже поставили на стол две бутылки кагора. Но стулья заняты почетными гостями, а нам приходится садиться на какие-то пачки истерханных книг, перевязанных крепкой бечевкой. Что за книги, полюбопытствовал я. Оказалось: Ив. Бунин. «Листопад». Этот первый сборник бунинских стихов издал «Скорпион», и сборник лег на складе мертвым грузом. Покупателей на него не нашлось. Всякий раз, приходя в издательство, я видел эти запыленные пачки, служащие посетителям мебелью. Они оставались там несколько лет, и в конце концов издательство объявило в своих анонсах, прилагаемых к журналу «Весы»:

«Иван Бунин. «Листопад» вместо рубля 60 копеек».

И тут же:

«Валерий Брюсов. «Urbi et Orbi»* распродано».

---

* «Городу и миру» (*лат.*).

Каково было Бунину читать эти строки при его презрительном отношении к Брюсову?

И еще одно воспоминание — более позднее. Финляндский вокзал в Петербурге. Лето, жара, духота. Из поезда выходят Леонид Андреев и Бунин. Публика сошла с ума от радости: «Андреев, Андреев, Андреев!» Толкая друг друга, разгоряченные, потные, все ринулись поглядеть на сверх-знаменитого автора «Бездны».

— А кто это с ним рядом?.. вот тот... худощавый.

— Бунин! — говорю я как можно внушительнее.

Но все по-прежнему лепечут молитвенно:

— «Андреев... Андреев... Андреев».

Вряд ли все это доставляло удовольствие Бунину: он считал себя на тысячу голов выше Андреева.

Как-то ночью, направляясь из Петербурга в Куоккалу, я увидел их обоих в вагоне той же Финляндской железной дороги. Они ехали дальше, чем я,— до станции Райвола. Оба были пьяны, но Бунин казался гораздо трезвее Андреева, который, как и все очень добрые люди, был во хмелю говорлив, наклонен к слезам и лиричен. Он обнимал Бунина и признавался ему в нежнейшей любви. И тут же засыпал — на минуту. А Бунин вырывал у него из бороды волоски и говорил, усмехаясь:

— Я пошлю по волоску твоим поклонницам!

Помню, как тревожилась простодушная Анастасия Николаевна, мать Леонида Андреева, когда в Финляндию, в Ваммельсуу, приезжал Бунин и они оба отправлялись кутить в Петербург.

— Опять он споит Леонида.

Конечно, Бунин не ставил себе этой задачи. Да и не требовалось особых усилий, чтобы споить Леонида Андреева, так как Андреев в те годы пьянел после третьей рюмки.

И еще воспоминание. Москва. Репин в гостях у Марии Николаевны Муромцевой, популярной в свое время певицы.

Комнаты полны знаменитостями. Репин, Коровин, Шаляпин и в углу незаметный Бунин. Я подсел к нему, и он с неожиданной задушевностью в голосе стал говорить о Репине: какой это чудесный художник. Особенно восхищался портретами Писемского, Мусоргского, Фофанова и картиной «Не ждали».

Меня это не удивило: в те дни он несколько раз с чувством восхищения и нежности говорил о картинах Репина.

Я напомнил ему, что на передвижной выставке, где была картина Репина «Какой простор!», он громко порицал эту картину.

Он ответил:

— Да, эта картина ниже дарования Репина. Но заметили вы, какая там чудесная волна, прянувшая из-под мартовской льдины... Живая волна, замечательно схваченная.

Увлеченный разговором, я не заметил, что комната давно опустела. Все ушли в столовую, где, очевидно, происходило что-то очень смешное, потому что оттуда не раз доносились взрывы веселого женского визга.

Наконец все вернулись в гостиную. Николай Дмитриевич Ермаков, мой петербургский знакомый, пришедший сюда вместе с Репиным, подошел ко мне и с упреком сказал:

— Эх вы! Проворонили такое наслаждение! Сейчас Федор Иванович (Шаляпин) рассказывал дьявольски смешные истории, а вы целый час просидели с этим... Подмаксимкой.

Бунин в то время уже написал свои лучшие вещи, но обыватели все еще по привычке считали его Подмаксимкой, то есть одним из слабоватых писателей, пытающихся благодаря своей близости к Горькому придать себе вес и значение.

Это дико, это безумно, это кажется почти невероятным, но таковы были факты. Повторяю, Бунин имел свою долю успеха, его не замалчивали, о нем печатались хвалебные рецензии — но если сравнить, например, те Эльбрусы статей, которые вызывало каждое новое произведение Горького, а впоследствии — Леонида Андреева, с количеством критических откликов, посвященных произведениям Бунина, это количество покажется микроскопически малым. Хотя впоследствии он отзывался о символистах с гадливой насмешливостью, он в свое время сделал скрепя сердце попытку примкнуть к их лагерю и сблизиться с ними, потом примкнул к сборникам «Знания», в которых, судя по его позднейшим высказываниям, тоже чувствовал себя чужаком. Никаких звонких лозунгов он с собой не принес, никуда не звал, ничему не учил, правда, он обладал светлым поэтическим ощущением жизни, изощренным мастерством новеллиста, самобытным и тонким стилем, но это совсем не те качества, которые ценились в то время широкой читательской массой.

И конечно, он был бы святым, если бы не чувствовал затаенной вражды к более счастливым соперникам. Их всероссийская слава, по искреннему его убеждению, досталась им слишком уж дешево — за произведения более низкого качества, чем те, какие созданы им. Но святым он не был, и потому можно представить себе, сколько долгих и тяжких обид должен был испытывать он изо дня в день, видя шумные триумфы Валерия Брюсова, Леонида Андреева, не говоря уже о небывалой фантастической славе Горького.

Хуже всего было то, что он должен был скрывать свои высокомерные чувства, должен был постоянно якшаться с теми, кого презирал, водить с ними многолетнюю дружбу, писать им теплые

участливые письма (о которых впоследствии и сам заявил, что они часто бывали неискренними, то есть скрывали его неприязненное отношение к тем, кто считали его своим другом)[12].

Когда в позднейших его мемуарах читаешь желчные отзывы о тех писателях, с которыми он водился в дореволюционное время, понимаешь, как мучительно было ему, считавшему себя великаном, жить среди тех, кого он считал чуть не карликами.

Читая воспоминания Бунина, представляешь себе, что он был резкий, колючий, насмешливый, строго принципиальный человек, бесстрашно вступивший в борьбу с бездарностью, пошлостью, лживостью литературных направлений и школ, процветавших в его эпоху.

На самом деле он держался по-приятельски и с Чириковым, и с Найденовым, и с Максом Волошиным, и (в первое время) с Валерием Брюсовым. Я видел, как кротко беседовал он с Петром Семеновичем Коганом, с критиком Тальниковым, с критиком Евгением Ляцким.

* * *

Очень удивили меня его мемуарные заметки о Репине. В них он сообщает, что Репин жаждал написать его портрет и что, уступая настоятельным просьбам художника, он приехал к нему в Куоккалу в назначенный день. Но в мастерской, где работал Репин, стоял лютый холод, все окна были распахнуты в зимнюю стужу, и Бунину пришлось поспешно убежать из Пенатов к немалому огорчению Репина[13].

Когда это произошло, неизвестно. Бунин не указывает даты. Может быть, в самом начале двадцатого века, когда я еще не жил в Куоккале и не был знаком с Ильей Ефимовичем. А в более поздние времена дело было как раз наоборот. Бунин очень добивался того, чтобы Репин написал его портрет, но, к сожалению, потерпел неудачу. Все это происходило у меня на глазах, и мне хочется поделиться своим недоумением с читателем.

Раньше всего мне вспоминается 1914 год, когда какой-то безумец порезал картину Репина «Иван Грозный и сын»[14]. Репин приехал в Москву. Остановился в гостинице «Княжий двор» на Волхонке. Здесь его посетила делегация именитых москвичей, депутат Государственной Думы Ледницкий, Бунин, Шаляпин и еще кто-то, кажется, художник Коровин, и от имени Москвы трогательно просили у Репина прощения за то, что Москва не уберегла его картины. Репин благодарил, главным образом Шаляпина. И тогда же сказал Федору Ивановичу: «Я жажду написать ваш портрет!» А Бунину, стоявшему рядом, он не сказал этих слов. Потом в ресторане, кажется в Праге, состоялся банкет в честь Репина, где произносились горячие речи. Бунинская речь была дифирамбом в честь Репина. Репин благодарил его в своем обычном гиперболическом стиле, но ни слова не сказал о желании написать его портрет.

Страница из журнала «Нива». Банкет в честь И. Е. Репина в гостинице «Княжий двор». Среди присутствующих (слева): М. Б. Чуковская, И. А. Бунин, Ф. И. Шаляпин; (справа): И. Е. Репин, К. И. Чуковский



лично выразить ему свое сочувствие. 28 октября въ гостиницѣ «Княжій Дворъ», гдѣ остановился И. Е. Рѣпинъ, тѣсный кружокъ друзей и почитателей чествовалъ его. Былъ прочитанъ адресъ, покрытый безчисленными подписями. Вечеромъ въ ресторанѣ «Прага» тѣ же друзья и почитатели художника устроили ему банкетъ

С. С. Мамонтовъ и около него художникъ В. В. Переплетчиковъ. Слѣва вверху сидятъ художникъ К. А. Коровинъ, проф. мед. А. Р. Ледницкій, Ѳ. И. Шаляпинъ, артисты А. І. Южинъ, писатель И. А. Бунинъ и др.

Потом (или раньше, не помню) Репин посетил Третьяковскую галерею, смотрел реставрированного «Ивана». С ним вместе пришли Шаляпин и Бунин, и Репин снова повторил Шаляпину, что хочет написать его портрет. Мы возвращались с ним из Москвы в Петербург, он всю дорогу восхищался Шаляпиным, называл его вельможей Екатерины и тут же в вагоне у меня на глазах набросал карандашный эскиз будущего шаляпинского портрета.

Зная, как Бунин мечтает о том, чтобы Репин написал его портрет, я, когда мы вернулись в Куоккалу, читал Репину лучшие очерки, рассказы и стихотворения Бунина. Репин одобрял и стихи и рассказы, но не выразил никакого желания запечатлеть его черты на холсте. Когда Бунин ([в оригинале пропуск.— *Е. Ч.*] числа) приехал к нему в Пенаты, Репин не принял его*,— и Бунину пришлось придти ко мне. Хотя тесные комнаты моей маленькой дачи были даже слишком натоплены, он не снял своей роскошной шубы, утверждая, что в доме у меня страшный холод, выбранил климат Финляндии, потом ушел огорченный на станцию. Я проводил его к поезду, и этим, по-моему, кончились все его отношения с Репиным.

Все это совсем не похоже на то, что написано в его воспоминаниях. Конечно, я не сомневаюсь в правдивости Бунина, но должен сказать, что, бывая в мастерской Репина почти ежедневно с 1909 года по 1917, я ни разу не страдал там от холода, о котором повествует Бунин. У Репина были ученики Фюк и Комашко, которые отапливали мастерскую до 15—20 градусов по Цельсию. Репин любил свежий воздух, спал в меховом мешке под открытым небом на балконе, но (по крайней мере в мое время) писал он всегда в тепле.

15.

Куприн любил всякие practical jokes («розыгрыши»). Однажды в Одессе я после ночи, проведенной в море с рыбаками, пришел к нашему общему приятелю Антону Богомольцу и, растянувшись на трех стульях, заснул. Куприн взял ножницы и проделал какие-то проплешины в моих густых волосах. Когда я проснулся, я увидел, что шевелюра моя безнадежно испорчена. Куприн оправдывался: «Сегодня тезоименитство государыни императрицы Александры Федоровны. Я из патриотических чувств мечтал где-нибудь запечатлеть букву А. Увидел, что вы крепко заснули, и выстриг эту букву у вас в волосах».

16.

Нужно подробнее написать, как я пришел в Москве к Бунину — поздравить с тем, что его избрали академиком. Как он в очках раз-

---

* Возможно, что Репин был в то время в отлучке. Этого я точно не помню.— *Примеч. автора.*

бирал какие-то карточки — с матерными словами разных губерний. Илья Толстой.— Шаляпин.

17.

Михаил Константинович Лемке. Я познакомился с ним у Ляцкого (в доме Пыпиных). Было в нем что-то воловье. Работоспособность колоссальная. Его книги о полицейской политике Александра II, погубившей Михайлова, Чернышевского и др., доставили ему великую славу в 1904—1905 годах. Он первый вскрыл жандармские архивы того времени — и очень ловко использовал свои находки — писал залихватски, эффектно, в духе бульварных романов, но виден был ум дубоватый, узкий, элементарный. Стоило посмотреть на его приземистую фигуру, на его квадратный лоб, над которым волосы торчали ежиком, чтобы убедиться, что он ограниченный человек,— сильный своей ограниченностью. Вся его работа над Герценом обнаружила его колоссальную работоспособность и полную неспособность понять Герцена. В его натуре не было ни грамма артистичности, и одной работоспособности здесь оказалось мало. Позднейшее академическое издание Герцена обнаружило промахи и провалы в его комментариях к Герцену. Герцен насыщал свои писания французскими, немецкими, английскими каламбурами. Ни одного из этих языков Лемке не знал. Отсюда его позорные «междуфилейная часть» (entrefilet)* и выставка кукол (of babies).

Наряду с воловьими качествами в нем странным образом уживались лисьи. В этом я убедился, наблюдая его в репинских Пенатах. Так как он заведывал типографией М. М. Стасюлевича (втершись в доверие к его жене Любови Исааковне (урожд. Утиной), он принял к напечатанию книгу Нордман-Северовой и на этой почве жаждал сблизиться с Репиным. Мечтал о том, чтобы Репин написал его портрет, и всячески егозил передо мной, думая, что портрет зависит отчасти от меня.

Не было таких льстивых эпитетов, которыми он не награждал бы меня, мои статьи. Любови Исааковне Стасюлевич он угодил тем, что, отбросив всякие радикальные идеи, став на время праведным либералом, издал пять томов корреспонденции ее покойного мужа. Лисьи способности Лемке сказались во время войны, когда он попал в Ставку царя и очутился среди генералитета. Есть его пухлая книга о Ставке[15].

Отношения наши были дружеские. Приходя к нему, я всегда заставал его за работой. В комнате у него стоял сейф с рукописями Герцена, сейф этот был очень внушителен. Он охотно показывал мне эти рукописи, вообще был радушен и любезен. Но вот в одном из томов Герцена он опубликовал найденное им где-то письмо

---

* На самом деле — типографский термин, обозначающий вступление, послесловие или комментарий к основному тексту (*франц.*).

Некрасова к Герцену, приписал ему фальшивую дату и сделал из этого письма чудовищные выводы. Я отнесся к его ошибкам юмористически и указал на них в печати в своей статье «Жена поэта». В 1919 году, едва написав эту статью, я читал ее в Доме Искусств. Присутствовал Лемке. Когда я стал доказывать, что он не понял найденного им письма, он порывисто сорвался с места — и, бормоча ругательства, демонстративно покинул зал[16].

В это время — или несколько позже — в Ленинграде стал издаваться журнал «Литература и революция», или что-то в этом роде. Там Лемке был заправилой. Первым долгом он напечатал статейку против моего «Крокодила», где прямо было сказано, что, кроме гонорара, полученного мною, никакой никому пользы «Крокодил» не принес. Таким образом Лемке явился первым в ряду тех мракобесов, которые составили целую фалангу исступленных врагов моего детского творчества. Здесь же, рядом, чуть ли не в том же номере журнала, Лемке (под псевдонимом Маврин) ополчился против моих некрасоведческих работ. Здесь он был во многом прав, но кипящая в нем злоба — личная злоба, порожденная обидой, чувствуется в каждой строке[17]. Чтобы окончательно посрамить меня как некрасоведа, Лемке заявил, не совсем грамотно, что найденная мною рукопись Некрасова, которую я условно назвал «Каменное сердце», есть только малая часть того текста, который известен ему весь целиком. Этот текст будто бы называется «Как я велик!» и издан на правах рукописи в Перми. Всё это, конечно, очень странно: зная огромный интерес к Достоевскому и Некрасову, нельзя не удивляться тому, что в необъятной литературе, посвященной обоим писателям, эта публикация осталась никому, кроме Лемке, неизвестна. А если она каким-то чудом стала доступна ему одному, почему он не обнародовал ее, почему не сообщил о ее существовании (если не мог обнародовать). Почему он ждал, чтобы я нашел одну главу этой повести — и лишь тогда выступил с сенсационным известием. По его словам, эта книжка была у него в руках недолго. Но все же была. Значит, он знает, кто владелец этой книжки. Почему он скрыл его имя?! Почему не убедил владельца, что напечатание никому неизвестной повести Некрасова о Достоевском несет ему и прибыль и почет. Что заставляет этого владельца вот уже 40 лет прятать от читателей свое сокровище? Не то ли, что «Как я велик!»— фальшивка, неумелая подделка подлинного текста? Не то ли, что «Как я велик!» не имеет ничего общего с некрасовской темой? Если бы Лемке привел хоть три строчки из пермской книги, если бы он хоть в общих чертах сообщил о содержании тех глав, которые не найдены мною. Тем не менее милый и простодушный С. Шестериков заявил в № 49—50 «Литературного наследства», что в виду высокого (?!) научного авторитета Мих. Лемке мы должны считать, что находка Чуковского не имеет ни малейшей цены по сравнению с находкой Лемке, хотя Чуковский опубликовал и прокомментировал подлинную некрасовскую рукопись, а Лемке лишь сообщил заглавие какой-то

неведомой книги, из коей он не мог привести ни единой строки[18].

Со стороны все это представляется мне очень забавным. Предположим, что я нашел всего гривенник, но Шестериков, не найдя ни копейки, вместо того, чтобы поблагодарить меня за этот гривенник, сердится на меня, зачем я не нашел рубля, хотя рубль чрезвычайно сомнительный, может быть даже фальшивый.

18.

Николай Ив. Кульбин был кроткий, учтивый человек, любивший говорить всем приятное. Когда я познакомился с ним, ему было лет 50. Он был старше всех других футуристов. Лысина, лучистые морщины. Служил в каком-то медицинском департаменте — и дослужился до генерала. Летом жил в Куоккале неподалеку от нас. Неплохо рисовал — главным образом портреты. При всей своей тихости в душе был бунтарь. Недаром примкнул к футуристам, выступал вместе с ними в их шутовских маскарадах. Едва прослышав об американских нюдистах стал выходить на куоккальский пляж нагишом в генеральской фуражке. Это вызывало скандалы. Тогда он стал надевать на свое волосатое тело легкие полупрозрачные трусы — и однажды явился в таком виде к нам на дачу. Пройдя пляжем около версты, подошел к Марии Борисовне и учтиво поцеловал ей руку. Мария Борисовна глянула на него:

— Ступайте вон! Безобразие! — закричала она.

Он вежливо приподнял фуражку и с достоинством удалился.

Я возил его к Леониду Андрееву — он нарисовал Леонида Николаевича — очень похоже.

19.

Подвыпивший Бальмонт шел ночью по Лондону. У лондонских полицейских был обычай проверять пьяных при помощи дубинки. Если от легкого удара дубинки пьяный не свалится на землю, он может продолжать путь, а свалится — его забирают в участок. Бальмонт не свалился и под утро пришел в бординг хауз весь в синяках. (Рассказано И. В. Шкловским-Дioneo.)

20.

Пародия Бунина на Бальмонта:

Собака я, когда с собакою,
Я с лесом лес, со зноем зной,
Я Титикака с Титикакою,
Но я не муж, когда с женой.

21.

Бунин в 9 томе говорит в «Письме в редакцию «Последних новостей»:

«Я стоял... раздетый, разутый,— он сорвал с меня даже носки,— весь дрожал и стучал зубами от холода и дувшего в дверь сквозняка...» (333).

В статье: «Репин»:

«...жестокий мороз... в доме — все окна настежь. Репин... ведет в свою мастерскую, где тоже мороз, как на дворе... Я... пустился со всех ног на вокзал...» (379—380).

В «Джером-Джероме»:

«В английских столовых с одной стороны камин, с другой «полярный холод». «Милые хозяева вдруг распахнули все окна настежь, невзирая на то, что за ними валил снег. Я шутя закричал от страха и кинулся по лестнице спасаться...» (381).

Он был очень зябкий и даже у меня на даче в жарко натопленной комнате не снял шубы. Говорил: я путешествую в южные страны, а в России — только в международных вагонах, потому что окна там наглухо закрыты.

22.

Кусок воспоминаний, вырванный из потемок забвения.

Я — в «Лоскутной гостинице», которая запомнилась мне только тем, что в ней перила были обмотаны красным бархатом. В номере Федоров, Бунин и Ал. Круглов. Пьяны. Федоров:

— У меня чахотка.

Б.— Никакой чахотки у тебя нет.

Ф.— Говорю тебе, у меня чахотка!

Б.— Ты совершенно здоров.

Ф. (обиженно): Я здоров?

Б. (дразня): Здоров, здоров.

Ф. (в ярости бросается на Б.): Говорю тебе: у меня туберкулез, ту-бер-ку-лез.

* * *

ЗАВЕЩАНИЕ

Гонорар за все мои детские книги: Серебряный герб, Солнечная, Джек Покоритель великанов, Мойдодыр, Крокодил, Бибигон и за альманах «Чукоккала» завещаю моей внучке Елене Цезаревне Чуковской.

Гонорар за все мои книги для взрослых: «Современники», «От двух до пяти», «Мастерство Некрасова», «Книга об Ал. Блоке», «Живой как жизнь», «Высокое искусство», «Уолт Уитмен», «Люди и книги» и др. завещаю дочери моей Лидии Корнеевне Чуковской.

Все русские книги, составляющие мою библиотеку, завещаю Библиотеке Дома Литераторов.

Все иностр. книги — Б-ке Иностр. Литературы.

Лиде — все деньги за исключением тех, которые я выделил

для Татьяны Макс. Литвиновой, для Кларочки, для Мариан[ны] Шаскольской, и вся мебель, которую Лида захочет взять для себя или раздать близким. За исключением секретера, который я завещаю Марине.

Из той суммы, которую я оставляю Лиде, я прошу ее выделять ежемесячно Евгению Борисовичу Чуковскому. И если возможно по мере сил — поддерживать денежно библиотеку для детей, построенную мною.

На могиле расчистить деревья и поставить две плиты — надо мною такую же, как над Марией Борисовной.

Все книги, относящиеся к Некрасову,— Некрасовскому Музею в Ленинграде.

14 апреля. 93 бокс Инфекционного корпуса. Сейчас ушла Марианна Петровна. 37,2.

История моего портрета, написанного Репиным. Репин всегда писал сразу несколько картин. Я позировал ему для двух: для «Черноморской вольницы» и для «Дуэли». Раздевался до пояса и лежал на ковре, в качестве раненого дуэлянта. В 1910 году он предложил мне позировать ему для портрета. Портрет удался. Репин подарил его мне. Но в Риме в 1912 году открылась выставка — и Репин попросил у меня разрешения отправить на выставку мой портрет. Портрет был послан. Через месяц Илья Ефимович приходит смущенный и сообщает, что портрет купили какие-то Цейтлины. «Произошла ошибка,— пояснил он.— Я застраховал портрет за определенную очень малую сумму, а администрация выставки вообразила, что это *цена* портрета, продала ваш портрет по дешевке». Я был огорчен. Репин, утешая меня, обещал, что напишет с меня новый портрет. В 1916 году я был в Париже — с Ал. Толстым, Вл. Набоковым и Вас. Немировичем-Данченко. К нам в гостиницу явился сладкоречивый г. Цейтлин и от имени своей супруги пригласил нас к ним на обед. Мы пришли. Цейтлины оказались просвещенными, гостеприимными людьми, понаторелыми в светском радушии. После десерта мадам Цейтлин порывисто схватила меня за руку и повела в одну из дальних комнат. Там я увидел портреты ее детей, написанные Бакстом, и мой портрет, написанный Репиным. Я сказал, что этот портрет подарен мне художником, что они заплатили лишь сумму страховки, что я готов уплатить им эту сумму немедленно. Порывистая мадам уже хотела было распорядиться, чтобы принесли лестницу и сняли портрет со стены, но ее муж, войдя в комнату, воспротивился: «Куда в военное время вы повезете портрет? Ведь вам ехать в Питер Балтийским морем, через Скандинавию, портрет может утонуть, достаться немцам... Вот кончится война, и мы привезем вам портрет». Война кончилась большевиками, ленинскими декретами — все же Цейтлины воротились в Москву. В записках Крандиевской (жены Ал. Толстого) есть повествование о том, как Цейтлины, у коих было конфисковано все имущество, пробирались вместе с Толстыми

в Одессу. Мой портрет, конфискованный у Цейтлиных, очутился в Третьяковке. Там он был повешен в зале, где портрет Павлова (работы Нестерова). Но висел не более месяца. Пришло какое-то начальство, удивилось:

— Почему Чуковский? Отчего Чуковский?

Портрет убрали в подвал. Когда я снова приехал в Москву, я увидел его в витрине магазина «Торгсин».

— Охотно продадим, но только за валюту, за золото.

Я ушел, а через месяц узнал, что портрет увезен в Америку. Это было, должно быть, в 1933 году. Через год я снова приехал в Москву, остановился в «Национале». Прихожу как-то вечером в вестибюль гостиницы, портье громко называет мое имя и дает мне письмо. Стоявшая рядом дама сказала певуче с удивлением:

— Are you really Mr. Chukovsky?*

Мы разговорились. Она сказала мне, что репинский портрет куплен ее мужем, находится (кажется) в Иллинойсе. Я объяснил ей, что портрет — моя фамильная собственность, что я прошу их продать мне этот портрет за советские деньги. Она обещала поговорить об этом с мужем. Муж работал в Амторге, и советская валюта представляла для него ценность. Условились, что он привезет репинский портрет из Иллинойса, а я уплачу ему стоимость портрета советскими червонцами. Так как американка (кажется, Mrs. Edward, или что-то в этом роде) тоже жила в «Национале», я каждое утро приходил к ней пить кофе, и мы близко познакомились. Потом она уехала к мужу — и долго не возвращалась.

Наступил год сталинского террора — 1937-й. Отечественные хунвейбины распоясались. Шло поголовное уничтожение интеллигенции. Среди моих близких были бессмысленно арестованы писатели, переводчики, физики, художники, артисты. Каждую ночь я ждал своей очереди.

И вот как раз в это время приходит ко мне посыльный, на фуражке которого вышито: «Astoria» (из гостиницы «Астория»), вручает мне письмо и пакет. Я разворачиваю пакет: там томики Уолта Уитмена, O'Henry, чулки, карандаши и еще что-то. Я даже не взглянул на конверт, не попытался узнать, от кого посылка, а завернул все вещи в тот же пакет, в каком они были, и отдал рассыльному вместе с нераспечатанным письмом. «Вот... вот... вот... я не читал... не смотрел... возьмите и несите назад»,— бормотал я в отчаянии, ибо всякая встреча *любого* гражданина с иностранцем сразу же в глазах хунвейбинов превращала этого гражданина в шпиона. Хунвейбины и представить себе не могли, что есть хоть один интеллигент не шпион. Я почему-то вообразил, что письмо и подарки прислали мне «Эдварды» и что в письме было сообщение о прибытии моего портрета в Ленинград. Я думал, что портрет навеки исчез с моего горизонта. Но нет! Уже в 50-х годах я познакомился в Барвихе с нашим израильским послом, и он сказал мне, что часто

* Неужели вы действительно м-р Чуковский? *(англ.)*

бывал в Иерусалиме у тамошнего богача Шеровера и любовался репинским портретом. Я, конечно, сейчас же позабыл фамилию богача, но позднее, вступив в переписку с жительницей Иерусалима Рахилью Марголиной, очень милой женщиной, сообщил ей о своем портрете. Она установила при помощи радио, что портрет находится у г. Шеровера, большого друга СССР. Я вступаю с Шеровером в переписку. Он сообщил, что после его смерти портрет отойдет по завещанию Третьяковской галерее — и любезно прислал мне фотоснимок с этого портрета. ⟨...⟩ В 1968 году он посетил меня — типичный американский коммерсант[19].

* * *

Федору Кузьмичу Сологубу даже в старости была свойственна игривость. Почему-то он всегда носил туфли с очень несолидными бантиками и, сидя, очень легкомысленно подрыгивал ножкой.

— Какое самое плохое стихотворение Пушкина? — спросил он меня однажды, сидя в проходной комнате Евдокии Петровны Струковой.

Я куда-то спешил и не задумываясь ответил:

Одна заря сменить другую
Спешит, дав ночи полчаса.

Это очень расплывчато и расхлябано,— сказал я.— Неясно даже, в каком падеже «ночи» (дав *чего?* или *чему?*). И кроме того с белой ночью не связано слово «спешит». Белая ночь никуда не спешит, она томная, тягучая. И кроме того...

Сологуб перебил меня и сказал докторально:

— Самое худшее стихотворение Пушкина «Для берегов отчизны дальной».

— ?!

— Да. Я слушал об этом стихотворении лекцию Жирмунского, и с той поры оно стало мне ненавистно. Жирмунский как пеплом посыпал его.

* * *

Анастасия Чеботаревская — маленькая женщина с огромным честолюбием. Когда она сошлась с Сологубом, она стала внушать ему, что он гениальный поэт и что Горький ему в подметки не годится. Началось соревнование с Горьким. Она стала издавать (крошечный) журнальчик — специально для возвеличения Сологуба и посрамления Горького. С Васильевского острова молодожены переехали на Разъезжую. Здесь Чеботаревская создала салон, украсила комнаты с претенциозною пышностью. Помню какие-то несуразные вышивки, развешанные по стенам. Чтобы жить на широкую ногу, Сологуб превратился в графомана-халтурщика. Количество

своей литературной продукции он увеличил раз в десять. Чуть ли не во все газеты и журналы он рассылал свои скороспелые рассказы и стихи. Порою доходил до плагиата. Его талант стал проявляться в его произведениях все реже. В салоне бывали Блок, Судейкин, Судейкина, Кузмин, Тэффи, Ал. Толстой, Ал. Бенуа и др.— Сологуб встречал их гораздо приветливее, чем это было на Васильевском,— и вообще стал куда говорливее, чаще улыбался, открыто радуясь, что у него есть подруга. На всех вернисажах, премьерах, литературных сборищах он являлся вместе с Анастасией Николаевной — иногда даже взявшись за руки. В его лице появилось что-то наивное. Через несколько лет они оба переехали на Петроградскую сторону — и вдруг обнаружилась ужасная вещь: Анастасия Николаевна влюбилась в NN и совершенно охладела к Сологубу. В доме начался ад. Любовь Анастасии Николаевны была без взаимности. Несчастная находила острую отраду — приходить к знакомым и говорить им о своей безнадежной любви. Наконец не выдержала, выбежала из дому и тут же в двух шагах от квартиры бросилась в реку — утонула. У меня в «Чукоккале» есть вырезка из газеты — объявление Сологуба об ее самоубийстве.

* * *

Я только что сказал, что Сологуб одно время стал опускаться до плагиата. Критики Редько в «Русском богатстве» напечатали статью, где указали на его литературные хищения. Оказалось, что он позаимствовал для своей повести чуть ли не целую главу из какого-то французского романа. Вскоре после этого я встретил Сологуба у Замятиных. Он по обыкновению игриво подрыгивал ножкой (в туфельке с бантиком).

— Видали,— спросил он у меня,— как в «Русском богатстве» осрамились ваши друзья Редьки?

— Осрамились?!

— Еще бы! Уличили меня в том, что я похитил четыре страницы у бульварного французского писателя... А того не заметили, что следующие четыре страницы я списал у Шарлотты Бронте. Не позор ли: знают назубок вульгарного писаку и не имеют понятия о классическом авторе.

* * *

О Чеботаревской он не вспоминал никогда.

* * *

Когда я и Ал. Ник. Тихонов устроили с помощью Горького «Дом Искусства», мы пригласили Сологуба на собрание учредителей. Он


Разные.

Лиц, бывших свидетелями несчастного случая на Тучковом мосту вечером 23 сентября, когда женщина была вынута из воды и отвезена к Большому проспекту, просят сообщить все, что им известно об этом случае, по адресу: Петр. ст., Ждановская набережная, дом 3, кв. 26, Федору Сологубу. Та же просьба ко всем лицам, которым известна дальнейшая судьба этой больной женщины, ушедшей из дому в сером пальто, красном с черною обшивкою костюме и серых валенках; приметы: лет 40, худенькая брюнетка, черные волосы, большие глаза, на руке обручальное кольцо.

Р. Б. Ц.

Газетная вырезка — объявление Федора Сологуба об исчезновении А. Н. Чеботаревской. Чукоккала

ответил мне решительным отказом, заявив о своем принципиальном нежелании работать с Советской властью.

Я был у него за год до его кончины. Он выдвинул ящик письменного стола и показал перевязанные ленточками пачки переписанных на папиросной бумаге стихов (машинопись) и сказал:

— У меня заре-ги-стри-ровано 217 любовных стихотворений, у меня зарегистрировано 114 философских стихотворений, у меня зарегистрировано 12 юмористических стихотворений...

Что стало с этими зарегистрированными стихами, не знаю.

* * *

Кропоткина я первый раз увидел в читальном зале Британского музея. Он был невысокого роста, с широкой грудью, со спокойными глазами. Чувствовалась военная выправка. Все кругом называли его Prince Kropotkin*. В читальном зале были тогда такие дощечки

---

* Князь Кропоткин *(англ.)*.

на ножках, вроде высокого столика. Утомленные читатели отдыхали у таких столиков. В то время я видел там одного из братьев Гранат (готовивших свой знаменитый словарь), Семена Венгерова (готовившего издание Шекспира и Байрона), видел Милюкова и Лазурского,— все устало становились у столика — через 2—3 минуты возвращались к прерванным трудам. Не то князь Кропоткин: он стоял статуарно, как памятник, немного позируя, позволяя человечеству глядеть на него с восхищением. Я не познакомился с ним, хотя у нас было много общих знакомых — Зин. Венгерова, Дионео (Шкловский).

Он был импозантен и респектабелен. При этом панически боялся шпионов. Отказался беседовать с Вл. Ф. Лазурским — смиренным приват-доцентом, бывшим учителем детей Льва Толстого, командированным в Лондон писать диссертацию о Стиле и Адиссоне.

— Это несомненный петербургский агент,— говорил он Дионео про Лазурского.

* * *

В 1917 или 18 году А. Ф. Кони был арестован Чекой. Грозный юноша-следователь спросил его с гневом:

— Вот вы сразу работали и как член Государственного Совета, и как Почетный академик? Совместительство. Разве так можно?

— Для вас, молодой человек, это никак невозможно,— ответил Кони.— А для меня возможно. (Рассказ самого А. Ф. Кони.)

* * *

С дочерью Кропоткина — Сашей — я познакомился в «Пенатах». Ее привезла туда Зин. Аф. Венгерова, которая опекала ее в Петербурге. Саша была здоровая, круглощекая девушка, отнюдь не преданная доктринам отца. Говорила она с английским акцентом. Впоследствии Блок называл ее «древней Рюриковной», очевидно не зная, что ее мать — еврейка.

В 1917 году (кажется) Кропоткин по приглашению Керенского приехал в Россию и поселился на Каменном острове в доме бывшего голландского посла, который вернулся в Голландию. Дом вполне подходил к стилю Кропоткина: тоже был респектабелен и импозантен. Встретив меня как-то на Невском, Саша сказала:

— Папа очень хотел бы познакомиться с вами. Он читал ваши статьи о Некрасове. И какую-то статью в «Русском слове» (чуть ли не о Джеке Лондоне). Приемный день — воскресенье.

В первое же воскресенье с утра я поспешил на Каменный остров — в уютный и министериабельный домик голландца. В домике была небольшая зала,— тоже высокопарная и даже немного пугающая.

В зале уже было несколько молчаливых людей, ожидавших Петра Алексеевича. Его не было. Он был в Зимнем дворце,— «по приглашению Керенского».

Наконец возвестили: «приехал!» Через несколько минут он появился в дверях, широкогрудый, невысокого роста, с холеной бородой, благосклонный. Мы привстали, потом сели, и он стал обходить нас одного за другим и терпеливо выслушивать каждого. Не было бы ничего удивительного, если бы в руках у нас оказались прошения. Первый, к кому он подошел, был журналист-интервьюер. Кропоткин долго отвечал на его вопросы, потом вдруг рассердился и громко сказал, обращаясь ко всем:

— Какая это жалость, что ни один из русских репортеров не знает стенографии. У *нас на Западе* каждый газетный работник обязан знать стенографию. Иначе его не возьмут на работу. Меня, когда я въехал в Россию, встречало пять репортеров и ни один не знал стенографии. Я сказал Александру Федоровичу (Керенскому), что нужно возможно скорее открыть курсы стенографии для работников печати. Он обещал.

И князь важно разгладил бороду.

Потом он подошел к группе молчаливых «просителей». Они оказались американскими дельцами. Зная, что у нас неполадки с транспортом, они предлагают нам для русских железных дорог, а также для «Сайбири» какие-то особые crossing & switches*, образцы которых они тут же показали Кропоткину. Вся их просьба заключалась в том, чтобы он показал их изделия Керенскому и помог бы им заключить соответствующий контракт.

— Хорошо,— сказал Кропоткин.— Я доложу.

Прощаясь с ним, американцы сказали свою обычную фразу:

— Почему вы не побываете у нас в Штатах?

— И рад бы, да не могу... Въезд в Штаты мне строго запрещен.

— Почему?

— Да потому, что я анархист.

— Are you really anarchist?!** — изумились они.

И действительно трудно было представить себе, что этот упитанный, осанистый и важный старик имеет какое-нибудь отношение к тем шайкам бомбистов, которые терроризировали чикагских обывателей за несколько лет до того.

Американцы ушли, Кропоткин направился ко мне. Начал знакомство очень странно: после первых приветствий он встал в позу и стал декламировать длинное стихотворение Некрасова:

Было года мне четыре,
Как отец сказал...

Я слушал, не смея перебить его декламацию. Прочитав все стихотворение с начала до конца — он сказал:

— Никому неизвестное. Нигде не напечатанное. Мне его сообщил Степняк-Кравчинский.

---

* Железнодорожные стрелки *(англ.)*.

** Вы и вправду анархист? *(англ.)*.

Стихотворение было мне известно. Кажется, я же и разыскал его в старых изданиях. Тихим голосом и даже виновато, я сообщил ему об этом, но, очевидно, он не расслышал меня и при следующих встречах всегда декламировал эти стихи.

— Как же, как же, читал вас. Остро и задиристо. Но почему вы пишете все о педерастах: об Оскаре Уайльде, Уитмене. Скажите: вы сами педераст? Да что вы краснеете! У нас в корпусе мы все были педерастами.

И он опять разгладил бороду и выпятил грудь. Очень странно прозвучало это: «у нас в корпусе».

Прошло несколько дней — и меня посетил неожиданный гость: Ив. Дм. Сытин в сопровождении своего фактотума Руманова. Первый раз я видел его таким печальным и растерянным. Он всегда был немного угрюм. В 1914 году он издал мою книгу «Уолт Уитмен», которую конфисковала полиция, и месяца два дулся на меня. «Вы нас подвели. Ввели в расходы». Я несколько лет печатался у него в «Русском слове», и тем не менее он писал мою фамилию «Чюковский». («Абажаемому сотруднику нашему Чюковскому»,— написал он, очевидно под диктовку Руманова, мне на томе «Полвека для книги».)

Сейчас Сытин был странно изнервлен: брал у меня со стола резинку, карандаш, фотокарточку и клал каждую вещь на место — а потом через минуту хватался за них опять. Отходил на минуту от стола, садился на диванчик и снова устремлялся к столу.

— Что нам делать? — говорил от его лица Аркадий Вениаминович Руманов.— Корней, дорогой, что делать? Мы хотим дать к «Русскому слову» приложением сочинения Мережковского, но Мережковский святоша, «спаси, господи, люди твоя», и нынешний читатель на него не польстится. Нам бы нужен революционный, боевой. Мы подумываем о Гауптмане... Его «Ткачи»...

Тут меня осенило.

— А почему не дать Кропоткина? Его «Записки революционера», «Завоевание хлеба», «Взаимопомощь в мире животных» и т. д.

Сытин вопросительно взглянул на Руманова. Его лицо, похожее на физиономию летучей мыши, осветилось надеждой. Все еще бегая по моей маленькой комнатке, он, говоря мне то *ты*, то *вы*, попросил меня составить перечень сочинений Кропоткина. Я тут же набросал этот перечень на узкой полоске бумаги. Сытин как-то мрачно оживился.

Через час мы в доме голландца на Каменном острове. В том же торжественном зале. Кропоткин вышел к нам очень приветливый — и сразу же наговорил много комплиментов Ив. Дм. Сытину. «Ваша просветительная деятельность... ваше служение культуре...»

Сытин привык к таким похвалам. Но всегда принимал их так, будто впервые услышал. Стал кланяться по-простецки и с униженными жестами сжал княжескую руку в двух своих.

— Вот мы тут к вам с предложением,— сказал он,— и можно договор хоть сейчас.

Руманов объяснил Кропоткину, в чем дело. Кропоткин взял у меня узкую полоску бумаги и долго рассматривал ее сквозь свои золотые очки. Потом вписал еще одно заглавие, кажется, «История русской литературы», которую я считал топорной и наивной книгой — и не включил в свой список.

— Только, верьте богу,— сказал Сытин, стилизуя себя под купца-простака (он был очень артистичен и охотно играл эту роль),— верьте богу, больше десяти тысяч мы при нынешних обстоятельствах дать не можем. Десять тысяч сейчас — при подписании,— и десять тысяч потом, когда определится подписка. Что делать? В прежнее время мы и по 60 тысяч давали, но сейчас, верьте богу и т. д.

Кропоткин слушал его очень спокойно и, когда он кончил, сказал:

— Видите ли, мы, анархисты, считаем безнравственным брать деньги за произведения ума человеческого. Я буду рад, если мои книги дойдут, наконец-то, до русских читателей. И этой радости мне вполне довольно. Предоставляю вам права на них — бесплатно.

Сытин изменился в лице. Наскоро попрощавшись с князем, он быстрыми шагами пошел к автомобильчику, в котором мы приехали (Руманов каким-то чудом сохранил в неприкосновенности редакционный автомобильчик «Русского слова»). Автомобильчик скрежетал и вихлялся и подпрыгивал на выбоинах мостовой. Сытин долго молчал и только когда мы выехали на Каменноостровский проспект, сказал укоризненно и хмуро:

— Эх дура, даже денег не берет за свои книги. Видать, что книги — собачье дерьмо!

* * *

Между тем денежные дела у Кропоткина были далеко не блестящи. Содержал его в сущности некий Лебедев, мелкий газетный сотрудник, муж его дочери Саши. Старик отказывался от гонораров за свой писательский труд («Мы, анархисты») и не замечал, что живет на гонорар своего зятя. Лебедев лез из кожи, писал корреспонденции в английскую прессу, переводил какие-то декреты, но все же еле сводил концы с концами, а тут еще во время очередного обхода у него конфисковали последние запасы муки.

Сашу в Голландском доме я встречал редко. Встретил ее раз в канцелярии на Дворцовой площади; мы пришли туда зачем-то с Ал. Ал. Блоком, и она произвела на него очень большое впечатление.

Смех и брови, и голос светский
Этой древней Рюриковны.

Дальнейшей ее судьбы не знаю:

Болтали: там какой-то генерал,
А может быть, кто говорил соврал.

* * *

У Шагинян есть строчка:

Девы нет меня благоуханней.

Встретив ее, Куприн попросил:

Благоухни мне, как бутон.

* * *

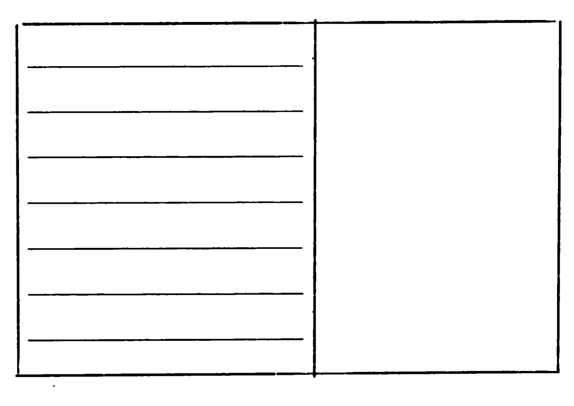
К Блоку он обратился с такой же иронией. У Блока есть прелестный импрессионистический этюд:

В кабаках, в переулках, в извивах,
В электрическом сне наяву
Я искал бесконечно красивых
И бессмертно влюбленных в молву.

— Почему не в халву? — почтительно спросил он у Ал. Александровича.

* * *

Маяковский, тоскуя по биллиарду, часто приходил в Куоккале на дачу к Татьяне Александровне Богданович — играть с ее детьми в крокет. Я как сейчас слышу уверенный и веселый стук его молотка по шару. Он почти никогда не проигрывал. Ему было 23 года, гибкий, ловкий, он не давал своим партнерам ни одного шанса выиграть. Татьяна Александровна ждала гостей — Евгения Викторовича Тарле, Редьков. Она приготовила большой пирог с капустой. Разрезала его пополам и одну половину на восемь частей.



Поставила пирог на террасе и сказала:

— В. В., возьмите себе на террасе пирожок.

В. В. вскочил на террасу и взял *цельную* половину пирога, ту, что была неразрезана (б).

* * *

Горький был слабохарактерен, легко поддавался чужим влияниям. У Чехова был железный характер, несокрушимая воля. Не потому ли Горький воспевал сильных, волевых, могучих людей, а Чехов — слабовольных, беспомощных?

* * *

Есть фотоснимок: юбилей Горького в 1919 году. На этом снимке хорошо видна женщина с мягкими чертами лица, стройная, с круглыми, кольцеобразными цыганскими серьгами. Это Варвара Васильевна Шайкевич, устроительница всего торжества. Она достала бокалы, пекла лепешки, накрыла праздничный стол. Вместо шампанского был горячий, сладкий чай. Все это устроила она.

Не помню, числилась ли она тогда женой Тихонова — или они уже разошлись. Первым ее мужем был банкир Анатолий Шайкевич, черносотенец, поддерживавший крайне правые эмигрантские группы. От него у нее был черноголовый мальчишка Андрей.

Кажется, это было в 1920 или 1921 г. Каждое воскресенье за мною заходил Гумилев и мы пешком отправлялись на Петроградскую сторону к Варваре Васильевне. У Гумилева были две приманки: он хотел прочитать В. В. свои новые стихи (в ту зиму он почти каждый день создавал по стихотворению). Он верил, что В. В. тонко понимает поэзию. Вторая приманка — вино. У В. В. был запас итальянских вин. Мы шли по великолепному мертвому городу. Воздух был чист, как в деревне: не было верениц автомобилей, отравляющих воздух, не было дымов из труб — все жили в лютом холоде, горячей пищи никогда не готовили. Только у Горького на Кронверкском топилась ванна — сказочная роскошь — другой ванны не было на десять километров в окружности. В. В., слушая стихи Гумилева, обычно сидела на диване и зябко куталась в кашемировую шаль. Гумилев прихлебывал вино и попыхивал длинной папиросой — чуть ли не подарок Варвары Васильевны. Читал Гумилев напыщенно, торжественно, гордясь каждой строкой, каждым звуком, с огромным уважением к себе, как к создателю таких восхитительных ценностей, В. В. слушала робко, в молчаливом восторге. Обычно все это происходило в 5 часов или даже раньше — в четыре.

И вот как-то во время этого торжественного действа мы услышали в соседней комнате какое-то шевеление. Через минуту оттуда вышел с застенчивой неуклюжестью, сутулясь более обычного, Горький. Смущенно поздоровавшись с нами, он сказал Гумилеву:

отлично вы прочитали стихи... особенно это последнее. Вот прочитайте-ка опять...

Но обольщенный своими стихами, их звучностью, их красотой, их успехом, Гумилев сказал, спокойно стряхивая пепел с папироски:

— Если бы вы понимали поэзию (он выговаривал: пуэзию), вы никогда не написали бы целую строку из односложных:

Вполз уж и лег там.

Русский стих не терпит такого скопления односложных.

Если сказать:

Впóлз уж и,—

это будет дактиль, если сказать:

Вполз ýж и,—

это будет амфибрахий, если сказать:

Вполз уж и́,—

это будет анапест.

Горький, в ту пору переживавший увлечение Гумилевым, скуксился и смиренно сказал:

— Ну какой же я поэт!

Мы переглянулись с Ник. Ст. и поспешили откланяться. Нас не удерживали.

Варвара Васильевна была женою Тихонова, потом на очень короткое время стала женою Горького, он ходил с ней в комиссионные магазины, покупал ковры и костяные художественные изделия.

* * *

Как-то в ресторане «Вена» я увидел Мих. Кузмина в большой незнакомой компании. Меня пригласили к столу. Кузмин указал на одну полную даму, сидящую рядом с ним, и сказал:

— Вот вы все пишете о Некрасове, а не знаете, что эта вакханка — родная дочь Авдотьи Яковлевны Панаевой.

— Как вы смеете! — рассердилась вакханка.— Я никому, никому не говорю, что я ее дочь.

Вакханка оказалась писательницей Нагродской, автором нашумевшего романа «Гнев Диониса». В то время в литературных кругах еще помнили о причастности Авдотьи Панаевой к огаревскому делу.

Тут же Нагродская проговорилась, что у нее есть тетрадь, исписанная рукою Некрасова.

Нужно было раздобыть у нее эту тетрадь.

Жила она в Павловске. Не надеясь на свои силы, я взял с собою двух друзей: Эмиля Кроткого и Исаака Бабеля. По дороге я рассказал им, какое значение для некрасоведения может иметь наша добыча. Всю дорогу Эмиль Кроткий безостановочно острил, Бабель молчал, глядел в окно. Он в то время симулировал великую почтительность ко мне и каждую фразу свою начинал словами: «Уй, Корней Иванович!», часто сопровождал меня в моих хождениях по городу,— и конечно, я чувствовал, что это напускная почтительность, что в ней есть много подспудной иронии, но охотно принимал эту игру.

Мы пошли к Нагродской вдвоем с Эмилем Кротким. Бабель остался в саду. Кроткий сразу испортил все дело. Он стал говорить этой даме, каким драгоценным она владеет сокровищем, как дорога для потомства каждая строчка Некрасова и т. д. и т. д.

Я постарался отделаться от такого неудачного союзника и кликнул на помощь Бабеля. Бабель сумрачно слушал наши разговоры, как слушает великий артист неумелых дилетантов, и сделал нам знак, чтобы мы замолчали.

— Позвольте, Елена (или Елизавета?) Аполлоновна, поговорить с вами интимно,— сказал он.— Наедине.

И ушел с нею в другую комнату. Видно было, что она симпатизирует ему больше, чем нам. Очевидно, его псевдо-наивное лицо, с ямочками на щеках, произвело на неё впечатление.

Мы ждали его очень долго. Наконец, он вышел весь красный, с крупинками пота на высоком челе. В руке у него была черная (ныне знаменитая) тетрадь, которую он и вручил мне с обычным своим ироническим полупоклоном. Я выдал Нагродской расписку, и руки у меня дрожали.

Когда мы вышли, я спросил у Бабеля, какое такое волшебное слово сказал он ей, что она согласилась расстаться со своим сокровищем.

— Я говорил с ней не о Некрасове, нет, а о ее романе «Гнев Диониса». Я расхвалил этот роман до небес, я говорил, что она для меня выше Флобера и Гюисманса, я говорил ей, что и сам нахожусь под ее влиянием. Она пригласила меня приехать к ней в ближайшую пятницу, она прочтет мне начало своего нового романа... «И зачем вам какие-то пожелтелые архивные документы,— говорил я ей,— если вы владеете настоящим и будущим. Вы сами не знаете, как вы талантливы».

— Но ведь «Гнев Диониса» бездарный роман! — сказал я.

— Не знаю, не читал,— ответил Бабель.

* * *

Зиновий Исаевич Гржебин окончил Одесскую рисовальную школу, никогда ничего не читал. В литературе разбирался инстинктивно, Леонид Андреев говорил:

— Люблю читать свои вещи Гржебину. Он слушает сонно, молчаливо. Но когда какое-нибудь место ему понравится, он начинает нюхать воздух, будто учуял запах бифштекса. И тогда я знаю, что это место и в самом деле стоющее.

* * *

У него была способность пристраиваться к какому-нибудь большому писателю. В 1906 году он поместил в Горьковском журнале «Жупел» карикатуру «Оборотень», изображающую государственного двуглавого орла, который, будучи перевернут вниз головой, превращался в фигуру Николая II с обнаженными ягодицами. За этот дерзкий рисунок Гржебин был приговорен к году крепости, «Жупел» подвергся карам, и Горький почувствовал нежное расположение к Гржебину. Гржебин сделался у него своим человеком. Гржебин действительно располагал к себе. Он был неповоротлив, толстокож, казался благодушным, трогательно-идиллическим простецом. У него было трое девочек: Капа, Буба и Ляля и милая худощавая, преданная ему жена Мария Константиновна,— и мать Марии Константиновны, престарелая русская женщина. Дом был гостеприимный, уютный, я очень любил там бывать.

В 1906—07 годах Гржебин отпрянул от Горького и прилепился к Леониду Андрееву, основал вместе с Копельманом «Шиповник», где предоставил Леониду Андрееву, бывшему тогда в апогее славы, главную, ведущую роль. Горьковские сборники «Знание» перестали привлекать к себе массовых читателей, эти читатели шарахнулись к альманахам «Шиповника».

Настал 1914 год. Война. Гржебин стал издавать патриотический журнал «Отечество», противостоящий Горьковскому пацифистскому журналу «Летопись».

В 1916 году Гржебина призвали в ряды действующей армии. Он пришел ко мне, смертельно испуганный, и попросил, чтобы я выпросил ему у британского посла Бьюкенена отсрочку с тем, что он будет техническим редактором англо-русского бюллетеня. Бьюкенен был тогда очень влиятелен. Но вдруг вмешался художник Константин Сомов (он дружил с англичанами, с Хью Уолполем, бывал в посольстве). Он заявил, что Гржебин — вор, мелкий мазурик, что при помощи подложной подписи он получил в «Шиповнике» деньги, которые надлежало получить Сомову. Я побежал к Сомову, умоляя его не губить Гржебина, в невиновность которого свято верил. Гржебин был освобожден от фронта и в 1918 году снова перекинулся к Горькому. Горький полюбил его новой любовью, поручил Тихонову и ему организацию «Всемирной литературы», Гржебин стал директором издательства. Горький постоянно бывал у него на Таврической улице, приносил подарки Капе, Ляле и Бубе, играл с ними на ковре (принес им однажды при мне террарий с ужом и лягушкой) — и когда однажды на Кронверкском у Гржебина заболела голова, Горький уложил его на софу и принес ему соб-

ственноручно две подушечки. Вскоре Гржебин открыл на Невском «Издательство З. И. Гржебина», опять-таки под эгидой Горького. Издавало это издательство очень небольшое количество книг. 〈...〉 Это был один из самых привлекательных людей, каких я встречал в своей жизни. Его слоновая неповоротливость, его толстокожесть (которую так хорошо отразил Юрий Анненков в своем знаменитом портрете), самая его неспособность к интеллектуальным разговорам,— все это нравилось в нем. Он был перед вами весь как на ладони — и это тоже располагало к нему.

* * *

Жил он на Таврической улице в роскошной большой квартире. В моей сказке «Крокодил» фигурирует «милая девочка Лялечка», это его дочь — очень изящная девочка, похожая на куклу.

Когда я писал:

«А на Таврической улице мамочка Лялечку ждет»,— я ясно представлял себе Марью Константиновну, встревоженную судьбою Лялечки, оказавшейся среди зверей.

* * *

Проф. Владимир Михайлович Бехтерев — вечно сонный, рыхлый мордвин с дремучими бровями, с большой бородищей. Директор Психо-неврологического института, где был приют для студентов неудачников, не принятых в другие институты. Когда Репин писал его портрет, я по просьбе художника приходил в мастерскую — будоражить Бехтерева, чтобы он окончательно не заснул во время сеанса. Как-то за обедом Репин рассказал профессору, что я страдаю бессонницей, и просил его вылечить меня гипнозом. Бехтерев в это время уписывал дыню и промычал невнятно, что согласен. Тотчас же после обеда в мастерской Репина было установлено кресло, я с верой и надеждой уселся в него, Бехтерев вынул из кармана какую-то блестящую штучку, поднял у меня над головой и предложил мне неотрывно смотреть на нее. Я смотрел, а он забормотал сонным голосом: «И когда вы положите голову на подушку, вы расслабьте мускулы и вспомните меня» (что-то в этом роде). Я, как потом оказалось, вообще не поддаюсь гипнозу, а тут как назло Бехтерев от съеденной дыни (молекулы которой остались у него в бороде) стал через определенные промежутки икать. У него получалось «и когда, ик!, вспомните меня, ик!». Все это смешило меня, но я из вежливости подавил смех, особенно после того, как я заметил, что Илья Ефимович, вообще благоговевший перед наукой, ходит вокруг кресла на цыпочках. Я даже хотел притвориться засыпающим, но это мне не удалось, так как все время хотелось фыркать.

О жизни Бехтерева я знал от его зятя, мелкого чиновника, Б. Никонова, печатавшего в «Ниве» свои пустопорожние стишки.

Оказывается, Бехтерев принимал больных до 2-х часов ночи (к нему как к знаменитости съезжались больные со всех краев России) и так обалдевал после полуночи, что, приложив трубку к сердцу больного, не раз говорил, как спросонья:

— У телефона академик Бехтерев, кто говорит?

Мне рассказывал А. Е. Розинер, директор издательства «Нива», что он однажды привел к Бехтереву на прием свою 17-летнюю дочь, которая (переходный возраст) стала страдать легкой виттовой пляской. Бехтерев задал застенчивой девушке несколько очень интимных вопросов, от которых она мучительно краснела, а потом попросил отца и дочь немного подождать — ушел в другую комнату, откуда послышался звон стакана (было ясно, что он подкрепляется отнюдь не бехтеревкой) — потом он снова вошел в кабинет и сказал Розинеру:

— Разденьтесь.

Думая, что профессор хочет изучить одного из предков девушки, дабы уяснить ее наследственность, Розинер покорно разделся до пояса, но вскоре понял, что Бехтерев во время антракта забыл, кого из двух посетителей он должен лечить, и вообразил, что — отца.

Обычная плата за визит — сто рублей.

Ради этих сторублевок Бехтерев ложился страшно поздно и потом весь день проводил в полусонной дремоте.

Книгу «Гипнотизм» он написал не один — ее писали разные ученые (в том числе и студенты), из-за чего то́, что утверждается на одних страницах, опровергается на других (об этом я слышал от Сергея Осиповича Грузенберга, состоявшего лектором в Психоневрологическом Институте).

Когда Маршак вернулся с Кавказа в 1920 или 1921 году, Горький долго не хотел его принять.

— Конечно, я хорошо его помню, но сейчас я занят, не могу,— отвечал он мне.

Маршак привез детские пьесы, написанные им вместе с Васильевой (Черубиной де Габриак), и долго хлопотал перед Клячкой, чтобы он издал эти пьесы. Кроме того, он написал балладу о пожаре в духе шотландских баллад. Я сказал:

— Зачем баллады? Это не годится для маленьких детей. Детям нужен разностопный хорей (наиболее близкий им ритм). Причем детское стихотворение надо строить так, чтобы каждая строфа требовала нового рисунка, в каждой строфе должна быть новая образность. Дня через три он принес свою поэму «Пожар», написанную по канонам «Мойдодыра». В то время он открыто называл меня своим учителем, а я был в восторге от его переимчивости и всячески пропагандировал его творчество. Недавно Федин напомнил мне, как я приводил к нему Маршака, стремясь расширить круг

литературных знакомств начинающего детского автора. Была у меня секретарша Памбэ (Рыжкина). Она отыскала где-то английскую книжку о детенышах разных зверей в зоопарке. Рисунки были исполнены знаменитым английским анималистом (забыл его имя). Памбэ перевела эту книжку, и я отнес ее работу Клячке в «Радугу». Клячко согласился издать эту книгу (главным образом из-за рисунков). Увидал книгу Памбэ Маршак. Ему очень понравились рисунки, и он написал к этим рисункам свой текст — так возникли «Детки в клетке», в первом издании которых воспроизведены рисунки по английской книге, принесенной в издательство Рыжкиной-Памбэ, уверенной, что эти рисунки будут воспроизведены с ее текстом.

В то время и значительно позже хищничество Маршака, его пиратские склонности сильно бросались в глаза. Его поступок с Фроманом, у которого он отнял переводы Квитко, его поступок с Хармсом и т. д.

Заметив все подобные качества Маршака, Житков резко порвал с ним отношения. И даже хотел выступить на Съезде детских писателей с обвинительной речью. Помню, он читал мне эту речь за полчаса до Съезда, и я чуть не на коленях умолил его, чтобы он воздержался от этого выступления. Ибо «при всем при том» я не мог не видеть, что Маршак великолепный писатель, создающий бессмертные ценности, что иные его переводы (например, Nursery Rhymes*) производят впечатление чуда, что он неутомимый работяга, и что у него есть право быть хищником. Когда я переводил сказки Киплинга «Just so stories»**, я хотел перевести и стихи, предваряющие каждую сказку.

Удалось мне перевести всего четыре строки:

Есть у меня четверка слуг
и т. д.

Эти строки я дал Маршаку, он пустил их в оборот под своей подписью, но не могу же я забыть, что все остальные строки он перевел сам и перевел их так, как мне никогда не удалось бы перевести. Он взял у Хармса «Жили в квартире 44» — и сделал из этого стихотворения шедевр. Вообще к сороковым—пятидесятым годам мое отношение к Маршаку круто изменилось. Все мелкое и пошлое отпало, и он встал предо мною в ореоле своего таланта и труженичества. Теперь, когда он приблизился к старости, он как-то смягчился душою, и его трагическая болезнь вызвала во мне острую жалость. Мы одновременно отдыхали в Барвихе, я всегда с волнением и глубочайшим уважением входил в его номер, где на столе высились грудой книги, рукописи, газеты, где стоял густой папиросный дым, а на столе у постели возникли десятки

---

* Нянюшкины прибаутки *(англ.)*.

** «Сказки» *(англ.)*.

склянок с лекарствами. Он сидел у стола, такой похудевший, такой беспомощный, почти утративший слух и зрение, сонный (так как из-за антибиотиков ночи он проводил без сна, ибо на него по ночам нападала чесотка, заставлявшая его до крови царапать свое тело ногтями), сидел одинокий, сиротливый и по-прежнему уверенно, красивым, круглым почерком исписывал страницы чудесными стихами, переводами, и я готов был плакать от горького восхищения силой его могучего духа.

В это время посетил меня как-то Митя. Он увидел Маршака у вешалки и почти на руках отнес его в номер. И Маршак говорил с ним целый час — и говорил так вдохновенно, высказывал такое множество проникновенных и благородных идей, что Митя буквально ошалел от восторга. Он ушел от Маршака очарованный.

У Маршака был своеобразный ум. М. почти ничего не читал (нужные цитаты из Белинского и других ему добывала Габбе), истории литературы (со всеми Михайловскими, Шелгуновыми, Мережковскими, Достоевскими) он совсем не знал, но он знал сотни народных песен, шотландских, еврейских, великорусских, украинских, болгарских и т. д. Он знал Пушкина чуть не всего наизусть, знал творческой страстной любовью — Шекспира, Китса, Шелли — всех, кого переводил. Знал Бернса. Когда он умер, я плакал о нем, как о родном.

* * *

Был единственный русский поэт, которого после 1917 года называли «господин», а не «товарищ». Это — Юргис Бальтрушайтис, литовский подданный, писавший русские символические стихи. В первые годы революции он стал литовским послом, кажется, получил даже автомобиль, о котором прежде не смел и мечтать. Это был очень молчаливый господин, высокого роста, редко расстававшийся с бутылкой. Он любил пить в одиночестве, прихлебывая вино небольшими глотками. Фамилия его была похожа на русское повелительное наклонение множест. числа. Поэтому, когда он знакомился с Куприным и сказал ему свою фамилию:

— Бальтрушайтис,

пьяный Куприн ответил:

— Я уже набальтрушался.

Когда в самом начале века поэт, юрист и критик Сергей Андреевский прочитал в пользу Литфонда лекцию «Вырождение рифмы» (доставившую Литфонду один рубль дохода или расхода, не помню), поэт Минский сказал:

Рифма вырождается,
Утешайтесь:
В Москве нарождается
Бальтрушайтис.

* * *

А ведь в конце концов Сергей Аркадьевич Андреевский был прав. После того как рифма во всех европейских литературах достигла небывалого расцвета, она в 50-х, 60-х годах XX века вдруг угасла и во Франции, и в Англии, и в США. Поэты решили отнять у себя самое могучее средство воздействия на психику читателя. Казалось бы, человечеству вполне достаточно одного Уолта Уитмена; два Уолта Уитмена было бы слишком много. Между тем их сейчас не меньше шестидесяти.

---

10 мая. Все это писано в Загородной больнице, куда я попал почти здоровый и где перенес три болезни. Температура у меня все время была высокая, роэ огромное, ничего дельного я писать не мог — и вот писал пустячки. Писал коряво, кое-как. Сейчас должны прибыть Митя, Клара и Виктор Федорович Емельянов и увезти меня отсюда. О, сколько скопилось книг! Два месяца я не написал ни одной путной строки.

Четверг 23. Май*. Утром неожиданно приехал профессор Владимир Харитонович Василенко — чарующее впечатление. Вечером приехала Елена Никол. Конюхова от «Советского писателя» уговаривать меня, чтобы я выбросил из своей книги упоминание о Солженицыне[20]. Я сказал, что это требование хунвейбиновское, и не согласился. Мы расстались друзьями. Книга моя вряд ли выйдет. Кларочка готовит 6-ой том.
Встретил Нилина, Агапова, Галина, Разгониху. Книга моя «Высокое искусство» сверстана в издательстве «Советский писатель». Она должна была выйти в свет, когда в издательстве вдруг заметили, что в книге упоминается фамилия *Солженицын.* И задержали книгу. Итак, у меня в плане 1968 г. три книги, которые задержаны цензурой:

— «Чукоккала»

— «Вавилонская башня»

— «Высокое искусство».

Не слишком ли много для одного человека?

Пятница 24. Май. Ужасное известие: оказывается, предатель Блинов *позабыл* включить в план «Моего Уитмена», и вся моя работа повисла в воздухе. Четвертая из моих книг погибла. Вечером был Леонид Николаевич Радищев. Рассказывал, как Зощенко не подал руки Стеничу, когда Стенич был на короткое вр[емя] выпущен из тюрьмы. Зощенко стоял с Радищевым и другими литерато-

* Эта и следующие даты (до заголовка «Предсмертная тетрадь») напечатаны типографским способом в деловом календаре. Дневниковые записи велись в этом календаре.— *Примеч. сост.*

рами, когда подошел Стенич. Поздоровавшись со всеми, он протянул руку Зощенке. Тот спрятал руку за спину и сказал:

— Валя, все говорят, что вы провокатор, а провокаторам руки не подают.— Вечером звонила Софья Анат. из «Искусства» ⟨...⟩.

Суббота 25. Май. Я в полной прострации. Боюсь, что в эту книгу мне придется записывать одни неудачи. Иметь на своем счету четыре неиздаваемых книги: Уитмен, Чукоккала, Библия, Высокое искусство, это слишком много для меня. Всякий раз, когда у меня из рук вываливается работа, я читаю Агату Кристи. Теперь я взял ее «Bertran Hotel». Первые три главы, где экспозиция, написаны хорошо, даже с юмором. Потом начинается «crime»* и скоро, очевидно, будет «murder»**. Там и стиль и сюжет становятся дешевле. Я презираю себя, но ничего другого читать в такие дни не могу. Еще читаю «New Yorker». Корресп. из Иерусалима.

В пять часов приехал ко мне Юрий Петрович Любимов, руководитель «Театра на Таганке» — жертва хунвейбиновского наскока на его театр. С ним Элла Петровна — зав. лит. частью. Хотят ставить на сцене мою «Чукоккалу». Очень смешно рассказывал о посещении театра «Современник» Хрущевым и вообще показывал Хрущева. У меня прошла всякая охота писать. Уже третий день ничего не делаю из-за смертельной тоски, которую стараюсь никому не показывать. ⟨...⟩

Понедельник 27. Май. Приехала Таня, очень усталая. Она еще не разделалась с Мередитом, но уже близок конец. В новой книжке «Иностр. Литературы» напечатан ее блистательный перевод «Геометрия любви» Чивера.

Сейчас я вспомнил, что Любимов рассказал о подвиге Паустовского. Паустовский очень болел, все же он позвонил Косыгину и сказал:

— С вами говорит умирающий писатель Паустовский. Я умоляю вас не губить культурные ценности нашей страны. Если вы снимете с работы режиссера Любимова — распадется театр, погибнет большое дело и т. д.

Косыгин обещал рассмотреть это дело. В результате — Любимов остался в театре, только ему записали «строгача». Клара весь день работает над VI томом, который мы завтра должны сдать. Возился со статьей об Авдотье.

Гулял с Нилиным. Он говорит, что вчера, бродя по ул. Калинина, он понял: кончилось старое, начинается новая эпоха, новые люди. ⟨...⟩

Четверг 30. Май. Сегодня сдаем VI том. Но нужно дорабатывать «Шевченко». ⟨...⟩

---

* Преступление *(англ.)*.

** Убийство *(англ.)*.

Приехала Лида.

Был Ю. М. Гальперин, которому я очень плохо и сбивчиво говорил по радио о Уолте Уитмене.

Отдохнуть не удалось: пришли вслед за этим Каверины. Ему без объяснения причин вернули 2-ое изд[ание] его книги «Ecrire est difficile»[21]. Лесючевский не ответил ему, он написал письмо Мелентьеву. Очень взбудоражен тем, что его письмо к Федину передается по зарубежному радио[22]. Я сказал ему: «Чего вам волноваться? У вас своя дача и деньги в банке». В самом деле страдают Львы Копелевы. ⟨...⟩

Понедельник 3. Июнь. ⟨...⟩ Недаром я чувствовал такой удушливый трепет с утра. Сегодня прочитал клеветнический выпад со стороны бандитов в «Огоньке» по поводу Маяковского. Выпад не очень обеспокоил меня. Но я боюсь, что это начало той планомерной кампании, какую начали эти бандиты против меня в отместку за мою дружбу с Солженицыным, за «подписанство»[23], за [недописано.— *Е. Ч.*]

Четверг 6. Июнь. ⟨...⟩

ЧТО ВСПОМНИЛОСЬ

Михаил Леонидович Лозинский. Друг Гумилева и Ахматовой. Мой товарищ по «Всемирной Литературе». Имел брата Григория Лозинского, специалиста по португальской литературе. Оба были потрясающе вежливы. Их вежливость была внешним выражением их доброты. ⟨...⟩

В своей книге «Высокое искусство» я выбранил его переводы «Гамлета» и «Тартюфа». Тем не менее он прислал мне однажды — ко дню моего рождения буквально любовное письмо, полное дружеской нежности.

Задолго до этого мы оба отдыхали в Кисловодске. У Лозинского кончился срок, и ему нужно было уезжать в Ленинград. В то время поезда отходили от Кисловодска ночью. На вокзале была полутьма. Лозинский, войдя в вокзал, тотчас же дал носильщику пять рублей. Носильщик тотчас же кинул его чемодан и стал обслуживать другого пассажира. К каждому вагону была очередь. Лозинский стал в очередь, но, оглянувшись, увидел, что сзади женщина, приподнял шляпу и уступил ей место. Сзади была еще одна женщина — он отошел еще дальше в тыл. Я удержал его от дальнейших любезностей. Когда он приблизился к вагону, вагон был битком набит.

Я втолкнул его туда, вместе с его чемоданами, и вдруг увидел на перроне забытую им корзинку. Я сунул ее в окошко, когда вагон уже двинулся. На следующий день я получил от него открытку со станции «Минеральные воды»:

Не попрощавшись с вами на ночь,
Я ни за что бы не заснул,
Спасибо вам, Корней Иваныч,
За всунутый в окно баул.

И т. д.

* * *

Понедельник 10. Июнь. Спасибо Марине — вчера усыпила меня. Весь день ничего не делал: Таня читала мне свой превосходный перевод Мередита; помогал ей править его. Вновь в тысячный раз читаю Чехова.

Нужно написать о гнусной затее Н. Ф. Бельчикова редактировать ранние произвед[ения] Чехова «в хронологическом порядке». И почему это Чехова непременно редактируют прохвосты. Первое полное собрание сочинений редактировал сталинский мерзавец Еголин. Это сто́ит вагона с устрицами! О Чехове мне пришло в голову написать главу о том, как он, начав рассказ или пьесу минусом, кончал ее плюсом. Не умею сформулировать эту мысль, но вот пример: водевиль «Медведь» — начинается ненавистью, дуэлью, а кончается поцелуем и свадьбой. Для того, чтобы сделать постепенно переход из минуса в плюс, нужна виртуозность диалога. См. напр., «Дорогую собаку». Продает собаку, потом готов приплатить, чтоб ее увезли. 〈...〉

Среда 12. Июнь. Был Зильберштейн, человек колоссальной энергии, основатель Литнаследства, автор Парижских находок. По его просьбе я написал заметку о том, как нужно издавать Чехова,— он попытается пристроить ее в «Правде»[24]. 〈...〉

Понедельник 17. Июнь. Алянский. Говорит, что Анненков в Париже принял его с «закрытым сердцем». Похоже, что он бедствует и очень жалеет, что покинул Советский Союз. Рассказывал, что те страницы в книге «От двух до пяти», где я рассказываю о травле «Чуковщины», вызвали большую тревогу и даже панику в издательстве «Детская литература». 〈...〉

Четверг 20. Июнь

О скульпторе Меркурове

Скульптор он был слабый, но фигура очень колоритная. Враль в стиле Ноздрева. Я рассказал ему как-то, что мне предстоит операция.— Ах,— сказал он,— мне тоже. У меня больная почка. Я хотел оперировать ее в Париже. Уже положили меня на хирургический стол, и вдруг какое-то смятение, прибежали сестры, врачи — и увезли меня обратно в палату. Что такое? Оказывается, хирург, который должен был делать мне операцию, внезапно сошел с ума и двум предыдущим пациентам *вырезал обе почки*, отчего они и умерли.

Рассказывал он это при своей жене. Даже она, привыкшая к его брехне, и то с удивлением возвела на него глаза. Но когда он сказал ей:

— Помнишь, Аста?

Она сказала:

— Конечно, помню. ⟨...⟩

Когда в гостях в СССР был глава Монголии Чойболсан (кажется, так?), его портрет написал Герасимов, а его бюст вылепил Меркуров. Ч. спросил Герасимова, сколько он хочет за свой портрет. Он сказал некую сумму, которая была немедленно ему выдана. А Меркуров сказал: я не возьму денег. «Я дарю свой бюст Ч-у». И конечно, выиграл. Ему, по его рассказам, прислали три грузовика окороков, муки, мешки орехов и т. д.

Когда меня выругали в «Правде» (в 1944 году), я, проходя по ул. Горького, вдруг увидел Меркурова. Обычно он бросался ко мне с распростертыми, но теперь, к моему удивлению, юркнул в какой-то магазин. На лице у него была отчужденность, и когда я вошел в магазин, не понимая, что он прячется от меня,— он посмотрел на меня чужими глазами — и не подал мне руки. Он был единственный из моих знакомых, кто совершенно порвал со мною — после этой ругательной статьи.

К концу жизни он был в опале. Опала постигла его после того, как он вылепил памятник Гоголю.

Но об этом я, кажется, уже записал в одном из моих дневников.

Среда 26. Июнь. Была Наталья Ильина. Пришли друзья Клары — учитель и учительница Фейны. Пришел Дрейден. Ильина прочла свои записки об Анне Ахматовой, умные, богатые подробностями, Ахматова дана не в двух измерениях (как у меня), а в трех — живая и притом великая женщина. Центр воспоминаний — сцена с пошляком Корнейчуком, который решил приволокнуться за Натальей Ильиной, благодаря чему Ильина получила возможность достать для Анны Андреевны такси.

Рассказывала о гнусном поведении Скворцова[25] ⟨...⟩.

Четверг 27. Июнь. Потею над Пантелеевым. Пришел к странному выводу, что техника у него даже выше таланта.

Он мастеровитый писатель. ⟨...⟩

Пятница 28. Июнь. Для Лиды тяжелый день. Ленгиз уведомил ее,

что из однотомника Ахматовой решено выбросить четыре стихотворения и несколько строк из «Поэмы без героя». Она написала письма в редакцию Ленгиза, Жирмунскому, Суркову и еще куда-то, что она протестует против этих купюр. Между тем в тех строках, которые выброшены из «Поэмы без героя», говорится о том, что Ахматова ходила столько-то лет «под наганом», и вполне понятно, что при теперешних «веяниях» печатать эти стихи никак невозможно.

Но Лида — адамант. Ее не убедишь. Она заявила изд-ву, что если выбросят из книги наган, она снимет свою фамилию, т. к. она, Лида, ответственна перед всем миром за текст поэмы[26]. Некрасов смотрел на такие вещи иначе, понимая, что изуверство цензуры не вечно.

Суббота 29. Июнь. Умер Крученых — с ним кончилась вся плеяда Маяковского окружения. Остался Кирсанов, но уже давно получеловек. Замечательно, что Таня, гостящая у нас, узнав о смерти Крученыха, сказала то же, что за полчаса до нее сказал я: «Странно, он казался бессмертным».

Подлая статья о Солженицыне в «Литгазете» с ударом по Каверину[27].

Воскресенье 30. Июнь. Мне хочется записать об одном моем малодушном поступке.

Когда в тридцатых годах травили «Чуковщину» и запретили мои сказки — и сделали мое имя ругательным, и довели меня до крайней нужды и растерянности, тогда явился некий искуситель (кажется, его звали Ханин) — и стал уговаривать, чтобы я публично покаялся, написал, так сказать, отречение от своих прежних ошибок и заявил бы, что отныне я буду писать правоверные книги — причем дал мне заглавие для них «Веселой Колхозии». У меня в семье были больные, я был разорен, одинок, доведен до отчаяния и подписал составленную этим подлецом бумагу. В этой бумаге было сказано, что я порицаю свои прежние книги: «Крокодила», «Мойдодыра», «Федорино горе», «Доктора Айболита», сожалею, что принес ими столько вреда, и даю обязательство: отныне писать в духе соцреализма и создам... «Веселую Колхозию». Казенная сволочь Ханин, торжествуя победу над истерзанным, больным литератором, напечатал мое отречение в газетах, мои истязатели окружили меня и стали требовать от меня «полновесных *идейных* произведений».

В голове у меня толпились чудесные сюжеты новых сказок, но эти изуверы убедили меня, что мои сказки действительно никому не нужны — и я не написал ни одной строки.

И что хуже всего: от меня отшатнулись мои прежние сторонники. Да и сам я чувствовал себя негодяем.

И тут меня постигло возмездие: заболела смертельно Мурочка. В моем отречении, написанном Ханиным, я чуть-чуть-чуть исправил слог стилистически и подписал своим именем.

Страница дневника. Июнь 1968 г.

Ханин увез его в Москву. Узнав, что он намерен предать гласности этот постыдный документ, я хотел вытребовать его у Ханина, для чего уполномочил Ваню Халтурина, но было поздно. И мне стало стыдно смотреть в глаза своим близким.

Через 2—3 месяца я понял, что совершил ужасную ошибку. Мои единомышленники отвернулись от меня. Выгоды от этого ренегатства я не получил никакой. И с той поры раз навсегда взял себе за правило: не поддаваться никаким увещаниям омерзительных Ханиных, темных и наглых бандитов, выполняющих волю своих атаманов.

В «Одесских Новостях» был сотрудник Ал. Вознесенский (Бродский) мой коллега. Он писал эффектные статьи (например, «У меня болит его нога»), был мужем Юреневой, переводил пьесы Пшибышевского, хотя и не знал польского языка.

С Юреневой у него были отношения бурные: они иногда запирались в гостинице на 8, на 12 часов — выяснять отношения. Оттуда из-за двери слышалось: Перепоймите меня!

Вообще Вознесенский был ушиблен Ницшеанством, символизмом, но не лишен дарования. ⟨...⟩

Воскресенье 7. Июль. Люшенька украсила веранду — занавесками. Таничка внизу работает над последними главами Мередита.
Я вожусь с Пантелеевым.
Сейчас был доктор Каневский. Нашел тяжелым положение Лиды. В самом деле: она теряет в весе, задыхается при малейшем движении, у нее ухудшилось зрение.
Меня он нашел вполне удовлетворительным стариком.
Между прочим, рассказал о проф. Василенко, что тот был персональным врачом Мао, жил в Китае, и когда направлялся в Москву, наши его арестовали на границе.
В газетах печатается речь Брежнева. В ней он упомянул меня. Не написать ли ему письмо — о своих задержанных книгах? Говорят, что изгнан из правительства один из самых ярых антисемитов и что «Огоньку» влетело за его статьи о Маяковском.

Понедельник 8. Июль. Говорят, что в «Литгазете» появятся статьи против огоньковского «Маяковского». Статьи будто бы заказаны Ц. К.

Четверг 11. Июль. Вчера были у меня Солженицын, Вознесенский, Катаев [нрзб.], Лидия Гинзбург, Володя Швейцер — не слишком ли много людей?

Солженицын решил не реагировать на публикацию «Литер. газеты». Говорит, что Твардовский должен побывать на аудиенции у Брежнева — с предложением либо закрыть журнал, либо осла-

бить цензуру. Приходится набирать материал на три книжки, чтобы составить одну.

Мы спустились вниз к обеду, но едва только С[олженицын] стал угощаться супом, пришел Андрей Вознесенский и сообщил, что Зоя и он едут сейчас в Москву. Солженицын бросил суп, попрощался со мною (обнял и расцеловал) и бросился к Лиде буквально на 3 минуты, и умчался с Андреем в Москву (с ним он тоже расцеловался при встрече).

Сегодня в «Правде» напечатана моя статейка о Чехове. Коля Коварский, отдыхающий в Доме творчества, *поздравил* меня с этим событием. А Женя Книпович сказала: «*Мы все* были очень рады, что вы заступились за Чехова». Как будто я получил орден.

Говорят, Лидия Гинзбург написала очень веселые эссеи о советском сервисе и проч.

Пятница 12. Июль. Кропаю Пантелеева. Вчера была Софья Краснова с моим шестым томом. Хунвейбины хотят изъять из него: статью о Короленко, о Шевченко, «Жену поэта» и еще что-то.

Пришлось согласиться на это самоубийство. 〈...〉

Среда 17. Июль. Сейчас ушла от меня Лили Брик со своим мужем Катаняном. Он написал сценарий «Чернышевский», который задержали, т. к. находят в нем много параллелей с нынешними событиями. Я питаю к ним обоим большую и непонятную мне самому симпатию. Лили рассказывает, что Яковлева напечатала в газетах письмо, что она никогда не собиралась выйти замуж за Маяковского, что она протестует против напечатания ее писем к матери. По словам Лили, к Яковлевой на днях приезжала Британская королева. «Вот на какой высоте стоит теперь эта дама». 〈...〉

Пятница 19. Июль.— Не играй с этим стариком! — сказала по-французски гувернантка на бульваре у Казанского собора, когда я стал перебрасываться мячом с ее питомицей, девочкой лет 8-ми.

Мне было тогда лет 50.

Я пришел в Публичную б-ку и стал жаловаться 70-летнему В. И. Саитову, заведующему отделом рукописей.

Он утешил меня.— Это ничего. А вот я шел с работы укутанный башлыком, и один мальчишка серьезно спросил меня:

— Дедушка, дедушка! Ты дедушка или бабушка? 〈...〉

Вторник 23. Июль. Был проф. Егоров из Тарту. Милый человек, молодой.

Встретил Нилина, который дивно, очень талантливо изобразил Сталина — процитировав наизусть страницы романа, который он сейчас пишет. С Нилиным это часто бывает. Он пишет с упоением большую вещь, рассказывает оттуда целые страницы наизусть, а потом рукопись прячется в стол и он пишет новое.

Среда 24. Июль. Пришла Софа Краснова. Заявила, что мои «Обзоры», предназначенные для VI тома, тоже изъяты. У меня сделался сердечный припадок. Убежал в лес. Руки, ноги дрожат. Чувствую себя стариком, которого топчут ногами.

Очень жаль бедную русскую литературу, которой разрешают только восхвалять начальство — и больше ничего.

Дрожат руки — милая Клара утешала меня.

Дала мне какую-то пилюлю — и мне полегчало. Приходила Мариэтта Шагинян, но я в это время лежал в беспамятстве. Пробую работать. ⟨...⟩

Понедельник 29. Июль. Работает у меня В. О. Глоцер.

О Щеголеве

Павел Елисеевич Щеголев был даровитый ученый. Его книга «Дуэль и смерть Пушкина» — классическая книга. Журнал «Былое», редактируемый им,— отличный исторический журнал. Вообще во всем, что он делал, чувствуется талант. Но «при всем при том» он был первостепенный пройдоха. Родился он в Воронеже. Другой воронежский уроженец А. С. Суворин, издатель реакционного «Нового времени», помогал ему в первые годы его литературной карьеры. Выдавал ему субсидию и печатал его ранние статьи в своем — тоже реакционном — «Историческом вестнике». Но Щеголев постепенно левел и вскоре сделал себе карьеру, как журналист прогрессивного лагеря. Все было бы прекрасно, но вдруг юбилей Суворина. Пышный, очень громкий юбилей. Щеголев скрепя сердце явился на этот юбилей приветствовать своего благодетеля. К его ужасу на юбилейный банкет явились фотографы — снять юбиляра среди его друзей и приверженцев. Ничего не поделаешь: Щеголев встал в самом заднем ряду. Но перед тем как фотографы щелкнули своими аппаратами, он уронил платок и нагнулся, чтобы его поднять. Таким хитроумным маневром он спас свою литературную честь. И когда в «Нов. времени» напечатали, что он присутствовал на юбилее Суворина, он говорил, [что] это враки. ⟨...⟩

Лет через пять случилось мне при поездке в Москву оказаться в одном вагоне со Щеголевым.

Ехал я заключить договор на новое издание Некрасова, над которым я работал лет пять. Цель своей поездки я, конечно, не скрыл от Щеголева. В те времена заключать договор было дело трудное. Нужно было бегать по всем этажам «Огиза», чтобы получить на договоре печати пяти или шести инстанций. Последняя инстанция — юридическая. Утомленный юрист с раздражением сказал:

— Сколько же выйдет изданий Некрасова? Только что я утвер-

дил договор какого-то на букву *Щ*. И вот новый договор на букву Ч.

— На букву *Щ*? Не Щеголев ли?

— Да, да! Щеголев!

Я бросился к редактору (кажется, Бескину). Но у Щеголева была сильная рука: Демьян Бедный, с которым он дружил. И я потерпел поражение.

Нужно же было так случиться, что и обратно мы ехали в одном купе. Он на нижней полке, я на верхней.

Едва он появился в вагоне, я стал шептать какие-то сердитые слова и громко демонстративно вздыхать.

— Что это вы вздыхаете?

— Я вздыхаю о том, что в нашей стране столько жуликов.

Он догадался, в чем дело.

Мы помолчали, и наконец он сказал:

— Хотите яблочко?

Я взял яблоко, и у нас установился мир. В Питере он отказался от Некрасова, которым никогда не занимался вплотную.

Я познакомился с ним в 1906 году в одном из игорных притонов. Его приговорили тогда к заключению в крепости, и он накануне ареста проводил в этом лотошном клубе свою, как он говорил, последнюю ночь. Я попал в этот притон впервые вместе с Сергеевым-Ценским. Мы взяли за рубль одну карту на двоих и сразу же выиграли. Не зная, что по этикету клуба выигравший должен сделать равнодушное лицо и негромко сказать: довольно — мы закричали в восторге: «Мы выиграли! мы выиграли! прекратите игру». Все обратили на нас внимание — в том числе Щеголев, сидевший в соседней комнате. Он по-домашнему расположился за круглым столом, за которым сидели сторублевые кокотки, чинные, как классные дамы, одетые богато, но скромно. Этим девам Щеголев раздавал по рублю, чтобы все они покупали себе карту лото, но когда кто-нибудь из них выигрывал, половину выигрыша она отдавала Павлу Елисеевичу. Он же держал себя так, словно он — размашистая натура — прожигает жизнь. Был он уже тогда толстяком с очень широкой физиономией — и было в его брюхатости и в его очень русском, необыкновенно привлекательном лице что-то чарующее. Чувствовался во всех его повадках прелестный талант.

Когда наступила революция, его при содействии Демьяна Бедного сделали главным оценщиком всех материалов, поступающих в госуд. архивы после конфискации этих материалов у частных лиц. Помню, как он ликовал, найдя портрет молодой Анны Керн. До тех пор был известен лишь один портрет этой женщины, запечатлев-

ший ее старухой. Между тем, хотелось ее изображение, относящееся к тому времени, когда [она] отдалась 26-летнему Пушкину, после чего он написал знаменитое:

Я помню чудное мгновенье!

Щеголев отыскал ее юный портрет и продал его Пушкинскому Дому. Пушкинский Дом (Котляревский, Ник. Пыпин) гордились новым приобретением. Но приехала из провинции какая-то бесхитростная архивистка и простодушно сказала:

— Ах, и у вас есть эта Волконская!

Щеголев продал Пушкинскому Дому портрет какой-то захудалой Волконской в качестве портрета Анны Керн. ⟨...⟩

Среда 31. Июль. Была Наталья Ильина, умница. Привезла сестру француженку (Ольгу) и ее дочь Катю. Ездили все вместе к Литвиновым. ⟨...⟩

Очень помогает Владимир Осипович,— идеальный секретарь — поразительный человек, всегда служащий *чужим* интересам и притом вполне бескорыстно. Вообще два самых бескорыстных человека в моем нынешнем быту — Клара и Глоцер. Но Клара немножко себе на уме — в хорошем смысле этого слова — а он бескорыстен самоотверженно и простодушно. И оба они — евреи, т. е. люди наиболее предрасположенные к бескорыстию. (См. у Чехова Соломон в «Степи») ⟨...⟩

Пятница 2. Август. Подготовили 6-ой том к печати — вместе с Вл. Ос. Глоцером и ждем Бонецкого вместе с Софой. Они прибыли ровно в 4. Я разложил на столе все статьи изувеченного тома. И тут Бонецкий произнес потрясающий монолог: оказывается, я обязан написать предисловие о том, что я долгим, извилистым, «сложным и противоречивым» путем шел в своей писательской карьере к марксизму-ленинизму и наконец пришел к этой истине, что́ явствует из моих книг «Мастерство Н-ва» и т. д.

А в этом томе я печатаю статьи, ошибки коих объясняются тем, что марксизм-ленинизм еще не осенил меня своей благодатью.

Эта чушь взволновала меня. Сердце мое дьявольски забилось. И я, наговорив всяких глупостей, прочитал написанное мною предисловие к VI тому, над которым мы столько трудились вместе с Марианной Петровной и Глоцером. К моему изумлению, приверженец Маркса и Энгельса вполне удовлетворился моим предисловием и сказал:

— Это как раз то, что нам нужно![28]

«Обзоры» мои остались неприкосновенны, нужно только выбросить из них упоминание о горьковской «Матери»,— maman, как игриво выразился Бонецкий.

Дальше оказалось, что многого в этом томе он не прочел и говорит лишь понаслышке. Мою статью «Литература в школе», забра-

кованную Софой, теперь признали вполне пригодной. Вообще оказалось все зыбким, неясным, но «Короленко», «Кнутом иссеченная Муза», «Жена поэта» полетели теперь вверх тормашками.

Потом Бонецкий стал рассказывать анекдоты, подали закуску и коньяк, и мы благодушно отправились гулять по Переделкину, встретили Нилина, посмотрели здание строящегося Дома творчества и — двоица отбыла вполне удовлетворенная и собою и мною́. ⟨...⟩

Среда 7. Август. ⟨...⟩ Пришла Маша Слоним, разбирали с ней детские книги, какие она могла бы перевести.

Милая Аня Дмитриева! Я все больше привязываюсь к ней.

Вечером — блаженный час с правнучкой.

Утром я долго смотрел на Маришу из окна. Она в полном уединении собирала песок с отдаленной кучи и носила его к крыльцу. Я сказал ей: что ты делаешь? Ей стало неловко, ей не хотелось играть при свидетелях, и она (о детское лукавство!) сказала:

— Уходи от окна, ты простудишься! ⟨...⟩

Вторник 17. Сентябрь. ⟨...⟩ С моими книгами — худо. «Библию» задержали, хотя она вся отпечатана (50.000 экз.). «Чукоккалу» задержали. Шестой том урезали, выбросив лучшие статьи, из оставшихся статей выбросили лучшие места. «Высокое искусство» лежит с мая, т. к. требуют, чтобы я выбросил о Солженицыне.

Я оравнодушил, хотя больно к концу жизни видеть, что все мечты Белинских, Герценов, Чернышевских, Некрасовых, бесчисленных народовольцев, социал-демократов и т. д., и т. д. обмануты — и тот социальный рай, ради которого они готовы были умереть — оказался разгулом бесправия и полицейщины.

Каждое утро ко мне приходит Маринка — мешает мне заниматься, но радует мое сердце — сама выдвигает ящик, достает магнит, прикладывает его ко всем скрепкам, достает лупу, смотрит на свои пальцы, говорит: «огромные», достает пружину, подаренную Россихой, и сует ее в башмак — и т. д. Сейчас узнал, что ко мне, возможно, приедет Солженицын, которого выследили в его деревне, где он писал. ⟨...⟩

Вторник 24. Сентябрь. Вчера был Май Митурич с дочкой Верочкой, лет 14-ти. Показывал талантливые рисунки к «Бармалею». Все очень цветасто — и страшно. Бармалей — страшилище. Умолял его убавить страха. ⟨...⟩

Среда 25. Сентябрь. В гости приехала Елена Сергеевна Булгакова. Очень моложава. Помнит о Булгакове много интереснейших вещей. Мы сошлись с ней в оценке Влад. Ив. Немировича-Данченко и вообще всего Худож. Театра. Рассказывала, как ненавидел этот театр Булгаков. Даже когда он был смертельно болен и будил ее — заводил с ней разговор о ненавистном театре, и он забывал свои

боли, высмеивая Нем.-Данченко. Он готовился высмеять его во второй части романа.

Четверг 26. Сентябрь. ⟨...⟩ Пишу письмо Люсичевскому (так у автора.— *Е. Ч.*) Карпова написала, что мне типография хочет рассыпать набор «Высокого искусства». Завтра приедет Ася Берзер, посоветуюсь с ней и решу.

Пятница 27. Сентябрь. ⟨...⟩ Вчера была поэтесса двадцати одного года — с поклонником физиком. Стихи талантливы, но пустые, читала манерно и выспренне. Я спросил, есть ли у нее в Институте товарищи. Она ответила, как самую обыкновенную вещь:

— Были у меня товарищи — «ребята» (теперь это значит юноши), но всех их прогнали.

— Куда? За что?

— Они не голосовали за наше вторжение в ЧехоСловакию.

— Только за это?

— Да. Это были самые талантливые наши студенты!

И это сделано во всех институтах.

Говорят, что в Союзе Писателей Межелайтис, Симонов, Леонов и Твардовский отказались выразить сочувствие нашей ЧехоСловацкой афере.

Суббота 28. Сентябрь. Восстановилась ясная погода. ⟨...⟩ Пишу письмо Лесючевскому — по совету Люши и Аси.

Утомлен очень. Ася Берзер — прелесть, талантливая журналистка, хороший критик, я был рад ее приезду. Она вместе с Люшей провожала на самолет Виктора Некрасова. Тот напился. И, увидев портрет Ленина, сказал громко:

— Ненавижу этого человека. ⟨...⟩

Вторник 1. Октябрь. ⟨...⟩ Отделывал письмо Люсичевскому.

Безумная жена Даниэля! Оставила сына, плюнула на арестованного мужа и сама прямо напросилась в тюрьму. Адвокатши по ее делу и по делу Павлика — истинные героини, губящие свою карьеру. По уставу требуется, чтоб в политических делах адвокаты признавали своих клиентов виновными и хлопотали только о снисхождении. Защитницы Павла и Ларисы — заранее отказались от этого метода[29].

С моей книжкой «Высокое искусство» произошел забавный казус. Те редакторы, которые потребовали, чтобы я изъял из книги ту главку, где говорится об Ал. Ис.,— не подозревали, что на дальнейших страницах тоже есть это одиозное имя. Я выполнил их требование — и лишь тогда Шубин указал им, что они ошиблись. С Конюховой чуть не приключился инфаркт. Я говорил с ней по телефону. Она говорит: это моя вина... теперь меня прогонят со службы. Что делать? Я сказал: у Вас есть единственный выход: написать мне строжайшее требование — официальное, и я немедленно подчинюсь приказу.

— Хорошо! — говорит она.— Я пришлю вам такой приказ — за своей подписью.

— Пожалуйста. 〈...〉

Пятница 4. Октябрь. Ну вот только что уехал Шеровер. Маленького роста джентльмен 62-х лет, очень учтивый, приятный — он приехал на симпозиум по черной металлургии; приехал из Венесуэлы, где он участвовал в строительстве сталелитейного завода. Он рассказывал свою жизнь — как молодым человеком он организовал заем Сов. Союза в Америке — уплатив нам в виде гарантии собственные 10 000 доллар. Рассказал историю моего портрета — совсем не ту, какая помнится мне; он купил этот портрет за 2500 долларов. В Иерусалиме у него вилла, там и висит мой портрет. Показал портрет сына, который сражался в Израиле-Арабской войне. Эта война волнует его. Он рассказал, как Насер за несколько дней до войны заявил, что русские друзья предупредили его, что Израиль собирается напасть на Арабов. Премьер Израиля предложил русскому посланнику в Израиле убедиться, что это не так, но тот отказался, и т. д.

По словам Шеровера он пожертвовал на кафедру русского яз. в израильском университете 10 000 долларов и теперь на постройку театра в Иерусалиме один миллион долларов.— «Люблю искусство!» — скромно признается он. 〈...〉

Понедельник 7. Октябрь. Сегодня, увы, я совершил постыдное предательство: вычеркнул из своей книги «Высокое искусство» — строки о Солженицыне. Этих строк много. Пришлось искалечить четыре страницы, но ведь я семь месяцев не сдавался, семь месяцев не разрешал издательству печатать мою книгу — семь месяцев страдал оттого, что она лежит где-то под спудом, сверстанная, готовая к тому, чтобы лечь на прилавок, и теперь, когда издательство заявило мне, что оно рассыпет набор, если я оставлю одиозное имя, я увидел, что я не герой, а всего лишь литератор, и разрешил наносить книге любые увечья, ибо книга все же — плод многолетних усилий, огромного, хотя и безуспешного труда.

Мне предсказывали, что, сделав эту уступку цензурному террору, я почувствую большие мучения, но нет: я ничего не чувствую кроме тоски — об[м]озолился.

Вторник 8. Октябрь. Сейчас ушел от меня известный профес. Борис Николаевич Делоне — дед злополучного Вадима, которого будут завтра судить[30]. Рассказал между прочим, как Сталин заинтересовался «Историей опричнины», разыскал книгу о ней и спросил, жив ли автор книги. Ему говорят: «жив».— «Где он?» — в тюрьме. «Освободить его и дать ему высокий пост: дельно пишет». Наше ГПУ — это те же опричники. Пр[офессо]ру Делоне это рассказывал сам автор — Смирнов.

Б. Н. Делоне — говорун. Рассказывал, как он принимал у себя

француженку Деруа. Все было хорошо, вдруг один оратор (Стечкин) сказал: «Жалко одно, что вами управляет такой длинноносый премьер» (де Голль). Все смутились. Бестактность. И вдруг француженка сказала: «он не только длинноносый — он глупый. Очень глупый».

Рассказывал, как молодой Якир в Кишиневе, где ставили памятник его отцу, вдруг сказал перед многотысячной публикой, собравшейся на торжество:

— Неужели не стыдно Ворошилову и Буденному, кои подписали смертный приговор моему отцу.

Делоне — 78 лет. Бравый старик. Альпинист. Ходит много пешком. На днях прошел 40 километров — по его словам. ⟨...⟩

Среда 9. Октябрь. Комната моя заполнена юпитерами, камерами. Сегодня меня снимали для «Чукоккалы»[31]. Так как такие съемки ничуть не затрудняют меня и весь персонал очень симпатичен, я нисколько не утомлен от болтовни перед камерой. Это гораздо легче, чем писать. Я пожаловался Марьяне (режиссеру), что фильм выходит кособокий: нет ни Мандельштама, ни Гумилева, ни Замятина, так что фотокамера очень стеснена. Она сказала:

— Да здравствует свобода камеры!

Дмитрий Федоровский (оператор):

— Одиночной.

Вечером читал Руфь Зернову: «На солнечной стороне». Хорошо. Написал ей письмо.

У Лиды второй день нормальная t°. А в Москве судят Павлика, Л. Даниэль, Делоне. Чувствую это весь день. Таня, Флора, Миша у меня как занозы[32]. И старуха Делоне...

Рассказ Ivy в «New Yorker'e» очень хорош.

Четверг 10. Октябрь. Снимали меня для Чукоккалы. Ужасно, что эта легкомысленная игривая книга представлена из-за цензуры — постной и казенной.

Выступать перед Юпитерами — для меня нисколько не трудно. И потерянного дня ничуть не жалко.

Сегодня второй день суда над Делоне, Даниэль, Павликом.

Все мысли — о них. Я так обмозолился, что уже не чувствую ни гнева, ни жалости.

Погода хорошая после снега и слякоти. Милый Александр Исаевич написал мне большое письмо о том, что он нагрянет на Переделкино вскоре, чему я очень рад.

Суббота 12. Октябрь. Была Ясиновская по поводу «Вавилонской башни». Работники ЦК восстали против этой книги, т. к. там есть Моисей и Даниил. «Моисей не мифическая фигура, а деятель еврейской истории. Даниил — это же пища для сионистов!»

Словом, придиркам нет и не будет конца.

По моей просьбе для разговора с Яс, я пригласил Икрамова,

одного из редакторов «Науки и Религии». Милый ч[елове]к, сидевший в лагере, много рассказывал о тамошней жизни. Как арестанты устраивали концерты в дни казенных праздников, как проститутки исполняли «Кантату о Сталине», выражая ему благодарность за счастливую жизнь. Рассказывал о том, как милиция любит вести дела о валютчиках, так как те дают взятки валютой.

Воскресенье 13. Октябрь. Пришла к вечеру Таня — с горящими глазами, почернелая от горя. Одержимая. Может говорить только о процессе над Павликом, Делоне, Богораз и др. Восхищается их доблестью, подробно рассказывает о суде, который и в самом деле был далек от законности. Все ее слова и поступки — отчаянные.

Теперь, когда происходит хунвейбинская расправа с интеллигенцией, когда слово интеллигент стало словом ругательным — важно оставаться в рядах интеллигенции, а не уходить из ее рядов — в тюрьму. Интеллигенция нужна нам здесь для повседневного интеллигентского дела. Неужели было бы лучше, если бы Чехова или Констэнс Гарнетт посадили в тюрьму.

Понедельник 14. Октябрь. Были у меня Лили Брик, Катанян и Краснощекова. Из-за рассказов о судьбище не сплю, и самые сильные снотворные не действуют.

Илюша Зильберштейн прислал мне свою книгу об Александре Бенуа. Там есть письма Ал. Н-ча, написанные в моем дряхлом возрасте. И он тоже, оказывается, страдал от бессонницы — и такая же у него была вялость после ночи, отравленной барбитуратами.

Книгу я прочитал всю и пришел к убеждению, что он был блистательный писатель (иногда графоман) и, если не считать двух-трех шедевров,— посредственный третьестепенный рисовальщик. Но какая богатая, разнообразная жизнь, сколько дружб, восторгов и успехов.

Пятница 18. Октябрь. Вчера вечером приехал Солженицын. Я надеялся, что он проживет недели две — он приехал всего на сутки. При встрече с ним мы целуемся — губы у него свежие, глаза ясные, но на моложавом лице стали появляться морщины. Жена его «Наташа», работающая в каком-то исследовательском Институте в Рязани, вдруг получила сигналы, что не сегодня-завтра ее снимут с работы. Уже прислали какого-то сладенького «ученого», которого прочат на ее место. Через час после того, как он уехал из своей деревенской избы, сосед С-на увидел какого-то высокого субъекта, похожего на чугунный памятник, который по-военному шагал по дороге. У соседа на смычке собака. Субъект не глядел по сторонам — все шагал напрямик. Сосед приблизился к нему и сказал: «уехали!..» Тот словно не слышал, но через минуту спросил: «когда?» Сосед: «да около часу, не больше». Незнакомец быстро повернул, опасливо поглядывая на собаку. Сосед за ним — на опушке стояла машина невиданной красоты (очевидно, итальянская), у машины

стояли двое, обвешанные фотоаппаратами и другими какими-то инструментами.

Все это Солж. рассказывает со смаком, но морщины вокруг рта очень тревожны. Рассказывает о своих портретах, помещенных в «Тайме». «Я видел заметки о себе в «Тайме» и прежде, но говорил: «нет того, чтобы поместить мой портрет на обложке. И вот теперь они поместили на обложке целых четыре портрета. И нет ни одного похожего». Вечером пришел к нему Можаев и прочитал уморительные сцены из деревенской жизни. «Как крестьяне чествовали Глазка». Очень хороший юморист,— и лицо у него — лицо юмориста.

Сегодня чуть свет Солженицын уехал.

Приехала Таня — успокоенная. Павлик — очень серьезен и ни на что не жалуется. Читает в тюрьме Пруста — занимается гимнастикой — готовится к физическому труду. 〈...〉

Воскресенье 20. Октябрь. 〈...〉 Интересно, что у большинства служащих, выполняющих все предписания партии и голосующих *за*, есть ясное понимание, что они служат неправде,— но — привыкли притворяться, мошенничать с совестью.

Двурушники — привычные. 〈...〉

Пятница 25. Октябрь. Услышал о новых подвигах наших хунвейбинов: они разгромили «Б-ку поэта» с Орловым во главе. В самом деле, эта «Б-ка» готовилась выпустить Ахматову, Гумилева, Мандельштама, «интеллигентских» поэтов и пренебрегла балалаечниками вроде Ошанина... Сняли Орлова, Исакович и других из-за того, что в книге Эткинда о переводчиках сказано, что Ахм., Заболоцкий и др. не имели возможности печатать свои стихи и потому были вынуждены отдавать все силы переводам.

Забавный разговор с милым поэтом Чухонцевым. Я дал ему антологию английских поэтов. Встречаю его:

— Ну как?

— Очень хорошие стихи. Особенно нравится поэт Анон. Что это за поэт? Какая у него биография?

Я угадал не сразу. Но вдруг меня осенило.— Это аноним! Anonimous. 〈...〉

Четверг 31. Октябрь. Мариночка сегодня сказала:

— У Володички нет прадеда. У мальчиков и девочек не бывает прадедов, прадеды у всех скоро умирают. Когда ты умрешь?

Был поэт Чухонцев. Вчера я встретил его вместе с Евтушенко и Борисом Слуцким.

Трехлетняя Леночка Пастернак, проходя мимо дачи Федина, говорит двухлетней Мариночке:

— Здесь страшно. Здесь страшный Федот.

Суббота 2. Ноябрь. С утра — Нина Кристенсен. Вечером — от 6 до 11 Евтушенко. Для меня это огромное событие. Мы говорили с ним об антологии, которую он составляет по заказу какой-то амер. фирмы. Обнаружил огромное знание в старой литературе. Не хочет ни Вяч. Иванова, ни Брюсова. Великолепно выбрал Маяковского. За всем этим строгая требовательность и понимание. Говорит, что со времени нашего вторжения в Чехию его словно прорвало — он написал бездну стихов. Прочитал пять прекрасных стихотворений. Одно о трех гнилых избах, где живут две старухи и старичок-брехунок и две старухи. Перед этой картиной изображение насквозь прогнившей Москвы — ее фальшивой и мерзостной жизни. Потом о старухе, попавшей в валютный магазин и вообразившей, что она может купить за советские деньги самую роскошную снедь, что она уже вступила в коммунизм, а потом ее из коммунизма выгнали, ибо у нее не было сертификатов. Потом о войсках, захвативших Чехословакию[33].— Поразительные стихи и поразителен он. Большой человек большой судьбы. Я всегда говорил, что он та игла, к-рая всегда прикасается к самому больному нерву в зубе, он ощущает жизнь страны, как свою зубную боль.

— Я ей-богу же лирический поэт,— сказал он.— А почему-то не могу не писать на политические темы, будь они прокляты. Слушали его Марина, Митя и Люшенька.

Воскресенье 3. Ноябрь. Сегодня был Олег Чухонцев с женой и вновь читал отличные стихи. О Державине, Дельвиге, о Баркове, о танках, о реставраторе. Читая, он жестикулирует. Разговаривая — тоже. Весь в черном, в черных очках — так что сильно движущиеся белые руки особенно заметны. ⟨...⟩

Среда 13. Ноябрь.

Пушкин! Тайную свободу
Пели мы вослед тебе.
Дай нам руку в непогоду,
Помоги в немой борьбе.

Блок

Пятница 22. Ноябрь. Вечером Евтушенко. Доминантная фигура. Страшно волнуется: сегодня его должны либо выбрать, либо провалить в Оксфорде (речь идет о присуждении ему звания Окс. профессора). «Подлец Амисс» выступил там с заявлением, будто Евт.— «официальный» поэт. А сам — фашист, сторонник войны во Вьетнаме.— «Сволочь Amiss! Не знают они нашего положения! Ничего не понимают!» Из его высказываний: «Я отдал бы пять лет жизни, лишь бы только было напечатано в России «В круге первом». У нас нет писательской сплоченности — от этого все мы гибнем». И излагает фантастический план захвата власти в Московском отделении Союза писателей!.. Читал стихи — лучшие о «ползучих березках» — то есть о себе, о своей литературной судьбе. К этому сводятся все его стихи. Пошли гулять. ⟨...⟩

Суббота 23. Ноябрь. Сегодня приехал ко мне второй центральный человек литературы Александр Исаевич. Борода длиннее, лицо изможденнее. Вчера приехал в Москву — и зá день так устал, что приехал ко мне отоспаться. Бодр. Рассказывает о дерзостных письмах, которые он написал в Рязанское отделение Союза писателей. Секретарь рязанского Обкома пожелал побеседовать с ним. Пригласил к себе. Он ответил (через Союз Пис.), что так как он не партийный, он не считает себя обязанным являться к нему и если он хочет, пусть придет в Союз и С-н охотно побеседует с ним, но, конечно, не с глазу на глаз (т. к. у нас нет никаких секретов). Ему поставили в вину, зачем он держится в стороне о[т] Рязанского Союза. Он ответил, что он во всякое время готов прочитать там «Раковый корпус», что же касается беседы, то вряд ли его слова будут иметь вес после того, как его оклеветала «Лит. газета». ⟨...⟩

Вторник 3. Декабрь. Я увидел в «Times» статью Харти о неизбрании Евтушенко в Оксфорд и решил отвезти ему вырезку. Мимо проезжал милиционер в мотоцикле, подвез. «Евтушенко болен» — сказала нянька. Оказалось, он три дня был в Москве и три дня пил без конца. «Пропил деньги на магнитофон»,— сокрушается он. Стыдно показать глаза женé. Прочитал мне стихи о голубом песцé, о китах[34]. «Удивляюсь, как напечатали о песце. «Должно [быть] вообразили, что я и в самом деле пишу о песцах. Их ввела в заблуждение подпись «Аляска». Пошли вместе к Слуцкому,— а потом по хорошему снежку ко мне. ⟨...⟩

1969

Март 6-ое. Вчера попал в больницу Кассирского. Персонал отличный. Врачи первоклассные. Но я очень плох. Весь отравлен лекарствами. ⟨...⟩

7 марта. ⟨...⟩ Позор и ужас. Обнаружился сосед, который обожает *телевизор*. Из-за стены слышен несмолкаемый лай. Прекратится он только в 12 часов. Если бы мне хоть намекнули, что возможно соседство с таким дикарем, я предпочел бы умереть у себя на диване. ⟨...⟩

24 марта. ⟨...⟩ Здесь мне особенно ясно стало, что начальство при помощи радио, и теле и газет распространяет среди миллионов разухабистые гнусные песни — дабы население не знало ни Ахматовой, ни Блока, ни Мандельштама. И массажистки, и сестры в разговоре цитируют самые вульгарные песни, и никто не знает Пушкина, Боратынского, Жуковского, Фета — никто.

В этом океане пошлости купается вся полуинтеллигентная Русь,

и те, кто знают и любят поэзию — это крошечный пруд. ⟨...⟩

31 марта. ⟨...⟩ Здесь наиболее замечательная личность Валентина Георгиевна Антипова, финансовый ревизор по проверке железнодорожного строительства Урала, Сибири и Дальнего Востока — и фабрик. Всю душу отдает воспитанию сына, 16-летнего юноши, очень милого. Житейский опыт у нее огромный. Все Сибирские города известны ей, как мне — Переделкино. Ум большой, самостоятельный. С мужем она давно рассталась — поневоле ей пришлось выработать мужские черты характера. К современности относится критически. Говорит, что после комсомольства не пожелала вступить в Партию, хотя ее отец — старый партиец.

Разговаривать с ней одно удовольствие — живой, деятельный, скептический ум.

Но... она даже не предполагает, что в России были Мандельштам, Заболоцкий, Гумилев, Замятин, Сомов, Борис Григорьев, в ее жизни пастернаковское «Рождество» не было событием, она не подозревала, что «Мастер и Маргарита» и «Театральный роман» — наша национальная гордость. «Матренин двор», «В круге первом» — так и [не] дошли до ее сознания. Она свободно обходится без них.

Так как я давно подозревал, что такие люди существуют, я стал внимательно приглядываться к ней и понял, что это результат специальной обработки при помощи газет, радио, журналов «Неделя» и «Огонек», которые не только навязывают своим потребителям дурное искусство, но скрывают от них хорошее. Выдвинув на первое место таких оголтело-бездарных и ничтожных людей, как Серафимович, Гладков, Ник. Островский, правительство упорно скрывает от населения стихи Ахматовой, Мандельштама, Гумилева, романы Солженицына. Оно окружило тайной имена Сологуба, Мережковского, Белого, Гиппиус, принуждая любить худшие стихи Маяковского, худшие вещи Гоголя. Во главе TV и радио стоят цербера, не разрешающие пропустить ни одного крамольного имени.

Словом, в ее лице я вижу обокраденную большую душу.

Рядом со мной в палате 202 живет окулист проф. Р. Как всякий самовлюбленный специалист, он может говорить только о своей специальности. Едва лишь мы познакомились, он изложил мне свою «систему», которую он применил к живописи. Потом он ловил меня в коридоре и излагал ее во время прогулки, потом он вздумал устроить вечернее чтение, объявив, что будет читать $^1/_4$ часа. Читал он час пять минут, не считаясь со слушателями, причем предпосылкой его воззрений была чепуховая мысль, будто то искусство хорошо, которое творится здоровыми людьми. Художник близорукий — плохой художник, дальнозоркий тоже. Дальтоников он уличает как преступников. Ему мерещится, что если он докажет, что Ван Гог был дальтоник, этим он в какой-то мере скомпроме-

тирует Ван Гога. [Сбоку приписано.— A John Turner?— *Е. Ч.*] Умница Инна Борисовна задала ему вопрос: итак, если бы у Достоевского не было падучей, он писал бы лучше? Осел ответил: несомненно... «Если бы Гойя не был болен, он еще лучше написал бы огромную серию «Капричо[с]»?» — «Еще бы». Врубель, по мнению идиота-профессора, свою синюю гамму изобрел из-за дальтонизма — а то, что эта синяя гамма была вехой в его истории, вкладом в искусство, так как ею посрамлялось и опровергалось захиревшее передвижничество, это ему невдомек. Самое требование «здорового искусства» по самому своему существу порочно. Оно выдвинуто в свое время советскими жандармами. Вследствие этого от публики прятали в подвалах шедевры импрессионистов, приобретенные Щукиным, который завещал их народу. От всех художников требовали «реализма». Из-за этого выдвинулись вонючие полуфотографы вроде Галактионова, Герасимова. Но даже советским идеологам пришлось уступить — устроили выставку Матисса, стали воскрешать художников «Мира Искусства», перестали употреблять в качестве ругательства имена Сера́, Сислея, Мане, Моне и т. д.

Р. декларировал свою любовь к искусству. Но ничем не показал, что любит его. Он сам рассказывал мне, что когда приехал в Россию из Индии Рерих, он, Р., долго разговаривал с ним по-английски, не подозревая, что Рерих — русский. Словом, не знал «Город строят», «Вороны» и др. произведений мастера. Невежество лошадиное!

Абсолютно лишенный эстетического вкуса, понимания школ и направлений в мировой живописи, он авторитетно толкует о ней, как знаток. Это так взволновало Валентину Георгиевну, что она, ссылаясь на духоту, ушла раньше времени. А я пожалел, что этому тупице я, по его настойчивой просьбе, еще не познакомившись с ним, подарил свою книжку «Чехов».

Ко всем его экскурсам в искусство годится один эпиграф:

Суди, голубчик мой, не выше сапога.

Его стараниями уничтожен Эдгар По, Уитмен, Гаршин, Бодлер, Достоевский.

Показываю одной из здешних интеллигенток снимки с картин Пиросманашвили.

— Ах, как я люблю шашлык,— сказала она, и здесь была вся ее реакция на творчество грузинского художника. ⟨...⟩

29 апреля. ⟨...⟩ Большую радость доставили мне в последнее время общение с И. А. К.— из 209 палаты. Несмотря на свою внешнюю грубость, это деликатный, добрый, щедрый, покладистый человек. Очень талантлив. Во время наших общих обедов в столовой он заставляет нас хохотать своими остроумными репликами. Трудолюбив, талантлив, упорен, бескорыстен. Но феноменально далек от общечеловеческой культуры. Он певец — и я верю — хороший. Но недаром Шаляпин смолоду водился со Львом Толстым, с Чеховым, с Горьким, с Леонидом Андреевым, с Бальмонтом,

с Головиным, с Кустодиевым, с Судейкиным,— недаром Собинов был одним из начитаннейших людей своего времени. Недаром Лядов мог в разговоре цитировать Щедрина и Достоевского — а Игорь Ал., не получив обще-гуманитарного образования, может цитировать лишь вонючую пошлятину современных казенных стихокропателей. Мне странно видеть молодого человека, кот. не знает ни Заболоцкого, ни Мандельштама, ни Ахматовой, ни Солженицына, ни Державина, ни Баратынского. Он пробует писать, и конечно, в его писаниях сказывается его богатая натура, но вкуса никакого, литературности никакой, шаблонные приемы, банальные эпитеты.

Между тем это один из самых замечательных людей, живущих в нашем коридоре. Остальные — оболванены при помощи газет, радио и теле на один салтык, и можно наперед знать, что они скажут по любому поводу. Не люди, а мебель — гарнитур кресел, стульев и т. д. Когда-то Щедрин и Кузьма Прутков смеялись над проектом о введении в России единомыслия — теперь этот проект осуществлен; у всех одинаковый казенный метод мышления, яркие индивидуальности — стали величайшею редкостью. ⟨...⟩

Медицинская сестра, кот. раньше работала на улице Грановского, где Кремлевская больница. Спрашиваю ее: «а кто был Грановский?» Не знает.

Получил письмо из Мельбурна, спрашиваю И. А.: «Где этот город?» Отвечает: «в Швеции», а потом: «в Швейцарии». Я наконец сообщаю ему, что этот город в Австралии.

Он: «Ах да, там были какие-то ска́чки!»

Только оттого, что туда ездили наши советские спортсмены, он знает, что существует этот город. ⟨...⟩

Вчера познакомился с женою Багрицкого. Седая женщина с тяжелою судьбой: была арестована — и провела 18 лет в лагере. За нашей больничной трапезой женщины говорят мелко-бабье: полезен ли кефир, как лучше изжарить карпа, кому идет голубое, а кому зеленое — ни одной общей мысли, ни одного *человеческого* слова. Ежедневно читают газеты, интересуясь гл. образом прогнозами погоды и программами теле и кино. ⟨...⟩

Я лежал больной в Переделкине и очень тосковал, не видя ни одного ребенка. И вдруг пришел милый Евтушенко и привез ко мне в колясочке своего Петю. И когда он ушел, я состряпал такие стихи:

Бывают на свете
Хорошие дети,
Но вряд ли найдется на нашей планете
Такие, кто был бы прелестнее Пети,
Смешного, глазастого, милого Пети.
Я, жалкий обломок минувших столетий,
Изведавший смерти жестокие сети,
Уже в леденящей барахтался Лете,

Когда сумасшедший и радостный ветер
Ворвался в мой дом и поведал о Пете,
Который, прибыв в золоченой карете,
Мне вдруг возвестил, что на свете есть дети,
Бессмертно веселые, светлые дети.

И вот я напряг стариковские силы
И вырвался прочь из постылой могилы. 〈...〉

1969

ПРЕДСМЕРТНЫЕ ЗАПИСКИ

16 июня. Понедельник. Вчера внезапно приехал с женой А. И. Солженицын. Расцеловались. Обедали на балконе. Погода святая: сирень расцвела у нас необыкновенно щедро,— кукушки кричат веселей, чем обычно, деревья феноменально зеленые. А. И. пишет роман из времен 1-й германской войны (1914—1917) — весь поглощен им. «Но сейчас почему-то не пишется. Мне очень легко писать то, что я пережил, но *сочинять* я не могу...» Жена подтверждает: когда у него застопорится работа, он становится мрачен, раздражителен. Жена («Наташа») ведет его архив —19 папок: одна папка почетных званий — он ведь академик, избранный какой-то из литер. академий Парижа, а также — почетный член американской академии. Жена благоговейно фотографирует ту крохотную дачку, где живет Солженицын, все окрестности,— и как он собирает грибы, и как он пишет в саду, за вкопанным в землю столбом, и как гуляет над рекой. Фото — цветные, она привезла с собою около 50 в коробке. Спрашивали у меня, нет ли у меня копии того отзыва об «Иване Денисовиче», который я написал в Барвихе, когда рукопись этой повести дал мне почитать Твардовский[1]. 〈...〉

16. Был Кассиль. Человек, с которым у меня многое связано. Не забуду, как он нежно и ласково вел меня домой после того, как меня прорабатывали в Союзе Писателей. Вообще он человек добрый — с хорошими намерениями. И семья у него превосходная: Ира — в Кино институте, Володя — хирург и т. д. 〈...〉

17/VI, вторник. Вожусь с первыми страницами статьи о детективах[2]. Пишу две страницы чуть ли не двадцатый раз — борюсь со своим проклятым склерозом. Процесс писания причиняет мне столько страдания, я начинаю так зверски ненавидеть себя — что обрушиваюсь на ни в чем неповинных людей. 〈...〉

Среда 18. Приехала Наташа Ильина и те самые учителя, которых

1969

Предсмертные записки.

16 июня понедельник. Вчера внезапно приехал с женой А. И. Солженицын. Расцеловались. Обедали на балконе. Погода свежая: Сирень расцвела у нас необыкновенно щедро, — кукушка кричит веселей, чем обычно, деревья фантастически зелены. А. И. пишет роман из времен I-й германской войны (1914–1917) — весь поглощен им. „Но сейчас почему-то не пишется. [illegible] пишу то, что я пережил, но сочинять я не могу...". Жена подтверждает: хотя у него [illegible] работа, он становится мрачен, раздражителен. Жена („Наташа") ведет его архив — 19 папок. Одна папка почетных званий — он ведь академик, избранный каким-то из литер. академий Парижа, а также — почетный член Амер. американской академии. Жена благоговейно [illegible] ко всему, что пишет Солженицын, все оберегает, — и как он собирает грибы, и как он пишет в саду.

Страница дневника. 16 июня 1969 г.

она встретила у меня в прошлом году, когда читала об Ахматовой. 〈...〉

Аничка мила бесконечно.

Аничка косит траву. Очень хорошо, но по-дилетантски. Нянька Елена Ефимовна, держа маленького Митю на руках, все же машет левой рукой, исправляя (в уме) ее ошибки. Вот стала размахивать Митей.

Все бьюсь над загадкой о ковре[3]. 〈...〉

25 июля. 〈...〉 В США сейчас очень плохая духовная атмосфера. Там побывал Елизар Мальцев, отец которого, темный крестьянин, работал там лесником и был сброшен браконьерами в воду, где и утонул. У Елизара там две сестры, одна — официантка в кафе, другая музыкантша. Он провел там месяц, собирая материалы, чтобы написать повесть об отце (но ведь подобная повесть написана Короленко «Без языка»). Елизар тоже «без языка». Он видал там только русских. Говорит, что нравы там бандитские, что негры творят там бесчинства и т. д. Обо всем этом поведала жена Елизара — милая Александра Ивановна, которая после чтения «Анти-Дюринга» стала православной (бывшая комсомолка). Это массовое явление. Хорошие люди из протеста против той кровавой брехни, которой насыщена наша жизнь, уходят в религию.

Была у меня очень собранная и целеустремленная миссис Рек, пишущая книгу о Пильняке. 〈...〉

Весь поглощен полетом американцев на Луну[4]. Наши интернационалисты, так много говорившие о мировом масштабе космических полетов, полны зависти и ненависти к великим амер. героям — и внушили те же чувства народу. В то время когда у меня «грудь от нежности болит» — нежности к этим людям, домработница Лиды Маруся сказала: «Эх, подохли бы они по дороге». Школьникам внушают, что американцы послали на Луну людей из-за черствости и бесчеловечия; мы, мол, посылаем аппараты, механизмы, а подлые американцы — живых людей!

Словом, бедные сектанты даже не желают чувствовать себя частью человечества. Причем забыли, что сами же похвалялись быть первыми людьми на луне. «Только при коммунизме возможны полеты человека в космос» — такова была пластинка нашей пропаганды.

Благодаря способности русского народа забывать свое вчерашнее прошлое, нынешняя пропаганда может свободно брехать, будто «только при бездушном капитализме могут посылать живых людей на Луну».

Заврашиеся шулера! 〈...〉

Была в ту среду Наташа Ильина. Читала отличное начало смехотворной пародии на нынешние кино-фильмы. 〈...〉

Сейчас позвонила Таня, что космонавты благополучно вернулись на Землю!

На Землю, которая одновременно рождает и подлецов и героев,

и феноменальных мудрецов и феноменальных невежд — и потом служит могилой для тех и других.

Огромное круглое кладбище от полюса до полюса издали (с Луны) кажется хорошенькой звездочкой. 〈...〉

2 августа. Был Евтушенко. Вместе с художником, фамилию к-рого я не запомнил. Читал вдохновенные стихи, читал так артистично, что я жалел, что вместе со мною нет еще 10 тысяч человек, которые блаженствовали бы вместе. Читал одно стихотворение о том, что мы должны, даже болея и страдая, благодарить судьбу за то, что мы существуем. Стихи такие убедительные, что было бы хорошо напечатать их на листовках и распространять их в тюрьмах, больницах и других учреждениях, где мучают и угнетают людей. Потом прочитал стихотворение, вывезенное им из Сибири, где он плыл на реке в баркасе, который сел на камень. Очень русское, очень народное. Был он в Казани, пишет о Ленине в 80-х годах, там секретарь Обкома дал ему один занятный документ. Стихи его совсем не печатаются. 12 редакций возвратили ему одни и те же стихи. Одно стихотворение, где он пишет, как прекрасно раннее утро в Москве, как хороша в Москве ночь — ему запретили оттого, что — значит, вы предпочитаете те часы, когда начальство спит?

Он готовился выступить в кино в роли Сирано де Бержерака. Но Ц. К. не разрешил: внезапно режиссеру было сказано: кто угодно, только не Евтушенко.

Режиссер отказался от Сирано.

Принес мне поэму об Америке.

Вот уже **4-ое сентября.** Сколько событий обнаружилось за это время. Налет милиции на мою дачу ради изгнания Ривов, которые приехали ко мне с 3-мя детьми[5]. 〈...〉 Я подружился с Наталией Иосифовной Ильиной, которая путем долгих усилий написала для «Нового Мира» отличную юмореску об экранизации классиков[6]. Я начал писать об детективах — и бросил. Начал о Максе Бирбоме и бросил. Сейчас пишу о том, как создавались мои сказки. Но память у меня ослабела — боюсь наврать. 〈...〉

Чудо нашего дома — правнук Митя. Ему нет и десяти месяцев, но он стал понимать нашу речь. Чуть скажут ему: «Сделай ладушки», он соединяет свои ручонки и хлопает ими. Это значит, что ему доступны и другие сигналы. Силач, сильный мозг — и радость жизни. Обычное его выражение — улыбка. 〈...〉

8 сентября. 〈...〉 Главное мое горе — дезертирство Клары. В пятницу в 2 часа она не попрощавшись ушла с работы (5 сент.). 6-го сентября мне позвонила ее приятельница Муза и сказала, что Клара оставила записку с просьбой сообщить мне, что она уехала. Между тем мне особенно тяжко без нее. Делаю всю черную работу: переношу поправки на дубликаты. Самое печальное, что Клара издавна задумала свой побег, а мне сообщила в конце, будто это только что пришло ей в голову.

9-го Вторник. Спасибо Марианне Петровне! Приехала сегодня помочь мне, села за машинку и переписывает мои статейки «Как я писал мои сказки». Увлекает меня эта статейка. Из-за нее я бросил писать о детективах. Дивное письмо от Ильиной.

Среда 10.

Четверг 11. Вчера был Евтушенко. Читал стихи о Сирано, в которых он проклинает Баскакова, запретившего ему выступать в этой роли.

— Покуда я не буду читать эти стихи — чтобы не повредить своей книжке, но чуть книжка выйдет, я прочту их с эстрады.

Дело в том, что в Гослите вновь набирают его книгу, набор которой был рассыпан месяца 3 назад. До выхода книги «я должен воздерживаться от всяких скандалов». ⟨...⟩

14 сент. 1969. Вчера вечером, когда мы сидели за ужином, пришел Евтушенко с замученным неподвижным лицом и, поставив Петю на пол, сказал замогильно (очевидно, те слова, к-рые нес всю дорогу ко мне):

— Мне нужно бросать профессию. Оказывается, я совсем не поэт. Я фигляр, который вечно чувствует себя под прожектором.

Мы удивлены. Он помолчал.

«Все это сказал мне вчера Твардовский. У него месяцев пять лежала моя рукопись «Америка». Наконец он удосужился прочитать ее. Она показалась ему отвратительной. И он полчаса доказывал мне — с необыкновенною грубостью, что все мое писательство — чушь».

Я утешал его: «Фет не признавал Некрасова поэтом, Сельвинский — Твардовского». Таня, видевшая его первый раз, сказала: «Женя, не волнуйтесь».

И стала говорить ему добрые слова.

Но он, не дослушав, взял Петю и ушел. ⟨...⟩

Был Володя Глоцер — мой благодетель и друг, который принял к сердцу все мои дела и переписал на машинке кое-какие рукописи. Это человек неимоверной доброты — и нужно было видеть, как он нянчил Марину, которая осталась беспризорной.

16 сент. Был вчера Андроников. Лицо розовое, моложавое, манеры знаменитости. Принес мне книжку своих очерков с моим предисловием. Книжка аппетитная. Только что вышла[7]. ⟨...⟩ Он гениально рассказал новеллу о приезде в Царское Село режиссера Пискатора, посетившего дом Алексея Толстого. Толстой пробует говорить ему по-немецки. Ich schreibe Peter der Grosse* — а по-русски ругающийся: к чорту слизистый суп; «если завтра дадут мне слизистый суп, я уйду из дому, как Лев Толстой» — хрюкающий и

---

* Я пишу о Петре Великом *(нем.)*.

хныкающий Алексей Николаевич — бессмертный шедевр Андроникова. Потом встреча Всеволода Иванова с Блоком — столь же гениальная. Я пригласил его на среду — когда будут Люша и Берзер.

Погода по-прежнему дивная, жаркая. Лидочка чувствует себя лучше. Великая труженица, несмотря на больные глаза, она полуслепая работает в Пиво-Водах все дни — и как талантливо! Я дал ей прочитать свои статьи о детских своих книжках, которую пишу сейчас. Все хвалили эти статьи. Она сразу нашла в них основные изъяны — и посоветовала, куда повернуть весь текст. ⟨...⟩

Читаю стихи Слуцкого. Такой хороший человек, очень начитанный, неглупый, и столько плоховатых стихов.

17 сентября. Среда. Жду Люшеньку и Асю Берзер, то есть очень любимых мною людей. Упросил Андроникова дать им концерт. ⟨...⟩ Какая-то добрая душа подписала меня в Америке на Life, Time и еще какие-то журналы. Я получил по одному номеру и — стоп. Перлюстраторы задержали все дальнейшие номера.

Прилег днем отдохнуть, вздремнуть. Приснилась Клара.

Ее поступки непонятны мне. Уехать в пятницу среди дня, не попрощавшись. На другой день Муся (или Муза?) позвонила мне, что она уехала. Я позвонил к ней на квартиру. Там сказали то, чего я не знал: уехала на две недели. Мне нужны папки, местонахождение которых знает она одна. У нее остался № «Life», коего она так и не вернула. Мой доктор дал ей указания, как лечить меня,— этих указаний она так и не довела до моего сведения. И все же без нее мне оказалось очень хорошо: и Володя, и Марианна Петровна, и Митя переписали мои рукописи, Люша читала мне и т. д. Володя достал для меня сведения из Книжной Палаты, свел меня с «Литгазетой», проведал, вообще дай ему бог счастья.

5 октября. Воскресенье. Вдруг утром сказали:

— Солдаты пришли!

Какие солдаты? Оказывается, их прислал генерал Червонцев для ремонта нашей библиотеки. Какой генерал Червонцев? А тот, который приезжал ко мне дня четыре назад — вместе с заместителем министра внутренних дел Сумцовым. А почему приезжал Сумцов? А потому, что я написал министру вн. д[ел] бумагу. О чем? О том, что милиция прогнала из моей дачи профессора Рива! У проф. Рива был намечен маршрут на Новгород. А он заехал ко мне в Переделкино. Его настигла милиция — человек 10, иные на мотоциклах, и вытурили — довольно учтиво.

По совету Атарова я написал министру заявление; министр прислал ко мне зама, не то с извинением, не то с объяснением. Сумцов, приехав, сообщил, как он рад, что случай дал ему возможность познакомиться со мною — и привез с собою генерала Червонцева, который признался, что он, не имея никакого дела

в М-ве Вн. Дел, приехал специально затем, чтобы познакомиться со мною. Это громадный толстяк, с добродушным украинским прононсом. Располагает к себе, charmeur. Они долго не могли уехать, т. к. их шофер ушел в лес искать грибы. Я повел их в библиотеку, где сейчас производится ремонт. Червонцев обещал прислать солдат, чтобы убрать библиотечный сад — и отремонтировать внутренность. Вот что значило восклицание:

— Солдаты пришли.

Из-за болезни я [не] вышел к ним, не поглядел на их работу, но говорят, что они расчистили весь участок вокруг библиотеки. Четверо остались на целую неделю — ремонтировать внутреннее помещение.

Около шести часов пришла докторша Хоменко — нашла у меня желтуху — и увезла меня в Инфекционный корпус Загородной больницы.

Усадила меня в свою машину — и несмотря на то, что ко мне в это время приехала австралийская гостья, доставила меня в больницу, где только что освободился 93 бокс, мой любимый. И застал свою любимую сестру Александру Георгиевну. ‹...›

6 октября. Понедельник. Я в Загородной больнице — в 93 боксе. Др. Никифоров и Римма Алексеевна в Л-де на съезде. Очень плохо спал. Еду дали мне казенную: рыба и каша. Взяли все анализы.

Вчера Марина:

— Вы едете в больницу?

Когда у нее торжественный разговор со мною, она всегда говорит *вы*.

Потом подумала:

— И не вернетесь?

Последний месяц окрашен огромным событием. Маленький Митя встал на ноги и стал ходить. Бесконечные вариации поз. Влюблен в мою палку, чуть завидит, начинает энергично подвигаться к ней и ползком и пешком. Феноменально здоров, баснословно спокоен. Марина — кокетка и шельма, избалованная, но — прелестная.

Сегодня будет смотреть меня начальница б-цы *Мария Николаевна*. Дежурная сестра *Вера Ивановна*.

Слабость у меня такая, что трудно стоять и зубы чистить.

С мая гостят Митя с Аней — оба милы и приятны.

Аню я искренне полюбил. Это деятельный светлый человек. Ее сила — насмешливый юмор.

Читаю Эллери Квин, последние выпуски. Вздор.

7 октября. Сестра Сима, делая мне укол, сказала:

— Да, камни в печени неприятная вещь!

Вот оно что! У меня камни в печени.

Мария Ник. вчера объяснила, что во всем виноваты *снотворные*, кот. я принимаю чуть не с двадцати лет.

Пробую писать, не пишется.

Мария Николаевна после долгой пальпации решила, что у меня больна печень, и назначила мне внутривенное вливание.

Пожелтел еще сильнее, чем прежде. Слабость ужасная. Пишу 3-й этюд о своих сказках. Тороплюсь, п. ч. знаю, что завтра голова моя будет слабей, чем сегодня.

У меня над дверью табличка

Подозр. болезнь Боткина. ⟨...⟩

9 октября. ⟨...⟩

Работаю над 8-м томом Кони[8]. Это был праведник и великомученик. Он боролся против тех форм суда, какие существуют теперь,— против кривосудия для спасения госуд. строя. Ирония судьбы, что эти благородные книги печатаются в назидание нынешним юристам.

В пять часов темп. *37,6.* ⟨...⟩

16 окт. Слабость как у малого ребенка,— хотел я сказать, но вспомнил о Митяе Чуковском и взял свои слова обратно. Митяй, которому сейчас 10 месяцев,— феноменальный силач, сложен, как боксер. В янв. 2000 года ему пойдет 32-й год. В 2049 году он начнет писать мемуары:

«Своего прадеда, небезызвестного в свое время писателя, я не помню. Говорят, это был человек легкомысленный, вздорный». ⟨...⟩

18 октября. Суббота. Вот какие книги, оказывается, я написал:

1. Некрасов (1930 изд. Федерации)
2. Книга об Ал. Блоке (1924)
3. Современники
4. Живой как жизнь
5. Высокое искусство
6. От двух до пяти
7. Чехов
8. Люди и книги 60-х годов и другие очерки (Толстой и Дружинин.— Слепцов. Тайнопись «Трудного времени» и т. д.)
9. Мастерство Некрасова
10. Статьи, входящие в VI том моего Собр. соч.
11. Статьи, входящие (условно) в VII том
12. Репин
13. Мой Уитмен
14. Серебряный герб
15. Солнечная

Авторские права на все эти книги я завещаю дочери моей Л. К. и внучке моей Елене Цезаревне Чуковским.

Кроме того, Елене Цезаревне Чуковской я вверяю судьбу своего архива, своих дневников и Чукоккалы.

Лидии Корнеевне и внучке Елене Цезаревне Чуковской

Как это оформить, не знаю

21 октября День Марии Борисовны

Вчера принял VI том Собрания моих сочинений — [illegible] Софья Краснова с очень милыми [illegible], а у них нет возражений, но [illegible] на это [illegible]

Вчера [illegible]

[illegible]

22 октября

Вчера была Марина — и Каширская Марина

Сегодня 3,4

Страница дневника. 21 октября 1969 г.

Первый день обошелся без рвоты.

Появилось нечто вроде аппетита. ⟨...⟩

[Вклеено письмо.— *Е. Ч.*]

Дорогая Лида. Я не просто не могу стоять на ногах, а я просто перестаю существовать, чуть сделаю попытку приподняться. Желудок у меня также отравлен, как и почки, почки — как печень. Две недели тому назад я вдруг потерял способность писать, на следующий день — читать, потом — есть. Самое слово *еда* вызывает во мне тошноту.

Нужно ли говорить, что все права собственности на мой архив, на мои книги «Живой как жизнь», «Чехов», «Высокое искусство», «Мой Уитмен», «Современники», «От двух до пяти», «Репин», «Мастерство Некрасова», «Чукоккала», «Люди и книги», «Некрасов» (1930), «Книга об Александре Блоке», я предоставляю Тебе и Люше. Вам же гонорар за Муху Цокот [не дописано.— *Е. Ч.*].

20 октября.

Книги, пересказанные мною: «Мюнхаузен», «Робинзон Крузо», «Маленький оборвыш», «Доктор Айболит».

Книги, переведенные мною:
Уичерли «Прямодушный», Марк Твен «Том Сойер»; первая часть «Принца и Нищего», «Рикки-Тикки-Тави» Киплинга. Детские английские песенки.

Сказки мои: «Топтыгин и Лиса», «Топтыгин и луна», «Слава Айболиту», «Айболит», «Телефон», «Тараканище», «Мойдодыр», «Муха Цокотуха», «Крокодил», «Чудо-дерево», «Краденое солнце», «Бибигон».

С приложением всех моих загадок и песенок —

Все это я завещаю и отдаю в полное распоряжение моей дочери Лидии Корнеевне и внучке Елене Цезаревне Чуковским.

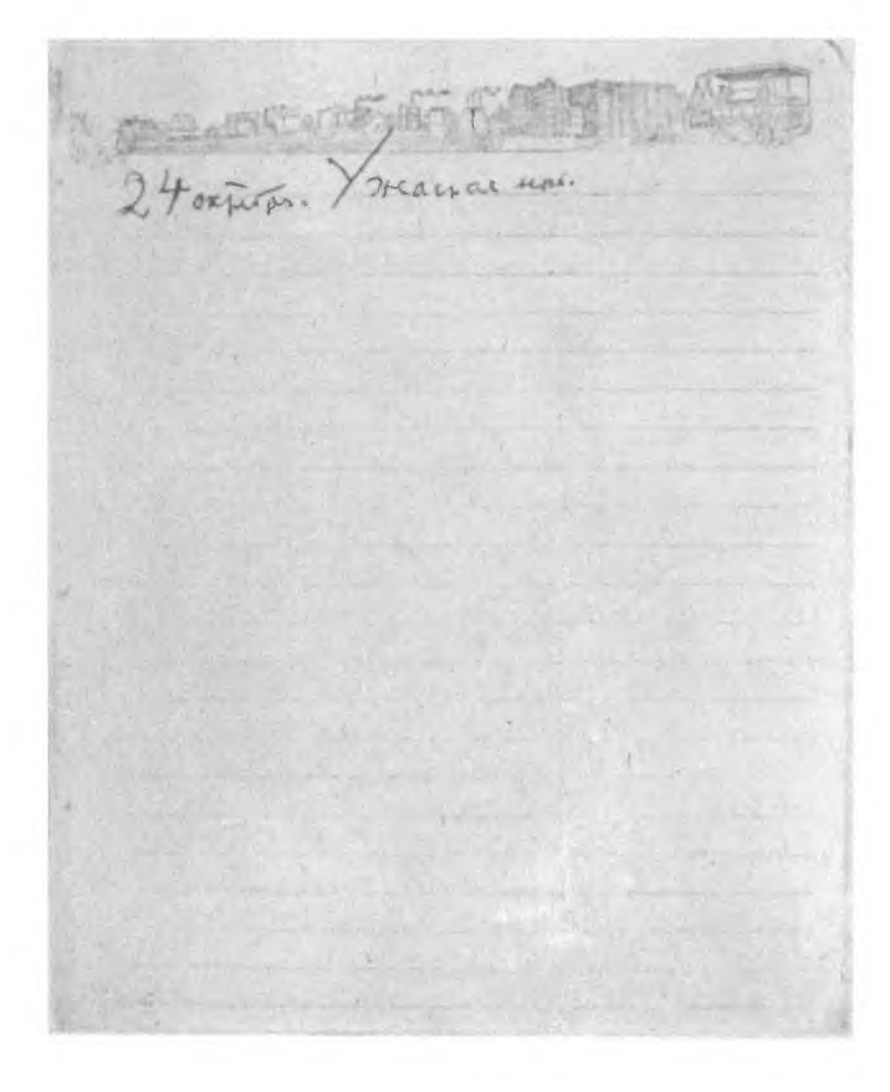
Как это оформить, не знаю.

21 октября. День Марии Борисовны.

Вчера пришел VI том собрания моих сочинений — его прислала мне Софья Краснова с очень милым письмом, а у меня нет ни возможности, ни охоты взглянуть на это долгожданное исчадие цензурного произвола.

Вчера был Володя Глоцер. ⟨...⟩

24 октября. Ужасная ночь.


24 октября. Ужасная

Последняя страница дневника. 24 октября 1969 г.

КОММЕНТАРИИ

1930

[1] Неточная цитата из «Облака в штанах». На самом деле: «Скажите сестрам, Люде и Оле,—/ему уже некуда деться».

[2] Правильно «Мишель Синягин».

[3] Речь идет о книге: «Мнимая поэзия. Материалы по истории поэтической пародии». Под ред. и с предисл. Ю. Тынянова. Книга вышла в изд-ве «Academia» в 1931 году.

[4] Строки из поэмы: «Саша», гл. 4.

[5] Бумаги Раисы Николаевны и Юрия Владимировича Ломоносовых сохранились в «Русском архиве в Лидсе» (Англия). В письмах к Р. Н. Ломоносовой в июле и августе 1925 г. К. Чуковский писал: «Есть в Москве поэт Пастернак. По-моему — лучший из современных поэтов... Мы все обязаны помочь Пастернаку. Ему нужна работа. Он отличный переводчик». И в другом письме: «Кстати, я хотел познакомить с Вами поэта Пастернака и дал ему Ваш адрес... Я считаю его одним из самых выдающихся русских поэтов, и мне больно, что он так беспросветно нуждается. Не могли бы Вы ему помочь?» В 30-м году Б. Л. Пастернак писал Д. П. Святополку-Мирскому: «Сюрпризом, который мне готовил К. И., я не мог воспользоваться. Но вряд ли он знает, какой бесценный, какой неоценимый подарок он мне сделал. Я приобрел друга тем более чудесного, то есть невероятного, что Р. Н. человек не «от литературы». Пастернак много лет переписывался с Р. Н. Ломоносовой. В 1926 году Р. Н. встретилась в Германии с первой женой Пастернака, Евгенией Владимировной. В 1927 году Ломоносовы стали невозвращенцами, но переписка с Пастернаком продолжалась. По его просьбе Р. Н. стала помогать М. И. Цветаевой, и между ними тоже возникла переписка. Письма Чуковского и Пастернака цитируются по публикации Ричарда Дэвиса «Письма Марины Цветаевой к Р. Н. Ломоносовой» (Минувшее. Исторический альманах. вып. 8. Atheneum, Paris, 1989, с. 208 и 225).

1931

[1] Книга А. К. Виноградова называется «Три цвета времени».

[2] Речь идет о повести В. П. Правдухина «Гугенот из Териберки» (1931). Повесть была, как гласит Литэнциклопедия, «единодушно осуждена критикой за искаженный показ большевистского руководства путиной, идеализацию центрального образа повести — классового врага (Лиллье)» (т. 9. М., 1935). См. также статьи: В. Залесский. Гугенот из Териберки на фронтах

пятилетки.— «Литературная газета». 27 окт. 1931 г.; А. Селивановский. Кулацкая тарабария.— «Правда», 4 ноября 1931 г.

[3] Стихотворение Б. Пастернака «Другу» было опубликовано в «Новом мире» (1931, № 4, с. 63), а затем вошло в сборник «Поверх барьеров».

[4] С 1924 по 1930 г. К. Зелинский входил в группу конструктивистов. В 1930 году, когда началась травля конструктивистов, Зелинский напечатал в журнале «На литературном посту» (№ 20) статью под названием «Конец конструктивизма». В этой статье, «доказывая свою лояльность», Зелинский обрушился на своих недавних единомышленников — Сельвинского, Багрицкого, Луговского.

[5] «Гутив» — Государственное управление туч и ветров. К. Чуковский с середины 20-х годов собирался написать фантастическую повесть о том, как люди научились управлять ветрами, дождями, солнечными лучами. В разное время он приглашал к себе в соавторы Б. Житкова, Ал. Толстого, Вяч. Вс. Иванова. Отзвуки этого замысла попали в «Чукоккалу» (с. 335 и 367). См. также воспоминания Вяч. Вс. Иванова «Игра» (в сб.: «Воспоминания о Корнее Чуковском» М., 1983, с. 115).

1932

[1] Речь идет о книге: Мариэтта Шагинян. Дневники. 1917—1931. Изд-во писателей в Ленинграде, 1932. Шагинян, видимо, исполнила просьбу и исключила «все, что относится к Шкловскому и его побегу». Одно время В. Шкловский был членом партии эсеров. О попытках его арестовать и об устроенной для этого засаде подробно рассказано в книге В. Каверина «Эпилог» (М., 1989).

[2] См. предисловие М. Горького в книге: В. А. Слепцов. Трудное время. Изд. З. Гржебина, Берлин — Пг. — М., 1922, с. 5—12.

[3] «Письмо в редакцию» Л. Сейфуллиной напечатано в «Правде» 8 марта 1932 г. в ответ на статью Б. Волина «Литература «парижского уезда» («Правда», 14 февраля 1932 г.). Волин обвинил Сейфуллину в том, что Сейфуллина в своих заграничных выступлениях... «призывала учиться у Бунина, Зайцева, Шмелева и других корифеев русской литературы». Отвечая Б. Волину, Л. Сейфуллина рассказала, что после одного из своих выступлений в Праге в 1927 г. она получила «коварную» записку: «Как относятся молодые русские писатели к писателям зарубежным — Бунину, Куприну, Мережковскому?» Сейфуллина ответила: «...это — корифеи русской литературы. А мы, писатели бурного времени, малограмотны... И мы читаем их, мы учимся у них, мы изучаем их».

[4] Возможно, речь идет о письме от 23.XI.22 г., впоследствии опубликованном в сб.: К. Чуковский. Из воспоминаний. М., 1958, с. 363.

[5] Фильм «Дворец и крепость» (1924) поставлен режиссером А. В. Ивановским по роману О. Д. Форш «Одеты камнем» и повести П. Е. Щеголева «Таинственный узник».

[6] Слова А. С. Пушкина о Мазепе. См.: «Полтава». Песнь первая.

[7] Речь идет о статье Виктора Шкловского «О людях, которые идут по одной и той же дороге и об этом не знают», напечатанной в «Литературной газете» 17 июля 1932 г. Шкловский называет «Восковую персону»

лучшей книгой Тынянова. Критик пишет, что «превосходна Екатерина I, увиденная впервые». Однако далее в статье говорится, что «люди в кабаке не пьют вина, а говорят о сортах вина и повторяют поразительные названия. Роман не вытекает из болота, из болота иногда вытекают большие реки, роман втекает в болото. Не кончаясь ничем... Кино, музей восковых фигур, немецкий экспрессионизм определяют Юрия Тынянова».

1933

[1] В сборнике статей Л. Троцкого «Литература и революция» (М., «Красная новь», 1923) помещена статья 1914 года «Чуковский» (с. 270—280). Троцкий так характеризует дореволюционную критическую деятельность Чуковского: «У него не только нет познаний даже в собственной его области, но, главное, нет никакого метода мысли...», «на поле литературной критики он ведет в методологическом смысле чисто-паразитическое существование...» Статью Чуковского о футуристах Троцкий называет «крикливой и гримасничающей». В статьях на другие темы Троцкий также не упускает случая обругать Чуковского (см. с. 66, 67, 255).

[2] Запись Вс. Иванова о романе М. Слонимского «Друзья» см.: «Чукоккала». М., 1979, с. 362.

[3] Речь идет о статье М. Горького «О кочке и точке» («Правда», 10 июля 1933), в которой есть такая фраза: «Некоторые искусники пытаются фабриковать рафинированную литературу, подражая, например, Дос-Пассосу, неудачной карикатуре на Пильняка, который и сам достаточно карикатурен».

[4] Муж Е. А. Драбкиной — Александр Иванович Бабинец.

1934

[1] М. Кольцов привез из Германии Губерта Лосте — десятилетнего немецкого пионера, сына коммуниста. Мария Остен, немецкая писательница-антифашистка создала повесть «Губерт в стране чудес», выпущенную в свет в 1935 году в Москве под редакцией М. Кольцова со вступительной статьей Георгия Димитрова. Через 50 с лишним лет брат Мих. Кольцова — Бор. Ефимов, завершая рассказ о судьбе героя книги Губерта и об ее авторе — Марии Остен, сообщает, что Губерт умер 36-ти лет от роду в больнице в Симферополе, а Мария Остен в 1955 г. реабилитирована посмертно. (См.: Б. Ефимов. Судьба журналиста. М., «Правда» (Б-ка «Огонька»). 1988, № 35, с. 9)

[2] Это письмо от 22 января 34 г. сохранилось (РО ГБЛ, ф. 620, карт. 63, ед. хр. 43). Гуковский просит Корнея Ивановича помочь ему в судебных хлопотах о своей пятилетней дочери. Жена Гуковского умерла, а ее родители отказывались отдать девочку отцу.

[3] С 26 января по 10 февраля 1934 года в Москве проходил XVII съезд ВКП(б). Речь Сталина была произнесена 26 января.

[4] 30 января 34 г. при полете на советском стратостате «Осовиахим-I» П. Ф. Федосеенко, А. В. Васенко и И. Д. Усыкин установили мировой рекорд высоты —22 км. Однако при спуске стратостат потерпел аварию и экипаж погиб.

[5] «Дело Веры Засулич». Предисл. П. Е. Щеголева. Л., Рабочий суд, 1925; Всеволожский-Гернгросс В. Н. и др. Игры народов СССР. М.— Л., 1933.

[6] Фильм «Подпоручик Киже» по сценарию Ю. Тынянова поставил режиссер А. Файнциммер (Белгоскино, 1934).

[7] *...Эйх[енбаум]а... изругали в «Лит. Газете»....*—1 марта 1934 г. в «Литературной газете» помещена статья Мих. Корнеева «Ранний Толстой и «социология» Эйхенбаума». Статья изобилует политическими обвинениями. Критик утверждает, что «две книги Эйхенбаума о творчестве Толстого, вышедшие из печати (первая в 1928 г., вторая в 1931 г.)...— яркое свидетельство того, что формалисты стоят на прежних позициях и что борьба с ними по-прежнему актуальна... Эйхенбаум считает научным «открытием» свои рассуждения о деидеологизации толстовских героев... Эйхенбаум проповедует, что источники художественной гениальности кроются не в социальной действительности, а в самой «натуре» человека... Ни разу не упоминая о ленинских работах, Эйхенбаум... пытается в своих книгах «опровергнуть» основные ленинские положения о творчестве Толстого». Взгляды Эйхенбаума, по мнению критика, «ярко выражают активизацию формализма в советском литературоведении и его скрытую замаскированную борьбу против марксистской критики».

[8] Речь идет о книге: Н. Радлов. Воображаемые портреты. Изд-во писателей в Ленинграде. 1933. Шарж на В. Каверина помещен на с. 43.

[9] В ленинградском Доме ученых состоялся диспут о повести М. Зощенко «Возвращенная молодость». Отчет об этом диспуте за подписью «Б. Р.» помещен в «Литературной газете» 26 марта 1934 г. под заглавием «Победа или поражение». В статье рассказано, что «зал Дома Ученых заполнили крупнейшие авторитеты ленинградской науки», что Зощенко принес на диспут пачку читательских писем. «...Суровым критиком неожиданно оказался академик Н. С. Державин»,— говорится далее. «Для исследователя литературы,— сказал Н. С. Державин,— не существует терминов «нравится» или «не нравится»... Мы рассматриваем произведение с точки зрения идейной направленности... В первой части Зощенко очень мастерски представляет нам «проблематичного автора». Это вымышленный автор, мещанин до костей, мещанин от науки... Эта часть книги написана в своеобразном стиле Зощенко. Я не поклонник этого стиля. Я не знаю сейчас социальной среды, которая бы говорила на этом жаргоне — в прошлом так говорили дворники и номерные... На каких идеологических позициях стоит Зощенко?..» Зощенку защищал К. Федин, который заявил, что «повесть диалектична. И это хорошо, что у писателя есть свой голос... Зощенко сочетает научный материал с высокой настоящей литературой. То, что академику Державину кажется «шутовским сказом»,— это результат изысканности... Путь Зощенко — это путь большого преодоления, путь настоящего сопротивления». Академик А. Ф. Иоффе сказал: «Я не могу согласиться с оценкой, данной Н. С. Державиным». И добавил: «Я не историк литературы, я физик, и выступаю здесь как читатель, поэтому я смею заявить, что повесть Зощенко мне нравится...» В своем заключительном слове Зощенко заметил: «Очевидно академик Державин никогда не ходит по улице и не ездит в трамвае, если он считает, что язык моих героев уже не существует».

[10] *...его немка ввязывается в разговор.*— Вероятно, речь идет о Марии Остен. См. примеч. 1.

[11] Неточная цитата из некрасовских «Коробейников» (VI): «А за что вы, черны вороны,/Очи выклевали мне?»

[12] Вероятно, речь идет о статье «Единоборство с Шекспиром», опубликованной в журнале «Красная новь» (1935, № 1, с. 182—196). Эта статья, как и другие работы Чуковского по теории художественного перевода, вошла впоследствии в его книгу «Высокое искусство».

[13] *Роман о Кронштадте* — роман Н. Чуковского «Слава» (Л., ГИХЛ, 1935).

[14] См. статьи К. Чуковского в «Правде»: «Репин: к 90-летию со дня рождения», 5 января 1935 и «Искусство перевода», 1 марта 1935.

1935

[1] Л. Б. Каменев. Чернышевский. М., 1933 (2-е изд. 1934).

[2] После ареста и гибели Каменева его имя не появлялось в печати вне обличительного контекста пятьдесят лет. Так, каталог изд-ва «Academia», директором которого был Л. Б. Каменев, не содержит никаких упоминаний о нем (М.: Книга, 1980). Лишь в 1988 г. в журнале «Советская библиография», № 3, появилась библиография статей Л. Каменева, составленная В. В. Крыловым. Журнальный вариант библиографии не включает статей Л. Б. Каменева о литературе. В. В. Крылов любезно познакомил меня с неопубликованной частью своей работы и сообщил, что *статья об Андрее Белом* — это предисловие Каменева к книге Белого «Начало века» (М.—Л., 1933). На это издание отозвался Владислав Ходасевич в «Возрождении» (28 июня, 5 июля 1934 г.). В своей рецензии Ходасевич писал, в частности, о каменевском предисловии: «Умным человеком Каменева назвать трудно. Но он и не глуп. Несмотря на марксистскую тупость, в обширной своей вступительной статье он затронул ряд существенных тем, возникающих при чтении беловской книги. Поэтому мы отчасти даже воспользуемся его статьей, не потому, что очень хотим с ним полемизировать, а потому, что его замечаниями до некоторой степени подсказывается план наших собственных» (цит. по: Владислав Ходасевич. Статьи. Записная книжка.— «Новый мир», 1990, № 3, с. 173—179). *Статья о Полежаеве* — см. статью Л. Каменева в кн.: А. И. Полежаев. Стихотворения. М.—Л.; «Academia», 1933, с. 1—35. К сожалению, во всех четырех экземплярах, хранящихся в Библиотеке им. В. И. Ленина, эти страницы аккуратно вырваны.

[3] М. Горький опубликовал в «Правде» серию статей о современной литературе под заглавием «Литературные забавы». Горький с похвалой пишет о Мирском и, в частности, замечает: «Дм. Мирский разрешил себе появиться на землю от родителей-дворян, и этого было достаточно, чтобы на него закричали: как может он, виновный в неправильном рождении, критиковать книгу коммуниста?.. [Речь идет о романе А. Фадеева «Последний из Удэге».— *Е. Ч.*] Следует помнить, что Белинский, Чернышевский, Добролюбов — дети священников, и можно назвать не один десяток искренних и крупных революционеров, детей буржуазии, которые вошли в историю

русской революции как честнейшие бойцы, верные товарищи Ильича» (24 января 1935 г.).

[4] «Поликратов перстень» — название известной баллады Шиллера, переведенной В. Жуковским. В основе баллады — несколько глав из «Истории» Геродота. Геродот рассказывает о Поликрате Самосском (VI век до н. э.), за которым везде следовала удача. Египетский царь Амасид написал ему: «...я желал бы, чтобы удачи сменились неудачами... я никогда не слышал, чтобы кто-либо, пользуясь во всем удачею, не кончил бы несчастливо и не был бы уничтожен окончательно». Амасид посоветовал Поликрату закинуть подальше самую драгоценную для него вещь, чтобы она не попадалась на глаза. Поликрат забросил далеко в море свой любимейший перстень, однако через неделю рыбак выловил рыбу, нашел в ее брюхе этот перстень и вернул его Поликрату. Узнав об этом, Амасид понял, что с Поликратом случится страшное несчастье. Действительно, вскоре персидский сатрап Оройт заманил к себе Поликрата и приказал повесить его вниз головой. В наши дни, зная о гибели Мирского в заключении, нельзя не задуматься о зловещем пророчестве его реплики по поводу горьковских похвал.

[5] В статье «Литературная гниль» («Правда, 20 января 1935, с. 4) Д. Заславский негодует по поводу того, что «Литературная газета» «с ликующим видом поведала читателю (26-XII), что... уже в гранках находится роман Достоевского «Бесы». Издает его «Академия»... Прямая ложь, будто роман «Бесы»,— это крупнейшее художественное произведение XIX века,— продолжает Заславский.— Контрреволюционную интеллигенцию всегда тянуло к «достоевщине», как к философии двурушничества и провокации, а в романе «Бесы» — это двурушничество размазано с особым сладострастием. Роман «Бэсы» — это грязнейший пасквиль, направленный против революции...» Далее Заславский апеллирует к авторитету Горького и Ленина: «Известно, с какой страстью протестовал Алексей Максимович Горький, когда незадолго до революции Московский Художественный театр поставил инсценировку «Бесов», и как «завыла» тогда против Горького вся буржуазная печать, и как сочувственно отнесся к выступлению Горького Ленин». Завершается статья таким аккордом: «...из «Бесов» контрреволюция добывала свои клеветнические «аргументы». В этих условиях... выбор «Бесов» для отдельного издания... нельзя не признать по меньшей мере странным».

Горький немедленно возразил Заславскому: «...я решительно высказываюсь за издание «Академией» романа «Бесы»... Делаю это потому, что я против превращения легальной литературы в нелегальную, которая продается «из-под полы», соблазняет молодежь своей «запретностью»... Врага необходимо знать, надо знать его «идеологию»... В оценке «Бесов» Заславский хватил через край... Советская власть ничего не боится, и всего менее может испугать ее издание старинного романа. Но... т. Заславский доставил своей статейкой истинное удовольствие врагам и особенно — белой эмиграции. «Достоевского запрещают!» — взвизгивает она, благодарная т. Заславскому» (24 января).

Однако Заславского не убедили доводы Горького: «...Если быть последовательным,— ответил он в «Правде» 25 января,— то для знакомства с

идеологией классового врага, по Горькому, надо печатать не только старое барахло 60—70 гг., но и современных... Почему ограничиваться старинными романами, а не преподнести нашей публике Арцыбашевых и Сологубов с их гораздо более свежей клеветой против революции?.. Из предложений подобного рода вытекает вывод о пользе издания контрреволюционной литературы Троцкого, Зиновьева, Каменева, известных руководителей правой оппозиции... Не следует с благодушной терпимостью открывать шлюзы литературных нечистот».

[6] Кроме Заславского 28 января в «Правде» выступил против Горького Ф. Панферов со своим «Открытым письмом...». Горький задел Панферова в «Литературных забавах». В ответ Панферов разоблачил тех писателей, которых Горький хвалил: «В своей статье вы настойчиво расхваливаете книгу Зазубрина «Горы». Известна и нам сия книга... Разве секрет, что Зазубрин клеветнически писал о войне, якобы объявленной партией крестьянству... Вы поднимаете до небес Мирского и обрушиваетесь на Фадеева». В заключение Панферов напоминает Горькому «мысль товарища Сталина о том, что кадры надо выращивать с такой же любовью, с какой садовник выращивает плодовое дерево».

[7] В комментариях к письмам Игоря Грабаря упомянута история этого портрета: «В январе 1935 г. я съездил в Ленинград, где написал портрет К. И. Чуковского, читающего вслух отрывок из «Чудо-дерева». Он, кажется, вышел довольно острым как по композиции, развернутой горизонтально, так и в цветовом отношении,— зеленому фону, красной обложке книжки, серебристым волосам и серому пиджаку» (И. Грабарь. Моя жизнь, с. 318). Портрет датирован 20 января 1935 г. Впервые был показан на весенней выставке работ московских художников в 1935 г.; на юбилейной выставке Грабаря экспонировался как собственность Третьяковской галереи; ныне — в Киевском музее русского искусства» (Игорь Грабарь. Письма. 1917—1941. М.: Наука, с. 388).

[8] В 5-м издании «От двух до пяти» (Л.: Худож. литература, 1935) уцелели только отрывки из первой части «Крокодила».

[9] Статья «Детский сахарин» — о книге Н. Венгрова «Песенки с картинками для маленьких» (М., 1935) опубликована в «Лит. газете» 20 апреля 1935 г.

[10] *...статья о Репине...*— К. Чуковский. Илья Репин. (Воспоминания).— «Новый мир», 1935, № 5, с. 195—212.

[11] *...Начальник Колымы... латыш* — Эдуард Петрович Берзин. Кинофильм «Колыма» — документальный этнографический немой фильм в 4-х частях, снятый по заданию НКВД. Оператор — Савелий Савенко. О том, что там работают заключенные, в фильме ни словом не упоминается. В прокат фильм, вероятно, не выходил, в печати сведения о нем отсутствуют (сообщил С. Д. Дрейден).

[12] Известная нам статья Д. Мирского «Роман Тынянова о Грибоедове», опубликованная в парижском еженедельнике «Евразия» (1929, № 13), не содержит тех суждений, которые упоминает Тынянов.

[13] Имеется в виду статья Д. Заславского «Детская книга для взрослых» («Правда», 25 апреля 1935).

[14] *Пыпины заняли... часть нашей квартиры...*— Речь идет об Н. А. Пы-

пине и его жене Екатерине Николаевне. В начале 1935 года их выслали из Ленинграда как дворян. Корней Иванович деятельно хлопотал за них, ходил в Смольный, сохранилось его письмо к М. Горькому: «Алексей Максимович. Вы знаете, как много сделала в свое время семья Пыпиных для Чернышевского. Когда Чернышевский был сослан в Сибирь, Пыпины воспитали его детей, приютили у себя его жену, двадцать лет оказывали ему денежную помощь,— и вот теперь единственный член этой семьи Николай Александрович Пыпин ссылается из Ленинграда на Восток.

Я уверен, что тут недоразумение. Вне библиотек и архивов он не может работать. Он только что закончил отличную работу по Некрасову («Некрасов как драматург») и в настоящее время редактирует мемуары и письма Репина. Вся работа немыслима вне Ленинграда. Спасите этого человека. Ему 60 лет. Никаких преступлений за ним нет. Сейчас я прочитал в газетах прилагаемую при сем заметку, и мне стало больно, что по недоразумению этот ближайший родственник Чернышевского может так жестоко пострадать». К письму приложена газетная вырезка «Из тюремной библиотеки Н. Г. Чернышевского». В статье говорится, что Н. А. Пыпин передал в дар лит. музею три книги из числа тех, которые были с Н. Г. Чернышевским в Алексеевском равелине Петропавловской крепости («Правда», 24 марта 1935 г.).

В результате этих хлопот Пыпиных телеграммой вернули с дороги в Ленинград. Однако они опасались жить в своей прежней квартире (Литейный проспект, д. 9), и туда переехала Л. К. Чуковская. А Пыпины въехали в ту часть квартиры Чуковских, которую занимала семья Лидии Корнеевны.

15 *...бактериолог, брат Вени, замечательный ученый...*— Тынянов говорит о брате Вениамина Каверина — знаменитом микробиологе Льве Александровиче Зильбере. Подробнее о нем см.: В. А. Каверин. Эпилог. М., 1989. Глава «Старший брат», с. 120—165.

1936

1 *Паст[ернак]... пишет чорт знает какую ерунду, напр[имер] в «Известиях».*— Тынянов имеет в виду два стихотворения Б. Пастернака: «Я понял: все живо...» и «Мне по душе строптивый норов...» из цикла «Художник». Во втором стихотворении были такие строки: «...И смех у завалин,/ И мысль от сохи,/И. Ленин, и Сталин,/И эти стихи». Через два месяца, выступая на III Пленуме Правления Союза Советских писателей в Минске, Пастернак высказал об этих стихах то же мнение, что и Тынянов: «В течение некоторого времени я буду писать плохо с прежней точки зрения, впредь до того момента, пока не свыкнусь с новизной тем и положений, которых хочу коснуться,— сказал Пастернак.— Плохо это будет со многих сторон: с художественной, ибо этот перелет с позиции на позицию придется совершить в пространстве, разреженном публицистикой и отвлеченностями, мало образном и неконкретном. Плохо это будет и в отношении целей, ради которых это делается, потому что на эти общие для всех нас темы я буду говорить не общим языком, я не буду повторять вас, товарищи,

а буду с вами спорить, и так как вас — большинство, то и на этот раз это будет спор роковой и исход его в вашу пользу... Два таких стихотворения я напечатал в январском номере «Известий», они написаны сгоряча, черт знает как, с легкостью, позволительной в чистой лирике, но на такие темы, требующие художественной продуманности, недопустимой, и, однако, так будет, я не могу этого переделать, некоторое время я буду писать как сапожник, простите меня». В 1957 году Пастернак написал, что в стихотворении «Мне по душе строптивый норов...» он «разумел Сталина и себя... Бухарину хотелось, чтобы такая вещь была написана, стихотворение было радостью для него. Искренняя, одна из сильнейших (последняя в тот период) попытка жить думами времени и ему в тон». Подробнее см.: Б. Пастернак. Собр. соч. в пяти томах. Т. 2, М., 1989, с. 7, 142, 619, 620, 642.

[2] Письмо Л. Брик к И. Сталину и резолюция И. Сталина на этом письме теперь опубликованы полностью. В сталинской резолюции, адресованной Ежову, есть такие слова: «Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи. Безразличие к его памяти — преступление... Привлеките к делу Таль и Мехлиса и сделайте, пожалуйста, все, что упущено нами. Если моя помощь понадобится, я готов». Напечатаны также воспоминания Л. Брик и В. Катаняна и рассказ Л. Брик, записанный в 1968 году. Письмо Лили Брик датировано 24.11.34 г. По ее рассказу, записанному в 1968 году (рассказ несколько отличается от записи Чуковского), письмо было составлено по совету ее мужа, В. М. Примакова, крупного советского военачальника. (См.: Лиля Брик. «Я не могла поступить иначе». Публикация Ар. Кузьмина.— «Слово», 1989, № 5, с. 79—80, а также — В. А. Катанян. О Владимире Маяковском. Не только воспоминания. Публикация В. В. Катаняна.— «Дружба народов», 1989, № 3, с. 220—227; Владимир Дядичев. Прошлых лет изучая потемки.— «Москва», 1991, № 5, с. 187—200.)

[3] Речь идет о статьях: Лидия Чуковская. О грубых словах и безликом языке.— «Комс. правда», 27 января 1936; Корней Чуковский. Дела детские.— «Лит. газета», 26 января 1936.

[4] «Фельетоном» К. И. называет свою статью о Квитко «Замечательный поэт» («Красная газета», 2 июня 1936 г.).

[5] Возможно, именно в этот день Б. Игнатович сделал фотографии Б. Пастернака и К. Чуковского, ранее ошибочно отнесенные к 1932 году. См., напр., сб.: Воспоминания о Корнее Чуковском. М., 1983, с. 121.

[6] МЮД — Международный юношеский день. Проводился ежегодно в сентябре по решению Бернской международной конференции социалистической молодежи (1915).

[7] 26 ноября «Правда» сообщила: «Вчера открылся Чрезвычайный УП Всесоюзный Съезд Советов. С докладом о проекте Конституции Союза ССР выступил вождь народов СССР и всего трудящегося человечества, творец Конституции товарищ Сталин».

1937

[1] 6 августа в Киеве, по дороге из Ленинграда в Кисловодск, на квартире у родителей был арестован муж Л. К. Чуковской, физик-теоретик

М. П. Бронштейн. Подробнее о нем см.: Г. Е. Горелик, В. Я. Френкель. Матвей Петрович Бронштейн. М.: Наука, 1989.

1939

[1] *...фельетон о Радловой.*— Искалеченный Шекспир.— «Правда», 25 ноября 1939. «Астма у Дездемоны» [«Отелло» в перев. А. Радловой].— «Театр», 1940, № 2, с. 98—109.

[2] Речь идет об «Истории одного восстания» («Красная новь», 1939, кн. 10—11, с. 27—71); повесть о Чернышевском и Михайлове не была написана. О замысле автора см.: Лидия Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. 1938—1941. М., «Книга», 1989, примеч. на с. 58—59.

[3] *...я написал Лиде о Матвее Петровиче.*— За этой лаконичной записью скрывается известие о гибели М. П. Бронштейна. В результате длительных хлопот Чуковский пробился на прием к Председателю Военной коллегии Верховного Суда СССР В. В. Ульриху и узнал от него о смерти своего зятя. К. И. с оказией передал из Москвы в Ленинград такую записку дочери: «...Мне больно писать тебе об этом, но я теперь узнал наверняка, что Матвея Петровича нет в живых. Значит, хлопотать уже не о чем. У меня дрожат руки, и больше ничего я писать не могу» (цит. по кн.: Лидия Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. 1938—1941. М., 1989, примеч. на с. 48).

1940

[1] *Шурочка Богданович* — старшая дочь Т. А. Богданович. Имя писательницы Т. А. Богданович часто встречается на страницах дневника Чуковского. Она была крестной матерью дочери К. И.— Лидии, К. И. с детства знал ее четверых детей. Шурочка Богданович была арестована в Харькове в конце 30-х гг., вскоре после ареста ее мужа, инженера. Она погибла в тюрьме в ходе следствия, но в 40-м году ни Чуковский, ни Тарле об этом еще не знали.

[2] Ахматова говорит о статье В. Перцова «По литературным водоразделам», опубликованной 27 октября 1925 года в журнале «Жизнь искусства». В статье, в частности, говорится: «...новые живые люди остаются и останутся холодными и бессердечными к стенаниям женщины, запоздавшей родиться или не сумевшей вовремя умереть». *Лидина статья об Олеше* — рецензия Лидии Чуковской на книгу Ю. Олеши «Три толстяка» («Детская литература», 1940, № 8, с. 45—48).

[3] Ахматова просила Фадеева заступиться за ее сына — Льва Николаевича Гумилева, который был арестован. Привожу запись из дневника Л. К. Чуковской, из которой видно, что Фадеев обещал свою помощь. «Анна Андреевна рассказала, что была в Переделкине у наших... Ехала она туда, по словам ее, очень удачно: попала в одно купе с женою Федина, которая сразу же на машине доставила ее в Переделкино. Ее поразило и, конечно, обрадовало, что Фадеев принял ее очень любезно и сразу сделал все от него зависящее. (Все последние дни перед отъездом она твердила «Фадеев меня и на глаза не пустит».) Поражена также тем, что Фадеев и

Пастернак выдвинули ее книгу на Сталинскую премию» (Лидия Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. 1938—1941. М., 1989, с. 154).

1941

[1] 29 декабря 1940 г. в «Правде» появилась статья А. Штейна под задорным названием «Чему учит «Литературная учеба»?». Автор, в частности, пишет: «...вульгарная социология нет-нет да и покажет свои уши со страниц журнала. Взять, к примеру, статью К. Чуковского «Социальная природа переводчика»...» Полемика с К. Чуковским и В. Орловым завершается эффектной концовкой: «...этого более чем достаточно, чтобы судить о крайне низком теоретическом и литературном уровне авторского коллектива журнала, призванного обучать молодых литераторов». Вторая статья — рецензия Л. Псковского на «Чтеца-декламатора для детей» (составил Корней Чуковский. ЦК ВЛКСМ. Издательство детской литературы, 1941). Статья появилась в «Литературной газете» 26 января 1941 года. В рецензии указано, что «плоха вторая, главная часть, посвященная современной «взрослой» поэзии».

1942

[1] *Пишу новую сказку.*— Речь идет об антивоенной сказке «Одолеем Бармалея».

1944

[1] Статью П. Юдина «Пошлая и вредная стряпня К. Чуковского», см.: «Правда», 1 марта 1944 г. Статья посвящена разносу сказки «Одолеем Бармалея». Поводом для этого послужил донос в ЦК от художника П. В. Васильева. П. Васильев — автор серии рисунков, посвященных жизни и деятельности В. И. Ленина. Среди его работ — картина «Ленин и Сталин в Разливе». Картина постоянно воспроизводилась на первых страницах газет. Васильев жил в Москве в том же доме, что и Чуковский — в соседнем подъезде. Незадолго до своего доноса Васильев зашел к Чуковскому пососедски, на столе лежала газета с репродукцией этой картины. К. И. сказал: «Что это вы рисуете рядом с Лениным Сталина, когда всем известно, что в Разливе Ленин скрывался у Зиновьева». Васильев пошел прямо в ЦК и сообщил об этом разговоре. Корнея Ивановича вызвал Щербаков, топал ногами, матерился, через несколько дней и появился разнос в «Правде». В архиве Чуковского сохранилась открытка. На открытке воспроизведена другая картина Васильева «Ленин в детские годы». Под репродукцией рукой Чуковского написано: «Этот П. Васильев — стукач. Донес на меня Поскребышеву [описка К. И., на самом деле — Щербакову.— *Е. Ч.*], что говорил я о Сталине — и чуть не погубил меня. К. Ч.». В 1982 г. на доме, где жили П. В. Васильев и К. И. Чуковский, установлена мемориальная доска П. В. Васильеву.

[2] См.: Ф. М. Достоевский. Полн. собр. соч. Биография. Письма и заметки из записной книжки. Т. 1. 1883, Спб., с. 355.

[3] *Женина мама* — Нина Станиславовна, первая жена Б. К. Чуковского.

[4] Чуковский хлопотал об Н. А. Пыпине не только у Катаняна. См. 1935 год, примеч. 14.

1946

[1] Как сообщила мне А. И. Исаковская, речь идет о «Сказке о Правде». Ее история рассказана самим М. Исаковским в письме к А. Твардовскому от 10 января 1966 г. (см. Михаил Исаковский. Письма о литературе. М., 1990, с. 141—145). «Сказка» была напечатана лишь после кончины М. В. Исаковского, уже во времена «перестройки», с предисловием В. Лакшина («Знамя», 1987, № 10, с. 3—16). В. Лакшин пишет, что «поэма... вряд ли могла появиться в те годы... автор обрек ее на то, чтобы рукопись осталась лежать в дальнем ящике стола». По мнению Лакшина, это произошло еще и потому, что в августе 1946 г. «...разносу подверглось стихотворение-песня «Враги сожгли родную хату...». Судя по рассказу Твардовского, записанному Чуковским, дело обстояло не совсем так. (Сходные слова Твардовского приводит в своем дневнике и А. Кондратович: «Помните его сказку о правде, ту, что не хотели напечатать».— Алексей Кондратович. Новомирский дневник. М., 1991, с. 51.) Автор не «обрек рукопись... лежать в дальнем ящике стола», а предложил ее газете «Правда». Газета в июне 1946 г. «Сказку...» не напечатала, но в августе разносу подверглось одно из стихотворений М. Исаковского, что весьма характерно для литературных нравов тех лет.

[2] Фадеев говорит о статье Ф. Панферова «О черепках и черепушках» («Октябрь», 1946, № 5, с. 151—162). «Черепки и черепушки», по мысли Панферова,— это редакторы и критики, которые образуют непробиваемую преграду между читателем и «деревом литературы». В результате «дерево сохнет». Ссылаясь на Сталина, сказавшего: «Шекспир великий писатель. Но надо учиться писать лучше, чем Шекспир»,— Панферов призывает современных писателей «писать лучше, чем писали наши классики». Завершает он советом: «Итак, товарищи, дробите «черепки и черепушки»... и выше знамена инженеров человеческих душ!» Панферову возразили О. Курганов и А. Колосков (см.: «Об «исповедях» и «проповедях» в журнале «Октябрь».— «Правда», 24 июня 1946, № 149), а также редакция «Литературной газеты»: «Статья Ф. Панферова неграмотна не только в прямом элементарном смысле слова. Она неграмотна в самом своем существе» (22 июня 1946, № 26). Одновременно появились неодобрительные отзывы о Панферове-редакторе и, в частности, о публикации в журнале «Октябрь» поэмы С. Кирсанова об А. Матросове. См.: Н. Калитин. Игра в рифмы.— «Комс. правда», 19 июня 1946 г.

[3] Скандал в газете «Новое время» по поводу писем Д. С. Мережковского к А. С. Суворину разразился одновременно с другим скандалом — попытками устроить общественный суд и исключить В. В. Розанова из религиозно-философского общества. В этих попытках принял участие и Мережковский. 25 января 1914 г. «Новое время» поместило «Письмо в редакцию» В. Розанова. В своем письме Розанов негодует по поводу недавно опубликованной статьи Мережковского «Суворин и Чехов», где Мережковский очень нелестно характеризует Суворина, умершего год назад. При-

ведя ряд цитат из статьи Мережковского, Розанов пишет: «Вся Россия рассудит, какого названия заслуживает писатель, стоявший если не в передней Суворина, то во всяком случае просивший пройти через эту переднюю, но чего-то недополучивший, или получивший по его расценке «мало»... и теперь говорящий ругань в спину своего недостаточного благодетеля, и когда тот не может ему ответить» (№ 13604, с. 14). В одном из следующих номеров редакция опубликовала два письма Мережковского к Суворину, относящихся к 1903 году. В первом письме Мережковский просил Суворина дать в долг деньги для газеты «Новый путь». «Из моих многолетних, хотя и редких бесед с вами,— писал Мережковский,— особенно из последней, мне чувствуется, что между нами есть взаимное понимание, вне всяких узких литературных партий и предрассудков... несмотря на то, что я обращаюсь к Вашей материальной помощи, я искренно ощущаю возможность ясного и бескорыстного отношения к вам». Из второго письма Мережковского ясно, что Суворин деньги дал (№ 13607, с. 4). И наконец, в следующем номере газета снова возвращается к отношениям Мережковского и Суворина в статье «Изобличенный г. Мережковский». Статья содержит множество выпадов против Мережковского, защищает Суворина, который «не угодил литературному Израилю» и включает в себя полный текст ответа Мережковского на нападки «Нового времени», помещенный в «Речи» 28 января (10 февраля). Вот этот ответ: «Как будто независимо, а на самом деле в связи с удалением В. В. Розанова из религиозно-философского общества, «Новое Время», опубликовав мое частное письмо к А. С. Суворину, поднимает вопрос о моих личных отношениях к нему. Отвечаю не «Новому Времени», а тем, кто мог бы не понять, в чем дело. У меня и у З. Н. Гиппиус были очень давние, многолетние, литературные и личные отношения с Сувориным, которые начались еще в 1891, когда он издал мою книгу «Символы». Эти отношения усилились, благодаря моему знакомству с А. П. Чеховым, а впоследствии с В. В. Розановым, в период «Нового Пути» и религиозно-философских собраний 1901—02 гг. За долгие годы, несмотря на постепенно углублявшееся расхождение по вопросам общественным, у нас с Сувориным продолжалась, хотя и с большими перерывами, переписка личного характера. Из длинного ряда писем «Нов. Вр.» выхватило одно, совершенно случайное и незначительное, ссылаясь на него как на свидетельство моего неизменно доброго отношения к Суворину. Как будто добрые отношения к человеку, которому я лично был обязан литературной поддержкой, есть какое-то преступление. Но судить о действительном смысле этих отношений можно только по тому, к чему они привели. Когда, 21 октября 1911 г., появилась в газете «Речь» моя статья «Национализм и религия», Суворин написал мне, по поводу ее, очень резкое письмо, на которое я ответил ему с еще большей резкостью, после чего всякие письменные и личные сношения наши прекратились навсегда. Пусть же «Новое Время» опубликует мое последнее письмо к Суворину. Из него будет видно, что я осудил общественную деятельность Суворина с неменьшей резкостью, чем это сделано в моей статье «Суворин и Чехов». Смысл моей статьи не более отрицателен, чем смысл моего последнего письма к Суворину, где я называю национализм его — нигилизмом, кощунством и надругательством над общественною правдою. Тяжелая вина моя, которую я

вполне сознаю, заключается в том, что я не сумел вовремя порвать мои личные отношения с Сувориным». В этой же статье «Новое Время», приняв вызов, печатает последнее письмо Мережковского к Суворину от 21 ноября 1911 г., где Мережковский, в частности, заявляет: «Я — враг «Нового Времени», а следовательно и враг Суворина, но об Алексее Сергеевиче у меня все-таки сохранилось самое доброе и сердечное воспоминание» («Новое время», 29 января (11 февраля) 1914, № 13608, с. 5.).

[4] В такой туманной форме автор упоминает о травле Ахматовой и Зощенко, развернутой в печати после печально знаменитого доклада А. А. Жданова «О журналах „Звезда“ и „Ленинград“» и Постановления ЦК от 14 августа 1946 г. под тем же заглавием.

[5] Травля К. Чуковского началась через неделю после опубликования «Постановления...». 21 августа оно было напечатано в «Правде». В статье С. Крушинского «Серьезные недостатки детских журналов» («Правда», 29 августа 1946 г.) объектом разноса стали журнал «Мурзилка» и сказка К. Чуковского «Бибигон». Крушинский пишет: «...нельзя допускать, чтобы под видом сказки в детский журнал досужие сочинители тащили явный бред. С подобным бредом под видом сказки выступает в детском журнале «Мурзилка» писатель Корней Чуковский... Нелепые и вздорные происшествия следуют одно за другим... Дурная проза чередуется с дурными стихами... Натурализм, примитивизм. В «сказке» нет фантазии, а есть одни только выкрутасы. Чернильница у писателя большая, а редакция журнала «Мурзилка» неразборчива...» В не столь грубой форме, но досталось и журналу «Пионер», печатавшему на своих страницах повесть Николая Чуковского «Серебряный остров». Крушинский охарактеризовал повесть как «дань плохим образцам — жанру западного детективного романа». Заканчивается статья утверждением: «Нельзя печатать в журнале стихотворение ли, рассказ ли, очерк ли, если это произведение не отвечает целям и методам коммунистического воспитания детей...»

[6] В. Ермилов в статье «Вредная пьеса» так характеризует пьесу Вас. Гроссмана «Если верить пифагорийцам», опубликованную в журнале «Знамя», 1946, № 7: «...он решил опубликовать свое ублюдочное произведение после Великой Отечественной войны... он написал двусмысленную и вредную пьесу, представляющую злостный пасквиль на нашу действительность, на наших людей. И только политической безответственностью редакции журнала «Знамя» можно объяснить появление на страницах журнала реакционной, упаднической и антихудожественной пьесы Вас. Гроссмана» («Правда», 4 сентября 1946).

[7] 4 сентября президиум правления Союза писателей обсудил на своем заседании Постановление ЦК ВКП(б) от 14 августа и постановил исключить Ахматову и Зощенко из Союза писателей. Были рассмотрены также организационные вопросы: Н. С. Тихонова освободили от обязанностей председателя ССП. Для руководства работой союза президиум решил создать секретариат в составе: генерального секретаря ССП, 4-х его заместителей и 8-ми членов секретариата. Президиум избрал генеральным секретарем ССП А. А. Фадеева, заместителями К. М. Симонова, В. В. Вишневского, Н. С. Тихонова и А. Е. Корнейчука. Л. М. Леонов стал одним из членов секретариата. Резолюция этого заседания, а также выступления его участников напечатаны в «Литературной газете» 7 сентября 1946 г.

[8] 4 сентября 1946 г. было принято Постановление ЦК ВКП(б) о кинофильме «Большая жизнь» (опубликовано в «Литературной газете» 14 сентября). Сценарий к фильму написан П. Ф. Нилиным и посвящен жизни и труду донецких шахтеров. За первую серию Нилин получил Сталинскую премию (1940). Постановление вынесено о второй серии. «Кинофильм порочен в идейно-политическом и крайне слаб в художественном отношении... дано фальшивое, искаженное изображение советских людей... выпуск на экран второй серии фильма «Большая жизнь» запретить» — таково основное содержание этого документа. Чуковский узнал о запрете заранее от П. Ф. Нилина, своего соседа по Переделкину. По рассказу Нилина, его внезапно вызвали в Кремль, и он присутствовал на обсуждении, где И. В. Сталин осудил «Большую жизнь».

[9] Речь идет о фильме «Глинка», который был поставлен режиссером Л. О. Арнштамом.

[10] Два письма Фадеева к Чуковскому и письмо Фадеева Симонову см.: Александр Фадеев. Материалы и исследования. М., 1977, с. 194, 195, 250. Письма Фадеева помогли публикации статей Чуковского о Некрасове. Так, 23 октября Фадеев пишет Чуковскому: «...Я успел написать два подробных письма о Вашей работе с просьбой взять отрывки — Симонову в «Новый мир» и Панферову в «Октябрь». Прошу Вас с ними созвониться... Что же касается «Литературной газеты», то я персонально договорился с Сурковым... и прошу Вас это дело реализовать». В тот же день в письме к Симонову Фадеев писал: «У К. И. Чуковского есть очень хорошая работа о Некрасове... Написано это необыкновенно просто, талантливо и очень убедительно». Вероятно, именно в результате заступничества Фадеева статьи Чуковского были опубликованы, невзирая на одновременную кампанию травли из-за «Бибигона». См. также примеч. 5, 11—13.

[11] Сказка «Бибигон» печаталась в «Мурзилке» с продолжением — в № 11 и № 12 за 1945 г. и в № 1— № 7 за 1946 год. На седьмом номере печатанье было оборвано.

[12] Статья «О Некрасове: К 125-летию со дня рождения» напечатана в «Новом мире», № 12.

[13] 30 ноября 1946 г. в юбилейном номере «Литературной газеты» (125 лет со дня рождения Н. А. Некрасова) напечатана статья К. Чуковского «Неизвестные стихи», где автор приводит строки, строфы и отдельные слова, выброшенные или измененные Некрасовым в угоду цензуре.

1949

[1] Речь идет о брошюре: К. Чуковский. Пушкин и Некрасов. М., 1949.

1950

[1] 9 мая 1950 г. «Правда» объявила: «В связи с неудовлетворительным состоянием, в котором находится советское языкознание, редакция считает необходимым организовать на страницах газеты «Правда» свободную дискуссию с тем, чтобы путем критики и самокритики преодолеть застой в развитии советского языкознания». Дискуссию открыла занявшая две газет-

ные полосы статья Арн. Чикобавы, профессора Тбилисского государственного университета им. Сталина «О некоторых вопросах советского языкознания». Проф. Чикобава выступил с критикой основных положений общелингвистической теории академика Н. Я. Марра. После этого еженедельно «Правда» начала отдавать половину газеты специальным статьям по языкознанию (см. № 136, 143, 150, 157, 164 и 178). Среди опубликованных статей была и статья академика В. В. Виноградова «Развивать советское языкознание на основе марксистско-ленинской теории» (№ 157). Интерес редакции к языкознанию стал понятен после того, как в дискуссию вступил И. Сталин со своей статьей «Относительно марксизма в языкознании».

[2] *Юрочка* — впоследствии художник Ю. П. Анненков.

1951

[1] *...не понравились Собакин и Зоя Цветаева...* — Чуковский неверно запомнил и записал фамилии. На самом деле Пастернак говорил о Б. М. Зубакине и А. И. Цветаевой, которые летом 1927 г. гостили у Горького в Сорренто. Переписка Б. Пастернака с М. Горьким теперь полностью опубликована (см.: Переписка Бориса Пастернака. М., 1990).

1953

[1] Спустя две недели после этой записи, 23 июня 1953 года, президиум ССП на своем заседании рассмотрел заявление М. М. Зощенко о восстановлении его в Союзе писателей. На заседании выступили А. Софронов, М. Шагинян, К. Симонов, А. Твардовский, Н. Грибачев, Л. Соболев. Было решено отказать Зощенко в «восстановлении», а принять его в ССП заново, как переводчика и автора «Партизанских рассказов». Стенограмму этого заседания см.: Б. Сарнов, Е. Чуковская. Случай Зощенко.— «Юность», 1988, № 8, с. 76—77.

[2] В отчетном докладе на XIX съезде ВКП(б) в октябре 1952 г. секретарь ЦК Г. М. Маленков, в частности, сказал: «Наши художники, литераторы, работники искусства в своей творческой работе... должны постоянно помнить, что типично не только то, что наиболее часто встречается, но то, что с наибольшей полнотой и заостренностью выражает сущность данной социальной силы. В марксистско-ленинском понимании типическое отнюдь не означает какое-то статистическое среднее... Типическое есть основная сфера проявления партийности в реалистическом искусстве. Проблема типичности есть всегда проблема политическая...» («Правда», 6 октября 1952). Эта формулировка типического «списана референтом Маленкова из статьи известного литературоведа, репрессированного «врага народа» Д. Святополк-Мирского» (А. Берзер. Прощание. М., 1990, с. 202). На какое-то время рассуждения о «типическом», слегка варьирующие слова Маленкова, стали необходимым атрибутом любой литературоведческой статьи. Присутствуют они и в докладе Фадеева 24 марта 1953 г. (досталось там и Н. К. Гудзию, см. «1954», примеч. 6) и в журнале «Коммунист» (1953, № 6, с. 81).

[3] Федин говорит о статье Ильи Эренбурга «О работе писателя» («Зна-

мя», 1953, № 10). Среди «писателей буржуазного общества; которые создавали прекрасные произведения», назван Кнут Гамсун. В статье упомянут также Матисс.

[4] Статья Лидии Чуковской «Гнилой зуб» действительно напечатана на первой полосе «Литературной газеты» 24 декабря 1953 г. Однако название редакция изменила, и статья вышла под заглавием «О чувстве жизненной правды».

1954

[1] Катаев говорит о своем рассказе «Вечная слава» («Огонек», 1954, № 4). В этом рассказе Максимилиан Волошин выведен под именем Аполлинарий Востоков, а его жена — Мария Степановна названа Ольгой Ивановной. Автор саркастически повествует: «Сам Востоков давно умер, забыт... дом напоминает не столько базилику, сколько караимскую синагогу... В доме всегда живет несколько бестолковых старушек, поклонниц Востокова, которые помогают Ольге Ивановне поддерживать легенду о необыкновенной личности поэта и об его вечной славе... Подобно Душечке Ольга Ивановна потеряла себя и все время жила как во сне даже после смерти мужа».

[2] Речь идет о пьесе Г. Фильдинга «Политик из кофейни, или Судья в ловушке». Перев. К. Чуковского и Т. Литвиновой. Пьеса опубликована в кн.: Г. Фильдинг. Избр. произведения в двух томах, М., Гослитиздат, 1954, т. 1, с. 3—69.

[3] Чуковский цитирует неточно, по памяти. На самом деле следует читать: Мы яровые убрали/И убрали траву,—/Се тре жоли, се тре жоли!/ Коман ву порте ву? (Как мило, как мило! Как вы поживаете? — *франц.*)

[4] Статья М. Лифшица «Дневник Мариэтты Шагинян» появилась в «Новом мире», № 2. В саркастической, язвительной и остроумной форме Лифшиц высмеял М. Шагинян за то, что «писательница готова рассуждать на любую тему, совершенно не зная ее», за то, что «почтенный автор смело вторгается в любую область, будь то ботаника или архитектура, и так привыкает к этой легкости, что начинает забывать таблицу умножения». Статья завершается выводом: «В этом произведении столько ошибок и чернильных пятен, а литературный язык так плох, что не может быть никакого сомнения — перед нами действительно настоящий дневник, не переписанный набело, рабочая тетрадь. Даже великие писатели оставляли вопрос о публикации таких тетрадей на усмотрение потомства».

[5] 9 января 1954 г. в «Литературной газете» появилась пространная статья М. Шагинян «О новом романе Ф. Панферова». Статья содержала многочисленные комплименты по адресу панферовского романа «Волга-матушка река». В февральском номере журнала «Октябрь», выходящего под редакцией Ф. Панферова, помещена хвалебная рецензия М. Бременера о «Дневнике писателя» М. Шагинян.

[6] Фадеев сожалеет, что напал на Гроссмана и *на почтенного милого Гудзия.* В документальном повествовании Анны Берзер «Прощание» (М., 1990) прослежены все стадии участия А. Фадеева в судьбе романа Василия Гроссмана «За правое дело». Фадеев сперва был горячим сторонником

романа, выдвигал его на Сталинскую премию, заступался за него в ЦК, а затем, в марте 1953 г., возглавил кампанию травли романа и его автора, развязанную по приказу сверху. Стенограмма выступления Фадеева на президиуме правления Союза писателей 24 марта 1953 г. напечатана в «Прощании» (с. 186—210) и, в сокращенном виде,— в «Литературной газете», 28 марта 1953 г. Вариант, помещенный в «Литературной газете», содержит три раздела: «1. О романе В. Гроссмана «За правое дело». 2. Об ошибках редакции журнала «Новый мир». 3. Борьба за высокое качество советской литературы и ее идейные противники». Говоря об ошибках «Нового мира», Фадеев обрушивается на статью Н. К. Гудзия и В. А. Жданова «Вопросы текстологии», «...которая,— по его словам,— представляет собой замаскированную полемику с государственным требованием упорядочить издание классиков... Формально в статье Н. Гудзия и В. Жданова признается, что переиздаваться должен текст последнего прижизненного издания, но дальше статья наполнена ложными наукообразными предложениями, которые по существу ревизуют государственные указания...».

[7] Речь идет о китаисте Борисе Ивановиче Панкратове (сообщено М. В. Баньковской).

[8] В «Комсомольской правде» 17 марта появился фельетон М. Суконцева и И. Шатуновского «За голубым забором». Авторы высмеяли Н. Е. Вирту, который построил в селе Горелове на Тамбовщине дом за голубым забором и «собирается писать книги о героях, которых он, судя по всему, не видит, не понимает и не уважает».

[9] А. Суров — драматург, театральный критик. Его пьесы «Далеко от Сталинграда», «Зеленая улица» (Сталинская премия), «Обида» ставились по всей стране. Кроме пьес Суров прославился беспробудным пьянством и активным участием в кампании борьбы с космополитами. Однако после смерти Сталина в партком Союза писателей посыпались жалобы, из которых выяснилось, что Суров работал с помощью «негров», писавших для него пьесы и критические статьи. Этими неграми были те же космополиты, лишенные возможности печататься под своими именами. Жалобы разбирала комиссия ССП. Н. С. Атаров, один из членов этой комиссии, рассказывал автору этих строк, что «негры» (среди которых был Я. Варшавский) предъявили доказательства своего участия в литературных трудах Сурова: так, в одной из пьес все действующие лица имели имена и фамилии соседей по коммунальной квартире, в которой жил один из «соавторов»; была предъявлена сельскохозяйственная брошюра, которую на разные голоса в виде своих реплик пересказывали персонажи суровской пьесы. В результате разбора дела Сурова исключили из Союза писателей, а дело замяли. Об этой истории см. также: В. Каверин. Эпилог. М., 1989, с. 328—329.

[10] Имеется в виду поэма А. Твардовского «Теркин на том свете».

[11] *Серго* — С. Л. Берия, муж внучки М. Горького Марфы, сын Лаврентия Берии.

[12] С 15 по 25 декабря проходил Второй Всесоюзный съезд советских писателей. Съезду предшествовала встреча руководителей Коммунистической партии и Советского правительства с писателями 13 декабря. (См.: С. И. Чупринин. Хроника важнейших событий. В сб.: Оттепель.

1953—1956. Страницы русской советской литературы. М., 1989.) Сохранилась запись А. Твардовского об этой встрече и о выступлении Шолохова: «Жаль Шолохова. Он выступил постыдно. Каким-то отголоском проработок космополитов звучали его напоминания Эренбургу о том, что тот писал в 21 г. и издавал в Риге, что тот принижает русских людей и, наоборот, возвеличивает евреев. Ах, не тебе, не тебе, Михаил Александрович, говорить эти слова. И хриплый задушенный голос, местами глохнувший, срывавшийся совсем, голос, относительно происхождения хрипоты которого не могло быть ни у кого сомнений» (А. Твардовский. Из рабочих тетрадей.— «Знамя», 1989, № 7, с. 150). Речь Шолохова на съезде (22-го) содержала резкие нападки на Симонова и снова — на Эренбурга. Шолохов назвал «Оттепель» «шагом назад», обвинил Эренбурга в «топтании на месте», в том, что он «на малейшее критическое замечание обижается». Отвечал Шолохову Федин, который заявил, что писатели не хотели бы, чтобы с ними разговаривали «таким языком, каким говорил Шолохов с Симоновым. Это какой-то особый язык» (Второй всесоюзный съезд советских писателей. Стенографический отчет. М., 1956, с. 374, 504).

1955

[1] Речь идет о книге: Robert Lois Stevenson. Familiar Studies of men and books. London. Chatto. D. Windus. 1912. Эта книга сохранилась в переделкинской библиотеке Чуковского. Страницы из главы «Samuel Pepys. Respectability» (р. 226—227) отчеркнуты на полях.

[2] Чуковский хлопотал о реабилитации Е. М. Тагер.

[3] Речь идет о романе А. Я. Сахнина «Тучи на рассвете», напечатанном в журнале «Знамя» (1954, № 2, 3). В том же году роман вышел в «Роман-газете» (№ 7,8), в Детгизе и в Гослитиздате. Между тем ссыльная Раиса Семеновна Левина обратилась в суд с заявлением, что она послала в редакцию «Знамени» свой роман, а сотрудник журнала А. Сахнин заимствовал из ее рукописи многие сюжетные ходы, ситуации и отрывки и опубликовал книгу под своим именем. Суд привлек к разбору этой жалобы комиссию Союза писателей, которую возглавил В. А. Рудный. От него автору этих строк известно, что суд постановил обязать Сахнина выплатить Левиной часть гонорара и поставить ее имя, так как, судя по рукописи, представленной Левиной, «Тучи на рассвете» изданы на основе ее труда, хотя Сахнин и переработал текст.

А. Я. Сахнин в 1945 году участвовал в освобождении Маньчжурии и Кореи. В Корее провел более трех лет, после демобилизации в 1948 г. вернулся в Москву, с 1949 г.— сотрудник журнала «Знамя», в 1957 г.— принят в Союз писателей, в 70-е годы, уже после снятия А. Твардовского, работал в «Новом мире». «Тучи на рассвете» переизданы (без имени Левиной) в 1957, 1965, 1968 и 1975 годах. Другие книги А. Сахнина — о подрывной деятельности американского империализма против Чили, против социалистических стран, о польской разведке в ФРГ, а также о подвигах машинистов и подводников.

[4] Письмо Зощенко к Чуковскому теперь опубликовано. Зощенко, в частности, пишет: «Очень, очень благодарен Вам за приглашение в Передел-

кино, но пока этого, даже мысленно не могу себе представить. Видимо, я одичал, и на людях быть мне сейчас трудно» («Юность», 1988, № 9, с. 80).

[5] В воспоминаниях С. Альтерман «Друг своих друзей» («Нева», 1989, № 10) опубликованы письма Е. М. Тагер, касающиеся ее пребывания в Переделкине.

1956

[1] В Переделкине знали, что Фадеев оставил письмо в ЦК. Содержание этого письма стало известно лишь через 34 года. Осенью 1990 г. письмо было напечатано в «Известиях», «Лит. газете», «Гласности». Но наиболее обстоятельная публикация (включая факсимильное воспроизведение), а также докладные записки от 14 и 22 мая 1956 г. в ЦК КПСС от председателя КГБ И. А. Серова о ходе следствия по этому делу и, наконец, письмо А. Фадеева к В. Ермилову напечатаны в «Известиях ЦК КПСС», 1990, № 10, с. 146—155. Нельзя не заметить, что некоторые мысли Чуковского из его дневника совпадают с тем, что пишет о себе Фадеев в своем предсмертном письме.

[2] В предисловии Евгения Пастернака к изданию «Доктора Живаго» (М.: Книжная палата, 1989, с. 11) рассказано: «Летом на дачу в Переделкино приехал сопровождаемый представителем иностранной комиссии Союза писателей сотрудник итальянского радиовещания в Москве, коммунист Сержио д'Анджело. Он попросил рукопись для ознакомления и в этой официальной обстановке получил ее. К автору рукопись не вернулась. Анджело передал ее итальянскому коммунистическому издателю Дж. Фельтринелли, который... известил Пастернака, что хочет издать роман на итальянском языке. 30 июня 1956 года Пастернак ответил ему, что будет рад, если роман появится в переводе, но предупреждал: «Если его публикация здесь, обещанная многими журналами, задержится и Вы ее опередите, ситуация будет для меня трагически трудной».

[3] Имеется в виду автобиографическая проза Б. Пастернака «Люди и положения».

1957

[1] Автор картины «Утро Родины» — художник Федор Шурпин.

[2] По-видимому, речь идет о двухтомнике «Письма Победоносцева к Александру III». М.: Новая Москва, 1925, 1926; тираж 2000 экземпляров.

[3] В своем письме М. И. Алигер подтверждала намерение редколлегии «Литературной Москвы» открыть третью книжку альманаха статьей К. Чуковского «О Чехове». Об истории с «Чеховым» М. И. Алигер подробно пишет в своем очерке «Долгие прогулки» (см. в сб.: Воспоминания о Корнее Чуковском. М., 1977, с. 280). В конце концов третья книга альманаха издана не была.

[4] Статья Лидии Чуковской «Рабочий разговор. Заметки о редактировании художественной прозы» напечатана во 2-м сборнике «Литературной Москвы» (М., 1956, с. 752—779).

[5] Переписка А. Фадеева с А. Твардовским пока не опубликована. Отзвуки разногласий, о которых пишет Чуковский, слышны в записях А. Твар-

довского: «15.V. Смерть Фадеева. Узнал вчера утром. Самое страшное, что она не удивила. Это было очень похоже. Сегодня газеты хамски уточняют причины самоубийства.

20.V. Думал найти последнее письмо Фадеева ко мне, подклеить его в этой тетради и дать «для истории» свои пояснения к нему, но раздумал. Пусть оно лежит, как лежат и другие его письма. Все это уже прошлое. Разрыв, объявленный им в этом письме, совершился гораздо ранее. Последние годы я уже только сохранял форму вежливости в отношении старой дружбы, а ее уже не было, и была ли доподлинно,— трудно сказать. От меня он ушел раньше, чем от всех нас, а я от него еще раньше. И теперь мне только страшно жалко его по-человечески, хотя ни в чем не могу себя попрекнуть. Неужели после такого письма: «Прекращаю с Вами всякие отношения» я мог ему звонить, искать объяснений и т. п. Конечно, да, если б я мог предполагать этот его конец. Я бы всем поступился, чтобы спасти его. Но это не было бы искренним душевным порывом, возмещающим понесенную ранее утрату» (А. Твардовский. Из рабочих тетрадей.— «Знамя», 1989, № 7, с. 182).

[6] Рассказ Александра Яшина «Рычаги» напечатан во 2-м сборнике альманаха «Литературная Москва». Каверин приводит слова Яшина: «Два года назад я послал этот рассказ в «Новый мир». Кривицкий вызвал меня и сказал: «Ты, говорит, возьми его и либо сожги, либо положи в письменный стол, запри на замок, а ключ спрячь куда-нибудь подальше». Я спрашиваю: «почему?», а он отвечает: «Потому что тебе иначе 25 лет обеспечены»...». «Рычаги» прославили Яшина,— продолжает Каверин.— «Он впервые показал одно из самых характерных явлений советского общества, двойную жизнь...» (В. Каверин. Эпилог. М., 1989, с. 338—339). Яшин рассказывает о сельских коммунистах, которые до собрания ведут себя как люди, а на собрании превращаются в «рычаги» бездушной машины. Поразительно, что вскоре после разговора, записанного Чуковским, самому Федину суждено было стать «рычагом» травли «Литературной Москвы».

[7] А. Дмитриев в статье «О сборнике «Литературная Москва» обвинил Каверина в том, что его роман вышел отдельной книгой раньше, чем появился на страницах альманаха «Литературная Москва», а также приписал Каверину и Алигер «огульное отрицание критики» («Правда», 20 марта 1957 г.).

[8] П. Елисеев сообщил в своей статье «Библиотека в теремке», что «Корней Иванович решил построить с помощью Литфонда СССР детскую библиотеку» («Сов. культура», 29 июня 1957 г.).

[9] В «Знамени» № 10—12 за 1957 год напечатана поэма Н. Тихонова «Серго в горах».

1958

[1] Это письмо М. М. Зощенко к К. А. Федину теперь опубликовано. Оно кончается словами: «Целую тебя, мой старый друг. И еще раз благодарю тебя за твое доброе сердце и за твой светлый разум» («Юность», 1988, № 8, с. 83).

[2] Речь идет об Н. М. Ежове, многолетнем сотруднике суворинского

«Нового времени». Его повествование «Алексей Сергеевич Суворин (мои воспоминания о нем, думы и соображения)» опубликовано в «Историческом вестнике» (1915, № 1—3). «Думы и соображения» изложены высоким стилем: «Суворин-редактор — колоссальная статуя, повитая лавровым венцом...» и т. п. Однако многие страницы воспоминаний посвящены А. П. Чехову, чью биографию и творчество Чуковский постоянно изучал.

[3] На самом деле книга Фолкнера называется не «Love in August» («Любовь в августе»), а «Light in August» («Свет в августе» — *англ.*).

[4] Письмо не было отправлено адресату.

[5] *Письмо с объяснениями* в архиве К. И. Чуковского не сохранилось. *Колино выступление в Союзе* — выступление Н. К. Чуковского с осуждением Пастернака.

[6] Речь идет о статье К. Зелинского «Поэзия и чувство современности» («Лит. газета», 5 января 1957 г.). В статье Зелинский тенденциозно истолковывает стихотворение Пастернака «Рассвет» и делает автору политические упреки. Вскоре после напечатания этой статьи Вяч. Вс. Иванов (Кома) публично не подал Зелинскому руки. Тогда Зелинский на собрании, где исключали Пастернака, рассказал об этом эпизоде и призвал «провести очистительную работу». В результате Вяч. Вс. Иванов был изгнан из числа преподавателей МГУ и уволен с поста зам. главного редактора журнала «Вопросы языкознания». Подробнее об этом см.: Лидия Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. 1952—1962. Париж. Имка-Пресс, 1980, примеч. на с. 582—584.

[7] *Афганский принц* — сын короля Афганистана Мухаммед Захир Шаха.

1959

[1] Имеется в виду стихотворение Пастернака «Нобелевская премия», которое начинается словами: «Я пропал, как зверь в загоне...» Стихотворение послужило поводом для новых преследований. Пастернак был вызван к Генеральному прокурору Р. А. Руденко, который пригрозил начать против него дело по статье 64 — «измена родине».

[2] Речь идет о книге И. С. Зильберштейна «Николай Бестужев и его живописное наследие» (М.: Изд-во АН СССР, 1956).

[3] Биография и репутация Я. И. Эльсберга были таковы, что статья о нем в Краткой литературной энциклопедии, опубликованная в трудные 70-е годы, подписана красноречиво: Г. П. Уткин (М.: Сов. энциклопедия, 1975, т. 8, с. 883). После выхода тома энциклопедии в редакции разразился скандал, но было поздно.

[4] Речь идет о стихотворении И. Сельвинского, напечатанном в «Огоньке», № 11 за 1959 год. Стихотворение «Отцы, не раздражайте ваших чад...», обличающее Пастернака, кончается строфой: «К чему ж былая щедрая растрата/Душевного огня, который был так чист,/Когда теперь для славы Герострата/Вы родину поставили под свист?»

[5] Эта пародия на роман Ф. Панферова «Волга-матушка река» ходила в те годы по рукам. Теперь она напечатана. См.: «Старик и Морев» в сб.: З. Паперный. Музыка играет так весело... М., 1990, с. 96—97.

1960

[1] Речь идет о романе Василия Гроссмана «Жизнь и судьба». Роль В. Кожевникова, тогдашнего главного редактора «Знамени» в истории этого романа Чуковский излагает неточно, возможно со слов своего сына, Н. К. Чуковского, в то время члена редколлегии «Знамени». Теперь уже широко известно, что именно В. Кожевников послал роман В. Гроссмана в ЦК — Д. А. Поликарпову и М. А. Суслову. В результате все машинописные экземпляры романа в феврале 1961 г. были конфискованы КГБ. Подробнее об этом см.: Семен Липкин. Жизнь и судьба Василия Гроссмана; Анна Берзер. Прощание. М., 1990, а также с. 364 наст. издания.

1961

[1] Очевидно, Чуковский имеет в виду следующий абзац из книги В. Набокова «Другие берега» (цит. по изданию: Владимир Набоков. Собр. соч. в четырех томах, т. 4. М., 1990, с. 271):

«Отец и раньше бывал в Англии, а в феврале 1916-го года приезжал туда с пятью другими видными деятелями печати (среди них были Алексей Толстой, Немирович-Данченко, Чуковский) по приглашению британского правительства, желавшего показать им свою военную деятельность, которая недостаточно оценивалась русским общественным мнением. Были обеды и речи. Во время аудиенции у Георга Пятого Чуковский, как многие русские, преувеличивающий литературное значение автора «Дориана Грея», внезапно, на невероятном своем английском языке, стал добиваться у короля, нравятся ли ему произведения — «дзи воркс» — Оскара Уайльда. Застенчивый и туповатый король, который Уайльда не читал, да и не понимал, какие слова Чуковский так старательно и мучительно выговаривает, вежливо выслушал его и спросил на французском языке, ненамного лучше английского языка собеседника, как ему нравится лондонский туман — «бруар»? Чуковский только понял, что король меняет разговор, и впоследствии с большим торжеством приводил это как пример английского ханжества,— замалчивания гения писателя из-за безнравственности его личной жизни».

[2] Письма Марии Борисовны в архиве пока не обнаружены.

[3] 12 августа 1961 г. «Литературная газета» напечатала статью К. Чуковского «Нечто о лабуде». В статье автор писал о молодежном жаргоне, о всяческих «потрясно» и «хиляй», усматривая в этом жаргоне протест против штампованной бюрократической речи. Чуковский сочувственно встретил публикацию в «Юности» «Звездного билета» В. Аксенова и написал о том, как в повести передано современное молодежное арго. Против статьи Чуковского ополчилась газета «Литература и жизнь» (в те годы ее называли кратко и выразительно «Лижи»). В статьях И. Астахова «Не по-горьковски!», И. Моцарева «Никакого оправдания» и В. Панкова «Право на звездный билет» был дан решительный отпор взглядам Чуковского. И. Астахов не согласился с его утверждением, что «вульгарные слова — порождение вульгарных поступков и мыслей». «Получается,— возмущается Астахов,— что школьников толкает в пучину вульгарности сама школа».

Моцарев с негодованием цитирует строки из статьи Чуковского — «школьникам опостылела та лакированная, слащаво-фальшивая, ханжески благонамеренная речь, которую разные человеки в футляре все еще культивируют в школе». Авторы убеждены, что «никакого оправдания для В. Аксенова нет и быть не может» («Литература и жизнь», 23 и 25 августа). Разгорелась оживленная дискуссия. (Перечень многочисленных откликов на статью «Нечто о лабуде» см.: Д. А. Берман. Корней Чуковский. Биобиблиографический указатель. Л., 1984, с. 73.) 9-го и 16-го сентября «Литературная газета» напечатала новую статью Чуковского «Канцелярит». В этой статье автор утверждал, что главная болезнь языка — засилие в нем канцелярски-бюрократических оборотов, присущих «департаментскому стилю».

[4] Книга сохранилась в переделкинской библиотеке Чуковского. Привожу текст надписи: «Корнею Ивановичу Чуковскому, неутомимому деятелю и великому знатоку родной литературы — в знак глубокого уважения и расположения. А. Твардовский. 21.IX.61. Барвиха».

[5] Послом СССР в Израиле с 1958 г. был М. Ф. Бодров.

1962

[1] В эти годы Н. В. Лесючевский занимал пост директора издательства «Советский писатель». От его воли зависели судьбы писателей и их книг. В литературной среде было хорошо известно о его причастности к аресту Н. Заболоцкого и Б. Корнилова. Многим памятен рассказ Ю. Г. Оксмана, увидевшего Лесючевского в президиуме торжественного заседания в Большом театре по поводу пушкинского юбилея. Оксман громко спросил: «А этот от чьего имени здесь присутствует? От имени убийц поэтов?» В конце 80-х годов сведения о деятельности Н. В. Лесючевского в Ленинграде в 30-е годы в качестве «консультанта» НКВД попали в печать. См. его доносы на Н. А. Заболоцкого: «Лит. Россия», 10 марта 1989 г. и «Невский проспект», 1990, № 1, 2. Первый донос Лесючевский написал по заказу Николая Николаевича Лупандина (1904—1977), оперуполномоченного НКВД, палача с 4-классным образованием, впоследствии — персонального пенсионера союзного значения. О зверствах следователя Лупандина при допросах Заболоцкого см.: Евг. Лунин. Великая душа. Ленинградская панорама, 1989, № 5, с. 36—38. Второй донос Лесючевский составил по велению сердца — и уже не только на Заболоцкого, но и на прокурора Ручкина, который по просьбам ленинградских писателей в 1940 году истребовал дело Заболоцкого для пересмотра. Об Я. И. Эльсберге см. примеч. 3, 1959.

[2] Речь идет о книге: Н. Н. Миклухо-Маклай. Путешествия. Статьи, редакция текста и примечания Лидии Чуковской. М.: Мол. гвардия, 1947 («Б-ка путешествий»).

[3] Поздравляя Чуковского с 80-летием, Э. Казакевич писал: «Вы — один из тех немногих людей, у которых мы учились и научились ценить и понимать свое призвание, свое великое ремесло. От Вас мы узнали, что слово, написанное пером, влиятельнее, чем приказы и тюрьмы, долговечнее, чем гранит и медь... Потому мы и смотрели на Вас всегда как на великого седого путешественника и следопыта, сильного и хитрого, прошедшего через все бури и широты для того, чтобы нам про это рассказать». В 1982 году, к

100-летию К. И., автором этих строк по просьбе редакции «Недели» была подготовлена публикация материалов из архива К. Чуковского. Однако в последнюю минуту тогдашний главный редактор «Недели» Ю. Грибов распорядился снять имя публикатора и выпустил отрывки из дневника Чуковского и письма к нему под заглавием «Наш Корней Иванович» — безо всяких указаний на источник этих документов. В подборке напечатано, в частности, письмо Э. Казакевича (см.: «Неделя», 1982, № 12, с. 9).

[4] Юбилейное стихотворение С. Маршака «Мой старый добрый друг Корней...» кончалось словами: «Могли погибнуть ты и я,/Но, к счастью, есть на свете/У нас могучие друзья,/Которым имя — дети!» Этим маршаковским четверостишием К. И. завершил свой альманах «Чукоккалу», когда в конце 60-х годов готовил рукопись к печати.

[5] Речь идет о рассказе А. Рязанского «Щ-854». Рассказ впоследствии был опубликован в «Новом мире» под названием «Один день Ивана Денисовича». А. Рязанский — псевдоним Александра Солженицына.

[6] Этот краткий отзыв назывался «Литературное чудо» и представлял собой первую рецензию на «Ивана Денисовича». Рецензия К. Чуковского напечатана в отделе «За сценой» второго тома «Записок об Анне Ахматовой» Лидии Чуковской (Париж, 1980, с. 608—609). Слова Чуковского: «...с этим рассказом в литературу вошел очень сильный, оригинальный и зрелый писатель» — почти буквально совпадают с тем, что позже написал Твардовский в своем предисловии к публикации «Одного дня...» в «Новом мире» (1962, № 11): «...оно [произведение.— *Е. Ч.*] означает приход в нашу литературу нового, своеобычного и вполне зрелого мастера». Рецензии Чуковского и Маршака Твардовский переслал Н. Хрущеву, добиваясь разрешения на публикацию «Одного дня Ивана Денисовича». Однако Солженицыну Твардовский этих отзывов не показал (см.: А. Солженицын. Бодался теленок с дубом.— «Новый мир», 1991, № 6, с. 25).

[7] *Суетория* — слово, созданное Твардовским. См. его поэму «Страна Муравия»: «Товарищ Сталин! / Дай ответ, / Чтоб люди зря не спорили: / Конец предвидится, ай нет / Всей этой суетории?»

[8] Речь идет о статье Н. Погодина «Школа „Правды“», где автор вспоминает М. И. Ульянову и свою работу вместе с нею в газете. В статье Погодин упоминает, как он читал свою пьесу на квартире Л. Н. Сейфуллиной в присутствии Чуковского, который спросил: «Разве в самом деле пятилетка — такое трудное дело?» «Теперь бы сам Корней Иванович назвал подобный вопрос снобизмом и оторванностью от жизни,— продолжает Погодин,— но тогда пятилетка еще не стучалась в двери наших квартир» («Правда», 21 апреля 1962).

[9] «Оксфордская лекция» Чуковского опубликована в России лишь через 27 лет, поскольку в ней были упомянуты имена, попавшие в те годы под запрет (см.: Корней Чуковский. Русскими глазами.— «Звезда», 1989, № 5, с. 189).

[10] Стихотворение С. Маршака «Марине Цветаевой» кончается словами: «Себя ты до последней строчки/Успела родине вернуть» (С. Я. Маршак. Стихотворения и поэмы. Б-ка поэта. Большая серия. Л., 1973, с. 132).

[11] В конце 1962 г. вышел сборник стихотворений С. Маршака «Избранная лирика». Седьмой отдел сборника посвящен Т. Г.— Тамаре

Григорьевне Габбе (1903—1960) — сотруднице и близкому другу С. Маршака с конца 20-х годов. Очевидно, Маршак прочитал К. И. одно из стихотворений этого цикла.

[12] В своих «очерках литературной жизни» А. Солженицын рассказал о роли Л. Копелева в судьбе рассказа «Один день...» (см. А. Солженицын. Бодался теленок с дубом.— «Новый мир», 1991, № 6, с. 15 и № 12, с. 38). Воспоминания Л. Копелева об этом событии см. в кн.: Р. Орлова, Л. Копелев. Мы жили в Москве. М., 1990, с. 76—81.

[13] Речь идет о главах из 4-й книги воспоминаний И. Эренбурга «Люди, годы, жизнь».— «Новый мир», 1962, № 4, 5.

[14] Вероятно, это были «Очерки по истории генетики» Жореса Медведева, которые тогда широко ходили в Самиздате.

[15] Старший сын А. Щербакова — Александр (р. 1925), член ВКП(б) с 1942 г., в 1943 г. окончил в Вязниках школу пилотов, участник войны.

[16] Письмо не сохранилось. Уцелел только черновик, который теперь опубликован (см. «Новый мир», 1987, № 3, с. 227).

[17] Речь идет о статье А. Реформатского «Так как же надо говорить? (вместо рецензии на книгу Б. Н. Тимофеева «Правильно ли мы говорим?»)», опубликованной в журнале «Русский язык в национальной школе» (1962, № 1, с. 73—84).

[18] *Директриса дома детской книги* — Антонина Ивановна Фотеева. Американским послом в Москве в это время был Фой Д. Колер.

1963

[1] На самом деле повесть Паустовского называется «Золотая роза» (1956).

[2] Паустовский имеет в виду подборку писем читателей «Известий» по поводу спора между В. Ермиловым и И. Эренбургом о мемуарах Эренбурга «Люди, годы, жизнь». В. Ермилов в своей статье «Необходимость спора» («Известия», 29 января 1963) обвинил Эренбурга в том, что он «выдвигает искусство модернизма на первый план... Не видит, как искало себя искусство революции». Однако основное неудовольствие критика вызвали те строки мемуаров, где автор пишет об «искусстве молчания», которое противостоит несправедливостям окружающей действительности. Свой ответ Ермилову Эренбург назвал: «Не надо замалчивать существо спора». Рядом с его ответом помещены возражения Ермилова, который высмеивает Эренбурга, приписывая ему лозунг «Могу молчать!», противоположный знаменитому толстовскому «Не могу молчать!». Редакция «Известий» стала на сторону Ермилова. Об этом говорит и содержание редакционной врезки, и подбор писем читателей. Читатели осудили Эренбурга за «молчание», газета поведала и о «мнении простых рабочих об абстракционистах» («Известия», 5 и 15 февраля). Полемика Ермилова с Эренбургом (то, как ее подала газета) послужила важным симптомом, свидетельствующим, что на смену «оттепели» надвигаются новые заморозки.

[3] Это письмо Паустовский и Чуковский послали Н. С. Хрущеву. Копия сохранилась в архиве К. Чуковского (ГБЛ, ф. 620). В письме, в частности, говорится, «что управляющий делами Совета Министров Карельской Республики — Петр Афанасьевич СЕМЕНОВ (он же — Уполномоченный по делам русской православной церкви) подписал список 116 церквей, подлежащих безотлагательному уничтожению... недалеко время, когда

великолепные эти произведения станут объектами отечественного и мирового туризма и источником гордости нашей страны. Почти все церкви, входящие в список Семенова, являются признанными памятниками архитектурного искусства (16-го, 17-го и 18-го веков)... Мы обращаемся к Вам, дорогой Никита Сергеевич! Мы умоляем Вас спасти наше северное искусство... от холодных рук и равнодушных сердец, иначе будет обездолена наша великая культура».

[4] Имеется в виду «Свадьба с дегтем. Открытое письмо писателю А. Яшину» («Комс. правда», 31 января 1963). Письмо подписано вологодскими земляками Яшина — зоотехником, трактористом, другими участниками читательской конференции в районной библиотеке Никольска. «...Оказывается, земляки литератора А. Яшина — люди нищие и жадные,— говорится в письме.— Что за люди живут на родине А. Яшина? Воры, плуты, хулиганы, пьяницы — и ни одного честного человека... Как могла подняться у Вас рука, чтобы всех собравшихся на свадьбу вывести такими?.. Вы черните даже то, что принес в деревню колхозный строй... Свадьбу играют, как в старину... В райкомовской машине Вы везете сваху с иконой... Вы не скрываете восторженного отношения к старинным обрядам... Своей «Вологодской свадьбой» Вы нас кровно обидели. Через темные очки смотрите Вы на нашу сегодняшнюю жизнь». Для вящей убедительности атака земляков поддержана редакцией газеты, которая посоветовала «...задуматься о позиции журнала «Новый мир». В последнее время читателю все чаще приходится недоумевать по поводу того, что иной раз печатается в журнале. Это, в частности, относится к некоторым страницам мемуаров И. Эренбурга». Негодует редакция и по поводу публикации в № 12 «Нового мира» одновременно с «Вологодской свадьбой» еще и американских заметок Виктора Некрасова, «содержащих более чем странные рассуждения о советской молодежи».

[5] А. Солженицын в своих «очерках литературной жизни» «Бодался теленок с дубом» так пишет об этой встрече правительства с интеллигенцией: «Вторая же кремлевская встреча — 7—8 марта 1963 г., была из самых позорных страниц всего хрущевского правления. Создан был сталинистами пятикратный перевес сил (приглашены аппаратчики, обкомовцы) и была атмосфера яростного лая и разгрома всего, что хоть чуть отдавало свободой... Была в короткое время... воссоздана атмосфера нетерпимости 30-х годов». В. Каверин вспоминает, что на этой встрече Эренбург оказался «главным объектом нападения». Книгу «Люди, годы, жизнь» Хрущев оценил как «взгляд из парижского чердака на историю советского государства». Эренбург пытался возражать... «но был тотчас оборван и замолчал. Оскорбления сыпались одно за другим... вокруг него мгновенно образовалась пустота» (В. Каверин. Эпилог. М., 1989, с. 381).

[6] Интересно сопоставить эту запись с версией Анастасии Цветаевой, обвинившей в уничтожении памятника Марине Цветаевой в Тарусе — А. Эфрон, И. Эренбурга и К. Паустовского. А. И. Цветаева вспоминает: «Аля была в Латвии... уже летели Але телеграммы, ее знакомые сообщали, что без нее неизвестные ставят Марине «Памятник»... На другой день по просьбе дочери Марины, Ариадны Сергеевны Эфрон, от цветаевской комиссии, членами коей были Эренбург, Паустовский, пришел в райсовет

властям протест по поводу установки камня. Дальнейшая судьба камня была такова: за ним приехала машина, его с трудом погрузили, повезли по холмистому пути, меняли транспорт (подробно не знаю, так как я с Ритой уже уехала), снова везли и, наконец, сбросили в какую-то яму — возле не то автостанции, не то гаража. Там он и лежит поныне, должно быть» (Анастасия Цветаева. Воспоминания. М., 1983, с. 742).

1964

[1] Речь идет о статье С. Маршака «Правдивая повесть».— «Правда», 30 января 1964 г.

[2] Имеется в виду книга Е. Эткинда «Поэзия и перевод» (М.— Л., 1963). Книга сохранилась в переделкинской библиотеке Чуковского с надписью автора: «Дорогому Корнею Ивановичу Чуковскому, самому дорогому мне и самому первому читателю этой книги с любовью Е. Эткинд. 29.XI—63».

[3] Чуковский и Маршак отправили в Ленинград, в народный суд Дзержинского района телеграмму. В телеграмме говорилось: «Иосиф Бродский — талантливый поэт, умелый и трудолюбивый переводчик... Мы просим Суд... учесть наше мнение о несомненной литературной одаренности этого молодого человека». Судья отказался приобщить эту телеграмму к делу, поскольку она не была заверена нотариально.

[4] Речь идет о романе А. Солженицына «В круге первом».

[5] 12 октября 1964 г. космонавты В. М. Комаров, К. П. Феоктистов и Б. Б. Егоров совершили космический полет вокруг земли на корабле «Восход».

[6] В октябре 1964 г. Председателем Государственного комитета Совета Министров СССР по радиовещанию и телевидению стал Николай Николаевич Месяцев, до этого — секретарь ЦК ВЛКСМ, затем — ответственный работник ЦК КПСС.

[7] Анна Ахматова ездила в Италию, где ей была вручена почетная премия «Этна-Таормина».

[8] Возможно, речь идет о рукописи статьи Лидии Чуковской, опубликованной впоследствии, в 1966 году, небольшой отдельной книжкой. См.: Лидия Чуковская. «Былое и думы» Герцена. М., 1966.

[9] Роман И. Шевцова «Тля» вышел в 1964 году (М.: Сов. Россия) с предисловием действительного члена Академии художеств СССР А. Лактионова. Аннотация сообщала: «...Действие романа происходит главным образом в Москве, в среде художников. Автор показывает борьбу между представителями реалистического и формалистического искусства». А. Лактионов пишет о «Тле» как о «произведении остром, актуальном, глубоко партийном... Что ж, борьба есть борьба, и она правдиво отражена в романе писателем беспокойного, ершистого характера, человеком, который сам постоянно находится на переднем крае этой борьбы». Роман вызвал многочисленные отзывы критиков. Приводим лишь некоторые: Гр. Огнев. Кривое зеркало пошлости.— «Комс. правда», 12 ноября 1964; М. Синельников. Жизни вопреки...— «Лит. газета», 12 ноября 1964; Ник. Николаев. Салопница пишет роман.— «Огонек», 1964, № 48, с. 30; З. Паперный. Агрессивное невежество.— «Юность», 1964, № 12; А. Синявский. Памфлет или пасквиль.— «Новый мир», 1964, № 12; В. Непомнящий. Сто-ты-сяч-ным

тиражом...— «Знамя», 1965, № 1. Заголовки статей говорят сами за себя. 17 декабря 1964 г. «Литературная газета» напечатала письмо в редакцию А. Лактионова, где, в частности, сказано: «Я не читал роман, когда подписывал предисловие к нему, заранее заготовленное автором романа, проявив тем самым, мягко говоря, неосторожность. Разрешите через вашу газету выразить мое искреннее сожаление о случившемся. Сейчас, прочитав роман, я вижу, как жестоко искажен в нем высокий смысл жизни искусства и служения ему. Я считаю своим долгом сообщить читателям, что полностью согласен с критической оценкой, выраженной этому «произведению» в печати».

1965

[1] Речь идет о стихотворениях «Качка» и «Баллада о миражах».

[2] Вероятно, Чуковский имеет в виду такой отзыв Вл. Набокова о Репине: «Я даже воображал, да простит мне Бог, ту бездарнейшую картину бездарного Репина, на которой сорокалетний Онегин целится в кучерявого Собинова» («Другие берега» — в кн.: Владимир Набоков. Собр. соч. в 4-х томах. М., 1990, т. 4, с. 245).

[3] Как сообщил мне исследователь творчества К. Паустовского — Л. А. Левицкий, в этой записи спутаны несколько разных эпизодов из биографии К. Паустовского. Полемика с Рыльским в «Литгазете» относится к 1960 году, когда М. Рыльский в своем «Открытом письме» обвинил Паустовского в «неправильном обращении с именами, фактами, цитатами» и в том, что Паустовский «позволил себе... высказывания о деятелях украинской культуры и о языке украинского народа, которые иначе как оскорбление не могут быть восприняты» («Лит. газета», 29 октября 1960 г., с. 4). В своем ответе Паустовский заявил, что письмо Рыльского «в гораздо большей степени факт морального порядка, чем литературное выступление» («Лит. газета», 3 ноября 1960, с. 3). Однако не эта полемика с М. Рыльским, а статья К. Паустовского «Бесспорные и спорные мысли» («Лит. газета», 19 июня 1959), написанная к 3-му Всесоюзному съезду писателей, вызвала нападки А. Метченко, В. Перцова, Н. Грибачева и др. Именно эту статью Лебедев читал в поездке Хрущеву. И наконец, Ленинской премии не дали Паустовскому в 1965 году, через несколько лет после всех перечисленных событий и уже после падения Хрущева.

[4] Речь идет о статье «Brush up Your Russian. Language and Life», помещенной в «The Times Literary Supplement» 16 января 1964 г. В переделкинской библиотеке Чуковского сохранился сборник статей в T.L.S. за 1964 год, включающий и эту статью. См.: T.L.S. Essays and Reviews From The Times Literary Supplement 1964. London. Oxford University Press. New York, Toronto, 1965, p. 94—99.

[5] Анна Ахматова была приглашена в Англию, так как Оксфордский университет присудил ей почетное звание доктора литературы «honoris causa».

[6] Упомянуты журнал «Москва» (1965, № 6) и письмо в «Комс. правду» (1 июля 1965).

[7] Речь идет о книге Л. С. Выготского «Психология искусства» (М., 1965). Книга сохранилась в переделкинской библиотеке Чуковского. Над-

пись гласит: «Дорогому Корнею Ивановичу, чьи «Лепые нелепицы» цитируются в конце этой книги (стр. 339—340), от ее редактора и комментатора:

Вы примите Комин дар и
Прочитайте Коммен-та-рий.

30.VI.65. Кома Иванов».

[8] Имеется в виду предисловие Д. Мирского «Поэт американской демократии» — в сб.: Уолт Уитмен. Листья травы. Перевод, статья и примечания К. И. Чуковского. Л., 1935, с. 9—30.

[9] Речь идет о двухтомнике: Joseph B. Shechtman. Story of his life. Книгу прислала Р. П. Марголина. См.: Рахиль Павловна Марголина и ее переписка с Корнеем Ивановичем Чуковским. Иерусалим, 1978, с. 21. В переделкинской библиотеке Чуковского книга не сохранилась.

[10] О перипетиях с публикацией в «Новом мире» статьи «Белые пятна» В. Каверин пишет в «Эпилоге»: «Борьба журнала за опубликование этой статьи стоит внимания историка литературы. Она продолжалась пять лет — и под другим названием («За рабочим столом») статья с сильными сокращениями все-таки была опубликована в 1965 году» (Эпилог. М., 1989, с. 434). Статья «Белые пятна» впервые полностью напечатана в посмертном сборнике В. Каверина «Счастье таланта» (М., 1989, с. 269—287). Под статьей стоит дата: «1965—1987».

[11] Отзвуки этого собрания слышны на страницах солженицынских «очерков литературной жизни»: «Я могу только наощупь судить, какой поворот готовился в нашей стране в августе-сентябре 1965 года. Когда-нибудь доживем же мы до публичной истории, и расскажут нам точно, как это было. Но близко к уверенности можно сказать, что готовился крутой возврат к сталинизму во главе с «железным Шуриком» Шелепиным... Было собрано в том августе важное Идеологическое Совещание и разъяснено: «борьба за мир» — остается, но *не надо разоружать* советских людей (а — непрерывно натравливать их на Запад)... пора *возродить полезное понятие «враг народа»;* дух ждановских постановлений о литературе был верен; надо *присмотреться* к журналу «Новый мир», почему его так хвалит буржуазия. (Было и обо мне: что исказил я истинную картину лагерного мира, где страдали только коммунисты, а враги сидели за дело.)».— А. Солженицын. Бодался теленок с дубом.— «Новый мир», 1991, № 6, с. 77.

[12] 11 сентября на квартире у В. Л. Теуша был проведен обыск и конфискованы машинописные экземпляры романа «В круге первом». Подробнее о конфискации архива см.: А. Солженицын. Бодался теленок с дубом.— «Новый мир», 1991, № 6, с. 79.

[13] Черновик письма к П. Н. Демичеву сохранился в архиве К. Чуковского. Письмо касается трудностей с печатанием предисловия Чуковского к сборнику стихотворений Бориса Пастернака. См. также примеч. 16.

[14] Президент Латышской академии наук — Я. В. Пейве.

[15] Речь идет о статье «Не обычай дегтем щи белить, на то сметана».— «Лит. газета», 4 ноября 1965 г.

[16] По просьбе Евгения Борисовича Пастернака Корней Чуковский написал предисловие к первому стихотворному сборнику Бориса Пастернака, издаваемому в СССР после скандала из-за «Доктора Живаго». Редакция потребовала указать в предисловии, что литературный путь Пастернака был «сложным и противоречивым». После того, как Чуковский отказался сделать это, книга была дополнена послесловием Н. В. Банникова, который и напомнил читателям, что «...не будучи социальным мыслителем, Пастернак, естественно, не мог разрешить поставленных им в романе проблем. Серьезная его ошибка — передача рукописи романа за границу, а также шум буржуазной западной прессы, корыстно, в политиканских целях воспользовавшейся этим случаем, вызвали резкий протест советской общественности... Заблуждения и горестные ошибки Пастернака, особенно в последние годы его жизни, известны... Пастернака подсекали и сковывали его идейные позиции, его общественная отгороженность и обособленность». См. также с. 385 настоящего издания.

[17] *Петиция о Солженицыне* — письмо к секретарю ЦК КПСС, председателю идеологической комиссии ЦК КПСС П. Н. Демичеву с просьбой предоставить А. И. Солженицыну квартиру в Москве. Это письмо теперь опубликовано (см. «Известия ЦК КПСС», 1990, № 12, с. 147). Подписи А. Твардовского там нет. Как сообщают комментаторы, к письму кто-то приложил копию решения Рязанского горисполкома от 28 мая 1965 г. о выделении трехкомнатной квартиры жене А. И. Солженицына Н. А. Решетовской на семью в пять человек. Письмо к Демичеву было отправлено 3 декабря, более полугода спустя после решения Рязанского горисполкома. Несомненно, медлительность в исполнении решения обусловлена растущим вмешательством КГБ в жизнь Солженицына и, в частности, конфискацией его архива 11 сентября 1965 года.

В ответ на просьбу К. Паустовского, Д. Шостаковича, К. Чуковского, П. Капицы и С. Смирнова дать Солженицыну квартиру в Москве ему была в двухнедельный срок предоставлена квартира в Рязани, о которой, как видно из текста «петиции», никто не просил.

[18] *Жена Евреинова* — А. А. Кашина-Евреинова подарила К. Чуковскому свою книгу: «Н. Н. Евреинов в мировом театре XX века» (Париж, 1964). Книга сохранилась в переделкинской библиотеке К. И. с надписью автора.

[19] Все перипетии процесса собраны в «Белой книге по делу А. Синявского и Ю. Даниэля». Книгу составил Александр Гинзбург в 1966 году, она вышла в изд-ве «Посев» в 1967-м, а в январе 1968-го А. Гинзбург был за это арестован. По материалам «Белой книги» в 1989 г. в Москве был издан сборник «Цена метафоры, или Преступление и наказание Синявского и Даниэля» (составитель Е. М. Великанова. М., 1989). К официальным документам следствия и суда составителя не допустили и через 23 года.

1966

[1] Все ссылки на страницы послесловия Н. Банникова указаны по изданию: Борис Пастернак. Стихи. М., 1966.

[2] Имеется в виду речь М. Шолохова на XXIII съезде КПСС, которая была напечатана в газетах. Шолохов, в частности, сказал: «Мне стыдно за тех, кто предлагает свои услуги и обращается с просьбой отдать им на поруки осужденных отщепенцев. (Бурные аплодисменты)». См. сб. «Цена метафоры...», с. 501.

[3] Речь идет о Герое Советского Союза полковнике Игоре Александровиче Каберове, заместителе командующего эскадрильей авиационного полка Ленинградского фронта.

1967

[1] Автор пишет о стенограмме Общемосковского собрания писателей 31 октября 1958 года. На этом собрании Пастернак был исключен из Союза писателей. Проект соответствующей резолюции зачитал Н. В. Лесючевский (о нем см. примеч. 1, 1962). Стенограмма была впервые опубликована в «Новом журнале», 1966, № 83 (Нью-Йорк). В том же номере напечатана повесть Лидии Чуковской «Софья Петровна», и, вероятно, поэтому журнал, труднодоступный в те годы, попал в руки Корнея Ивановича.

[2] *Мирон* — Мирон Семенович Петровский.

[3] «Быть знаменитым некрасиво» — строка из стихотворения Бориса Пастернака. Юбилейная статья И. Андроникова напечатана в «Известиях» 1 апреля 1967 г.

[4] *...дневник об Анне Андреевне* — первый машинописный вариант будущих «Записок об Анне Ахматовой». В те годы эти страницы еще не предназначались для печати.

[5] Светлана Сталина в это время сделалась невозвращенкой. Сенсационная новость стала известна из передач иностранного радио и кампании брани в советской прессе.

[6] Речь идет о жене Д. Н. Чуковского (внука К. И.) — Анне Владимировне Дмитриевой, знаменитой теннисистке. В «Юности», № 8 за 1967 год, появилась ее статья «Возвращение на корт». Впоследствии она выпустила книгу «Играй в свою игру» (М., 1972, лит. запись и послесловие Ю. Зерчанинова).

[7] Художница Елена Киселева нарисовала портрет Корнея Чуковского. В 60-е годы Корней Иванович подарил этот портрет своей помощнице К. И. Лозовской, у которой он и хранится в настоящее время. Портрет воспроизведен на с. 395 этого издания.

[8] Строка из стихотворения А. М. Жемчужникова «Прелюдия к прощальным песням». Цитата не точна. Должно быть: «Напрасно просить: подожди!»

[9] После кончины Чуковского в изд-ве «Художественная литература» вышел толстый том: Джордж Мередит. Эгоист. Перевод с английского и комментарии Т. Литвиновой. М., 1970, с. 3—623.

[10] Мариэтта Шагинян — автор книги «Семья Ульяновых» (Роман-хроника. М., 1958, 1959). В роман входит глава «Предки Ленина с отцовской стороны». Глава неоднократно печаталась также под названием «Предки Ленина». В середине 60-х годов в архиве были выявлены документы о том, что дед Ленина по материнской линии был крещеным евреем, а в роду у отца Ленина были калмыки. Подробное исследование генеалогии семьи

Ульяновых, включающее главы «Астраханские предки» и «Шведская ветвь», теперь опубликовано. См.: Г. М. Дейч. Еврейские предки Ленина. Нью-Йорк: Телекс, 1991. Среди других документов в книге приведены письма М. Шагинян о ее находке и о запретах, которым подверглась ее работа «Семья Ульяновых». Г. Дейч рассказывает о том, как были уволены сотрудники архива, позволившие исследователям ознакомиться с документами о семье Ульяновых. Завершая свой рассказ, автор пишет: «Кто же по национальности Владимир Ильич Ульянов (Ленин)?.. Я уверенно отвечаю: «Русский. Русский по культуре, русский по языку, русский по воспитанию, потомственный русский дворянин по происхождению».

Теперь все документы, касающиеся работы М. С. Шагинян над историей семьи Ульяновых, опубликованы. Приведены фамилии сотрудников, которые были уволены из архива как «виновные в утечке информации», напечатаны протоколы заседаний Союза писателей, разбиравшего это дело, приведен перечень документов о предках Ленина, изъятых из архивов и переданных в ЦК. Напечатаны также письма к И. Сталину А. И. Ульяновой-Елизаровой и наброски статьи М. И. Ульяновой о происхождении деда В. Ленина. См: «Изъятие... произвести без оставления... копий (где хранились и куда переданы документы о предках Ленина)»/ Вступ. ст., комм. и подг. текста Т. И. Бондаревой и Ю. Б. Живцова.— «Отечественные архивы», 1992, № 4, с. 65—83.

[11] *Заметка в «Вечерней Москве», где Буковского зовут хулиганом.*— Газета «Вечерняя Москва» 4 сентября 1967 поместила статейку: «В Московском городском суде». В статье сообщалось, что «30 августа — 1 сентября Московский городской суд рассмотрел уголовное дело по обвинению Буковского В. К.; Делоне В. Н. и Кушева В. И. ... Буковский... много раз предупреждался органами власти за совершение хулиганских антиобщественных действий... Суд приговорил Буковского к 3 годам лишения свободы». На самом деле Буковского судили не «за хулиганство», а за то, что 22 января 1967 года он организовал демонстрацию с требованием освободить Галанскова, Добровольского, Лашкову и Радзиевского, арестованных незадолго до этого. Вскоре после суда Павел Литвинов был вызван в КГБ и предупрежден об уголовной ответственности в случае распространения записи процесса Буковского. Однако П. Литвинов обнародовал рассказ об этом вызове и угрозах КГБ, а затем выпустил книгу: «Правосудие или расправа. Дело о демонстрации на Пушкинской площади 22 января 1967 года. Сборник документов под редакцией Павла Литвинова». London: Overseas Publications Interchange, Ltd., 1968. О В. Буковском см. также: Владимир Буковский. «И возвращается ветер...» М., 1990.

1968

[1] *Суд над четырьмя* — суд над Ю. Т. Галансковым, А. И. Гинзбургом, В. И. Лашковой и А. А. Добровольским в январе 1968 года. В. Буковский, который в это время уже был в заключении, на страницах своей книги «И возвращается ветер...» (М., 1990, с. 228—229) передает обстановку

«процесса четырех» и приводит выдержки из обращения П. Литвинова и Л. Богораз: «Граждане нашей страны! Этот процесс — пятно на чести нашего государства и на совести каждого из нас... Сегодня в опасности не только судьба подсудимых — процесс над ними ничуть не лучше знаменитых процессов тридцатых годов...» Подробнее см. сб.: Процесс четырех. Составление и комментарии Павла Литвинова. Амстердам, Фонд имени Герцена, 1971, а также: Мое последнее слово. Речи подсудимых на судебных процессах 1966—1974. Франкфурт-на-Майне, «Посев», 1974.

[2] Открытое письмо Лидии Чуковской «Михаилу Шолохову, автору «Тихого Дона» — в защиту А. Синявского и Ю. Даниэля — широко распространилось в Самиздате, его читали зарубежные русские радиостанции и опубликовали иностранные газеты. Оберегая покой своего отца, Лидия Корнеевна не рассказала ему о своем общественном поступке, могущем иметь нежелательные последствия. Теперь «Письмо Шолохову...» опубликовано в России. См. журнал «Горизонт», 1989, № 3, и сборники Лидии Чуковской «Процесс исключения» (1990) и «Сверстнику» (1991).

[3] Речь идет о повести Виталия Семина «Семеро в одном доме», напечатанной в «Новом мире» (1965, № 5).

[4] Jvy, *старуха* — А. В. Литвинова; *...безумный внук* — Павел Литвинов.

[5] Эта переписка сохранилась в архиве Лидии Чуковской. В письмах ведется полемика о стихотворении М. Алигер «Несчетный счет минувших дней...» («Новый мир», 1967, № 9, с. 109). Многие мысли, высказанные в письме к М. Алигер, легли в основу статьи Лидии Чуковской «Не казнь, но мысль. Но слово». Статья была распространена в Самиздате, а в 90-е годы напечатана в нашей стране. См.: журнал «Горизонт», 1989, № 3, а также: Лидия Чуковская. Процесс исключения, 1990; Сверстнику, 1991.

[6] Повесть И. Грековой называется «На испытаниях». Статья К. Чуковского в ее защиту впервые напечатана в его Собр. соч. (М., 1969, т. 6) под названием «К спорам о «дамской повести».

[7] Записи «Что вспомнилось» велись в дневнике вперемежку с другими дневниковыми заметками. Затем наброски воспоминаний, сделанные в дневнике, были перепечатаны, и этот машинописный экземпляр автор правил заново. Заголовок написан на первом листе машинописного экземпляра. В нашу публикацию включен не первоначальный, а исправленный автором текст набросков «Что вспомнилось».

[8] В архиве проф. Ивана Шайковича, который хранится в Стокгольмском университете, находится 40 писем за 1909—1916 годы от дипломата К. Набокова к К. Чуковскому. См.: Sven Gustavson. Архивные находки. Scando Slavica, v. XVII, Munksgaard, Copenhagen, 1971, p. 45, 46.

[9] См.: Корней Чуковский. Нечаянная радость [о кн.: М. Копшицер. Валентин Серов. М., 1967] — «Лит. Россия», 8 марта 1968, с. 7.

[10] Эта гравюра и запись М. Горького об антисемитизме «не поддаются воспроизведению» до сих пор.

[11] «Освобождение Толстого» — см.: И. Бунин. Собр. соч. в 9-ти томах, М., 1967, т. 9, с. 7—168.

[12] Чуковский имеет в виду такие высказывания И. Бунина: «Все мои письма (ко всем, кому я писал во всю мою жизнь) не печатать, не издавать. С просьбой об этом обращаюсь и к моим адресатам, то есть к владель-

цам этих писем. Я писал письма почти всегда дурно, небрежно, наспех и не всегда в соответствии с тем, что я чувствовал — в силу разных обстоятельств. (Одним из многих примеров — письма к Горькому, которые он, не спросясь меня, отдал в печать.)». Или: «Я чрезвычайно прошу не печатать их [письма.— *Е. Ч.*],— я писал их всегда как попало, слишком небрежно и порою не совсем кое-где искренне (в силу тех или иных обстоятельств)...» См. статью И. Бунина «К моему завещанию» (1942) и «К моему литературному завещанию» (1951), цит. по Собр. соч., т. 9, с. 480, 483.

[13] Чуковский полемизирует с воспоминаниями Бунина о Репине (см. т. 9, с. 379—380). В своей краткой мемуарной заметке Бунин цитирует адресованное ему письмо И. Е. Репина: «Слышу от товарищей по кисти, слышу милую весть, что приехал Нилус, наш художник прекрасный,— ах, если бы мне его краски! — а с ним и вы, прекрасный писатель, портрет которого мечтаю написать: приезжайте, милый, сговоримся и засядем за работу».

[14] 16 января 1913 года А. Балашов, по профессии иконописец, психически больной, бросился с ножом на картину Репина «Иван Грозный и сын его Иван...» и сильно повредил ее.

[15] Речь идет об изданиях М. К. Лемке. 250 дней в царской ставке (25 сент. 1915—2 июля 1916). Пг., Госиздат, 1920; М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке. Под ред. и с предисл. М. К. Лемке т. 1—5. СПб., 1911—1913.

[16] Брошюра К. Чуковского «Жена поэта» издана в 1922 году и содержит литературный портрет А. Я. Панаевой. Автор касается «дела об огаревском наследстве», роли в этом деле Н. А. Некрасова и А. Я. Панаевой, а также отношения Герцена к Некрасову.

[17] Журнал, о котором пишет Чуковский, назывался «Книга и революция». В первом номере (июль 1920 г.) помещены три статьи против него. Две рецензии, подписанные «А.» и «М. Маврин» касаются изданий Некрасова под редакцией К. Чуковского. Критики не скупятся на брань. В статье «Два крокодила», подписанной псевдонимом «Тумим», содержатся такие упреки книге и ее автору: «Ничего нельзя сказать в пользу «Крокодила»... Науке от него никакой корысти быть не может... Материальных благ никто (кроме автора) от этого крокодила не получит... Жертвами этого крокодила являются именно дети, к тому же дети младшего возраста, которых облюбовал Чуковский».

[18] В 1974 году профессор-некрасовед А. М. Гаркави подготовил и издал в Калининграде сборник: «Корней Чуковский. Несобранные статьи о Н. А. Некрасове». В этом сборнике помещен и отрывок о Лемке из «Что вспомнилось». В подробном комментарии к публикации этого отрывка рассказана история полемики Лемке и Чуковского по поводу «Как я велик!». А. М. Гаркави отмечает, что «полный текст этой рукописи так и не найден, хотя в поиски включилось большое число научных и библиотечных работников», и приводит суждения нескольких некрасоведов, которые, как и Чуковский, вообще сомневаются в ее существовании.

[19] В письме ко мне (лето 1991 г.) К. И. Лозовская, присутствовавшая на этой встрече, сообщает: «Когда Шеровер был в Переделкине, Кор-

ней Иванович за обедом сказал ему (и довольно категорично), что считает репинский портрет своей собственностью, потому что Илья Ефимович подарил ему свою работу... Шеровер обещал, что после его (шероверской) смерти наследники вернут репинскую работу лично Корнею Ивановичу». Осенью 1993 года портрет продан на аукционе Сотби новому владельцу.

[20] Речь идет о книге К. Чуковского «Высокое искусство». В книгу входила главка, посвященная анализу английских переводов рассказа Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича» (см.: К. Чуковский. Собр. соч. в 6-ти томах. М., 1966, т. 3, с. 379—382).

[21] «Ecrire est difficile» — «Писать очень трудно» *(франц.)*. Это — девиз «Серапионовых братьев», к которым принадлежал и В. Каверин. Русское название книги — «Брат, писать очень трудно».

[22] Имеется в виду письмо В. А. Каверина к К. А. Федину — в защиту солженицынского «Ракового корпуса». См.: В. Каверин. Эпилог, М., 1989, с. 438—440.

[23] В «Огоньке», № 16 и № 23 за 1968 год, появились статьи «Любовь поэта» и «Трагедия поэта». А. Колосков видит трагедию поэта в травле и непонимании со стороны критиков и возвещает прокурорским тоном: «...Писатель Евг. Замятин, вскоре после этого эмигрировавший за границу, печатает злобную статейку «Я боюсь», где плачет о гибели русской литературы после Октября... Корней Чуковский в книге, вышедшей в 1922 году, определял Маяковского, как «поэта катастроф и конвульсий», утверждал, что «чувства родины у него нет никакого», что «его пафос — не из сердца», «каждый его крик — головной, сочиненный», «его пламенность — деланная. Это Везувий, извергающий вату... Все это отзывается выдумкой, натугой, сочинительством». Жадно схватывая брань, ложь, клевету, которыми враги и недоброжелатели революции забрасывали поэта, троцкист Л. Сосновский начал против поэта кампанию под лозунгами «Довольно Маяковщины»... и т. п.

Все факты в этой тираде переврапы. Статья Замятина «Я боюсь» напечатана в журнале «Дом искусств», № 1, в январе 1921 г., а эмигрировал он не «вскоре», а в 1932-м. Чуковский никакой книги о Маяковском в 1922 году не выпустил, а в том же номере «Дома искусств» в январе 1921 года поместил статью «Ахматова и Маяковский». Мысли, изложенные в этой статье, не соотносятся с теми надерганными обрывками фраз, которые приводит Колосков. В этом легко убедиться каждому, кто прочтет недавно переизданную статью Чуковского. См.: «Вопросы литературы», 1988, № 1, а также — Корней Чуковский. Собр. соч. в двух томах. Т. 2. М., 1990 (Б-ка «Огонек»). Другие несуразицы и натяжки в статье Колоскова, позволившие ему поставить в ряды истинных ценителей поэзии Маяковского Ленина, Куйбышева и Луначарского, вполне укладываются в общую методологию этого автора.

[24] Статья вышла в «Правде» 11 июля 1968 г. под названием «Как же издавать Чехова?».

[25] В книге Н. Ильиной «Дороги и судьбы» (М., 1991) описана история с Корнейчуком и такси (с. 327) и рассказано о «поведении Скворцова» (с. 384).

[26] В 1967 г. Лениздат начал готовить к печати первый посмертный сборник Анны Ахматовой «Стихи и проза». Лидии Чуковской издательство поручило подготовить отдел поэзии. Предисловие было заказано К. Чуковскому, а составление отдела прозы — Э. Г. Герштейн. Издательским редактором стал Б. Г. Друян. Книга была сдана в издательство в 1967 г. однако в 1969 — задержана на стадии сверки из-за негласного запрета на имя Л. К. Чуковской. Затем было взято из издательства предисловие К. Чуковского. «...А моя текстологическая работа, установленные мною тексты, даты, факты? Кому-нибудь пригодится»,— писала Лидия Чуковская в 1974 г. в своих «очерках литературных нравов». И вправду — пригодилась работа. В 1976 г. книга все же вышла в Лениздате. Составителем отдела стихов объявлен Б. Г. Друян. Предисловие написал главный редактор Лениздата Д. Хренков (по его новой версии — исполняя просьбу Ахматовой). После 1976 г. сборник неоднократно переиздавался.

Подробнее историю этого издания см.: Лидия Чуковская. Процесс исключения. М. 1990, с. 214—218. Д. Хренков. Уроки добра и мудрости. «Нева», 1987, № 10, с. 194—202. Э. Г. Герштейн. Разъяснение. «Нева», 1988, № 4, с. 204. *Строки о «нагане»* (За тебя я заплатила чистоганом/Ровно десять лет ходила под наганом) — во всех советских изданиях до конца 80-х годов заменялись многоточием. Впервые опубликованы за границей. См.: Лидия Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. 1952—1962. Париж: ИМКА — ПРЕСС, 1980, с. 507 («Нева», 1993, № 8, с. 73).

[27] Речь идет о статье «Идейная борьба. Ответственность писателя».— «Литературная газета», 26 июня 1968. Основной удар этой редакционной статьи пришелся по Солженицыну — в связи с публикацией на Западе его «Ракового корпуса». О Каверине сказано так: «Раздувая провокационную шумиху вокруг повести «Раковый корпус», враждебные нам радиоцентры взяли на вооружение еще один «документ», именуемый ими «открытое письмо В. Каверина»... Нет нужды разбирать это письмо в подробностях. Достаточно сказать, что, слушая его чуть ли не ежедневно в исполнении зарубежных «голосов», В. Каверин не счел нужным выступить против этого враждебного нам хора».

[28] См.: «От автора».— В кн.: К. Чуковский. Собр. соч. в 6-ти томах. М., 1969, т. 6, с. 7—9.

[29] Защитниками подсудимых были адвокаты Д. И. Каминская, С. В. Каллистратова, Ю. Б. Поздеев и Н. А. Монахов. П. Литвинова защищала Дина Исааковна Каминская, В. Делоне — Софья Васильевна Каллистратова. Поскольку они выступили на стороне своих подзащитных, они сами подверглись политическим преследованиям. Д. И. Каминская была лишена допуска к делам такого рода, а затем после угроз и обысков вынуждена эмигрировать. (Подробнее см. ее книгу «Записки адвоката», Вермонт: Хроника-Пресс, 1987.) Глава из этой книги — о суде над участниками демонстрации на Красной площади напечатана с предисловием Владимира Корнилова в «Знамени» (1990, № 8). С. В. Каллистратова была вытолкнута на пенсию, подвергалась обыскам, однако продолжала свою правозащитную деятельность в качестве члена Хельсинкской группы и консультанта А. Д. Сахарова по юридическим вопросам.

[30] В сборнике Н. Горбаневской «Полдень» (Франкфурт-на-Майне, «Посев», 1970, с. 371) помещено письмо К. И. Чуковского к Б. Н. Делоне о стихах Вадима Делоне. Письмо написано в октябре 1968 г. и, очевидно, как-то связано с приездом Б. Н. Делоне в Переделкино.

[31] Речь идет о съемках фильма «Чукоккала» (сценарий Е. Рейна, режиссер М. Таврог). Фильм снят на студии «Центрнаучфильм» и вышел на экраны через два месяца после кончины Чуковского.

[32] Запись в дневнике касается суда над участниками демонстрации на Красной площади 25 августа 1968 года — против вторжения в Чехословакию войск стран Варшавского договора. *Павлик, Таня, Флора, Миша* — Литвиновы. Суд происходил 9—11 октября в помещении народного суда Пролетарского района. Все материалы, относящиеся к демонстрации и расправе с ее участниками, тщательно собраны в сборнике «Полдень» (см. примеч. 30).

[33] Речь идет о стихотворениях Е. Евтушенко: «В ста верстах от столицы всех надежд», «Русское чудо», «Танки идут по Праге».

[34] *...стихи о голубом песце, о китах.*— «Монолог голубого песца», «Кладбище китов».

1969

[1] См. 1962, примеч. 6.

[2] Статья не закончена. Опубликована посмертно. См. «Книжное обозрение», 1991, № 31.

[3] *...загадка о ковре* — последняя стихотворная загадка К. Чуковского для детей: «Лежу я у вас под ногами...»

[4] 16 июля 1969 г. США запустили пилотируемый корабль «Аполлон-II» с тремя космонавтами на борту. 20 и 21 июля космонавты Н. Армстронг и Э. Олдрин высадились на Луне и пробыли на ее поверхности в районе Моря Спокойствия 21 час 36 мин. М. Коллинз находился в командном отсеке корабля на селеноцентрической орбите.

[5] Американский славист, профессор F. D. Reeve, автор книг «Robert Frost in Russia», «The Russian Novel» и др. приехал к Чуковскому в Переделкино с женой и тремя маленькими детьми. Жена Рива — Елена, писала диссертацию о Н. А. Некрасове и хотела обсудить ее с Чуковским. Однако не успели гости начать разговор, как явились представители милиции, заставили их сесть в машину и уехать из Переделкина.

[6] Фельетон Н. Ильиной «Записки начинающего экранизатора» не появился в «Новом мире». Его напечатал журнал «Советский экран» (1969, № 23).

[7] Речь идет о книге Ираклия Андроникова «Рассказы литературоведа», выпущенной в изд-ве «Детская литература» в серии «Школьная библиотека». Книга снабжена предисловием К. Чуковского и хранится в переделкинской библиотеке с дарственной надписью И. Андроникова.

[8] В больнице Чуковский читал верстку 8-го тома Собрания сочинений А. Ф. Кони. Он был одним из редакторов этого восьмитомника, выпускаемого изд-вом «Юридическая литература» (1966—1969).

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН*

---

* Указатель составила Л. А. Абрамова при участии Е. Ц. Чуковской и Д. Г. Юрасова. Все данные о репрессированных лицах предоставлены Д. Г. Юрасовым по своей картотеке.

В указатель включены не все имена, встречаемые в «Дневнике». Не внесены в список неустановленные лица, некоторые бегло упоминаемые фамилии, сведения о которых читатель получает непосредственно из текста, а также те, чьи имена несущественны для понимания записи. Краткие аннотации даны применительно к контексту.

Звездочкой отмечены фамилии, ранее аннотированные в первой книге: Корней Чуковский. Дневник. 1901—1929. М.: Сов. писатель, 1991. В этом случае ни даты жизни, ни аннотации не повторены. Исключение составляют несколько имен, для которых даты за это время уточнены. Цифры, указывающие на страницы комментария, даны курсивом.

К сожалению, Российский Центр хранения современной документации отказался предоставить нам минимальные сведения, необходимые для этого указателя. Это сделано под тем предлогом, что все личные дела — закрыты, а кроме того в архиве отсутствуют каталоги и картотеки этих дел. Поэтому фамилии упомянутых в Дневнике номенклатурных работников, о которых не удалось ничего выяснить, отмечены знаком: **. Из-за этого отказа не проведена также необходимая проверка сведений, собранных по разнородным литературным источникам.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Составитель

Елена Цезаревна Чуковская

КОРНЕЙ ИВАНОВИЧ ЧУКОВСКИЙ

ДНЕВНИК

1930—1969

Редактор М. Я. МАЛХАЗОВА
Художественный редактор Ф. С. МЕРКУРОВ
Технические редакторы Н. В. СИДОРОВА и Н. В. ЯШУКОВА
Корректор Т. В. МАЛЫШЕВА

Сдано в набор 19.06.92. Подписано в печать 24.01.94. Формат $60\times90^1/_{16}$. Бумага офс. № 1. Гарнитура журнальная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 35+2 усл. п. л. вкл. Уч.-изд. л. 52,15. Тираж 5000 экз. Заказ № 311.

Издательство «Современный писатель», 121069, Москва, ул. Поварская, 11.
Тульская типография, 300600, г. Тула, проспект Ленина, 109.

ДЯДЯ ЧУКОВС-
КИЙ ПАЧИМУ ВЫП-
ИШОТ ИМАЛО КНИ
ЖОК. Я ОЧЕН ЖДУ.
ДАЛЯ ПАПОВ.
6 1/2 ЛЕТ.

21 АВГ.

P.S. Читать и писать научился сам. Мы с ним вопросами [illegible] не занимаемся. Хорошо ли? Д. П.

20



